

*Когда Владимир Раевский писал “...за нами горы тел кровавых” — тут не было никакой поэтичности, никакого гиперболизма; только констатация — горы кровавых тел...*

*Находясь при батарее на Горицком кургане, непосредственный начальник Гулевича (а следственно и Раевского) — командир 23-й пехотной дивизии генерал-майор Алексей Николаевич Бахметьев — потерял ногу.*

*(Чтоб соединить судьбы ещё нескольких поэтов, напомним, что Бахметьева спас в тот день поэт Вяземский, а позже именно к Бахметьеву, даже без ноги собиравшемуся вернуться в действующую армию, пошёл адъютантом поэт Батюшков).*

*Тем временем на Курганной высоте, отлично видимой с позиций Горицкого кургана, началась очередная атака французов.*

*Находившийся на тех же, что и Владимир Раевский, позициях, его однопольчанин поручик И. Т. Раджицкий писал: “...вице-король Итальянский делал последний приступ на наш курганный люнет, батарейный и ружейный огонь, бросаемый с него во все стороны, уподоблял этот курган огнедышащему жерлу; притом блеск сабель, палашей и штыков, демов и лат от ярких лучей заходящего солнца — всё вместе представляло ужасную и величественную картину.*

*Мы от деревни Горки были свидетелями этого кровопролитного приступа. Кавалерия наша мешалась с неприятельской в жестокой сече: стрелялись, рубились и кололи друг друга со всех сторон. Уже французы подошли под самый люнет, и пушки наши после окончательного залпа умолкли. Глухой крик давал знать, что неприятели ворвались на вал, и началась работа штыками...*

*Наконец французы с бешенством ворвались в люнет и кололи всех, кто им попадался; особенно потерпели артиллеристы, смертоносно действовавшие на батарее. Тогда курганный люнет остался в руках неприятелей. Это был последний трофей истощённых сил их. Груды тел лежали внутри и вне окопа: почти все храбрые защитники его пали”.*

*Занятые французами позиции начали обстреливать, им пришлось прятаться на противоположном скате высоты.*

*В той вечерней перестрелке Владимир Раевский был ранен в левое плечо картечью — но остался при своих орудиях.*

*В ночи уже, едва держа перо, писал письмо домой: отец, я жив...*

*Владимир Раевский получил после Бородино золотую шпагу с надписью “За храбрость”.*

В феврале литературную общественность всколыхнуло известие: Захар Прилепин вступил “политруком” в батальон спецназа ДНР. Одни усмотрели в этом проявление редкостного мужества, другие — милитаризм и вызов принципу толерантности. Но и те, и другие восприняли шаг Захара как нечто экстраординарное.

Между тем Прилепин, прежде чем взять в руки автомат, подготовил книгу “Взвод” о литераторах-воинах. “В России с XVIII века я насчитал более сотни поэтов и прозаиков, у которых жизнь была напрямую связана с воинской службой”, — писал он.

В следующем номере читайте главу из книги “Взвод”, посвящённую Владимиру Раевскому.

# НАШ СОВРЕМЕННОК

*Журнал писателей России*



## №3 2017

## 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. Г. РАСПУТИНА

В 70—80-е годы я постоянно приезжал на охоту и на рыбалку в далёкое сибирское село Ербогачён, раскинувшееся на берегах Нижней Тунгуски, реки, воспетой в романе Вячеслава Шишкова “Угрюм-река”. Именно там стояла изба, где он жил, ставшая потом литературным и этнографическим музеем Ербогачёна.

В каждую из этих поездок, после моих странствий по соболиным тропам, по замерзающим калтусам, в которых ещё плавали последние утки, по заберегам, в чаще которых пересвистывались рябчики, я встречался с Распутиным, рассказывал ему о ербогачёнской жизни в зимовьюшках, об удачных и неудачных охотничьих и рыбацких подвигах. Он внимательно слушал, порой шутил, порой молчал, думал свою думу.

Видимо, вспомнив эти времена, в день моего 75-летия Валентин Григорьевич подарил мне свою заветную книгу “Сибирь, Сибирь...” с дорогой для меня дружеской подписью: “Дорогому Стасу Куняеву в день его 75-летия от земли сибирской, где натоптаны щедро и его тропы и где номера “Нашего современника” добытчики-охотники оставляют в зимовьях, как хлеб и соль, для каждого, кто придёт вслед за ними.

Чистая правда.

В. Распутин  
21 декабря 2007 г.”

*Станислав Куняев*

Делегация российских писателей в гостях у В. Распутина на празднике “Сияние Севера”



## ГЕНИЙ РУССКОГО ПОИСКА

19 февраля умер один из самых умных людей России — академик Игорь Ростиславович Шафаревич. Я намеренно не употребляю выражение “ушёл из жизни”. Люди такого масштаба, несмотря на смерть, не уходят. В самой их кончине, как правило, содержится урок, важный для всей нации.

Судьба Игоря Шафаревича как выдающегося математика ошеломляюще удачна. Не случайно его называли “Моцартом математики”. В 17 лет он оканчивает МГУ, в 19 защищает кандидатскую, в 23 — докторскую. В 35 лет избирается членом-корреспондентом Академии наук СССР. В 36 становится лауреатом Ленинской премии.

Казалось бы, вот она, наглядная реализация самых смелых мечтаний. Однако Игорь Ростиславович с лёгкостью отказывается от почестей, устоявшегося положения в обществе. В 60-е годы Шафаревич выступает с открытыми письмами в защиту Русской православной церкви, а также против использования психиатрии в борьбе с инакомыслием. Защищает тех, кого считал несправедливо гонимыми. В 1974 году протестует против ареста А. Солженицына. На следующий год Игоря Ростиславовича изгоняют из МГУ.

Почитатели Шафаревича, сделавшие “Русофобию” (1982; публикация в России — журнал “Наш современник”, 1989) своим знаменем, не любят вспоминать о его правозащитной деятельности. Хотя, если вдуматься, столь смелую работу, как “Русофобия”, мог написать именно такой человек, готовый ради служения правде бросить вызов могущественным силам.

Он был наделён мужеством. Интеллектуальным и бытовым. Об этом писал А. Проханов, вместе с Шафаревичем побывавший в сражающемся Приднестровье. Это готов подтвердить я, дважды летавший с Игорем Ростиславовичем в Чечню в разгар боёв.

После конфликта с советской правящей элитой Шафаревич решается на противоборство с либералами, отечественными и западными, — силой, жёстко организованной и беспощадной. В “Русофобии” с математической ясностью продемонстрировано, как “малый народ” — сцепленная внутренней солидарностью группа элиты — подавляет “большой народ”, в данном случае русских.

Возмездие последовало немедленно. Академика объявили “фашистом”, “антисемитом”. В отклике на смерть Шафаревича А. Проханов отметил, что из трёх знаменитых диссидентов — Сахаров, Солженицын, Шафаревич — лишь на долю Игоря Ростиславовича выпала пожизненная опала: “Он был окружён плотным облаком тьмы”.

В этом — первая часть урока, связанная с судьбой Шафаревича. Мы, “большой народ” — в отличие от “малого”, — не умеем защищать своих духовных лидеров.

Но есть и вторая часть — ещё более трагическая. В патриотическом движении, наряду с признанием выдающейся роли Шафаревича, присутствовало и недоверие к нему, его поиску, его патриотизму. Подозрение, основанное, в сущности, на неприятии интеллектуальной свободы как таковой. Это недоверие вписывается в общую атмосферу идеологического охранительства, насаждаемого едва ли не официально (с самых верхов прозвучало обвинение в адрес оппозиции: “Умничают по любому поводу”).

Между тем России сегодня, как никогда, необходимы поиски новых подходов, новых решений, новых путей преодоления кризиса. В стремительно меняющемся мире решающей силой оказывается не сила оружия или экономики, а сила мысли. Человек, столь полно воплотивший в своей деятельности мыслительный потенциал нации, нужен стране как пример учёного и гражданина. Как гений русского поиска.

*Александр Казинцев*



## Содержание

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

У Ч Р Е Д И Т Е Л И:

Союз писателей России  
ООО "ИПО писателей"

Международный фонд  
славянской письменности  
и культуры

Издается с 1956 года

Главный редактор  
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

Ю. В. БОНДАРЕВ,  
А. В. ВОРОНЦОВ,  
В. Н. ГАНИЧЕВ,  
Г. Я. ГОРБОВСКИЙ,  
Т. В. ДОРЕНИНА,  
С. Н. ЕСИН,  
Л. Г. ИВАШОВ,  
С. Г. КАРА-МУРЗА,  
В. Н. КРУПИН,  
А. Н. КРУТОВ,  
А. А. ЛИХАНОВ,  
Ю. М. ЛОЩИЦ,  
С. А. НЕБОЛЬСИН,  
Д. Н. НИКОЛАЕВ,  
Ю. М. ПАВЛОВ,  
И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,  
В. Д. ПОПОВ,  
З. ПРИЛЕПИН,  
Е. С. САВЧЕНКО,  
А. Ю. СЕГЕНЬ,  
В. В. СОРОКИН,  
С. А. СЫРНЕВА,  
А. Ю. УБОГИЙ,  
Р. М. ХАРИС,  
М. А. ЧВАНОВ,  
С. А. ШАРГУНОВ  
В. А. ШТЫРОВ

### Проза

- Константин СКВОРЦОВ  
Мерцающие рифмы ..... 12
- Андрей УБОГИЙ  
Пиры (окончание) ..... 46
- Иван ПЕРЕВЕРЗИН  
Постигание любви  
Роман (окончание) ..... 84
- Светлана МАКАРОВА-ГРИЦЕНКО  
Прыжок барса. Рассказ ..... 140
- Елена РОДЧЕНКОВА  
Хата колдуна. Рассказ ..... 162

### Поэзия

- Елена НАУМОВА  
Весенние грачи ..... 3
- Наталья ЕГОРОВА  
Здесь всё искупили –  
давно и навеки ..... 7
- Елизавета МАРТЫНОВА  
Судьба моя,  
ты обернись ко мне ..... 42
- Ольга КОЧНОВА  
Лазурью плещет небосвод... ..... 81
- Елена ПИЕТИЛЯЙНЕН  
Переглянувшись с детством ..... 138
- Михаил ПОПОВ  
Вот и вышел из меня поэт ..... 159
- Николай АНТОНОВ  
Там русский дух,  
как прежде, светел... ..... 171

### Очерки и публицистика

- Елена ЛАРИНА,  
Владимир ОВЧИНСКИЙ  
Преступность эпохи  
промышленной революции  
XXI века ..... 175
- Геннадий ЗЮГАНОВ  
Уроки XX века ..... 190
- Андрей ФУРСОВ  
“По-над пропастью,  
по самому по краю”  
(Февральский переворот  
в русской и мировой истории) .... 196

## Редакция

Приемная —  
(495) 621-48-71

А. И. Казинцев —  
зам. главного редактора —  
(495) 625-01-81

Е. В. Шишкин —  
зав. отделом прозы —  
(495) 625-30-47

Отдел прозы —  
(495) 625-57-45

С. С. Куняев —  
зав. отделом критики,  
отдел поэзии —  
(495) 625-02-81

С. С. Зотов —  
ред. отдела публицистики —  
(495) 625-30-47

Е. Н. Евдокимова —  
зав. редакцией —  
(495) 621-48-71,  
факс (495) 625-01-71

Г. В. Мараканов —  
зав. техническим центром —  
(495) 621-43-59

М. А. Чуприкова —  
гл. бухгалтер —  
(495) 625-89-95

Игорь КАСАТОНОВ  
“Отстаивайте же  
Севастополь...” ..... 218

Михаил ФЁДОРОВ  
“Чем я менее русский,  
чем все русские?” ..... 224

## Мир Распутина

Валентин РАСПУТИН  
Реформация душ ..... 230

Валентин РАСПУТИН  
Из россов непобедимых ..... 234

Сергей ШАРГУНОВ  
Страсть к чистому снегу ..... 239

Эдуард АНАШКИН  
Жить и помнить ..... 240

Владимир СКИФ  
“С радостью  
жить-быть рядом...” ..... 251

Василий КОЗЛОВ  
За черникой ..... 259

## Критика

Анатолий ЗАБОЛОЦКИЙ  
Кому в угоду  
перелопачивают Шукшина? ..... 266

## Память

Валерий ЧЕРКЕСОВ  
Верность присяге и поэзии ..... 274

## Книжный развал

Ирина УШАКОВА  
“Смысл жизни”  
и смысл войны ..... 279

## В конце номера

Станислав КУНЯЕВ  
“Жизнь замечательных  
людей” ..... 284

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и регулярно публикует лучшие, наиболее интересные из них в обширных подборках не реже двух раз в год. Каждая рукопись внимательно рассматривается и может, по желанию автора, быть возвращена ему редакцией при условии, что объем рукописи по прозе — не менее 10 а. л., поэзии — 5 а. л., публицистике — 3 а. л. Срок хранения рукописей прозы 2 года, поэзии и публицистики — 1,5 года. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Компьютерная вёрстка: Г. В. Мараканов

Операторы: Е. Я. Закирова, Н. С. Полякова

Корректоры: С. А. Артамонова, Н. А. Павлова

Журнал зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675.

Подписано в печать 06.03.2017. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,4. Уч.-изд. л. 22,9. Заказ № 327-2017. Тираж 5000 экз.

Адрес редакции: Москва, 127994, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2.

Адрес электронной почты: [n-sovrem@yandex.ru](mailto:n-sovrem@yandex.ru)

(Рукописи по электронной почте не принимаются)

Адрес сайта в интернете: [www.nash-sovremennik.ru](http://www.nash-sovremennik.ru)

Отпечатано в АО “Красная Звезда”, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38.

Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62 [www.redstarp.ru](http://www.redstarp.ru) e-mail: [kr\\_zvezda@mail.ru](mailto:kr_zvezda@mail.ru)

ЕЛЕНА НАУМОВА



## ВЕСЕННИЕ ГРАЧИ

\* \* \*

*Моей маме Майе Андреевне  
Ермаковой (Наумовой),  
участнице Великой  
Отечественной войны*

А свет прожекторов  
скользил по небу.  
Искал,  
касясь звёздной высоты.  
И находил,  
как призрачную небыль,  
На самолётах  
чёрные кресты.  
Он ослеплял внезапно  
самых прятких,  
Как будто  
злому вору по рукам  
Давал,  
и били яростно зенитки  
По ненавистным  
чёрным паукам.

---

*НАУМОВА Елена Станиславовна родилась в посёлке Вахруши Слободского района Кировской области. Стихи и проза публиковались в журналах "Литературная учеба", "Октябрь", "Нижний Новгород", "Наши современники", "Москва", "Север", в еженедельниках "Литературная газета", "Литературная Россия" и др. Лауреат Всероссийской премии им. Н. Заболоцкого. Автор 16 книг стихов и прозы, которые вышли в издательствах Кирова, Санкт-Петербурга и Москвы.*

Бойцы,  
    в минуты редкие покоя,  
Считая сбитых,  
        грелись у огня.  
И мама,  
        засыпая после боя,  
Была моложе  
        нынешней меня.

### ВЕСЕННИЕ ГРАЧИ

Нам повезло!  
    И это не реклама.  
Мы родились в такие времена,  
Когда отождествлялось слово “мама”  
Со словом “солнце”, “счастье” и “весна”!  
  
Мы так росли,  
        мы верили охотно  
В ручей звенящий, в веточку ольхи...  
Мы были влюблены и беззаботны,  
И это нас толкало на стихи.  
  
И это нас толкало на признание.  
Мы были, как весенние грачи.  
Когда в душе весна и ликование,  
То в ней такая музыка звучит!..  
  
Кто виноват, что звёздными ночами  
Мы не считали мятые рубли,  
Что были мы весенними грачами,  
Трубившими о солнце и любви!

### ПОТОМ

Всё самое ужасное  
Потом произойдёт...  
Пока ещё мы классные —  
Семидесятый год!

В берёзовой обители  
Есть майские жуки.  
Пока ещё родители  
От смерти далеки.

Ещё любовь, как музыка,  
Жива, щедра, вольна...  
И позади с разлуками  
Безумная война!

Мы смелые, мы умные.  
И нет на свете бед!  
Мы солнечные, лунные,  
Нам по шестнадцать лет!

Мы юные, отважные,  
И вся страна — наш дом...  
Всё жуткое, всё страшное  
Произойдёт потом.

\* \* \*

Раны заноют под утро. Не спится.  
Рано поднимется старый солдат.  
Встанет, закурит и выглянет в сад,  
Хлебом покормит весёлую птицу.

Резвая птаха вспорхнёт со двора  
И затеряется в зелени сада.  
Дед позабудет, что было вчера.  
Ясно припомнит, что было когда-то...

Тихо присядет потом у стола  
Перебирать пожелтевшие снимки  
Тех, кто ходили со смертью в обнимку.  
Тех, кого смерть молодыми взяла.

Вынесет после пшено и ячмень.  
Снова покормит весёлую птицу.  
Тихо у ног его день притулится.  
Подвиг не подвиг,  
но прожитый день.

\* \* \*

Стоит забытая деревня.  
Пустой амбар, конюшня, пруд...  
Молчат поникшие деревья,  
Тоскою за сердце берут.

Я по твоей по одинокой,  
Деревня, улочке брожу.  
И от твоих печальных окон  
Глаза невольно отвожу.

\* \* \*

Ещё стоят бревенчатые домики  
Со стареньким забором до плеча.  
Они стоят печальные, как гномики,  
Среди стекла, бетона, кирпича.

Над ними дым то свечкой, то колечками.  
На грядках зелень раннею весной.  
Они, как встарь, с колодцами да печками,  
С крылечками под крышей навесной.

Порой спешишь, ведь жизнь торопит, кружится,  
И вдруг замрёшь, как в детстве, чуть дыша...  
Как хорошо, что есть такие улицы,  
Что в них осталась русская душа!

\* \* \*

Пригород. Провинция.  
Песни при луне...  
Все мои провинности  
Ты простила мне.

Пригород. Провинция.  
Жемчуг в лопухах.  
Как давно прописана  
Ты в моих стихах.

Как бы мне столицами  
Ни мутили кровь,  
Пригород, провинция.  
Ты моя любовь!

\* \* \*

И вот иду.  
И тысячи иголок  
Вонзаются — морозный воздух колок.  
И ветер крут,  
и путь далёк и долог.  
Но впереди —  
сквозь слёзы на глазах —  
Не райский сад,  
не звёздный царский полог,  
А маленький  
заброшенный посёлок,  
Откуда вышла  
сотню лет назад.



НАТАЛЬЯ ЕГОРОВА



## ЗДЕСЬ ВСЁ ИСКУПИЛИ — ДАВНО И НАВЕКИ

ЛАМПАДА ИЛЬИ МУРОМЦА

Догорел у киота огарок свечи.  
Развалилось крыльцо. Прохудилась бадья.  
Тридцать лет и три года сидел на печи  
Хворый костью и телом болящий Илья.

Старый дом по макушку в сугробины врос.  
А в округе — раздолье ворью и зверью!  
Но снегами прошёл мимо хаты Христос  
И помиловал нищего духом Илью.

— Ты с запечка слезай-ка, Илья, своего,  
Повойой за Христа, род спасая людской! —  
И вошла в него сила — сильнее всего,  
Что на снежной Руси рождено под луной.

Встал Илья воевать — во всю удаль и ширь —  
За Христовую Русь, исцелённый Христом.  
Тот, кто Богом богат — на Руси богатырь  
С харалужным мечом и червонным крестом.

---

*ЕГОРОВА Наталья Николаевна родилась в Смоленске, закончила Смоленский педагогический институт. Работала в библиотеке, в издательстве и газетах. Автор книг “Золотые шары”, “Птицы в городе” и “Русской провинции свет”. Член Союза писателей России. Живёт в Москве.*

Оседляет коня да взмахнёт булавой —  
Все вражины в сугробах лежат на версту.  
Но с понурой бредёт богатырь головой,  
И смертельно тоскует Илья по Христу:

— Эти горе-враги не сильнее овцы!  
Меч их рубит, а сердце скорбит о другом.  
Исцелённый Христом, я пойду в чернецы  
Воевать со грехами крестом и постом!

Даже силушка Божья — без Бога пуста!  
Станет ржавью мой меч. Станет прахом мой конь.  
Но зажгу я лампаду от Света Христа,  
Чтобы цвёл над снегами бессмертный огонь!

Ты отведаешь, Родина, горя и слёз.  
Враг посевы затопчет и храмы спалит.  
Но пройдёт мимо нищенской хаты Христос  
И великою силой тебя напоит!

\* \* \*

Закаты и зори алеют,  
Летит одуванчиков пух.  
Ещё мою маму жалеют  
Крапива, сирень и лопух.

В окошке подъезда, как в арке, —  
Двор в мутных разводах стекла,  
Где прыгала я на скакалке,  
Где зрелость её протекла.

И в старенькой-старенькой раме  
Видны все земные пути.  
И старенькой-старенькой маме  
Уже далеко не уйти...

И жизнь её тихая сжалась  
До листьев шагреновых лип,  
До взгляда, где прячется жалость,  
До сердца, что вечно болит.

До сердца, до тихого взгляда,  
До белых-пребелых сединок,  
До вырубки старого сада  
С прошедшим — один на один.

### ЦВЕТЫ ПОД НОГАМИ

Снова чёрная тень над твоей головой.  
Топчет каждый идущий — любому не лень.  
Мы раскрыли глазища в пыли золотой,  
Проживая отпущенный солнечный день.

Мы с обочин, из недр, из поющих глубин,  
С придорожных канав, с прибольничных лушков,  
С приострожных колдобин, забытых равнин,  
С приовражных тропинок, сухих бочажков.

Что не так? Ведь никто не просил нас расти  
И наивно таращить глаза от земли.  
Будто солнце упало и светит в пыли...  
А идут по нему — так должны же идти!

Но, всегда любопытно-глазасты к другим —  
Солнцу, с неба упавшему, мир — не указ! —  
Мы застенчиво смотрим и робко молчим,  
Если кто-то случайный посмотрит на нас.

И не зная, зачем понапрасну страдать  
О судьбе горемычной — вы это всерьёз?  
Мы особо не сетуем — что горевать?  
И особо не плачем — что толку от слёз?

Ты смирись и расти под ногами времён.  
Кто идёт — тот сорвёт, кто идёт — тот сомнёт.  
И головкой отвешивай низкий поклон,  
Если кто-то увидит и кто-то поймёт.

\* \* \*

Поглядит Серафим с почерневших икон —  
И опять ты ребёнок, и Богом прощён.

Он в накидочке старой, с сосновой клюкой,  
Обнимает медведя и крестит рукой.

Он насквозь тебя видит и ясно твердит  
С камня тысячи дней неустанных молитв.

В лепет детства, в сияющий свет бытия  
Бесконечное, тихое: “Радость моя!”

Заповеданный лес. Заповеданный свет.  
В миг молитвы запрятаны тысячи лет.

Мир, на травы летающий. Звон соловья.  
Неустанное, тихое: “Радость моя!”

Только разве я радость? И разве я свет?  
Посмотрю на себя — ничего во мне нет.

Только тихие слёзы от счастья бегут.  
Только тихие губы молитву поют.

И твержу, и твержу окаянная я,  
Словно главное вспомнила: “Радость моя!”

\* \* \*

Два красных куста — окровавленных, кровных.  
А в сердце поёт благодатное Небо,  
Что всё не случайно, и вырос шиповник  
Над ракой Бориса и ракою Глеба.

Над поймами — ивы, над ивами — хólмы,  
Над хólмами — облачный город. И снова —

Над облаком — просинь долиною ровной,  
А дальше — великие Царства Христовы.

И чудится: братьев, безвинно убитых,  
Распахнуто кровью священной Небо,  
И руслом днепровским в звенящих ракетах  
Вся Русь пролегла — от Бориса до Глеба.

И кровь та святая течёт и поныне  
По венам и рекам великой наградой  
Из Киева в Вышгород — к тихой Смядыни,  
И вновь от Смядыни — до Вышнего града.

И в ивах звенит, и в болотцах с осокой,  
И в утках, утят выводящих на стрежень,  
И в песне старинной, бездонно высокой,  
Над вольным раздольем днепровских безбрежий.

Себя потерявший за буйною новью,  
Ты спросишь растерянно: “Что это значит?”  
Искуplen и ты драгоценною кровью,  
Той братскою кровью — о чём же ты плачешь?

Смотри: от России к далёкому устью  
Днепр ищет пути сквозь пороги и броды  
К садам Украины и льнам Беларуси,  
В Священную Русь собирая народы.

Что братские распри? Что братские слёзы?  
Что войны народов? Что боль ножевая?  
Искуплено всё — и днепровские лозы  
Омыла ты кровью, вода ключевая!

Здесь всё искупили — давно и навеки —  
Святые и пахари, земли и воды,  
И помнят, струясь, полноводные реки  
О том, что давно позабыли народы.

А утки летят растревоженным клином  
Над древнею Русью, над вечною Русью,  
Над буйной седой головою повинной —  
И Днепр звенит — от истока до устья.

\* \* \*

Ни зги не видно в глубях ночи тёмной.  
Лишь гул шоссе и дальний лай собак.  
И снова беспредельную огромность  
Земного мира выявляет мрак.

А в кронах сосен, в черноту вздетых,  
Ещё громадней всей земли обочь,  
Летят планеты, движутся кометы,  
Мерцают, звёзды шествуют сквозь ночь.

Равнины спят. Материи унылой  
Уже не встать над смертным в полный рост:  
Ты, Космос — Царь. Но беспредельной силой  
Связал тебя спасающий Христос.

И потому над речкою и полем  
В разумной, шевелящей звёзды мгле  
Огромною безбрежной Божьей волей  
Всё движется на небе и земле.

А я — песчинка — говорю с Тобою  
Сквозь шелест крон над далью вековой,  
И благодать прощенья надо мною  
Сильнее смертных звёзд над головой.

Ты дал нам дар дерзанья и свободы,  
Чтобы смогли мы, жизнь пройдя и смерть,  
Преодолеть земную власть природы  
И вечным Словом звёздам повелеть.

### РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ

В доверии детском похоже на лиру,  
Сердечко цветка розовело в ладонях,  
Легко открывая печаль свою миру,  
Наивно не зная сердец посторонних.

И в душу входили с настырностью долга  
Любовь и беда, если в память вглядеться,  
И эти цветы вспоминала я долго  
За меткость названья: “Разбитое сердце”.

А дальше... Из мраков и пеплов восстала  
Миры сокрушившая дикая сила.  
Страну размолото. Друзей разбросало.  
Судьбу поломало. Цветы опалило.

Не стало державы — жила на руинах.  
Все в землю ушли — и любимый, и воров.  
Разбитое сердце мечтаний старинных,  
Как сладко тебе от наивных укоров!

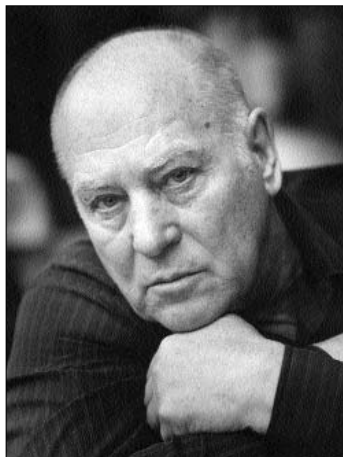
Ты счастливо за полчаса до страданья  
Не знать, что придётся жестокой порою  
Держаться за горестный хлеб выживанья —  
И выжить. И сердце поднять над землёю.

Я лишь хохочу над наивной мечтою,  
Когда от несчастий мне некуда деться:  
Разбитое сердце — безумье какое!  
Бездумье какое — разбитое сердце!

Его не разбить ни измене, ни страсти,  
Ни смерти, ни горю, ни зною, ни вьюге,  
И если весь мир разлетится на части,  
Оно уцелеет и в Дантовом круге.

Что было — то было. Что было — то сплыло.  
Как можно разбить, что от Бога не бьётся?  
Летит моё сердце над далью унылой  
И светит живым. И над болью смеётся...

КОНСТАНТИН СКВОРЦОВ



МЕРЦАЮЩИЕ РИФМЫ

(Отрывки из книги “Иное время”)

*Память — это единственный рай,  
откуда никто нас не может изгнать.*

Жан Поль Рихтер

ЧУГУННЫЕ ЛЯГУШКИ

На встрече с читателями меня спросили:

— Как случилось, что вы стали писателем?

Тот из пишущих, кто сможет ответить на этот вопрос, по моему убеждению, сможет открыть и секреты вечного двигателя... У каждого, кто над этим задумывался, есть, очевидно, свой ответ. Но все ответы будут неточными. Кто-то упал с дерева, кого-то в темечко поцеловал сам Господь Бог... Не испытав ни того, ни другого, мне остаётся только уповать на чугунных лягушек. Они сидели по кругу в фонтане нашего тульского двора, извергая тонкие серебристые струи холодной воды на лежащего в центре позеленевшего от времени огромного (так мне казалось) крокодила, готового в любой момент выпрыгнуть из водоёма и вцепиться зубами в глазеющего на него мальчугана. Мне было два с половиной года. Это первое, что я помню из моего детства. После бабушкиных сказок чугунные лягушки представлялись

---

*СКВОРЦОВ Константин Васильевич родился в 1939 году в Туле. Отрочество и молодость поэта прошли на Урале. Первые книги стихотворений “На четырёх ветрах” (1966 г.), “Стихи. Поэмы” (1970 г.), “Ущелье крылатых коней” (1975 г.) вышли в Челябинске. В разные годы на сценах театров России были поставлены 20 его стихотворных пьес. Живёт в Москве.*

живыми существами. Тень, сырость и журчащие стрелы воды, которые по детской наивности я пытался взять в руки, усугубляли это ощущение. Я знал, что лягушки — заколдованные царевны, которых я должен освободить от колдовских чар жестокого крокодила и вернуть им человеческое обличье. Лягушек мне до слёз было жалко, а чугунному крокодилу, сколь я его палкой ни бил, ничего не делалось.

Так и не став взрослым, я занимаюсь этим до сих пор.

## НОЖ В СТОЛЕШНИЦЕ

Мама рассказывала... В самом начале войны немцы забросили в Тулу финских диверсантов с целью уничтожить ведущих специалистов оборонных заводов. У них были фамилии и адреса жертв, в числе которых значился и мой родитель. Застать отца дома было почти невозможно, но они точно знали, когда он приходит домой на недолгий отдых. В тот вечер отец, вернувшись с работы, взял хлебные карточки и вышел в магазин. Мама решила выкупать меня, посадила в корыто с водой. В это время в дверь вошёл человек, в руках которого мама заметила нож (очевидно, финский).

— Где муж?

— Как где? — мама пыталась быть спокойной. — Где и все... на фронте.

Белофинн оглядел комнату и, озлобленный, метнул нож в столешницу. Я заплакал. Финн ушёл.

В этот момент вернулся отец. Нож (так говорила мама), вонзённый в стол, всё ещё колебался. Эта дрожащая на столе рукоять преследовала маму всю её жизнь...

Не знаю, партийный отец мой верил ли в Ангела Хранителя? Но Ангел Хранитель в него верил!

## ПОД МОСТОМ

В это трудно поверить. Но не верить маме, не единожды рассказывавшей мне эту историю, я не могу. Немцы наступали на Тулу. Их передовые части приближались к Ясной Поляне. Оборонные заводы эвакуировались на Урал. В первую очередь отправляли оборудование, затем — людей. Многие ещё оставались в Туле и пытались пробираться на восток собственными силами. Отец должен был уехать вместе с оборудованием, но не мог оставить город и ушёл воевать в народное ополчение (за что он потом поплатился, но это отдельная история).

Была осень. Выпал первый снег. Наскоро погрузив в санки детей и свой невеликий скарб (главное — чугунок, единственное богатство), мама присоединилась к веренице таких же “тягловых” женщин. Снег подтаял, поэтому приходилось тащить санки почти по земле. Мама выбивалась из сил. Моя сестрёнка шла рядом с санками, но меня снять с них они не могли. Я плакал и сопротивлялся. За городом, куда они, наконец, выбрались, низко пролетали немецкие самолёты, пугая пулёмётными очередями несчастных женщин.

Окончательно потеряв силы в борьбе с ненастьем и моими капризами, мама оставила осёдланные мною санки под мостом, и они с сестрёнкой продолжили свой путь, обливаясь слезами. Я орал под мостом. Метров через двести они остановились. Дальше идти сил не было. Мама пыталась вернуться за мною, но ноги её не слушались. Но и оставить ребёнка под мостом она не смогла... Каким-то чудесным образом мы всё-таки продолжили путь вместе.

Когда я рассказал эту историю Роберту Рождественскому, он сказал:

— Напиши об этом стихи. Представляешь, ты орёшь из-под моста на весь мир!

Стихов я так и не написал. Стихи никого не делают разумнее. Сколько детей орёт на весь мир из-под руин сегодняшних войн! Их никто не слышит.

## ТОПОЛЬ ПАМЯТИ

В тридцатые годы в Туле хоронили моего деда по матери Сергея Дедова. Моя мама шла за гробом своего отца со сломанной тополиной веточкой в руке. Когда над могилой насыпали холмик, она воткнула эту веточку в землю. Через несколько лет здесь вырос высокий пирамидальный тополь, по которому наши родственники, которых уже нет в живых, легко находили место последнего приюта деда. Зная об этом, я в девяностые годы прошлого века пытался отыскать это место. Недалёко от храма, где шла служба (храм никогда не закрывался), я отыскал несколько могил тридцатых годов. Над одной из них во всю ширину разорванной стволом оградки стоял высоченный тополь. Ни креста, ни звезды. В кладбищенской конторе мне сказали, что все архивы сгорели во время войны, поэтому, кто там похоронен, никто не знает. Только мамина веточка тополя позволила мне склонить голову над безвестной могилой деда.

## МОЙ “ВКЛАД” В ПОБЕДУ

Удивительное дело: память о войне пронизана голосом Левитана. “От Советского информбюро...” И шло перечисление количества сбитых самолётов, уничтоженных танков и артиллерийских орудий.

Под окнами нашего двухэтажного дома с песнями проходили колонны пленных немцев. Не думаю, что песни им нравились, но пели они громко. Вместо сапог на их ногах были деревянные колодки. Цоканье этой обуви об округлые камни шоссеиной дороги придавало песням ритм и необычное сопровождение. Рядом в потёртых кирзовых сапогах шли наши солдаты с винтовками наперевес, за ними брели худые овчарки.

Торец дома, где было окно моей комнаты, как раз выходил на эту шоссеиную дорогу. Набрав полный таз снега и приготовив несколько увесистых комков, я слушал приближающуюся песню, по которой определял местонахождение моего неприятеля. Сердце моё колотилось, как у партизана, сидящего в засаде. Когда в песне были чётко различимы слова, я знал, что колонна проходит под моим окном. Наша квартира была на верхнем этаже. Я быстро, открыв форточку, прицельно бросал свою “бомбу” в колонну неприятеля с таким расчётом, чтобы не попасть в своих. Пока моя “бомба” была в полёте, я ловко закрывал форточку, отчего враги мои, поднимая головы, не могли понять, откуда на них нисходит это “возмездие”. Я чувствовал свою причастность к Великой войне, хотя интуитивно понимал, что лежачих бить — дело не очень пристойное.

Помню сообщение о Победе, доносящееся из чёрной бумажной тарелки нашего репродуктора. Тогда я впервые увидел счастливых людей. До этого я не знал, что люди могут улыбаться и плакать от счастья.

## ДЕЗЕРТИР С ТРУДОВОГО ФРОНТА

Отец должен был эвакуироваться вместе с заводским оборудованием в тыл, на Южный Урал. Немцы были рядом с Тулой, в толстовской Ясной Поляне. Отец вступил в народное ополчение и отправился защищать свой город. Когда стало ясно, что немцам Тулы не взять (Тулу не брал ни один недруг за всю её историю), он отправился в тыл, в город Златоуст. Поскольку он опоздал, его арестовали как дезертира с трудового фронта. Благо, что не расстреляли, а отправили в лагерь. Не в пионерский. Таких дезертиров оказалось несколько. Поскольку инженеров не хватало, их как преступников, которые недавно рисковали жизнями во благо Отечества, выпустили на свободу, если так можно было назвать каторжный труд на Златоустовском оборонном заводе.

После войны отца наградили медалью “За доблестный труд в Великой Отечественной войне”. На его груди медали я не видел. Отец никогда не надевал её.



## КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ

Красную площадь я впервые увидел после Победы. Её изображение появилось, чётко не помню, или на облигациях, или на денежных купюрах после реформы. Сердце колотилось так, будто я совершал настоящее путешествие в неведомый и недоступный мне мир. Может, поэтому, когда я через десять лет стоял на Красной площади, восторгу моему не было предела... Так мы любили свою страну!

Теперь я понимаю, что именно от такой Любви мы и войну выиграли.

## СВЯТАЯ ЛОЖЬ

Ощущение голода было привычным. От этого я не страдал. Другого состояния, очевидно, не помнил. Когда отец, отбыв положенный ему за “дезертирство” срок, пришёл домой, прежде чем броситься в объятия матери, он сгреб со стола оставленные нами хлебные крошки и лихорадочно их проглотил. Только после этого он обнял всех нас.

Хлебные крошки на столе — это роскошь, которую мы могли себе позволить, так как мама, чтобы как-то прокормить нас с сестрой, устроилась работать в заводскую столовую, откуда она, под страхом смерти, приносила эти крошки и очистки от картошки.

Война не только пулями выбивает человека из человека, но и такими вот испытаниями.

Однажды я приволок домой череп лошади, но, к моему горькому сожалению, мне объяснили, что его уже кто-то варил...

Осенью на поле подсобного хозяйства завода после уборки капусты оставались кочерыжки и зелёные листья. Мы их собирали и заготавливали на зиму. Я эти листья наотрез отказывался есть. В детском саду, куда меня отводили, были щи из такой же капусты, которые я так же напрочь отвергал. Августа Владимировна — моя воспитательница — садилась со мною рядом на крохотный стул и рассказывала всяческие байки о вкусной еде, чем усыпляла мою бдительность, и я, давясь, проглатывал это зелье. Но есть варёный лук она меня так и не научила, о чём я уже взрослым с детской наивностью говорил моей матушке, когда речь заходила о каких-нибудь витаминах. Мама только улыбалась, пока однажды не поведала мне о том, что всю мою жизнь, зная моё отвращение к варённому луку, незаметно добавляла его в пищу, предварительно пропустив через мясорубку. Не видя плавающего в супе лука и не подозревая такого подвоха, я, оказывается, всё моё детство ел ненавистный мне варёный лук благодаря находчивости моей матушки. Она меня обманывала. Но это был единственный случай, когда она лгала. Святая ложь.

Мои друзья удивляются, почему я мало ем. Это привычка. И боязнь варёного лука!

## ГЛАВНОЕ — НЕ СМОТРЕТЬ ВНИЗ!

Кружок акробатики завораживал непонятностью своего названия. Но уверенность и могучие бицепсы Петра Ивановича Медведева, который набирал ребят для занятий, вселяли в хилых послевоенных пацанов такую зависть и такое уважение, что не посещать его занятия было невозможно. Отжимаясь от пола по несколько десятков раз, мы вскоре научились ходить на руках. В первые дни проходили по три метра, через неделю — по пять, через месяц — по десять. Через год многие из нас так же уверенно ходили на руках, как и на ногах. Но оказалось, этого недостаточно, чтобы стать мужчиной. Кружок готовил цирковых артистов, а работа под куполом требует отваги, и немалой.

Потому в один из солнечных, а главное, безветренных дней, что, как потом выяснилось, было немаловажным, Пётр Иванович повёл нас на Косотур — высокую отвесную гору в самом центре города. От высоты захваты-

вало дух. Дома казались крохотными, а проходящий внизу трамвай — игрушечным.

— Главное — говорил нам Пётр Иванович, — не надо смотреть вниз. Ничего страшного!..

Он подошёл к краю обрыва и, обтерев потные руки о широкие, совсем не спортивные штаны, спокойно положил ладони на самый обрез скалы и... сделал стойку. Мы замерли, боясь пошевелиться. Казалось, скажи мы хоть слово, и оно столкнёт нашего безумного руководителя в пропасть. Постояв с минуту (нам это показалось вечностью) над пропастью, он опустил на ноги и, улыбаясь, предложил нам, по желанию, повторить его трюк. Охотников нашлось мало, но если один из нас на что-то решался, то мальчишеская гордость не позволяла другим выказывать свою трусость. Я решился. Пётр Иванович, упёршись ногами в ложбинку, выбитую в скале дождями и ветром, страховал на случай, если у меня закружится голова.

— Главное, — повторял он, — не смотри вниз. Ничего страшного!

Ему-то, может, и не страшно, а каково мне? Но вера в его могучие руки и авторитет была абсолютной, мы, зная, что ничего с нами не случится, вершили на вершине маленькие подвиги, побеждая страх и самих себя!

Теперь, когда прожита долгая жизнь, я понял, что стойка над пропастью — это моё рабочее состояние. Только в случае неудачи никто не подстрахует. Главное — не смотреть вниз!

## ЧУДИЩЕ СТРАХА

После получения диплома я стоял перед доской с информацией о распределении. Через затылки стоящих передо мною сотоварищей по институту едва различил против своей фамилии: Тувинская автономная область. Понял, что это где-то очень далеко, и, приняв это как само собой разумеющееся, отправился в библиотеку на поиск русско-тувинского словаря, поскольку понимал, что незнание хотя бы самых элементарных оборотов языка народа, к которому ты едешь, по меньшей мере бессовестно. Было любопытно наблюдать (сам сделал то же самое), как мои друзья, только что получившие дипломы, с каким-то остервенением просверливают дырки в лацканах своих пиджаков для пахнущих свежим металлом значков-ромбов, свидетельствующих о высшем образовании. Без такого значка ты вроде как и не инженер. Распределение — это лотерея: кто-то выигрывал, кто-то нет, но для нас всегда главным было участие. Мы разъехались в разные концы страны, которая тогда ещё заботилась о своих питомцах.

Отправился в путь и я, захватив с собою всё нажитое к тому времени имущество: небольшой рюкзак и охотничье ружьё. В Кызыле, куда прибыл, мне нашли место инженера в отдалённом таёжном совхозе. Я ехал с большой радостью, так как узнал, что там много русских староверов и охотников, и свои “знания” тувинского языка можно будет до времени оставить при себе.

В совхозе новых специалистов не ждали. Свободного жилья не было, и директор отправил меня на “подселение” к одинокой пожилой паре, сказав, что это люди добрые и никаких забот там у меня не будет. Я вошёл в дом, где, как в сказке, жили старик со старухой... Здороваясь со мною, они низко поклонились, но тем не менее я уловил хитроватый и в то же время несколько настороженный взгляд хозяина.

— А ружьё-то тебе зачем? — робко спросил он, стараясь меня не обидеть.

— Как зачем? — недоумевал я. — У вас же здесь медведи есть!

Надо было видеть, как они рассмеялись. Старик сквозь слёзы пытался что-то сказать смеющейся старухе, показывая на меня и крутя пальцем у виска: мол, парень-то не в себе...

— Какие медведи? Ты что? — еле выдавил он из себя. — Нет у нас никаких медведей. До медведей километра два идти надо. У нас — нет!..

Холодок пробежал у меня по спине. Если до медведей всего два километра, то где же волки?

— Да и волки в огород нынче не забредали, — прочитав мои мысли, продолжил старик.

Я впервые в жизни почувствовал себе в полной безопасности. Но, на всякий случай зарядив ружьё парой патронов с картечью, положил его под матрац и лёг отдыхать после долгой дороги. Эх, где наша не пропадала!

Телевизора не было, да и хозяева мои едва ли подозревали, что есть такое чудо техники. Зато радио они слушали добросовестно, обсуждая по вечерам всё, что доносилось из старого лампового приёмника. Политика, правда, их трогала мало, но очень увлекали появившиеся в то время сообщения о Лохнесском чудовище. Меня поражало то, что эта сенсация — где-то на другом конце земли, в каком-то озере плавает “динозавр” по имени Несси — для них не была неожиданностью.

— Да у нас этих чудищ сколько угодно, — просвещал меня старик. — Вот тут недалеко есть озеро, к нему никто не подходит. Кое-кто пытался зайти в воду, но стоит только поставить ногу, как это чудовище сразу за неё хватает!

У меня разыгралось воображение. Я отковал в совхозной кузнице два больших ножа из обоймы отслуживших своё подшипников и решил побороться с этим тувинским чудовищем. Тогда, видимо в силу моей молодости, во мне жили ещё русские сказки о былинных богатырях. Сила есть, ума не надо — это про меня. Добыв в конторе совхоза мотоцикл “ИЖ”, поспешил во что бы то ни стало осуществить это героическое предприятие.

— Надо идти пешком. Ты туда не доедешь, — спокойно сказал старик, глядя на мои сборы.

— Это почему же?

— Колёса лопнут.

Я только рассмеялся и, взяв под уздцы моего “железного коня”, помчался на поиски приключений. Село южной стороной примыкало к невысоким горам дикой тайги, а северным краем выходило в степь, где хозяйство имело свои поля, засеянные кукурузой (ох, уж эта кукуруза!) и пшеницей.

Был сентябрь, но очень тепло. До озера — километров тридцать, но этот путь, тянувшийся вдоль скошенных пшеничных полей, казался мне вечностью. Наконец впереди заблестело озеро. Вначале я принял его за мираж. Но когда чётко проявились очертания его берегов, раздался странный хлопок, и мотоцикл мой осел. Лопнуло заднее колесо! А у меня ни клея, ни запасной камеры. Разбортовав колесо, я, недолго думая, сплёл толстую “девичью” косу из обмолоченной соломы и, заправив её в крышку, отправился дальше. Через двести метров — снова хлопок: лопнуло переднее колесо. Операцию с “девичьей” пшеничной косой пришлось повторить. Вспомнились слова деда: “Ты не доедешь!” Но разве такая мелочь остановит?

Озеро оказалось небольшим — метров триста в диаметре. Отчетливо просматривалось дно — метров на пять от берега. Никаких “динозавров” в нём я не увидел. Бросал камни в надежде, что дракон себя обнаружит и вызовет меня на бой, но никаких признаков жизни чудовище не проявляло. Человек не суеверный, я решил переплыть озеро — больше для самоутверждения, чем для чистого эксперимента. Проверив на поясе крепление двух тяжёлых ножей (а вдруг!), ступил в воду. И тут же почувствовал, как кто-то тащит меня за ногу, хотя чётко просматривалось дно и никаких живых (кроме меня, чуть живого) существ не было. Я выскочил на берег и долго не решился повторить свой отчаянный поступок. Но отступать тоже не мог. Осторожно опуская ногу в воду, вновь почувствовал резкий рывок, но решил держаться: видно же, что никого нет! Попробовал опустить руку — тот же эффект... Попробовал воду на язык — сплошная соль! И тут я понял, что концентрация соли в воде такова, что она превратилась в тысячи тонких иголок, которые и впиваются в тело, отчего создаётся полное впечатление, что кто-то хватается тебя за ноги.

Я спокойно переплыл озеро и вышел на противоположный берег. Вот этого делать было не надо. То есть выходить-то надо, но лучше бы я не плавал: через минуту тело стало белым от высыхающей соли. Если бы кто-нибудь увидел меня, то наверняка принял за какое-нибудь ожившее гипсовое

чудище. Тело горело, как в адовом огне (об адовом огне я знаю пока только по литературе), и соль никак не хотела покидать моё бrenное тело, как я ни тёр себя колючими сухими мочалками из соломы.

Но всё равно чувствовал себя героем: я победил в себе чудище страха! А это, согласитесь, дорогого стоит.

## ЧТОБЫ БЫЛ ПОРЯДОК!

Ночью обокрали совхозную кассу. Из сейфа исчезли сорок три тысячи рублей и пистолет “ТТ”. У конторы суетился народ. Стояла милицейская машина. Люди с серьёзными лицами и с папками наперевес деловито ходили между одноэтажной, вросшей в землю конторой и полосатой машиной. Они о чём-то спрашивали любопытствующих и заносили их замутнённые ответы в эти самые папки. Шёл своеобразный опрос свидетелей, которых как таковых не было. Преступление было совершено глубокой ночью, когда все честные люди мирно спали. Но почему не поведать о том, чего ты не видел, если у тебя богатое воображение и обостренное чувство гражданской справедливости?! Следствие и “свидетели” установили, что кража была произведена через отверстие в потолке, где проходила печная труба. Понятно было, что преступники разобрали кирпичную трубу и проникли в бухгалтерию. Вскрыли сейф. Оставалось выяснить, как и зачем они снова собрали трубу и её... побелили!.. С такими преступниками умудрённые следователи ещё не встречались, отчего их лица были серьёзнее и сосредоточеннее обычного.

Метрах в трёхстах от конторы, в поле, раздавались пистолетные выстрелы, на которые никто не обращал внимания. Не подозревая в этом ничего необычного, я решил поинтересоваться, что же там происходит. Подойдя поближе, я увидел: два подростка расстреливают из пистолета пустые консервные банки, надев их на торчавшие колья. То, что пацаны были пьяными, меня не удивило. Но откуда у них оружие? Один из них, тот, у которого был пистолет, покачиваясь, стал целиться в меня. Очевидно, консервные банки ему поднадоели. Сделав вид, что прохожу мимо, я боковым зрением не упускал парня из виду. Охотничий инстинкт подсказывал мне, что не надо встречаться с ним взглядом. Поравнявшись с ним, я ребром ладони резко ударил его чуть ниже подбородка. Пистолет отлетел в сторону. Парень рухнул наземь. Из его пиджака посыпались пачки денег. Со вторым я проделал ту же операцию. Денег из него высыпалось ещё больше. Забрав пистолет и набив деньгами всё, что могло удержать при мне такое богатство, я сгрёб этих незадачливых, невесомых из-за худобы преступников и понёс их через поле к милицейской машине...

Не помню, чтобы следователи сильно удивились моему поступку. Они, скорее, сочли меня за дурака: как можно было отдать им все деньги, не оставив себе хотя бы пару пачек. Но что поделаешь: молодо-зелено!

Во время суда на вопрос, зачем они собрали разобранный ими печь и побелили её, малолетние преступники ответили:

— Чтобы был порядок!

## ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ

Ранняя осенняя ночь. В печи потрескивают осиновые полешки. По стене нервно бегают рваные отсветы огня. Вдруг в раме холодного запотевшего окна проявляется встревоженное лицо тувинской девочки. Она стучит красными, как её пионерский галстук, пальцами по стеклу. Зовёт выйти на улицу.

Девочка тяжело дышит. Похоже, что дорога её утомила. Где-то километрах в тридцати от Бай-Хаака, в степи, умирает её старшая сестра. Шаман обещает её спасти, но кто-то из родственников, не надеясь на магическую силу знахаря, послал юную пионерку в посёлок за настоящим доктором. Рассказав подъехавшему водителю медицинского “рафика” адрес (а скорее всего, указав только направление), куда предстояло ехать, она растворилась в темноте.

Дежурный врач — знакомая женщина — просит сопроводить её в это ночное путешествие. Водитель, хотя и вырос в этом краю, не гарантирует, что сможет отыскать в этой крошечной тьме юрты, о которых рассказала пионерка. Случись что с машиной, не исключено, что придётся отбиваться от волков, а моё ружьё и охотничий опыт будут не лишними.

Дорогу только условно можно было назвать дорогой: несколько часов тряски и провалов в ухабы, от которых, как от воздушных ям, у нас всё внутри холодило. Изредка в свете фар путь пересекал серый клубок перекати-поля, отчего я хватался за ружьё, принимая куст за долгожданного зверя. Каждый охотник — немного браконьер. Я знал, что стрелять из-под фар запрещено. Но эти охотничьи инстинкты... В общем, с горем пополам мы отыскали в степи три едва дымящихся юрты.

Нас встретила та же, но уже без галстука, пионерка и повела врача в крайнюю юрту. В свете керосиновой лампы (наш водитель выключил свет, чтобы сэкономить бензин: неизвестно, сколько времени займёт обратный путь) я разглядел лежащую на кошке молодую женщину. Рядом с нею находились родственники, заранее пришедшие проводить её в “нижний мир”... Шаманов не было. Наш врач вытащила шприц... Я ушёл в машину, чтобы не быть причастным к врачебной тайне. Через час из юрты вышли возбуждённые родственники. Проводов не состоялось. Молодой организм, не знавший до этого никаких медицинских препаратов, видимо, так отреагировал на инъекции, что девушка ожила на глазах.

Усадив нашего доктора на тёплый капот двигателя, что находился между водителем и пассажирским сиденьями, наш водитель завёл машину и включил свет. Мы обмерли. Шесть шаманов (по три против каждой фары) с очень серьёзными и сосредоточенными лицами под удары бубнов танцевали неведомый нам танец.

— У них такой ритуал, — первым пришёл в себя водитель, — если они нас приняли, то наша обратная дорога будет прямой и гладкой, если нет, мы никогда отсюда не выберемся...

— Ну, успокойся... — вымолил я, заряжая на всякий случай ружьё.

— Ружьё держи наготове! — продолжал водитель. — Будет попадаться столько зверья и птиц, сколько ты отродясь не видел. Это, конечно, если мы их не обидели...

Мы тронулись в каком-то забытьи. Неизвестно, откуда и как появилась идеально ровная, как взлётная полоса, дорога, отороченная диковинными деревьями. Из-под колёс машины то и дело взлетали тяжёлые серые дрофы. Я чётко различал цвет их перьев. Стрелял столько, что ствол стал горячим. Моя охотничья страсть была удовлетворена сполна. Мы вернулись в посёлок. Патронташ мой был пустым, но ни одного трофея мы так и не взяли! Я никогда столько не промахивался...

Что это было? Охота или её иллюзия? Ответа нет у меня до сего времени. Я трудно поддаюсь гипнозу. Но с той поры к шаманам отношусь с большим уважением.

## ТРУБА ТЕБЕ, АДЕНАУЭР!

Это было в другой стране, в середине прошлого века... Федеративная Германия, чтобы сорвать сроки строительства газопровода “Дружба”, который обеспечивал энергией социалистические страны Восточной Европы, отказала Советскому Союзу в поставках труб большого диаметра. Эти трубы наша бывшая страна за золото закупала за границей. Расчёт был простым. Чтобы Советский Союз самостоятельно начал выпуск таких труб, необходимо было потратить несколько лет на проектирование и строительство новых прокатных и электросварочных станков. Это значительно задерживало развитие экономики соцстран. Борьба двух социальных систем была в самом разгаре.

На Челябинском трубопрокатном заводе немедленно был создан штаб для решения этой сложной инженерной задачи. Из Москвы приехал предсовмина М. С. Соломенцев, из Киева — сотрудники научно-исследовательского

института имени Патона во главе со своим президентом. Челябинский обком КПСС чуть ли не полным составом “переехал” на завод и курировал эту проблему. По всем расчётам необходимо было затратить не менее трёх лет. Для того чтобы сварить трубу диаметром более метра, необходим был лист шириною около четырёх метров. Таких прокатных станков в СССР не было.

Лучшие инженерные умы ломали головы над решением этой государственной задачи. На кону — престиж великой страны. Штаб работал круглосуточно. Сроки работ сжаты до предела. Но трубы нужны были “уже сегодня”, а не через три года... Глядя на очередные горячие научные и инженерные дебаты, проходящий мимо слесарь дядя Паша с детской непосредственностью заметил:

— А чего вы ломаете головы? Зачем нам такой широкий лист, мы же сможем сваривать трубы из наших узких листов, делая два полукорыта.

Всё гениальное просто. Но от простоты этого решения учёные мужи побледили, потеряв дар речи... Действительно, нужно было только несколько реконструировать прессы и перестроить электросварочные агрегаты на два шва... И это стоило вагоны нашего золота, перетекающего в сейфы Германии. Штаб заработал с новой энергией. Работа не останавливалась ни на секунду. Я с восхищением читал в боевых листках об очередных трудовых подвигах слесарей-сборщиков, электромонтёров, крановщиков, которых за многократное перевыполнение производственных заданий решением администрации завода награждали пачками лезвий для бритвы “Спутник” и парой носков. Был такой дефицит! Но люди работали не за носки и лезвия. Германией был брошен очередной вызов, и они его приняли. Через три месяца стан “1020” был запущен. Это было глубокой ночью. И мой друг Валентин Крючков, сваривший первую трубу, под восторженные возгласы присутствующих написал на ней попавшим под руку осколком мела: “Труба тебе, Аде-науэр!” Участники этих событий были удостоены правительственных наград и даже Ленинских премий. И дядя Паша, получив пачку бритвенных лезвий и носки, был по-настоящему счастлив!

## СВОИМИ ГЛАЗАМИ

В Челябинск приехал зоопарк, что случалось не так часто. По выходным дням жители спешили туда, чтобы показать своим детям невиданных животных и разного рода зверушек. В один из понедельников ко мне подбегает восторженный слесарь Пастухов и с горящими глазами рассказывает, что он вчера был с сыном в зоопарке и видел, как слон брал у служителя зоопарка буханку хлеба и одним движением отправлял его себе под хобот.

— Разве рот у слона под хоботом? — охлаждая его пыл, спокойно спросил я.

— А где же? — засмеялся он.

— Как где? Под хвостом! — со знанием дела заявил я.

Он рассмеялся моей, как ему показалось, шутке и вышел из каптёрки.

Тем временем я быстро оповестил всех ребят, с кем он мог встретиться в ближайшее время, и попросил их, чтобы на его восторги о слоне все говорили, что рот у слона под хвостом! К обеду бедного посетителя зоопарка подняли на смех, но он продолжал упорствовать (хотя уже не так решительно), что рот у слона под хоботом.

А к концу рабочего дня обессиленный Пастухов уже говорил:

— Ребята, своими глазами видел, как вмиг исчезала буханка, а куда слон заталкивал её, если честно, не помню...

Такова сила общественного мнения.

## СТИМУЛ

В первомайские праздники обычно открывалась весенняя охота. Весь апрель мы предвкушали всю прелесть предстоящего выезда в охотхозяйство, на затянутое весенним туманом озеро, над которым со свистом проносятся

стаи чирков и пилотируют тяжёлые, окольцованные сизым свадебным шейным ободком селезни. Мы с упоением рубили на пыжи ненужные по весне старые валенки и снаряжали патроны, вывешивая на аптечных весах драгоценные граммы пороха и дробы... Особенно вызывали умиление крохотные медные гирьки и алюминиевые разновесы, которые бережно укладывались в чашечки весов специальным пинцетом. Занятие это обостряло наше древнее охотничье чувство, и мы с трепетом в душе считали последние предпраздничные дни и часы, когда можно будет покинуть проходную завода и вернуться в мир дикой природы...

И вот, наконец, наступило тридцатое апреля. Яркий весенний день. Работа в голову не идёт, все охотники мыслями своими уже в дороге. И вдруг, когда да конца рабочей смены остаётся два часа, ко мне в каптёрку заявляется начальник цеха и говорит, что в стенке ванны для оцинковки труб (а в ванне десятки тонн расплавленного цинка) он обнаружил раковины (очевидно, выгорел углерод). Это была аварийная ситуация, требующая немедленного ремонта, на который уходило обычно не менее двух недель. Прощай, охота! Я не мог покинуть цех, пока не будет устранена опасность “взрыва” расплавленного цинка, но и не ехать на охоту было выше моих сил. Как написал один из моих друзей: “Стало слышно, как у бабки зарабатывали мозги!” Я, вспомнив свою первую специальность совхозного инженера-механика, попросил ребят по начерченному мною эскизу срочно изготовить пару приспособлений для автоматической откачки расплавленного цинка по принципу шнекового зернопогрузчика, какие используются на сельских токах. Обычно цинк вычерпывали из ванны специальным черпаком, как суп из кастрюли, на что уходила не одна смена...

Ребята понимали сложность ситуации. Они тоже были охотниками, потому подгонять никого не приходилось. Когда “насосы” были готовы, мы опустили их в ванну и, подставляя изложницы с цинком и увозя их кранами, быстро откачивали жидкий металл, пока не обнажились на стенках ванны злополучные раковины. Дальше нужно было рисковать. Я приказал лить на оставшийся в ванне расплавленный цинк воду до тех пор, пока не образуется твёрдая застывшая корка. Через несколько минут весь цех утонул в густом тумане. Не было видно протянутой руки. Пришедшая к этому времени вечерняя смена работала на остальных участках цеха на ощупь. Благо, что никто почему-то не роптал. Испытав на прочность образовавшуюся корку “льда” на озере расплавленного цинка, я надел валенки (температура всё же была высокая!) и прыгнул на “лёд”, прихватив с собою электросварку. Электрод быстро таял, заплывая раковину. Ребята, видя успех моего безумного предприятия, как десантники, высадились на “лёд” этого горячего озера, и через час ванна была готова принять в себя ещё не остывший в изложницах цинк. Так работа, на которую требовалось много дней, была выполнена за три часа. Измотанные от нервного напряжения, но счастливые, что ещё успеваем на утреннюю зорьку, мы сели на мопеды и рванули за город. С тех пор до кончины цеха, которая произошла в шальные девяностые прошлого века, подобные аварии устранялись нашим “революционным” методом, за который, кстати сказать, мы получили солидную премию, как за рацпредложение.

Однажды Виктор Петрович Астафьев мне сказал: “Мы бы ничего с тобой не написали, если бы не были охотниками”. Теперь я понимаю, что и моих технических изобретений было бы значительно меньше...

## КОГАН

Не скажу точно, как попали из Америки на Урал оборудование и чертежи трубосварочного цеха. Наши умельцы больше по интуиции, чем по знанию языка, собрали стан и запустили его в работу. Этот гигант каждую секунду “выплёвывал” восьмиметровую, оранжевую от высокой температуры трубу на рольганги, которые увозили трубы “в отделку”, где их покрывали цинком и нарезали резьбу для соединительных муфт.

Среди немногих инженеров, принимавших участие в пуске цеха, был незаметный не столько по своей природной скромности, сколько из-за худобы Наум Коган. Он был чуть ли не единственным, кто знал английский язык, и потому незаменимым.

Разбирая чертежи, он видел в них то, что можно было бы усовершенствовать, но, не рискуя прослыть выскочкой, об этом не докладывал. Однако после пуска цеха, получившего номер семь, Коган почти в одиночку сконструировал новый, более производительный стан, и, надо отдать должное руководству завода, новый цех был построен в короткие сроки и заработал на отечественном оборудовании. Ему присвоили номер восемь. Цех работает по сей день, в отличие от американского, который, потрудившись на славу, превратился в металлолом.

Пуск восьмого цеха отмечался как победа советской инженерной мысли, потому Правительством было принято решение отметить автора идеи Ленинской премией.

Фамилия Когана была единственной. Для деяния такого масштаба людям, оформлявшим документы, одного “гения” показалось мало. По мере прохождения бумаг по инстанциям над фамилией Когана появились имена начальника цеха, главного инженера и, естественно, директора завода.

Когда список претендентов пришёл в Комитет по премиям, комиссия посчитала его несколько длинноватым, вычеркнув нижнюю фамилию какого-то никому не известного Когана...

Директор завода оказался человеком совестливым и на вручении премии сказал, что этой наградой они обязаны Науму Иосифовичу Когану. Ошибку решено было исправить, и через год Ленинская премия пришла на завод. Но вручали её теперь не автору идеи, а его жене Ирине Фёдоровне. Талантливый инженер до этого дня не дожил.

Вдова, по доброте душевной, диплом и медаль передала мне. Может, предчувствовала, что я стану тем, кто может вспомнить эту историю и повествовать её людям. Что и делаю...

## **НА ЛОДКУ НАДЕЙСЯ, НО САМ НЕ ПЛОЩАЙ!**

Пляж озера Смолино в воскресные летние дни был полон народу. Редкие беседки, похожие на африканские пальмы, создавали ощущение полного комфорта. О дальних заморских курортах никто и не мечтал. Дети плескались у самого берега. Взрослые, стоя по пояс в воде, играли в волейбол. Далеко почему-то никто не заплывал. Озеро большое. Противоположный берег почти сливался с линией горизонта.

У моих детей был большой, разрисованный под глобус мяч, который я привёз из Москвы, чем он, очевидно, был им особенно дорог. Потому, когда мяч отнесло лёгким ветерком на глубину, Инга попросила меня за ним сплывать. Я не торопясь вошёл в воду и поплыл. Мяч был в тридцати метрах от берега, потому догнать его не стоило большого труда. Но, когда до мяча оставалось менее метра, порыв ветра отогнал “глобус” от меня, и я продолжил свою погоню. Но стоило только протянуть руку, новый порыв ветра относил мяч в сторону. Как будто кто-то невидимый затеял со мною опасную игру, увлекая на середину озера.

Я уже чувствовал усталость, но понимал, что рано или поздно мяч догнать и, используя как спасательный круг, доберусь до берега. Силы меня медленно покидали, а мяч всё не давался в руки. Я понял, что догнать его уже не хватит сил... Я бы мог, быть может, сделать ещё последний отчаянный рывок, но тут увидел, что метрах в двухстах от меня плывут на лодке парень с девушкой.

Я понял, что спасён, и, бросив бессмысленную погоню за мячом, поплыл к лодке. Она остановилась. Силы меня окончательно покинули, когда до лодки оставалось метров пять. Я обрадовался, видя, как вёсла ударяются о воду всё чаще... И вдруг понял, что лодка не приближается, а удаляется с нарастающей скоростью... Я крикнул молодым людям, чтобы они разрешили



мне немного подержаться за борт. Не тут-то было. Меня никто не хотел слышать. Лодка уходила за горизонт...

Я огляделся: берегов не было видно. Только солнце над головой, но за него не подержишься. Но зато оно — ориентир, я знал, куда плыть. Да, но сил-то уже не было. Я их, может, и приберёг бы, если бы не надеялся на ту лодку...

Но нужно плыть, плыть, плыть — не тонуть же, в конце концов! “На лодку надейся, но сам не плошай”, — мелькнуло у меня в голове, хотя от охватившего меня ужаса соображал я очень плохо. Так или иначе, я взял, как мне казалось, кратчайшее направление к берегу и поплыл... Пытался лечь на спину, чтобы отдохнуть, но у меня не получалось, я сразу погружался в воду... Интересная и необъяснимая штука: я то терял сознание, то оно ко мне возвращалось. И вот в эти моменты, когда оно возвращалось, я понимал, что плыву и ещё не утонул.

Я уже отчётливо видел большие дома на берегу, хотя на пляже, откуда я “стартовал”, домов не было. Но это не суть важно, главное — я видел берег. И всё же, когда до земли оставалось метров двести, я сдался и, понимая, что до берега не дотянуть, пошёл под воду. Но когда нос мой ещё был над водой, я почувствовал под ногами что-то твёрдое. То ли забитая в дно деревянная свая, то ли топчак или, может, просто мой Ангел Хранитель мне подставил своё плечо. Я не знаю, что это было. Но, стоя на цыпочках на этом спасительном “островке”, через минуту почувствовал, как ко мне возвращаются силы... Качаясь, вышел я на берег около профилактория завода в полукилometре от того места, откуда три часа назад поплыл за мячом и где в горе метались моя жена и дети, решившие, что я утонул.

Воистину, надейся только на себя... Но и береги Ангела Хранителя!

## ИГЛА

Мы часто ухитряемся найти проблемы там, где они не существуют. На трубном заводе, в седьмом цехе, где я работал механиком, бригадиром слесарей был Иван Афанасьевич Носов. Бог дал ему великий талант умельца. Когда говорят “уральский кудесник” — это о нём. В самых сложнейших механизмах для него не было секретов. Он слышал работу станков и прокатных станов так, как врач слышит работу сердца, мгновенно определяя любые сбои. О нём рассказывали легенды. Когда в других цехах, имеющих совершенно иное оборудование, случались аварии и ремонтники терялись в догадках, что случилось, всякий раз звали Ивана, и он, никогда доселе не видевший этого оборудования, мгновенно находил и устранял неисправность. Талантливый и безотказный человек.

Случилось так, что я купил жене швейную машину “Подольск”. Марка известная и надёжная. Но жена заявила, что шить машина наотрез отказывается. Будучи инженером-механиком, я только улыбнулся. Швейная машина — не прокатный стан, что там может быть такое, чего бы я не исправил?! Я разобрал всю машину “по косточкам” и собрал заново. Машина не работала. Я повторил ту же операцию. Результат тот же. Я стеснялся обратиться к Ивану за помощью, дабы не быть осмеянным за свою инженерную несостоятельность. Окончательно отчаявшись, я всё же попросил Ивана посмотреть злполучную машину. После работы мы зашли ко мне. Не обнаружив никаких дефектов, Иван, так же, как недавно я, разобрал всю машину и, собрав её заново по всем законам швейного механизма, попробовал прострочить какой-то материал — машина не работала! У Ивана от удивления на лбу выступил холодный пот. Машина по всем признакам должна была работать, но не тут-то было! Три вечера после работы Иван разбирал и собирал машину. Всё бесполезно.

— Нужно спросить Нину, — нерешительно, потерянным голосом сказал Иван. Это была его жена, которая работала в швейном ателье. Обращаться к женщине за советом было для нас занятием постыдным, но что делать?

Нина подошла к машинке и засмеялась:

— Да у вас игла не тем боком вставлена!

Как мы не обратили на это внимание! Мы искали серьёзный дефект, а оказался такой пустяк... На игле был “ручеек”, где проходила нитка. Повернув иглу, Нина ловко вставила нитку...

Стук работающей машинки казался нам пулемётной очередью, которой она “расстреливала” нас — двух посрамлённых механиков.

## ЭКЗАМЕН

На моём дне рождения, как всегда, было много гостей. Я приготовил множество всяких прельщающих запахами напитков, а Тамара Николаевна накрыла богатый по тем временам стол. Среди гостей был мой друг Геннадий Назаров, с которым мы выступали за заводскую команду по лыжному двоеборью: бег пятнадцать километров и прыжки с трамплина. Гости веселились, разливая по бокалам мои “освежающие” напитки, а Геннадий был молчалив: не пил, не ел, сосредоточенный на каких-то своих мыслях...

— Что с тобою? — спросил я его.

— Ты знаешь, — произнёс он, болезненно рассматривая бутылки и закуски на столе, — завтра утром у меня экзамен на заводе. Если не сдам, меня отстранят от работы. Так что извини, пить не могу...

Уговаривать его было бесполезно. Отдав должное его мужеству, я продолжил праздник с гостями, которым не предстояло наутро никаких испытаний, кроме лёгкого похмелья.

Утром, с трудом поднявшись, я пошёл на завод и вдруг вспомнил, что сегодня мне предстоит принимать экзамен у инженерно-технических работников завода на разрешение передвижения грузов кранами. Это разрешение должен был иметь каждый ИТРовец, так как во всех цехах были грузы и краны, без которых работа оказалась бы парализована.

Я направился в экзаменационную комиссию, состоящую из четырёх человек (я был её председателем), и, разложив билеты, стал ждать “жертву”, решившуюся сдавать экзамен первым. Первому всегда делалась скидка за смелость. Каково же было моё удивление, когда на пороге появился... Гена Назаров! Он растерянно поздоровался.

— Берите билет, — невозмутимо произнёс я, дабы не выдать тайны нашей дружбы.

Дав какие-то нелепые поручения членам комиссии, я остался один на один со своим другом.

— Мог бы вчера и выпить! — с досадой произнёс я.

— Кто же знал... — тяжело выдохнул он, пряча в карман свою зачётную книжку с отличной оценкой.

## МАРКЕЛЫЧ

Я не застал Октябрьскую революцию семнадцатого года, потому не могу рассказать, как жилось рабочему классу царской России. Судя по школьным учебникам моего времени, жилось ему несладко, потому и произошла эта самая революция, названная впоследствии переворотом. Зато я могу свидетельствовать, как жилось рабочему классу Урала, поскольку моя рабочая биография начиналась с профессии слесаря на Челябинском трубном заводе. Я пришёл на завод, уже поработав инженером в Тувинской республике. Оборудование сложное, его необходимо было потрогать собственными руками. Бригада слесарей, в которую я пришёл, была дружной и профессиональной. Я вписался в неё довольно легко и вскоре стал бригадиром, а следом и механиком цеха. Рабочие приходили к семи часам утра, хотя смена начиналась в восемь. Они открывали свои рабочие тумбочки с инструментом, протирали ветошью каждый гаечный ключ, уверенные, что от каждого поворота их ключа зависит экономика гигантской страны. Возможно, это так и было, не берусь спорить. По окончании смены они бережно, с какой-то

благодарностью укладывали свои инструменты в тумбочки и шли в раздевалку, где отмывали под душем специальной содой свои натруженные и промасленные мышцы. После чего чуть ли не строем шли домой, а точнее, во дворы своих домов, где их уже ожидали более резвые сотоварищи с бутылкой дешёвого вина и костяшками домино, которыми они “закусывали”, резко ударяя ими по отполированной до блеска фанере.

Так проходили месяцы и годы. Будучи человеком молодым, я с неуёмной энергией принялся разрушать привычные стереотипы их размеренной, десятилетиями сложившейся жизни, организуя культпоходы то в кино, то в театр, то в лес... Для них это дело было настолько непривычным, что каждое такое мероприятие становилось событием вселенского масштаба. Так или иначе, но они смирились с причудами их нового начальника. Попривыкнув, стали даже сами проявлять инициативу. Особенно нравились вылазки в лес, где многие из них никогда не были. О том, что рядом лес, они как-то никогда не задумывались. Однажды после такой поездки я спросил Маркельча, который проработал в цехе около тридцати лет, как ему понравилось в лесу? Глаза его загорелись. Он долго и мучительно подыскивал слова для выражения своего состояния:

— Ты знаешь... Ну, знаешь!.. Как в парикмахерской!

Это был предел его восторга. Других запахов, кроме запахов окалина металла, соляной кислоты, цинковой пыли и машинного масла, Маркельч не знал.

## ПРАВИЛА ЭТИКЕТА

С приходом к власти Никиты Сергеевича Хрущёва появились первые заграничные забавы. Была объявлена лотерея. Не зная, что это такое и с чем её едят, за лотерейными билетами выстраивались очереди, как в войну за талонами на хлеб. Те, кому не доставались эти цветастые, обещающие призрачное счастье квиточки, возмущались всерьёз и кричали с полным беспартийным негодованием:

— Безобразие! Где справедливость? Опять даёте только коммунистам!

Страсти утихли только после появления таблицы с редкими номерами выигравших билетов. Невыигранными билетами был усеян весь цех, и их, как после обильного снегопада, гоняли из угла в угол разгулявшиеся по полу сквозняки.

Железный занавес раздвигался медленно, но верно. Появились и первые профсоюзные (а значит, халявные) путёвки за границу. Две путёвки достались моему участку, и я решил поощрить ими самых достойных ребят. Мы с почестями, от которых у всех целую неделю болела голова, проводили их в Париж. Так провожали и встречали только космонавтов.

С нетерпением я ждал их возвращения, надеясь узнать, наконец, из первых уст, а не из прессы, как в Париже цветут каштаны, как крутится знаменитое колесо Мулен Руж, каковы, на самом деле, музеи знаменитого Лувра, правда ли, что знаменитые скульптуры Майоля и Родена без охраны лежат на зелёных газонах французских улиц.

Когда после трёхнедельного отсутствия наши герои появились в цехе, я бросился к ним навстречу, засыпав их этими вопросами. Они с удивлением посмотрели на меня:

— Какой, на хрен, Лувр? Дождь лил... Мы две недели играли в гостинице в карты!..

Мне ударила в виски кровь, как будто по голове пропхлись поленом.

— И что, вы даже по улицам не походили?

— Так мы говорим — дождь же был...

— Вот тебе и Мулен Руж! — сказал я сам себе и решил в следующий раз не проявлять такую пролетарскую благотворительность, а поехать во Францию самому.

Ждать долго не пришлось. Меня, если честно, несколько смущало то, что необходимо было пройти некий инструктаж по правилам поведения советского

человека за границей, дабы не ударить в грязь лицом на глазах всей цивилизованной Европы.

В областном совете профсоюзов этим занималась специальная, внушительных размеров, дама из “бывшего дворянского племени”.

Я вежливо (“Бонжур, мадам!”) поздоровался, чем вызвал у неё одобрительную улыбку.

— Молодой человек, — очень дружелюбно сказала она, — не исключено, что вашу делегацию будет принимать мэр Парижа. Вам необходимо знать определённые правила этикета.

— Вы зря теряете время (это было не очень вежливо), я всё знаю!

— Что вы знаете?

— Что вилку надо держать в левой руке...

— Правильно... — она расплылась в блаженной улыбке.

— А котлету — в правой... — продолжил я, подхватив её интонацию.

Она вспыхнула, но нашла в себе силы указать мне на дверь.

К моему удивлению, в Париж я всё же поехал.

Яркие, красочные витрины слепили глаза. Моим страстным желанием было купить магнитофон. В одной из витрин я увидел предмет моего вожделения и рядом — электроутюг. Я не верил своим глазам: электроутюг и магнитофон стояли совершенно одинаково. Это не укладывалось в голове. У нас электроутюг стоил в сто раз дешевле магнитофона. Решив, что это недоразумение или простая опечатка в ценнике, я решил купить в подарок другу газовую зажигалку. Их у нас в стране тогда не производили. Я заплатил шесть франков и с чувством выполненного долга двинулся дальше. Через несколько шагов я увидел точно такую же зажигалку, которая стоила пять франков. Дело не в деньгах, хотя каждый франк был на учёте, а в принципе! Как же так: одинаковые вещи стоят по-разному!

— Это — рынок!.. — удивляясь моему непониманию, сказал мне мой попутчик.

— Я понимаю, что рынок, — возмущаясь, возражал я, — а где же совесть? Они же совершенно одинаковые.

Я тогда ещё не знал, что Совесть и Рынок, как Гений и Злодейство, — “вещи несовместные”.

Делегацию возглавлял профсоюзный деятель по фамилии Чернуха. Тогда слово это было только фамилией, а не определением искусства, которым впоследствии нас щедро одарила горбачёвская “перестройка”. Это к слову, а занятным было то, что этот самый Чернуха строго-настрого приказал всем членам делегации докладывать ему до двенадцати часов вечера, что все мы уже сладко спим в своих постелях... А сам раньше двух часов ночи в гостиницу никогда не возвращался. Ночной Париж прельщал своими достопримечательностями не только Чернуху. Мой попутчик, прилично говоривший по-французски и хорошо знавший французскую столицу, повёл меня на площадь Пигаль, прославленную на весь мир своими “ночными бабочками”. Эти самые “бабочки”, которых я ранее отродясь не видел, произвели на меня тягостное впечатление. Мне было их жалко. Я готов был жениться на всех сразу, чтобы они не занимались этой унижающей женщину работой. Единственное, что меня охраняло от этого столь опрометчивого поступка, это моральный кодекс строителя коммунизма.

Будучи человеком обязательным, в одиннадцать тридцать вечера я поступал в номер Чернухи, но, не услышав никакой реакции, спустился в вестибюль гостиницы и стал ждать своего нерадивого руководителя. Сотовых телефонов не было, поэтому в гостинице стояли будки для международных телефонных разговоров. Я заказал разговор с Россией, надеясь скоротать время.

Рядом со мною, заказав разговор с Новым Орлеаном, на диван села молодая женщина с красивыми, опушёнными длинными ресницами глазами. Поскольку она поздоровалась первой и, прежде чем сесть, спросила на это разрешение, я посчитал себя обязанным продолжить наше знакомство, дабы скоротать потерянное в ожидании звонков время.

Найдя общий язык (мы одинаково плохо говорили по-немецки), мы стали задавать друг другу незамысловатые вопросы типа: что, где и когда?

Я уяснил, что она учится в Сорбонне, что её родители живут в Новом Орлеане (это с ними она собирается говорить по телефону). Я узнал также, что родилась она в Польше, что мать у неё — коммунистка, а отец — сионист... Может, и наоборот, я не запомнил, хотя это меня развеселило. Её почему-то очень волновало моё происхождение, которое она пыталась прочитать, вглядываясь в мои глаза:

— Американец?

— Но, — говорил я.

— Австриец?

— Нихт! — парировал я.

— Швед?

— Ни за что! — смеялся я.

— Финн?

— Никогда!

Так летело время. Когда же я ей, уставшей от придуманной игры, с присущей советскому человеку гордостью сказал, что я — русский, она не хотела в это верить.

— Почему ты не веришь, что я русский? — пытался я понять её логику.

— Потому, что у тебя костюм хороший!

Это было уже слишком. Я отвернул борт пиджака, показывая ей эмблему золотоустовской швейной фабрики, где перед самой поездкой я купил этот костюм.

— Вот, пферда крылатая! — вразумлял я её, смешивая немецкие и русские слова.

Это произвело на неё впечатление. А я стал рассказывать про Урал, про леса, горы и озёра, про рыбалку, охоту. С каждым моим рассказом её глаза становились всё больше.

Я переговорил с Челябинском, она — с Новым Орлеаном. Мои слова о том, что в Сибири по улицам ходят люди, а не медведи, были для неё настоящим открытием. Она проглатывала мои байки, как горячие пельмени, о которых я также не мог не поведать. Автоматически глядя на часы, я потерял уже всякую надежду дожидаться Чернуху. Пора было расходиться и нам, но чувствуя, что она не хочет расставаться, я предложил ей поменяться адресами, чтобы мы могли продолжить наше общение. Визитки не было. Я старательно, чтобы можно было прочитать каждую букву, вывел каллиграфическим почерком: “СССР. Город Челябинск, улица Гагарина, дом № 58-А. СКВОРЦОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ”.

Вырвав из своей записной книжки страницу с адресом, я вручил её моей новой знакомой. Получив от неё такой же клочок бумаги, я бережно положил его во внутренний карман пиджака, пытаясь этим подчеркнуть, что этот документ мне особенно дорог. Мы разошлись, почему-то не пожелав друг другу спокойной ночи.

Ночь, действительно, спокойной не была. Наутро, встретив её в вестибюле, я кинулся к ней, чтобы поприветствовать со всей международной солидарностью, но она резко отвернулась от меня, показав всем своим видом, что мы не знакомы.

В недоумении и надеясь на сочувствие, я обратился к подошедшей ко мне сопровождающей нас переводчице:

— Странные женщины эти француженки!.. Вчера весь вечер любезничала со мною, а утром делает вид, что мы не знакомы. Мы даже адресами обменялись...

— А где её адрес? — улыбаясь, как будто уже разгадала тайну наших странных отношений, спросила переводчица Люба.

— Где-то здесь... Я его ещё не смотрел, — сказал я, “отрывая от сердца” заветный листок, который я так и не удосужился прочитать.

Аккуратно я развернул страничку, на которой красивым женским почерком было выведено: “*Mon cher ami! Je t’attends dans la chambre numéro 206. N°*”. Не нужно было знать французский язык, чтобы понять, что это означало: “Мой милый друг! Жду тебя в 206-м номере”.

На лбу у меня выступил холодный пот: это я вспомнил, с каким усердием выводил вчера вечером: “СССР. Челябинск...”  
Вот такая Чернуха! Это вам не котлета в правой руке...

## ОНДАТРА

Случилось так, что какое-то время я работал в конструкторском бюро. Коллектив был небольшим: несколько мужчин и женщин. Каждый понедельник, особенно после праздников, несмотря на то, что каждый был сосредоточен на своём рабочем задании, деловая тишина прерывалась весёлыми рассказами (особенно говорить любили женщины) о том, как прошли выходные дни. Я, не нарушая их традиции, “вклинился” со своим рассказом о том, как ездил на открытие весенней охоты. Как я впервые увидел вылезшее из воды мерзкое желтозубое чудовище — водяную крысу ондатру, с каким остервенением она корябала своими острыми клыками ствол моего ружья, которым я пытался пошевелить её... Вдруг одной из женщин стало плохо. Неужели у неё так разыгралось воображение? Придя в себя, не без хлопот коллег, она пояснила:

— Мой муж — тоже охотник. Двадцать лет он зовёт меня ондатрой. И я думала, что это имя ласкательное...

## РОДНИК

У каждого человека есть свой “остров” — свой родник, свой ручей, своя гора или даже просто знаковое дерево, — с которым он сроднился в детстве и который остаётся в памяти навсегда.

Этот островок движется в нашем сознании параллельно событиям нашей жизни. Что бы с нами ни случилось, он всегда готов прийти на помощь: напоить чистой водой, открыть новые синие горизонты или упрятать в тень от изнурительной жары... Это защитная реакция организма на нашу исполосованную стрессами взрослую жизнь.

Для меня таким оазисом всегда была и остаётся Александровская сопка, расположенная в окрестностях города Златоуста, на камнях которой прошла значительная часть моего бродячего детства. Именно с высоты её скал я впервые осознал бесконечность нашего бытия: чем выше поднимаешься, тем тебе всё больше и больше открывается новых хребтов, невидимых ранее, и нет им ни конца, ни края...

После Кемеровского совещания молодых писателей, чтобы осмыслить написанное ранее и попытаться найти что-то новое, я приехал в город Златоуст и ушёл с неподъёмным рюкзаком на Александровскую сопку, где более месяца прожил в палатке на небольшой поляне, окружённой глыбами камней, покрытых цветными лишайниками. Под одним из камней бил родник, из которого вытекал говорливый ручеёк, теряющийся в корнях большого куста дикой смородины.

Запах чая, заваренного из листьев этого куста, уходил в низину, смешиваясь с непроглядным туманом. Через сорок пять лет я отыскал этот куст, который ушёл вглубь леса от высохшего родника. Смородиновый чай, направленный зверобоем и мятой, возвращал меня в годы моей творческой юности...

Здесь, в палатке, под пересвист рябчиков и дроздов, под клёкот тетеревов я впервые почувствовал, что вся красота мира может поместиться на Sizом крыле сойки, и ты её обязательно увидишь, если по-настоящему любишь взрастившую тебя землю. И такая любовь дана каждому, кто хоть единожды пил воду из этого родника у Александровской сопки.

Помню, как первую ночь я спал в обнимку с ружьём со взведёнными курками. Медведей и рысей в те годы здесь было гораздо больше, чем людей. Поскольку никто меня не потревожил, во вторую ночь ружьё лежало уже в стороне, а вскоре я о нём забыл и вовсе. В конце концов, другие обитатели этих

скал и урочищ пьют ту же воду, что и я, и питаются тем же подножным кормом... Они же бродят без ружей, а почему я должен быть вооружён? Это нечестно! Единственное, что меня отличало от них, это палатка, костёр и стихи, а земля и небо — одни и те же.

Бездумно бродя кругами по одному и тому же месту, наслаждаясь солнцем, простреливающим лучами густую листву, я вытоптал узкую тропу, которая после каждого дождя казалась бархатной, а на тёмно-коричневой её полосе чётко отпечатывались мои следы. Эта прогулка занимала минут пять. После каждого дождя я считал должным оставить на тропе свои следы, напевая навязшие на языке слова: “На пыльных тропинках далёких планет // останутся наши следы...”

Однажды, делая второй круг, я увидел рядом с моими следами следы рыси. Она шла след в след за мною и, судя по отпечаткам, была немаленькой... Тут я вспомнил о ружье. Но бежать за ним было поздно. Рысь шла сзади по моим следам, и любое моё резкое движение могло спровоцировать её на прыжок... Двигаясь с той же скоростью, я боковым зрением искал подходящий сук или камень, чтобы встретить своего оппонента не с пустыми руками. Опыт общения с этой кошкой у меня уже был, о чём до сих пор свидетельствует оставленный на моём лбу её автограф. Я плавно подошёл к подходящей для обороны коряге и, подняв её, повернулся навстречу судьбе. Рысь, очевидно прочитав мои мысли, резко свернула с тропы и скрылась в зарослях... Я решил, что больше не выйду на тропу без ружья на плече. Нечестно? Да! Зато не страшно!

Ночью грянула гроза. В прямом смысле. Мимо палатки неслись реки воды, готовые увлечь меня с собой. Но вода — это полбеда. Я оказался в центре грозы. Слепящий, как от сварки, свет висел по несколько минут. Когда он на мгновение угасал, я видел, как вопреки логике горели тонкие небольшие деревца, в то время как высоченные сосны и ели только прогибались от ветра. Молния их щадила. До этого повидавший немало гроз, я их представлял совсем по-иному. Если есть ад на земле, то я в нём побывал.

Наутро солнце быстро загладило следы разгулявшейся стихии. Снова запели птицы, застрекотали кузнечики, а у меня ещё тряслись зубы от холода. Всё моё имущество и одежда были насквозь мокрыми.

Я зачерпнул котелком воды из родника и, добыв огонь старым дедовским способом, высекая искры из кварца, запалил костёр.

Чай, заваренный из смородины, зверобоя и мяты, тут же вернул меня к жизни, которая уже мне казалось раем на земле...

Но пора было возвращаться в город, где грозой был сорван асфальт с центральных улиц, а по заводу имени Ленина люди переплывали из цеха в цех на лодках.

Но это такая мелочь по сравнению с парящими на солнце скалами, моей аспидной тропой, уходящей в дебри, и котелком горячего смородинового чая.

Теперь, когда я думаю о моих друзьях, навсегда покинувших наше Отечество, я их за это не виню. Просто они не пили воду из родника у Александровской сопки.

## ТРОЯНСКИЙ КОНЬ

Автор романа “Тихий гром” (не путать с “Тихим Доном”!) Пётр Михайлович Смычагин отмечал свой юбилей. От писательской организации, помимо поздравительного адреса, обычно вручался какой-нибудь памятный подарок. На Южном Урале, славившемся каслинским литьём и златоустовской гравюрой, с поиском подарков проблемы не было. Кстати, Людмила Константиновна Татьяничева как-то сказала мне:

— Это счастье, что мы живём на Урале. Что бы мы дарили своим коллегам, если бы у нас не было литья и гравюр?

Я попросил Марка Соломоновича Гроссмана, который был секретарём партийной ячейки писательской организации, купить в магазине знаменитого “Коня с попоной” Клодта, чтобы вручить его на юбилейном вечере Петру Смычагину.

Марк Соломонович взял деньги и через некоторое время водрузил мне на стол тяжёлого коня, аккуратно упакованного в серую толстую бумагу, перевязанную алой ленточкой.

На вечере по приезде положенную в таких случаях речь и вручил юбиляру наш подарок.

На следующее утро Пётр Михайлович явился на работу в Союз писателей (он работал тогда литературным консультантом) вместе с этим чугунным конём.

— Ты что мне подарил?

— Как что? Коня! Ты же любишь литьё!

— Я понимаю, что это конь, но посмотри, что здесь написано!

Он развернул ко мне вздыбленного красавца, на аспидной подставке которого я прочитал: “Марку Гроссману от советской милиции!”

Как говорится, без комментариев!

## ТАНЕЦ БЕЗ САБЕЛЬ

На Дальнем Востоке жил замечательный поэт Алексей Поротов. Он носил православные, точнее, славянские имя и фамилию, хотя по национальности принадлежал к малочисленному (менее тысячи человек) племени, сохранившему свой язык и культуру. Я знал, что он пишет стихи и пьесы. Что касается стихов, то я с ними был знаком по его книжке, изданной в Москве. Особенно помнились два стихотворения: “ПИСЬМО БРАТУ В ЛЕНИНГРАД” (там брат Алексея учился в Университете народов Севера), где он описывает посланные брату подарки, и “ОТВЕТ БРАТА”. Брат благодарил Алексея за рыбу, за мясо, за тёплую одежду, а вот ружьё “...зря прислал, // На охоте в зоопарке сторож отобрал!”

Прекрасные по наивности и юмору строки...

И вот мы с ним встретились на семинаре драматургов в подмосковной Рузе. По результатам таких семинаров (а нужно было в течение месяца написать или довести до ума новую пьесу) заключались договоры с представителем министерства культуры, что обеспечивало писателям на какое-то время безбедную жизнь. Все трудились, как “рабы на каменоломне”, а Алексей, по крайней мере, так всем нам казалось, вёл беспечную жизнь — больше времени проводя в баре, а не за рабочим столом. Оставалось дня два до заключения договоров, но текст пьесы Алексей так и не представил. Он был в моей группе, и я в какой-то степени был ответствен за его работу. В конце концов, я позвал его к себе и довольно жёстко спросил:

— Где пьеса? Я же должен успеть её прочитать, чтобы предложить министерству.

— Начальник! — сказал он не без иронии. — Пьеса готова!

— Где она? — недоумевал я.

— А вот... — и он начал ритуальный танец, изображая то тюленя, то рыбу, то медведя, то каких-то неведомых мне птиц и зверей. При этом он на моих глазах преображался в своих “героев”, подражая гортанным голосом их космическому, непонятному для меня языку. Сначала я подумал, что он так изощрённо издевается надо мною, но он был совершенно серьёзен. Действо это производило на меня необычное художественное впечатление, но я думал, как это “произведение” представить в министерство: его не передать в руки, не переслать по почте...

— Ну как? — тяжело дыша, спросил он.

Танец отнял у него много сил, хотя был он человеком не хилым...

— Гениально! — ответил я. (Видит Бог, до сих пор не знаю, с юмором или всерьёз сказал я это).

Он ушёл довольный, оставив меня в раздумьях о столь необычном представлении.

Прошло четверть века. С делегацией писателей я прилетел в Якутию на дни литературы. Мы разбились на группы и разлетелись во все концы рес-



публики. Меня пригласили в небольшое селение ЧЕДЫРДИМ, что переводилось как МЕСТО ВСТРЕЧИ. После нашего выступления мы с писателями приняли участие в национальных играх: ловили арканами оленей, состязались в меткости, стреляя из луков и мелкокалиберных винтовок. На прощальном ужине я вдруг вспомнил Алексея Поротова. Оказалось, что это его родовое место. Поэта уже не было в живых, но здесь его хорошо знали и помнили. Было довольно шумно и весело, и я решил рассказать о “гениальной” пьесе моего давнего знакомца. Только я начал, как около меня вдруг поднимается почтенных лет старик и говорит:

— Да, это действительно гениальная пьеса!

Он вышел на середину низкой, но довольно просторной избы и начал танцевать, точь-в-точь повторяя те движения и звуки, которые когда-то продемонстрировал мне сам Алексей. Я хотел пошутить, а дело-то оказалось серьёзным.

“Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется...” Только ли слово?

### “КОЛОКОЛЬЧИКИ МОИ, ЦВЕТИКИ СТЕПНЫЕ...”

Самолётом компании “Алросса” мы летели в Якутию. Мы — это писатели из разных краёв России. К Якутии (путешествие было не первым) у нас было особое отношение, так как здесь ещё сохранялось в народе чувство востребованности встреч с пишущим человеком, как в советские времена (уже давние). Пленум должен был состояться в Якутске неделей позже, потому хозяева знакомили нас со своей удивительной необъятной страной (хотел написать, землёй, но вокруг был снег да лёд, да карликовые деревца), перенося на серебряной птице, ставшей почти родным домом, из одного посёлка в другой. Между ними могла уместиться не одна европейская страна.

Затаив дыхание, мы смотрели, как по спирали дорог алмазных карьеров ползли крохотные, похожие на спичечные коробки самосвалы. Не верилось, что каждое колесо такой машины намного выше человеческого роста! Удивлялись чистоте красавицы Лены, вобравшей в себя десятки тысяч притоков и до устья сохранившей кристальную воду, которую без опаски можно пить в двадцать первом веке. Другой великой реки, с такой же идеально чистой водой, я думаю, в мире не найти.

А народ, сохранивший прародительские традиции гостеприимства, способный по-детски воспринимать не только красоту суровой и прекрасной природы, но и красоту поэтического слова, несмотря на психические атаки нашего нелёгкого бытия!

Разбившись на небольшие бригады, мы “растекались” по поселковым библиотекам и школам. Уже не было в живых моих якутских друзей-писателей Алексея Габышева, Ивана Гоголева, Алексея Поротова, но их книги и портреты были для меня некоторым утешением.

Нашу “команду” возглавил писатель Сергей Артамонович Лыкошин, человек талантливый, очень искренний, не терпящий никаких поверхностных знаний, будь то издательское дело или сама литература. Всё, за что брался, он делал серьёзно и основательно.

В одной из школ, представляя нашу группу ученикам, он не торопясь представил Сергея Ивановича Котыкало и Александра Юрьевича Сегеня. Это было нетрудно. Они — писатели, прозаики. Со мною оказалось сложнее... Как представить поэта-драматурга и объяснить детям, чем он занимается? Они и о театре-то знают только понаслышке.

Сергей Артамонович начал издалика:

— Дети! Вы все знаете стихотворение “Колокольчики мои, цветики степные”?..

— Да! — недружно ответили несколько голосов.

— Так вот. Это стихотворение написал Алексей Константинович Толстой. Но он ещё писал и пьесы стихами, как Константин Васильевич Скворцов. Вот он перед вами...

Сергей Артамонович подробно рассказал о своём творчестве, потому я, не “растекаясь по древу”, начал читать стихи...

Встреча оказалось на редкость тёплой. Мы были довольны юными читателями, они, похоже, нами.

Завершая встречу, Сергей Артамонович, как истинный педагог, для закрепления материала спросил детей:

— Так кто написал “Колокольчики мои, цветики степные”?

— Скворцо-о-ов! — дружно ответил весь класс.

## “ОРЛЫ” РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Группа писателей по приглашению Олжаса Сулейменова прилетела в Казахстан для встречи с читателями.

В большом зале собрались любители поэтического слова, люди, хорошо знакомые с русской современной поэзией. Тиражи наших книг, выходявших в то время, достигали самых окраинных городов.

Открывая встречу, главный редактор казахского литературного журнала Мухтар Шаханов торжественно провозгласил:

— К нам приехали орлы русской поэзии: Владимир Соколов, Константин Скворцов, Валентин Сорокин, Юрий Воронов!..

Зал взорвался от смеха. Мухтар не понял, в чём дело. Что ни сокол, ни скворец, ни сорока, ни ворон на орлов не очень похожи, он сообразил не сразу.

Удивительно, что в этой поездке оказались поэты только с “птичьими” фамилиями. Сергея Орлова среди нас не было. Он бы, действительно, мог сойти за “орла русской поэзии”!

## УВИДЕТЬ МОСКВУ И УМЕРЕТЬ!

Дача, на которой я живу в Переделкине, строилась на две писательских семьи. Моим соседом был замечательный человек и писатель, русский дворянин, помнящий ещё последнего русского императора (отец водил его ребёнком в Зимний дворец), Олег Васильевич Волков. Как потомственному дворянину, ему суждено было “погрузиться во тьму” сталинских репрессий, пройти их по полной программе и выйти на свет Божий не озлобленным, не потерявшим чувство собственного достоинства человеком. Однажды он поздравил меня:

— Подержите дипломат, что-то ключ в двери заело...

Без напряжения, на вытянутой руке, он протянул мне свою ношу. От неожиданной тяжести я чуть не уронил дипломат себе на ноги. Провернув ключ, он, не заходя в дом, взял тяжёлый лом и принялся обивать лёд у подмёрзшего порога.

— Константин Васильевич! Всё хочу спросить вас. Вот намерен так же чистил лёд, и вдруг у меня участился пульс и прихватило сердце. Вы не знаете, что это? Может быть, возраст, а?

Что я мог ответить? Ему было уже за девяносто. Сказать возраст — значит, обидеть немолодого человека.

— Олег Васильевич! — нашёлся я. — Вы знаете, я два раза ломом махну, у меня вообще сердце вылетает!

— Правда? — удивился он. — Тогда, значит, ещё ничего...

Я, очищая наш участок от гибнущих, но успевших вырасти до небес высыхающих берёз, рубил топором твёрдую, как слоновою костью, древесину. Подошёл Олег Васильевич:

— Начальник паёк вам сегодня не даст! — с юмором замечает он.

— Это почему же?

— Слишком высокий пенёк оставляет.

Он-то знал все тонкости лесоповала!

Новый год Олег Васильевич и Маргарита Сергеевна обычно встречали в городе. Не знаю, по какой причине. Едва ли они сторонились моих шумных гостей. Но тем не менее в новогодние праздники их никогда не было на даче.

В тот год я, как обычно, сделал “пионерский” костёр. Мы вышли шампанское под бой курантов, и вскоре гости разошлись по домам. Кто-то остался почевать у нас.

Часа в три утра меня разбудил тревожный голос жены:

— У Волкова кто-то ходит!

— Спи! Никого там быть не может!

— Но я отчётливо слышу там шаги. Я же лежу на полу!

Ей, сердобольной, пришлось уступить свою кровать кому-то из наших гостей. Я раздетый выскочил на улицу. Увидев свет в кабинете Олега Васильевича, я рванул дверь, она была закрыта. Секунду поразмыслив, я решил, что воры никуда не денутся, пока я одеваюсь и беру ружьё. Накануне я прочитал в одной из криминалистических газет, что если у вора неожиданно хлопнуть над ухом в ладоши, то в девяноста из ста случаев у них случается инфаркт.

— А если из ружья?.. — мелькнула у меня мысль.

Зарядив оба ствола, я подкрался к открытой форточке и выстрелил в воздух. Гром выстрела прокатился по всему притихшему посёлку. В кабинете погас свет, раздался какой-то стук, и всё стихло. Несколько минут я молча стоял у окна в надежде услышать там какие-нибудь признаки жизни — всё было напрасным.

— Ну что? — встретила меня перепуганная жена.

— Операция окончена. Утром пойдём собирать трупы, — отрапортовал я.

Наутро я снова подошёл к двери Олега Васильевича. Она была заперта, но от крыльца тянулись человеческие следы, хорошо различимые на свежесвыпавшем снегу. Не нужно быть охотником, чтобы догадаться, что это были два человека: один след от обуви большого размера, второй — поменьше. След почему-то вёл не к воротам, а к забору, под которым был замечен подкоп. Кто-то покинул нашу дачу таким странным образом, ведь калитка была всегда открыта.

Через несколько дней появились Волковы. Я кинулся им навстречу.

— Олег Васильевич! Здесь такое было... — начал я.

— Знаем. Всё знаем! — спокойно отреагировала Маргарита Сергеевна.

— Да нет, вы не можете знать... — настаивал я.

— Знаем, — продолжила она и поведала мне “печальную” повесть, слушая которую я не знал, плакать мне или смеяться.

У Булата Окуджавы были гости. Их было много, и не всех хозяева смогли устроить на ночлег. У Булата был ключ от дачи Олега Васильевича, и он привёл пожилую немецкую пару на нашу дачу. Пожелав им доброй ночи, вернулся к себе.

Немцы рассказывали, что ночью на них было нападение и они до утра пролежали под кроватью в ожидании самого худшего. На рассвете выбрались на воздух и, оставшись незамеченными, подкопали снег под забором и оказались на свободе!..

Эта новогодняя ночь стала самой незабываемой в их жизни. Называется, съездили в Россию, отдохнули...

## УБРАТЬ СВИДЕТЕЛЕЙ

Из всех обитателей Переделкина вороны (не считая некоторых писателей) — самые умные и самые зловредные существа. Я видел, как ворона разворачивала пакет с сыром, придерживая его одной лапой, а другой чётко, перекрёстным движением раскрывала его “на все четыре стороны”, как будто знала систему упаковки. Кто-то видел, как ворона бросала на дорогу орехи и наблюдала с фонарного столба, когда их раздавит машина, после чего приступала к трапезе. Но у меня с ними был свой счёт. Одна из этих особ

после того, как моя жена прикрикнула на неё: “Ты чего здесь раскаркалась!” — умудрилась выследить её в километре от нашей дачи и прицельно, с достаточной высоты, сбросить на её шляпу свою биологическую “бомбу”. Другая расклевала в гнезде неоперившихся птенцов соек, свивших своё гнездо на моём балконе, — зрелище не для слабонервных. Третья, спикировав, сбила с головы маленького ребёнка беретку и пыталась вырвать клоч шерсти из моего старого пса — этого я простить уже никак не мог. Нужно было предпринимать кардинальные меры. Ружьё с собою я, естественно, не носил, чем вороны искусно пользовались. Каркая с сосен, они нагло вызывали меня на поединок. Вороны подолгу “издевались” надо мною, но как только у меня мелькала мысль: “Ну, погоди, сейчас возьму ружьё!” — они тут же срывались с ветвей и исчезали. Птицы считывали мои мысли. Конечно, я бы мог их подкараулить, но “лежачих не бьют”, а сидящих — тем более. Это нечестно. Я мог стрелять только в пролетающих птиц, но они не появлялись в небе на расстоянии выстрела.

Как-то у нас были гости, и я рассказал им о нашествии ворон.

— От них можно избавиться очень легко, — заявила одна из гостей, — нужно убитую ворону привязать к высокому шесту, тогда её соплеменники будут за километр облетать это место.

Оставалось только добыть ворону.

— Хорошо, — сказал я гостям, — если увидите пролетающих ворон, зовите меня!

Был поздний вечер. Все легли спать. А наутро, когда я ещё был в постели, а гости уже на улице, меня разбудил крик:

— Костя! Вороны!

Полуголый я выскочил на крыльцо, выстрелил и, не дожидаясь результата, скрылся в доме. Нужно было привести себя в порядок. Вороний гвалт стих минут через пять. Стало тихо, как на кладбище. Когда я вышел, в стороне на шесте висела привязанная ворона, напоминающая уже чучело, а не мою жертву. Гости, а их, как всегда, было немало, удивлялись точности моего выстрела.

— Ну, а если бы ты промазал? — почему-то это интересовало всех.

— Да не мог я промахнуться! Какая ворона и какой разброс дробин! Промазать просто нельзя!

— Ну, а всё-таки? — не унималась гостя, предложившая привязать ворону.

— Я бы убрал свидетелей! — сказал я уверенно, как о деле решённом.

Гости умолкли. Видно, что каждый задумался о чём-то своём...

— Это правильно! — в тишине раздался голос моей жены.

Теперь гости испугались всерьёз. Они долго пытались шутить, отгоняя несёдную мысль: а вдруг, правда, репутация охотника дороже жизни друзей?

## С НОВЫМ ГОДОМ!

Тридцать первое декабря. Предновогодняя суета. Я вышел на крыльцо дачи с гирляндой электрических лампочек. Хотелось до прихода гостей нарядить живую, посаженную мною несколько лет назад ёлку. У забора я увидел двух местных мужичков, подрабатывающих в переделочной конторе то электриками, то водопроводчиками, то ещё кем-то — кто куда позовёт. Не обращая на меня никого внимания, они собрались рубить мою ёлку. Предвкушая халявный заработок, они с самозабвением расчищали снег вокруг своей жертвы, дабы срубить мою красавицу “под самый корешок”. Над ними нависала богатырская длань вековой ели, удерживающая на себе огромный сугроб. Казалось, что эта немолодая ель, как заботливая мать, прикрывает своё чадо от летящего с неба тяжёлого снега.

— Мужики! Вы что делаете? Остановитесь! — кричал я.

В ответ — ноль эмоций.

— Мужики! — не унимался я. — Вы что, не могли до леса дойти?

В ответ — молчание.

— Мужики! Имейте в виду, я вас предупредил!

Никто из них даже не посмотрел в мою сторону. Я быстро вынес ружьё (в те лихие девяностые оно всегда было под рукой) и, прицелившись в нависшую над ними гигантскую ветку, выстрелил из двух стволов! Ветка переломилась, обрушив на браконьеров весь свой двухмесячный запас слежавшегося снега...

Когда белое облако рассеялось, я увидел брошенный топор, один валенок и огромную дыру в своём древнем заборе. Стало тихо, как на похоронах.

Прошло полгода, я забыл про эту историю. Жена пошла в контору, чтобы оплатить счета за аренду дачи. Около неё крутились два мужичка, явно пытающиеся с ней заговорить, но всё как-то не решались.

— Вы что-то хотите спросить? — проявила инициативу жена.

— Да, вы знаете, ваш муж — такой жестокий человек, — начал один.

— Он в людей из ружья стреляет, — подхватил второй.

— Да вы что? — искренне удивилась жена. — Он поэт. Он стихи пишет. Разве он может быть жестоким?

— Нет, нет, — не унимались они теперь оба, — он в нас стрелял!

— Это не он, — твёрдо заявила моя жена, — это, наверное, его брат. Они очень похожи друг на друга. Оба лысоватые...

— Да нет. Это был ваш муж! — перебили они её.

— Нет. Это не мог быть он! — жена стояла на своём.

— Но почему вы так уверены, что это был не он? — уже с сомнением спросили они.

И тут моя жена выдала фразу, которая их надолго отрезвила:

— Да он никогда не промахивается!

## БОЙ

Брошенных бездомных собак всегда жалко. Когда они умоляюще смотрят тебе в глаза, это испытание может выдержать не каждый. Тот, кто говорит, что у собак только инстинкты и нет разума, у того у самого с головой не всё в порядке.

Когда подолгу живёшь в тайге и, кроме собаки, рядом нет живой души, привыкаешь к ней, как к настоящему помощнику. “Принеси”, “Отнеси”, “Подними”, “Сбегай, посмотри — нет ли там кого?” — на всё она отзывается с радостью, и ты уже забываешь, что это не человек!

А бездомная жизнь собак ещё более обостряет их разум. Среди волков выжить легче, чем среди людей: волки все серые, а люди слишком разные. Но речь не о людях.

Моего охотничьего друга звали Боем. Я любил его за смелость и смекалку. Поэт Виктор Фёдорович Боков написал о нём:

*Мне нравится собака Бой,  
Мне кажется, что он имеет разум!*

А поводом к появлению этих стихов послужил забавный случай.

Ко мне на дачу приехала дочь с молодой шестимесячной кавказской овчаркой Бураном.

Шесть месяцев для собак — самый озорной возраст. Буран носился по участку, вырывая с корнем молодые саженцы, обгладывая молодые ели. Но больше всего его интересовал веник, который он трепал, мотая головой, с непреходящим удовольствием. “Щепки” от веника летели в разные стороны.

— Бой! — сказал я своему псу. — В доме беспорядок!

Бой подбежал к Бурану в надежде отобрать у него зажатый в пасти веник. Началось “перетягивание каната”. Бой проигрывал, так как весовые категории соперников были неравными. Буран “возил” его, держащегося зубами за веник, по асфальту. Наконец, Бой, поняв, что таким образом ему не удастся отобрать у озорника веник, оставил это занятие и побежал в кусты. Буран, не выпуская из пасти веник, ждал его возвращения. Пёс вернулся из кустов с палкой в зубах, подбежал к Бурану и, “поиграв” своей находкой пе-

ред его мордой, отбросил палку в сторону. Буран, забыв о венике, бросился за палкой, а Бой, подняв веник, принёс его мне. Разве такой хитрый трюк возможен на уровне инстинкта? Виктор Боков после этой сцены не мог не написать: “Мне, кажется, что он имеет разум...”

В подтверждение этого — маленькая история, которая выглядит нереальной.

Бой повредил лапу. Рана долго не заживала. Это кто-то для своего утешения придумал, что скоро заживёт, “как на собаке”. Я повёз его на машине на другой конец Москвы к знакомому ветеринару. Тот сделал ему операцию, и пёс поправился, действительно, прямо на глазах! А через пару месяцев он исчез. Собака заблудиться не может. Её либо кто-то насильно увёз, либо, не дай Бог, сбило машиной. Все поиски мои были напрасны...

И вдруг звонит мне тот собачий доктор:

— У тебя пропал Бой?

— Да. Откуда знаешь?

— Он у меня! Представляешь, слышу: кто-то скребётся под дверью. Я открыл и вижу: стоит твой Бой, а рядом с ним бедная дворняжка с переломанной лапой. Я наложил шину. Приезжай, забирай обоих.

Так что собака не только друг человека. Собака собаке тоже друг!

## ВИШНЁВЫЕ ГЛАЗА ОЛЕНЯ

К нашему счастью, книг теперь не читают. Поэтому нет опаски быть освященным своими читателями. К тому ж, не всё достойно печати: есть вещи, в которых людям не стоит признаваться даже самим себе. Казалось, уж чего-чего, а повадки зверей я знаю: вырос в тайге, ружьё мне подарили в шесть лет. После войны никому и в голову не приходило устанавливать возраст “человека с ружьём”. Никаких охотничьих билетов и лицензий тогда не было. Свою первую добычу — убитую тетёрку — я принёс домой, когда учился в первых классах, и хорошо помню, как отец сказал матери:

— Вот вырос тебе ещё один кормилец!

После этого я чувствовал себя взрослым человеком и профессиональным охотником, хотя учился промыслу у людей чужих: отец был только рыбаком и, надо сказать, отменным. Ловить хариусов летом, когда они каждый день капризно меняют свой рацион, — то кузнечик, то опарыш, то овод, то комнатные мухи, то навозные черви — дело непростое. Мастерство рыболова заключалось в умении изготовить искусственную приманку “на все случаи жизни”. Отец экспериментировал: то гонялся за каким-нибудь ярким петухом, поскольку ему казалось, что одно из перьев именно этого петуха годится для искусственной мухи, то копался в банке с цветными нитками мулине (единственное богатство моей сестры, которая училась вышивать). Но особенно мне запомнился случай, когда, завидев мою матушку, стоящую у окна, он вдруг неистово закричал:

— Нюра, стой!..

Мама замерла, и отец без тени сомнения отхватил у ничего не понимающей женщины прядь замечательных волос. Очевидно, луч солнца, упавший на волосы, окрасил их тем цветом, за которым отец гонялся, как Иван-дурак за жар-птицей.

В Москву в самом начале “перестройки” приехал молодой финский предприниматель. Западная пресса называла его “человек-возможности”, поэтому мне было поручено руководством Союза писателей убедить его подписать с нами договор о создании совместного советско-финского полиграфического предприятия. Выбор пал на меня потому, что было известно: финн — профессиональный охотник. А где ещё человек более склонен к обсуждению самых фантастических проектов, как не на охоте или рыбалке. Дело было государственным, и решения принимались на самом высоком уровне, потому мы оказались в Завидове, в недоступном для простых смертных охотничьем хозяйстве. Задача усложнялась тем, что, как выяснилось, финн не берёт в рот спиртного. “Или это не финн, или что-то не так”, — решил я.

На стойке бара, где мы ужинали, стояли элитные грузинские вина: “Ахашени”, “Киндзмараули”... Общались мы на немецком языке, поскольку знали его одинаково плохо. Когда я рассказал Питеру (так звали финна), что это — любимые вина Сталина, глаза его загорелись. После этого психологический барьер был без труда преодолен!

В бане он был удивлен тем, что стены парной нестерпимо горячие.

— Сто градусов! Как же им не нагреться? — пытался объяснить ему я тонкости банного дела.

— У нас, в Финляндии, тоже сто, но стены не обжигают. Их делают из африканского дерева, — сказал он и, кажется, назвал даже породу...

“Да, — подумал я, — “два мира — два детства”!..”

Но ближе к охоте. На следующий день, пообедав и получив инструктаж, где и как стрелять, мы отправились к вышкам. Егерь определил нам самые удачливые места. Нам оставалось только дожидаться, когда звери, кабаны или олени, придут кормиться. А там — дело в охотнике. Это, конечно, более важно, а не охоту, но всё же...

Я сидел на вышке не шелохнувшись, прислушиваясь к каждому лесному шороху. Тишина была необычайная. Тяжёлые деревья, придавленные инеем, напоминали огромное стадо белых слонов... Но я терпеливо ждал секача.

Вдруг слева от меня раздался свист. Так свистят обычно пацаны, затолкав два пальца в рот. Я решил, что, возможно, это егерь идёт ко мне и даёт о себе знать, чтобы я не принял его за какого-нибудь зверя. Я снял перчатки и, вспомнив своё детство, ответил тем же свистом. Похоже, что несколько перестарался: с некоторых деревьев посыпался иней. Но через минуту егерь (а я был уверен, что это он) мне ответил, но где-то уже совсем близко.

Я свистнул снова. Он ответил. Я ещё, и он тоже. Понимая, что онazole меня, я высунул из своей амбразуры и увидел стоящего передо мною огромного оленя с метровыми рогами. Олень растерянно косил на меня большим вишнёвым глазом... О ружье я, конечно, забыл.

— Пошёл отсюда! — крикнул я. Это всё, на что я был способен...

Олень как будто ждал моей команды. Развернувшись в неимоверном прыжке, он буквально полетел над сугробами, осыпая с деревьев серебряную выюгу.

Вечером егерь восхищался моим охотничьим опытом, ведь ни один охотник за многие годы не мог подманить этого оленя на расстояние выстрела, а тут он подошёл почти на расстояние вытянутой руки. Питер с восхищением смотрел на меня, он тоже не стал стрелять в кабана, подставившего под выстрел свой бок.

— Это было бы не спортивно! — сказал он и всё поражался моему мастерству подманивать оленей. Он готов был подписать любые государственные бумаги, а не только договор о полиграфическом комбинате, ради которого и состоялась эта охота. Если бы егерь и он знали, что всё моё “мастерство” — это постыдное для охотника незнание зова оленей, они бы презирали меня всю оставшуюся жизнь. А егерь, чуть не плача, благодарил меня за то, что я не выстрелил в оленя. Олень был племенным, и его потеря для охотхозяйства была бы невозможной.

Я никому не рассказывал об этой истории, дабы сохранить своё охотничье реноме. Написал это для себя и уверен, что моё реноме останется непоколебимым, поскольку, к моему охотничьему счастью, книг теперь не читают.

## ЗАЛИВНЫЕ ЛУГА

В этих словах есть какая-то магия... А когда поля эти простираются чуть ли не до самого горизонта, отражая весь небесный свод, то человеку, бредущему по поясу в воде по этому зеркальному дугу, кажется, что он находится внутри огромного воздушного шара, летящего в мироздании.

Утки гнёзд здесь не выют, они приводят уже повзрослевших утят, появившихся на свет в более надёжном, укрытом месте. Зато здесь, в полной безопасности от охотников, они могут спокойно плавать и кормиться скрытыми

под водою богатствами затопленного разнотравья. Это рай для водоплавающей дичи!..

В редких торчащих над водой кустиках стрелкам не спрятаться, но они тоже не лыком шиты, строят скрадки, втыкая в дно водоёма ивовые ветки, которые, быстро разрастаясь, образуют надёжные укрытия для охоты.

Заметив впереди себя такой скрадок, я решил дожждаться в нём вечерней зари, когда утки полетят кормиться с лугов заливных на пшеничные поля.

Когда до скрадка оставалось метров десять, из него свечою, с недовольным криканьем, поднялся тяжёлый селезень, облюбовавший это уютное местечко задолго до меня. Мне бы его пожалеть... Но когда у тебя в руках ружьё со взведёнными курками, об этом как-то не думается.

Когда я выстрелил, он был слишком высоко, потому дробь достала его уже на излёте, слегка ранив. Пролетев метров сто, селезень сел на воду и сразу нырнул.

— Пусть живёт! — подумал я, осуждая себя за напрасный выстрел, но всё же смотрел на гладкую поверхность воды... Где-то же он должен вынырнуть!

И тут я увидел едва заметные расширяющиеся полосы волн. Остриё этого “клина” быстро приближалось ко мне, и не успел я опомниться, как прямо передо мною появилась голова ошарашенного неожиданностью этой встречи селезня.

Моя реакция оказалась более быстрой...

Да... Вот вам и магия заливных лугов! Дикие мы ещё... Ой, дикие!..

## ВЕРНОСТЬ

Невозможно усидеть дома, когда видишь из окна, как тяжёлые облака ложатся на синие горы, манящие своей таинственностью... Издалека вершины кажутся чужими и суровыми, но стоит ступить на мшистую, чуть заметную тропку, ведущую в неизвестность, как тайга проявляет такое гостеприимство, дарит такой душевный покой, о которых в задымлённой печными трубами долине и мечтать не приходится. А когда ты знаешь, что под свист краснобровых рябчиков в ручьях плещутся хариусы, а пики кедров прогибаются от созревших шишек, в посёлке ты уже не находишь себе места...

По грибы, по ягоды, по шишки... Грибы и ягоды вроде как дело женское, а вот шишки — это серьёзно... Мужику-то не каждому под силу, подняв высоко над головой гигантский двадцатикилограммовый колот, ударить им по стволу дерева и принимать на себя жестокий град осыпающихся с вершины шишек.

Вооружившись мешками для орехов, прихватив по привычке ружья, мы со старожилом этих мест Степанычем выдвигаемся на край села. Перемахнув через забор, нас догоняют засидевшиеся во дворе лайки. Такого предательства они никак не ожидали. Смотрят на нас с укором, но и одновременно виновато: мол, простите, что мы без спросу, но вы тоже хороши...

Степаныч попытался было отправить их домой, но они, почуяв его коварный замысел, убежали вперёд и скрылись в тайге. Ладно, у них — свои дела, у нас — свои. Мы идём “по шишки”...

Ощущение времени здесь пропадает, оно растворяется в запахах мха, прогорклой травы и свежей смолы, слезящейся на падающих с неба тяжёлых шишках... Увлечшись нашим промыслом, мы забыли про собак, потому и не сразу расслышали доносившийся издалека их едва различимый лай.

Степаныч замер, прислушиваясь к их голосу.

— Белку нашли! — недовольно пробурчал он. — Придётся идти, а путь-то не ближний. К тому ж там скалы...

Я понимал, что собаки не бросят белку, пока мы к ним не подойдём. Но перспектива карабкаться по склону, ломая ноги, тоже не грела.

— Может, они полают-полают и бросят?..

Степаныч ничего не ответил, но почему-то погрузился. Едва различимый лай собак то пропадал, то доносился снова.

— Собаки не люди. Они верные. Пойдём!



Взяв ружья, мы побрели по склону. Я пытался развлечь Степаныча разговорами, но он молчал.

— Что с тобой? — не выдержал я.

— Сейчас поймёшь... — наконец выдал он. — Уже близко...

Мы вышли на небольшое плато. С обеих сторон зияла пропасть. Я старался не смотреть вниз. Высота захватывала дух. Лай собак остался где-то в стороне, о чём я сказал Степанычу.

— Ничего, подождут... Мы — махом...

Вдруг наша тропа упёрлась в голубое небо. Впереди зияла новая бездна. Нужно было по узкому “языку” возвращаться обратно.

— Смотри! — Степаныч показал на белеющие у края обрыва кости.

— Что это? — изморозь пробежала по моему телу.

— А ты приглядиись. Это кости моей любимой собаки и оленя, которого она загнала в эту западню. Лаяя я не слышал, слишком далеко был. Оленя собака не выпустила, но и меня не дождалась. Так оба здесь и умерли. Года три уж прошло...

Оставшуюся дорогу я молчал тоже. А что тут скажешь?!

## ПЕРВАЯ СТРОКА

Леонид Сергеевич Соболев на совещании молодых писателей в Кемерове посетил семинар, который проводил Василий Дмитриевич Фёдоров. Л. С. Соболев был председателем Правления Союза писателей России. Кстати, благодаря Соболеву этот Союз и появился. Были Союзы писателей всех республик, а российского не было... Но это другая тема...

Так вот, речь зашла о том, как надо начинать произведение. С какого слова, с какой строки... Начались дебаты... И тут мудрый Соболев сказал:

— Первая строка — это ворота, в которые входит читатель.

Просто и понятно... К сожалению, я часто забываю этот урок мастера.

## ПОСЛЕДНЯЯ СТРОКА

После войны одежка на нас, прямо скажем, была не от Кардена. Наши мамы шили нам толстовки. Кто-то лучше, кто-то хуже. Кто-то богаче, кто-то беднее...

Но мой друг Вася Ремпель, потомок волжских немцев, всегда выглядел, как мне казалось, довольно богатым. Видимых причин для этого не было. Потом я понял, почему мне казалось, что он так хорошо одет: он всегда чистил ботинки, и они как бы подсвечивали весь его костюм.

Потому и последняя строка любого произведения должна быть “начищенной”, чтобы всё произведение, будь то роман или короткое стихотворение, “подсвечивалось” её светом, придавая творению автора законченность...

## РИФМА

Театральный и литературный критик Инна Люциановна Вишневская, которая вела на Высших литературных курсах занятия по теории драматургии, долго не могла привыкнуть к рифмам в моих стихотворных драмах. Вроде бы ничего не раздражает, всё гладко, но рифмы-то “чистыми” не назвёшь! И она их определила как “мерцающие” и была этим “открытием” очень довольна. Не знаю, может, они и вправду мерцающие...

## СХОДИЛ В БАНЮ...

Золотой человек, в общем-то, один мой товарищ. Живёт он с матерью, поскольку никто больше его “финты” выдержать не может. И вот в очередной раз, когда мать вызвала полицию и он оказался в знакомой ему до бо-

ли (не в переносном смысле) камере, протрезвев, он очень удивился, увидев рядом с собою знакомого ему начальника одного из предприятий их небольшого городка.

— Ну, я-то здесь понятно как... Но вы-то за что?

Сосед “по несчастью” ответил не сразу, поскольку, действительно, почему он оказался в камере, ответить было не так-то просто.

— Был в бане. Вышел. Выпил кружку пива... — начал он свой рассказ, как будто вспоминал страшный сон. — Иду домой. И вдруг в тёмном переулке на меня налетают трое полицейских:

— Это ты?

— Да, я ... — отвечаю им. — Кто же ещё?

Они меня за шкуру — и в машину. И вот я здесь.

Оказалось, что полицейские ловили преступника, который выскользнул у них из рук и побежал огородами около этого злосчастного переулка.

Когда дело прояснилось, начальника выпустили. Но полицейские никак не могли понять, почему их “преступник” на их вопрос: “Это ты?” — ответил: “Да, я!” — как будто человек мог ответить что-то иное.

Может быть, они знают другой, неведомый нам, простым смертным, ответ на этот однозначный вопрос?

Всё может быть...

## ЛИТЕРАТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Спрашиваю трёхлетнего внука:

— Вова, кто написал “Что такое хорошо и что такое плохо”?

Вова уверенно отвечает:

— Маяковский.

— Молодец! — хвалю я его. — А кто такой Маяковский?

Вова задумался и нерешительно, после паузы, отвечает:

— Толстой...

## МЯСО В МЯСОРУБКУ!

Давно это было. Соседский мальчик, узнав о том, что я пишу стихи, пришёл ко мне и с порога заявил:

— Дядя Костя, подучи меня писать стихи.

— Почему “подучи”? — удивился я. — Ты что, уже что-то пишешь?

— Да. Я — поэт!

— Да знаешь ли ты, что такое поэзия и что такое стихи? — чуть было не сорвался я, удивившись такой наглости... Я, честно сказать, сам никогда не мог сформулировать эти понятия — сколько знал теоретиков литературы, столько было и определений.

— Знаю! — не смущаясь, ответил молодой “поэт”. — Стихи — это то, что не даёт спать!

Такого, как мне показалось, точного определения я не встречал ни у одного из мудрецов, хотя к тому времени уже окончил Высшие литературные курсы.

— И ты пишешь такие стихи, от которых я не усну?

— Конечно! — не сомневаясь в своей правоте, продолжал мальчик.

— Ну, прочти!

Мне стало уже интересно.

Он встал в позу Пушкина, читающего стихи Державину, и произнёс:

*Мясо в мясорубку,*

*Мясо в мясорубку,*

*Мясо, в мясорубку — шагом марш!*

*— Стой! Кто идёт?*

*— Фарш!*

Я обомлел и долго не мог прийти в себя. Но понял, что никогда не буду писать стихов для детей, если они сами пишут вот такие вирши!

Только через несколько лет я узнал, что мальчик меня попросту обманул и прочитал не свои стихи, а детского писателя из Питера Михаила Янова. Как мальчишка нашёл эти стихи, осталось загадкой. А может, он меня и не обманывал, а был уверен “по правде”, что эти строки сочинил он сам. Такое в детстве случалось не с одним “гением”...

## “ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО”

Под Тулой есть пансионат с таким названием. Каждое лето сюда привозят самых талантливых школьников со всей области для общения и отдыха. Меня пригласили выступить перед ними. Я согласился.

Когда я шёл в зал, где было триста “вундеркиндов”, их вожатая говорит:

— Вы не волнуйтесь. Это ненадолго. Они больше пятнадцати минут никого не слушают! Встают и уходят.

Перспективочка, прямо скажем, меня не порадовала...

Я продержался на сцене часа полтора. Редко после встреч у меня остаётся тёплое чувство, но это был тот самый случай!

По окончании ко мне подошла девочка лет восьми-девяти и, сверкая коричневыми глазками, говорит:

— Можно, я вам замечание сделаю?

— Конечно!

— Вы мало прочитали стихов о любви!

Я растерялся:

— А почему ты не попросила меня об этом из зала?

— Да нет! — совершенно серьёзно заявила она. — Всё было замечательно... Это я вам говорю просто так... на будущее!

## ХАРАКТЕР

Народный артист России Александр Михайлов рассказывал, как он набирал курс театрального училища. Молодые люди показывали этюды.

— Можно, — вдруг сказала девушка, — я покажу вам берёзку?

— Давайте! — сказал мастер.

Девушка подняла руки и замерла.

— Подул ветер! — добавил мастер.

Девушка-берёзка покачнулась.

— Ветер усилился! — усложнил “предлагаемые обстоятельства” Михайлов.

Девушка наклонилась ещё больше и стала раскачиваться.

— Берёзка сломалась! — не унимался мастер.

Девушка-берёзка продолжала раскачиваться:

— Нас не сломать!

После этой реплики мастер сдался. Девушку зачислили студенткой.

ЕЛИЗАВЕТА МАРТЫНОВА



## СУДЬБА МОЯ, ТЫ ОБЕРНИСЬ КО МНЕ

\* \* \*

Чьи это гены во мне говорят,  
Властно зовут по России скитаться,  
В дикую степь, в гулевой листопад,  
Хоть мне давно уже не восемнадцать?

То ли в кибитке, а то ли пешком,  
С поездом шумным, с надеждой тревожной  
Всё же покину постылый мне дом  
Так, что вернуться назад невозможно.

Да и к чему? Ведь земля широка,  
Каждая ночь может стать роковой,  
И разливается в небе река  
Птиц, улетающих над тишиною.

Мы-то не птицы, да песня долга,  
Стелется степью да вяжется шалью.  
Звуки раскатятся, как жемчуга,  
Вырастут звёзды на месте печали.

---

*МАРТЫНОВА* *Елизавета Сергеевна* родилась в Саратове в 1978 году. Окончила Саратовский госуниверситет. Кандидат филологических наук. Главный редактор журнала "Волга. XXI век". Автор книг "Письмо другу" (2001), "На окраине века" (2006). Лауреат премии Ю. П. Кузнецова (2008). Слушательница семинара А. Казинцева и С. Куняева на Форуме молодых писателей в Липках. Живет в Саратове.

В чёрную полночь за рыжим костром  
Тень танцевальная движется следом,  
И осыпается ржавым холстом  
Воздух дороги, ведóm и неведом.

\* \* \*

Чёрного неба тягучий мёд  
Льётся за горизонт.  
Кто эту тяжкую сладость пьёт  
Вместе с ночной слезой,

Тот навсегда свободен, а я  
Слишком земной была  
И оставалась — летя, скользя,  
Птицей гнездо вила.

Чёрной звездой сияло оно  
В гуще лохматых крон,  
И облетала его стороной  
Стая старых ворон.

И обходили сплетни его,  
И миновала беда,  
Но капля неба — всего-ничего —  
Однажды коснулась гнезда.

И вот, как пропасть, зияет оно,  
И видно в его окно,  
Что смерти нет,  
И уже всё равно,  
И боль отменить не дано.

И всё скрывает небесный дождь:  
Души, сердца, крыла,  
И обнимает синяя дрожь  
Землю, где я жила.

## ОБЕРНИСЬ

Судьбу свою встречаю: незнакома  
Она со мной... Идёт-бредёт во мгле,  
Не вспоминая облачного дома  
И прожитого счастья на земле.

А было небо, синее, как ветер,  
И ласточек встревоженный полёт,  
Горячая осень на рассвете  
И та любовь, которая пройдёт,

Как тянущая боль с температурой,  
Как снег небесный и закат земной.  
И был ночной проспект многофигурный  
И обморок рябины золотой.

А были встречи, ссоры и разлуки,  
Излучки неопознанных дорог,  
Расколотое сердце — не от муки,  
А оттого, что Бог не уберёт.

И если это вправду было, было,  
И наяву, а вовсе не во сне,  
И если я тебя не разлюбила,  
Судьба моя, ты обернись ко мне...

\* \* \*

Проснёшься — за окном туман  
Седой, неумолимо плотный,  
И кажется: пришла зима  
И снег ложится перелётный.

Но птиц тяжёлый караван  
Растянется по небосводу —  
И крик протяжный, как трава,  
Пронзит осеннюю природу.

И на дворе очнётся день  
Такой раскованно прохладный,  
Что оживают свет и тень  
На листьях рыжих неприглядных.

Прохожий редкий пробежит  
В пальто и в шляпе, и в печали,  
И воздух тоненько дрожит,  
Как будто крылья за плечами.

\* \* \*

Нам надо подготовиться к зиме:  
Заклеить окна и купить картошки.  
Кто знает, у зимы что на уме,  
На сердце что, и в будущем, и в прошлом...  
Снега, снега... Тропинку протоптать  
Нам надобно под окнами своими  
И уходить уже, и ускользать  
От бед глухих по белизне равнины.  
Здесь лыжников и беглецов не счесть,  
Лыжня вдоль леса тянется, петляя,  
Впадая в синеву, теряя блеск,  
Саму себя перечеркнув, теряя...  
Давай на склоне белом постоим  
И помолчим мгновение-другое  
О том, что нам известно лишь двоим —  
Прозрачное, скользящее, тугое,  
Как ветер, что шумит уже в ушах,  
При спуске с гор свистит, не умолкает,  
И вот лицо твоё уже в слезах,  
Перед зимой исчез недолгий страх,  
И тёплый снег в твоей ладони тает.

\* \* \*

Беспричинное счастье нахлынет  
В поздний час, как прилив на реке,  
Засинеет тропами лесными,  
Прянет ветром живым по щеке.

Неизвестно откуда, но чудо.  
То ли поле с полынью густой,  
Горький запах такой беспробудный,  
То ли воздух тоскливый, пустой,

Потому что когда-то однажды  
Оборвётся вся жизнь, словно нить.  
Это счастье — мираж, но неважно...  
Мы поверим ему, чтобы жить.

\* \* \*

Сладкий запах золотистых яблок,  
Облачное соло в вышине...  
На реке осенней белый ялик  
Неподвижен, словно бы во сне.

Патиною времени покрыта,  
В рамочку небес облечена  
Дачная картинка — стол, корыто,  
Виноград у самого окна.

А внизу обрыв, и только волны,  
С горизонтом слившаяся даль.  
Наши души детством слишком полны...  
Золотого яблока мне жаль...

Где оно, с какой горы скатилось,  
Где весёлым семечком взошло?  
Что тому кораблику приснилось  
В белый день, прозрачный, как стекло?..

АНДРЕЙ УБОГИЙ



ПИРЫ\*

ПЕКАРНЯ. Некогда, проходя под дождём по окраине смоленского села Студенец, я набрёл на краснокирпичное здание сельской пекарни и зашёл внутрь; а теперь и во снах, в их расплывчато-путаных дебрях, я снова и снова выхожу всё к тому же приземисто-грубому зданию, что краснело над склоном оврага. Я опять ощущаю дрожжевой хлебный запах, который так неожиданно было почуять среди запахов лиственной прели, грибов и опилок, золы и намокшей извёстки — среди запахов сельской осенней окраины.

Когда я, пригнувшись, входил внутрь пекарни, меня обдавало таким густым хлебным духом, что сам воздух, казалось, можно откусывать и с наслаждением жевать. Духота и жара здесь была нестерпимая: по лицу тёк пот, и рубаха липла к спине. В сумраке двигались женщины в белом, их халаты были надеты прямо на голое тело, и могучие зыбкие груди отчётливо были видны через влажную ткань. Моего появления никто, кажется, не замечал: бабам-пекарям было не до меня. Вот я тихо присел, отирая лицо, на мучную скамеечку возле стены. Взгляд то и дело выхватывал что-нибудь новое: чан с опарой, решёта, ухват, кочергу, бруски серых дрожжей на столе или счетверённые формы для выпечки хлеба. Всё здесь было покрыто мукой; даже воздух насыщен был тонкой мучнистою пылью; она то слоилась, как дым, под едва тлеющей лампой, то взлетала клубами, когда кто-то из женщин лил воду в чугунный, мукой припорошённый чан.

Но всего интереснее было то, как дышала опара. Чугунные чаны, в которых она подходила, казались живыми, в них шевелилась землистая вязкая масса. Вот тяжёлая, сонная туша опары вздувалась горбом, из её глубины поднимался пузырь, потом пузырь лопался, и его лоскуты оплывали по стенкам... Отчего-то — быть может, по совпадению звуков? — мне вспомнился академик Опарин, чью теорию о зарождении жизни упорно вбивали нам в головы в школе. Сейчас её мало кто помнит — первичный бульон, грозвые

---

Окончание. Начало в №2 за 2017 год.



разряды, комочки белка, что сбивались, как масло во время пахтанья, — но когда я смотрел на живую, вздыхавшую и опадавшую массу опары, когда слышал те вздохи и всплески, которыми сопровождался процесс созревания теста, то мысли Опарина о самозарождении жизни не казались такими уж дикими.

Из забытья — я, похоже, заснул в своём сне — меня выводил звон заслонки печи. Молодуха с распаренным потным лицом запускала в печь кочергу и с грохотом выволакивала оттуда чугунные хлебные формы. Жар, и так нестерпимый, становился настолько силён, что глаза начинали слезиться. Но огненной, с алым лицом, молодой рыжей бабе этот жар был привычен, в ней и самой было жара не меньше, чем в раскалённой печи, и она, весело переключаясь с товарками, гремела тяжёлыми хлебными формами по большому столу. Вот она с грохотом опрокидывала лотки, и на столе появлялись бруски золотистого, чуть подгоревшего, хлеба.

— Эй, студент! — услышал я оклик. — Хочешь хлебушка?

Я вставал со скамьи, делал шаг и протягивал руку, а румяная баба огромным ножом отсекала мне треть горячей буханки.

— Только сразу не лопай, — смеялась она. — А то кишки сварятся!

Бабы-пекари лили воду, таскали мучные мешки, раскладывали по формам тягучее тесто, гремели печными заслонками, двигали чаны и что-то кричали; но вот сумрак сна как-то странно редел, голоса переключившихся женщин становились всё выше и отдалённей, и я просыпался...

**ПЕЧЁНЫЙ КАРТОФЕЛЬ.** Стоит подумать о детстве, как в памяти возникают картины, сначала размытые и наплывающие друг на друга. Но в чередё этих образов едва ли не самым отчётливым будет то, как я, щурясь от жара, палкой выкатываю из мерцающей угольной груды обгорелые клубни картофеля. Выходит, картошка — своего рода ключ к детству; и, стоит вложить этот ключ в замки памяти, как двери прошлого туго расходятся, и открывается анфилада из комнат, уводящая в зыбкий сумрак былого.

В самой дальней из комнат, какую я вижу, мне года три. На огородах Выгорного только что выкопали картошку, и бабушка вилами сгребает сухую картофельную ботву. Эта ботва лежит рыхлыми кучами, напоминающими кровли хат в нашей деревне. Да, я застал ещё время, когда кровли были картофельными, а полы — земляными; помню, как было приятно нырнуть от жары в двери хатки, накрытой огромною шапкой курчавой ботвы, и ощутить босыми ногами прохладную гладкость земли. И пахло в тех хатах обычно всё той же картошкой — варёной, толчёной и киснущей с хлебными корками для поросёнка (тут я отсылаю читателя к букве “ч”: “чугунок поросёнка”).

Но вернёмся на верхние огороды. Что мне, трёхлетнему, было всего интересней? Конечно, костёр. А, кроме сухой картофельной ботвы, там жечь было нечего, и бабушка, давнись моим уговорам, подпаливала кучу ботвы. Поначалу огня было мало, зато много дыма: густого, молочного, растекавшегося по земле. В этом дыму слышался треск, и время от времени мелькал язык алого пламени.

Подобрав с земли пару картофелин, я бросал их в костёр. А огонь поднимался всё выше и трещал всё азартней; докрасна раскалённые плети ботвы какое-то время держали свою хрупкую архитектуру, и костёр напоминал рыхлый клубок раскалённой, светящейся шерсти. Но скоро всё рушилось, взлетал сноп искр, и на пепелище лежали, чернея, лишь два обгорелых картофельных клубня. Вот их-то я и выкатывал палкой.

— Бабушка, ешь! — кричал я. — Знаешь, как это вкусно?

Бабушка делала вид, что кусает горелый бок клубня, смеялась, а следом хватал свой обугленный клубень и я. Горячий, он пах очень вкусно и сытно, но зубы, вгрызаясь, хрустели в непечённой картошке, как в яблоке.

На то, чтобы научиться запекать картошку, у меня ушло лет пятнадцать. Всё детство и отрочество приходилось либо грызть непечённые клубни, утешая себя поговоркой “горячее сырым не бывает”, либо хрустеть коричневыми угольками. Не получалось у нас, пацанов, угадать ту минуту, когда нужно раскапывать угли и выкатывать картофелины из костра.

Настоящую, правильную картошку я смог испечь лишь где-то ко времени окончания школы. Это было в ясный день октября, на берегу речки Калужки. С отцом и матерью, тогда ещё совсем молодыми, мы развели костерок и дождались, пока нагорит достаточно углей, обернули картофель блестящей фольгой — эта новинка тогда только входила в наш быт — и закопали сияющие картофельные шары, напоминавшие ёлочные игрушки, в розовый ворох мерцающих углей. Сидели бок о бок, смотрели с обрыва на реку, на то, как она бесконечно сплетала жгуты своих струй, завязывала и распускала узлы водоворотов и как изумрудные космы водорослей мотались в тугой, напряжённой струе, словно с кем-то прощаясь... День был настолько хорош, что казался ненастоящим. Золото листьев и небесная синь наполняли его; вот-вот, казалось, день хрупко треснет, как ваза, не выдержав сам же себя — своей яркости, ясности и чистоты, — и от ожидания этого становилось даже тревожно.

И вот тут — очень кстати — ты чувствовал сытный, надёжный картофельный запах, который горячими волнами тёк от костра. Этот запах создавал как бы фундамент, на котором всё остальное, то хрупкое, из чего состоял весь сегодняшний день: хруст подмёрзлой травы, синева в белых облачных перьях, бормотанье реки, желтизна облетающих лип, паутина на ветках — всё становилось устойчиво-прочным, таким, что уже не боялось исчезнуть, как сон или дым. Картофельный дух придавал всему основательность и достоверность, он убеждал нас в реальности мира, сиявшего золотом и синевой.

А уж когда не один только запах, а сами дымящие клубни лежали на ярко-зелёной отаве, тогда чувство тревожного ошеломления этим солнечным днём сменилось покоем и осознанием того, что, раз существует картошка, которую мы сейчас будем разламывать, солить крупной солью, а потом с наслаждением есть, то и всё, что мы видим вокруг, нигде не исчезнет, а будет и дальше уверенно радовать нас...

**ПЕЧЬ.** Не так уж и много в русском языке слов, которые являлись бы одновременно и существительным, и глаголом. “Печь” как раз из таких; и мне сейчас надо решить: описывать ли процесс приготовления блюд — то, как их следует печь, — или спеть оду печи как архитектурному сооружению?

Чувствую, перевешивает второе. И уже чешутся руки: так хочется написать про растопку печи, про то, как по-разному пахнут дрова — осина кислит, а берёза горчит, — как стынут руки, пока несёшь в дом стопку мёрзлых поленьев, и с каким костяным перестуком они высыпаются на пол у дверцы печи. А как приятно именовать печные детали: колосник, поддувало, загниётка, заслонка! Это, видимо, генная память; не так уж и часто я сам растапливал печь, но кажется, что я это делал всегда, и на смертном, как говорится, одре не позабуду нехитрые навыки истопника.

Веселее всего топить печь берёзовыми дровами. Прежде чем складывать в стопку поленья, с треском оторвёшь лоскут бересты — это будет растопка — и вдохнёшь его свежий, с горчинкою, запах. Всегда кажется: на бересте что-то написано, что из этих вот крапин и точек, рассыпанных по её золотому исподу, можно составить слова, только жаль, я не знаю ключа к языку бересты. И всегда жаль поджигать бересту, наблюдая, с какой безоглядной готовностью она отдаётся огню. Алое пламя коптит, чернеющий завиток сам собою свивается туже — и, если сунуть горящую бересту под поленья, то уже через пять-шесть секунд озарённая пламенем топка начинает трещать и гудеть. Поразительно: только что дом был холодным, пустым, нежилым, и вот уж по стенам так сложно мечутся тени, как будто сюда в одночасье явились все люди, что здесь побывали когда-то, будто печь вызвала их даже с потусторонних полей...

Вообще, рядом с печью человек никогда не бывает вполне одинок. То его развлекают торопливые речи огня, то он любуется танцем пламени, то погружается в воспоминания, которые редко где так оживаю, как возле пылающей, жаркой печи. И вспоминается, что удивительно, только хорошее! Может быть, оттого, что дурное сгорает в огне, вылетает в трубу, а в душе остаётся лишь свет и тепло, то есть именно то, чем так щедро и радостно делится печь.

Печь любую погоду, любое ненастье превращает в прекрасное, даже желанное время. Ибо когда ещё так же уютно бывает сидеть у печи, как не в самую лютую зимнюю стужу или в промозглую осень, когда дожди льют дни напролёт? Иногда кажется, что ненастье для того именно и существует, чтобы мы с вами, усевшись поближе к печи и слушая дождь, что счёт по окну, научились ценить основные, первичные радости жизни: тепло, свет, крышу над головой.

А уж если ещё и какую-то пищу мы с вами можем готовить в печи, тогда вообще ничего нам не страшно. Чугунок ли картошки, горшочек ли каши или просто, в конце концов, чайник, в котором свистит кипяток — всё это тоже дарит нам печенье. Не говоря уж о том, что печные — томлёные! — блюда обретают особенный вкус, которого никогда не достичь в какой-нибудь микроволновке. Потомившись в печи, впитав её жар, её силу, блюдо становится словно больше себя самого. Картошка тогда уж не просто картошка, похлёбка не просто похлёбка! Нет, каждое кушанье, что побывало в печи, передаёт нам как будто частицу своей настоящей души. Сравните, кто может, ковригу ржаного пахучего хлеба, которая на деревянной лопате извлечена из печных жарких недр, с безвкусною булкой современного городского фастфуда. Их смешно даже сравнивать; это почти то же самое, что рядом с живою, смеющейся женщиной, в чьих глазах пляшут искры, а в голосе слышится страсть, поставить надувную резиновую куклу. И, может статься, я слишком наивен и старомоден, но я всё же надеюсь, что до виртуальных или резиновых женщин мы не докатимся, как не променяем живую и настоящую пищу на её синтетические подобию.

**ПЕРЛОВКА.** К перловке люди относятся, большей частью, презрительно. В армии солдаты называют перловую кашу “шрапнелью”; ни в каком ресторане перловой крупы не найти днём с огнём; уважают перловку, похоже, одни рыбаки, для которых она — неплохая насадка при летней ловле в проводку.

Но недаром “перловка” — от старославянского “перл”, то есть жемчуг. Вполне оценить всё значенье перловой крупы может лишь человек, знакомый с жизнью не с одной только празднично-лицевой стороны. Так вот, вторым — после армии — местом, где перловка стоит во главе рациона, я считаю больничную кухню.

А в больницах что самое трудное? Самое трудное там — это чувство сиротства и бесприютности, которое одолевает любого, кто коротает в бессоннице или в тревожной дремоте больничную ночь. Иногда кажется, что ты в мире последний — последний во всех смыслах слова, и потерявшийся в этой бездонной ночи человек. Порой раздаются какие-то гулы и стоны; так гудят то ли старые водопроводные трубы, то ли с натугой ползущие лифты, то ли сквозняки дребезжат незакрытыми створками окон, то ли стонут, забывшись, больные. Или это гудят, то мигая и притухая, то вновь загораюсь, те синеватые лампы, что озаряют ночные больничные коридоры трепещущим, призрачным светом? Время от времени начинает казаться, что это гудит весь больной и страдающий мир, что он, как и ты, изнывает в тоске и сиротстве. Думаешь, утро уже никогда не наступит; ночь, словно едкая щёлочь, растворила все формы, предметы, все лица и голоса, и ты обречён вечно маяться в зыбкой, бесформенной, стонущей мгле... В общем, пытаюсь сейчас описать ночь больницы, я пытаюсь дать описание ада или, по крайней мере, земного его филиала.

Что же нам помогает всё-таки выстоять и пережить эту трудную ночь? Первым делом, конечно, медсёстры. Именно звонкие их голоса — эти, можно сказать, петушьи крики больницы, да ещё торопливая дробь каблук оповещают нас, бедолаг, что ночь скоро кончится и что мы в этом мире не так уж и одиноки. Да, медсёстры уже спешат к нам в палаты, и мы подставляем свои ягоды под бодрящие утренние уколы.

Но что закрепляет успех наступления дня? Конечно, тележка буфетчицы. Её перестук всё отчётливее доносится из коридора, следом слышатся и оживлённые голоса, а вот уже ты различаешь и звяканье мисок, и характерный

двойной стук половника о стенки кастрюли. Зычный голос буфетчицы убеждает больных поскорей взять свою порцию утренней каши, и этот зов поднимает не хуже лекарств.

— Что сегодня? — интересуешься у соседа, уже вышедшего в коридор на разведку.

— Перловка.

— Отлично!

По сути, не так уж и важно, какая именно каша нам будет предложена; по-настоящему изголодавшийся человек не будет копаться в меню, выбирая что-либо особенное; так и нам, пережившим тяжёлую ночь, сейчас всё равно, какой именно кашей латать те пробоины, что оставила ночь в наших душах. Перловка — ну, значит, перловка: чем проще, обыденней каша, тем лучше.

Подошла твоя очередь; ты протягиваешь тарелку буфетчице, и та, прокрутив половник в кастрюле, решительно-метким броском швыряет в тарелку горячую кляксу зернистой, дымящейся каши. Тебе сейчас словно выдали порцию жизни: вот, солдат, твой сегодняшний боезапас.

И до чего ж хороша эта тёплая, с рыжим масляным нимбом, перловка! Её зёрна упруго пружинят и даже немного попискивают на зубах; вот бы, думаешь, и самому стать таким же упругим...

Маслянисто-тугая перловка жуётся легко, ты азартно работаешь ложкой — и вот уж тарелка пуста. Окликаешь буфетчицу:

— Мать, а нельзя ли добавки?

— Отчего же нельзя? — широко улыбается та. — У нас ночью как раз ещё двое представились: вот их порции, милый, и забирай!

**ПЕРРОНЫ.** “Перроны” — звучит, как название какого-нибудь итальянского или испанского блюда. Но я имею в виду платформы железнодорожных станций, на которых местные жители обыкновенно торгуют разнообразной едой. Для меня никакой ресторан не сравнится с перроном, особенно когда едешь на юг и когда каждая станция воспринимается, как подарок и праздник на этом пути.

Как известно, в дороге хочется есть постоянно. И возможно, что именно голод обостряет все чувства: зрение, слух, обоняние вдруг становятся позвериному чутки. Запах какой-нибудь жареной курицы ощущаешь с другого конца переполненного вагона; лицо грустной девушки, промелькнувшее в окне на случайной какой-нибудь станции, запоминаешь надолго; а все разговоры попутчиков, даже сквозь полудрёму и постук колёс, слышишь с удвоенной громкостью.

И такой вот, бодрый и помолодевший лет на пятнадцать, выходишь на солнечный шумный перрон где-нибудь в Россоши или Джанкое. В первый миг кажется, что вагон и весь поезд осаждает толпа нагружённых тяжёлыми сумками и коробами людей. Но по их крикам, перечисляющим и предлагающим всякую снедь, понимаешь: они не штурмуют вагон, а торгуют едой.

— Беляши, пиво, водка! — кричит тонким голосом толстая тётка.

— Кому копчёную рыбу? — почти что с угрозой хрипит коренастый, в наколках, мужик, высоко неся перекладину с полудюжиной золотых жерехов.

— Картошечка... Малосольный огурчик... Котлетка... — ласково и едва слышно шепчет старушка, с одышкой пробирающаяся через толпу.

— А вот раки! Варёные раки! — звенит голос девушки в ситцевом платье.

Кому-то кричать ничего и не нужно: их товар и так виден. Например, те, кто торгует сотовым мёдом: они несут на головах лотки со своим сладким товаром, и над каждым лотком вьётся множество ос. Кажется, что продавец балансирует зыбким столбом, состоящим из напряжённого гула и звона, из трепета крыл, и вот-вот уронит его на толпу...

Выбор прост — хочется взять и того, и другого, и третьего, — но сегодня, пожалуй, мы остановимся на картошке, на малосольных огурчиках и на паре бутылок холодного пива. Окликаем старушку, волочущую по

перрону такую огромную сумку, в которой она бы легко поместилась сама.

— Мать, а картошечки там не найдётся?

Старушка, оборотившись, враз оживляется, и глаза её светятся неожиданным озорством.

— Картошечки? А то как же ж — найдётся!

Она начинает рыться в тряпье, что натолкано в сумку, приборматывая при этом:

— Сейчас-сейчас, хлопчики, я вам достану погорячее...

Кажется, что она роется в недрах картофельной грядки — так глубока и темна та сума, что стоит перед ней, — и вот, наконец, извлекает пакет отварной, пересыпанной луком-укропом, картошки.

— Мать, а огурчики есть?

И старушка ныряет в другой угол своей безразмерной сумы-самобранки. Кажется, она может достать из неё всё, чего ни попросишь, что, в конце концов, целый мир помещается в ней. Но нам пока целого мира не нужно; нам хватит и огурцов, извлечённых старушкой, которые пахнут так вкусно, что даже слепой догадался бы: это именно малосольные огурцы.

Если б стоянка продлилась подольше, мы бы, наверное, что-то ещё попросили достать из волшебной сумы. Но проводница торопит нас, мы избегаем по лягающим ступеням вагона, затем вдоль состава бежит перестук буферов, и вот уж старушка с сумой отплывает от нас вместе с шумным, пахучим и пёстрым перроном. К сожалению — или, может быть, к счастью? — мне уже никогда не узнать, что хранилось в суме этой древней старухи со станции Россось; но порой кажется, что самая главная правда о жизни — её, жизни, глубинная радость и боль — скрыта именно в той суме полунищей старухи, торгующей на железнодорожном перроне. Больше того: я временами и сам себе напоминаю вокзальную эту старуху, потому что я роюсь в собственной памяти, как она в своей безразмерной суме, то пугаясь, то радуясь каждой находке, которую мне удаётся извлечь из её глубины.

**ПИВНЫЕ ПОДВАЛЫ.** Вот почему классическая пивная — это почти всегда спуск под землю, в подвал? А если даже пивная располагается выше, то в её интерьере всё равно часто видишь попытку имитировать подземелье: тут и грубая кладка, и затемнённые окна, и полумрак, и низкие сводчатые потолки.

Историки пивоварения могут на это сказать, что изначально пиво и пилось в том месте, в котором хранилось, то есть в подвалах. И напомнят, быть может, о доселе бытующем в Чехии “правиле седьмой ступени”: лучшее пиво то, что постояло именно на седьмой ступеньке подвального спуска. Да и пивная закуска — колбасы, ветчины, окорока — хранилась тоже в подвалах, естественно, там же устраивали и пивную.

Вот и моё знакомство с пивными — задолго до посещения Праги, её шумных прокуренных “пивниц”, — началось тоже с подвалов. Было это в годы студенческой юности, благо, Смоленск в конце прошлого века был богат и пивными, и пивом. Самыми популярными были два места: “на Николаева” и “на Дзержинского”. И, помню, уже сам спуск в эти подвалы производил хмельящее действие. Полумрак закоулков и переходов, фиолетовый цвет грубых стен, колыханье табачного дыма под сводами и невнятный гул голосов — всё это вгоняло тебя в состояние, как сейчас говорят, “изменёнки”. Казалось, что ты очутился в пространствах как бы параллельных реальности, не вполне совпадающих с ней; казалось, что жизнь подземелья не то отстаёт, не то обгоняет привычную жизнь, что течёт наверху.

И это ещё нам даже не принесли заказанные шесть кружек “Ячменного колоса”; пока на липком столе только полная пепельница, да обрывок газеты с очистками воблы. Но вот подошла подавальщица, смахнула газету в мусорное ведро, туда же опрокинула пепельницу и в три взмаха протёрла стол влажной, пивом пахнущей тряпкой.

Отчего те минуты, когда мы ожидали заказа, а сумрак пивной так гудел и качался вокруг, — отчего они так волновали? Ожидание то ли разлуки, то ли, напротив, волнующей встречи заставляло тебя озираться, невпопад

отвечать на вопросы приятелей и неестественно-громко смеяться их шуткам. Что-то особенное происходило вот в эти минуты в подземных пространствах пивной. Но толком понять, что же именно здесь происходит, ты не мог как тогда, в свои двадцать, так не можешь и ныне, в свои пятьдесят...

Как раз приносили и пиво. Подавальщица держала по три кружки в каждой руке; во всех шести пиво синхронно качалось, качались и блики на фиолетовых стенах подвала, качались и наши взгляды, следившие за перемещением пивных кружек в пространстве. Вообще, весь мир подвала казался неустойчивым и куда-то скользящим, и только, схватившись рукой за тяжёлую кружку, ты мог задержать его зыбкое коловращение.

Начинали пить пиво спеша, задыхаясь, аж выдувая ноздрями глубокие ямки в податливой пене и, лишь осушив по полкружки, могли отдышаться. Пивной хмель, да ещё на голодный желудок, накатывал быстро, и ощущение нереальности происходящего усиливалось до того, что хотелось спросить: “Где же я? И что значат все эти лица и звуки?” Но спрашивать было некогда, и я искал помощи у пивного бокала, вновь принося губами к его холодящему краю.

И вдруг, вместе с хмелем, к тебе приходила не то что отгадка, а некий намёк на неё. То, что было вокруг — этот сумрак и дым, кружки с пивом и низкие своды — было словно уже не реальностью, а смутным воспоминанием о ней. “Да-да, именно воспоминанием!” — радуясь слову-находке, ты повторял его про себя вновь и вновь. Вокруг длился словно бы сон о той жизни, которой ты некогда жил, и с которой теперь, захмелев, расстаёшься.

Но хмельная мысль двигалась дальше — продолжая тебе открывать беспощадную истину происходящего. Ты вдруг понимал, что всё это, томительно-гулкое, вязко-сырое, что так неотвязно клубится вокруг — голоса и бокалы, и своды, и лица, и мгла коридора, и шум нарастающей ссоры в углу, за соседним столом — это всё разлучает нас с жизнью, уводит туда, где нас больше не будет...

Фрейд, похоже, был прав: влечение к небытию есть один из важнейших мотивов нашего поведения. Груз жизни часто настолько тяжёл, что подспудно любой из нас жаждет отдыха и тишины, то есть в пределе мечтает о смерти. И вот как раз одно из тех мест, где мы с вами можем забыть, расслабиться и распустить узлы жизни — это пивные подвалы. В них мы совершаем, как это ни дико звучит, репетицию собственной смерти.

И вот именно то, что в подвалах обычно так сумрачно-гулко, так мрачно-могильно, придаёт пивным играм в смерть прямо-таки леденящую достоверность. Какая же это пивная, когда это склеп? Кажется, постучи сейчас в стену, отбей штукатурку, и откроются ниши с костями, и жёлтые черепа встретят нас костяными усмешками... Но, как ни странно, подвальные репетиции смерти никого не пугают. Пивные ломятся от посетителей, пиво льётся рекой, дым висит коромыслом, гвалт такой, что не слышно соседа, и поэтому думаешь: может, не так всё и страшно? Или то, что ты здесь себе подумал, всего лишь хмельные фантазии, или же там, куда мы уходим, будет тоже накурено, шумно и тесно, точь-в-точь, как в знакомых, привычных пивных?

**ПОДАЯНИЕ В ТАРУСЕ.** Вот уж воистину: от тюрьмы да сумы зарекаться не стоит. Подаяние, например, мне принимать приходилось.

Было это в Тарусе, у входа на кладбище, на закате жаркого дня. Я пришёл сюда пешком из Алексина. Путь вдоль Оки, по зною и пыли просёлочных долгих дорог, то спускавшихся к обмелевшей и тёплой реке, то забиравшихся на холмы окской поймы и петляющих меж деревень, этот путь не на шутку меня измотал. И когда, уже к вечеру, я, наконец, оказался в Тарусе, то вид мой, наверное, был в самом деле таким, что хотелось подать что-нибудь изможденному этому путнику в драных портах и пропитанной потом рубашке, в разбитых сандалиях и с трёхдневной щетиной на буре от солнца лице.

Но просил-то я не подаяния, а всего лишь кипятку, чтобы заварить себе чаю. Ну, не будешь же разводить костёр посреди улицы или, тем более, между могил, крестов и оград тарусского кладбища? Вот я и постучал посохом

о калитку ближайшего дома, и на крыльцо вышла русоволосая полная женщина с лицом очень добрым и, как мне показалось сначала, немного испуганным. Почему-то я обратился к ней: “Дочка!” — хотя вряд ли она была много моложе меня самого. Но роль и внешность бродяги словно сами диктовали мне, что и как говорить.

— Дочка, — проговорил я осипшим, измученным голосом. — Мне бы, это вот... кипяточку бы мне... Уж будь ласкова, ради Христа...

И я протянул ей свою жестяную, помятую и закопчённую кружку — ту, в которой заваривал чай в одиноких походах. Женщина осторожно спустилась с крыльца — стало видно, что она беременна, — молча взяла мою кружку и ушла с нею в дом. Я ждал, опершись о калитку и наблюдая стрижей, что носились над липами кладбища. Минут через пять на крыльцо снова вышла хозяйка, и в руках у неё, кроме полной дымящейся кружки, был ещё большой ломоть белого хлеба, намазанный маслом и прикрытый толстым пластом колбасы. Времена тогда были тяжёлые, полуголодные — шло лето девяносто первого года, — и то, что мне вынесла добрая женщина, стоило дорого во всех смыслах слова.

Я принял милостыню, — а это была настоящая милостыня! — смутившись, пробормотав: “Спасибо...”, а потом, помолчав: “Дай Бог здоровья...” Было немного неловко за то, что я словно выдал себя за другого — всё-таки до нищеты мне было тогда далеко, — но, вместе с тем, было радостно вдруг ощутить на себе свет людской доброты. Я начал есть подавание тут же, не отходя от калитки, — кружку с дымящимся чаем, чтобы она остыла, поставил на землю у ног — и помню, как уходящая женщина, обернувшись с крыльца, улыбнулась...

А теперь, вспоминая тот вечер, я думаю: может, именно там и тогда, у ограды тарусского кладбища, я впервые почувствовал, что, по сути, любая еда — это именно милостыня, и она нам даётся единственно из милосердия и сострадания?

**ПОМИДОР.** Уж если описывать помидор, так нужно петь в его честь настоящую оду. Начинать, например, можно так: “Помидор лучше даже не резать ножом, а разламывать, чтобы потом на его сахаристо-крупитчатый, алый разлом бросить щепоть крупной тающей соли...” Или так: “Вот мы достали из рюкзака помидоры, сыр, хлеб и уселись позавтракать на обочине затравеневшей дороги. Смешно даже сравнивать какое-нибудь высокопарное ресторанное блюдо, окружённое блеском серебра, хрустали и фарфора, с этой вот истинно райскою трапезой...”

Оба эти начала, пожалуй, годятся — от них от обоих можно вести помидорную песню. Но Мнемозина — дама капризная, и её прихоти трудно предугадать. Почему-то сейчас, когда пришло время петь оду царю овощей, память стала высвечивать не сам помидор, а обочины темы: то, как я поливал помидорные гряды в Тиму, на закате июльского жаркого дня. Что ж, доверимся памяти: у неё, как нас уверяют французы, хороший вкус.

Я был подростком двенадцати или тринадцати лет, а от нашего дома до водоразборной колонки идти было шагов триста — оттянешь все руки, пока донесёшь два полных ведра. Кажется, я и сейчас ощущаю, как в пальцы врезаются дужки вёдер и как ломит плечи и спину. Идёшь торопливым, напрягшимся шагом — скорей бы, скорей донести! — а колени порой задевают о вёдра, вода вышлёскивается, и поэтому обе штанины снаружи мокры.

Но вот, наконец, огород. Ставишь ведра — они проминают пыльную землю — и с трудом разгибаешь замлевшие пальцы. Третью неделю стоит страшная сушь, и кусты помидоров поникли на колышках, как инвалиды на костылях. На них сейчас жалко смотреть: прямо-таки ощущаешь, как помидорам хочется пить. Скорей опускаешь в ведро поллитровую банку — она наполняется с жадным, утробным глотком — и льёшь воду под жилистый стебель, в ближайшую лунку. Из трещин земли, торопясь, вылезают жуки, пауки, многоножки, а вода проваливается в эти трещины, как в пустоту. Лишь третьей банкой удаётся наполнить лунку по край, да и то на короткое время.

Зато помидор оживает. Его зелень свежее, осанка почти на глазах выправляется, он уже выглядит не инвалидом, а бравым солдатом, и, главное, он начинает свежо, приятно пахнуть. Когда же все лунки пролиты, а кое-где ещё даже стоят мутные лужицы пенной воды, этот запах, такой живой и бодрящий, слышен даже и с улицы, из-за забора, откуда ты носишь вёдра воды.

И оттого, что теперь помидорным кустам стало легче, становится легче и радостней тебе самому. Как будто, полив помидоры, ты напоил и себя, и с себя самого хоть немного, но снял тяжкий груз бытия. Не так уж и часто за пятьдесят тобой прожитых лет ты так же уверенно чувствовал: сейчас ты помог самой жизни, и жизнь благодарна тебе за эту подмогу. И мало когда ещё ты бывал так доволен и счастлив, как тогда, на тимском огороде, посреди приятно пахнущих, мокрых, оживших кустов помидоров...

**ПОМИНЫ.** Не удивительно ли, что при последнем прощании с человеком — пируют? Пусть не везде это принято — так, евреи и мусульмане считают поминальное застолье необязательным, — но в большинстве культур и народов, провожая покойного на тот свет, устраивают поминки.

Понятно, что они больше нужны не усопшему, а провожающим, тем, кто пока ещё жив. И понятен психологический смысл поминального пиршества: во врата, так сказать, смерти, куда только что удалился покойный, легче смотреть, окружив себя тем привычным и утешительным, что сопровождало нас всю жизнь и стало почти её, жизни, синонимом, то есть едой.

Вообще, без обряда — сценария, по которому выстроены ключевые моменты нашего существования, — мы, похоже, не выживаем. Причём обряд — это же совокупное творчество не только нас с вами, ныне живущих, но и тех поколений, что жили до нас, и тоже держались обряда, который они получили от предков и передали потомкам. Обряд, в том числе, и поминальный, — это то, над чем потрудились все поколения народа, народ целиком, это действие многовековой протяжённости, в котором мы с вами и зрители, и участники одновременно.

Первое поминальное блюдо — кутья, то есть сладкая зерновая каша, которую должен отведать любой, кто явился на поминки. Происхождение кутьи древнеславянское, но лишь христианство наполнило это обрядное кушанье глубоким и утешительным смыслом. Зерно означает будущее воскрешение после смерти — “аще не падет в землю, не оживет”, — а сладкие мёд и изюм, которыми одобрена каша, говорят нам о сладости жизни в мире ином, “идеже несть ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание”. В этом смысле кутья — упование вечности, то есть последняя формула христианского “Символа веры”, но изложенная не словами “чаю воскресения мертвых и жизни будущего века”, а выраженная с помощью риса, изюма и мёда.

За кутьей подаются блины. Тоже древнее, исконно славянское блюдо: этот масляный диск пропечённого теста, так напоминающий солнце, и солнце, конечно же, символизирующий. Вообще, выражение “поедание солнца”, которое может казаться совсем уж язычески-примитивным поверием и пережитком, отражает буквальную, строго научную, истину. Ведь поедая что-либо, в том числе, и блины, мы едим, в прямом смысле слова, солнечный свет. Откуда мука, из которой нам их напекли? Ясно, что из зерна. А откуда зерно? Да с того поля пшеницы, на которое лился солнечный свет, попадая на листья тучнеющих злаков и в них превращаясь в крахмал, клейковину, белок. Фотосинтез — то чудо, которое и превращает свет солнца во всё, что мы с вами едим: от блинов на поминах до самых затейливых деликатесов. Так что “поедание солнца” — метафора только на самый поверхностный взгляд; на самом-то деле жизнь и без всяких метафор так глубока и чудесна, что жизни, конечно, не хватит, чтоб надивиться на все её чудеса.

А последнее поминальное блюдо — кисель. Смысл его, как я думаю, — утешение. Всё же поминки — грустное дело, даже если уходит старик; а уж когда смерть берёт молодых, у всех поминающих души болят, а сердца обливаются кровью. И чашка сладкого, вязкого киселя действует, словно повязка на рану: саднящая боль хоть немного, да притихает.



Кстати припомнилось, что английское слово “comfort”, которое в ранних средневековых переводах Писания означало ни много ни мало “нисхождение Духа Святого”, со временем стало употребляться как “утешение”. Так что можно считать, что кисель, утешающий нас на поминах, есть хоть и слабое, и отдалённое, но дуновение Духа, который собой овеивает весь видимый мир и “дышит, где хочет”.

Но не забудем: на поминах долго расслаиваться не принято. Допьём же кисель, ещё раз поклонимся хозяйке-вдове, приобнимем осиротевших детей, что враз посерьёзтели и повзростели, да и пойдём жить себе дальше до тех самых пор, пока поминать не начнут и нас с вами.

ПРИМУС. Оказывается, я живу на свете так долго, что многие вещи, среди которых я рос, теперь можно встретить только в музее. Это и грампластинки, и плёночные магнитофоны, и ламповые телевизоры, и арифмометры — кто сейчас знает, что это такое? — и перьевые ручки с чернильницами, и деревянные лыжи с ременными креплениями и палками из коленчатого бамбука. Да что там! Я застал ещё керосиновые лампы “летучая мышь” и земляные полы в курских хатах, крытых картофельной ботвой! А если держаться кухонной темы, то я современник примусов и керогазов. Вот поди растолкуй молодёжи, что это за звери и в чём их различие, хоть это различие полвека назад было столь очевидным, что не нуждалось ни в каких разъяснениях.

Например, примус. Соответствуя громкому имени (“примус”, кто помнит латынь, значит “первый”), это устройство действительно громко гудело в отличие от почти безголового керогаза. Когда мы приезжали гостить к моей бабушке по отцу, Марии Павловне Панюковой (в посёлке Тим её называли короче: Марь-Пална), примус на её крохотной кухне пел-гудел чуть не круглые сутки. Раньше, чем начинали орать соседские петухи и ворковать голуби на улицах Тима, начинал гудеть бабушкин примус, под его тугий посвист мы нередко и просыпались. Так и вижу: бабушка подвигает поршнем насоса, потом, напряжённо поморщась, поднесёт спичку к горелке, и вспыхнет тугое, гудящее пламя, которое, кажется, хочет порвать на клочки самой же себя.

Стряпня на кухне Марь-Палны шла с утра и до позднего вечера; руки бабушки, а порой даже щёки были то припорошены белой мукой, то блестя серебром чешуи (каких карасей, нами же пойманных, она нам нажаривала!), то краснели от фарша котлет — тех незабвенных котлет, вкуснее которых мне ничего, никогда и нигде не доводилось пробовать! А лапша, янтарные блёстки которой как будто светились? А кисло-сладкие блинчики, тонко-ажурные, словно брабантские кружева? А вареники с вишнями, от алого сока которых густая сметана, накрывшая их, приобретала цвет нежно-розового заката?

Несравненное кулинарное мастерство моей бабушки было признано всеми в посёлке. Доходило до эпизодов комических. Так, тимские пьяницы как-то проникли в погреб Марь-Палны, чтобы похитить полдюжины банок компотов — вишнёвых, грушевых и яблочных, готовить которые бабушка также была мастерица. Она, помню, рассказывала об этой краже хоть, конечно, и с возмущением, но в то же время и с тайною гордостью, как о высшем признании своего кулинарного мастерства.

Секрет же — точнее, один из секретов — её кулинарных успехов был в том, что Марь-Пална относилась с доверием и уважением к рецептуре: то есть готовила блюда именно так, в той самой пропорции и очерёдности всех компонентов, как это было предписано в книгах, журналах или, скажем, на листках отрывного настенного календаря. Она всё выполняла с буквально аптекарской точностью, не допуская никакой отсебятины, и результат выходил потрясающе вкусным.

Слова “с аптекарской точностью” — не просто речевая фигура. Бабушка всю жизнь работала провизором поселковой аптеки, то есть человеком, составляющим лекарственные смеси. Поэтому и привычка к аптекарской педантичности — согласитесь, диковинная для русского человека, — и уверенность

в том, что мир в целом устроен разумно и правильно — это жило в бабушке неистребимо.

Вот и бабушкин примус, — к которому нам давно пора возвратиться! — тоже доказывал всей своею эстетикой и технической статью, всем разумным удобством устройства, что всё можно сделать правильно, аккуратно и точно и что беда лишь в нашем собственном безрассудстве и разгильдяйстве. В этом смысле примус нам демонстрировал целое мировоззрение: веру в технику и в прогресс, в порядочность и в порядок, веру, в конце концов, в “человека разумного”.

Жаль, что ныне от этой веры, уютной и старомодной, почти не осталось следов. Вот разве что примус напоминает о ней, точнее, не сам даже примус, а моё детское о нём воспоминание. Как-то очень отраднo представить себе блеск латунных боков, тугой ход поршня-насоса, сипение керосина, распыляемого форсункой, и, наконец, тот волнующий посвист, с которым под днищем кастрюли дрожало упругое синее пламя. Этот свист замолкал, только если форсунка примуса засорилась, и тогда бабушка звала на подмогу внука. Чтобы прочистить форсунку, требовались мои молодые глаза — это и было моим скромным вкладом в тимские пиры. Имелся особый предмет — “протицалка”, жестяная пластинка с тонким, припаянным к ней стальным волоском. Этим волоском и надо было попасть в засорившееся отверстие, чтобы наш примус опять загудел, и вновь закипела кастрюля с борщом, или зашкворчала сковорода с картофельными оладьями.

Где ж ты теперь, наш тимской примус? Неужели ты жив только в памяти да вот на этих страницах, где я пытаюсь тебя воскресить? Но слава Богу уже и за то, что всё это было: и гудение примуса в утренних сумерках, и бабушка в тёмно-вишнёвом халате, и стук её скалки о стол, припорошенный белой мукой, и упоительный запах оладий, и весь тот глубокий уют тимской кухни, который, как нам казалось тогда, будет вечен, который и впрямь, может быть, сохраняется где-то вне времени, вне суеты перемен. Почему, в конце концов, кто-то решил, что рай — это какие-то там непреременные кущи с амброзией, арфами и фимиамом? Рай — это место, исполненное любви; а мало кто был настолько же полон любовью, как бабушка Мария Павловна, без устали хлопотавшая ради нас в тесном сумраке кухни, под нежный и чуть шепелявый свист примуса...

**РАПАНЫ.** При слове “рапаны” я вспоминаю Абхазию, пляжи Гульрипша и то, как мы с дочкою Дашей ныряли, отдирая рапанов со свай полуразрушенного причала. В свои девять лет Даша плавала очень даже неплохо; но ныряла она всё же там, где было помельче, и где волна не так шлёпала о бетонные сваи. Море было прозрачным и тёплым; вдалеке, через залив, виднелись портовые краны Сухума; по пустынному пляжу бродили коровы и удивлённо смотрели на то, как мы с Дашей ныряем.

Если как следует раздышаться, можно было нырнуть метров на пять-шесть, туда, где уже было сумрачно и жутковато, и гроздь крупных рапанов лепились на сваях диковинными наростами. Царапая руки, я торопился их отодрать, но это было непросто: рапаны хрустели, в висках туго бухала кровь, море выталкивало обратно вверх, и за один нырок удавалось добыть не более двух костяных завитушек размером примерно с кулак.

Но вскоре мы всё же насобирали десятка три этих дальневосточных моллюсков, которые, как известно, доплыли до Чёрного моря на днищах судов. Отдыхая, посидели на пляже, где галька была перемешана с гильзами, — недавно в этих местах шла война — и побрели к дому, где жили в то лето.

По пути не раз останавливались, чтобы поесть ежевики и слив в одичавших садах, рядом с брошенными домами, в пустые оконные дыры которых тянулись лианы и откуда порой вылетали потревоженные нами сойки или удоды. Это тоже были следы миновавшей войны, как и те одичавшие табунки лошадей — долгогривых, пугливых и чутких, — которые время от времени выбегали с гор к морю, а потом снова скрывались в лесистых распадках. Порою дорогу нам перебежали поджарые бурые свиньи, похожие на

небольшие торпеды, которые то деловито рылись в пыли, то с шумом и топотом исчезали в густом ежевичнике.

Почему-то представилось вдруг, что абхазы, так отважно сражавшиеся за абсолютную свободу, завоевали её так много, что избыток свободы теперь доставался природе: одичавшим садам и лианам, свиньям и лошадям. Всё росло, размножалось, резвилось здесь вольно, в наивной беспечности, словно в раю. О том же, что в этом избытке свободы таилась ещё и опасность, как-то не думалось посреди этой всей субтропической неги, да ещё в ожидание обеда с вином и рапанами.

Чистить рапанов мы сели в пацхе — так называется летняя кухня абхазов. Это был деревянный навес, в центре которого, над очагом, висел на цепи закопчённый котёл, в котором хозяева изредка готовили лобию или мамалыгу. Ещё тут был стол, пара лавок, посуда — всё очень грубое, крепкое и настоящее. Примерно в таких же вот пацхах абхазы готовили пищу и сто лет назад: ни войны, ни революции, ни прогресс не изменили простого уклада их жизни.

Спокойно почистить рапанов нам, впрочем, не дали: очень скоро мы оказались окружены голенастыми, наглыми петушками-подростками. Они гордо вышагивали вокруг, били куцыми крыльями, хрипло сипели и пытались выхватить раковины чуть ли не из наших рук.

— Не цыплята — орлы! — смеялись мы с Дашей.

От них досталось даже соседской собачке, маленькой и кривоногой, которая сунулась было к нам в пацху, но тут же была атакована петушками и, поджав хвост, улетела опять за калитку. Интересно, что профили этих цыплят-петушков были чисто абхазскими: горбоносые, гордые. Похоже, здесь даже цыплята перенимали воинственный и независимый нрав местных жителей.

С рапанами мы всё же справились — они уже шкворчали на сковородке, в оливковом масле, среди колец лука, — и пришло время накрывать стол к обеду. Как раз подошла жена Лена, нарезала помидоры и хлеб, а я разлил по кружкам красное вино “Изабелла”, которое здесь, в Абхазии, называют “чёрным”. Пахнущее земляникой, оно было сладким, густым, как и природа субтропиков, которая нас окружала. И я даже не знаю, что больше хмелило: густое ли, тёмное это вино или роскошь всех этих пальм и лиан, эвкалиптов и зарослей лавра, мимоз и инжирных деревьев, вся эта яркость цветов и густые, томительно-сладкие запахи юга?

Скоро посередине стола появилась сковорода мясистых рапанов, напоминающих видом и вкусом те куриные желудки, которые у нас называют “пупками”. Только рапаны, не в обиду “пупкам”, были вкуснее: упругая пряность их мяса делала эти моллюски прекрасной закуской к вину.

Обед шёл своим чередом, мы болтали о том и о сём, как вдруг над пляжем Гульрипша застрекотали зелёные патрульные вертолёты. Они летели внаклон, низко, быстро и хищно, и от их стрекотания прохватывало ознобом. Сразу стало понятно, что вся эта роскошь и нега, которая нас окружала, — всего лишь оболочка, под которой таилась жестокая, грубая истина жизни. И я вдруг неосознанно заторопился: стал быстрее жевать, торопливее пить из кружки вино, потому что кто знает, что может случиться уже через час или два?

**РЫБНЫЕ РЯДЫ.** Даже в музеях не бывает так интересно, как на живом, полном шума, движения, запахов рынке. А изо всех мест на рынке интереснее всего рыбные ряды. Трудно даже и объяснить, почему это так — почему ни одежда, ни обувь, ни груды багрового мяса, ни разноцветные россыпи фруктов, ни даже лотки остро пахнущих пряностей не привлекают так, как ряды, где представлены дары моря: все эти рыбы, кальмары, креветки и осьминоги? Один только запах копчёной скумбрии, мойвы или салаки уже заставляет забыть все дела и зачарованно бродить по рыбным рядам, не уставая дивиться фантазии жизни, которая не поленилась придумать такое разнообразие всевозможных существ.

Вот мёрзлой поленницей, голова к голове, лежат рыбы морские: минтай, хек, треска. Они и впрямь, словно дрова: они нас согревали-спасали в те трудные, полугодовалые зимы девяностых годов, когда наших зарплат только лишь на минтай и хватало. Вот пучат глаза, топорчат жабры и плавники красные, словно ошпаренные, морские окуни, такие колочие с виду, что к ним страшно подступиться. Вот ломти сёмги, красно-мясистые, с мраморными прожилками жира. А вот полные лотки мелочи — тюльки, салаки, хамсы, — которая льётся с ковшей продавцов, словно расплавленное серебро.

А вот раскинулось и пресноводное наше богатство. Тут и карпы, лобастые, словно быки, и пятнистые длинные щуки — вот бы, думаешь, поймать такую на блесну! — и серебристые жерехи с мощным хвостом, чьи удары ты столько раз слышал, сплавляясь на лодке, и оливковые лини, и судак — до чего ж он хорош в заливном! — и, конечно, лещи, широченные, словно подносы. А налимы, лежащие склизкими чёрными кольцами? А сомы, чьи усатые пасти, кажется, и на прилавке готовы глотать всё, что им подвернётся?

Но в рыбных рядах можно встретить и прочих-иных обитателей вод. Не диво теперь и кальмары, и мидии, и осьминоги; бывает, что даже омара увидишь на крошеве льда — омара, чьи клешни, усы и суставы коленчатых ног напоминают чудовищ из фантастических фильмов. И вообще, когда ходишь по рыбным рядам, сам себе кажешься зрителем фильма об иных, предельно-далёких мирах. В обычной-то жизни где встретишь все эти щупальца, клешни, присоски, глаза на усах-стебельках, эти жабры и плавники, эти страшные пасти? До чего ж всемогущ и загадочен тот поток жизни, который выносит на наши глаза всё это разнообразие биологических форм!

После прогулки по рыбным рядам во мне всегда прибавляется жизненных сил. Кажется, что искупался в бодрящей и свежей реке, в том самом потоке, который несёт вместе с рыбами, раками и осьминогами и нас с вами тоже. С одной стороны, сознаёшь, что ты, как живой организм, являешься только ничтожной частицей на этом жизненном карнавале; но, с другой стороны, понимаешь, что ты со своим удивлением перед всем этим пиршеством жизненных форм — ты всё же являешься собою нечто иное и единичное. Таких, как вот именно ты, никогда прежде не было, нет, и не будет; не будет такого же точно, как твой, изумлённого взгляда, не будет тех именно мыслей, какие сейчас ты пытаешься выразить словом, не будет того, что есть именно ты, такой странный, несладко-растерянный, но даже и в этой нескладности неповторимый. И вдруг начинаешь — ну, может, ещё не вполне сознавать, а только предчувствовать — истину единичного, прозревать ту бытийную глубину индивидуального существования, которая может питаться лишь самым глубоким источником жизни: свободной и радостной волей Отца, сотворившего весь этот мир...

**РЮМКА ВОДКИ.** Отчего-то из всех выпитых в жизни рюмок с особой благодарностью вспоминается одна, и даже не столько сама эта рюмка, холодная и запотевшая, сколько тот мартовский день, когда она была выпита.

Этот день был настолько хорош, так огромен и ярок, что словно сам уже не вмещал того блеска, теплоты, трамвайного звона, капли, воробьиного гвалта и белизны облаков на синеем небе, из которых сам же и состоял. И уж тем более не помещался в нём я, медицинский студент, одиноко бредущий по мартовским лужам Смоленска.

Приходилось ли вам ощущать, что вы лишние на сияющем празднике жизни? Когда окружающий мир так прекрасен, так полон самим собою, что вам, одинокому путнику, в нём не находится места? Поэтому вместе с блаженной истомой от созерцанья весны я ощущал и тоску одиночества. Я сознавал, до чего же ничтожен и слаб по сравнению со всем этим блеском, с полуденным звоном капли, со всей яркой силой весеннего дня.

Я брёл вниз по длинной, к Днепру опускавшейся улице, изгибы которой поворачивали меня к солнцу то левой, то правой щёкой. И я таял на нём, таял вместе с крышами и водостоками, с грудями грязного снега обочь тротуара, с размлевшими мартовскими котами на карнизах и подоконниках, вместе с пьяными от весны воробьями, которые так ошалело, забыв всё на

свете, плескались в сверкающих лужах, что брызги летели мне на ботинки. Мы все — я, коты, воробьи — словно чуть повредились рассудком от солнца и блеска, от брызг вездесущей капли. И мне уже, помнится, было физически трудно выдерживать натиск весны.

Поэтому вывеска “Рюмочная”, которая вдруг подвернулась глазам, показалась заманчива, как предложение о передышке. И я с облегчением бежал по ступенькам в подвал, где было безлюдно и тихо и где наконец-то глаза могли отдохнуть в полумраке.

Буфетчица, величавая, как изваяние, скучала за стойкой. Перед ней мерцал влажный поднос перевёрнутых рюмок. Стоять перед стойкою молча было неловко, и я попросил налить рюмку водки. Полные белые руки буфетчицы мягко задвигались, запотевший графин приподнялся и наклонился, едва слышно булькнуло, и вот предо мною стояла всклень налитая рюмка, такая холодная, что было трудно держать её в пальцах. Осторожно, боясь расплескать, я поднёс рюмку к губам и, выдохнув, бросил в себя обжигающий лёд.

— Закусочку, парень, не забудь, — загудел грудной голос буфетчицы, и она пододвинула мне ломтик хлеба с селедкой.

Я жевал и мычал, благодарно кивая, и чувствовал, как во мне распускается словно горячий цветок. В груди потеплело, глаза повлажнели, так что и мокрые рюмки на стойке, и крупные серьги буфетчицы стали переливаться радужным блеском, и весь подвал “Рюмочной” начал казаться волшебной пещерой из сказки.

И когда, расплатившись, я выбрался снова наверх, к ослепительно-синему небу и солнцу, мне было легче выдерживать натиск весеннего дня. Не только снаружи, но и внутри меня теперь что-то сверкало и жгло, и я вдруг ощутил равновесие между собой и сияющим миром вокруг. Я только что словно бы причастился ему, и он больше не отторгал меня, как недавно, а принимал за вполне своего.

Я догадался: всё дело в солнце! Ведь глоток водки, который я выпил и который теперь грел меня изнутри, — это был, в сущности, солнечный сгусток. Когда-то луч солнца коснулся земли, оживил её всходы, затем, пройдя ряд превращений, стал пшеничным зерном, а затем, в перегонных кубах спиртзавода, превратился в тот самый глоток обжигающей водки, который теперь, став частицей меня, позволял мне себя чувствовать родственным этому яркому миру. Солнце, можно сказать, отразилось во мне, и незримая нить задрожала меж нами...

Улица продолжала нести меня вниз, но теперь это был словно некий блаженный полёт. Впереди, над домами и крышами, сияли золотом соборные купола. На их блеск было трудно смотреть, а вокруг куполов и крестов носилась, шумя, голубиная стая. Белые голуби то вдруг чернели, почти пропадали из глаз — огонь куполов словно их испепелял! — а потом, снова, ярко белея, неслись по пронзительно-синему небу. На какое-то время я вдруг перестал понимать, где же я нахожусь — на земле или на небе? И мне уж мерещилось, что я тоже лечу вместе с птицами, в их трепещущей стае, и глаза мои слепит то золото, то синева...

**САМОЛЁТНЫЕ ЗАВТРАКИ.** Каждый, кому приходилось летать, получал от стюардесс коробку, наполненную подобиями еды. Не считать же всеядной пищей эти пакетики масла, брусочки желе, эти корбочки с безвкусными овощами да ломтики мяса или рыбы, запечатанные в фольгу? Как в детском наборе “Юный доктор” или “Юный портной” пластмассовые ножницы или стетоскопы очень мало похожи на настоящие, так и при раздаче еды в самолёте чудится что-то игрушечное, словно пассажиры решили, как дети в песочнице, поиграть в завтрак или обед.

Про вкус самолётной еды писать нечего: его просто-напросто нет. Но зато всякий раз, когда мне предлагают эти наборы, я вспоминаю калужский музей космонавтики, где нам, школьникам, показывали еду космонавтов. Эта витрина поражала нас куда больше, чем прочие экспонаты музея. На тюбиках, напоминающих тюбики зубной пасты, было написано: “борщ”, “бифштекс” или “суп с фрикадельками”. Как мы восхищённо толпились перед

этой витриной, и каждый мечтал: эх, вот бы попробовать то, что едят на орбите! Тогда, в детстве, сделать этого не удалось, и разочарование синтетической пищей пришло много позже. Ведь еда в самолётах, должно быть, похожа на то, что едят космонавты: от пищи в ней только название, да унылые цифры калорий.

Но тут наша тема — критика самолётной еды — вдруг поворачивается совершенно иной стороной. Что, в конце концов, остаётся от всякой, пусть самой вкусной, еды? Лишь название, слово, идея — то, что Платон называл словом “эйдос”. Про физиологическое завершение любого из наших пиров писать как-то даже неловко. Мы же с вами, надеюсь, не сводимся к пищеварительной трубке, что начинается ртом и кончается задним проходом? Так вот, еда в самолёте, которую с настоящей едой роднит, в сущности, только название, ближе к чистой идее еды, чем какой-нибудь сочный бифштекс или стейк из лосося. И мы в самолёте, рассеянно глядя в иллюминатор, за которым, слепя и сверкая, расстилаются кипельно-белые облака, мы поедаем не столько бифштекс, сколько “идею бифштекса”. Но где же ещё и общаться с платоновским миром идей, как не за облаками, не там, где земная реальность бледнеет, становясь уже то ли воспоминанием, то ли бесплотным призраком? Конечно, чем ближе к небу, тем холоднее, как говаривал барон Дельвиг; но зато в той небесной прохладе, где мы с вами легим, тлен и порча изменчивой жизни не так разрушают и мысли, и память, как это было бы на покинутой нами земле.

В конце концов, даже и эти страницы, на которых я припоминаю пиры своей жизни, — что это, как не попытка подняться туда, где уже существует не просто еда (вещь, как известно, весьма скоропортящаяся), но присутствует “эйдос” еды, живёт то, что питает не только тела, столь же тленные, как и то, что они поедают, но сохраняется то, что питает и радует души?

**САЛАТЫ.** По салатам можно изучать историю и собственной жизни, и целой страны. Так, в аскетически-строгие послевоенные годы салаты были не в ходу. Какой там салат! Скажи спасибо, если в столовке предложат суп да гуляш, а на третье — компот или чай. Я уж не говорю про старинный, традиционный уклад: ни в крестьянском, ни в городском мещанском быту о салатах не было и помина. “Щи да каша — пища наша”; а смесью травы и каких-то варёных кусочков могли питаться разве что поросята.

Но времена изменились, и на столах появились салаты. Первый салат, что я вспоминаю, — это был винегрет, который нас заставляли есть в детском саду. И нам он, помню, тогда не нравился. Что за радость, думал я, роясь в тарелке, жевать эти пресные кубики свёклы с морковью, да ещё перемешанные с солёными огурцами? Всё это было холодным, осклизлым, вечно падало с вилки на стол и тебе на штаны; в итоге большая часть винегрета, которым нас, деток, пытались кормить, оказывалась в помойном ведре, которое поварахи дачада уносили своим поросяткам.

Но вообще винегрет о ту пору, то есть в шестидесятые-семидесятые годы прошлого века, буквально завоевал всю страну. В “стекляшках” и “забегаловках”, в заводских или привокзальных столовых — всюду можно было увидеть тарелки с красневшею горкой вареной моркови и свёклы; и стоило это всё удовольствие, если не ошибаюсь, всего шесть копеек.

Со временем я полюбил винегрет: за его простоту и доступность, за красный праздничный цвет (не за это ли самое винегрет так любила и вся страна — ведь тогда её символом было именно красное знамя?). Да и вкус винегрета мне нравился больше и больше. Облитый подсолнечным маслом, да с ломтиком жирной селёдки, да с краюхой свежего чёрного хлеба, — признайтесь, что лучшей закуски тогда было трудно сыскать.

К тому же, потом я узнал, как этот простецкий салат может быть превращен в кулинарный шедевр. Ведь знаменитая “сельдь под шубой”, которая и до сих пор соблазняет самых капризных гурманов, — это, по сути, тот же винегрет, но доведённый до совершенства. Составляющие те же самые — лук, свёкла, картофель, морковь, — но они не перемешаны, как в простом винегрете, а выложены послойно — так, что этот салат напоминает слоёный

пирог. А так, винегрет — он и есть винегрет, с непременною спутницей-сельдью и с розовым соком, который сверкает янтарными блёстками масла.

Но пора перейти и к другому салату, который стал, можно сказать, гастрономическим символом детства и целой эпохи. Все главные события жизни, от Нового года до дня рождения, были связаны именно с ним; и не раз доводилось мне слышать, что без него, дескать, и праздник не праздник.

Речь, конечно же, об “оливье”. В нём главным ингредиентом (ну и словечко!) был дефицит. То есть не просто какой-либо из редких продуктов, необходимых для приготовления салата, а дефицитом в те годы был и майонез, и зелёный горошек, и варёная “докторская” колбаса, но важен был и дефицит, как явление. Важно было осознавать, что перед тобой не просто еда, а нечто особое, редкое, то, что ты долго разыскивал, мотаясь по магазинам и выстаивая в очередях. “Оливье” был доступен не всем, не всегда; им гордились, как неким “умением жить”; так, возможно, пещерный охотник гордился умением заманить в западню мамонта или носорога.

И вот именно “дефицитностью”, ощущением прикосновения к некой мечте нам и дорог был этот главный советский салат, получивший (откуда, не знаю) французское имя. А вкус его был, откровенно сказать, никакой. Так, какая-то вялая смесь из яйца, колбасы и варёной картошки с морковью — с почти что безвкусным зелёным горошком. Если б не майонез (тоже та ещё редкость!), это пресное месиво вообще нельзя было б есть.

А когда та, былая, уютно-застойная жизнь вдруг сломалась, когда понятие “дефицита” вернулось из гущи обыденной жизни на страницы экономических сводок, точнее сказать, в разряд дефицита попало иное: деньги, время, здоровье, покой — то куда-то исчез и салат “оливье”. Нет, он, конечно, мелькает ещё кое-где в застольях пенсионеров, которые с нежностью вспоминают эпоху застоя; но теперешний, переживший себя самого “оливье” так же мало похож на тот легендарный салат времён всеобщего дефицита, социального равенства и братства народов, как потускневшие лица нынешних пенсионеров мало похожи на вдохновенные лица плакатов семидесятых годов.

Что же жизнь предложила взамен “оливье”? Роясь в памяти, столь же путаной, как и жизнь в девяностые годы прошлого века, извлекаю оттуда салат под названием “Крабовый”. Он стал популярным с лёгкой руки одного певца, показавшего этот салат в своей кулинарной программе, и “Крабовый” быстро, как шлагер, завоевал всю страну. В течение целого десятилетия не было, пожалуй, застолья, где бы не подавался этот салат, состоявший из кукурузы и сладкого мяса трески, сдобренных всё тем же майонезом. “Крабовый” был салатом обманным и сладким, как лживое обещание, ибо от крабов в нём был только запах. Самого же предмета, который был должен его издавать, — в нашем случае, крабов, — там не было вовсе. Что ж, таков вообще принцип современного виртуального мира: видишь картинку или чувствуешь запах, а за этой картинкой или запахом — лишь пустота.

Но не будем уж слишком ругать тот салат, под пиротный вкус которого страна жила многие годы. Сейчас-то, конечно, мало кого заставишь жевать эту сладкую кукурузно-тресковую смесь, но тогда он казался и вкусен, и сытен, и не зазорным считалось поставить перед гостями салатник и предложить:

— Ну, что: может, под водочку — “Крабовый”?

Перемены, как это ни странно, приносят не только плохое. Вот и с салатами так. Лет, наверное, десять назад я впервые попробовал то, что уже не хочу променять на иное. Когда я увидел, как крупно нарезаны красные помидоры и жёлтые перцы, как ярко чернеют маслины, белеют мягкие кубики брынзы и кольца лука, как всё это щедро полито оливковым маслом — я сразу почувствовал: вот оно, настоящее!

Да, салат “Греческий” я полюбил с первого взгляда. Я услышал в нём как бы голос далёкой, но ещё не вполне позабывшей нас родины. Это как встретить где-нибудь в скудных, северных наших местах афинский фронтон или копию греческой статуи, то есть вспомнить, откуда мы родом. Ведь наша культура, наука, религия — всё пришло к нам из солнечной Греции. Вот и этот салат, такой с виду яркий и праздничный, и такой, вместе с тем, благородно простой, доносит до нас отголосок античного зноя, пёстрый шум

многолодной агоры, шелест бледных оливок на афинских холмах и протяжные, мерные вздохи Эгейской волны, что как будто читает нам долгие строки Гомера...

**САМОВАР.** Когда из гудящей самоварной трубы летят искры, и даже порой вырывается пламя, самовар представляется словно ракетой, залетевшей издалека и ещё сохранившей горячую дрожь реактивного двигателя. Не поэтому ли самовар, хоть и служит символом традиционного быта, так авангардно-космичен: его полусферы, изгибы и грани, вся его сложная архитектура создана словно не тульскими мастерами, а фантастами-футуристами. Вообще, будь моя воля, я бы выполнил первый искусственный спутник Земли в виде именно самовара: пусть бы символ России носился себе по орбите. Впрочем, и тот, что запущен полвека назад — шар с усами-антеннами — тоже чем-то напоминает кругленький самоварчик.

Поразительно, как много всего соединено в самоваре. Это и печь, и паровая машина — вон, как заварочный чайник звенит и подсакивает на самоварной конфорке! — и резервуар для горячей воды, да и просто красавец. Как сияют его полусферы и грани и как всё, что есть в комнате и на столе, спешит отразиться в надутых щёках самовара!

Самовары на свете — великое разнообразие. От совсем крошечных, на стакан кипятка, до огромных, высотой почти в человеческий рост. Таков, если видели, самовар в тульском вокзальном буфете: сколько вмещает он ведёр воды, трудно даже представить. Бывая проездом в Туле, я всегда захожу к нему поздороваться и радуюсь, когда моё отражение расплывается по его серебристому животу.

А формы? Тут и шары, и цилиндры, и усечённые конусы, и гибриды всех этих фигур, да ещё обрамлённые, как кружевами, затейливой металлическою лепниной. И узорные ручки, и крышки, и краники, и массивные лапы, на которых стоит самовар, и конфорка под чайник, и ещё Бог знает что, превращающее самовар из кипяtilьной машины в бокастую, щеголеватую, разрядившуюся купчиху.

А пестрота самоварных расцветок? Порой он горит такими цветами-узорами, что с ним не сравнятся ни палехские шкатулки, ни жостовские расписные подносы! Кажется, все цветы мира собраны в пышный букет самовара. И я чувствую: мне не хватает ни слов, ни сравнений, чтоб спеть самовару ту песню, которую он заслужил. Это тот самый случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать или прочесть; самовар нужно именно чувствовать всем, чем можно — глазами, ушами, ноздрями, ладонями, — чтобы в душу вошло ощущение праздника, имя которому “самовар”.

Но вот тут я испытываю недоумение: странное всё же название придумали русские для кипяtilьной машины, изобретённой, как известно, китайцами. Ведь самовар сам-то вовсе не варит, напротив, хлопот с ним достаточно много. И накопи лучины или набери шишек, и разведи огонь в самоварной трубе, да потом следи, чтобы он не потух и чтобы искры от самовара не подожгли что-нибудь в доме; да наполни пузатое это устройство водой, да подставь блюдечко под всегда протекающий краник, — словом, для чаепития с самоваром желательно завести кухарку или денщика, которым и будет поручена вся эта возня.

Но почему же тогда — “само-вар”? Может, в названии чайной машины, идею которой нам подарили китайцы, мы, русские, отразили не столько реальность, сколько национальную нашу мечту? И дело здесь не в одной только лени. Да, русский Емеля, конечно, ленив, и он хочет, чтоб печь самоходом несла его в царский дворец; но в Емелиной лени содержится много всякого-разного. Это и равнодушие к мелким хлопотам быта, и склонность души к созерцанию без желания непременно урвать себе пользу, и та мудрость, которая нам говорит: сколько ни хлопочи, всё равно в домовину-то ляжешь с одною лишь свечкой в руках...

Посмотрите, как много у нас, русских, слов с корнем “сам”. Тут и уже упомянутый самовар, и ковёр-самолёт, и какой-нибудь там самострел, самосвал, самоход; кажется, мы непрерывно мечтаем о том, чтобы всё, среди чего



мы живём, совершалось само собой, не мешая нам тешиться неторопливою радостью жизни.

А само-бытность — важнейшее качество как человека, так и народа? Ведь истинно жив и достоин себя самого только тот человек и народ, кто существует не по чьей-либо внешней указке и воле, а живёт сам из себя, само-бытно, подчиняясь велению собственных сердца, души и ума. В конце концов, лишь на пути самобытности мы становимся ближе к Тому, Кто являет Собою само бытие.

Вот как мы далеко залетели в своих рассуждениях от самовара, от его потаённого гула, от свиста пара под задрожавшею крышечкой, от сладких запахов сдобы и мёда, что так часто сопутствуют горечи самоварного дыма. Но недаром я начал с того, что самовар напоминает космическую ракету: куда только нас с вами не занесёт его реактивная тяга...

СМОРОДИНА. Порой кажется, что смородина — это как бы наш северный виноград, добравшийся с юга аж до Белого моря (какую смородину собирали мы с другом на Соловках!) и потерявший при этом в размере и сладости, но зато так прибавивший в главном из качеств — в своём аромате. А то, что смородинный лист так похож на лист виноградный, лишь укрепляет меня в этом наивном ботаническом заблуждении.

Смородинный куст привлекает всегда, даже когда на нём нет спелых ягод. Вот, к примеру, апрель. Земля только-только немного провяла, и ты идёшь в сад, на обрезку кустов. В космах бурой травы у забора желтеют цветки мать-и-мачехи, а над смородинными кустами порхают такого же цвета лимонницы. Стоишь, дышишь, щуришься на апрельское солнце и — пока нерешительно — пощёлкиваешь секатором: всегда жалко резать живые, хотя бы и старые, ветви. Но ты знаешь, что это смородине только на пользу: обрезанный куст молодеет и начинает выбрасывать стрелы новых побегов. Поэтому всё же решаешься на обрезание: поддевая секатором заскорузлые ветки — особенно те, что лежат на земле, — туго жмёшь рукоять, нож хрустит, но не кровь брызжет со среза, а дышит живой, пряный запах смородины.

Запах её — настоящее чудо. Филологи нам говорят, что само слово “смородина” происходит от слова “смердеть”, то есть пахнуть. В нём есть что-то настолько бодрящее, сильное, что, кажется, этот запах поднял бы тебя и с одра самой тяжкой болезни. Да и весь твой апрельский, пока вяло дремлющий сад, разомлевший в теплыни, словно проснулся, вдохнув аромата смородинных веток и почек. Звон синицы пробил тишину; петух закричал у соседа в сарае; мяукнула кошка, и следом за ней заорал обезумевший кот — и всё это, весеннее, зазвучало в саду, пробудившись от бодрого духа смородины.

Но обрезка идёт своим чередом. Скоро рядом с кустом, поредевшим и помолодевшим, как старик после стрижки, лежит целая куча нарезанных веток. Их жалко просто сжигать, и думаешь: а не пустить ли обрезки на черенки? Сорт отличный — и сладкий, и крупный, а старей-то куст, сколь его ни омолаживай, всё равно корчевать через несколько лет.

Вот вскопана узкая грядка, отобраны крепкие, с крупными почками, черенки, и скоро их дюжина косо торчит из земли. Вот только полить их как следует — весна нынче сухая — и ждать, пока они превратятся в кусты.

Вообще, черенки означают бессмертие. Когда они пустят корни и ветви, когда каждый из них станет юным кустом, это будет точь-в-точь старый куст, уже к тому времени дряхлый и полузасохший. Даже когда старый куст будет срублен, сожжён и развеян по ветру, он всё равно будет жить в крепкой дюжине даже не то чтоб детей, а себя самого. Ведь для растения, что размножается черенками, смерти не существует. Тело куста только с виду немного другое, но по своей генетической сути оно повторяет тот куст, от которого произошло.

Так что не только своим ароматом нас привлекают апрельские эти кусты. Повозившись часок-другой с ними, начинаешь впадать в состояние странного ну, не то, чтоб совсем равнодушия, а какого-то недоверия к смерти. Кажется, неизбежное исчезновение всего, что нас окружает, как и грядущее исчезновение нас самих, — это просто обман, в который жизнь

заставляет нас верить, но сама-то она понимает, что это обман, и продолжает за условно и необязательной смертной чертой, как и этот смородинный куст, что обрезан сегодня, продолжится дюжиной собственных копий.

Да и весь тот апрельский сияющий день, что тебя окружает, со всей синовой и теплыню, с порханьем лимонниц и звоном синиц, разве он не говорит тебе то же самое: смерти не существует? Есть только жизнь, есть весна, пробудившая всё, что дремало доселе, и есть этот пряный смородинный запах, в котором нам слышится словно намёк на возможность бессмертия...

**СОСУЛЬКА.** Какое смешное, как будто из детского лепета, слово для называния тех ледяных сталактитов, что висят на краях крыш и на желобах водостоков. В детстве каждого были сосульки и, наверное, были ангины, от этих самых сосулук случавшиеся. Но как удержаться, когда это чудо сверкаетверху над тобой, когда с него сыплются зёрна капли и когда всё вокруг так наполнено светом весны? Не говоря уж о воробьях, которые плещутся в струях капли, словно под душем, но даже сонные мухи, и те просыпаются, чую весну. Вон они, спотыкаясь, как пьяные, бродят по солнечным стенам и даже пытаются попробовать крылья; их брызжащий, прерывистый звук, позабытый тобою за зиму, тоже вливается в музыку яркого дня.

Правда, сосульку бывает не так-то и просто достать. Особенно если тебе всего пять лет, и ты так укутан, что поднять руку вверх почти невозможно. Но всё-таки, оскользаясь на обледенелом сугробе, ты дотягивался до сосульки — vareжка вмиг промокала — и отламывал её ледяную верхушку. Но она тут же выскальзывала из пальцев и разбивалась на звонкие брызги. Какая досада! Надув губы, упрямо сопя, ты тянулся к следующей сосулке. Теперь ты был осторожнее — опыт есть опыт! — и вот твёрдый, холодный, сочащийся влагою конус лежал у тебя в руках.

В этот момент ты испытывал разочарование — едва ли не первое разочарование в жизни. Сосулька вон там, наверху, под застрехой сарая, вся в солнечном блеске, была вовсе не то, что вот эта холодная мокрая палка из серого льда, от которой уже начинали стечь пальцы. Торопясь как бы что-то исправить, пытаешься как будто вернуть восхищение этой сосулькой, ты лизал её раз и другой, но разочарование лишь нарастало. Вкус ледышки был пресный, холодный, совсем никакой... Разве об этом мечталось, когда ты тянулся к сияющей радужным нимбом сосулке?

Да, это был важный опыт. Нечто вдали, и оно же в руках у тебя — это были настолько различные вещи, что впору было задуматься: стоит ли вообще приближаться к тому, средь чего ты живёшь, и, тем более, брать его в руки, пытаешься присвоить? Мир вдали — на расстоянии, так сказать, взгляда — бывает прекрасен; тот же мир, но вблизи может быть много-много скучнее и хуже...

Но ещё удивительнее другое: сколько ни обманывайся в своих ожиданиях, сколько ни разочаровывайся — в той же самой, к примеру, сосулке, — всё равно она будет притягивать взгляды и душу. Да и как не залюбоваться тем, как блистает на солнце сияющий конус и как с него льётся капель? Словно солнечный свет так наполнил сосульку, что избыток его теперь падает чередою сверкающих брызг, а внизу, под застрехой, они разбиваются о волнистую наледь, там висит влажный туман, и в этом тумане вдруг видишь мерцание радуги...

**ТАТАРСКИЙ БИФСТЕКС.** Самое варварское из блюд я попробовал в сердце Европы: татарский бифштекс нам с женой принесли в Праге.

В том кафе меню на русском не было, чешского я не знал, а английская надпись "Tatarian beef-stake" мало что мне говорила. Цена показалась приемлемой, вес блюда — очень даже приличным; и я, недолго думая, заказал для жены именно его. Помню, как официантка, оглядев нас с Еленой, удивлённо подняла брови и как я удивился её удивлению.

Довольно скоро — я не выпил ещё и кружку пльзеньского — официантка явилась с подносом, на котором краснела гора совершенно сырой, перекрученной на мясорубке, говядины.

Жена наотрез отказалась даже попробовать этот, как она выразилась, “кошмар”. Я же, для храбрости заказав ещё пива, стал думать, как превратить эту гору говядины во что-нибудь мало-мальски съедобное. В центре мясного холма, в углублении-кратере, колыхалось сырое яйцо; рядом с мясом был насыпан резанный лук; соль, горчица и перец стояли у нас на столе. Я перемешал мясной фарш с яйцом и луком, обильно его посолил и поперчил, добавил горчицы — и, в итоге, получилась огромная сырая котлета.

— Может, отдашь это на кухню, чтобы пожарили? — предложила Елена.

— Нет, — решил я. — Буду есть, как положено, в сыром виде.

Багровый бифштекс истекал мясным соком. Парной запах свежей говядины не могли перебить даже перец и лук. И я вдруг почувствовал странное беспокойство, когда наклонился над блюдом с татарским бифштексом и вонзил зубы вилки в сочное мясо. Что-то звериное, древнее шевельнулось во мне, словно некий инстинкт, уж давно похороненный и позабытый, вдруг пробудился от зова парного, кровавого мяса...

То, что я начал жевать, оказалось неожиданно вкусным. Бифштекс был сочен и свеж, пресновато-остёр — лук, горчица и перец прихлились как нельзя кстати, — и я, чуть не с урчанием поглощая сырую говядину, так увлёкся, что опомнился только тогда, когда на блюде почти ничего уже не оставалось.

— Ну, ты и обжора! — удивлённо сказала жена.

— Да ты попробуй, как вкусно!

— Нет уж, спасибо, — помотала она головой. — Я не волчица.

“А я, значит, волк? — подумал я про себя, принимаясь опять за бифштекс. — Вот уж не ожидал разбудить в себе зверя...” Да, что-то явно менялось в моём отношении к миру. Всё, что было вокруг: все эти столики, стулья, картинка на стенах, цветные бутылки над барной стойкой, весь этот уют старой пражской пивной — всё показалось вдруг тесным, мелочным, скучным. Душа затомилась в тоске по тому, что так трудно выразить словом, но что неизбежно живёт в глубине человека и не позволяет ему быть вполне примирённым с собою и собственной жизнью. Мучительно вдруг захотелось простора и воли, движения, ветра; быть может — бурана в степи; может — ночи и полной луны...

Тогда, доедая кровавый бифштекс, я, мне кажется, понял, отчего воеет волк на луну. Он ведь тоже, бедняга, томится невнятной тоской, наподобие той, что терзает меня, и не знает, чем, кроме протяжного воя, выразить боль и тоску одинокой звериной души.

Но ведь это же самое чувство глубинной тоски и меня заставляет всю жизнь писать то, что пишу, тоже, в сущности, выть на луну, но посредством пера и бумаги...

**ТОМАТНЫЙ СОК.** Долгое время я думал, что источник томатного сока — вовсе не помидоры, а те стеклянные красные конусы, что стояли по гастрономам и овощным магазинам. Эти высокие, яркие конусы сока, так всегда привлекавшие взгляд, были очень к лицу той эпохе, в которой прошли мои детство и юность. Те, кто помнит, со мной согласятся: полвека назад жизнь была, в целом, довольно бесцветна — монотонно-унылыми были витрины, дома и одежда, — а вот разноцветные конусы сока придавали застойной эпохе некую бодрость и живость физиономии.

Был сок гранатовый, тёмный, как кровь; был абрикосовый, солнечно-жёлтый; был сливовый, почти фиолетовый; был бесцветный берёзовый; были тыквенный, яблочный, грушевый соки, и каждый имел свой оттенок и вкус, и все они вместе как раз составляли палитру, вмещающую чуть ли не все цвета того времени.

Но самым ярким — и, кстати, самым дешёвым — был сок томатный. Стокан стоил десять копеек; даже берёзовый стоил дороже — одиннадцать. Бывало, отстоишь очередь, сжимая в кулаке эти самые десять копеек, затем кладёшь гривенник на жестяную тарелочку, прибитую к стойке гвоздём, а продавщица берёт в это время гранёный стакан, оставшийся от предыдущего

покупателя, и начинает его ополаскивать в струях забавного маленького фонтана: помню, всегда хотелось самому подёргать за его рычажок и побрызгать водой. Но вот стакан подставлен под красный конус, краник повернут — и пенный сок, тихо шипя, наполняет стакан.

Томатный сок, чтобы он был вкуснее, полагалось солить. Солонкой служил всё такой же гранёный стакан, до половины наполненный влажной розовой солью. Сунешь ложку в стакан — она облипает крупинами соли — затем крутишь её в соке, чтоб завертелась воронка из розовой пены — и, наконец, начинаешь пить горьковато-солёную мякоть, столь вкусную, что трудно остановиться, пока стакан не опустеет.

— Мальчик, усы подбери, — с улыбкою говорит продавщица.

Рукавом утираешь томатные губы, киваешь: “Спасибо!” — и бежишь к магазинным дверям, в ту жизнь, где ты будешь взрослеть, становясь из ребёнка подростком, затем сумрачным юношей (юность, по сравнению с детством, всегда как-то сумрачна); но томатный сок, словно верный товарищ, будет сопровождать тебя все эти годы.

Вот, к примеру, студенчество. Томатный сок был основой двух популярных напитков, один из которых служил для питания, а другой — для студенческих вечеринок. Первый — сок со сметаной. Возьмёшь полстакана сметаны, долёшь доверху соком, чуть посолишь, перемешаешь — получается нечто густое, розовое и очень сытное. Ещё кусок-другой хлеба — вот тебе и обед; пару лекций потом ты можешь спокойно дремать: твой желудок не скажет ни слова упрёка.

А второй из напитков — знаменитая “Кровавая Мери”. Для нас, первокурсников, это был как бы пропуск во взрослую жизнь. Фокус был в том, чтоб осторожно, по лезвию ножа, налить водку в стакан поверх томатного сока — так, чтобы жидкости не перемешались. И тогда над густым красным соком дрожало прозрачное марево водки, сквозь которое можно было рассматривать комнату, лица приятелей, стол с бутылками, даже окно, за которым бесшумно падает снег.

Чем хороша была “Кровавая Мери”, так это тем, что в ней выпивка совмещалась с закуской. Сначала глотаешь холодную горькую водку, а следом — густой мягкой сок, смывающий водочный привкус. В этом таилось коварство кровавой красотки: готовить “Мери” было так интересно, а пить так приятно, что трудно было соблюсти меру “Мери” (ого: каламбур!), и все, кто участвовал в пиршестве, быстро хмелели. Застолье делалось шумным и бестолковым, стены и потолок уплывали, и только стаканы томатного сока, красневшие посередине стола, ещё останавливали ослобивший твой взгляд и ненадолго задерживали неудержимое и колдовское вращение мира...

А наутро, с больной головой, ты искал помощи всё у того же томатного сока, который шипящею красной струёй лился в стакан из стеклянного конуса. Магазин был полупустым, пивом так рано не торговали, и лишь томатный сок мог тебя исцелить. Словно сама жизнь вливалась в тебя с каждым глотком: голова прояснялась, тревога похмелья стихала. И твой взгляд уже не томился, натываясь на выступы и на углы окружавшего мира, а как-то мягко и ласково плыл, огибая предметы, любовно и бережно перебирая всё то, что тебя окружало сегодняшним утром. И гранёные эти стаканы на мокром подносе, и конусы сока, и добрый сочувственный взгляд продавщицы и редких прохожих, и, наконец, отраженье себя самого на стекле магазинной витрины. Твой двойник держал в руке стакан сока, улыбаясь тебе, и было так радостно видеть его глуповато-рассеянную улыбку...

**УЛИЧНОЕ КАФЕ.** В дни моей юности уличное кафе можно было встретить разве что в кадрах западных фильмов, да ещё на страницах Ремарка или Хемингуэя. Тоталитарная жизнь хотя и клонилась к закату, но не допускала такой вольности, как выпивать и закусывать прямо на тротуаре, свободно рассевшись за столиками. Нет, тогдашние улицы были унылыми и одноцветными, словно казарменные коридоры, и служили, скорее, не для

наслаждения жизнью, а для механического перемещения из одной точки пространства в другую.

А ведь мечталось усесться за столик в тени полосатой маркизы, заказать бутылку вина с какой-нибудь лёгкой закуской, и любоваться на девушек, соблазнительно шагающих мимо...

Но чем ещё удивительна жизнь, это тем, что она исполняет мечты. Прошло каких-нибудь тридцать лет, и вот я сижу за столиком уличного кафе, а вокруг течёт жизнь Театральной, чудесной улицы старой Калуги. Не так давно часть её сделали пешеходной, замостили брусчаткой, оставили лавочками, и она сделалась театральной в прямом смысле слова, то есть превратилась в продолжение театра, чьи колонны так величаво — ну, вылитый Парфенон! — высятся за фонтанами и за липами площади (тоже, естественно, Театральной).

Уличный театр наблюдать можно, кажется, целую вечность. Дети и старики, пьяницы-забудьги и разряженные красотки, подростки на роликах и велосипедах, торговцы и грузчики, попрошайки и полицейские, растрёпанные музыканты с гитарами, художники, готовые за пять минут нарисовать ваш портрет, — кого только не увидишь на Театральной за те полчаса, что посидишь под навесом уличного кафе. И главное, все те люди, что пёстрым потоком текут мимо тебя, сейчас в полном смысле живут: дети играют, красотки красуются, молодёжь, как ей и положено, напозакает валиет дурака, старики радуются погожему дню и возможности тихо присесть на скамейке. Не спеша оглядевшись, послушав обрывки речей, увидишь ссоры и примирения, встречи старинных друзей и признанья в любви, заметишь “разлуку с улыбкою странною”, подсмотришь начало — чем чёрт не шутит? — любовной истории, — словом, окажешься зрителем интереснейшего спектакля под названием “улица Театральная”. Ни один театральный партер, — а уж я, слава Богу, сиживал в театрах, — не приносил мне такого зрительского наслаждения, как это кафе на Театральной, да и все прочие уличные кафе, в которых мне доводилось выпить чашку “эспрессо” или стакан пива.

Сидишь там, бывало, и думаешь: да ведь это же рай! Ибо что ещё люди создали настолько же близкого к райскому саду, как эти вот лёгкие столики в окруженье цветочных вазонов, эта тихая музыка, эти красавицы, да ещё и бокалы с нектаром, стоящие перед тобою? И какой длинный путь — это ж только представить! — прошло человечество от первобытных костров, где оно коротало досуг, прикрываясь от холода шкурами и мусоля кость мамонта, до возможности посидеть этак вот, в праздной неге, удостве и в окружении всяческой красоты. В сущности, путь так называемой цивилизации, длящийся вот уже тысячи лет, — это и есть путь от костров неолита вот к этим столикам, этим тарелочкам, чашечкам кофе, этим хорошеньким официанткам в коротеньких юбочках с именными табличками на белоснежных передниках, к этой магии исполненья желаний по первому мановению пальца — ко всему, словом, тому, к чему мы настолько привыкли, что уже и не замечаем всей этой, воистину невероятной (и, согласитесь, вряд ли заслуженной нами) неги и роскоши жизни.

И поэтому нет-нет да и подумаешь: а не сон ли всё это? Не брежу ли я, не помстились ли мне эти милые девушки — кто их научил так приветливо, искренне улыбаться клиентам? — эти креманки с мороженым, эти салфеточки, эти бокалы? Что, как я вдруг проснусь и вместо райского сна окажусь в первобытной пугающей тьме, в окружении холода, снега и волчьего воя?

ХЛЕБ. Так и хочется написать: “Хлеб наш насущный”. То есть первое, что приходит на ум в отношении хлеба — это молитва.

Хлебу надо бы посвятить не главу кулинарного словаря, а отдельную книгу. Виды хлеба столь разнообразны, а значение его так велико, что охватить тему хлеба несколькими страницами — почти то же самое, что пытаться, раскинув руки, обнять бескрайнее, уходящее к горизонту хлебное поле.

Но цель этих страниц — не описание блюд или способов их приготовить; то, что пишу — всего лишь попытка поблагодарить за дары, которыми

жизнь так щедро делилась со мной. А для благодарности хватит и нескольких слов, лишь бы они были искренни.

Чтобы почувствовать настоящий вкус хлеба, надо долго идти пешком, лучше несколько дней, чтобы как следует утомиться, чтоб истончить, так сказать, свою плоть, чтобы сбитые стопы саднили, а желудок подводило от голода. Только в таком состоянии, когда тело измотано, а дух возбуждён, кусок хлеба воспринимается так, как должно, то есть как нечто животворящее.

Помню, в Шамординском монастыре, куда мы с товарищем шли трое суток вдоль речки Серёны, по местам поразительной шири и красоты, я битый час бродил, спрашивая, где бы раздобыть хлеба? Послушницы и монашки, отвечая мне, потупляли глаза и говорили так тихо, что их было трудно понять. То ли поэтому, то ли потому, что вечерняя трапеза уже кончилась, найти хлеб долго не удавалось. Наконец я зашёл в неприметные двери пекарни. На мой голос вышла молодая послушница.

— Чего вам? — спросила она, отирая руки о передник.

— Мне бы хлеба...

— А вы паломник или просто турист?

— И то, и другое. Три дня сюда шли.

Послушница улыбнулась, затем отошла за перегородку и возвратилась, неся в руках круглую, мукой обсыпанную, ковригу.

— Держите.

— Сколько я должен?

— Да Бог с вами...

— Ну, спаси Господи!

Мы поклонились друг другу, и я вышел, прижимая к груди тёплый и упоительно пахнущий каравай. Казалось, я не иду, а плыву внутри хлебного облака. Хлебный дух, окружавший меня, согревал и окутывал всё: и тяжёлую кладку забора, и цветники с “золотыми шарами”, и старуху-монашку, сидевшую возле коробки с котятками — их раздавали, что называется, в добрые руки, — и деревянную лестницу, которая круто спускалась в долину Серёны. Внизу был наш лагерь — мой друг удил рыбу к ужину, — и я вдруг подумал, что рядом с такой вот душистой ковригой и костёр-то не обязательно разводить: мир и так обогрет и утешен дыханием хлеба...

Приезжая в неизвестную страну, я первым делом старался попробовать местного хлеба, может быть, неосознанно чувствуя, что именно в хлебе вернее всего выражается суть и страны, и народа.

Помню зябкое утро в Хургаде — дул хамсин, пыльный ветер пустыни, — разноцветные пластиковые пакеты, парящие в бледном египетском небе, и помню торговца хлебом, пробиравшегося со своею тележкой среди скопища автомобилей. Я купил у него ещё тёплую, золотистого цвета ячменную лепёшку. Подержав её возле лица, подышав пресным, немного горчащим золотым сытным духом, я подумал, что точно такой же хлеб ели, наверное, и фараоны. Тысячелетия вряд ли существенно что-нибудь изменили в технологии и рецептуре ячменных лепёшек; стало быть, и Нефертити, и Клеопатра могли точно так же, как я, рвать пахучую мякоть, вдыхать запах хлеба, и чувствовать, как на зубах похрустывают то ли крупинки золы, то ли песок вездесущего ветра хамсин...

Совсем по-другому я познакомился с “пане”, хлебом Италии. Это было в Сиене. “Ком-пания”, кстати, — это итальянское слово, которое и означает “хлеб вместе”. Тот хлеб показался мне твёрдым, как камень, почти как булыжники той знаменитой сиенской площади, на которые я уселся, чтобы перекусить. Потом мне объяснили, что итальянцы намеренно выпекают хлеб с очень твёрдой коркой; причём любят есть только её, оставляя мякоть ну, например, голубям или чайкам, которые тоже не прочь побыть в нашей с вами “ком-пании”.

Так вот, я сидел на покатых и тёплых сиенских камнях, вполуха слушал гомон туристов, грыз каменно-твёрдую хлебную корку и прихлёбывал из бутылки отличные “Монтепульчано”. Камни Средневековья, серые и неизменные вот уже восемь веков, окружали меня. И я вдруг почувствовал, до чего же тесна и трудна была жизнь среди этих камней, среди холода,

смирада и страха, в постоянном присутствии войн и чумы. Отрадного в этой тесной каменной жизни было немного, вот разве хлеб да вино в компании старых друзей, преломляющих “пане”...

А хлеб Индии я впервые попробовал в Варанаси, древнейшем из городов человечества. Смеркалось. Я устал за огромный и сложный, наполненный встречами и переездами день, и есть, если честно, совсем не хотелось. Но я всё же вышел из той ночлежки, где остановился (славное было местечко: из нужника в моём номере нечистоты стекали прямо на улицу), и пошёл поискать, где торгуют едой. Но все лавки здесь, на окраине города, уже были закрыты; вдоль улиц лежали дремлющие собаки, коровы и нищие; единственное, что мне удалось разыскать, это уличную печь, топившуюся кизяком, возле которой, сидя на корточках, грелись два тощих индуса. Печь была допотопного вида: закопчённая, чёрная, в трещинах, в сизом кизячном дыму. Но лепёшки на ней выпекались: целая стопка смуглых “чапати” лежала на глинобитном приступке печи. Я поздоровался, показал на лепёшки и протянул индусам бумажку в десять, кажется, рупий. Оба заулыбались, вскочили, залопотали на неразборчивой смеси английского с хинди, и вот я держал в руках две подгорелых лепёшки. Вид у них был не просто древний, а доисторический. Возможно, уже в каменном веке могли выпекать вот такие “чапати”, состоящие из муки и воды — даже соли в них, кажется, не было. Но они были очень индийскими: я почувствовал в них то достоинство нищеты, которое очень трудно понять и принять европейцу. Мне же, русскому, да ещё с моей редкой фамилией, был понятен и близок этот пресный, первичный вкус хлеба и та глубина простоты и смирения, что так явственно в нём ощущалась.

А вот Центральная Азия, та меня угощала своим — и опять удивительным — хлебом. Точнее, хлебами: в Узбекистане каждая область печёт свой особенный хлеб. Лепёшки Хивы, Самарканда, Ташкента или Бухары отличаются друг от друга не менее, чем таджикская (то есть, по сути, персидская) мягко-певучая речь отличается от торопливой, напористой речи тюрков-узбеков. Но было в тех азиатских хлебах и нечто общее: их подражание солнцу. Не говоря уж о форме — всегда правильный круг, — и их солнечный цвет, и, главное, те солярные знаки-узоры, что пекари набивают по золотистому полю лепёшки, — это всё, несомненно, отголоски зороастрийского поклонения солнцу-огню.

Узоры узбекской тандырной лепёшки можно рассматривать долго, как и тканый узор на ковре или затейливо-сложный орнамент на пёстром фасаде мечети, или вязь древнего почерка “куфи” на рукописных страницах Корана. А сам тандыр, что нам дарит вкуснейшие эти лепёшки? Эта древняя азиатская печь чем-то напоминает старинную пушку, особенно если это тандыр на колёсах, который нередко встречается на азиатских базарах. Только сделана эта пузатая пушка не из чугуна, а из глины, и заряжают её вместо ядер и пороха тестом. Поутру, где-нибудь на затерянной улочке старой Хивы или Бухары, слышишь, как весело трещит хворост в тандырах, чувствуешь горький дымок, что тянется по-над дувалами, и порой видишь, как из жерла тандыра вырываются искры и пышет огонь. Это значит, что скоро начнут печь лепёшки. А вот и хозяйка: весёлая полная женщина с ясным лицом, в платье, пёстром, как перья павлина. Засучив рукава, она споро мнёт тесто и что-то, смеясь, кричит детям, которые целою черноголовую гроздью выглядывают из двери дома.

Из жерла тандыра пышет огненным жаром. Но если хворост уже прогорел, на дне остаётся лишь слой сизовато-малиновой, лёгкой золы, по которой время от времени пробегают последние судороги огня. Кажется, это чей-то огромный, уже засыпающий глаз: он то смежает дремотные веки, то неожиданно вновь полыхнёт огнём жаркого взгляда...

Прежде чем лепить тесто на стенки тандыра, хозяйка от кисти и до плеча обматывает правую руку тряпьем, иначе можно обжечься. Затем она венчиком брызгает воду на стенки печи — и из тандыра, клубясь, вырывается пар. Хозяйка подхватывает пластины теста, быстро перегибается внутрь дышащей жаром печи и уверенно-точным броском прищёпывает лепёшки

к стенкам тандыра. С каждой секундой её лицо багровеет, глаза начинают сверкать шальным блеском, чело покрывается потом, и кажется, что это уже не знакомая нам Зулфия, а вдохновенная жрица огня, задремавшего в сумрачных недрах тандыра...

Но что ж мы забыли о русском — родном, дрожжевом чёрном хлебе? Ведь без него нельзя даже представить вкус многих блюд, столь привычных нам с вами. Вообразите, к примеру, селёдку — да с белою булкой! И, похоже, едят дрожжевой чёрный хлеб только в России, что сразу возводит его в ранг национального достояния. Известно, как тосковали эмигранты всех волн именно по чёрному хлебу и как буханка “чернушки” была для них лучшим подарком! Да что там! Ещё Александр Сергеевич Пушкин отметил связь чёрного хлеба и русской души. Цитирую: “Это напомнило мне слова моего приятеля Шереметева по возвращении его из Парижа: “Худо, брат, жить в Париже: есть нечего; чёрного хлеба не допросишься!” (“Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года”).

Выходит, что чёрный хлеб, с его характерной кислинкой, не просто так нужен русским, что они без него начинают скучать-тосковать, но именно дрожжевой чёрный хлеб созвучен чему-то важному в русской душе. Не забудем, что и исконные наши напитки — и хлебный квас, и хлебный самогон — тоже являют собой как бы дрожжевой хлеб, но возведённый в иную по градусу степень.

Может, именно та дрожжевая, бродильная суть, что содержится в чёрном хлебе, и является русскою сущью? Может, наша особенность именно в том, что мы неспособны быть пресными, вяло-спокойными, то есть вполне примирёнными с сами собою и с жизнью, но всегда ждём и жаждем чего-то иного (спроси — мы и сами не знаем, чего!). Да, мы всегда жаждем того, чего в мире, увы, не бывает, но без чего так томится и чахнет бродильная наша душа...

**ЦВЕТКИ ИВЫ.** Вы, может быть, спросите: с какой это радости — или с какой голодухи? — надо было жевать эти пресно-медовые, с лёгкой горчинкою, пуховые серёжки-цветы, от которых на пальцах, губах и одежде желтела пыльца?

Но тогда придётся рассказывать чуть ли не весь байдарочный майский поход по реке со смешным названием Вытебеть. Мутные воды реки закручивались в быстро скользящие водовороты; под обрывами кое-где хоронились последние грязные льдины; на отмелях бурые пряди прошлогодней осоки были словно причёсаны паводком, а на глинистых оползнях берега зеленели широкие листья мать-мачехи. Под дождём, лившим весь день, мы прошли мимо трёх сёл, с названиями, одно веселее другого, — Плохино, Дурнево, Дебри, — и к вечеру так измаялись, что, казалось, заснём как убитые. Но не тут-то было: соловьи с такой яростной силой свистели и щёлкали по всем ближним и дальним кустам, что звенело в ушах, и глаза не смыкались. Лишь под утро удалось погрузиться в тревожную, полную странных видений дремоту.

Тем удивительнее оказалось пробуждение. Дождя больше не было слышно, тент палатки как будто светился, и когда я вылез наружу, то зажмурился от свежести и чистоты ясного майского утра. Ненастья нет и в помине; остатки тумана курились по-над урёмой; за кустами краснело огромное низкое солнце; небо, белёсое у горизонта, чисто синело в зените, а от семи перевернутых наших байдарок по бурому дугу стелились широкие тени. Днища лодок пестрели заплатами, а вёсла, лежавшие рядом, уже начинали отбрасывать яркие блики. И вообще, всё вокруг переливалось, сверкало: мокрые листья раки и оттяжки палаток, миски возле кострища, рукоять топора и порожня банка из-под тушёнки. Солнце на глазах поднималось, словно выпутываясь из переплетенья ивовых ветвей, становясь всё бледнее и меньше, но жарче.

Как раз выбрался из палатки и Алексей, большой знаток трав и кореньев, и предложил, пока народ спит, набрать разных цветов для утреннего салата. А цветов вокруг было много: это и продолговатые, нежно-мохнатые ивовые серёжки, и весёлые ярко-жёлтые примулы — их ещё называют баранчики,



ключики или божьи ручки, — и разноцветные медуницы, и застенчивые собачьи фиалки.

Интереснее всего было собирать жёлтые ивовые серёжки. Воды на кустах было столько, что приходилось сначала отряхивать их; целый дождь осыпался на землю, но всё равно рукава наших курток-штормовок промокли насквозь и парили на солнце. Скоро парили уже не одни наши куртки, но и кротовины луга, и чёрные днища байдарок, и те ивовые кусты, с которых мы обирали серёжки. Против солнца белёсый пар радужно переливался. А вот и первые пчёлы загудели, упруго завились у верхних, подсохших ветвей ивняка.

В моей жизни было немного таких же вот ясных и радостных утр. Помню острое чувство: то, что мы собираем в пакеты, и то, что мы видим вокруг, — всё это именно дарится нам. Солнце, небо, река, живописный наш лагерь и мокрые эти кусты, с которых мы осторожно снимаем мохнатые, жёлтые, мёдом пахнущие серёжки, преподносится нам, словно щедрый — не по заслугам! — подарок. И лучшее, чем мы можем отблагодарить за него — это просто-напросто радоваться всему, из чего состоит это ясное утро. И кочкам луга, и мокрому ивняку, и гудению пчёл, и мельканию чибиса над косогором; радоваться, в конце концов, даже самим себе, оказавшимся в это чудесное утро не где-нибудь, а именно здесь, на речном берегу.

Когда наши пакеты уже были полны разнообразных цветов и соцветий, как раз начала просыпаться и остальная наша команда. Палатки зашевелились от толчков спин, локтей и голов, завжикали “молнии” спальных мешков и палаточных тентов, зазвучал смех, кашель, хриплые утренние голоса — наш бивак на глазах оживлялся. Что ж, пора было взбадривать костерок, вешать на перекладину воду для чая да заправлять маслом цветочный салат, наш сегодняшний завтрак.

**ЧАЕПИТИЕ В ВАРНАСИ.** Индия подарила мне незабываемое чаепитие: в городе Варанаси, на берегу Ганги, рядом с пылающим погребальным костром.

Маникарника-гхат — причал, на котором жгут мёртвых, — легко отличить по поленицам дров и по кучам серого пепла, остывающим возле воды: перед тем, как столкнуть пепел в Гангу, его будут просеивать, извлекая оплавленные слитки золота и серебра — остатки тех украшений, что были на мёртвом.

А поскольку чай в Индии продают и разносят везде, то и на Маникарника-гхат я взял у разносчика глиняный черепок с дымным чаем, присел на поленицу дров и стал, попивая горячую пряную смесь чая, сахара, молока и масалы, рассматривать, как в десятке шагов от меня горит погребальный костёр. Это очень напоминало походы — то, как, бывало, пьёшь чай у костра, отрешённо-задумчиво глядя в огонь. Только этот костёр был большим, и вверх кучи пылающих дров лежало мёртвое тело. Вот его стопы уже отгорели, упали, и слугитель-индус длинной палкой заботливо пододвинул их к центру костра.

Самым странным в той процедуре кремации была её простота и обыденность. Казалось, что для индусов это событие настолько же обыкновенно, как, скажем, стирка белья или приготовление чечевичной похлёбки. Смерть в Варанаси была лишена тех мистических ореолов, покровов и тайн, в какие мы с вами привыкли её обряжать; и вот такое наивно-простое и одновременно глубокое отношение к смерти было главным уроком чаепития в Варанаси.

Костёр полыхал; обгоравшее тело становилось всё меньше, чернее, его было всё трудней отличать от обугленных дров, на которых оно догорало, и я смотрел больше не на него, а на то, что было вокруг. Ночь густела; дыхание реки было влажным и тёплым; на соседних причалах горели огни и слышалась дробь барабанов — там шла пуджа Ганга-арти, то есть ежевечернее поклоненье священной реке. Самым красивым во всей церемонии пуджи было то, как участники праздника пускали по воде цветочные плотки со свечами, и гладь реки озарялась сотнями зыбких огней, словно бы отражающих

звёздное небо, с которого, по поверьям индусов, и начинается мать-Ганга.

А с костра, у которого я допивал остывающий чай, время от времени в небо взлетал сноп клубящихся искр, и тогда было трудно понять, где искры, где звёзды, а где свечи, плывущие по реке? Всё сливалось в живом хороводе огней; свечи праздника, смертные искры и звёзды, мерцавшие в небе, вдруг делались чем-то родственным, близким друг другу. Смерти здесь, у костров Варанаси, словно не было вовсе, а была переключка огней между небом и Гангой, был треск костра, заглушаемый плеском воды, барабанною дробью и песнями пуджи, был единый поток, возносящийся к звёздному небу — туда же, куда вместе с дымом летела душа из почти догоревшего тела.

Мало какое из чаепитий так утешало, как то чаепитие на Маникарникагхат, рядом с костром, на котором сгорала лишь только телесная оболочка, тогда как само существо человека, как верим и мы, и индусы, оставалось таинственно-непостижимо и живо...

**ЧАЙ ПОД ДЕРЕВОМ БОДХИ.** Пил я чай и под деревом Бодхи — самым, может быть, знаменитым и почитаемым деревом в мире. Растёт оно в Индии, в городе Богая; сидя под предком вот именно этого дерева, Гаутама Будда достиг просветления. Хоть с тех пор и прошло почти три тысячи лет, память об этом событии живёт и поныне; священное дерево Бодхи — главная из реликвий мирового буддизма.

Когда я подошёл к нему в предрасветных потёмках — было четыре утра, — оно показалось не просто большим, а настолько огромным, что взгляд не мог охватить его целиком. Казалось, своими ветвями, лежащими на подпорках, дерево простирается даже не просто во тьму, а и вовсе выходит за пределы зримого мира, прорастает в иные, недостижимые людям пространства.

Под шатром колоссального этого дерева (чьё латинское имя *figus religiosa*) могла бы свободно усесться и тысяча человек. Но пока что перед рассветом рядами рассаживались только подростки-монахи в оранжевых тогах — их было около сотни — и барабанщики возле больших барабанов. Чуть в сторонке уселся и я и стал слушать, как глухо рокочут во тьме барабаны, и как монотонно бубнят, кланяясь дереву, молодые монахи.

Трудно сказать, сколько длилась утренняя молитва. Ощущение времени вдруг пропало, и только затёкшие ноги да зябнущая спина время от времени возвращали в реальность. Точнее, время не то чтобы вовсе исчезло, но оно бесконечно вращалось по кругу — точь-в-точь, как буддийский молитвенный барабан, — и тем обличало обманную сущность себя самого. Но вместе с тем всё происходящее было так интересно, что я жадно рассматривал всё, что меня окружало. Так, я замечал обезьян и мангустов, шнырявших по серым уступам огромного храма, что высился в сумерках сразу за деревом Бодхи; видел кошек, лакающих молоко из тарелочек, расставленных там и сям; видел, как несколько бесшумных монахов с фонариками что-то ищут, согнувшись, под кроной священного дерева, и догадался: они собирают опавшие листья. Эти листья потом запечатывают в прозрачную плёнку и продают, как святыни.

И ещё я заметил, что по рядам забубённо молящейся молодёжи разносят чай: в больших металлических чайниках с лебедино изогнутым носиком, точь-в-точь, как в наших советских столовых в былые года. Идея пить чай во время утренней общей молитвы мне очень понравилась; когда разносчик чая проходил мимо меня, я протянул ему и свою жестяную походную кружку. С готовностью он налил её доверху маслянисто-густым и дымящимся чаем цвета топлёного молока.

— У нас чай очень хороший! — шепнул он мне, улыбнувшись так радостно, словно я ошастливил его, попросив угостить меня чаем.

Чай, в самом деле, был очень хорош. Крепкий, густой, в меру сладкий, горячий, он не просто гнал прочь усталость и сон, то есть действовал на меня самого, но, казалось, влиял и на весь окружающий мир. То, что вокруг всё увереннее казалось, что предметы решительно выступали из сумерек, что мир, так недавно бесцветный и плоский, становился объёмно-цветным, — в этом во всём мне мерещилось действие именно чая. Мир становился самим

собою, с него будто сошли, наконец, наважденья колдующих Мар — тех волшебниц, которые, по преданию, соблазняли Будду, — и я вдруг увидел реальность как таковую.

Я понимаю, конечно, что всё это было не совсем по-буддийски — согласно учению Будды, реальности нет вообще, — но на меня чай под деревом Бодхи действовал именно так. Я видел и чувствовал: всё, что меня окружает, просыпается и обретает радостную достоверность. Шныряли мангусты, молились монахи, котята лакали своё молоко, ветерок шелестел кроной дерева Бодхи, стрижи проносились по чистому небу — и всё это было настолько прекрасным, что, предложи мне сейчас хоть сам Будда нирвану — разлуку с тем миром явлений, который я вдруг увидел с такой ясной силой, — то я б отказался.

Или это и было моим личным “сатори”, то есть просветлением? Я чувствовал: раз есть мир — есть и я; и чем более мир, окружавший меня, полон, светел и радостен, тем более полон и светел я сам. “Что ж, — думал я. — Может, каждому нужно своё просветление? И моё как раз в том, чтобы чувствовать радость реальности, видеть живую и неистребимую полноту бытия? Будда есть Будда, и у него был свой путь; а мне его дерево подарило сознание того, что я неотрывен от мира, в котором живу, и этот мир ко мне добр — он, например, угостил меня крепким утренним чаем...”

ЧИФИР. По-настоящему я “чифирил” только студентом, во время дежурств в психиатрической клинике.

Моё первое впечатление от этой больницы было такое, какое, быть может, испытывал Данте, начинавший своё нисхождение в ад. Санитарка открыла мне дверь, и я увидел большой коридор, в котором кипела — не подберу других слов — плазма безумия. Больных было ровно сто человек. И вся эта сотня бродила, бубнила, мычала и маялась между сумрачных стен коридора, томясь и не находя себе выхода. Пока мы с санитаркой шли к процедурному кабинету, волны безумцев то накатывали на нас, то расступались, освобождая дорогу. “Кто это?! Кто это?!” — кричали одни и указывали на меня; “Новенький, новенький!” — ликовали другие; “А я его знаю, я знаю его!” — вопили, кривляясь и дёргаясь, третьи.

Санитарка, хромая старуха, не обращала внимания ни на кого, ей всё это было привычно и скучно. Я же старался не поднимать глаз и не оглядываться: мне было, мягко говоря, не по себе. Но картины безумного мира были настолько диковинны, что не заметить их было нельзя. Вот кто-то сосредоточенно и деловито рвал на себе одежду, стараясь, чтоб лоскуты выходили как можно ровнее. Кто-то, костлявый и голый, уселся на корточках на подоконнике и раскачивался взад-вперёд, напоминая большую огромную птицу. Кто-то, спустив порты, задумчиво рассматривал свои гениталии, словно недоумевая: что это такое? В тёмном углу кого-то, кажется, били или душили, но этого я уже не успел рассмотреть, потому что мы, наконец, дошли до процедурного кабинета.

Пока дежурная медсестра объясняла мне, новичку, обязанности “аминизинового” медбрата, я всё не мог позабыть те картины, которые только что видел за дверью. Казалось невыносимым, что я проведу в этом мире безумия целые сутки, а потом, может быть, ещё множество дней и ночей.

Впрочем, я же хотел рассказать о другом — о чифире. В своей второй выход в тот сумрачный коридор, куда днём выпускали безумцев (по палатам их разводили лишь на ночь), я заметил, что у стены, возле электророзетки, стоит несколько сосредоточенных пациентов, очевидно занятых чем-то важным. Присмотревшись, я понял: там варят чифир.

Технология этого дела, формально запретного, но фактически издавна бытовавшего здесь, была такова. В литровую банку высыпалась целая пачка хорошего чая (я, помню, ещё удивлялся: откуда здешние пациенты доставали индийский чай, который мы, студенты, не могли найти днём с огнём?), затем наливалась вода, банка оборачивалась полотенцем, и в неё погружался самодельный кипятивник из двух жестяных полос. Сила этого примитивного кипятивника была просто чудовищна. Если дело происходило вечером

или рано утром, то есть при включённом электрическом освещении, то стоило сунуть концы оголённого провода в ноздри розетки, как весь коридор погружался в потёмки, — в лампочках тлели одни волоски, потому что всё электричество, сколько было его в проводах, начинало гудеть и вибрировать в банке с чифиром. За считанные секунды вода закипала, чайный настой вспухал рыжей пеной и начинал клокотать так натужно и жадно, как будто хотел проглотить самого себя...

Чем-то всё это, бурлящее в банке, напоминало мне хаос безумия, что кипел и во всём отделении, меж обшарпанных стен коридора. Бурлящий чифир, который уже было трудно удерживать в нервно трясающейся банке — он вбирал в себя словно не только всё электричество, но ещё и томление болезненных душ, те видения, страхи и бреды, что мучили сотни безумцев. Чёрный и масляно-вязкий, чифир мне казался не просто напитком, но чем-то вроде волшебного зелья, которое в том, кто его пригубил, открывало способности видеть людей и предметы насквозь, и даже — кто знает? — читать их сокровенные мысли.

Здесь, в психбольнице, чифир был немалую ценностью. Но меня, в благодарность за то, что я не мешал больным варить это зелье, иногда им угощали. Маслянистую горечь чифира до сих пор помнят язык и гортань, а сердце до сих пор помнит то, как оно начинало частить после двух-трёх терпких глотков.

Состояние, что возникало во мне после дозы чифира, — оно что-то мучительно напоминало. Но я долго не мог догадаться, откуда мне так знакомо это сердцебиение и сухость во рту, безысходное это томление и то напряжение взгляда, от которого, кажется, вот-вот начнут плавиться окружающие предметы? И вот только сейчас, спустя тридцать лет, я вспомнил, на что это было похоже. Чифир, будоражащий душу, вызывал состояние, близкое к острой влюблённости. Именно это похожее на отравление чувство возникало, когда центром мира (к счастью, на время) становилась какая-нибудь симпатичная девушка, и ты не находил себе места. Сердце билось, во рту пересыхало и точно, как от чифира, пропадал аппетит, покой, сон.

Правда, в том мире безумия, в котором я коротал ночь за ночью, любить было, кажется, нечего. Напротив, в мире, укрытом за толстыми стенами психиатрических корпусов, всё было настолько дико и страшно, что, кажется, лучше б и вовсе не знать о нём, а не то чтоб пытаться его полюбить.

Но странное дело: какие-то скрытые силы души, к тому же, души совсем юной, да ещё возбуждённой чифиром, были, кажется, безграничны. С изумлением я сознавал, что готов полюбить даже этот больной и пугающий мир, эту плазму безумия, что клокотала вокруг. И не просто готов, а уже, если честно, и полюбил эти стены и эти решётки на окнах, клубящийся гул голосов, эти бледные лица, что проплывали передо мной, как во сне (а безумцам, похоже, мерещилось, что они во сне видят меня, молодого медбрата с аминазиновым шприцем в руке), полюбил это коловращение сотни томящихся тел в гүлкой мгле коридора, эти взгляды и эти гримасы, в которых страдавшая суть человека выражалась так откровенно и прямо, — полюбил, словом, весь тот сумрачный ад, который именовался “хроническим отделением номер один”.

Да и так ли уж, думаю я вот сейчас, когда пишу эти строки, так ли уж сильно отличается наш с вами обыденный мир от того, что укрыт за решётками, стенами и замками больницы? Порою в привычной нам жизни безумия, как и страдания, не меньше, чем в психиатрической клинике. Но мы же и любим, и ценим ту жизнь, что судьба нам определила, хотя бы уже потому, что другой жизни не знаем. Похоже, что если даже судьба предоставит нам сущий ад, мы будем готовы любить и его, и этой своею любовью будем мало-помалу его превращать как бы в некое ожидание — или предчувствие? — рая...

**ЧУГУНОК ПОРОСЁНКА.** Едва ли не первое кушанье, что я могу вспомнить, — это чугунок с кисло пахнущим месивом для поросёнка, стоявший в сарае, в свином закуте. Другого дома, кроме деревенского, у нас тогда не

было; мои молодые родители разъезжали в поисках места работы и жизни, я же, трёхлетний, был оставлен в курской деревне Выгорное, на попечение бабушки Марии Денисовны.

Хорошо помню, как я пробирался в сарай, где сопел, топотал и похрюкивал поросёнок. Помню сумрак и резкую, пряную вонь закута, помню гудение мух, иглы солнца, торчавшие в щелях сарая и тот чугунок с поросячьей едой, до которого я, сев на корточки, мог легко дотянуться сквозь загородку. Месиво в чугунке было тёплым и мягким, погружать в него руку было очень приятно, но ещё приятнее был его запах: сложно-сытный, картофельно-хлебный, густой.

Что было в том чугунке? Конечно, картошка — некрупная, сваренная и растолчённая с кожурой, — размокшие хлебные корки, которые пахли кисло и крепко, остатки вчерашнего супа, да листья крапивы, которую бабушка, помнится, дёргала голой рукой на низах огородов. И вся эта смесь пахла так упоительно вкусно, что не мог же я не разделить с поросёнком его трапезу? Запуская руку в тёплое месиво чуть не по локоть — казалось, чем глубже, тем гуще вкуснее! — я с наслаждением жевал и глотал хлеб, картошку и жёсткие листья крапивы. Поросёнок сопел, чавкая рядом со мной; иногда я рукой задевал его мокрый упругий пятак — он смешно фыркал, — и мне было радостно оттого, что нас двое и что в чугунке остаётся ещё очень много еды.

Да, странной трапезой начинались пиры моей жизни... Если бы бабушка вдруг увидела, что ест её внук — внук уважаемой всеми учительницы! — она б ужаснулась; но ни поросёнок, ни я не собирались выдавать нашей тайны. А ныне я думаю, что ничего вкуснее той поросячьей картошки с крапивой я в жизни так и не ел. Интересно, что и потом, уже став подростком, я любил крошить хлеб в картофельный суп, подсознательно словно стремясь воссоздать то поросячье месиво, которое я так любил в детстве. Конечно, черпать его ложкой из тарелки было совсем не то, что рукою из чугунок, но некое всё же подобие было — и в дрожжевой кислоте хлебных корок, и в сытном картофельном духе.

Можно сказать, эта пицца, которую я разделил с поросёнком, была моим первым выходом в мир, моим причащением ему. И в моём отношении к жизни с тех пор мало что, в сущности, переменялось. Я так же тянусь к чугунку, то есть к миру, лежащему вне меня самого, и с благодарностью вижу, что чугунок этот не оскудевает. Мир со мной делится звуками, красками, пищей, питьём, голосами — всем, чем богат и наполнен он сам. Только жаль, нет того поросёнка, его карих глаз и упругого мокрого пятака, нет сопенья и фыркания, розовых полупрозрачных ушей, да и, конечно, никаких из яств, которые предлагает мне жизнь, уже никогда не сравнится с тем первым кушаньем из чугунок поросёнка...

**ШВЕДСКИЙ СТОЛ.** Как известно, самое страшное для мечты — её исполнение. Получив и одно, и другое, и третье, человек не становится счастливым; скорее, напротив. Изобилие губит само же себя и сближается в этом смысле с полным отсутствием чего бы то ни было. Возможности по-настоящему радоваться вкусной, к примеру, еде лишены как те, кто её никогда не пробовал, так и те, кто её переел до пресыщения. Так что шведский стол, то есть принцип “подходи и бери, сколько влезет”, — в сущности, злейший враг кулинарии. Лучший повар, по французскому выражению — голод; а голод и шведский стол — вещи несовместимые, как гений и злодейство.

Но первая встреча со сказочной скатертью-самобранкой оказалась всё же незабываемой. Я, как и все мои сверстники, вырос в обществе дефицита, где еда была ценностью, которую приходилось искать, добывать, выставлять ради неё в длинных очередях: то есть нам приходилось платить за еду нечто большее, чем просто деньги — приходилось платить саму жизнь. И отношение наше к еде — разумеется, я беру его обобщённо и приблизительно — в чём-то смыкалось с тем давним, патриархально-крестьянским, когда даже смахнуть со стола хлебные крошки считалось грехом: слишком уж дорогой ценой был этот хлеб заработан. Существовало даже поверье: как только вес

крошек, сметённых тобой со стола, сравняется с твоим собственным весом, черти тут же подхватят тебя и унесут в преисподнюю.

И вот мы приезжаем в Египет, в Хургаду, и после купания в мелком, холодном и ветреном море (дует хамсин) вдвоём с женой идём завтракать. Зал ресторана просторен и солнечен, улыбки obsługi сияют, как сияют и белоснежные скатерти на круглых столиках. А вдоль стены тянется та самая сказочная самобранка: ряд длинных столов, которые ломаются от разнообразнейшей снеди. Еды здесь не просто обилие — здесь целые горы, озёра, поляны еды! Заполни я описанием-перечнем хоть десяток страниц, и то вряд ли смогу перечислить всё то, по чему разбегались глаза.

Тем более что простое перечисление блюд не передаст нам ни вкуса, ни запаха, ни того ощущения торжества кулинарного производства, которое так ошеломило меня в то далёкое утро в Хургаде. К тому же, всё то, что уносилось с тех изобильных столов немногочисленными посетителями ресторана, всё тут же возобновлялось (повара и обслуга следили за тем, чтобы самобранка не опустевала), и возникало немного бредовое ощущение дурной бесконечности сна, в котором ничто не меняется: сколько ни ешь, но столы продолжают ломиться от яств.

Однако при всём восхищении качеством блюд, их обилием, их непрерывным возобновлением, меня не покидало глубинное чувство греховности происходящего. Бесстыдство еды — вот что здесь угнетало. Её было так много, она была так привлекательна и так доступна, что от этого, как ни странно, почти пропадал аппетит. Мне бы, ей-ей, было проще и лучше позавтракать хлебом да ломтиком сыра, чем бродить между горами снеди, разрываясь в желаниях, — хотелось попробовать и того, и другого, и третьего, — и, в результате, усесться за столик, где еды оказалось так много, что могли бы сытно позавтракать не только мы с Леной, а человек шесть или семь.

Но “подлец человек, ко всему привыкает”, как сказал Достоевский. Привык к изобилию пищи и я. И скоро уже не стеснялся и не терялся, идя вдоль обжорных рядов, и даже досадовал: что-то, мол, нынче скудноват выбор холодных закусок. И даже обслуга всё чаще обращалась ко мне по-английски: видно, я всё меньше похож был на русского, и всё больше — на капризного и самодовольного англичанина. Вот что делает изобилие: оно портит нас даже быстрее, чем портятся, скажем, пирожные или салаты на шведских столах.

**ШОКОЛАД.** Незабываемый “день шоколада” случился у меня в литовском Каунасе, куда мы приехали на большие соревнования по лёгкой атлетике. Это было в 1985 году, уже на закате Советского Союза, но всесоюзные соревнования тогда ещё проводились.

День складывался неплохо: свои восемьсот метров я пробежал с личным рекордом и взял “серебро”. Но пока я сидел на скамье, ещё тяжело дыша и расшнуровывая шиповки, по громкоговорителю объявили, что изменился порядок забегов, и эстафета, в которой я был заявлен на первый этап, стартует уже через тридцать минут. А первый этап “шведской” эстафеты — это те же восемьсот метров, которые я только что отработал.

Первая мысль была: не побегу. Любой “средневик” знает, что за тридцать минут не только не восстановишься после забега, но как раз раскиснешь до такого состояния, когда не то что бежать — идти нету сил.

Но выбора не оставалось. В нашей команде смоленского мединститута бегунов было всего четверо, как раз по одному на этап; откажись я бежать — команду снимают, и в общем зачёте мы получаем “нули”. Тогда хоть не возвращайся в Смоленск! Так что, как сказал тренер, “хоть шагом пройди, но эстафетную палочку передай”.

Что было делать? Ну, повисел я на перекладине — ноги болтались тяжёлые, как не мои, — ну, походил по манежу (дело было зимой, и мы выступали в крытом манеже), потом поделал наклоны и махи, чтоб хоть немного размять “забитые” бёдра. И вдруг подумал: а не поесть ли мне, для подкрепления сил, шоколада? Помнится, в фильмах про лётчиков или

альпинистов я видел, как герой в самый трудный момент доставал шоколадную плитку, чтоб затем, подкрепившись, совершить очередной подвиг.

Кстати, и кондитерский магазин был как раз напротив манежа. Накинув куртку, я вышел — зима в тот год выдалась бодрой, морозной — и купил две большие плитки горького шоколада: уж гулять, так гулять!

Вернувшись, улёгся на маты в прыжковом, пока что пустующем, секторе и зашуршал серебристой фольгой. Первую плитку съел с наслаждением. Огромный и шумный манеж окружал меня, и, если прикрыть глаза, начинало казаться, что куда-то летишь в гулком облаке звуков. Раздавались команды и крики, хлопки, по выражу часто стучали шиповки — кто-то усиленно разминался, пока я жевал шоколад, — а потом, гнусава, что-то вещал громкоговоритель. Манеж словно пульсировал звуками. И меня начинало немного мутить: то ли от съеденного шоколада, то ли от странного чувства полёта сквозь весь этот гулкий мир.

Вторая плитка, которую я извлёк из серебристой шуршащей фольги, была явно лишней. Я жевал и глотал уже с неохотой, но с твёрдой верою в то, что шоколад придаст силы, которые так будут нужны уже через десять минут. Сердце билось сильнее и чаще — кофеин шоколада действовал, как ему и положено, — а по ногам пробегала короткая дрожь, словно по ним пропускали электрический ток.

Когда, через силу доев шоколад, я встал с поролоновых матов и пошёл обувать шиповки, я ощущал себя странно чужим самому же себе. Словно во мне теперь жил ещё один человек, непоседливый, нервный, и ему не терпелось сбежать от меня. Это ему, непоседе, трудно было стоять на месте, и он переминался, как будто дорожка жгла пятки; это его лихорадочный взгляд прыгал по лицам и по предметам и был неспособен на чём-либо остановиться.

Даже команду: “На старт!”, то есть секунду неподвижности, было выдерживать трудно. Зато когда хлопнул стартовый выстрел, тот, внутри меня живший, взбудораженный человек рванул вперёд с такой прытью, что я едва поспевал вслед за ним. Первый круг из четырёх пролетел, как в угаре. Сначала рядом сопели, хрипели, толкались локтями соперники, но их становилось всё меньше; забег растягивался, и пустота одинокой усталости всё сильнее охватывала меня.

Бегуны знают: усталость на средних дистанциях наваливается сразу, и тогда кажется, что вокруг тебя вместо воздуха вязкий сироп, сквозь который не протолкнуть своё ватное тело. Ещё не миновала и середина дистанции, а собственных сил у меня уже не оставалось. Только то возбуждение, которое я ощущал в себе после съеденного шоколада, ещё как-то подстёгивало меня, и я, сам не веря тому, держался вторым. Можно сказать, я бежал теперь на одном шоколаде. Это кто-то другой, но не я, наклонялся на выражах и старался растягивать шаг; это кто-то другой так затравленно-чисто хрипел, что, кроме собственного дыхания, не слышал уже ничего.

Весь третий круг и начало четвёртого какая-то пелена застилала глаза, от нехватки кислорода сознание помутилось, и от этого обморока я очнулся лишь на последней прямой. Впереди пестрела финишная разметка — там нетерпеливо переминались бегуны следующего этапа, — а я чувствовал, что моё тело неудержимо падает на беговую дорожку. Но инерция бега, да ещё эстафетная палочка, которую я сжимал в левой руке, не позволяли свалиться кулём, и я как-то ещё успевал подставлять непослушные ноги под своё потерявшее равновесие тело. То есть я падал, но в сторону финиша, и этого затяжного падения хватило как раз до разметок, где я смог передать палочку Саше Акименко, бежавшему следующий этап.

В итоге мы в той эстафете оказались вторыми — на первенстве мединститутков Союза! И шоколад — признаюсь спустя тридцать лет — сыграл в том немалую роль. Правда, ещё года три после этих соревнований я не мог про шоколад даже думать — до того я объелся им в Каунасе.

ЩУКА В ФОЛЬГЕ. Щука в фольге — это главное блюдо байдарочных наших походов. Вот, к примеру, идём мы по Рессете, и впереди видишь славное место: крутой поворот, завихрения струй у морёного дуба и резкий

свал дна в глубину. “Не иначе, — говорит тебе внутренний голос, — там стоит щука...” И только бросил под дуб блесну-вертушку, только-только успел ощутить дрожь её лепестка — как вдруг...

Впрочем, этим “как вдруг” полон любой рыболовный журнал. Откройте — и вы прочитаете и про “удар, от которого спиннинг согнулся в дугу”, и про “упругую тяжесть на леске”, и про то, как зелёно-пятнистая щука, тряся головою, выпрыгивает из воды.

Что до меня, то я плохо запоминаю и миг самой хватки, и то, как потом вывожу рыбу к лодке. В эти минуты как будто теряешь сознание и приходишь в себя лишь тогда, когда, свесив руку за борт накренившейся лодки, хватаешь рыбу под жабры. Что ж, сегодняшний ужин поймали: вон, между стрингеров лодки лежит жёлто-зелёная щука, похожая даже не столько на рыбу, сколько на древнего ящера; кажется, эта страшная челюсть помнит эру какого-нибудь мезозоя.

Близится вечер, пора ставить лагерь, и скоро киль лодки с шипением въезжает в прибрежный песок. Пока носим вещи и устанавливаем палатку, потом собираем сушняк для костра, наша щука так и лежит на дне лодки, как бы охраняя её. Скоро костёр пылает, летучие мыши, как тени, мелькают на фоне закатного неба, а на заречном лугу недовольно, сварливо трещит коростель.

Самое время приниматься за рыбу. Потроша её, всегда смотрим, что у щуки в желудке. У сегодняшней — толстый уж и увесистая плотица размером с ладонь. Надо же: чуть не лопаюсь от того, что она уже проглотила, эта зверюга схватила ещё и блесну! Вот что значит инстинкт! Вот кому не нужны кулинарные книги, чтобы разжечь аппетит.

Потрошёная, щука стала намного стройнее. Теперь найти чистое место на травке, где будет удобно её завернуть. Лист фольги, зеркальный и нежно хрустящий, отражает не только пятно твоей лысины, но и алые блики костра. Прежде чем заворачивать щуку в фольгу, надо её хорошо посолить, натолкать ей под жабры смородиновых листьев, и не забыть бросить в брюхо перца и лавра. Когда щука завернута, серебристая эта торпеда напоминает космический инопланетный объект, словно рядом с костром на росистой траве появился посланец иных, нам пока неизвестных миров.

Но посланец он или нет, а костра ему не миновать. Дрова как раз прогорели, и углей достаточно; на их жаркий, мерцающий круг мы и кладём нашу щуку в фольге. Да, не забыть засечь время: такой рыбе, как наша, надо лежать минут двадцать на каждом боку.

А пока сходим-ка мы искупаться. Сейчас, в сумерках, всё словно густеет: и комариный назойливый звон, и чаща леса за нашей палаткой, и запах сосен, и даже вода Ресеты, которая к вечеру стала темнее и маслянистей. Но река — ты смотри! — удивительно тёплая, особенно по контрасту с прохладой вечера и со свежим туманом, который уже начинает белеть по низинам.

Поёживаясь и ступая так осторожно, словно донный песок обжигает ноги, заходим в реку и грудью ложимся на воду. Знаете это чувство одновременно и пробуждения, и засыпания, когда река мягко, но сильно подхватывает тебя? Ты как будто исчез и как будто родился вот в эту секунду, родился, мгновенно сроднившись со всем, что тебя окружает: вот с этой соной, что стоит, накрываясь, на обрыве, с розовым небом и с “подь-полоть” перепела на заречном лугу, — со всем, словом, тем, из чего состоят эти летние сумерки на Ресете...

Но хоть я и забыл сам себя, про щуку всё-таки вспомнил. Выйдя на берег, успел и поворошить угли палкой, и помахать над ними байдарочной седёлкой — у кострища словно открылись десятки багровых и сумрачных глаз, — и успел вовремя перевернуть щуку на другой бок. Теперь можно одеться, вытащить лодку на берег и опрокинуть её кверху днищем, отнести вёсла к палатке, набрать воды в котелок, — словом, разделиться с бытом, чтобы после ничто не отвлекало от трапезы.

Пожалуй, пора: вон уже на фольге пузырится рыбный сок. Сняв щуку с углей, осторожно её развернём — пусть чуть остынет — и подбросим



дровишек в костёр, чтобы сумерки были уютнее. Под щуку можно и вышить, но только немного, чтоб хмель не мешал восприятию вкуса, а лишь самую малость развязал нам язык. “Ну, будем здоровы!” — и тут же, с горячей фольги, будем брать пальцами ломти смуглого, нежного щучьего мяса.

Но, признаться, при поедании щуки я впадаю в такое же забытё, как и при её вываживании. Я как бы теряю сознание и прихожу в себя лишь тогда, когда на фольге блестят одни лужицы рыбного сока, и только клейкие пальцы да губы подтверждают, что щуку ты всё-таки ел, что она не присилась тебе...

**ЯБЛОКО.** Вкус эдемского яблока до сих пор отзывается нам, людям, оскоминой. Ведь именно на него Адам с Евой променяли, сами того не желая, не что-нибудь — рай! Вот и думай, как нам относиться к яблоку: с почтением и восхищением — за какой ещё из плодов заплатили такую же непомерную цену? — или с ужасом, как к причине грехопадения?

Само яблоко, впрочем, не виновато ни в чём. Как не виновата и старая эта антоновка, что растёт в нашем саду уже пятьдесят лет, та яблоня, чьи корявые ветви проступают из утренней мглы в ту минуту, когда я пишу эти строки. Надо же, целую жизнь мы прожили с ней рядом, а я до сих пор не сказал о ней доброго слова. Надо исправить ошибку, пока старое дерево живо, пока оно, может быть, даже чувствует мои мысли. В самом деле, я о нём, дереве, порой думаю, словно о человеке. Кажется, яблоня воплотила всей своей долгой жизнью именно человеческий идеал. Безропотность, скромность и терпеливость, и при этом почти безграничная щедрость — разве это не образец и для нас с вами?

Что мы дали ей, яблоне, за те годы, что жили с ней рядом и пользовались её дарами? Почти ничего, кроме, разве, гвоздей, что вбивали ей в ствол, чтобы закрепить на них бельевые верёвки, да садового вара, которым замазывали, да и то не всегда, раны от спиленных сучьев. А она, несколько не обижаясь на наше к ней равнодушие, скупость и даже жестокость, продолжала одаривать нас полновесными и вкуснейшими яблоками.

Мы даже не сознавали вполне, что это за счастье: выйти утром из дома, сделать десять шагов до садовой калитки, и ещё через десять шагов оказаться у старого дерева. Его ствол дуплист и шершав, сучья корявы, а листья сейчас, в сентябре, побурели; но урожай нынче таков, что даже в те пять минут, пока ты стоишь, опираясь ладонью о ствол, ты слышишь и видишь, как падают яблоки. Они ударяются в землю с глухим, мягким стуком, и с каждым ударом сильнее становится запах антоновки — им в это утро наполнен весь сад. Матово-жёлтые яблоки светятся, как фонари, на зелёной отаве; а когда берёшь яблоко в руку — оно ледяное и мокрое, даже пальцы немеют, пока на ладони лежит этот тяжёлый светящийся шар.

Да разве, в конце концов, дело в одних только яблоках? Дары старой яблони неизмеримо богаче. Одно только перечисление птиц, которые прилетают, щебечут и возятся в кроне старой антоновки, снуют по ветвям и стволу, собирают букашек и гусениц с листьев и даже, бывает, выют гнёзда в развилках ветвей, — только перечисление птиц, прилетающих к яблоне, и то заняло бы немало бумаги.

Зимой по ветвям снуют поползни и синицы, да прилетают порой снегирь, сами очень похожие на краснобокие яблоки, или наведается пёстрая наглая сойка. Её резкий крик ещё неприятнее треска сорок — черно-белых, с зеленоватым отливом крыла, которых тоже нередко увидишь зимой на ветвях старой яблони.

Летом птиц больше, хотя они меньше заметны. Но если посидеть полчасика с чашкой чая в руке рядом с антоновкой, можно увидеть или малиновку, деловито сующую клювик в трещины сучьев, или скворцов, чей домик-скворешник висит неподалёку. А то залетит большой пёстрый дятел, и его торопливая дробь раздастся так громко, что выгонит из густой кроны стайку испуганных воробьёв.

Осенью яблоню посещают дрозды и вороны. Стая пёстрых дроздов осыпает и крону, и землю вокруг ствола и деловито шарит в поисках корма,

но дрозды, по крайней-то мере, не трогают яблоки. А вот вороны, случается, крепкими клювами долбят по яблокам и шибают их наземь. Зато, если подберёшь вот такое, побитое птицами, яблоко, то не ошибёшься, — оно будет самое сладкое.

А весной, в мае, случается и соловью запустить свою трель изнутри бело-розовой кроны. И ничего, что рядом жилые дома, что люди копаются по огородам и жгут костры, дым которых, мешаясь с вечерним туманом, плывёт над заборами, — соловью нет до этого дела. Он хлещет сумерки своим звонким бичом, он свистит-щёлкает так, что заходит сердце, словно именно в сердце и целится эта отрывисто-сочная соловьиная дробь...

И это всё — мир одной яблони, дерева, послужившего некогда невольной причиной нашего грехопадения, а теперь, уже в падшем мире, напоминающего о том, что рай всё-таки существует. Яблоня — это как бы ворота, через которые мы с вами некогда вышли из рая, но можем когда-нибудь снова — кто знает? — вернуться в него...

ЯЙЦО. Вдруг припомнилось, как я искал потайные места, где неслись наши куры, которые, хоть их режь, не желали класть яйца в курятнике.

Услышав квохтанье несущки, самодовольное и озабоченное одновременно, бабушка говорила мне: “Сбегай, сыщи-ка яичко”, — и я резво кидался на поиски. Чаще всего квохтанье доносилось из вишенника, из той непролазной чащобы, где мог пробираться лишь я, пятилетний, да куры.

На четвереньках, не жалея локтей и коленей, я лез туда, где недавно сидела несущка и где мир становился всё более тесен. Сейчас думаю: то сплетенье вишнёвых ветвей, в котором я пробирался, словно в дремучем лесу, представляло мне образ целого мира, в котором мне было приказано что-то найти. Без этого “что-то” я не только не мог возвратиться обратно, но я бы, наверное, так и пропал в непролазной чащобе.

И когда много после я встретил на умных страницах выражение “эмпирический мир”, я представил его как раз в виде вишенника, сквозь который я продирался, ведомый куриным квохтанием жизни. Что я видел в том мире? Гущу ветвей да потёки янтарного клея на шелушащихся тонких стволах, чёрные ягоды вишен в белёсой пыли, жухлые листья, куриный помёт... Этот мир был мучительно-скуден и почти тошнотворно знаком, но вместе с тем он был так загадочен, так непонятен! И он в себе нечто скрывал, именно то, что я так упорно искал, к чему так стремился, ползя меж ветвями и мусорной пыльной землёй.

А вокруг гудел летний полдень. Его монотонно-клубящийся гул состоял из зудения мух и бужжания пчёл, шума крови в ушах, стукотка и ворчания трактора где-то вдали, за околицей, из басовитой струны самолёта, гудящего в небе, и ещё из каких-то натужных, густых, непонятных мне звуков. Может быть, так гудело само разомлевшее время, сквозь которое я пробирался, как сквозь сплетенье вишнёвых ветвей?..

Вот меня привлекал красновато-смолистый натёк на стволе, и я отклеивал тёплую липкую мякоть и начинал увлечённо жевать. Зубы щёлкали, то отлиная от клея, то вновь погружаясь в пахучую вязкую массу. До сих пор для меня вишнёвая смолка, можно сказать, — символ детства, свидетель и признак того, что я некогда был пятилетним мальчишкой. Не этой ли смолкой и до сих пор я прилеен к тому, среди чего я живу, не она ли и держит меня в этой трудной и путаной жизни?

Но вдруг краем глаза я замечал на дне пыльной лунки, насиженной курицей, ослепительно-белую выпышку яйца! Оно было таким поразительно чистым и юным, что даже я, пятилетний, рядом с этим яйцом был почти стариком. Упав на живот, потянувшись, я осторожно брал в руку яйцо, ещё тёплое, гладко-шершавое, с пестрым пёрышком, что прилипло к его скорлупе, и меня вдруг пронзало таким ощущением счастья, какое ни до, и ни после так и не довелось испытать...

ОЛЬГА КОЧНОВА



## ЛАЗУРЬЮ ПЛЕЩЕТ НЕБОСВОД...

\* \* \*

Вновь распутица, грязь по дорогам —  
не пройти ни пешком, ни верхом.  
По каким непонятым зарокам  
в одиночестве стынет своём

Помоложье? Болота, ложбины...  
За разливом оврагов и рек —  
край лесной, заповедный, глубинный,  
где радушен случайный ночлег.

За бревенчатой чёрной стеною  
в полночь слышатся всплески воды.  
Зашумит, как прибой, надо мною  
отзвук той неминучей беды,

где плоты по Мологе и Волге,  
где со скарбом сиротским семья  
на скрипучей телеге, двуколке...  
Там, наверно, осталась и я.

Где вы, беженцы, переселенцы?  
От воды и войны не уйти.  
И зайдётся отчаяньем сердце:  
как смогли вы всё перенести?..

---

*КОЧНОВА Ольга Владимировна родилась в Твери в 1979 году. Член Союза писателей России (2009), автор книги "Танцуй на осколках", учится в Литературном институте имени А. М. Горького. Публикуется в "Нашем современнике" впервые.*

В полночь слышатся всплески речные.  
И опять подступает черта  
та, где с мёртвыми рядом живые,  
и у горла встаёт немота.

\* \* \*

Туча дождём припугнёт и уйдёт стороной,  
будет греметь, издалека грозиться.  
Пахнет по огородам сеном и лебедой...  
Здесь тишиной можно из рук напитокся.

Мерно качают головками васильки,  
поле не помнит ни пахоты, ни урожая.  
Вечером к лампе слетаются мотыльки —  
бьются, сгорая.

Короток век, только русло сменила река,  
только и дел — не забывать молиться.  
Тихо на запад в некошенные луга  
день упорхнёт вспугнутою жар-птицей.

\* \* \*

...от Выборга и до Изборска,  
и дальше — вдоль земных границ,  
родной земли зажавши горстку,  
лежат поверженные ниц.

Они в суглинке и подзоле,  
они в бурьяне, тростниках.  
Подвластные Всевышней воле  
и неподсудные в веках.

Они кирпичиками в стенах  
всех приграничных крепостей.  
Их кровь течёт по нашим венам,  
их свет исходит от детей.

И это вечно будет длиться —  
за кругом — круг, за годом — год...  
На стены древнего Детинца\*  
лазурью плещет небосвод.

\* \* \*

Где-то в лугах река  
делает поворот.  
Что там? Издалека  
память не разберёт.

То ли вороний крик,  
к осени — затяжной,  
то ли в оконцах блик  
меркнувший золотой;

---

\* Детинец — Псковский кремль.

то ли в руинах храм,  
то ли колхоз под снос...  
Молча (по чьим следам?)  
тянется в рай обоз.

Что там летит во мрак?  
Что приготовил век?  
Вёрона чёрный зрак  
косится в пойму рек.

Здесь, за сельцом, река  
делала поворот...  
Что там в глухих лугах,  
память не разберёт.

\* \* \*

Солнце целует плечи и спину.  
Вечер. жара.  
Лето достигло своей середины  
в полдень вчера.

Спелый крыжовник забыл про заботу,  
вмиг одичал.  
Сочные ягоды — с кровью и потом —  
выше похвал.

В тонких царапинках руки, колени,  
свежий загар.  
Над иван-чаем слышно гуденье —  
сладок нектар.

Сыплются ягоды щедро в корзину.  
Только вчера  
лето достигло своей середины.  
Вечер... Жара...

ИВАН ПЕРЕВЕРЗИН

## ПОСТИЖЕНИЕ ЛЮБВИ

РОМАН\*

34

Звонок от вышестоящего начальства, вызванный началом уборки картофеля раньше установленного райкомом срока, как в душе и предполагал Анатолий Петрович, всё-таки поступил, но не от Выборовой, а от второго секретаря Николая Лазаревича Унарова, курировавшего весь агропромышленный комплекс. На новую должность он был несколько лет назад направлен в район обкомом партии с должности инструктора. Войдя в курс своих прямых обязанностей, быстро приобрёл в районе известность тем, что со всей прямотой, искренне, словно в период военного коммунизма, с трибуны заседания партактива заявил, что многие работники сельскохозяйственных предприятий, по выходным дням торгующие на городском базаре овощами и картофелем, хотя и со своих придомовых огородов, являются, на его начальственный взгляд, настоящими спекулянтами, с которыми необходимо самым активным образом бороться, тем более что, увлечённые личным обогащением, они не в состоянии с полной отдачей работать на общество!

Вскоре после того, как Анатолий Петрович был приказом министра назначен директором, его пригласил к себе Унаров, чей кабинет находился в конце здания райкома, прямо напротив первого секретаря, и хотя был намного меньшего размера, но отделан дорогими, дефицитными материалами — точь-в-точь, как у него. Однако нормального, делового общения не получилось, потому что Николай Лазаревич всё говорил и говорил нравоучительные, напутственные слова, из которых можно было сделать один вывод, что партия, несмотря ни на что, оказала высокое доверие молодому директору — и его надо до конца оправдать. Слушать это было не то, чтобы обидно, но бесконечно скучно да и горько. В конце приёма Унаров наконец задал ожидаемый вопрос:

— А вы о моём принципиальном мнении о рабочих, занимающихся в ущерб совхозному делу личным подворьем, знаете?

— Да! Из статьи, опубликованной в газете “Ленский коммунист”!

— И что на это скажете?!

Как Анатолий Петрович ни хотел в самом начале своей работы под приглядом второго секретаря портить с ним отношения, но, пересилив себя, может не так уверенно, как мог, но всё же честно ответил:

— Знаете, у меня на этот вопрос свой взгляд!

— Интересно! Какой же?!

— Во-первых, ещё работая в совхозе главным строителем, я обратил пристальное внимание, что как раз те люди, которые в свободное время продают излишки сельхозпродукции, выращенной на своём приусадебном участке, хорошо трудятся на государственных полях и фермах. Можно даже смело сказать, являются передовиками производства! Во-вторых, бороться, как вы выразились, со спекулянтами не входит в директорские обязанности. Если действительно они есть, то ими должна заниматься такая строгая служба правоохранительных органов, как ОБХС!

— Спорить с вами в этот раз не буду! Но всё же прошу вас, Анатолий Петрович, помнить о моём сугубо важном мнении!..

— Вы хотите сказать, как в одной известной песне современного композитора Пахмутовой, — пока я помню, я — живу?!

— Вот именно!

Последними словами и запомнился разговор. Но когда секретарша сообщила, что на проводе второй секретарь райкома, сразу представился человек предпенсионного возраста, низенького росточка, с круглым и плоским, как полная вечерняя луна, смуглым, испещрённым глубокими морщинами лицом, на котором якутские узкие, тёмные с белыми зрачками глаза выражали откровенную усталость. Чёрные, как смоль, и густые, слегка тронутые снежной сединой, жёсткие, словно конская грива, волосы, умело постриженные, зачёсанные на прямой пробор, и уравновешенно спокойный, чуть хрипловатый голос.

— Тут на вас некоторые наши уважаемые товарищи критично жалуются, мол, своевольничаете, не успели как следует поработать директором, а уже удельным князьком себя чувствуете...

Услышав такое начало разговора, молодой директор не удержался — и ну совсем невежливо перебил Унарова:

— Пожалуйста, извините, но я, кажется, знаю фамилии своих недоброжелателей! В связи с этим расскажу вам то ли притчу, то ли анекдот... — И, не услышав возражений, весело продолжил: — Однажды на собрании партийно-хозяйственного актива один старый, заслуженный коммунист, защищавший советскую власть с винтовкой в руках и с пламенной верой в коммунизм ещё в Гражданскую войну, а потом не менее активно и в Отечественную, уже давно убелённый почтенной сединой, с многочисленными орденами и медалями на груди, в своей пламенной речи сказал, что в зале сидит очень много товарищей, которые нам — ну совсем не товарищи...

— А что, он по-своему прав! И такое бывает! — вполне серьёзно, словно не поняв в рассказе молодого директора явной иронии, простодушно заметил Николай Лазаревич. И против ожидания не строго, а по-доброму выразил своё мнение о “самоуправстве” Анатолия Петровича: — Только я считаю, что вы, так сказать, не зная брода, не полезете, сломя голову, в воду, поэтому просто мне как старшему товарищу, как на духу, ответьте: решение начать уборку картофеля раньше нами установленного срока приняли с глубоким пониманием всей меры строгой ответственности в случае хоть малой неудачи?

— Так точно! — по-военному коротко сказал Анатолий Петрович, — Да у меня ведь в самом деле другого выхода из-за запоздалого созревания капусты не было! Согласен, что я в определённой степени рискую, но, верю — оправданно, да и всё же с некоторой оглядкой!

— Слышал, слышал, борщовый продукт в вашем совхозе в этом году, как ни у кого другого директора, уродился на зависть!.. Это в нынешнем неурожайном году дорогого стоит может! Только смотрите, примите все необходимые меры — не дайте добру под снег уйти!..

— Хорошо!

— Ну тогда действуйте!

— Слушаюсь!

Взятые темпы уборки картофеля исключительно своими силами надо было не только поддерживать, но с каждым днём всё увеличивать и увеличивать. И Анатолий Петрович вновь с головой ушел теперь уже в организацию работы во всех своих пяти отделениях с учётом прибывших первого сентября учащихся городского профессионально-технического училища и рабочих из шефствующих над совхозом организаций.

А следователь Зайцев, то ли потому, что у него никак не находились весомые доказательства, позволяющие предъявить обвинение в полном объёме и в строгом, установленном законом, порядке, то ли они в самом деле и накопились в достаточном количестве, но ему хотелось, как говорится, уж стукнуть по столу, так со всей, свойственной своему характеру, большой силой, тем не менее всё не звонил и не звонил Анатолию Петровичу, словно с пониманием откликнулся на его просьбу, весомо продиктованную производственной необходимостью. Но чёткое сознание того, что в любое время можешь быть вызван на допрос и он, будь неладен, может закончиться очень для тебя, увы, печально, несмотря ни на что, по-прежнему вдохновляло молодого директора — отдаваясь порученному делу так, как будто жил последний день.

Да и как иначе, когда, надолго установившаяся в самом начале осени сухая погода продолжала радовать сердца погожими деньками. В конце лета и так дожди не очень-то досаждали, а теперь и вовсе в высоких небесах — от края до края! — синела

пронзительно чистая лазурь, от яркого солнечного света вспыхивая мелкими, едва видимыми, но блестящими серебряными искрами, лишь по самым краям несмело курилась бело-розовая дымка, да на горизонт выплывали белые, как первый снег, и мягкие, словно вата, кудрявые облачка. В величественной, многоводной красавице Лене и вбегающих в неё многочисленных больших и малых реках, из-за почти полного безветрия, казалось, что вода не текла, а стелилась гладко, как огромное витринное стекло, глубоко — чуть ли не до дна! — отражая высокое, синее-синее небо, от чего радостно казалась светлей обычного и тоже горела искрами, только частыми и золотыми! От резкой перемены температуры по ночам к утру над озёрами, болотами и в луговых низинах клубился, с первыми лучами поднимаясь всё выше и выше, белёсый, плотный туман, предвещая грибникам удачный сбор осеннего лесного дара. Как обычно бывает на севере, берёзы с клёнами и тополями за несколько дней, словно весёлые модницы-девушки, сменили летние платья на осенние — и теперь всю по всей неоглядной, дремучей вековой тайге горели жёлтыми кострами-всполохами. А боярышник и рябины — темно-красными, но так ярко, что алые гроздья ягод почти сливались с их листовым рыже-красным фоном.

Сколько раз по утрам, как бы Анатолий Петрович ни спешил на работу, он все же успевал восхищенно полюбоваться природной красотой, которая порой так сильно напоминала о грибной и ягодной страсти, присущей ему от рождения, что иной раз хотелось убежать с лукошком в тайгу, чтобы в полной мере ощутить непередаваемое чувство радости, нет, даже счастья! — вызванное обычным прикосновением к чёрной, насквозь светящейся, как балтийский янтарь, смородине, к белому грибу с темно-коричневой шляпкой, влажной от росы и потому матово отливающей, потаённо выглядывающей из низкого, но ох, какого густого мха! Сознание невозможности этого, по крайней мере, — сейчас или хотя бы в ближайшее воскресенье, путь не это, так другое! — погружало душу, как в морскую глубину, в щемлящую, словно кричащую, грусть.

И пересиливая себя, тяжело вздохнув, Анатолий Петрович переносился мыслями ко всем неотложным производственным вопросам уборочной кампании, не ответить на которые сполна значило бы, к глубокому огорчению, — не быть до конца собой. От него требовалось во что бы то ни стало огромный маховик уборочных работ раскрутить да такой мощи и скорости, которые бы позволяли и без директорского вмешательства во всё совхозе к намеченному заранее пятнадцатому сентябрю, — концу бабьего лета, — закончить и закладку семян, и отгрузку в полном объёме потребителям второго хлеба... И, хотя к этому ценой больших усилий удавалось идти всё успешней и успешней, всё равно с бои в копке картофеля нет-нет, да и давали о себе знать: то в одном отделении неожиданно заканчивалась мешкотара, то в другом — подумать только! — в течение одного дня вышло из строя более половины комбайнов, а нужных для ремонта запчастей не оказалось, то в своём — автобаза — смежники сбились с графика поставки грузового транспорта, а в самом дальнем, четвёртом, — Беченчинском — сельские строители всё никак не могли сдать в эксплуатацию новое овощехранилище.

И Анатолий Петрович поневоле должен был вмешиваться в решения всех возникавших и возникавших проблем. А тут ещё, словно не понимая важность уборочной, если не в райком, то в райисполком вызывали на заседания, пусть и по важным делам, таким как подготовку котельных и теплотрасс к зимнему сезону — и на них, оставив все дела на главного агронома Кокорышкину, приходилось ездить по дороге, с каждым днём всё больше разбиваемой машинами, перевозящими сельхозпродукцию из совхоза в город. Как бы разумом ни понималось, что районное руководство по-своему тоже право, всё равно душу охватывала глубокая жалость по словно впустую потраченному времени, усиливалось сознание, что у себя в совхозе ещё летом, как надо, подготовились и зимнему содержанию скота, и к самым жестоким морозам вообще, как и должно быть у доброго сельского хозяина, строго следующего народной поговорки: “Сани делай летом, а телегу — зимой!”

Днём, увлечённо занятого по горло всё большим и большим раскручиванием маховика всего комплекса уборочных работ, Анатолию Петровичу не досаждали мысли об уголовном деле, о своенравном следователе Зайцеве. Но ближе к ночи вернулся из очередной поездки в одно или другое отделение, слегка обидевшись на Марию, что, не дождавшись его, она спала, во сне разметавшись по постели. Но тотчас и найдя оправдание её страшной усталости, — ведь порой ей тоже приходилось задерживаться на работе до глубокого вечера, выкладываясь духовно и физически сполна, Анатолий Петрович, предоставленный женой самому себе, как бы ни был утомлён, снова и снова задавался вопросом: “В чём же он ошибся, в чём?!” Но чем упорней искал ответ, тем больше убеждался, что заработная плата, оговорённая договором, была определена в полном соответствии со всем объёмом строительства. Но ведь и строгая комиссия не



могла наломать дров, — слишком большая ответственность была возложена на неё! Опять же объявленная Зайцевым переплата не из воздуха же взялась! Значит — всё-таки она каким-то, пока неизвестным образом, на самом деле произошла! Невозможность объяснить себе природу её возникновения порой приводила даже в отчаяние, а то и в бешенство. Уже самому хотелось, чтобы как можно скорее вызвал следователь — пусть бы предъявил конкретное обвинение, но ведь вместе с ним и перестала бы мучить жестокая неизвестность!

А тут ещё, казалось бы, ни с того, ни с чего, первая жена Зинаида, больше года не дававшая о себе никаким образом знать, по телефону, через секретаршу, передала настоятельную просьбу о том, чтобы он как можно скорее приехал к ней по очень важному делу. Узнав об этом, Анатолий Петрович пришёл в смутное недоумение: “Чего ещё ей надо от меня?” Уходя из семьи, вроде всё, что мог, — и двухэтажный с мансардой дом, и личные сбережения до копейки, оставил ей. А когда Зинаида намекнула о примирении, вежливо и спокойно, вместе с тем твёрдо, без каких-либо надежд на понимание со своей стороны, пояснил, что между ними, как бы она ни продолжала его сильно любить, ничего, кроме нормальных человеческих отношений, быть не может. Но ведь её желание встретиться с ним вполне могло основываться и на какой-нибудь серьёзной болезни, — ведь она, хорошо зная о его мужской крепкой дружбе, завязавшейся ещё в юности, с главным врачом городской поликлиники, скорей всего и обратилась к нему за помощью...

Недоумевать можно было сколько угодно, но лучше, — как бы ни хотелось, исходя из тех же человеческих отношений, о которых ни говорил при тяготящем душу расставании, откликнуться... Единственное, что смущало, — это сомнение: удастся ли убедить Марию, от природы имевшую чрезмерно ревнивую душу, в необходимости встречи с первой женой. Но, успокоительно решив, что, вернувшись от неё, он честно, как на духу, расскажет, нет, даже слово в слово передаст причину просьбы Зинаиды, а там — будь что будет, Анатолий Петрович выехал ни свет ни заря в город. Может быть потому, что к этому времени во всех отделениях совхоза копка картофеля подошла к концу, или из-за того, что вконец надоело ночами до боли в темени думать о плохом, которое в любой день, пусть ожидаемо, но всё же неприятно, коверкая судьбу, могло грянуть от следователя Зайцева, настроение у Анатолия Петровича, как летнее небо в погожее утро, было светлое, даже лучистое.

Через час езды окончательно развиднелось. Но если ещё вчера вечером угрюмые, свинцовые тучи лишь собирались, то теперь они сплошь затянули небосвод — ряд к ряду — отчего он был похож на море с пологими, только начинающимися расходиться, ветровыми волнами. Невольно с грустью подумалось: “Хоть бы дождь в самом деле не полил! Иначе от влаги, которая быстро глубоко промочит почву, комбайны встанут... А копать-то осталось — всего ничего, — ох!...”

К своему бывшему дому Анатолий Иванович подъехал в половине двенадцатого. Пётр поставил машину на ручник, спросил:

- Вы надолго?..
- Сам не знаю! А в чём дело?..
- Да надо на полчаса отъехать по личному вопросу!
- Хорошо! Но минут пять подожди — вдруг дома никого нет

И, выйдя из машины, подошел к зелёной тёсовой калитке, на которой появилась в его время не висевшая фанерка с надписью: “Осторожно! Злая собака! Звоните!” Нажал на кнопку — и тотчас в глубине двора раздалось сначала сердитое ворчание, а потом и грозный лай, быстро перешедший в остервенелый, из-за которого не услышал, как на крыльцо вышла Зинаида, а вот её тревожный вопрос: “Кто там?!” сказанный знакомым, когда-то таким родным голосом, резанул по душе — и словно в тоске о недавнем прошлом в голове вспыхнула мысль: “Да! Не так-то просто начисто взять и забыть десять лет совместной жизни, надежд и разочарования...” — и почти печально отозвался:

- Это я, Анатолий!
- Подожди минуточку! Я только собаку закрою!..

Калитка распахнулась — и в проёме появилась Зинаида, одетая в наспех накинутый байковый тёплый халатик и коричневые босоножки на низких каблуках. Прошедшее после развода время совсем не изменило её: те же густые, собранные на затылке в узел ржаные волосы, те же большие, карие глаза и полные, никогда не знавшие помады губы, может, лишь во взгляде появилась какая-то горечь, что ли...

- Здравствуй! — первым поздоровался Анатолий Петрович.
- И тебе не хворать! — в ответ поприветствовала Зинаида.

И, окинув своего бывшего мужа заинтересованным, оценочным взглядом, резко повернувшись, быстро поднялась на крыльцо, вошла в дом. Анатолию Петровичу

ничего не оставалось, как только покорно последовать за ней. В прихожей он снял с себя по сезону шпиту из брезентовой, плотной ткани куртку и, пройдя на кухню, уже без приглашения, словно на правах старого хозяина, сел на стоящую у обеденного стола крашеную белую табуретку, вопросительно посмотрел на Зинаиду. Она, словно её внезапно охватила морозная дрожь, плотней стянула халатик, глубоко вздохнув, нервно промолвила:

— Наверно, думал, что больше никогда не встретимся, а оно вон как, можно сказать, в одночасье вышло, — я тебе сама позвонила!..

— Знаешь, жизнь такая непредсказуемая, никогда и ни в коей мере не угадаешь, что тебя может ожидать даже в самом ближайшем будущем, — спокойно ответил Анатолий Петрович. — Всякое может случиться! Только, если тебя это не очень затруднит, — давай всё-таки без лишних, да и не нужных предисловий сразу перейдём к сути твоего приглашения. Хорошо?

— Не возражаю! Тем более что разговор будет касаться тебя!

— Даже так?!

— Представь себе... На днях меня навестил некто Зайцев, по крайней мере, при знакомстве важно отрекомендовался, как следователь по особо важным делам республиканской прокуратуры.

— Извини, что перебиваю! — нетерпеливо сказал Анатолий Петрович, — Но позволь задать тебе прямой вопрос: с какой такой целью столь важный человек, да ещё при исполнении своих суровых служебных обязанностей, к тебе вдруг пожаловал, причём аж домой?!

— С одной: узнать — когда мы с тобой жили, приносил ли ты домой, кроме зарплаты, ещё какие-нибудь деньги! — ответила Зинаида и на некоторое время замолчала, испытующе глядя на бывшего, но не забытого мужа! Но он почему-то хранил молчание — и тогда она вновь, только чуть ли не вызывающе заговорила: — Естественно, я его догадки не подтвердила. И, мне показалось, этим немало всерьёз расстроила...

— А как ты это поняла?!

— Да очень просто! Не получив нужного ответа, он бесцеремонно стал склонять меня к написанию на тебя, откровенно говоря, лживого доноса! А когда я возмутилась, то ехидно-злобно заявил, что в своей служебной практике первый раз встречает брошенную женщину, которая отказывается покататься с коварным, жестоким обидчиком! Но, поскольку я ушла во враждебное, по отношению к нему, молчание, он, даже не попрощавшись, ушёл! Вот наглец, из чьих слов можно только догадываться, скольким людям он сломал жизнь, используя подлые методы для успешного продвижения по карьерной лестнице! Ненавижу таких!

Анатолий Петрович, выслушав Зинаиду, с жалостью подумал: “А ведь она действительно продолжает меня любить. Более того, может, даже продолжает всерьёз надеяться, как на чудо, — на моё возвращение! Неужто в самом деле жизнь-искусительница завязала её душу на мне покрепче всякого морского узла!..” И он даже хотел спросить, не намекал ли Зайцев ей, пусть не так откровенно, как Эльзе, но всё же на похотливую близость. Потом поймал себя на мысли: а мне-то теперь какое может быть дело до ставшего давно чужим тела. Да, впрочем, и души тоже. И лишь, устало вздохнув, сказал:

— Зинаида, спасибо тебе большое за глубокую порядочность и, несмотря на нанесённую мной тебе и в самом деле обиду, честность! Ты даже представить не можешь, как мне помогла!

— Ну ты и сказал! Это чем же я таким важным, таким значительным помогла, что заслужила твою благодарность, не скажешь?

Словно не расслышав последних слов, Анатолий Петрович снова, тронутый до глубины души её добрым отношением к нему, скорей всего, объяснимым только тем, что она продолжает его любить, негромко, на самом выдохе промолвил, едва удержавшись от того, чтобы не взять Зинаиду за словно точеную руку и вдохновенно её не пожать:

— Если я говорю тебе — помогла, значит — помогла! И накрепко знай, что — я в долгу перед тобой при любом жизненном раскладе не останусь!.. Думаю, говорить мне, с кем ты прожила столько лет вместе, о твёрдости данного мной слова, излишне! — и, считая разговор о приходе следователя законченным, тихим голосом, не без грусти, смешанной с отцовской любовью, спросил: — А Игорь, сын, где? В школе?

— В ней, родимой! — тотчас сказала Зинаида. — Где же ему ещё в начале учебного года быть! — и замолчала, опустив к полу глаза, на которые неожиданно навернулись слёзы. Однако через минуту, показавшуюся Анатолию Петровичу томительным часом, вдруг ставшим печальным голосом, продолжила: — Знаешь, даже и не знаю, что с Игорем делать — совсем от рук отбился, неделя не проходит, чтобы в школу

к директору не вызывали; то из-за плохого поведения, то из-за неуспеваемости!.. Вырастет без мужского строгого догляда балбесом!

И снова замолчала, на этот раз как-то задумчиво, так глубоко уйдя в себя, что Анатолий Петрович растеряно спросил:

— Что-то ещё более неприятное сын натворил?

— Слава Богу, нет! Просто я простодушно подумала: не взял бы ты его хотя бы на год к себе, слышала, ты женился на какой-то молодой особе! Думаю, как женщина она бы нас с тобой поняла?

— А что, Зинаида, — дело говоришь! Вот как только закончится уборочная, так я сына в посёлок заберу! Там школа не хуже городской, да и преподаватели в основном остались те, у которых я уму-разуму набирался — к Игорю не без души отнесутся! — и посмотрел на свои ручные часы. — О, время-то как бежит! Идти мне надо! Ещё раз искренне благодарю тебя! И очень прошу, не провожай!..

Но, когда Анатолий Петрович уже взялся за дверную ручку, чтобы выйти, Зинаида, не поднимая глаз, почти крикнула:

— Подожди!.. — и исподлобья бросила на бывшего мужа исполненный тоски, окончательно прощальный взгляд, без вызова, скорей как бы прося прощения, промолвила: — А я замуж решила выйти!

— Давно пора! Может, хоть с другим будешь счастлива!.. — услышала в ответ — и, едва дверь стукнула о притвор колоды, из её опечаленных глаз на щёки выкатились слёзы, то ли облегчения, то ли всё никак не отпускающего душу страдания по любви своей.

Выслушав Зинаиду и на прощание сказав ей, что торопится, Анатолий Петрович не лгал. Мысленно он уже понял: Зайцев так и не нашёл прямых доказательств его вины. И, горя желанием посадить его, как-никак — директора совхоза, даже готов был пуститься, в общем-то, на должностное преступление. А раз так, то и нечего ждать следовательского вызова, — надо самому, не откладывая, тем более, — находясь в городе, свалиться Зайцеву, как снег на голову, чтобы он принял окончательное решение!.. А то, что оно именно сегодня пойдёт вразрез с его корыстным желанием, никаких сомнений уже вообще не оставалось!

Петр уже вернулся. Анатолий Петрович, прежде чем сесть в машину, внимательно, с сосущей душу тревогой посмотрел на смурной небосвод, — он стал ещё мрачнее, ещё плотнее, словно навсегда, затянутым свинцовыми, беременными дождём тучами. Ему даже тревожно показалось, что несколько капель упали на разгорячённые разговором щеки, едва заметно холодя их... На самом деле — просто воздух стал чрезмерно влажным... Поняв это, Анатолий Петрович мысленно облегчённо сказал: “Вот и ладно!..” И уже сидя в салоне машины, решительно дал указание водителю ехать в милицию, внутренне строго настраиваясь на непростой разговор-допрос с Зайцевым. Но его — вот невезение! — в это хмурое утро не оказалось на месте — он, оказываясь, со скупых слов дежурного молодого офицера с цепким взглядом коричневых глаз, с якутоватым, видать, сахалярским смуглым лицом — вот уже два дня, как работает с ревизионной комиссией на выезде в одной из организаций города, у себя в кабинете будет только не раньше завтрашнего утра.

## 35

Но желание в этот приезд поставить точку в непонятно как возникшей строительной переплате было столько велико, что Анатолий Петрович решил, не солоно хлебавши, домой не возвращаться. Только надо было звонком предупредить Марию о своей задержке с ночёвкой, а то она не дай Бог, что подумает!.. Тем более — он не сомневался, что от своей секретарши, у которой язык, словно у многих легкомысленных людей, как говорится, без костей, ей уже известно о причине его столь внезапного отъезда в город. Звонить от дежурного милиционера не хотелось, да и было по служебному порядку не положено, поэтому он, вспомнив о своём добром товарище юности, тотчас поднялся на второй этаж и, уверенно постучав в обитую чёрным дерматином дверь, на которой висела табличка с надписью: “Старший участковый”, стремительно, словно свежий речной ветер, вошёл в знакомый по старым посещениям кабинет. Тотчас, быстро, как по строгой команде, из-за рабочего стола встал и шагнул к нему навстречу Геннадий Иванович Егоров, а для друзей просто Гена, тот самый, который в школе учился через пень-колоду, в шестом классе даже был педсоветом оставлен на второй год, всё же с грехом пополам закончил десятилетку.

А поскольку почему-то так и не решил, какую профессию приобрести в учебном заведении, устроился в совхозе молотобойцем, но буквально через неделю кузнец,

мужчина с крутым характером, за систематическое нарушение трудовой дисциплины отказался от него. Бригадир отделения, молодая женщина, агроном по образованию, белокурая, со спортивной фигурой и начальственной стрункой, объявила Геннадию устный выговор и, строго-настроено предупредив, что в следующий раз за халатное отношение к труду он будет в обязательном порядке уволен, назначила его помощником тракториста, занимавшегося поливом капусты. Но и здесь, работая в ночную смену, он вместо того, чтобы устраивать земляные перешейки на водяном канале, забравшись в какое-то укромное место, беззаботно уснул. В результате капуста осталась не политой, а охочий до сна недоросль — без работы.

Больше месяца, пока отец не уговорил директора школы взять сына хотя бы обычным сторожем, он сидел, словно в знаменитой сказке Илья Муромец на печи, дома, как говорится, баклуши бил. Казалось, уж в этот-то раз надо было бы призвать себе же в помощь всю свою мужскую ответственность, но не тут-то было! Геннадий додумался устроить из школьных классов комнаты поздних — ночных свиданий для поселков влюблённых парочек! Однако вскоре бдительным отцом же и был с позором, с оглаской на весь посёлок разоблачён... Поскольку из-за слабого зрения сын оказался непригодным к военной службе, то служивый отец, понимая, что только в ежовых рукавицах отпрыска и можно удержать, с большими трудностями, но всё же устроил его в районный отдел милиции рядовым сотрудником. Неизвестно, какая в небе звезда ярко зажглась или, наоборот, напротив отгорела, только Геннадия будто подменили! Он буквально через год как примерный сотрудник, подающий очень даже большие надежды, был направлен в школу милиции, которую успешно закончил — и с лейтенантскими звёздочками на погонах вернулся для продолжения дальнейшей службы в родной райотдел.

И вот теперь он в солидном звании капитана, тридцати трёх лет от роду, среднего роста, широкоплечий, с прыщеватым лицом, в чёрных очках, с жирными, зачёсанными набок темными, волосами, порывисто обнял своего самого верного товарища юности, потом, отступив от него на полшага, но продолжая держать его вытянутыми, крепкими руками за плечи, широко расплываясь в добродушной улыбке, воскликнул:

— Анатолий, чёрт! Да мы с тобой сто лет не виделись!

— Нет, больше — двести! — пошутил Анатолий Петрович.

— Вот-вот! А люди говорят, что ты был в городе совсем недавно, но не заглянул! — и как-то сразу посуровев, с тревожным сочувствием, знающе спросил: — Или Зайцев так прижал, что не до меня?!

— Нет, пока только пробует сделать это!.. Но в желании защёлкнуть на моих директорских руках наручники ему никак не откажешь!

— Он такой — всех бы пересадил! По людским судьбам нещадно прёт, словно бульдозер по мелколесью! Будь с ним осторожен!

— Это уж как получится! Сам не хуже меня знаешь, что зарекаться от сумы да тюрьмы — дело ну совсем зряшное!

— И всё-таки!..

— Ладно, Гена, не будем опилки пилить!.. Мне надо в совхоз жене позвонить! Своим аппаратом, надеюсь, разрешишь попользоваться?

— Ещё спрашиваешь! Телефонируй, сколько хочешь, и не забудь, когда вернёшься домой, Марии от меня привет передать. — И, закрывая сейф на ключ, продолжил: — А я пока по службе к начальнику отделения зайду, а то со вчерашнего дня ему на глаза так и не удосужился показаться... Вознегодует ещё!.. Он такой, если что не по нему, то враз месячной, а то и квартальной премии лишает!

Но прежде, чем выйти, спросил:

— В этот приезд, надеюсь, ночевать будешь у меня?

— Ну, если уважаемое общество хочет этого, то...

— Ладно, не выпендривайся, — перебил друга Геннадий. — Чтoб вечером как штык был! Вот Анна обрадуется, ведь ты в её глазах выглядишь чуть ли не образцовым мужчиной, с которого мне непременно надо во многом брать пример! Вот так, не больше и не меньше!

— Договорились! Буду! Но ты, пожалуйста, позвони супруге о моём приходе. Кстати, где она сейчас трудится, — на старом месте, оказавшемся для тебя судьбоносным, или нашла другую работу?

— Нашла! Но ни за что не догадаешься, какую!

— А ты меня, друг сердечный, загадками не корми, а сразу ответь на прямо поставленный вопрос, я ведь его не из-за пустого любопытства задал, а по нашей, надеюсь, всё ещё настоящей дружбе!

— Так и быть! Анна теперь у меня высокопочитаемый представитель самого передового в нашей стране рабочего класса, а именно — токарь! Причём, уже пятого

разряда. И вытаскивает свои, совсем непростые, детали в главных авторемонтных мастерских алмазной компании.

— А что заставило её, так сказать, непыльную, размеренную — очень даже удобную для женщины работу поменять на более напряжённую, тяжёлую, которой чаще всего занимаются мужчины?

— Вот от неё лично сам и узнаешь! — как-то неуверенно, словно сразу и не сообразив, что ответить, произнёс Геннадий, — Верь, не верь, но для меня самого её внезапное решение об уходе из телеграфа, которому она отдала столько лет жизни, продолжает и сегодня остаётся глубокой тайной за семью печатями!.. — И шутливо, по-ребячески спросил: — Больше вопросов ко мне у товарища большого начальника нет?

— Нет, товарищ капитан! Можете быть свободны! — в тон другу ответил Анатолий Петрович и, не дожидаясь, пока останется один, набрал нужный номер, — и в трубке пошли длинные гудки. На самом излёте их наконец прозвучал знакомый голос главного агронома:

— Алло! Алло! Говорите, я вас слушаю!

— Виктория Николаевна, привет!

— Здравствуйте! Анатолий Петрович, что вам угодно?..

— Звоню, чтобы спросить, как идёт уборка?

— Нормально! Если дождь, который что-то уж больно всерьёз собирается, всё же не пойдёт, завтра к вечеру, а нет, так послезавтра точно, во всех отделениях копку картофеля закончим!

— Ничего не скажешь, порадовала ты меня! А Мария далеко?..

— Рядом, только что вернулась с сортировки!

— Трубочку передай ей!

И тревожно сжался душой, как в ожидании неприятности, но едва услышал родной голос жены, тотчас почувствовал прилив нежности, словно находился с Марией в долгой разлуке, и, торопясь, как будто мог почему-то не успеть сказать самого главного, заговорил:

— Радость моя, хочу предупредить тебя: у меня ситуация в городе сложилась таким образом, что я вынужден заночевать! Но завтра к вечеру, слово даю, как миленький, непременно буду дома!

— Я всё поняла! Поступай по своему усмотрению! — сказала Мария, то ли с осуждением, то ли с сожалением, но явно холодно.

У Анатолия Петровича захолонуло сердце. И он чуть ли не отчаянно, словно жена была не за сто с лишним километров, а только за плотной дверью, со всей силой мощных лёгких выдохнул:

— Извини, но ты не о том подумала... Да, я был у Зинаиды, но исключительно по важному для меня, нет, для нас обоих с тобой делу! Вернусь — всё объясню! Верь мне! Целую! Люблю!

— Пока!

И в трубке повисла гнетущая, давящая тоской на душу почти кричащая, жаркая тишина!.. Анатолий Петрович невольно оттянул ворот, словно надеялся, что так дышать станет легче. В эту самую минуту от начальника вернулся Геннадий и, увидев расстроенное, как бы враз осунувшееся, посуровевшее лицо друга, стараясь тотчас поддержать его, полуслутивно продекламировал: “Что так молодец не весел, аж головушку повесил?..” И уже вполне серьёзно спросил:

— Что-нибудь с Марией стряслось? Или на работе?

— Не волнуйся, у меня всё хорошо!.. — и на секунду замолчав, не без иронии заключил: — Когда-нибудь будет!.. Только вот заночевать придётся!

— Ну и отлично! Мой диван в гостиной, как в нашей с тобой молодости, всегда в твоём распоряжении! А, впрочем, есть предложение!

— И какое же? — спросил Анатолий Петрович, рад душевной, с годами ничуть не обмелевшей, как река в знойное лето, отзывчивости друга.

— Закатиться к моим знакомым девочкам!..

— Егоров, дорогой! — ну ты и даёшь! Предлагаешь мне, женатому человеку, занимающему ответственную должность, такие вещи, словно, уже став капитаном и в надежде скоро получить вместо четырёх маленьких звёздочек на погоне, одну, зато большую, — майорскую, остаёшься по отношению к женщинам обыкновенным рядовым!..

— Как это?!

— Очень просто!.. Настоящий мужик, выбрав себе даму сердца, должен служить ей преданно, с честью! В своей любви подниматься и подниматься вверх к такому счастью, когда двое — он и она! — становятся, в радости, и в горе, — одним духовно целым, а не скатываться по наклонной вниз в жалкие интрижки, пусть и с красивыми, страсть

как соблазнительными молодыми особами! Потом — ты же знаешь, что я — максималист, причём полный! Значит, — имея лебёдушку, а Мария для меня именно таковой является, я не погонюсь за синичкой! Если думаешь иначе, чем я, то, поверь, у вас с Анной будущего нет!

— Тоже мне пророк нашёлся!.. — выслушав друга, несколько нервозно сказал Геннадий. — А меня, что ни говори, так и подмывает все больше жить в полном соответствии с совсем даже не глупой поговоркой: “Нет на этом свете такого мужчины, которой не знал бы чужой женщины...”

— Ну и дурак!.. До вечера!

— А ты куда сейчас решил направиться?

— В больницу, брата проведать!

— Кстати, как он?

— Очень плох! — дрогнувшим голосом сказал Анатолий Петрович и, резко повернувшись, быстро направился к двери, боясь, что при продолжении разговора проявит излишнюю слабость...

Но Геннадий, тотчас по короткому, словно винтовочный выстрел, ответу друга поняв болезненность своего вопроса, лишь взглядом, исполненным глубокого сочувствия, посмотрел ему вслед.

Николаю, как и говорил врач в первую встречу с Анатолием Петровичем, после временного облегчения вдруг резко стало хуже... Проклятые раковые метастазы, врасстая своими безжалостными, не ведающими границ в организме щупальцами, причиняли такую адскую боль, что даже наркотические уколы, которые теперь уже делали больному через каждые три, а то и два часа, лишь притупляли её, — и это пусть и позволяло хоть час-другой забыться тревожным полусном, но не давало никакой возможности измученному организму отдохнуть — и Николай, вконец обессиливая, с каждым днём неумолимо угасал... Когда-то голубые, большие, светящиеся радостью жизни глаза, словно краска на солнце, выцвели, — стали мутно-белыми, в зрачках начисто пропали последние искры, а тело настолько высохло, как бы сжалось, что походило на самый настоящий скелет, даже голос, словно от долгого, громкого разговора, сел, стал хриплым. Да и Николай уже почти и не говорил, — больше молча лежал с закрытыми глазами, отвернувшись к казённой палатной стене с панелями, почему-то покрашенными не в больничный белый, а в синий цвет, как будто он, отрешаясь от этого мира, мысленно готовился к переходу в другой.

Последний раз, когда Анатолий Петрович навещал брата, его состояние настолько удручающе подействовало на душу, что во время возвращения в вечерних сумерках из больницы ему показалось: огромное тёмно-синее небо словно враз опустилось аж до самых сопок — и они, эти природные великаны, опиравшиеся на мощные, гранитные скалы, которые от удара шаровой молнии, долго исходили над речной округой широко волновым, напряжённым, вибрирующим, словно играющим на воздушных струях-струнах, протяжным гулом, — дрогнули, пригнулись, будто под непосильной, ох, какой же тяжелой ношей... И как бы красиво и приветливо ещё ни догорал закат, вкусно облизывая небесный оком языкастыми красно-золотыми отблесками, как бы ярко уже ни вспыхивали серебристыми точками первые звёзды — ничто не могло развеять нависшие в мозгу свинцовыми тучами, мрачные думы.

И, вдруг, скорей всего, от сознания, что чудес со здоровьем брата, увы, не случится, перед глазами, одна за другой, как на телевизионном экране, стали загораться невыносимо горькие, такие страшные строчки, будто Николай уже перешёл в самом деле в мир иной, причём давно:

*В тридцать лет он был уже старик,  
так его нещадно жизнь ломала.  
Как герою популярных книг,  
дней ему для дела не хватало.*

*Нынче в небесах его душа  
и глядит приветливо оттуда,  
правый суд по-доброму верша,  
вера в справедливость, даже в чудо.*

*Пой, весна, на поворотах рек,  
плёткой ливня битая по коже, —  
на земле остался человек,  
на отца до мелочи похожий.*

*В облака уходит птичий клин, —  
это почта в небо полетела:  
пусть отец узнает, что и сын  
ни секунды не сидит без дела...*

Однако теперь по дороге к брату Анатолию Петровичу, ещё не отошедшему от разговора с Геннадием, вдруг вспомнился один, из ранней молодости, эпизод, на первый взгляд — вроде ничего серьезного не значащий, но тем не менее заслуживающий некоторого внимания. И вот почему. Как-то поздней весной перед самым закрытием зимника, пробиваемого по Лене каждый год через ледяные, замёрзшие торчком, словно вскинутые в небо, частые торосы и метровый, сильно слежавшийся за долгую северную зиму, будто специально утрамбованный, мороженный снег, он по неотложным делам приехал в город. На ночлег решил остановиться у друга юности Егорова, в то время ещё холостого, занимавшего комнату в двухэтажном, довольно большом здании милицейского общежития, со стенами из соснового бруса, ладно обшитыми тёмно-синей вагонкой, со строгим дежурным, служебный пост которого находился в тесном холле, рядом с лестницей, ведущей на второй этаж.

Вечером, закончив все дневные дела, друзья радостно встретились, и в задушевной беседе о личной жизни каждый из них поведал о своём наболевшем или о событиях, по какой-то пусть и не серьёзной причине, но всё же отражавшихся на ходе текущей жизни. Из рассказа Геннадия Анатолий узнал, что его друг юности каждое свое дежурство в опорном пункте звонил родителям, чтобы заботливо справиться о их здоровье и поведать о своих милицейских, да и просто житейских делах. Поскольку тогда связаться из города с поселком можно было только через центральный телефонный узел, где в основном операторами работали женщины, то у него чисто случайно состоялось заочное знакомство с одной из них, по имени Анна, очень молодой, симпатичной особой. В этот вечер она как раз работала. И Геннадий вдруг предложил поговорить со своей новой знакомой и другу юности, но не просто от нечего делать (хоть как-то до сна убить время), а для того, чтобы после тёплых, но в общем-то ни к чему не обязывающих бесед всё же предложить девушке назначить свидание с тем парнем, голос которого ей больше понравится. И он, шутки ради, согласился.

Однако в этот раз женский интерес, как на цыганских картах, выпал не ему. А мог! И тогда... Тогда, — нет, лучше об этом не думать! — ведь он, скорей всего, не встретил бы Марию, не назвал бы ее своей женой. Как будто, пройдя через ледяной мрак, в котором птицы, как бы стремительно ни летели, прямо в воздухе замерзали намертво — и камнем падали в жёсткий, как наждак, глубокий снег, он наконец вышел к лучезарному, жизнеутверждающему свету, от которого стало на душе так тепло, даже жарко, что порой хоть пой! А то, что она, его ненаглядная половинка, как тонкая ветка на шальном ветру, духовно надломилась, совсем не причина для угрызения совести, вплоть до расставания, ведь в том, что её сила вдруг обернулась слабостью, повинен он, значит ему, — и никому другому! — надо во что бы то ни стало помочь ей.

Успокоив себя этими жизнеутверждающими мыслями, Анатолий Петрович вновь стал думать о младшем брате, — и почему-то тотчас представил себе его вторую жену Зою. Как и первая, она была на несколько лет старше Николая. Её жизнь, выпускницы-отличницы строительного техникума, по распределению, как и многие другие задорные, охочие до романтики парни и девчата, приехавшей на строительство в глухую, вековую тайгу, на берегу могучей красавицы Лены, — нового города-спутника Мирного — в будущем столицы алмазного края, сначала сложилась вполне удачно. По любви, охватившей её добрую, светлую душу, как жадное пламя костровый хворост, вышла замуж за бетонщика, однолетка, разбитного, ухаря весельчака, рослого, с широкими плечами, светловолосого, с синими, узковатыми, словно прищуренными, глазами, работавшего в том же строительном-монтажном управлении, где и она. Его излишнюю тягу к спиртному, как потом выяснилось, ошибочно, она приняла за обычную холостяцкую привычку, когда в компании таких же, как он, молодых любителей острых ощущений считалось в порядке вещей свободное время от самоотверженного, на совесть сделанного по строгой разрядке в рамках социалистического соревнования труда заполнять не вдумчивым чтением умных, высокохудожественных, общеобразовательных книг или кинотеатра, построенного одним из первых объектов социально-бытового назначения, а распитием как бы для утоления жажды в летний полдень кружки-другой пенистого жигулёвского пива. А потом, когда в голове, по сути, обычного повеса, от лёгкого хмеля, как в ветреную погоду в лесу, начинался шум, то неустойчивая от природы душа, которой делалось не то чтобы море по колено, но вдруг, словно ни с того, ни с чего, начинала неоправданно гипертрофированно судить о себе,

других людях и о текущей жизни вообще, и от этого страсть хотелось выпить чего-нибудь покрепче, да позадиристее.

Но, увы, и это в женском сердце обернулось горячей надеждой, мол, как только рожу благоверному сына, так дорогой муж, почувствовав себя ответственным за будущее своей кровинки, враз и остепенится, его разгульная душа, словно необъятно разлившаяся майской весной по лугам и долам многоводная река, войдёт в свои извечные, исполненные вдохновенного покоя и живительного добра, высокие берега. Можно ли было её за такое близорукое виденье жизни осуждать? Конечно, нет! А вот пожалеть — в первую очередь! А, когда она, вконец измучившись почти в ежедневной борьбе за своё непростое женское счастье, в страшной тревоге за будущее сына, названного Иваном, всё-таки нашла в себе силы порвать с опостылевшим мужем, к тому времени превратившимся в обыкновенного алкаша, то заслужила в полной мере и уважение, прежде всего как стойкая, знающая себе цену женщина!

Производственное и профсоюзное начальство, на счастье, оказалось сердобольным: Зое, уже несколько лет прожившей сначала в семейном общежитии, а потом и в балке, оставшейся одной с маленьким сыном на руках, выделило в новом двухэтажном, возведённом из бруса и обшитом строганой вагонкой, жилым доме, находящемся недалеко от центра, отдельную квартиру. Да какую! — аж с тремя довольно просторными комнатами, с окнами, выходящими на две стороны, как во двор, так и на улицу, прямо за которой шумела вековая тайга, разумно сохранёнными строителями на всей установленной проектировщиками немалой площади. А городской администрацией названа природным парком с проложенными в нём несколькими широкими, заасфальтированными аллеями и установкой на полянах игрового оборудования, в том числе даже и большущего обзорного колеса с подвесными пассажирскими люльками, в одночасье ставшего для городской детворы пределом розовых мечтаний...

Почти одновременно с Зоей в строящийся ударными темпами Ленск с целью заработать северный стаж, позволявший женщинам уходить на заслуженный отдых в пятьдесят, а мужчинам на пять лет позже, приехали и её стареющие родители с двумя младшими дочками. Подрастая, они стали добровольными помощниками старшей сестре в воспитании сына Ивана, — иногда забирали из садика, иногда, особенно в выходные дни водили в самый что ни на есть природный парк, а когда он пошёл в первый класс, то и по просьбе матери, часто в конце месяца, из-за срочной сдачи материальных отчётов задерживавшейся на работе, забирали его из школы-десятилетки. А порой на выходные, чтобы у Зои была возможность на неделю вперёд управиться со всеми многочисленными для всякой женщины, тем более одной поднимающей на ноги ребёнка, домашними неотложными заботами, забирали Ивана к себе домой.

Как-то жизненные обстоятельства сложились таким образом, что из всех немногочисленных подруг, заведённых на новом месте, самой близкой оказалась её непосредственная начальница, главный бухгалтер строительного управления, уроженка Западной Украины Светлана Григорьевна Толстых, женщина бальзаковского возраста, довольно симпатичная, — с хорошо сохранившейся фигурой, с крашенными в каштановый цвет густыми волосами, умело уложенными при помощи бигуди в волнистую причёску, с светло-голубыми, словно промытое первым дождём майское небо, большими глазами, с полной, высокой грудью. Вот только характер у неё был больно уж скверный: ворчливый, заносчивый... И может, по этой серьёзной причине у Светланы Григорьевны всё никак не складывались крепкие семейные отношения с мужчинами, хотя среди них встречались и очень деловитые, прекрасно знающие, зачем пришли в этот суетный мир, и сполна отдающие себе отчёт, что для полного счастья им самим сделать крайне необходимо.

Жила Толстых не только на одной улице и в одном доме с Зоей, но и в одной секции на втором этаже. Так что двери их смежных квартир находились напротив... Почти каждый вечер, словно за целый рабочий день ну совсем не устали друг от друга, тудясь уже несколько лет в одном кабинете, они хоть на полчаса, но встречались то у одной, то у другой. Но, честно говоря, лишь для того, чтобы обменяться мнениями в отношении очередной серии растянувшегося аж на несколько лет, буквально сводящего с ума, лишавшего покоя многих советских домохозяек, да и не только их, бразильского сериала “Рабыня Изаура”.

Любой, знающей себе цену, женщине такая однообразная, прямо скажем, скучная жизнь, в конце концов, не могла не приесться. И однажды зимой, пришедшей в одну из чёрных до непроглядности ночей и оставшейся аж до самого начала апреля, подруги вспомнили, что в городе совсем недавно по инициативе городской администрации, а точнее, его социально-бытового отдела, открылся так называемый клуб знакомств, работающий строго по субботам, в котором люди, по каким-то разным причинам не



сумевшие сыскать семейного счастья и достатка в первом браке, могли бы попытаться это сделать ещё раз. Конечно, при непереносимом условии, что из нескольких десятков человек, пришедших на вечер, вдруг да найдётся тот единственный, который способен стать и желанным. Недолго думая: “Идти или не идти”, Зоя со Светланой решились заглянуть на часок-другой в общем-то доброе во всех человеческих отношениях заведение. И, потратив на подготовку к посещению его уйму личного времени в единственной приличной городской парикмахерской и перед домашним зеркалом, с удовольствием примеряя, одно за другим, свои лучшие наряды в поисках того единственного, который, как никакой другой, сполна подходил бы к цвету глаз, к фигуре, чтобы выглядеть во всём блеске женской красоты и обаяния, отправились навстречу её величеству Судьбе. По крайней мере, тогда им обоим так не без внутреннего смущения казалось.

Салон знакомств не имел своего помещения и временно располагался в длинном, одноэтажном, но высоком, рубленном из сосновых, просушенных до гулко-го звона брёвен ещё при царе-батюшке здании, которое первоначально служило единственной в Мухтуе, являвшейся предтечей Ленска, рестораном, а после прихода к власти Советов было отдано под рабочую столовую. Стояло это довольно большое строение рядом, — через дорогу, — с высоким, обрывистым берегом, густо поросшим между каменными валунами низкорослой, тёмно-зелёной травой, словно нарочно, часто разбросанными по склону.

Оттуда широко и аж до самого горизонта открывался величественный вид на многоводную, степенно текущую Лену с продолговатыми, словно вытянутыми мощным речным течением, небольшими островами, обрамлёнными, как искусной оправой, непролазным, саблеобразным тальником; с узкими, зато извилистыми рукавами-протоками, изобилующими глубокими омутами, в тёмной воде которых в ветровую погоду было относительно тихо, когда речные волны с сердито-грозным урчанием вздымались на двухметровую высоту и, обильно пенясь и звучно шурша, как сухое сено при сгребании ручными граблями в валки, накапывались на песчано-галечный берег, яростно, словно в жестокой схватке, схлёстывались друг с другом. Это позволяло, с удовольствием досыта кормясь различными водорослями и мальками, весьма вольготно обитать всевозможной богатой рыбе: линкам, щукам, язям, тайменям, окуням и другим обитателям всегда немного таинственного подводного мира.

Более заинтересованного, сосредоточенного внимания заслуживало и само одноэтажное здание... Хотя со временем его стены почернели, но продолжали сохранять следы умелых рук, при помощи рубанка обработавших брёвна с внешней стороны до удивительной гладкости. А довольно большие оконные проёмы были не просто обрамлены резными наличниками, карнизами и водостоками, но и солнечно радовали взгляд вырезанными талантливыми народными умельцами из просушенной до звона, напоминавшего медное, гулкое звучание церковного колокола, столетней берёзы разнообразными языческими фигурами, тем самым говоря, насколько же удивительно крепка и глубока на далёкие по времени и яркие по значимости традиции человеческая память.

С не меньшим душевным теплом и умением было возведено и высокое крыльцо из пяти широких тесовых ступенек и крепких брусчатых перил, опирающихся на фигурные сосновые стойки, под дощатым односкатным навесом, одним краем прикрепленным при помощи кованых вручных гвоздей к стене, а другой надёжно лежащий на толстенных, мощных лиственничных столбах-колоннах, тоже гладко выструганных. Высокую крышу, устроенную из обрезных досок, для верности от проникновения дождевой и снежной влаги постеленных в два ряда, венчал конёк, украшенный с обеих концов деревянными мастерски вырубленными плотниками из лиственничных чурок лошадиными мордами, с оскалившимися зубами и высунутыми набок языками, словно во время бешеной многочасовой скачки по якутским снежным просторам...

Полюбуешься на старинное здание, пережившее не одно поколение людей, — и непременно с лёгкой грустью по далёкому прошлому, о котором слышан от местных старожил и читал как-то в пожелтевшей от времени и пыли подшивке истрёпанных газет, обнаруженной случайно при сносе дома, принадлежавшему ещё в царские времена какому-то зажиточному купцу, подумаешь о времени, позволявшем жить без всякой оглядки на власть предрешающую, с размахом, напористо! И однозначно скажешь себе, что умели наши предки и полноценно, достойно жить, и, не дожидаясь мифической манны с неба, наяву, своими руками днём и ночью обустроить своё земное существование на радость душе и глазу...

Зоя и Светлана, плотно хрустя мёрзлым, укатанным машинными колёсами снегом, с шумом выдыхая горячий воздух, который на стуже мгновенно превращался в клубящийся, белёсый пар, медленно стелющийся за плечами и поднимающийся в высокое тёмно-синее небо, уже достаточно заполненное спелыми, как августовские

яблоки, звёздами, горевшими новогодними огнями, подошли, слегка запыхавшись, к зданию столовой. По ярко освещённым окнам и доносившейся через двойные стекла, разрисованные, словно искусным художником, крутым морозом льдистыми, причудливыми узорами, весёлой, бодрящей душу эстрадной музыке они тотчас поняли, что вечер, скажем так, разведённых, но желающих вновь оказаться сведёнными в новом ну, конечно же, счастливом браке, был в полном что ни на есть разгаре.

Подруги не без труда отворили массивные, утеплённые войлоком и обитые чёрным дерматином высокие двухстворчатые двери и, переступив порог, впустили с собой в вестибюль морозные клубы воздуха. Он, придавленный к полу теплом, вскоре растворился. К Зое со Светланой с раскрасневшимися от стужи щеками, с накрашенными ресницами, которые за дорогу успели превратиться в продолговатые ледышки, едва они стали стряхивать с пуховых шалей и воротников пальто нападавший снег, тотчас подошёл распорядитель, высокий, средних лет мужчина, одетый в чёрный костюм с иголочки, и, добродушно белозубо улыбаясь, услужливо помог снять меховые шубы. Дождавшись, когда они в туалетной комнате приведут свои причёски, несколько смятые пуховыми шальями, в полный порядок, провёл в зал и галантно усадил за свободный столик. Пожелав приятного вечера, вежливо раскланялся, чтобы встречать новых, всё прибывающих поодиночке или группами гостей. Вскоре к подругам подошла молодая симпатичная официантка, с ярко накрашенными малиновой помадой губами, с длинными, чуть ли не до век загнутыми тёмными ресницами, зачем-то ещё подведёнными чёрной тушью, в белоснежной, накрахмаленной косынке, аккуратно повязанной на затылке. Мило улыбнувшись и сверкнув карими, большими глазами, в электрическом свете матово, влажно переливавшимися, выразила готовность принять заказ. Подруги молча переглянулись и, словно заранее договорились, к фруктам, уже стоявшим в хрустальной вазе на столе, единодушно попросили для начала принести по фужеру шампанского.

Инструментальный ансамбль только что закончил играть, в зале, уже на две трети заполненном, установилась атмосфера неспешных, добродушных разговоров, то и дело перемежающихся короткими тостами. Подруги в ожидании заказа завели между собой беседу, казавшуюся со стороны значимой, но на самом деле являющейся обычным женским разговором о всяких житейских мелочах, представляющих интерес лишь для них, что-то вроде приобретения нового платья или кофточки... Да что преподнести престарелым родителям на приближавшей Новый год, чтобы подарок не оказался очередной ненужной, хоть и красивой, но всё же безделушкой, а единственно необходимой вещью, которой, оказывается, так не хватало в доме. Однако это ничуть не мешало подругам выглядеть эффектно и даже в некотором роде вызывающе, украдкой оглядывать с ног до головы пришедшую на вечер разношёрстную, красиво одетую публику. В основном она состояла из мужчин и женщин, причём последних было значительно больше, кто помоложе, кто постарше, но всё ещё гордо несущих следы только что отшумевшей молодости! Среди них были и ещё совсем молодые, — девушки лет двадцати, двадцати пяти, с пастозно подведёнными чёрной тушью ресницами, с ярко накрашенными губами, на которых лишь недавно молоко обсохло, а парни все, как один, одетые в брюки-клёш, — явно обычные искали романтических приключений без каких-либо серьёзных обязательств для себя...

Вдруг Зоя почувствовала, что кто-то на неё смотрит... Медленно повернула голову влево и буквально столкнулась своими чёрными, как смоль, огромными глазами с несколько грустным взглядом молодого мужчины, одетого в строгий тёмно-коричневый костюм и в голубую рубашку, так идущую к его синим глазам. Он, сложив руки на коленях, одиноко, как бы отстранённо сидел за столиком в самом углу зала, что позволяло ему всё происходящее на вечере видеть, как на ладони. Это был Николай, младший брат Анатолия Петровича. Вроде по самой что ни на есть пламенной любви, какая только может быть в семнадцать лет, женившись на молодой женщине, значительно старше его, он тем не менее, не то чтобы разочаровался в своём неожиданном для очень расстроившихся родителей поспешном браке, но из-за раннего пристрастия жены к алкоголю, отражающемуся на любом женском организме неизлечимо губительно, посчитал дальнейшую семейную жизнь невозможной. А ведь, как мог, боролся за неё, — прятал подальше, в какой-нибудь укромный угол деньги, но всё равно каким-то необъяснимым чудом спиртное появлялось в доме. И Николай на глазах у дико кричащей, надрывно воющей жены, пытающейся хоть как-нибудь помешать ему, — хватал бутылки, резким ударом якутского ножа отсекал у них горлышки и безжалостно выливал содержимое в унитаз!

Потом — сдался! Да так, что, видя, как жена сильно страдает без спиртного, порой и сам по молодой неопытности составлял ей компанию в чуть ли не ежевечерних

гулянках, всё чаще и чаще переходивших в утреннее горькое похмелье. То самое, когда мысли, словно чугуново-каменные, с превеликим трудом ворочаются, и то, увы, лишь в одну чёрную сторону: как бы скорей выпить спасительную стопку водки, чтобы унять бедное сердце, бьющееся на разрыв с такой силой, так учащённо, что кажется, оно готово вот-вот напрочь выскочить из груди. И чтобы наконец-то эти проклятые рогатые, волосатые черти, с наглыми кривыми ухмылочками синих тонких губ, с ужасным, сводящим с ума подлым хихиканьем и свинячим повизгиванием, выглядывающие со всех сторон, исчезли, растворились, как мелкая соль в горячей воде!

Уйдя от жены, Николай поселился в рабочем общежитии деревообрабатывающего комбината, где и работал трактористом, и вёл уединённый образ жизни, заключающийся лишь в любимом труде да отдыхе-чтении очередной интересной книги, взятой в библиотеке, располагавшейся на другой стороне улицы в центральном кинотеатре, а в выходные дни — в неизменной рыбалке на Щучьем озере. Это увлекательное занятие значительно скрашивало жизнь здорового молодого мужчины, наполняя её определённым смыслом, позволявшим не столь удручённо смотреть в будущее... Но наступала долгая-предолгая — девятимесячная якутская зима с трескучими пятидесятиградусными морозами, с снежными буранами-вьюгами, дующими напролёт по несколько суток, с непроглядными густыми туманами, которые, смешиваясь с угольным дымом многочисленных городских кочегарок, становились настолько непроглядными, что в десяти шагах ни зги не было видно. В такую погоду, как говорится, добрый хозяин и собаку на улицу не выгонит. Поэтому жизненный круг Николая, как, впрочем, и почти всех горожан значительно сужался, становясь для одинокого человека однообразным до тоски. Скорей всего, именно из-за этого он тоже решил, ради любопытства и отдыха, в первую очередь, от самого себя грешного посетить становившийся всё более известным клуб знакомств.

На подруг, одна из которых — Светлана, была чистой блондинкой, а другая — Зоя, брюнеткой, он обратил внимание сразу же, как они в сопровождении распорядителя вошли в зал. Скорей всего потому, что эти две дамы отличались от других представительниц прекрасной половины человечества скромностью поведения, словно пришли не для того, чтобы, как можно ярче, независимо показав себя, понравиться кому-нибудь из мужчин, а лишь с целью расширения своего женского кругозора. Но когда Николай поймал взгляд брюнетки, большеглазой, с полными губами и высокой грудью, то почему-то его душа сначала сладко жглась, а потом расцвела таким букетом жарких чувств, что он поймал себя на вопросительной мысли: “А не влюбился ли я, как говорится, с первого взгляда?!” Но ответить не успел, ибо отдохнувшие музыканты вновь заиграли, на этот раз аргентинское танго, кстати, единственную музыку, под которую Николай умел сносно танцевать, но без гарантии по неловкости не наступать на ноги симпатичной партнёрши. Это вынуждало его, как мальчишку, пунцово краснеть до самых кончиков несколько растопыренных ушей, торопливо извиняться, заверяя, что в следующий раз он обязательно будет повнимательней. Умные женщины понимающе улыбались, утешали, мол, ничего — всякое бывает, а глупые, заносчивые, как ошпаренные, отскакивали от Николая с непременным высказыванием со всей, неожиданно проснувшейся неприязни: “Фу! Нахал какой! Коли танцам не обучен, так сиди, лапоть соломенный, дома!”

И всё же в этот раз он, ни секунды не медля, словно неожиданно сильно боясь, что какой-нибудь другой мужчина, более проворный, чем он, опередит его, быстро подошёл к понравившейся черноволосой женщине, и, с напряжённо бьющимся сердцем, охваченный лёгким смущением, несколько угловато наклонившись к Зое, галантно пригласил её на танец. Она, лишь быстрым взглядом окинув его высокий рост, ободряемая красноречивым взглядом Светланы, не спеша встала из-за стола с всё ещё не раскрытой бутылкой шампанского и, приятно чувствуя на талии сильную мужскую руку, слегка отвернув голову от партнера, закружилась под медленный ритм красивой музыки, словно специально созданной для вроде ни к чему не обязывающему знакомству, но в то же время всё же позволяющему сбросить с души стесняющие оковы неловкости и стеснительности... А тут ещё партнер, белозубо, загадочно улынувшись, как бы возвращая её немного рассеявшееся внимание к себе, промолвил:

— Если вы не против, то будем знакомиться?! — И не дожидаясь ответа, тотчас представился: — Меня дорогие родители нарекли в честь Святого угодника Николаем! А как зовут вас, прекрасная незнакомка?

— Меня? Зоя!

— Удивительно красивое имя! Созвучное со словом зов!.. Поэтому-то меня сразу, как только мы встретились с вами глазами, я вдруг вспыхнул душой, ну словно буйное пламя на свежем, вешнем ветру! И почувствовал такое необъяснимое, но неодолимое

желание познакомиться с вами, что если бы даже не объявили танец, то я всё равно бы это непременно сделал! А как же хорошо красивое имя Зоя рифмуется со словом “покоя”! Чего, положив руку на сердце, должен признаться, — мне в последнее время, словно страшному грешнику, не хватает!

— Николай, вы только что употребили поэтический термин, в связи с этим хочу спросить: а стихи, случайно, не пишете?

— Уж не хотите ли сказать, что я, пусть мысленно, но витаю где-то в заоблачных, туманных высях?! Сразу отверг бы такое предположение, ибо я — сугубо земной человек! Одним словом, самый что ни на есть простой тракторист, правда широкого профиля!

— Тракторист! — не скрывая лёгкого удивления, произнесла Зоя — А выглядите, будто наш прораб в свой день рождения!

— Вы так посчитали по тому, как и во что я одет?

— В общем-то, да!

— И ошиблись! Бывает!.. Только ваше предположение меня не слишком смущает, ведь, известно, встречают по одежке, а провожают по уму! Нет, ни в коем случае не хочу сказать, что я мозговитый, но никогда не считал себя дураком, по крайней мере, круглым! А одеваюсь в строгом соответствии с тем местом, куда и для чего иду! Привычка, понимаете! Или, по-вашему, мне надлежало бы явиться на этот вечер, чтобы сразу был понятен представителям прекрасной половины человечества род моей трудовой деятельности, в комбинезоне с масляными жирными пятнами, насквозь пропахшим потом, выхлопными газами и соляжкой?

— Конечно, нет!

— И что же тогда у нас в итоге!

— Хочется надеяться, что приятный вечер!

После первого танца был второй и третий... Во время их молодые люди, всё раскованней общаясь, перешли на “ты” и смогли ещё узнать друг о друге столько, сколько это вообще можно было сделать на словах в строгих рамках приличий первой встречи, ибо, окрылённые каким-то ещё непонятным им светлым чувством, они почти никого в зале не замечали! Зоя, уже успевшая по своему первому, увы, столь неудачному семейному опыту, достаточно хорошо изучить мужскую натуру, по тону простой, открытой речи Николая и несколько угловато неторопливым его движениям, глядя в его большие, от природы печальные глаза, словно на ладони увидела добрую, жаждущую семейного уюта и взаимной любви душу. И её, словно магнитом, потянуло к нему с такой неодолимой силой, что она после окончания вечера без всяких сомнений, — сразу с нескрываемой радостью, искристо светившейся в глазах, приняла смелое предложение Николая проводить её с подружкой до дома.

С этого времени они стали всё чаще и чаще встречаться: то ходили в кинотеатр посмотреть новый фильм или на вечеринки к друзьям, то просто, взявшись за руки, гуляли вечерами по старинным, залитым лунным, таинственным светом улицам Мухтуи, совсем не обращая внимания ни на остервенелый лай цепных собак, ни на пересудочные взгляды старушек, сидящих часами, словно на посту, у своих, ещё более постаревших, чем они, рубленных в лапу домов. Каждая новая встреча дарила влюблённым не только радость общения, но и понимание, что наконец-то они оба, несмотря на относительно молодые годы, успели достаточно настрадаться, чтобы справедливо считать возможным ещё раз, как им тогда казалось, навсегда, — связать себя новыми семейными узами.

## 36

Николай лежал в отдельной палате на самом последнем — четвёртом этаже огромного четырёхугольного здания районной больницы со внутренним двором, главным образом служившим площадкой для установки мусорных сменных железных контейнеров и с подъездами к нескольким чёрным выходам, через один из которых выносили для перевозки в морг тела людей, перед чьей коварной болезнью медицина, увы, оказалась в очередной раз бессильной. Пассажирский лифт проектировщиками почему-то не был предусмотрен. И Анатолий Петрович, пройдя по узкому длинному коридору приёмного отделения, вышел к довольно широкой бетонной лестнице с этажными площадками, выложенными коричневой плиткой и деревянными перилами, отполированными до блеска ладонями многочисленных посетителей и медперсонала. По привычке перепрыгивая через ступеньку, довольно легко одолел её и, смиряя учатившееся дыхание, направился к знакомой двери. Но на самом подходе к ней она вдруг открылась и навстречу ему из палаты вышла в белом халате, привычно накинута на плечи, Зоя.

Осторожно затворив за собой дверь, она повернулась и увидела Анатолия Петровича, пересеклась глазами с его настороженным, напряжённо колючим взглядом... А он, как увидел её, тотчас отметил большие, синие круги под чёрными глазами, которые из-за осунувшегося, побледневшего лица стали огромнее, ибо отметились еще более, чем раньше, озабоченной грустью, постоянным переживанием за любимого мужа. Тем не менее, ей, чуть ли не каждую ночь дежурившей у постели неизлечимо больного Николая, каким-то чудом удавалось выглядеть опрятной. И в этот осенний вечер темно-синий костюм, красиво и строго облегавший её стройную фигуру, был, как всегда, безукоризненно чист, старательно выглажен и в слабом верхнем освещении каждой складкой, каждым изгибом фиолетово переливался.... Голова чуть выше лба была туго повязана лёгкой синей косынкой, не позволявшей густым, каштановым волосам веером рассыпаться по спине.

При тяжких мыслях о том, сколько новых горестных переживаний, бессонных ночей, тревожных дней навалились на страдающую душу жены брата, у Анатолия Петровича больно сжалось сердце. От острого чувства бессилия оказать хоть какую-нибудь, если не спасительную, то облегчающую жизнь молодой женщине помощь на глаза стали невольно наворачиваться слёзы, но невероятным усилием воли он сдержал их. Пожимая Зое руку, как можно бодрее, твёрдым голосом поздоровался:

— Привет, любимая родственница!

Но в ответ непривычно хмуро и как-то неуверенно прозвучало:

— Здравствуй!.. А ты, наш молодой директор, по какому такому важному делу решился в самый разгар уборочной приехать в город?!

— Можно сказать, по воле судьбы, — уклончиво ответил Анатолий Петрович, — Но завтра должен — кровь из носа! — с ней до конца разобраться, а сегодня, выкроив время, решил навестить брата!

И глубоко вздохнув, дрогнувшим голосом настороженно, будто боясь услышать самое страшное, спросил: “Как Николай?!”

— Ничего хорошего!.. Ему час назад обезболивающий укол сделали — и он после бессонной ночи, показавшейся мне что-то уж совсем бесконечно долгой, наконец-то задремал, вот я и решила выйти в коридор, чтобы хоть немного подышать!.. Сам знаешь, какой в больничных палатах воздух тяжелый! А тут, в коридоре, хоть форточки открыты!..

И, видать, готовая расплакаться, опустив голову, замолчала... Но на всякий случай быстро достала из бокового карманчика цветастый носовой платок, судорожно скомкав его, зажала в кулачке, а рукой подпёрла мелко подрагивающий подбородок. Анатолий Петрович понял, как ей, совсем недавно наконец поверившей в своё женское счастье, с каждым днём из-за всё ухудшающегося здоровья мужа, невероятно тяжело расставаться с ним. И он, приобняв Зою, дрожащим голосом промолвил:

— Я понимаю тебя, глубоко сочувствую тебе!.. Но в это трудное время ты должна еще думать и о своём сыне, которого Николай так любит! И потом — надо до самого конца верить в лучшее, каким бы оно, уввы, призрачным ни казалось, тем более, знаю, что бы ни случилось, и твоя родня, и я всегда будем с тобой рядом... Успокойся... Но если совсем тяжело, то уткнись мне в плечо — и, не стесняясь, поплачь. Говорят, что порой слёзы лучше всякого лекарства успокаивают растревоженную душу и помогают собраться с новыми силами!.. Понимаешь?

— Понимаю!.. Но Николай сегодня, после долгого-долгого молчания, привычно лёжа лицом к стенке, вдруг повернулся ко мне и потребовал, чтобы я его, как можно быстрее, увезла к родителям на Кавказ. Я, дура, взяла да и спросила: “Зачем?!” А он тотчас, будто давно утвердился в своём желании, ответил: “Умирать буду там, только там!..”

— Так и сказал?! — ошеломлённо спросил Анатолий Петрович.

— Слово в слово... Крест кладу!

И она горько заплакала, время от времени утирая платком глаза. Но уже через минуту нашла силы взять себя в руки и, устремив на Анатолия Петровича страдальческий взгляд, озадаченно спросила:

— Что же будем делать?!

— Только одно: выполнять волю Николая! Мне в совхозе осталось убрать лишь капусту да поставить на зимовку скот. На это уйдет примерно недели две, максимум, три! Как только управлюсь, не медля, возьму положенный отпуск — и я сразу же повезу его!

— Анатолий, не обижайся, — нетерпеливо прервала Зоя, — Хоть ты и родной брат, но это должна сделать именно я, жена, причём не откладывая... Пока он... — И снова на её глаза навернулись слёзы, но прежде чем вновь заплакать, она успела от спазма в горле как-то враз осевшим голосом договорить: — Пока он ещё живой!

Дав Зое выплакаться, Анатолий Петрович, трогательно глядя её по голове, как маленькую девочку, хотя она была его ровесница, торопливо, словно желая как можно быстрее потушить пожар, произнёс:

— Хорошо, хорошо! Пусть будет по-твоему! Только договоримся так: ты завтра же начинай готовиться к отъезду, а я непременно упрощу главного врача, чтобы он до самого самолёта в Мирном обеспечил медицинское сопровождение. А в Москве мои верные друзья помогут тебе перевезти Николая в аэропорт Внуково и отправить вас самым ближайшим рейсом в Минводы. Оттуда, сама знаешь, до родителей — рукой подать...

Эти уверенные слова как-то сразу почти успокоили Зою. Вытерев остатки слёз, от которых веки вспухли, глаза покраснели, но оставались трогательно красивыми, она в знак благодарности, порывисто схватив руку Анатолия Петровича, всей грудью выдохнула:

— Спасибо за заботу! Ты настоящий брат! Да я никогда не сомневалась ни в твоей душевности, ни в твоём понимании жизни!..

На некоторое время оба замолчали, да и когда главное было сделано, говорить о второстепенном вроде и не хотелось. И все же Зоя посчитала для себя необходимым поинтересоваться:

— А как у тебя обстоят дела с семейной жизнью? — и тут же объяснила причину своего вопроса: — Что-то давно Мария не заглядывала в гости, хотя, как мне известно, не раз приезжала в город!

Анатолий Петрович сразу уловил в её последних словах скорей сожаление, чем горькую обиду на свою жену, которая в такое тяжёлое время не удосужилась ни поддержать добрым словом Зою, ни проведать её больного мужа. Однако оправдывать супругу не стал, и не потому, что не мог подобрать для этого нужных слов, а потому, что укор Зои и его самого поверг в смятение. И он отчетливо понял, что пора, не откладывая в дальний ящик, поговорить по душам с Марией! Но когда? Не ночью же! Ведь он, работавший на пределе сил души и тела с благородной целью достижения производственного успеха, а не ради выслуги перед начальством, домой приходит только ночевать! А тут ещё это непонятное до конца уголовное дело, в самый неподходящий момент свалившееся на его голову, как тяжёлая наледь среди жаркого лета. В бесконечных поисках выхода из создавшегося положения мысли работают в таком невероятно раскалённом режиме, что, лишь вконец утомив, позволяють перед самым утром на час-другой вздремнуть!

Супруга не может не видеть его мучительных страданий... Пусть не в состоянии ничем помочь, но в таком случае по поводу и без него хотя бы не уходила, как в глухой, глубокий колодезь, в себя, не молчала бы напряженно, словно в рот воды набрав... А порой ведь и вообще откровенно, непонятно за что, дуется на него, как мышь на крупу, вместо того, чтобы, тепло обняв за голову, успокоительно произнести простые сердечные слова: “Не переживай, родной! Всё будет хорошо, ведь я с тобой!” Но их вполне бы хватило, чтобы набраться свежих сил, не чувствовать себя таким одиноким и напрочь брошенным!

Однако, как сильно ни хотелось поведать своё выжидающе смотрящей на него Зое, Анатолий Петрович лишь в отношении семейных дел натянuto, словно через силу, с грустью ответил:

— Честно говоря, не очень хороши! Как-то с самого начала нашей совместной жизни многое пошло наперекосяк: сначала я Марию к мужчине, которого ошибочно считал другом, приревновал, потом — она меня к некоей молодой особе. Это не помешало мне по-настоящему пылко полюбить, в чём я своей суженой и признался. А вот она, я думаю, связала свою судьбу с моей исключительно из-за страха перед одиночеством, которое, — эх, жизнь-злодейка! — скорей всего, угнетает её горькими воспоминаниями о своей первой, увы, несчастной любви!

— Ты хочешь сказать, что у неё до тебя был кто-то другой?!

— А что в этом страшного или предосудительного?

— Да ничего! И всё же?..

— Ну был!.. А разве могла судьба сложиться иначе у такой красивой женщины? Думаю, нет! Или я сильно ошибаюсь? Только, если даже это так, то я никогда не стану копать в прошлом дорогого человека, поскольку всё это было до нашей встречи! Я живу сегодняшним и, конечно, крепкой надеждой на счастливое будущее!

— И правильно делаешь, за исключением того, что, до конца не поняв причину, не позволяющую женщине до конца освободить своё сердце для новой любви, более возвышенной, ты, к сожалению, никогда не завоеешь её! И первое, что тебе надо сделать, это объясниться с ней, ведь хотите вы с ней или не хотите, но уже находитесь не на берегу, где надо было заранее все сомнения разрешать, а плывёте по воле волн в самом что ни на есть открытом, судьбоносном океане! Это значит, — без супружеской жизни

в мире и в согласии — при первом же шторме, дорогой Анатолий, твоя семейная лодка может в одночасье пойти ко дну!

— Возможно, ты, Зоя, права! По крайней мере, над твоим советом я хорошенько призадумуюсь! А сейчас мне идти надо! Поздно уже...

— Конечно! Пока!

— До скорой встречи! Только когда Николай проснётся, ты скажи ему, что я приходил, и, конечно, сердечный привет от меня передай!

— Обязательно!

Выйдя на улицу, Анатолий Петрович посмотрел на часы с бело светящимся циферблатом, — они показывали половину девятого вечера. Подумалось: “Ничего себе, как время-то бежит! Но и хорошо, ибо каждый час приближает к тому, чтобы поставить, неважно какую, но конкретную точку в затянувшемся уголовном деле! Хотя и не чувствуешь за собой вины, всё равно неопределённость всегда мешает в полную силу заниматься тем, для чего появился на этот свет, о чём думаешь, что любишь, чем живёшь...” Сумерки ещё не успели стугиться — и было достаточно хорошо видно в обе стороны прямые, как удары меча, улицы, по которым одна за другой проезжали легковые и грузовые автомашины, с включёнными на ближний свет фарами. Из-за сильной нехватки густой темноты, он казался слабым, как тот, что напоследок исходит от остывающих головешек отгоревшего таёжного костра. До дома своего старого друга-милиционера Геннадия, у которого Анатолий Петрович принял окончательное решение заночевать в этот раз, было не больше двух кварталов. И он, поскольку сразу, по приезду после обеда в милицию, своего водителя Петра отпустил, не стал ловить частников, на своих “жигулях” подрабатывающих извозом, или такси с горящим на крыше кузова специальным световым сигналом, с характерными чёрными, словно шахматными клеточками по бокам, пошёл пешком. Быстро пересёк больничную площадь, уверенно ступил на деревянный тротуар, старый, — устроенный ещё во время грандиозного рождения Ленска, и потому местами с поломанными досками, местами от времени ушедшему вровень с дорожным асфальтовым полотном в зыбкий глинистый грунт.

Дувший с Лены свежий, напористый ветер, лишь слегка пахнувший бензиновой гарью, хотя и был довольно сильным, но всё же, к директорской радости Анатолия Петровича, не разгонял уверенно, готовые разродиться обложным, значит неизвестно каким долгим дождём, хмурые, тяжёлые, словно свинцом налитые тучи, а лишь гнал и гнал их сплошными рядами по как бы опустившемуся чуть ли не до сопкок небу. Зато было прохладно, отчего дышалось всей грудью легко, с удовольствием. Может быть, поэтому, несмотря на всё вспоминающийся непростой, больше озадачивающий, чем облегчающий душу разговор с Зоей, молодой месяц, взошедший сразу же после солнечного захода за левобережные сопки, пусть ещё и не разгорелся в полную силу, но уже вдохновенно радовал взор серебристым, искрящимся светом. Вот-вот в прогалах между туч должны были появиться и первые звёзды, горящие не менее красиво, чем ночное светило. Однако и без них, таких далёких, но казавшихся настолько близкими, что вскинутой рукой можно было достать до них, даже с наступлением осенней, безвидной темноты, благодаря умелым стараниям городской дорожной службы почти на всех столбах, стоящих вдоль основных улиц, как по линейке, уже зажжённые фонари словно обращали город в праздничную новогоднюю ёлку..

Дверь Анатолию Петровичу открыла Анна, та самая, которая по телефонному голосу предпочла его Геннадия. За прошедшее с тех пор время она ничуть не изменилась, — выглядела молодо, свежо. Хотя родила сына, сумела сохранить стройность гибкой фигуры, высокую, полную грудь. Её светло-карие, по-азиатски миндалевидные глаза, лучисто горели доверчивостью и добротой. Тёмные волосы, собранные в узел и заколотые на затылке, отливали чистотой и нежно пахли хорошими духами.

— Наконец-то явился! — весело воскликнула она. — А я уже начала с сожалением думать, что ты сегодня не придёшь!словно, как твой закадычный друг детства, по какой-то очень уж важной, вдруг возникшей проблеме заночуешь, где ночь-разлучница застанет!

— А вот и в этот раз не угадала! — сняв куртку и повесив её на самодельную, деревянную, с полочкой для головных уборов, вешалку, прикреплённую мощными шурупами прямо за входной дверью на коридорной стене, не менее весело ответил Анатолий Петрович.

И, не дожидаясь приглашения, на правах старого друга семьи Егоровых, прошёл по узкому, но ярко освещённому коридору на кухню. Она была квадратной, с кирпичной печкой, обогревающей квартиру до проведения центрального водяного отопления, и теперь неоправданно занимавшей своё место. Единственное окно, занавешенное и на ночь закрытое плотными шторами, выходило во внутренний двор, где в начале службы,

окончив трёхмесячные курсы кинолога, Геннадий в глухом сарае содержал служебную немецкую овчарку по кличке Верный, рослую, чёрной масти, с саблеобразным хвостом, с высокими, стоячими ушами. Как коридор, стены кухни снизу, по всему периметру, на высоту полтора метра были окрашены светло-синей краской. Лишь маленький кусочек над столом украшала матово-белая облицовочная плитка. С побеленного потолка, горя всеми тремя лампочками, свисала люстра. На столе, застеленном клетчатой клеёнкой, стояла тарелка с салатом, а в низкой вазе лежали ровные ломтики серого хлеба. Сев спиной к окну на стул с слегка выгнутой назад спинкой, Анатолий Петрович удивлённо спросил:

— Так Геннадий в самом деле сегодня не придёт домой?! Ведь сам приглашал в гости, на что я с великим удовольствием согласился!

— А кто его знает!.. — неопределённо, даже несколько раздражённо ответила Анна. — Как любимая служба позволит! Вернее...

И словно споткнувшись о высокий пень, враз замолчала.

Анатолий Петрович хорошо понимал — почему, но тем не менее позволил себе выдержать небольшую паузу, словно упрямо надеясь, что хозяйка сама договорит всё, что так сильно тревожит её хрупкую, добрую душу последнее время, участливо произнёс:

— Что замолчала? Выкладывай до конца всё, раз уж начала!..

— И верно! — вновь, только более взволнованно, нервно комкая в руках столовую белую салфетку, заговорила Анна, — Нет никакого смысла таиться в том, о чём город и так прекрасно знает! А именно — о всех любовных, точнее, распутных похождениях моего мужа!

— Но почему же тогда ты до сих пор ведёшь себя на людях да, думаю, и дома так, словно ничего не знаешь, и знать не хочешь?!

— Да потому, что если я стану всерьёз и сполна обращать внимание на поведение твоего друга, как требует моё женское достоинство, моя поправная честь, то останется только один выход — это немедленно развестись! А я, представляешь, хотя и выгляжу в глазах знакомых и близких людей самой настоящей дурой, не хочу, чтобы мой единственный сын рос без отцовского догляда! Как хочешь понимай моё упрямство, но, повторяю, не хочу — и всё! — И, словно опустошив душу до самого дна, опять смолкла, но буквально через несколько секунд уже почти спокойно произнесла: — Ладно, хватит из пустого да в порожнее переливать, ведь сам не хуже других знаешь, что горбатого только могила исправит! — и немного грустно помолчав, будто проведя жирную черту под случайно возникшим разговором, резко, но вместе с тем и как бы примирительно произнесла: — Присаживайся поближе к столу, — ужинать давно пора!

Анатолий Петрович молча подчинился, взял вилку и стал с аппетитом, ибо с утра во рту маковой росинки не было, поедать салат с такой жадностью, что за ушами трещало, и по-армейски быстро управившись с ним, принялся за второе, состоящее из жареной котлеты и вкусного картофельного пюре. Но, несмотря на это, из головы все никак не выходило откровенное признание Анны, — и он напряжённо думал: “Я, считай, все последние годы только и знаю, что гонюсь за своим счастьем, а она и не думает делать этого! Сдалась? Нет! Просто иначе жить в сложившейся семейной ситуации не видит никакого смысла. И честно говоря, правильно поступает, ибо, не став счастливой в замужестве, поставила жизнь, словно в карточной игре, на горячо любимого сына! Постой, постой! — если я не только оправдываю её, но ещё и, что ни говори, превозношу, то в таком случае — кто же я сам? Да-да, я, тот самый целеустремлённый человек, который в жадных поисках единственной любви, с огневой страстью сжигающей дотла душу, пока не встретил Марию, всё никак не мог остановиться, смирившись с судьбой, упрямо не идущей мне навстречу! Даже ради сына, которого так люблю, не остался в семье — и теперь, того и гляди, что оправданные опасения Зинаиды в отношении его воспитания начнут сбываться, — он, моя родная кровинка, в самом деле вырастет балбесом!”

Собственный вопрос о себе, прежде всего, как о человеке, оказался для Анатолия Петровича неожиданным, с такой болью сжал его отцовское сердце, что он растерянно посмотрел по сторонам, но, поймав тревожный взгляд Анны, всё же нашёл силы мысленно ответить сам себе: “Да никто иной, как самый настоящий негодяй! И сколько бы я доброго, полезного для попавших в беду людей ни делал, никогда не смогу заслужить даже их самого малейшего прощения!..” После вынесения себе такого строгого приговора вдруг захотелось выпить, чего прежде с ним никогда не случалось. И он тотчас хрипло, сдавленно спросил:

— Анна, извини, водка есть?!

— Что ты сказал! — словно не расслышав гостя, удивлённо промолвила та, открывая белую дверцу подвесного посудного шкафчика, чтобы достать блюдце с кружкой для свежезаваренного грузинского чая.



— Ничего особенного — водки хочу!  
— Да ты ведь даже её запаха не переносишь!  
— Точно! Но сейчас, если она, проклятая, тобой припасена на всякий пожарный случай, то налей, да не в напёрсточную рюмку, а в стакан, который побольше! — и чтобы избежать лишних вопросов, откровенно добавил: — Знаешь, внезапно на душе что-то больно уж муторно стало, ну прямо, хоть загнанным в пятый угол волком вой!..

— И всё-таки ты, Анатолий, что-то недоговариваешь!.. Душой это чувствую, а её, как смерть, не обманешь! Впрочем, поступай, как считаешь нужным... Но коли в самом деле очень уж захотел выпить, — выпей! Хотя должен знать, что настоящее горе никаким спиртом не зальёшь!

— Что верно, то верно! Значит...

— Значит! — перебила Анна. — В этот раз обойдётся чаем! Или настолько духом ослаб, что не можешь противостоять по-мужски твёрдо, решительно жизненному напору, каким бы он сильным ни был?!

Анатолию Петровичу при этих словах, задевающих его волю, которую, как ему казалось, удалось благодаря именно в борьбе с судьбой выковать настолько крепко, что если бы можно было ударить по ней, как по закаленной стали, то она непременно б гулко зазвенела, стало неловко. Но он, лишь глубоко, как перед погружением в воду, вздохнув, ответил:

— Поверь, мне и сейчас самообладания не занимать! Так что пои гостя чаем! Тем более, — насколько помню, очень уж вкусным он у тебя получается! Ну прямо, как у моей дорогой матери!

— Вот и хорошо! — одобряюще промолвила Анна.

И поставила на стол белую фарфоровую чашку с блюдцем, украшенным по краям ярко-красной полоской. От налитого горячего напитка с вьющимся лёгким дымком исходил приятный запах чабреца. Вдохнув его и сделав осторожный небольшой глоток, Анатолий Петрович от удовольствия прикрыл глаза: “Чай — просто прелесть!” И, словно вспомнил что-то очень уж важное, вдруг спросил:

— А что-то Андрея не видно и не слышно? Где он? Неужели ты успела до моего прихода уложить его в постель, лишив тем самым меня радости посмотреть, как он подрос... Слово ласковое ему сказать?!

— Я сына отправила погостить у родителей. Пусть у них на даче прямо с грядок на всю зиму наберётся овощных витаминов!

— Это сколько же ему годков набежало?

— Да уже шесть! На следующий год в школу пойдёт! А вообще он у меня молодец: такой подвижный, словно юла! При этом ещё и смыслённый — довольно бойко читает букварь и считает до ста!

— Вот умница!.. — отпив немного чая, Анатолий Петрович с сердечной радостью похвалил Андрея, и, смотря Анне в глаза, блеснувшие довольным, даже горделивым огоньком, воздал должное и ей: — А тебя от всей души поздравляю! Не каждая мать при такой работе, как у тебя, найдёт столько времени, чтобы заниматься со своим ребёнком! Кстати, а что это ты с телеграфа ушла да ещё — в токари! С трудом представляю тебя, такую хрупкую, симпатичную, управляющуюся с огромным станком...

— Да ещё и одетую в грубую брючную спецовку! — не дав договорить до конца, не без вызова сказала Анна. — Только о причине смены работы ты лучше у своего друга юности спроси! Так справедливой будет!..

— У Геннадия?

— Вот именно! У кого же ещё!

— Так я спрашивал! — простодушно признался Анатолий Петрович.

— И что же он тебе ответил?

— Что сам удивлён твоим скоропалительным решением!

— Да-а! — растянуто промолвила Анна! — Впрочем, ничего другого от человека, вконец опустошившего свою душу бесконечными любовными, верней, похотливыми интрижками, и не стоит ожидать! Так знай — с телеграфа я ушла вынужденно, не захотела терпеть рядом с собой молодую особу, с которой мой чуткий — в кавычках! — мужёнок, как выяснилось, ещё до нашей с ним совместной жизни шуры-муры крутил!

“Что можно сказать униженной женщине? — печально подумал Анатолий Петрович. — Осудить старого друга, конечно, не мешало бы, нет, даже надо! Но не предательски — за спиной, а по-мужски — в глаза! Тем более, что он не нашёл в себе силы до конца оставаться честным и передо мной, как-никак своим товарищем! Но почему?! Или Анна права, сказав, что Геннадий себя потерял. Если это так, значит...”

И тут Анатолия Петровича, как обухом по голове ударили — и в ней вспыхнула самая что ни на есть неожиданная до невозможности мысль: “Скорей всего, он специально

в этот раз не придёт домой, чтобы в случае, если я останусь ночевать с его женой в одной квартире, получить право обвинить её саму в неверности! Чуть какая-то несусветная! Но всё равно ради и без того пострадавшей женщины, прекрасной матери надо, чтобы, не обидеть её, срочно найти какую-нибудь важную причину для ухода — и как можно скорее это сделать! А впрочем, что огород городить, — просто скажу, что мне край необходимо ещё навестить жену больного брата. Пусть солгу, но ведь оправданно, хотя свыше наказуема любая сделка с совестью! И всё же другого, более правильного выхода из, возможно, надуманной мной сгоряча ситуации, не вижу!”

Поставив чашку, которую, выпив до дна, он во время своего воспалённого размышления продолжал держать в повисшей в воздухе руке, Анатолий Петрович, невольно избегая встречи со взглядом Анны, вдруг, вроде ни с того, ни с сего, громко произнёс:

— Слушай, надо же было так случиться, что я, соломенная голова, совсем забыл заглянуть к жене брата, Зое, хотя бы словами поддержать её, сама знаешь в каком несчастье! Поэтому, пусть на ночь глядя, но я должен уходить. Не обижайся! Следующий раз обязательно, как прежде не раз случалось, с удовольствием заночую! Ведь нам, можно сказать, родственным душам, всегда есть о чём всерьёз поговорить!

И, поцеловав в щёку Анну, слегка ошеломлённую его быстрой переменой настроения, надел куртку и вышел на улицу. К этому времени воздух настолько похолодал, что, резко пахнув в лицо, заставил съёжиться, по телу пробежала остудная дрожь. Тотчас подумалось: “Не успеешь оглянуться, как знаменитые якутские, самые жестокие в мире холода на одном из ранних рассветов ударят во всю свою страшную мощь, нещадно сковывая реки, до такой степени леденя деревья, что они перестанут до самой весны расти, не умрут, нет, а, как медведи в своих, устроенных в самых укромных, глухих таёжных местах, хвойных берлогах, погрузятся в многомесячный сон. Всю землю покроет метровой снег, по которому иначе, чем на лыжах, передвигаться долго никаких сил не хватит. Но не он в помощь морозам усложнит до мучений всякую земную жизнь, а без устали днём и ночью на протяжении многих недель дующие с пронзительным свистом и утробным воем метели да так называемый хиус, буквально вгрызающийся, как хищный зверь клыками, в лицо, от чего кажется, что вот-вот вслед за обмороженной кожей хлынет кровь! Только, мне рождённому и выросшему на этой суровой земле, если осталось к чему привыкать, так это к ударам судьбы, которые с моим горячим, порой и неоправданно вспыльчивым характером будут лишь усиливаться! Ну и ладно!.. Или не я минувшей зимой, не угнетённый, а страсть как вдохновленный написал:

*Этот снег... он — растает, растает,  
и о нём я не буду жалеть.  
Но другой лебединою стаей  
Упадёт на промёрзлую твердь.*

*Подоспеют морозы, ударят,  
словно в колокол, в снежную грудь,  
в клубках дыма и вязкого пара  
обозначится утренний путь.*

*Здравствуй, здравствуй, зима молодая!  
Я тебе каждой клеточкой рад!  
Пусть метели до самого мая,  
мне лицо обжигая, звенят.*

*И морозы, что кровельной жестью  
пусть над сердцем грохочут вовсю.  
Но в заре, как в любимой невесте,  
разгляжу я и свет, и красу...*

*Здесь морозы украсят оконце,  
там лисы хвост огнём промелькнет,  
ну а главное — чистое солнце —  
вновь от стужи бодрее встанет...*

Я, конечно! Вот и молодец! Но куда же, в какое прозаическое место мне направить свои стопы, чтобы переночевать? Думай, не думай, — в гостиницу!”

И, запахнув плотнее куртку, втянув шею так, что подбородок уткнулся твёрдо в грудь, Анатолий Петрович с места рванул настолько ходко, что уже через минуту

почувствовал, как сильно, словно причальные канаты в штормовую погоду, загудели ноги, жаром наполнилась кровь, сердце энергично застучало — и недавняя остудная дрожь напрочь сгинула в холодном огромном пространстве приближающейся ночи. Гостиница находилась на самом берегу Лены. Быстрой ходьбы до неё было не больше пятнадцати минут. Пройдя через несколько улиц, в том числе и центральную — имени Ленина, с редкими прохожими да с одинокими автомашинами, Анатолий Петрович вышел на берег, но прежде чем повернуть направо, к уже видному, как на ладони, пятиэтажному гостеприимному зданию, с весело горящими окнами всех своих пяти этажей, он невольно остановился — настолько ярко и насыщено на почти невидимой в густой темноте Лене текла речная жизнь!

У причальных стенок, освещённых бело-золотыми, расходившимися лучами мощных прожекторов, стояли под разгрузкой большие самоходные суда и баржи. Высокие, издала схожие с огромными цаплями, портовые краны на стальных, широких опорах, с длинными стрелами, под зычные команды бригадиров грузчиков: “Вира!” и “Майна!” — выгружали из объёмных трюмов разных размеров контейнеры, ящики, в которых находились разное техническое оборудование, строительные материалы, транспортные средства, а также деревянные поддоны с цементом — всё позарез необходимое для добычи алмазов и устройства житейского быта рабочего да конторского люда за Полярным кругом, где, согласно гулявшей среди северного народа пословице, “десять месяцев зима, остальное — лето!..” По мере разгрузки суда и баржи, поднимаясь из воды, чуть ли не на глазах становились все выше и выше. И их тотчас портовыми небольшими, но очень мощными буксирами, попыхивающими из труб чёрным дымом, отводили от причала. На смену им пришвартовывали другие, простоявшие на якоре в ожидание своей очереди сутки, а может, и двое, — так много их скопилось на речном рейде. С верхних палуб, освещённых судовым светом, над рекой волнами разливалась весёлая музыка, резко перекрывая её, через рупора то и дело отдавались капитанские команды. Выполняя их, матросы спешно занимали свои посты и умело делали привычную работу. На самом бетонном пирсе, едва освобождалось место под длинными крановыми стрелами, как его тотчас занимала другая автомашина с прицепом или контейнеровоз, чтобы загрузиться и отправиться в дальний северный рейс.

Анатолий Петрович прежде, только днём, не раз и без особых эмоций наблюдал за работой речников, но теперь порт, выплывший из темноты, словно ярко освещенный айсберг, казался каким-то невиданным, фантастическим миром, где люди, механизмы, машины — всё работало настолько ритмично, размеренно, согласованно, — с полезным коэффициентом не менее восьмидесяти процентов, тогда как в сельском хозяйстве района этот показатель был в два раза меньше, — треволения прошедшего дня с души разом как рукой сняло! От восторга захватывало дух и невольно потянулось думать: “Вот где надо учиться и учиться организации всего производственного процесса!.. Я очень хочу этого! И значит, с умом, с творческим подходом наиболее стоящее из увиденного внедрю в своём совхозе! Слово себе даю — внедрю!” Вдруг по глазам резко резанули лучи ярко горящих фар какой-то вынырнувшей из проулка машины, на миг другой ослепили, но когда, взхлёб урча двигателем, она проехала мимо, то стало ясно, что это милицейский патруль. Тотчас вопросительно подумалось: “Интересно, пришёл ли Геннадий домой?”

Хотелось как можно быстрее отмахнуться от этой вроде бы совсем простой мысли, но, к сожалению, не получалось, хотя Анатолий Петрович вновь стал пристально наблюдать за удивительно чёткой работой речного порта. Более того — следом потекли другие, глубокие рассуждения: “И всё-таки, что ни говори в своё оправдание об уходе, верней, бегстве из дома Геннадия, я поступил опрометчиво, можно сказать, будто какой-то пятнадцатилетний пацан! Ведь если в чём-то нехорошем, подлом подозреваю друга, то надо, не откладывая, проверить — прав ли я... Или впрямь стало очень тревожно за Анну?.. Но ведь она не из тех, чтобы неправому позволить нагло, а главное — безответно обидеть правого, то есть себя! Нет, пока ещё не совсем поздно, надо вернуться, надо!”

И бросив ещё один взгляд на реку, с которой сильно тянуло пронизывающей насквозь сыростью и прохладой, прежде из-за охватившего душу восторга не замечаемыми, Анатолий Петрович пошёл обратно. Быстрые шаги теперь уже на совершенно пустой улице, погружившейся в тишину, как обитатели её домов в сон, гулко раздавались и, должно быть, слышались далеко, ибо впереди из дворов то и дело незлобливо, скорее от страха, чем от смелости, лаяли собаки.

Открыв входную дверь, Анна, лишь в наспех накинутом байковом халате, в тапочках на босу ногу, внезапно побледнела:

— Анатолий! Это ты! Вернулся! Что-нибудь непредвиденное стряслось?!

— Да всё нормально, нормально! — успокаивающе произнёс Анатолий Петрович. — Просто Зоя осталась у Николая в больнице! Мне подумалось, что же это я буду обживать казённую гостиницу, когда квартира друга — мой второй дом, и как говорят моряки, верный причал!

— Ну проходи скорей, полуночный моряк — с печки бряк! — плотнее запахивая незастёгнутый халат, тепло сказала Анна.

— Геннадий так и не пришёл?! — не теряя надежды, что ошибётся, быстро спросил Анатолий Петрович.

— Не пришёл, иначе сам бы друга встретил! А ты не стой, проходи в гостиную, раскладывай диван, стели постель, она, как всегда, на своём месте, — в бельевом шкафу! А я, извини, с твоего позволения попробую снова поскорей заснуть — завтра, как назло, в первую смену работаю!

— Хорошо, Аня, хорошо! Спокойной ночи!

— Приятных снов!

Оставшись один, Анатолий Петрович хотел включить телевизор, стоящий в дальнем углу, рядом с широким окном, выходящим на улицу и на ночь плотно задёрнутым тёмно-синими шторами, но передумал... Оглядев довольно просторную гостевую комнату, с высокими потолком, с которого свисала пятирожковая хрустальная люстра, подумал: “Это сколько же ночей я провел здесь, по дороге из Мирного в Нью-Йорк и обратно, — вынужденный в ожидании рейсового автобуса останавливаться в Ленске? Пожалуй, точно и не вспомню!” Чувствуя, что не уснёт и в этот раз, подошёл к стоящему рядом с дверью книжному шкафу, отворил застеклённую дверцу и наугад взял с полки первую же попавшуюся книгу в красном переплёте. Это был роман Гюстава Флобера “Воспитание чувств”. Он уже читал его, как и другое произведение великого французского классика “Госпожа Бовари”. Но почему-то захотелось вновь погрузиться в описание жизни молодого человека Фредерика, тем более — первое знакомство с литературным героем было так давно, что многое позабылось... Тем не менее казалось, что именно сюжет этого романа созвучен сегодняшнему состоянию собственной душе.

И Анатолий Петрович, включив настольную лампу, поудобней сел в кресло и погрузился в чтение. Но чем больше он как бы заново узнавал жизнь главного героя, тем сильнее внутренне возмущался, недовольно сдвигая к самой переносице брови. А дочитав до конца, даже позволил про себя осуждающе и гневно подумать: “Не пойму, чем таким существенным роман мог в юности тронуть моё сердце, зажечь душу?! Неужели в то время я был настолько романтичен, даже легкомыслен, что за многочисленными сюжетными деталями, монологами, надо заметить, мастерски выписанными, не смог понять сути Фредерика, самого настоящего прожигателя жизни?! Это же чудовищно — в весьма и весьма длительный период времени, как правило, для настоящих мужчин являющийся самым деятельным, самым щедрым на благородные, возвышенные поступки, с глубокой тоской вспоминая встречи с доступными девицами, откровенно признаться другу Делорье: “Это лучшее, что было у нас в жизни!” Однако нет худа без добра, ибо этот чисто салонный роман “Воспитание чувств” хотя и не дал лично мне ответ на вопрос, читающийся в заглавии, но точно привёл к неотвратимому выводу, что жить так, как это делал Фредерик и его близкое окружение, противно, нет, даже преступно!.. А то, что я и в этом случае ещё раз утвердился в своём понимании жизни, как возможности, ниспосланной мне свыше, доказать, что я вырос исключительно для жизнеутверждающих поступков и вдохновляющих на их свершения верных слов, стоило пожертвовать ночным отдыхом. Да-да, стоило!”

Анатолий Петрович, чтобы расслабить затекшие от длительного сидения мышцы, несколько раз до хруста в суставах потянувшись, глубоко вдохнул и с силой выдохнул... Проворно встав, поставил книгу на место и взглянул на часы, — они показывали без четверти шесть... “Не мешало хотя бы немного полежать...” — подумал он и, не раздвинув диван, а лишь положив на него подушку, как был в рубашке и в брюках, так и лёг, привычно закинув руки за голову, без какой-либо надежды уснуть. Однако почти сутки, проведённые на ногах, да длительное чтение дали о себе знать — и едва он сомкнул веки, как тотчас провалился в сон. Проснулся, почувствовав, что его кто-то толкнул в плечо... Открыв глаза, Анатолий Петрович от яркого света включённой люстры подслеповато прищурился — и увидел склонённое к нему осунувшееся лицо Геннадия. Он был одет в служебную форму, только почему-то сильно помятую и в грязевых, влажных пятнах. На кожаном широком офицерском ремне висела кожаная кобура с пистолетом. Блеснув стёклами очков, он резко выпрямился и по-армейски, только шутя, хотя и достаточно громко командовал: “Рота! Рота! Секунд на подъём!.. Подъём!”

— Да не кричи так, командир хренов! Анну разбудишь!

— Ты зенки-то протри! Время-то уже знаешь сколько?!

— Сколько?

— Почти девять часов, засоня! А моя благоверная уже час, как за своим токарным станком болты да гайки вытачивает!.. Но завтрак моему другу приготовила! На столе стоит! Тебя дожидается!

Анатолий Петрович, сильно потянувшись руками, распрямился, сел и, глядя Геннадию в глаза, с нескрываемым укором спросил:

— А ты где болтался, ведь сам пригласил у себя дома переночевать?! Или опять на сторону заглядывал?! Говори, как на духу!

— Нет проблем! Может быть, в другой раз так и сделаю! Но сам должен прекрасно понимать, что службу нести — не в бирюльки играть! Знаешь, порой и на нож можно напороться, и на пулю-дуру налететь!..

— Поконкретнее слабо сказать, что в самом деле случилось? — угрюмо продолжал допытывался Анатолий Петрович.

— Могу! Из следственного изолятора один очень опасный преступник, вор-рецидивист, каким-то чудом сбежал! Вот до самого утра поганца всем районным отделением и искали, только безрезультатно!..

— А звонком предупредить не мог?! Я уже чёрт знает что подумал!..

— Извини! Но в тайге, по которой всю ночь только что на животе не лазил, телефонов нет! А до персональной рации ещё не дослужился!

— Ладно — проехали, товарищ хороший! — примиряюще сказал Анатолий Петрович. — Только, знаешь, что-то пока я никак не пойму, — ты, к сожалению, то ли стал в отношении меня слабоволие проявлять, то ли неискренность! А это в дружбе никуда не годится!

— Я — неискренен? Я — слабоволен? — вспыхнул Геннадий.

— А ты не кипятишься! А лучше вспомни наш вчерашний разговор в твоём участковом кабинете, а, вспомнив, без лишних эмоций, по совести проанализируй его, — и тогда, может, поймёшь, что я прав, если, конечно, в твоём понимании настоящей мужской дружбы прицел не сбился!..

### 37

Подойдя ровно в десять часам утра к зданию районного отдела милиции, Анатолий Петрович ещё раз не столько тревожно, сколько умоляюще-просительно, словно обращался к Богу за пониманием, посмотрел на свинцовое, хмурое, словно сердитый человек, недовольно насушившееся низкое небо... Да иначе и быть не могло, поскольку, как ни одолевали беспокойные думы о встрече с Зайцевым, другие — по высшему счёту деловые, были сокровенно исполнены заботой об уборке урожая. Пусть дождь так и не полил, но тучи за ночь стали намного грузнее и мрачнее, чем были минувшим вечером. Это говорило, что в любой момент они могли зараз пролиться, словно через бреши, проделанные громовыми ударами, на землю обильными водяными потоками или, по крайней мере, засеять частыми, мелкими, словно пропущенными через сито, прохладными каплями, из-за почти полного безветрия способными обратиться в обложной, значит — долго не проходящий дождь.

На сколько бы времени ни оставалось копки картофеля, — на день или даже на полдня, продолжить её дальше будет, ох, как непросто! Хотя бы потому, что люди, уставшие за тяжёлую, не менее чем десятичасовую ежедневную работу без выходных, переживая непогоду, от безделья ещё больше притомятся — и для того, чтобы вдохновить их по новой на самоотверженный труд, уйдёт немало времени и административных сил. Вот и может запросто получиться так, что, еще не убрав до конца картофель, придётся уже приступить к рубке капусты! А какими рабочими силами — ещё надо будет хорошо подумать... Тяжело вздохнув, словно ныряя в холодный речной омут, Анатолий Петрович всё же вошёл в здание районного отделения милиции не с опущенной головой.

Но удачно — Зайцев, как и говорил вчера дежурный, оказался на месте — в том же самом тесном кабинете, с теми же грязными, с серыми подтёками, стёклами единственного окна и сидящим за тем же обшарпанным столом. А вот одет он был гораздо теплее: в пиджак коричневого цвета поверх хлопковой рубашки, застёгнутые манжеты которой выглядывали из просторных рукавов, и в шерстяные чёрные брюки. Справа от дверей на вешалке с тремя металлическими крюками, прикреплённой к давно не белёной стене, с паутиной пыльной сетью в сумрачном углу, висел брезентовый, форменный синий дождевик и такого же цвета шляпа, не полученная по служебному положению, а купленная в вещевом магазине на личные следовательские деньги, прижатая в середине, с круглыми небольшими полями, немного загнутыми вверх.

Неожиданное появление Анатолия Петровича, да ещё без предупредительного стука, Зайцева несколько не смутило. Он лишь, профессионально быстро переключаясь с какой-то служебной мысли, секунду-другую вопросительно посмотрел на него, — да и воскликнул:

— А, молодой, подающий большие надежды директор!.. Так о вас в райкоме говорят? — смутно спросил, но не дождавшись ответа, продолжил: — Теперь-то я о вас в полной мере сведения собрал!.. — И первым поздоровался. Услышав в ответ бодрое приветствие, как-то озадаченно посмотрел в глаза подозреваемого, но спокойно, даже слишком, пригласил: — А вы не стойте, разговор будет не простой и, думаю, долгий, — присаживайтесь поудобней на уже знакомый вам колченогий диванчик. Не зря же в народе говорят, что в ногах правды нет. Между прочим, я на завтрашнее утро планировал вас вызывать, ну раз сами решили приехать на допрос, то мне и хлопот меньше!

И замолчал... Ему явно надо было собраться с мыслями, чтобы как можно твёрже приступить к допросу. Наконец он вынул из пухлой папки какой-то документ, отпечатанный на одном листе, и, решительно протянув его допрашиваемому, строго, даже су-рово спросил:

— Эту калькуляцию кто составлял?!

Анатолий Петрович взял документ, внимательно ознакомился с ним и вместо того, чтобы обстоятельно ответить, спросил:

— А разве та же Эльза вам ничего не говорила?

— Я же предупреждал вас, что в этом кабинете вопросы задаю я!

— Извините! И всё же?!

— Вот какой упёртый! — недовольно сморщив высокий лоб, сказал Зайцев, но решил-таки сделать как бы одолжение. — Допустим, было такое дело! Но мне важно услышать именно от вас природу возникновения калькуляции, поскольку, буду откровенен до конца, непосредственно от верности ответа на мой важный вопрос в полной мере зависит, выйдете вы сегодня из этого здания милиции или нет!

По следовательским сужавшимся ледяным глазам, как у хищного зверя, готовящегося к смертельному прыжку, было видно, что их обладатель и не думал шутить, поскольку из содержания допросов всех подписавших калькуляцию ответственных сотрудников “Сельхозхимии” у него буквально вчера образовалась уверенность, что их бывший председатель самолично и составил её. Анатолию Петровичу, хотя он и почувствовал, из чего черпает силу Зайцев, от его угрозы стало настолько не по себе, — как будто на него в самом деле пахнуло сырым, спёртым, пропитанным насквозь зловониями, тяжёлым, как свинец, воздухом тюремной камеры. Но в свою очередь и в нём в полный, волевой голос заговорило природное свойство в самый тяжёлый, судьбоносный период времени, словно равнина в холм, духовно собираться в стальной кулак. И, будто нарочь забыв о грозивших ему последствиях, он снова не ответил, а стараясь казаться предельно спокойным, сказал:

— Заранее прошу извинить меня, но я всё-таки хотел бы узнать, какое отношение эта, между прочим, детально и в техническом плане грамотно составленная калькуляция имеет к переплате?!

— Спрашиваете, какое?! — быстро спросил Зайцев словно страстный охотник, в силках которого окончательно запуталась добыча, и сам же ответил: — Да самое прямое! Но чтобы не быть обвинённым в голословности, даю вам прочитать заключение комиссии со всеми необходимыми, и что главное! — неоспоримыми расчётами. Пожалуйста!..

Анатолий Петрович медленно, чуть ли не по слогам, прочитал документ аж за пять авторитетными подписями членов ревизионной комиссии — и ахнул! Дело в том, что калькуляцией была предусмотрена подноска щелевых блоков в среднем на расстояние четырёх метров, а при кладке стен гаража она составила только три! Разница в один метр в пересчёте на деньги и составила восемьсот переплаченных рублей! Но поражало не это, а то, что за несколько лет работы, сначала мастером, потом прорабом, у него, вот какая незадача! — так и не нашлось времени пересчитать её! А, как говорится, сколько верёвочке ни виться, — конец будет... И он в самом деле наступил... Увидев по лицу Анатолия Петровича, что тот при дотошном ознакомлении с заключением всё больше и больше хмурил брови, словно окончательно приходил в замешательство, Зайцев не без явного злорадства спросил:

— Ну а теперь, что скажете?! Или всё-таки признаете свою вину?!

— Конечно, нет!

— Как так! — воскликнул следователь, но тотчас понизил голос — Ладно, допустим... Но тогда потрудитесь обосновать своё заявление!

— Да без проблем, — с чувством, что будто гора с плеч свалилась, произнёс Анатолий Петрович. — Эта калькуляция — не моих рук дело! Она, как я смею предполагать,

была составлена в производственном отделе городского строительно-монтажного управления. По крайней мере, копию её мне передал когда-то работавший там старшим прорабом Виктор Дмитриевич Дурасов. А я, в связи с отсутствием в штате “Сельхозхимии” строительного специалиста, лишь дал указание главному инженеру перепечатать её и утвердить! Что и было в точности сделано!

Тут пришла очередь и Зайцеву одновременно недовольно и как-то уж больно разочарованно хмурить свои чёрные, но редкие, словно на совесть прополотые капустные грядки, брови, а когда Анатолий Петрович замолчал, то и медленно встать из-за стола, сомкнув в кольцо руки за спиной, несколько раз в глубокой задумчивости пройти взад-вперёд по кабинету. Наконец он остановился в шаге перед Анатолием Петровичем и, уже понимая, что доказательная база, с таким трудом выстроенная против него, как старая штопанная-перештопанная одежда, буквально по всем швам рвётся, зачем-то, хотя уже и с грустью, спросил:

— Значит, вы лично калькуляцию не составляли?

— А разве из моего обстоятельного объяснения это не понятно?

— В общем-то, да! Но чем вы можете подтвердить сказанное?!

— А тут и подтверждать нечего! Для того чтобы убедиться в моей порядочности, значит и правоте, — достаточно сравнить копию калькуляции, к которой вы так настойчиво апеллируете, с оригиналом!.. До строительного управления — рукой подать! Разрешите, — машина моя у крыльца стоит, — я в десять минут обернусь!

— Нет, вы уж посидите! Сделаем иначе! — резко сказал Зайцев и, выглянув в коридор, зычно крикнул: — Дежурный, зайдите ко мне!

Когда тот зашёл с несколько склонённой головой, он назвал ему номер копии калькуляции и строго попросил кого-нибудь из толковых милиционеров отправить в строительное управление сравнить её с подлинником. Это техническое действие закрепить актом и, необходимым образом его заверив, привезти ему, причём как можно скорее. Дежурный, отдав честь, отчеканил: “Слушаюсь! Будет исполнено!” и вышел, осторожно затворив за собой дверь, — этим как бы выражая уважение к высокому, республиканского уровня, представителю прокуратуры.

О чём-нибудь говорить до его возвращения не имело смысла — и Анатолий Петрович попросил Зайцева быть столь любезным, чтобы дать ему возможность ознакомиться с полным актом по всем строительным работам гаража на начало комиссионной проверки. Следовательно, то ли от предчувствия, что перед ним сидит человек, которого, с какой стороны к нему ни подходи, ну никак не запишешь в уголовно виноватые, то ли слишком уж уважительно была им высказана просьба, но, бросив скучный взгляд на папку с ревизионным актом, протянул её Анатолию Петровичу. Он нарочито медленно открыл её — толстенную, не менее пятисот страниц, — и с головой погрузился в дошное изучение всех подряд документов: справок, актов, расчётов. И, как вскоре оказалось, ну, совсем не зря! В самом конце большого раздела “Строительные работы” в качестве точных выводов из детальных подсчётов комиссии он, не веря своим глазам, удивлённо прочитал, а потом — ещё и ещё, пока окончательно не позволил себе радостно убедиться, что общая экономия при кладке стен, за минусом этой чёртовой, — будь она неладна! — переплаты, составила одна тысяча двести пятьдесят шесть рублей и девяносто семь копеек! По тем времена сумма совсем не маленькая.

И словно заново родился! Облегчённо глубоко вздохнув, устремив твёрдый взгляд на Зайцева, Анатолий Петрович в упор заявил:

— Что же это вы, уважаемый следователь, страх как занятому человеку голову морочите, а именно — отрываете меня, директора совхоза, в столь важную уборочную кампанию, без преувеличения являющуюся венцом всех летних сельскохозяйственных работ, от важных государственных дел, когда при кладке из щелевых блоков стен автомобильного гаража строители не только строго уложились в предусмотренные сметой расходы, но и даже значительно уменьшили их! То есть тем самым позволили организации сэкономить, а не растратить, как вы считаете, народные деньги!

— Подождите! Подождите! — Зайцев не дал договорить до конца молодому директору. — Из ваших слов выходит, что руководству “Сельхозхимии” ещё надо и достойную премию выплатить! Так, что ли?

— Если быть сполна честным и справедливым, то на вашем месте я лично так бы и поступил, написав соответствующее представление на имя министра сельского хозяйства республики!

— Ну, Анатолий Петрович, вы и даете!.. Во-первых, это в мои функции не входит! Во-вторых, ещё не известно, какой акт, подтверждающий идентичность копии и подлинника калькуляции, привезёт наш сотрудник, а в-третьих, факт переплаты перемещения щелевых блоков вы и сами не отрицаете! Чтоб по этому вопросу принять

окончательное решение, осталось выяснить: он возник ошибочно или преднамеренно! Так что давайте не будем впускать, так сказать, до окончательного следовательского боя, копыя ломать, наберёмся терпения, чтобы спокойно дождаться нашего сотрудничества... Думаю, он в самом скором времени подыдет!

— Пусть будет по-вашему, — смиряя пыл, с трудом согласился Анатолий Петрович. — Только я ещё раз должен заявить, что лично у меня никакой заинтересованности в наживе за счёт государства никогда не было, нет и, уверен, не будет, какую бы нужду в деньгах я, впрочем, как и все люди, не исключая и вас, порой ни испытывал!

И, замолчав, зачем-то устремил глаза в потолок — и впервые увидел, что тот в самом центре в коричнево-жёлтых разводах — следах аварии на втором этаже какой-нибудь отопительной батареи или разрыва резинового шланга, по которому вода под давлением подаётся к унитазу. От этого кабинет в его глазах стал ещё мрачнее, ещё заброшенной. Невольно не без сожаления подумалось: “Ладно — Зайцев, как говорится, прилетел — улетел, но сотрудники милиции, работающие в этом помещении постоянно, как вообще могут в таких неприглядных, неряшливых условиях заниматься ответственными делами? Хорошо — пусть и им на порядок глубоко наплевать!.. Но ведь они посетителей принимают, работают с ними... Не уважают сами себя?.. Скорей всего, так! Только вряд ли они это сами понимают! Впрочем, как известно, рыба с головы гниет! Видать, начальник районного отдела один из тех липовых хозяев, о ком обычно презрительно говорят: “Вот человек — ни своровать, ни покараулить!..”

Стоп!.. Стоп!.. А откуда хорошим руководителям взяться, если, к примеру, директора леспромхоза, уважаемого в районе человека, о честности и принципиальности которого я лично, пройдя при нём трудовой путь от плотника до старшего производителя строительных работ, знаю не понаслышке, арестовали без предварительного рассмотрения якобы имеющихся финансовых нарушений. А разве я сам, подвижимый высоким желанием послужить родному государству на пределе своих возможностей, как говорится, не жалея живота своего, от его же имени справедливо подозреваюсь в совершении уголовно наказуемого деяния?! Конечно, нет! И думать обо всём этом больно, понимать страшно, поскольку, в конце концов, с таким отношением к делу, к людям — путь один — в смуту!.. Не приведи Боже, ибо, как свидетельствует вся история страны, нет ничего ужасней русского бунта!.. Страшного и беспощадного!”

Между тем утомительные минуты — одна за другой, словно речные волны, подгоняемые вольным, разгулявшимся на речном просторе ветром, бежали и бежали! А сотрудника, посланного в строительное управление с ответственным поручением, всё не было и не было. Анатолий Петрович нервно посмотрел на часы — они показывали обеденное время. И, вскинув голову, обратился к делающему вид, что он с головой ушёл в какие-то уж очень важные следственные документы, Зайцеву:

— Извините! Но, как порой говорится, война войной, а обед — по расписанию! Тем более что у меня кишечник слабый... Ваш порученец где-то запропал — и неизвестно, когда прибудет! Поэтому, если мне не доверяете, то или пойдёте вместе в столовую подкрепить силы, — она находится буквально через дорогу! — или дайте мне конвой, что ли!

— Не положено!

— Что именно?!

— Конвой! Поскольку вы ещё не арестованы!

— В таком случае — и не положено меня задерживать! Так что, извините, я пошел... Ровно в два часа, как штык, буду!

И, провожаемый недовольным взглядом Зайцева, сознававшего своё бессилие, Анатолий Петрович решительно вышел из кабинета. Столовая, в которую он направился, представляла собой одноэтажное каменное здание, гладко оштукатуренное и покрашенное в бежевый цвет. Имело двухскатную, крытую железными листами кровлю и высокое деревянное крыльцо со ступенями на три стороны под шиферным навесом. Высокие, но узковатые окна выходили на улицу, и было видно, что за столиками уже обедыло довольно много народу. Из всех городских пищевых заведений эта столовая была знакома ему ещё с тех лет, когда Анатолий Петрович, учась в школе механизации, жил в общежитии, находившемся в пятидесяти шагах, и была облюбована им за почти домашнюю кухню — в ней можно было взять на первое не только украинский борщ или солянку, но даже и сибирские пельмени. А на второе — самые настоящие отбивные, как из свинины, так и из говядины. Свежезаваренный грузинский плиточный чай, с ароматным дымком — горячий напиток можно было пить, с удовольствием поглощая вкусную сдобную булочку, маслено блестящую запечённой корочкой. Но в этот раз Анатолий Петрович, чтобы быстро утолить голод, взял лишь готовую парную котлету с картофельным пюре и стакан густого томатного сока.



Сел за свободный, стоящий в самом углу зала, на истёртом старом паркетном полу, столик со столешницей, покрытой пластиком, и приступил к поглощению пищи. И всё же, вспомнив о своём кишечнике, стал есть не спеша, — тщательно прожёвывая каждый кусочек... За всё время обеда никто из посетителей к нему так и не подсел, — и Анатолий Петрович был очень рад этому, ибо ну совсем не хотелось, чтобы хоть кто-то нарушил и без того неровное течение его мыслей о ходе уборке картофеля, ибо слишком долго собиравшийся дождь, — вот печаль какая! — всё-таки пошёл, сначала одиночными каплями стал стекать по оконным стёклам, потом, набрав силу, монотонно забарабанил...

Едва Анатолий Петрович, как и обещал, ровно в два часа, с дождевыми серебряными густыми каплями на волосах и с их мокрыми, тёмными следами-разводами на куртке, войдя в кабинет, затворил за собой дверь. Зайцев встал из-за стола и, как бы лениво бросив удручённый взгляд на наконец-то привезённый акт, подтверждающий полное соответствие копии с подлинником злосчастной калькуляции, не то чтобы примиряюще, но без сурового нажима произнёс:

— Знаете, а мне, только что убедившемуся в правдивости вашего заявления, и в самом деле не за что предъявлять вам обвинение в сговоре с этим, как его, Сухих, в преднамеренной фальсификации важного финансового документа! Тем не менее вам необходимо заплатить свою часть в размере двести десять рублей в счёт компенсации нанесённого ущерба — и быть свободным, поскольку в таком случае, даю честное слово! — у меня к вам больше никаких вопросов не будет!

— Не скрою, я рад и благодарен вам за разбор недоразумения по совести! — сказал Анатолий Петрович, довольный заканчивающейся развязкой с переплатой. — Но с чего ради я должен из собственного кармана, поверьте, совсем не толстого, выкладывать деньги?!

— Не горячитесь! Факт переплаты за подноску блоков при возведении стен гаража вы сами признали? Или кто-то другой? Нет, сами! Так о чём же ещё может идти речь? Я, простите, вас не понимаю!

— А речь должна идти о том, что смета на строительные работы для того и составляется, чтобы не выходить за её рамки, в том числе и по оплате! В акте чёрным по белому написано об экономии в одну тысячу двести рублей. Исходя из этого, повторяю: то, что вы предлагаете мне, совершенно не имеет под собой справедливых оснований!

— Постойте! — перебил Анатолия Петровича Зайцев. — Может быть, я с вами и согласился бы, но трое ваших бывших подчинённых, — это главный инженер, главный экономист и председатель профсоюзного комитета уже внесли в кассу свои части! — увидев изумлённые глаза несостоявшегося уголовного, спросил: — Не верите?! Зря! — и, открыв ещё одну пухлую папку, показал ему приклеенные к листу три чека.

Анатолий Петрович от тяжкой досады на своих бывших подчинённых, не пожалевших, как он, до конца аргументированно отстаивать свою несомненную невиновность, в душе грубо выругался, но это было единственное, что он мог себе позволить, ибо при наличии фактов, предъявленных ему следователем, ничего не оставалось, как только разочарованно, глухо, как в воду, произнести:

— Вот дурачьё! Трусые несчастные!

А Зайцев, как коршун, на добычу, продолжал наседать:

— Ну так что — будете платить?! — и сам же и ответил: — Будете, как миленький, ведь иначе в связи с окончанием моей командировки вам придётся лететь в Якутск, чтобы уже там, в республиканской прокуратуре, вносить в кассу свою часть денег, а это, как сами прекрасно понимаете, дополнительные расходы! Или вы всё-таки ох, как богаты?!

Анатолий Петрович, хоть и прижатый к стенке слабостью или трусостью своих бывших подчинённых, скорей всего только потому, что надо было, не теряя больше ни часа, готовиться к уборке капусты, глубоко вздохнул, посмотрел осуждающе в глаза Зайцеву и сказал:

— Пусть в этот раз будет по-вашему!.. В конце концов, не с пустыми же руками вам возвращаться!.. Только мне надо хотя бы до конца рабочего дня время, чтобы у кого-нибудь занять деньги! Дадите?

— Без вопросов!..

Но вместо того, чтобы отправиться на поиски необходимой суммы, он, уже встав, вдруг вспомнил о директоре леспромхоза, сидевшем в следственном изоляторе, можно сказать, всего в каких-то нескольких шагах, только за толстыми каменными стенами соседнего здания, пристроенного к районному отделению милиции совсем недавно. И ему захотелось непременно проведать своего бывшего начальника! И Анатолий Петрович, снова сев, устремил на Зайцева вспыхнувшие, просительные глаза:

— Товарищ следователь по особо важным делам, извините, что решаюсь задерживать вас, но у меня есть большая человеческая просьба, и, думаю, выполнение её много времени не займёт да слышится не обременит!.. А заключается она в моём желании встретиться с Алексеем Сергеевичем Мережко, находящимся в изоляторе! При ваших широких властных полномочиях, уверен, это возможно вполне законным образом устроить!

Услышав просьбу, хоть и несомненно высказанную с душой, Зайцев, тем не менее, недовольно поморщился и уже хотел было наотрез отказать в ней, но вместо этого, то ли, в конце концов, проникнув уважением к молодому директору, то ли просто в нём заговорило уязвлённое самолюбие — и ему захотелось показать, кто в самом деле в этом казённом, режимном доме хозяин, для начала как бы равнодушно спросил:

— А разве Мережко вам кум, сват или друг, коль так хотите увидеться с ним?! Отвечайте, как на духу! Терпеть не могу ложь!..

— Не знаю, поймёте ли вы меня правильно, но Алексей Сергеевич тот человек, который однажды мне, как родному, поверил!..

— Только и всего?! — удивился Зайцев.

— А разве этого мало в нашей сегодняшней жизни, где всем нам так не хватает искренних, но человеческих отношений? Вы меня понимаете?

— Думаю, что да!

— В таком случае...

Не дав Анатолию Петровичу договорить, следователь потянулся к телефону и, не спеша набрав нужный номер, хмуро сказал:

— Это Зайцев, следователь! Сейчас к вам в дежурную часть зайдёт Иванов, директор совхоза “Нюйский”, думаю, далеко не безызвестный вам, необходимо проводить его к начальнику изолятора! Пусть он разрешит ему в строгом соответствии с законом встретиться с подследственным Мережко! — и, положив трубку на место, больше ни слова не говоря, глазами, вдруг ставшими страшно усталыми, будто отрешёнными от всего земного и небесного, показал на обшарпанную дверь...

## 38

Начальником изолятора оказался капитан милиции, мужчина средних лет, чернявый, с аккуратно подстриженными усиками, гладко выбритый, с застывшим, словно каменным, скуластым лицом, в форме, сидевшей на нём, как влитая. Он без лишней волокиты, даже не спросив, с какой целью директору совхоза необходимо свидание с подследственным, лишь любопытно посмотрел на него, мол, что это такой важный сотрудник аж самой республиканской прокуратуры пошёл навстречу какому-то, можно сказать, безусловно директору местного совхоза, и, выслушав его, с нетерпением, будто не имел совершенно свободного времени, коротко бросил: “Пойдёмте!” В качестве сопровождающего взял высокого, широкоплечего, светловолосого, с быстрым взглядом молодого сержанта и почему-то по узкому, длинному, слабо освещённому коридору провёл Анатолия Петровича не в приёмную комнату, а в допросную...

Она была небольшой, квадратной, почти пустой, ибо в самой середине стоял лишь старый, обшарпанный деревянный стол да две некрашенные колченогие табуретки. Шлакоблочные толстые стены во время давнего строительства почему-то так и остались неоштукатуренными — и выглядели сумрачно, даже угрожающе. Потолок из железобетонных плит был так низок, что тревожно казалось: в любой момент запросто может обрушиться — и насмерть придавить. Единственная стоваттная лампочка, вкрученная в чёрный патрон, от времени покрывшаяся плотным слоем серой пыли, свисала на электрическом проводе чуть ли не до самой прямоугольной столешницы, но не горела. Допросная освещалась лишь дневным светом, и то падавшим из устроенного на высоте человеческого роста и часто зарешеченного крепким арматурным железом окошка, своим небольшим размером очень походившего на отдушину.

Скудного света явно не хватало для полного освещения допросной комнаты, поэтому, лишь тогда, когда глаза вполне привыкли к сизому полумраку, Анатолий Петрович, не боясь, что споткнётся и упадёт, перешагнув через железный порог, прошёл к столу и сел, скрестив руки на коленях. Ещё раз оглядел одно из самых страшных в изоляторе помещение, из углов которого так и веяло таким кричащим пугающим мраком, что невольно подумалось: скольким же обвиняемым пришлось пережить здесь, виновным и невиновным, когда из них выбивались признательные показания... Сначала угрозами пришить все так называемые “висяки”, что могло бы “потянуть” и на пожизненное заключение. Если этим не достигался нужный результат, то в ход шло методичное избивание всего тела, да такое, что кровь хлестало горлом. Могли применить с помощью целлофанового пакета, надетого на голову и иезуитски плотно стянутого на

шее, самую настоящую пытку в виде удушения, лишавшего жертву возможности хоть как-то сопротивляться...

От этих диких мыслей Анатолию Петровичу вдруг вспомнилось посещение в Чехословакии средневекового замка-крепости, где рыцари по королевскому указу должны были охранять от бродячих, лесных разбойников торговые пути, ведущие в славную Прагу. Так вот устроители туристических экскурсий для извлечения больших доходов ничего другого придумать не смогли, как только в прекрасно сохранившемся тюремном подземелье при помощи манекенов и звукового оформления искусно воссоздать обстановку пребывания в камерах преступников. Не многие из туристов находили в себе силы до конца, так сказать, ознакомиться с мрачным подземельем. Однако Анатолий Петрович покинул его последним и в таком психологически угнетённом состоянии, что лишь через сутки, окончательно придя в себя, написал на одном дыхании стихи:

*Средневековый замок Локет.  
Там манекены, в раж войдя,  
злой инквизиции уроки  
устроят с ходу для тебя.*

*Вот, обвиняемый в измене,  
на дыбе дворянин распят, —  
напряжены, как струны, вены,  
суставы рук и ног трещат...*

*А здесь, закованный в колодки,  
от жажды умирает вор, —  
навек застряло слово в глотке,  
и о пощаде молит взор.*

*А чтобы с толку строгий зритель  
по-настоящему был сбит,  
из мрака громкоговоритель  
истошным голосом вопит.*

*Эффект от этого мгновений,  
для слабонервных даже лют, —  
и кровь угрюмо стынет в венах,  
и дыбом волосы — встают!*

Сильно спёртый, как в баллоне высокого давления, душный, насквозь пропитанный человеческими испарениями воздух допросной говорил, что и в ней работа следователей с обвиняемыми шла полным ходом. Сознание этого даже, на правах посетителя, оптимизма ну никак не могло прибавить, каким бесстрашием, какой бы стальной волей человек ни обладал. Наконец послышались шаги, открылась дверь и в проёме показалась сумрачная фигура с лицом то ли Мережко, то ли кого-то другого, настолько за месяц заключения он изменился! Всегда, сколько помнилось, густые чёрные волосы, гладко причёсанные, теперь, совершенно белые, как первый зимний снег, торчали клоками. Голубые глаза, сыпавшие искрами жизнелюбия, потускнели, глубоко запали и смотрели затравленно. Румянца на щеках словно сроду и не было, — и всё лицо, как плужные борозды, изрезали глубокие, рваные морщины.

С чувством кричащего сострадания Анатолий Петрович смотрел на своего бывшего директора и сокрушённо, как на похоронах родного человека, возмущённо думал: “Это как же надо так унижить человека, пусть и в самом деле виновного, чтобы он от невыносимых страданий, может быть, даже диких издевательств, из пышущего здоровьем, вошедшего в самую силу мужчины, за короткий срок превратился в глубокого старика?! Может быть, когда-нибудь я это горько пойму, осознаю, но примириться с этим в душе никогда не смогу! И хоть бейся с стоящим у дверей ладным сержантом об заклад, что никто из власть имущих за беззаконие не понесёт никакого наказания!.. Вот построили, так построили самое справедливое общество в мире, твою мать! — ну хоть от тоски зелёной затравленным волком вой! И вряд ли я скоро смогу в полной мере сполна успокоиться от доброй мысли, что когда-нибудь для работников правоохранительных органов будет делом чести находить в себе силы не только признаваться в ошибках, но и считать в порядке вещей как можно скорее исправлять их!”

Мережко, хотя сразу узнал Анатолия Петровича, всё же, с оглядкой на сержанта сев напротив, задался вопросом: “А что здесь, в изоляторе, делает мой бывший старший производитель строительных работ? Что ему от меня надо? От кого пришёл и за чем? По доброте душевной или в память наших в высшей степени деловых отношений, какие только могут быть между начальником и подчинённым?..” И может быть, как заводной, ещё спрашивал и спрашивал себя, если бы не услышал:

— Ну здравствуйте, Алексей Сергеевич!

И ему ничего не оставалось, как тоже поздороваться. С минуту помолчали, хотя каждый был предупреждён не затягивать свидание. Но вот так — с ходу, одному потрясённому до глубины души несчастным видом человека, который на жизненном изломе оказал ему судьбоносное доверие, другому после такой строгой изоляции от внешнего мира, что вот уже целый месяц не знает, что происходит с любимой семьёй, дорогой работой, как было откровенно говорить, да ещё в присутствии стража, пусть и понимающе отвернувшегося к стене? Увы, никак!

Между тем Анатолий Петрович и сам уже понял, что разговор по душам с Мережко может получиться лишь с глазу на глаз. И тотчас, повернувшись к сержанту, он тепло, как старого товарища спросил его:

— Служивый, не скажешь, как тебя зовут?

— Василием! А что?

— Да ничего особенного! — Но задал ещё один вопрос: — А ты, случайно, меня не знаешь? — и услышал утвердительный ответ:

— Как не знать, знаю! Вы же мне в прошлом году, вскоре после своего прихода на председательскую должность, когда я увольнялся из “Сельхозхимии”, где водителем баранку крутил, написали характеристику начальнику милиции! Да такую хорошую, что с тех пор здесь, в органах, и работаю!

— А я что-то об этом и запомнил! Ну это сейчас не главное! А вот, чтобы ты оставил нас наедине, необходимо позарез! Сделаешь?

— Сделать-то, конечно, можно, но как?

— Просто выйди в коридор — и всё!

— А если дежурный по изолятору или даже сам начальник меня увидит не на своём месте, то мало не покажется — и уволить запросто может! — вдруг засомневался сержант, но, подумав, всё же решил. — Лучше давайте я вас на ключ запру, а сам уйду в дежурку, там сейчас как раз из сотрудников никого не должно быть! Но через тридцать минут, секунда в секунду, вернусь, так что время зря не теряйте! Годится?!

— Ещё как, дорогой! И, знай, я перед тобой в долгу не останусь! — одновременно твёрдо и благодарно сказал Анатолий Петрович!

И едва лягнул дверной затвор, он обратился к Мережко:

— Алексей Сергеевич, вы-то за что и как в этом узилище оказались?!

— По письменному обвинению аж на имя прокурора республики какого-то одного рабочего из строительной бригады Сухих в неоднократном получении взяток в особо крупных размерах.

— Но, насколько мне известно, из руководителей взяли под стражу лишь вас одного! Что, по вашему мнению, это могло означать?

— Думаю, попал, так сказать, под горячую руку! Ведь следователь Зайцев, вдохновлённый начальством, был уверен, что уж это уголовное дело раскрутит по полной! Ну и пошёл, как угорелый, шашкой махать — и я как раз под первый удар попал, ведь от милиции до моего леспромхоза ходу пять минут. Но я никогда этого мерзкого, самовлюблённого, как напыщенный индюк, следователя, верней, мастера шить дела, не забуду! Тем более что он лично сам прямо в рабочем кабинете, на глазах испуганной, ничего не понимающей секретарши арестовав, надел на меня наручники, — и в сопровождении двух милиционеров самолично препроводил прямым ходом, можно сказать, через весь город в камеру! Вот стыда-то я натерпелся, ведь наш райцентр небольшой, в нём не только почти все люди, но и дворовые собаки друг друга знают! А этому прокурорскому особому уполномоченному хоть бы хны, ибо ведаёт, что спроси с него, как с гуся воды! Да ладно — хватит об этом! Сами не хуже меня знаете, что плетью обуха не перешибить!

— Это ещё как сказать! — спокойно возразил Анатолий Петрович и быстро — время торопило! — ещё поинтересовался:

— Надеюсь, сидите в одиночной камере?

— Куда там! В общей! С ворами-рецидивистами!

— Во как! И сильно они вас достают?

— Даже и не знаю что сказать!.. Ведь это народ ещё тот!.. Никогда не знаешь, как они к людям не их круга отнесутся! Сначала, когда я с постелью в руках вошёл в камеру,

лишь поинтересовались, кто я, по какому делу прохожу, в чём меня обвиняют. Я, конечно, всё, как есть, рассказал, да по их ухмылистым лицам понял, что они уже про мои приключения каким-то образом извещены. Больше других мое внимание обратил на себя один мужчина, лет пятидесяти, с острым пронизательным взглядом чёрных, как уголья, глаз, с редкими, коротко подстриженными седыми волосами. Он занимал нижнюю койку у противоположной стены от дверей, лучше и добротней, чем у других, застеленную. Это навело на мысль, что в камере всё подчинено его воле, то есть мне, интеллигенту до мозга костей, случилось по горемычной судьбе встретиться с самым настоящим, если выражаться тюремным языком, — паханом! Во как! Тем не менее я был озадачен его взглядом — и, как-то, устав в догадках плутать, как между трёх сосен, взял да и напрямую спросил его:

— Извините, мы с вами раньше нигде не встречались?

Он в это время, надев очки, читал какую-то книгу, видать, такую интересную, что, не отрывая от неё глаз, сухо ответил:

— С вами — нет! А вот с вашим отцом — да!

— И при каких обстоятельствах, если, конечно, это не секрет? — задал я ему на свой страх и риск ещё один вопрос.

— Хороших! Он, работая председателем колхоза, замолвил за меня доброе слово участковому, когда я, четырнадцатилетним парнишкой, по наущению цыган угнал из хозяйственной конюшни самую хорошую лошадь и продал её им, лихим представителям этого кочующего по деревням, долам и всеям нашей необъятной отчизны весёлого народа. Я добро помню! И тебя в память об твоём отце в обиду не дам! — и, обращаясь к своим товарищам, спросил: — Дело я молвлю?! — Об этом и говорить нечего! — дружно, как по команде, ответили они.

Но недавно его после суда этапировали в какую-то колонию. И во многом моё положение ухудшилось... Вот, к примеру, буквально вчера мои сокамерники, заварив крутой чифир из плиточного грузинского чая, стали в карты резаться! И не на дурака, а на интерес... Один из них, самый дерзкий, вспыльчивый, здоровенный такой детина с немереной силой в пудовых кулачищах, проигрался в пух! Можно сказать, что в одних трусах остался! И думаешь, что он сделал?! Вскочив, подбежал ко мне, бесцеремонно толкнул ногой в плечо и вскричал: “Снимай пиджак! Он тебе всё равно на зоне не пригодится! Время подходит к зиме, значит, сразу, как пригонят по этапу в лагерь, фуфайку с номерком выдадут, — и заговорщически посмотрев на своих дружков, издевательски рассмеялся, — и кирку с ломом да лопатой. Будешь, падла, своё коммунистическое счастье строить!” Я возмутился, мол, что вы себе позволяете! Так он тотчас вытащил из-за рукава затасканной тельняшки тонкую, как жало, заточку и, приставив мне к горлу, заорал: “Кому говорю, скидывай пиджак, или сейчас опустим тебя, как суку последнюю, а нет, то ночью, гадом буду, если не задушу!..” Тут я, чего греха таить, и сдался...

— Да, ничего не скажешь, живётся вам, Алексей Сергеевич, совсем не сладко! — выслушав горький рассказ-исповедь Мережку, проникновенно произнёс Анатолий Петрович. Тот, почувствовав участливую поддержку, торопливо, с придыханием заговорил дальше:

— Но более всего, ну прямо сил нет, как достал меня следователь Зайцев. Чуть ли не каждый день вызывает на допрос, порой длящийся несколько часов кряду, и предлагает одно и то же — добровольно начать сотрудничать со следствием.

— Это в каком смысле?

— В том, чтобы я на имя республиканского прокурора написал повинную, в которой полностью признал бы факт получения хотя бы одной взятки от Сухого! Именно так — не больше, не меньше!

— А что обещает взамен?

— В худшем случае я буду лишь условно, года на два-три осуждён, а то и вообще под какую-то якобы готовящуюся амнистию, попаду!

— И вы ему верите?!

— Конечно же, нет! Но ведь что-то делать надо! Не вечно же мне в этом узилище гнить без всякой надежды выйти на свободу!

— Согласен, надо! Но только одно — говорить правду! И стоять на ней из последних сил, а закончатся они, — на воле, а если и её не хватит, то призовите в помощь любовь к своей семье: жене, детям!

— Думаете, поможет?!

— Ещё как!.. У Зайцева никаких улик против вас нет, — это факт! Клеветническое письмо для следствия не доказательство, а всего лишь предположение!.. Его, как ни старайся, ну никаким образом к делу не пришьёшь, чтобы оно в суде не рассыпалось,

как песочный домик! Вот если бы вас взяли с поличным на месте преступления, тогда можно было уже без всяких надежд-сомнений, так сказать, сушить сухари!

Анатолий Петрович уверенно говоря, смотрел безотрывно на Мережко, в глазах которого то вспыхивали искры надежды — и тогда лицо начинало покрываться румянцем, то темнели — и он начинал тяжело вздыхать. По всему было видно, что в его душе идет борьба между тем, на что он уже почти решился, и тем поведением на допросах, от которого ни в коем случае нельзя отступить! Понимая это, Анатолий Петрович, чтобы помочь своему бывшему директору окончательно рассеять все сомнения в поисках выхода на свободу, спокойно сказал:

— Алексей Сергеевич, конечно, вам решать свою судьбу, но вспомните тридцать седьмой год, так называемую “ежовщину”, хорошенько вспомните — и поймете, что, несмотря на страшные пытки, издевательства, выдержать которые практически было почти невозможно, только те, кто не оговорил себя, подписав обвинения в чудовищных преступлениях, не были расстреляны как враги народа! Да, получили по десять лет, но не смерти, а жизни, пусть и в колымских лагерях! Даже случалось так, что многие были оправданы — и сразу вышли на свободу.

Лязгнул дверной засов. Время свидания вышло! Надо было уходить! Анатолий Петрович встал и дружески пожал руку Мережко:

— Ну держитесь!

И было уже направился на выход, как услышал:

— Слушай, что-то я в толк не возьму, зачем ты ко мне приходишь?

— А вы, Алексей Сергеевич, оставшись наедине с собой, хорошенько напрягите память — вспомните весь наш разговор, и тогда, уверен, сами поймете! — ответил Анатолий Петрович и, тепло поблагодарив сержанта за чисто человеческую услугу, быстрыми шагами, отдававшимися глухим эхом в мрачном и длинном коридоре, вышел на улицу.

На город надвигались сумерки, они еще были светло-фиолетовыми, настолько легкими, прозрачными, что заречная даль с лесистыми сопками, с низким мрачным, затянутым кучевыми тучами небом проглядывалась хорошо. Дождь, начавшийся в обед, прошёл, и теперь о нём напоминали лишь неглубокие, мутные лужи, заполнившие все дорожные выбоины, впадинки, низинки в скверах, где чижи с дроздами хотя и готовились к ночному передыху, пусть не как днём, залиvisto, но всё же звучно распевали! Не только утки и гуси сбивались на реках и озёрах в стаи, чтобы в чужих, южных, тёплых краях переждать суровую якутскую зиму, но и сороки с жёлтыми, толстыми клювами, с чёрными крыльями и серыми хвостами. А вот для чего, было непонятно! Но их противный ор, становясь всё дружнее, перекрывал в парке птичье пение.

После душевной допросной комнаты влажный воздух показался Анатолию Петровичу таким хрустально-чистым, что вдыхался и выдыхался в полную грудь глубоко, с удовольствием! И подумалось: “Как никогда не написати стоящий роман, не зная в полной мере, со всеми радостями и страданиями жизни, так и не оценить до конца свободы, не пережив в нечеловеческих условиях её лишения! Никогда! Но в любом случае как же я буду рад за Мережко, когда тот с неописуемым счастьем в душе и обновленной жаждой жизни, покинет следственный изолятор! Только пусть ему хватит сил, ума и опыта избежать все ловушки, капканы, сети, хитроумно, без какого-либо зарения совести расставленные Зайцевым, для которого по его же вине жизнь обернулась самой жестокой, никогда и никем не забываемой стороной: сажать ни в чем не повинных людей! Пусть он пока этого не понимает и, может, даже вовек не поймет, но его дети и внуки в глазах своих знакомых могут оказаться жертвами клеветы, доносов, которые их отец и дед исполнял для карьерного роста. Как будто получить повышение по службе, очередное звание нельзя, служа верно присяге, чтобы всегда можно было гордо сказать: “Честь имею!”

Пока шло следствие, Анатолий Петрович невольно с неосознанным и потому с еще больше угнетающим чувством вины не раз с досадой думал: “Первый секретарь оказал мне такое высокое доверие, положился на меня, а я оказался одним из фигурантов уголовного дела... Обидно!” И старался не попадаться ему на глаза, но сейчас он, ободренный разрешившимся не в пользу зла уголовного дела, за деньгами, которые до конца рабочего дня надо было внести в милицейскую кассу, решил идти прямо к Скоробогатому. К тому же очень хотелось как можно скорей сообщить ему, что его ставленник перед совестью и законом чист!

К счастью, первый секретарь оказался на месте. Освободившись, тотчас принял своего молодого товарища. И когда он, слегка смущаясь, с виноватой, словно вымученной улыбкой, с притухшим взглядом, переступил порог высокого кабинета, вышел к нему навстречу, за руку крепко поздоровался, уважительно пригласил сесть к столу. И с интересом, без предисловий, сразу — по-деловому, коротко спросил:

— С уборкой картофеля управился?

— Сегодня к вечеру планировал закончить, да только, боюсь, как бы не помешал затяжной дождь, что так долго собирался, и, как назло, пошел в обед, хотя совсем недавно перестал. И есть все основания надеяться, что если вновь пойдёт, то, по моим расчётам, не должен успеть промочить землю настолько, чтобы комбайны напрочь встали... Но, извините, в этот раз я к вам пришёл исключительно по личному делу!

— Какому?

— Даже не знаю, как и сказать! — явно волнуясь настолько сильно, что на лбу выступила испарина, ответил Анатолий Петрович.

— А ты не робей, говори, как есть! По пустякам, знаю, беспокоить не будешь! — ободряюще произнес первый секретарь.

И услышал буквально все, что в последний месяц приключилось с молодым директором. Это для него, настоящего руководителя, которой должен не только знать, но и понимать все, что происходит в районе, — и большое, и малое, но часто являющееся судьбоносным, — не стало неожиданной новостью. И все же он как вновь поймавший спросил:

— А что же не пришел сразу, как этот Зайцев тебя, словно рыбу какую-то, за самые жабры взял? Решил, как всегда, справиться сам со свалившейся на твою голову проблемой, пусть и в такую ответственную, можно сказать, для всего района уборочную пору?..

— Именно так!

— Ну и зря! К примеру, как только я узнал об аресте директора леспромхоза Мережко, то тотчас пригласил к себе этого, с позволения сказать, — следователя по особо важным делам, — и прямо заявил ему: “Не верю в виновность Алексея Сергеевича, ну не верю — и все!” А когда тот ответил, что он приехал не в бирюльки играть, а расследовать серьезное уголовное дело — и просил бы меня не мешать, то я ему жестко сказал: “Вот и расследуй, а не шей, как хреновая швея бракованный костюм! И еще, — крепко запомни, а лучше заруби себе на носу, что если твое дело в суде за отсутствием состава преступления развалится, то я, уж поверь, найду возможность снять с тебя погоны!..”

— Круто! — откровенно восхитился Анатолий Петрович. — Тем не менее Мережко продолжает томиться в следственном изоляторе! Всё-таки, по вашему оптимистичному разумению, когда и каким образом, наконец, закончится следовательская возня вокруг него?

— Думаю, что если не завтра, так послезавтра Зайцев все же выпустит его из следственного изолятора, якобы за недоказанность вины... Ну, не мерзавец ли он после этого?! Самый настоящий! Хоть грош, но хочет оставить в своем кошельке! — и, помолчав, заключил: — Ладно, хорошо, что хоть так закончится для твоего бывшего директора дутое дело! И потом, честно говоря, если бы я позволил посадить его, то и мне как непосредственному куратору лесной промышленности одним, даже страшным, испугом отделаться бы ну никак не получилось!

И, вдруг вспомнив, зачем зашел к нему молодой директор, которого Зайцеву, как бы он ни хотел, не удалось надолго упрятать за решетку, начальственным голосом попросил по громкой внутренней связи главного бухгалтера райкома занести ему в счет зарплаты десять тысяч рублей. Положив деньги во внутренний карман, принесенные главным бухгалтером, женщиной среднего возраста, довольно высокой, что делало ее небольшую полноту как бы и незаметной вовсе, и горячо поблагодарив за них первого секретаря, Анатолий Петрович уже хотел было раскланяться, но Скоробогатов вдруг круто повернул разговор:

— Знаешь, не знаешь, — но вчера прошло совместное заседание бюро райкома и президиума райисполкома. Так вот на нем из-за большого неурожая капусты во многих хозяйствах мы по согласованию с руководством алмазной компании приняли решение о том, что во избежание срыва обеспечения горожан этого важного, особенно в условиях нашей жестокой зимы, необходимого продукта, сколько бы ни уродилось его в твоём совхозе, сполна — до последнего кочана! — поставить на районную овощную базу. Впрочем, скорей всего, этого делать не придется, ибо рабочие коллективы практически всех городских организаций сами подчистую вырубят капусту и на своем транспорте вывезут ее, да еще и с превеликой радостью! Тебе со своими специалистами лишь остается четко организовать расстановку людей по участкам с обеспечением необходимого контроля, чтобы ни один килограмм не ушел на сторону. Поскольку для этого много ума не надо, заранее поздравляю с достойным началом директорской деятельности на сельскохозяйственной ниве!

— Значит, вы во мне не ошиблись?!

— Извини, но пока могу только искренне сказать, что неуклонно и упрямо должна верить в твои недюжинные лидерские способности, которые, будем вместе

надеяться, со временем позволят тебе вырасти в большого руководителя! Так что, дорогой человек — дерзай! — и дальше неумоимо зажигай на житейских небесах рукотворные звезды. Да и когда это делать, если не в молодые годы?!

— Спасибо за добрые слова, а то я с этим дутым уголовным делом даже и не знал, как вам на глаза показываться!

### 39

С каждым часом северный порывистый ветер, так неожиданно подувший, все крепчал и крепчал! И вот, словно пропускаемый через аэродинамическую трубу, загудел стройно, мощно! Он больше, как еще не набравшийся жизненного опыта щенок, не гонялся за отдельной тучей, а, развернув свои невидимые крылья во всю небесную ширь, отодвигал огромный дождевой фронт все дальше на юг. Но полюбоваться чистой, словно протертой влажной ветошью, синевой было невозможно, ибо осенние, ранние сумерки, быстро сгущаясь, опустились на землю. Каждый человек, попавший в ветровую власть, от протяжно и нудно гудящих проводов электролиний, от всхлипывающего хлопанья кровельного листового железа, от стонущего скрипа качающихся, облетевших до последнего листочка, деревьев, — охватывался такой глубокой тоской, что вспоминались родные, близкие и хорошо знакомые лица давно ушедших в мир иной людей. Временами даже всерьез казалось, что вокруг кроме смерти нет ничего!.. И только смутное сознание невозможности этого не позволяло отчаянью, перехватившему спазмами горло, как в самом настоящем неутешном горе, обернуться горькими рыданиями.

Из-за словно жалующегося, натужного гудения двигателя, гулко шелеста бешено вращающихся колес “уазика” Анатолий Петрович лишь по сильной, морщинистой ряби луж, выхватываемых из темноты фарами, включенными на дальний свет, мог представлять, насколько силен ветер. Это его одновременно и радовало, и настораживало, ведь вслед за старыми, так и не выплаканными до конца дождевыми тучами могли запросто, пусть через некоторый временной интервал, но все же появиться новые... Может, и еще грознее. Его душе, за час тряской дороги успевшей пережить все неслучайно-случайное, произошедшее с ним в течение последних, показавшихся слишком уж длинными, суток, так лишившее покоя и равновесия, теперь, когда о нем можно было забыть, словно о дурном сне, хотелось думать о хорошем, исполненном лучезарного света и благодатного тепла...

И, словно по воле свыше, мысли о Марии, как сухой, зернистый порошок, ярко вспыхнув в воспаленном, сильно уставшем мозгу, стали все больше и больше овладевать им, пока он в полной мере не почувствовал, как же соскучился по ней, своей милой, дорогой женщине. Пусть еще не понять: судьбе не судьбе, счастью не счастью... — тем не менее — ничего другого и желать не хочется, кроме охватившей всю душу какой-то прежде не знакомой, горящей не костром на ветру, а словно равнинная, широкая река, текущей в сердце величаво светоносной, высокой любви, казавшейся всего дороже на этом свете. Мгновенно, словно огневой всплеск пикообразной молнии, словно сами собой сложились и ярко высветились в мозгу, сокровенные стихи:

*Тоскую по твоим рукам,  
дарящим радость...  
Тоскую по твоим губам,  
улыбке, взгляду...*

*И с жаром небосвод молю:  
о, сделай милость —  
убей в душе тоску мою  
и грусть-унылость.*

*Всей верностью своей души,  
всем пылом страсти —  
и я на свете заслужил  
права на счастье.*

*И я хочу, чтобы сполна —  
из дальней дали —  
меня с надеждой у окна —  
без срока ждали...*



Но стихи, в которых Анатолий Петрович выплеснул всю душу, не сделали желание как можно скорей увидеть Марию хотя бы на чуточку слабей. И ему, хотя и понимавшему: Петр сам, торопясь домой, гонит и гонит машину на тонкой грани риска, — что можно было понять, не глядя на спидометр, а по густым брызгам, веером с резаным треском разлетающимися по обочинам дороги, заливавшим лобовое стекло, словно струи грозового ливня, из-за чего приходилось то и дело включать суматошно бегающий взад-вперед, тонкий очиститель, все-таки казалась, что машина больно уж медленно едет. Он порой в душе порывался даже сам сесть за руль, чтобы, как в недалекой юности на бешеных кольцевых автогонках, придавив педаль газа до упора, выжать из двигателя, и так работающего на высоких оборотах, скорость, на какую он только способен. Но каждый раз вовремя сдерживался, понимая, что, как бы сильно он ни соскучился по любимой жене, все же это возвращение из города — не тот исключительный случай, когда можно управлять машиной безоглядно, за пределом разумного...

И тут яркая путеводная звезда Анатолия Петровича, но, увы, благосклонная к нему исключительно в крайних случаях, когда вечный, так и остающийся на протяжении нескольких веков без единственно верного ответа, шекспировский вопрос “Быть или не быть?” неожиданно встает ребром, словно пытаясь нарочно уменьшить его пыл скорейшей встречи с любимой, заставила уже саму душу вдумчиво, не без тревоги, глупо погрузиться в стихотворную образную стихию:

*Вспоминала ли ты меня  
в час, когда поднимала тост  
и пила, судьбу не кляня,  
за сияние наших звезд?..*

*Вспоминала ли ты меня,  
встав смурной, в тяжелом жару,  
когда солнце шары огня  
уж раскатывало по двору?*

*Вспоминала ли ты меня  
поздно вечером, перед сном,  
чтобы звезды, к себе маня,  
охраняли твой сон и дом?..*

*Вспоминала ли ты меня,  
принимая с тоской гостей,  
что ввалились средь бела дня  
с целым ворохом новостей?*

*Вспоминала ли ты меня,  
вспоминала ли? Говори!  
Но лишь ветер летит, звеня,  
и в лесу свистят снегири...*

Но вот душа, отпылав, словно листовое осеннее пламя, замолчала — и Анатолию Петровичу впервые за долгие последние десять лет всерьез подумалось, что жизнь несколько месяцев назад сделала такой крутой, такой стремительный, как соколиный взлет, поворот, так вдохновенно повлекла его за собой в водоворот высоких чувств и ярких событий, где, видимо, без поэзии, этого одного из немеркнущих светов любви, выстоять ну никак невозможно... И всё-таки к чему это приведет — к новому горькому разочарованию или, наконец, к восхитительному счастью реализации сполна своего писательского таланта, как и прежде, — оставалось только мучительно гадать. А может быть, все же на этом суетном свете счастливо выживать выпадет не в стихах, а в любви — не зря же она с такой силой охватила мою душу? О, как бы знать!

Наконец из-за крутого поворота выехали на плотину, возведенную на месте давно снесенной, старой мельницы. С нее, огромной, довольно-таки сильно возвышающейся над местностью, были хорошо видны в вечерней, густой синеве золотисто-серебряные, переливающиеся, как новогодняя гирлянда, многочисленные огни поселка. Машина, проехав еще с полкилометра, свернула с трассы на грунтовую проселочную дорогу, а еще метров через двести с крутолобого взгорка нырнула в небольшую лощину, поросшую густым, молодым сосняком — и вот он, ставший родным, еще один дом... Во всех комнатах горел яркий свет. Окно в кухне почему-то Мария не зашторила — и сквозь прозрачную, легкую, иссиня-белую тюль было хорошо видно, что в кухне она находилась не одна, — еще какая-то женщина сидела за обеденным столом.

— Анатолий Петрович! — произнёс Пётр. — Вы в городе с радостью сказали, что уборку картофеля в совхозе закончили!

— Да! Об этом мне сообщила Кокорышкина, когда я из приемной первого секретаря райкома ей позвонил! А в чем дело?

— Хочу у вас до начала массовой рубки капусты попросить несколько отгульных, а то жена своим ворчанием прямо поедом ест! Даже стала требовать, чтобы я вернулся на грузовую машину, мол, и денег больше буду домой приносить, и сын вконец не забудет, кто же у него отец...

— Значит, так и не примирилась с твоим-моим бешеным графиком работы?! Что ж — она и в самом деле по-своему права! Не зря в народе говорят: “Телеге нужна смазка, а женщине — ласка!..” Отгулы даю, только, чтобы завтра тебя не тревожить, перед тем как пойдешь домой, еще съезди на ГСМ, заправь машину и, вернувшись, поставь ее под самыми окнами, а ключи зажигания сунь под водительский полк!

— Спасибо за понимание!

— Да ладно! — сказал Анатолий Петрович, а про себя подумал: “А вот меня-то хоть кто-нибудь на самом деле понимает до конца? Наверяд ли!...” И, глубоко вздохнув, открыл дверцу и вышел на свежий воздух.

Как он ни торопился войти в дом, невольно посмотрел на небеса — и очарованно замер... Даже здесь, в низинке, чувствовалось, насколько все еще силен ветер, шумящий в голых кронах деревьев, словно вихрь, клонящий их из стороны в сторону. Управившись с остатками листьев, упрямый ветер всерьез взялся за постаревшую желтую хвою — и она, не выдержав его напора, отлетала от веток и, кружась в воздухе, стремительно уносилась в вечернюю почти непроглядную темноту. Но в непостижимо глубокой, загадочно чернеющей выси, словно великое множество горошин по поляне, были рукой Создателя рассыпаны мигающие, словно сигнальные лампочки, беспрерывно, стойко горящие чистым серебряным светом, зрелые, как поздние яблоки, звезды.

Выстроившись в крупные созвездия, легко узнаваемые с земли, они, как мощный магнит, своей неопишуемой красотой притягивали к себе восхищенный взгляд — хотелось обрести могучие крылья, чтобы хотя бы на чуть-чуть приблизиться к ним, собрать полные пригоршни небесного, живительного света — и, словно живой водой, омыться им. Нет, не из страстного желания вместе с этим стать бессмертным, а из неутолимой жажды пусть всего лишь на миг, но прикоснуться душой к одной из великих тайн Вселенной... Вдруг сначала одна, потом и вторая звезда сорвались с небосклона и, сгорая на сильном ветровом лету, так быстро стали приближаться к земле, что Анатолий Петрович даже не успел загадать какое-нибудь заветное желание, как они потухли, казалось, над самой головой. Душу сжала досада, но она была настолько незначительной, что тотчас забылась, едва он открыл дверь в дом.

Не раздеваясь из чувства любопытства, встал на пороге кухни и увидел сидевшую в нему спиной, но тотчас оглянувшуюся на поднятый им шум в коридоре, поселкового главного врача.

— О, кто у нас в гостях! Ирина Дмитриевна, добрый вечер!

— Здравствуйте, Анатолий Петрович! А я вот забежала после работы на огонек к Марии, поговорить, так сказать, по душам!..

— Не оправдывайтесь! И правильно сделали, что в свое время, спрессованном до бессонницы неотложными медицинскими заботами, нашли час-другой для, скажу так, укрепления женской солидарности, за что я вам премного благодарен! Да и моей любимой жене с вами, надеюсь, всегда найдется о чем горячо поговорить! — добродушно, с теплой улыбкой на тонких волевых губах вымолвил Анатолий Петрович, а сам то и дело поглядывал на Марию, при его появлении зачем-то вставшую из-за стола. В своем совсем недавно пошитом в местном ателье вечернем, темно-синем платье с короткими рукавами, с вьющимися, каштановыми волосами, туго стянутыми на затылке резинкой, отчего красивое лицо, полностью открывшись, казалось, лучилось светоносно, а ее хозяйка обвораживала таким очарованием, что только присутствие чужого человека помешало Анатолию Петровичу страстно обнять жену за точеные плечи и слиться с ней в трепетном, сладостно долгим поцелуе.

— В народе говорят, голодный мужчина — злой! — не без напряжения в голосе сказала Мария. — Правда это или нет, но давай, муж, который, надеюсь, в городе не объелся чужих груш, скорей раздевайся, мой руки и садись за стол! Я тебя вкусным ужином кормить буду!

— Дорогая, верь, не верь, но никаких чужих фруктов со вчерашнего дня не ел! — поняв ревнивый намек супруги в отношении посещения Зинаиды, в шутку ответил Анатолий Петрович.

И уже через пять минут сел за стол, на свое, ставшее за лето привычным, место — справа от задернутого занавесками окна, лицом к Марии. Взял в руки вилку, чтобы утолить и правда всерьез разыгравшийся голод, но, словно вспомнив об очень важном, воскликнул:

— Дорогие женщины, а что это мы всухую будем ужинать, когда, по крайней мере для меня, сегодняшний день — праздник! — и опережая возможный вопрос: “Какой именно?!” , продолжил: — Во-первых, успешно завершилась уборка картофеля, понятно, не без моего, — шучу! — чёткого руководства! Во-вторых, наконец-то расследование уголовного дела, о котором вы, Ирина Дмитриевна, уверен, пусть недостаточно верно, но все же порядком наслышаны из поселковых пересудов, доказало, что я перед законом чист, как стеклышко! А то, что мне нанесен моральный ущерб — это не считается, переживем! Какие мои годы — еще впереди и не такое может запросто случиться, ведь не зря же говорят, что от тюрьмы да от сумы не зарекайся!.. Во! — наговорил целую кучу... А для чего, спрашивается? Для того, чтобы обосновать желание — немного, хотя бы легким вином, отметить, как я обоснованно сказал, праздник!.. Мария, не смотри на меня такими удивленными глазами, а скорей ставь на стол хрустальные бокалы. Кстати, дорогие женщины, что будете пить?!

— Ну раз хоть какой-то радостный свет загорелся на твоём, Анатолий, жизненном небосклоне, то я выпила бы шампанского! — без живого огня, как бы делая мужу одолжение, ответила Мария.

— Я тоже! — поддержала ее Ирина Дмитриевна.

— Ну а я, с вашего разрешения, милые дамы, останусь верен своей строгой привычке — и выпью сухого грузинского вина! — весело сказал Анатолий Петрович. И тотчас отправился в гостиную...

Не прошло и минуты, как он вернулся к столу, не садясь, умело открыв одну бутылку за другой, налил женщинам шипучего напитка в бокалы, себе в стакан — вина и, осторожно — заполненный до краев! — подняв его, бодро, словно на собрании трудового коллектива, сказал:

— Как говорится, за этим дружеским застольем самозванцев нам не надо — председателем, то есть тамадой, — буду я! И в первую очередь, конечно, предлагаю первый тост — за вас, милые дамы!

И, с радостью чокнувшись с заметно повеселевшими женщинами, медленно — один за другим — сделал несколько глотков, легка причмокнув, довольно сжал волевые губы, несколько раз провел по нёбу языком, как бы по терпкому вкусу окончательно определяя выдержку грузинского вина. Сел и с жадностью приступил к вкусно приготовленной женой еде. Но через пару минут, под, скорей всего, вопросительным, чем довольным взглядом Марии аппетитно дожевав кусочек отбивной, весело поднял исполненные глубокого умиротворения глаза на Ирину Дмитриевну:

— А теперь прошу вас сказать несколько слов!

— Ой, я, честное слово, совсем произносить тосты не умею, да и не знаю их!.. — простодушно звонко воскликнула она, при этом её нежно-бархатные щеки зарделись красной рябиной, а в больших, голубых, широко открытых глазах разом, как спички, вспыхнули застенчивые звездочки-искринки. — Но из уважения к вам, Анатолий Петрович, так уж и быть... Только, пожалуйста, дайте хоть немного собраться с мыслями!

И, помолчав с минуту, в течение которой почему-то вопросительно смотрела на Марию, наконец глубоким, грудным голосом произнесла:

— Я, наверно, теперь и не вспомню, прожив в поселке без малого шесть лет, сколько при мне в этом бедном совхозе сменилось директоров... Так вот я хочу предложить выпить за то, чтобы на вас, уважаемый Анатолий Петрович, кадровая чехарда закончилась! Здоровья вам, стойкости, веры в свои силы, ну и, конечно, семейного счастья!

— Хороший тост! — одобрил хозяин дома. — Только, надеюсь, желая мне долго руководить совхозом, вы, Ирина Дмитриевна, не имели в виду всю оставшуюся жизнь... И поскольку без любви счастья не бывает, то я еще хотел бы выпить и за мою ненаглядную супругу...

Естественно, возражений не последовало — и по кухне от согласно сдвинутых бокалов невидимыми, широкими волнами поплыл тонкий, словно колокольный, — хрустальный звон. Он был настолько пронзительно долгим, что, мягко отражаясь от чисто побеленных стен, поднимаясь к потолку, нежно ласкал слух, весело тешил душу... Вдруг Мария всплеснула, как лебедь крыльями, точеными руками:

— Ах, что это я забыла!.. — И, достав из холодильника большую гроздь винограда, положила в тарелку, стоящую посреди стола. — Буквально сегодня в сельповский магазин впервые за осень завезли фрукты, вот я и купила немного этой узбекской вкуснятины! Угощайтесь!..

— Я вижу, южный фрукт ещё и необычайно красив, — сказал весело Анатолий Петрович. — Каждая виноградинка насквозь так золотисто светится, что даже отчётливо видно тёмно-коричневые, величиной со спичечную головку, ядрёные семена! Давайте за людей, благодаря вдохновенному труду которых мы можем здесь, на суровом севере, за тысячи километров от них, в преддверии долгих, сильных морозов отведать эту замечательную южную вкуснятину, с благодарным удовольствием выпьем! Но прежде мне хочется, чтобы моя дорогая супруга произнесла следующий тост! Или я что-то тороплюсь?!

— Нет, нет, — самое время! — воскликнула Ирина Дмитриевна.

— Хорошо! Только я буду предельно краткой! — согласилась Мария. — Давайте выпьем за наших любимых, незабвенных родителей!

После того как бокалы были осушены до дна, она любезно предложила ещё выпить и по чашечке свежезаваренного индийского чая.

— Ну конечно! Ведь, по крайней мере, я без этого горячего напитка, словно настоящий ягут, чем бы с аппетитом ни насыщался, встаю из-за стола с неизменным чувством голода!.. Наливай, жена!.. — чуть ли не с восторгом воскликнул Анатолий Петрович — и довольно потер ладонями.

За медленным распитием чая вприкуску с шоколадным печеньем разговор за столом как-то незаметно вошел в русло обыденных тем: о предстоящей суровой зиме, о необходимости заранее запастись дровами, о делах в больнице и, конечно, о последних поселковых новостях, произвольно, как в голове побластится, порождённых “всезнающими” домохозяйками и потому часто не вполне соответствующих истине... Даже вспомнили о всё ухудшавшемся здоровье генерального секретаря... Вдруг Ирина Дмитриевна, посмотрев на свои ручные, с тонким коричневым ремешком, круглые маленькие позолоченные часы, как потеряла что-то очень дорогое, откровенно воскликнула:

— А время-то, — мама родная, уже двенадцатый час пошёл! Вот я загостились, так загостились у вас, гостеприимные хозяева! Идти надо, а то дорогой муж, очень переживающий за меня, вот-вот на поиски бросится! — потом в её взгляде невольно зажглась тревога, и она сказала: — На улице-то, небось, давно по-осеннему круто стужилась тьма непроглядная, — хоть глаз коли, — а я, вот какая непредусмотрительная, даже батарейный фонарик с собой не взяла! Как же пойду?!

— Да не переживайте! — ободряюще ответила Мария. — Муж вас проводит! Тут идти-то до вашего дома не больше десяти минут!

— Согласна, — недалеко! Но через лес ведь!..

— О чём речь!.. — отрезал Анатолий Петрович.

И, быстро сняв с вешалки демисезонное, коричневое драповое пальто, как самый что ни на есть интеллигентный, галантный кавалер, на правах хозяина заботливо помог Ирине Дмитриевне, из-за больно уж высокой груди казавшейся немного полноватой, одеться.

Расставаясь, женщины почему-то не обнялись, как настоящие подруги, а только тепло сказали друг другу: “Пока!”

На улице в самом деле предполуночная тьма сгустилась до непроглядности. Пришлось даже остановиться, чтобы глаза хоть немного привыкли к темноте. Ветер заметно ослабел, — теперь он дул пусть и по-прежнему напористо, но ровно. Зато влажный, густой воздух похолодал настолько, что при глубоком дыхании изо рта клубами валил пар, и Анатолий Петрович, невольно поежившись, зарылся подбородком в глухой воротник холщовой куртки. И не зря — сразу почувствовал уютное тепло, исходившее от тела. Но — странно! — если на земле стоял такой мрак, что в десяти шагах ничего не было видно, то высокие небеса были залиты матово-серебристым светом сполна вызревших, словно августовские румяные яблоки, многочисленных звезд. Пристально глядя на них, невольно казалось, что любая из них от тяжести вот-вот могла сорваться — и со светящимся световым хвостом понестись к земле..

“Небесный свет шуршит, как сено, течет, как птичье молоко!” — своими стихами подумал о позднем вечере Анатолий Петрович и, взяв под руку спутницу, пошёл с ней напрямик сначала по своему огороду, потом — по извилистой тропинке через молодой, густой сосняк, — на соседнюю улицу Лесную, недавно новыми переселенцами отстроенную на земле, самоотверженно, с великим трудом отвоёванную у вековой тайги, где в двухквартирном доме жила со своей семьёй главный врач поселковой больницы. По дороге, ступая осторожно, чтобы невзначай вдруг не оступиться на какой-нибудь палке или не споткнуться об один из многих пеньков, оставшихся после вырубки, и древесных корней, почему-то голо торчащих из суглинка, они почти не разговаривали, но у самой калитки прежде чем расстаться, на Анатолия Петровича, словно он

услышал настораживающий глас с небес, касающийся его с Марией отношений, в последнее время ставших и в самом деле натянутыми, сошло какое-то озарение и, он, уже пожимая женскую руку, вдруг произнес:

— Ирина Дмитриевна, к сожалению, из-за злых языков родни моей первой жены Мария не очень-то спешит с завязыванием новых знакомств. Но с вами у неё это как-то удачно получилось — и я очень рад! Ведь она имеет возможность общаться, не опасаясь, что каждое, от души сказанное слово может быть по-дурному истолковано. Понимаю, — то, о чем я спрошу, может поставить вас в неловкое положение, но не сделать этого мне чрезвычайно трудно, поскольку теперь, когда многие треволнения позади, стали всё сильнее и сильнее тревожить мысли, что последние полтора месяца Марию не то чтобы подменили, но она стала со мной какая-то замкнутая, — скажу так, больше слушает, чем сама говорит! Хотя она мне недавно пояснила свое душевное состояние, но поскольку сделала это как-то уж неубедительно, то, может, вы каким-то образом знаете, что её в самом деле гнетёт, волнует?

Вместо того чтобы глубоко помолчать минуту-другую, принимая решения выложить, как на духу, всё, чем могла поделиться с ней Мария, Ирина Дмитриевна лишь с болью посмотрела на тревожно озадаченного своего провожатого. И, мельком пострев по сторонам, словно их в самом деле мог кто-нибудь случайно подслушать, недоуменно, как ни старалась приглушить голос, всё же громко воскликнула:

— Анатолий Петрович, извините, но вы меня спрашиваете о том, о чём все последнее время только и судачат в посёлке!..

— Я вас не понимаю! Нельзя ли конкретней?!

— Можно! Пусть Мария на меня в сердцах обидится, но этого завравшегося городского донжуана надо хорошенько проучить!

— Вы о ком?..

— О Хохлове, бывшем главном агрономе совхоза, который с того времени, как перевелся в район, вашей жене прохода не дает! В неделю раз, а то и два, когда вы уезжаете по отделениям или в город, как бы по работе навевывается в управление! Видите ли, он воспылал негасимой любовью к Марии — и ради неё готов бросить семью! И вообще, — он, видите ли, крайне удивлен, как это она, с такой утонченной натурой, может терпеть такого грубого, неотёсанного мужлана, то есть вас!

Чувствуя, как в душе начинает закипать, не ревность, нет, а уязвленное мужское самолюбие, Анатолий Петрович, всё же из последних сил, стараясь быть хладнокровным, перебил врача:

— Я всё понял, кроме одного — а что же моя половинка, — как она сама-то относится к ухаживанию пылкого сердцеда?!

— Вы же сами прекрасно знаете, что, если мужчина любит глазами, то женщина — ушами! — желая оправдать Марию, ответила Ирина Дмитриевна. — Вы настолько с головой ушли в работу, что, как она говорит, домой только ночевать приезжаете. Ну, по чести откровенно вспомните, когда в последний раз признавались в любви своей, как вы сказали, половинке, чем твердо подтверждали её?! А этот Хохлов, как заведенный, — и в глаза, и по телефону всё клянётся и клянётся в верности и вечности своих сердечных, прямо-таки негасимых чувств. Возносит до самых небес удивительную красоту своей возлюбленной, ой, не так сказала! — вашей жены! Вот она и, как бы это правильнее выразиться, во! — в настоящее время словно стоит на каком-то распутье...

Едва прозвучали эти последние слова, промчавшиеся, как огневая шаровая молния, в мозгах, нестерпимо больно обжигая и взрывая ровное течение мыслей, Анатолий Петрович, не попросившись, вообще ничего не сказав, вдруг резко повернулся и быстро, будто страшно боялся, что его могут внезапно против стальной воли остановить, зашагал прочь. Ирина Дмитриевна, крича ему вслед, призывала не горячиться, не ломать раньше времени дров, но он её больше не слышал — с такой огромной силой раненое сердце неистово кипящей кровью зашумело у него в ушах.

В человеческой жизни, быстро меняющейся, как погода на море, порой, к глубокому сожалению, случается так, что даже очень личное событие отступает перед общественными проблемами и со временем как бы и вовсе забывается. На самом же деле — оно только опускается глубоко, на самое дно памяти, и там, словно сухой торф под слоем суглинка, незаметно для души упрямо тлеет. И порой достаточно даже одной искры, рожденной психологическим потрясением, чтобы этому событию, казалось бы, начисто стёртому из памяти, вдруг вспыхнув языкастым пламенем, с шорохом вырваться наружу.. Ярко замелькать перед глазами, как кадры киноленты. В таком тяжёлом случае

человек, благодаря своим огромным духовным силам, может лишь загнать его обратно в тайник памяти, но, увы, с этого времени всю оставшуюся жизнь пребывать на этом свете обреченным, то на невыносимое, то на с трудом переживаемое глубоко в душе тяжкое страдание... Да такое сильное, что оно способно как бы парализовать не только мысли, но и физические движения, в том числе при исполнении добрых дел.

Все услышанное от хорошей знакомой жены, словно огромная волна, выбросила из глубины обострившейся памяти Анатолия Петровича несколько случаев, на которые он, к своему неудовольствию, в самом деле обратил внимание и к которым хотел при подходящем случае вернуться в разговоре с Марией, но из-за своей вечной страшной загруженности многочисленными важными производственными — да и общественными тоже! — проблемами, всякий раз сурово требующими неотложного решения, так и не нашёл времени, а потом и вовсе, как показала жизнь, ошибочно посчитал их совсем не существенными... Зато теперь они, выстроившись в длинный, логический ряд, один за другим проходили перед его глазами так отчетливо, так рельефно, как будто они произошли только вчера, — и приносили такие мучительные страдания, что горько хотелось на весь, погрузившийся в глубокий ночной сон поселок, кричать, словно это могло быть единственным, от чего хоть на немного, но стало бы легче!

Однажды, где-то месяц назад, Анатолий Петрович по срочной надобности заглянул в агрономический кабинет. Мария была одна, сидела за своим рабочим столом, стоящим вплотную к подоконнику большого окна с коричневыми шторами. Но, охотно и живо отвечая на директорские вопросы, требующие быстрого решения, вдруг она повернула свою аккуратно прибранную голову на шум открывшейся двери, тотчас замолчала и лучисто заулыбалась своей пленительной улыбкой полных губ. При этом её большие красивые с природной лёгкой грустинкой глаза вспыхнули таким волнующе искрящимся светом, перед которым ни один мужчина не смог бы остаться равнодушным. Не успел Анатолий Петрович даже подумать, кому же это так при нём откровенно обрадовалась его любимая жена, как в кабинет, светло улыбаясь, с горящим взглядом устремлённых на неё глаз, стремительно вошёл Хохлов... Но, заметив мужа Марии, вдруг сконфуженно потупился, опустил голову...

Второй случай отложился в памяти Анатолия Петровича тем, что однажды супруга настойчиво попросилась взять её с собой в город для того, чтобы якобы навестить Валентину Сергееву, работающую главным экономистом управления сельского хозяйства, — сравнительно молодую, жизнерадостную, с добродушным взглядом, с ярко накрашенными полными губами, с каштановыми волосами, лёгкой волной ниспадавшими на округлые плечи, — весьма и весьма симпатичную, хотя и довольно расплывшую женщину, с которой успела познакомиться и подружиться почти сразу же по приезду в райцентр из Якутска. На самом излете рабочего дня, упрямо помотавшись по всем обслуживающим совхозы организациям, где и в этот приезд удалось решить многие срочные и не очень дела, поэтому с глубоким чувством удовлетворения собой, пусть и изрядно уставший, Анатолий Петрович к условленному с женой времени приехал за ней в управление. Однако вынужден был встревожиться, поскольку ни у Сергеевой, ни в приемной Пака её не оказалось. Для начала пришлось быстро пройтись по управленческим кабинетам за исключением главного агронома — уж очень не хотелось встречаться лишним раз с человеком, который для него как бы перестал вообще существовать... Но пришлось через силу сделать и это, поскольку ему уже было понятно, что, если жена вдруг не уехала в “Сельхозхимию”, ещё и навестить гостеприимную, отзывчивую Эльзу, то она может быть только у Хохлова, ведь как-никак он являлся в определённой степени начальником Марии, и значит, у неё к нему могли возникнуть неотложные вопросы по работе...

Не стучась, Анатолий Петрович резко распахнул дверь с табличкой “Главный агроном” — и невольно замер: поскольку верхний свет не был включен, уличного, к вечеру ослабшего, явно не хватало, поэтому в кабинете царил тот интимный сумрак, который, как никакой другой, располагал к теплоте, душевному разговору. В этой лирической идиллии Мария и Хохлов сидели за столом: напротив друг друга, с мило ослабленными, романтическими лицами... И, видимо, настолько увлеченно говорили о чём-то приятном для обоих, что даже не заметили, как стало в кабинете темнеть. А между тем, такая картина любого человека, даже случайно вошедшего, не могла не озадачить... Воистину — и пробовать нечего опровергать расхожее мнение: счастливые душой как бы слепнут настолько, что забывают об элементарном чувстве приличия...

Обо всем этом Анатолий Петрович думал сейчас, в поздний вечер, словно наугад идя от главного врача поселковой больницы, распалившись аж всем телом до того, что могло показаться: оно, польхая, как дерево, подожжённое огневой молнией, сгорало в непроглядном мраке на ходу. А тогда он лишь махнул жене рукой, мол, пора ехать

домой, — и, вполне уверенный, что она последует за ним, звучно грохоча каблуками черных туфель по сверкающему паркету, зашагал к выходу. Всё же точно в этот раз задал бы жене, пусть ревнивый, но справедливый вопрос, позволявший наконец выяснить для себя в полной мере поведение женщины, с которой вступил в брак, которую сильно полюбил! Но на самом выходе из здания, буквально в дверях, чуть не столкнулся с первым секретарем Скоробогатовым — и тот, добродушно ответив на уважительное приветствие, попросил его пройти с ним в его рабочий кабинет для неотложного разговора. Деловая беседа оказалась настолько отягощённой производственными проблемами, требующими безотлагательного решения, что пришлось тотчас с головой окунуться в обдумывание, как бы лучше и быстрее справиться с ними. И, конечно, откровенный разговор с женой был вновь отодвинут на неопределённое время.

Был и третий случай, произошедший совсем недавно, можно сказать, на последних днях. Анатолий Петрович уже подъезжал к городу, когда встречный “уазик”, с номерами управления сельского хозяйства, вдруг затормозил и несколько раз нервно просигналил фарами. Пришлось в недоумении приказать водителю свернуть вправо, прижаться поближе к обочине и остановиться. Тотчас из салона выскочил Хохлов, несмотря на сырую, грязную погоду, почему-то одетый не по-рабочему, а в черный, с иголочки костюм, в какой облачаются только по особому, праздничному случаю. Он бегом, боясь попасть под какую-нибудь бешено едущую, железно громящую на ухабах, машину, посмотрел по сторонам и быстрым шагом подошел к левой передней двери, за которой сидел Анатолий Петрович, — и тому ничего ни оставалось, как только открыть ее и, ради приличия, холодно поздороваться со своим бывшим подчинённым. Зато Хохлов, улыбающийся, самоуверенный! — как ни в чём ни бывало, непринужденно, даже вполне дружелюбно сказал:

— А я к вам в совхоз еду! Надо по заданию райкома с главным агрономом кое-какие вопросы по подготовке уборки капусты обсудить!

— Да ради бога! Только на месте Кокорышкиной нет!

— А Ивановой?

— Тоже отсутствует!..

— Вот как! А где же они?

— Виктория Николаевна ещё утром, на весь день, — дорога ведь неблизкая, — выехала в Беченчинское отделение, а Марию Васильевну я совсем недавно оставил на торфяном карьере “Белоглинка”, чтоб договориться с руководством на месте о вывозе заготовленного ещё весной компоста на поля, освободившиеся от выкопанного картофеля.

При последних словах Хохлов откровенно просиял лицом, нетерпеливо, словно и правда шибко торопился, как мальчишка, не скрывающий своей большой радости, вдохновенно произнес:

— Так это же рядом! Поеду туда, хотя бы с ней переговорю!..

“...И точно переговорили!.. Какой, десятый или двадцатый раз?.. — вспльхиво подумал Анатолий Петрович. — И договорились, можно сказать, у меня на глазах, до того, что Хохлов готов бросить жену с маленьким ребенком, а Мария, если ещё и находится в сомнении: что же ей-то делать, к какому берегу получше да поудобней пристать, но точно уже на какое-то расстояние отплыла от меня! И кто я теперь есть на самом деле? Самонадеянный инддок? Последний идиот, — возомнивший о своей исключительности и как мужчина, и как руководитель, которым вообще-то надо бы без всякого сомнения гордиться? А, впрочем, — какая разница теперь, когда тебе, пусть пока ещё, буду надеяться! — только мысленно, но любимая женщина изменяет с другим? Никакой!”

От острого осознания своих, ох каких непростых, дум Анатолию Петровичу стало, в душе так невыносимо горько, так тяжело, что его молодое, здоровое, крепко натренированное за многие годы спортом сердце сильно, до режущей, острой боли сжалось, готовое разорваться!.. Захотелось, как матёрому волку, окончательно загнанному в угол мужиками, вооружёнными рогатинами, нечеловеческим голосом взвыть на всю округу, как в самом настоящем бешенстве, схватить какую-нибудь жердину, чтобы крушить ею всё подряд на пути своём, тем самым как бы расчищая выход из непроглядного мрака, плотно обступившего со всех сторон, — и выйти к какому-то спасительному свету, которой смог бы принести душе да и сердцу тоже, хотя бы небольшое облегчение!

Тут Анатолий Петрович увидел, что подошёл к своему дому, оставалось сделать всего несколько шагов до двери, за которой его нетерпеливо ждала, — он был почему-то уверен в этом, как никогда! — любимая жена... Или все-таки его самонадеянная, легкомысленная обидчица, которой нет и не может быть прощения?.. Ответить он не мог, тем не менее ему страшно хотелось увидеть Марию, чтобы, как грязную воду из стирального таза, выплеснуть из души ей в глаза всё, что он теперь о ней, ещё пока своей жене,

которой всей душой поверил, кого рассветно полюбил, о которой порой с тревогой — до темноты в глазах! — напряженно думал. Но в таком предельно нервном — до предела! — состоянии, — с кричащей, словно плачущей навзрыд, душой, с сердцем, задыхающимся от суматошно-лихорадочного биения, значило бы, как всегда, только одно — изменить своему слову: никогда и ни при каких жизненных обстоятельствах, пусть даже самых добрых, в смятении не принимать никакого решения, тем более судьбоносного!

И Анатолий Петрович, не чувствуя ни всё усиливающегося холода, ни упрямого ветра, не унимающегося, а только с каждым часом все холодеющего и холодеющего, пошёл по близлежащим улицам кружить и кружить вокруг дома в надежде, что от долгой, дико стремительной ходьбы он, как ни выносив, всё-таки по-страшному устанет — и душой, и сердцем невольно хоть немного успокоится, — и тогда можно будет принять единственно верное решение по отношению к Марии да и к себе тоже... О Хохлове ему почему-то уже больше не думалось, — ведь, в конце концов, от женщины зависит тот или другой поступок мужчины, ведь именно она с сотворения света, в конце концов, решая, с кем до конца жизни связать свою хрупкую девичью судьбу. Если она решительно даст любому воздыхателю, так сказать, от ворот поворот, то он никуда не денется, — в конце концов, отлипнет, как высохший банный лист.

Сколько времени Анатолий Петрович проходил по поселку, он по часам, со светящимся во тьме циферблатом, не следил. Но духовно и физически чувствовал, что с каждым кругом обиды на Марию, тяжеленным камнем придавившая душу, как бы отваливается, позволяя всё глубже, всё размеренней дышать, а угрюмым, горьким мыслям, бурно вскипавшим, как кипятки, понемногу сгладиться — и потечь, пусть ещё не широкими, ровными волнами, но без сильных ветровых взрывов... И уже на пороге напоследок подумав: “А мне, дураку, казалось, — да что там! — самым настоящим образом верилось, что женщина, выбравшая в свои спутники по жизненному пути мужчину с огневой судьбой, должна стать его надёжным тылом, чтобы он, понимая это, в полной мере сумел сосредоточиться на отражении роковых стрел, то и дело летящих в его, а значит — и в её! — грудь. Эх!..” И решительно вошёл в дом.

Несмотря на поздний час, Мария, из-за долгого отсутствия мужа уже догадалась, с чем именно он вернется — и поэтому даже не ложилась спать. Ещё с вечера одетая в красивое, так идущее ей платье, она находилась в спальне, освещённой лишь лампой под синим абажуром, присев в удобное — с мягкими подлокотниками и спинкой! — кресло. В руках, на весу, держала какую-то книгу, которую как будто читала. Но на шум открывшейся двери резко, пусть на миг, подняла голову, потом снова низко опустила её, словно боясь страшного удара... Анатолий Петрович хотя и вроде бы достаточно успокоился, все же внутренне сдерживая себя, нарочно не спеша снял куртку, но, как замороженный, зачем-то прошёл в гостиную, минут пять походил взад-вперед, будто принимал окончательное решение, хотя, пусть временно, как бы невзначай, но оно ещё на последнем круге вышло в голове... И гнев перестал полыхать, как костёр на ветру... Наконец он, подойдя к дверному проёму спальни, из коридора, без лишних предисловий, но с вновь часто-часто забившимся сердцем, напрямую задал вопрос Марии, напряжённо вскинувшей голову:

— Значит, всё еще никак не можешь решить, что тебе делать со своей симпатией или уже с самой настоящей любовью к Хохлову, как разорвать круг, в который сама же в конце весны с радостью вступила?!

И замолчал, думая, что жена, всплыв, тотчас признается в охвативших душу сомнениях... Но она даже слова не проронила, только её большие глаза стали вдвое грустнее обычного. И ему ничего не оставалось, — вдруг снова резко почувствовав в душе обиду, но в этот раз не на Марию, а на себя, позволившего столько времени считаться в глазах поселчан несчастным мужем, которому молодая жена наставила рога, — твёрдо озвучить решение, принятое на подходе к дому:

— В общем так, — я, хорошо, как сердечную клятву, помня о своих словах, что ты всегда вольна поступать по своему усмотрению, как бы я тебя ни любил, ни желал, заявляю: с этого момента о том, что мы с тобой — супруги, свидетельствуют лишь брачные записи и штампы в наших паспортах! Как говорится, вот тебе порог, а вот — Анатолий Петрович поднял руку вверх, — И Бог!.. Конечно, я утром сам уйду, так что уж сделай милость, потерпи меня еще час-другой!..

И, повернувшись, чтобы не разрыдаться, до боли закусил нижнюю губу, вернулся в гостиную, там рухнул в кресло и, убрав до конца громкость, зачем-то включил телевизор, ничего на светящемся ярко экране не видя... Прошло не больше часа... Вдруг в спальне, а потом и на кухне раздался какой-то шум, но вскоре во всей квартире снова воцарилась тишина. Лишь было слышно, как в печной трубе гуляет ветер да где-то под полом противно возятся мыши, от которых все никак не удается при помощи



отравы, взятой у совхозного ветеринара, избавиться. Пробежало ещё несколько времени, позволившего решить, что всё-таки Мария, то ли от радости легкого для неё разрешения своего двойственного положения, мучившего душу все последние недели, то ли от того, что полночное, невольное бодрствование вконец ее утомило, — заснула. Если это действительно так, то почему же тогда по-прежнему в спальне горела настольная лампа, от которой свет падал глубоко в коридор?

И тут Анатолия Петровича словно током ударило, да так сильно, что он мигом вскочил на ноги, ветром бросился в спальню. Мария, разметавшись по всей кровати, в самом деле, — крепко спала. Только её высокая грудь при дыхании вздымалась не ровно стелющейся волной, а ломаной, словно лёгким не хватало воздуха! Бархатистая кожа на лице без единой морщинки была, как всегда, совершенно гладкой, но вокруг глаз с сомкнутыми, длинными ресницами подозрительно непривычно посинела, словно на неё легли глубокие сумрачные тени. Взглянув на тумбочку, на которой стоял гра-ненный стакан с недопитой водой, к своему ужасу, увидел две опорожненных упаковки снотворных таблеток. Анатолий Петрович испуганно всё понял: Мария почему-то через лекарство, принятие которого в большом количестве значило лишь одно — отравиться! — решила свести счеты с жизнью! “Что же ты, глупая, натворила, как только такое могло прийти тебе в голову?! И потом — зачем она таким количеством снотворного запаслась?! Неужели от своих сомнений сон потеряла? Скорей всего, так! А услужливая подруга — главный поселковый врач, как настоящей больной, выписала необходимый рецепт!..” — тотчас невыносимо горько подумалось ему. И он, может быть, первый раз в жизни растерялся... Все тело словно перестало слушаться его, речь отнялась, хотя язык ворочался во рту, вмиг наполнившемся слюной...

Но что в этот трагичный момент надо было срочно делать, он уже знал! Громадным усилием воли стянул с себя оцепенение, — порывисто взял жену на руки, ногой открыл дверь, и выбежав на улицу, стал искать глазами “уазик”. Водитель, после заправки горячим, поставил его в самый конец ограды, у забора — и сквозь начинающий светлеть предутренний, сизый, как расправленное во всю длину голубиное крыло, сырой воздух, колеблющийся под напором стылого воздуха, был хорошо виден. Анатолий Петрович подбежал к нему, второпях несколько грубо положил на заднее сидение Марию. Но при этом она, продолжавшая пребывать в жутком, можно сказать, смертельном сне, лишь протяжно глухо простонала, как будто ей приснилось что-то очень уж страшное, от которого ей невольно хотелось как можно быстрее и сполна избавиться.

Жалость жгучей, обжигающей кровью, как крутая, прибойная волна, захлестнула сердце — и Анатолий Петрович, молитвенно, чуть ли не в плаче, проговорив: “Ну потерпи, милая, очень-очень прошу, нет, заклинаю тебя, — потерпи!..”, достал из-под полки ключи зажигания, лихорадочно завёл двигатель. Резко сдал взад, развернулся и, сразу включив вторую скорость, надавил педаль газа до упора. “Уазик”, как раненый зверь, гулко взревел и, вылетев со двора, с ярко горящими фарами, предельно рискованно, хотя и по окружной, но по самой короткой уличной дороге помчался к дому главного поселкового врача, бешено вращающимися колесами вздымая высоко над землёй клубящиеся тучи песчаной, густой пыли. Она не стлалась длинным шлейфом за машиной, а, с силой подхваченная ветром, уносилась в сторону лесных деревьев с раскидистыми кронами, с голыми сумрачными ветками, с меднокорыми, ближе к корням — бугристыми стволами, уходящими в предрассветную высь, и оседала на них, как серый — мышинного цвета! — снег.

У самой ограды “уазик”, намертво схваченный тормозными колодками за колесные диски, проюзил метра три, прорезав в сухом, рассыпчатом грунте две глубокие борозды, и встал, как вкопанный. Двигатель заглох, но успел, словно обиженный за суровое отношение к себе, громко стрелкнуть выхлопной трубой бензиновым газом. Калитка, к счастью, оказалась не запертой изнутри. Анатолий Петрович толкнул её, вбежал на крыльцо и стал кулаком нервно барабанить в верандную дверь, пока не отворилась квартирная и, освещённая ярким светом, падавшим из коридора на пол прямоугольной полосой, не показалось хозяйское, заспанное, хмурое лицо.

— Кто там?! — недовольным голосом спросил мужчина.

— Это Иванов, директор совхоза! Пожалуйста, извините, что ни свет ни заря разбудил вас, но у меня крайне срочное дело к Ирине Дмитриевне — пусть она, как можно быстрее, выйдет!

Дверь быстро закрылась. Но буквально через несколько минут открылась вновь, потом — верандная, и главный поселковый врач, на ходу застегивая пальто, совсем одетая, ибо привыкла к частым вызовам в разное время суток, стремительно вышла на крыльцо.

— Анатолий Петрович, у вас такой угнетённый, как бы растерянный вид! Что-нибудь плохое случилось?! — тревожно спросила она.

— Да!.. Мария отравилась!..  
— Отравилась! Как это так?! — всплеснула руками Ирина Дмитриевна, но тотчас взяла себя в руки. — Чем? Уж не эссенцией ли?!

— Снотворными таблетками!

Едва заметная, но все же светлая тень надежды промелькнула на сосредоточенном лице врача, и она снова задала вопрос:

— Когда?!

— Минут двадцать, двадцать пять назад!

— Нельзя терять ни секунды! А Мария где?

— В машине!

— Срочно поехали в больницу! — и сев в салон, с болью и состраданием взглянув на безмолвно, крайне расслабленно лежащую на заднем сидении подругу, многозначительно предупредила: — Только, думаю, надо подъехать не к главному входу, а к запасному родильного отделения. Там сейчас никого из рожениц нет! Конечно, шила в мешке не утаишь, но всё же нечего чужим людям на глаза в таком случае лезть!

И “уазик” снова, взревев двигателем, понёсся дальше сначала по улице Лесной, потом по — Центральной, у леспромхозовского клуба выехал на футбольное поле и, проехав его до конца, подрулил к старому одноэтажному зданию, рубленному из ядрёных сосновых брёвен, от времени сильно почерневших и изрядно замшелых, с крыльцом под легким тесовым навесом. Ирина Дмитриевна побежала открывать двери, с чем быстро управилась, а Анатолий Петрович взял на руки Марию, внёс в небольшое помещение, почему-то в больнице самое запрещенное для мужчин. Быстрым, вострым взглядом выхватил из полумрака кушетку, застеленную прорезиненной, тонкой простыней и, осторожно положив на неё жену, вопросительно посмотрел на врача, успевшую за это время снять пальто и уже спешно заполнявшую водой из обыкновенной фляги, в которых обычно перевозят молоко, большой эмалированный кувшин.

— Анатолий Петрович, всё — дальше я уже сама!.. — решительно, в действенном порыве воскликнула Ирина Дмитриевна. — Езжайте домой! Я вам сразу же, как только окажу Марии всю необходимую помощь, позвоню! — и видя, что он продолжает стоять в нерешительности, чуть ли ни крикнула: — Ну уходите же скорей, кому говорю!

— Хорошо! Хорошо! Только?!

— Никаких только! Все, что в моих силах, сделаю!

## 41

Выйдя на улицу, прежде чем сесть в машину, Анатолий Петрович встал, как вкопанный, ибо вдруг остро почувствовал себя человеком, всю жизнь готовившимся к важному, можно сказать, судьбоносному делу, но, когда подошел долгожданный срок приступить к нему, вдруг удручающе оказалось, что кто-то другой уже сполна и успешно управился с ним — и теперь он, слово сказочный витязь на дорожном распутье, никак ни приложит ума, что делать, на что потратить всю накопленную за многие годы непомерную силу, выкованную и закаленную, как жаркое железо в ледяной воде, крепкую волю. И, словно в поисках выхода из создавшегося для него печального положения, устремил пристальный, горящий взгляд в ночное небо. Оно в это время, как огромный куполообразный шатёр, раскинулось во всю свою неоглядную ширь над продолжавшей спать землёй, переливчато сияя серебряными звездами во главе с полной луной в кольцевом ореоле пронзительно светлых лучей. Оттуда, с невероятной космической выси невидимыми потоками нисходил какой-то божественный, торжественный покой, от которого взвихренные мысли обретали стройный порядок, на душе становилось не то, чтобы менее тревожно, но что-то очень похожее на проблеск спасительной надежды раз-другой почти озарило ее. Тем не менее, ни манящее сияние звёзд с загадочной луной, ни клубившаяся иссиня-чёрная, бесконечная небесная глубина, хоть кричи, не давали необходимого ответа!

Тяжело вздохнув, Анатолий Петрович сел за руль, уже готовый поворотом ключа зажигания завести двигатель, но вдруг застыл, как зловеще заколдованный, но теперь уже от невыносимо беспокойной мысли: “Что там в родильном отделении с Марией?.. А если Ирина Дмитриевна окажется бессильной помочь ей, а он, здоровый мужик, полный сил, находясь в каких-то трех шагах от дорогой женщины, и пальцем не может пошевелить, чтобы хоть как-то быть полезным... Нет, надо что-то делать, надо!..” И в деятельном порыве хотел вернуться к оставленной в бессознательном состоянии жене, даже нервно схватился за дверную ручку, но так и не сдвинулся с места, как будто свыше в самом деле так ясно услышал, что невольно вздрогнул: “Будь благоразумней, всё, что мог — хорошего и плохого, — ты сделал, теперь осталось только ждать, чем

в этот, крайне суровый, раз жизнь обернётся для тебя, — горько-суровым приговором, после которого до конца своих дней будешь обречён на невыносимые страдания, или всё же снова, словно испив живой воды, обретёшь если не очистительное счастье, то долгожданный покой...” И Анатолий Петрович, мучительно взглянув на окна родильного отделения, наконец завёл двигатель и вырулил на обратную дорогу...

Обе двери — и верандная, и домовая, как были в поспешный отъезд оставлены распахнутыми настежь, так и недвижно висели на своих железных шарнирах. Анатолий Петрович, скорей по привычке, чем осознанно, закрыл их за собой. Почему-то ему показался совершенно ненужным, даже тревожно лишним горящий со вчерашнего вечера во всех комнатах верхний яркий свет люстр — и он, пройдя по дому, выключил его. В гостиной опустился в кресло, как под непомерной свинцовой тяжестью, согнулся, и, оперевшись локтями в нервно дрожащие колени, до боли сжал ладонями виски, невольно взъерошив и без того взлохмаченные ветром и суматохой за уборочную сильно отросшие льняные волосы. От нетерпеливого ожидания звонка, который мог в равной мере принести как спасительное душевное облегчение, так и непоправимую весть о беде, казалось, что время если не остановилось совсем, то двигалось больно уж мучительно медленно, ну словно совсем уж по-черепашьи.

Но все больше и больше занимавшийся рассвет своими золотистыми лучами уже озарял не только верхушки деревьев, серебряно зажигал рябь водоёмов, понемногу, с оглядкой, как на охоте осторожный зверь, изгонял ночной сумрак из лесных густых чащ, но и ещё слабыми волнами нетерпеливо вливался через не зашторенные окна в квартиру, золотисто пятная дощатый пол, лакированную мебель. А в ограде соседского дома краснопёрый петух взлетел на глухой забор и во всё своё небольшое, но звучное горло закукарекал, вдохновенно возвещая на всю улицу о рождении нового дня, пускай хмуро осеннего, с ожиданием скорых самых настоящих снегов и морозов, — когда горячее дыхание при быстрой ходьбе или тяжёлой работе раскатисто, как кровельное листовое железо от порывов сильного ветра, тревожно гроыхает в ледяном воздухе. Собачий лай, скорей по привычке, чем от злобы раздававшейся в светлеющем воздухе, и протяжное мычание говорили, что поселковые хозяйки подоив коров, вооружившись гибкими ерниковыми прутьями, гонят их по дороге, на обширное пастбище, за старое русло, пробегавшее по таёжной неоглядной глухомани, когда-то величавой полугорной реки.

Анатолий Петрович, устав ждать звонка, поднялся на ноги и заходил взад-вперед по сумрачному, — освещаемому теперь только небесным светом через кухонное окно, — узкому коридору, с нетерпением и тревогой то и дело бросая измученный взгляд на чёрный, как воронье крыло, телефон. Как ему ни хотелось думать о плохом, но именно это заполняло все его удрученные мысли, хотя он в помощь своей воле и пытался настроить их хоть на какой-нибудь светлый лад. Наконец, пусть и очень ожидаемый, но всё-таки, словно грозовой разряд, внезапно на всю квартиру раздался пронзительный звонок. Лихорадочно схватив трубку и обеими руками плотно прижав её к уху, Анатолий Петрович, готовый к самому худшему, с затаенным дыханием, глухо, как из подземелья, нетерпимо произнес:

— Алло! Алло! Я слушаю вас!

— Это я, Ирина Дмитриевна, как обещала, вам звоню! Сразу же хочу обрадовать: Мария уже вне опасности! В настоящее время лежит под капельницей! Надо хорошо очистить её кровь!.. Пока больше ничего сказать не могу!.. До встречи! — и в трубке пошли длинные гудки.

От доброй вести Анатолий Петрович, видимо, потому, что слишком долго её ждал, словно потеряв дар речи, не успел в ответ ни слова сказать. Стоял, как оглоушенный, минуту, другую, пока наконец не стал осознавать, что жизнь, эта страшно капризная дама, в очередной раз лишь горько посмеялась над ним, словно давая возможность, в конце концов, обрести свое настоящее, а не заёмное у незнакомых людей счастье. Только это казалось настолько невозможным, что вместо того, чтобы радоваться, вдруг захотелось от обиды, с новой силой вспыхнувшей в душе и, словно ток, больно пронзившей мозг, захлестнувшей напрочь сдавливавшей удавкой сердце, — завить затравленным волком, но ещё сильней — увидеть Хохлова, а главное, — как можно скорей сполна рассчитаться с обидчиком.

В первый раз Анатолий Петрович понял, как же воздыхатель по Марии ненавиден ему — будь он в эту самую минуту рядом, то его, не раздумывая, тотчас, как вдруг взбесившуюся от запаха крови собаку, не раздумывая, убил бы! Движимый этим, можно сказать, слепым чувством мщения, сорвал, как налетевший с сопок ветровой вихрь, с вешалки рабочую куртку и, на ходу надев её, быстро закрыл двери на ключ, сел за руль “уазика” и, словно охотник за пустившейся вскачь добычей, помчался в город, с первых же метров тряской дороги все увеличивая и увеличивая скорость. Ещё никогда

в своей, пусть ещё такой молодой, но уже наполненной до предела хорошими и плохими событиями жизни, даже на кольцевых гонках по льду, где не раз от столкновения с неудачно обгоняемой машиной получал травмы, долго залечиваемые, но от этого ни на чуть не потеряв огромного желания во что бы то ни стало прийти к финишу первым, Анатолий Петрович так рискованно не ездил!

Двигатель, набрав максимальные обороты, с бешеного рёва, похожего на звериный, перешёл на такой пронзительно металлический звон, что плотно закладывало уши. Коробка переключения передач вместе с раздаточной и ведущими мостами пронзительно гудели, как реактивный самолёт на взлёте, — и жестяной кузов на выбитой гравийной трассе трясло так, что только оставалась удивляться, насколько же он крепок... Несмотря на бешеную гонку и опасность, которую она представляла, перед взглядом Анатолия Петровича над дорогой неотвязно маячил и маячил ненавистный образ Хохлова. Это никак не позволяло хотя бы на чуть-чуть расслабиться измученной вконец душе. Всё большое тело, к счастью, с детства привыкшее к большим спортивным и трудовым физическим нагрузкам, продолжало находиться в диком напряжении, сильно похожем на какое-то жуткое оцепенение. Лишь крепкие руки и ноги в результате многолетних тренировок и соревновательных машинных заездах, словно на автомате, успевали вовремя реагировать на постоянно меняющуюся, как в калейдоскопе, дорожную, самим же им до предела усложненную бешеной ездой ситуацию, при одном неверном движении готовую мгновенно стать для жизни непоправимо трагичной!

Перед крутым поворотом педаль газа немного отпускаясь, но при входе в него снова прижималась до упора — и “уазик” по инерции без особого риска вылететь в кювет, прижимаясь, будто цепляясь всеми колесами за трассу, лихо проскакивал опасный участок. Однако после часа езды, верней, невероятно тяжкого спора с судьбой, — Анатолию Петровичу от перенапряжения всего организма стало до того жарко, что пот ручьями потёк по лицу, выступил под мышками, залил, как ливневый дождь, мускулистую спину. Чтобы хоть немного остыть, пришлось до конца открыть у обеих дверей форточки. Но вместе со свежим, прохладным воздухом в салон стала врываться густая, серая, песчаная пыль, высоко поднятая встречными большегрузными машинами. Она быстро покрыла толстым слоем кожаные сидения, костюм, влезала и влезала противно в рот — и приходилось часто, на ходу приоткрывать дверцу, чтобы сплевывать на дорожное полотно. А вот убрать её из глаз — оказалось почти не решаемой проблемой, ибо ладонь только размазывала пыль, провоцировала крупные слёзы течь ещё сильнее!

Всё же проведенная без сна страшная ночь, нервное потрясение, словно океанская волна, накрывшая, нет, захлестнувшая душу, и глубокие, порой просто непереносимые переживания за, пусть по какой-то, пока неясной причине, совершившую отчаянную ошибку, но оставшуюся любимой, жену, вкупе с дикой ненавистью к обидчику, притупили разгоряченное сознание и порядком успокоили мятущуюся душу — уже хотелось просто сделать так, чтобы этот мерзавец Хохлов как можно скорее исчез навсегда из его жизни, и без того, ох, какой сложной, порою даже во время длительных сверхперегрузок, когда нервы, как туго натянутые гитарные струны, вибрируя, больно звенят, рождая вопрос: а зачем вообще я появился на свет? И он, этот враг, замахнувшийся на его счастье, должен не просто исчезнуть, а словно напрочь провалиться в безвозвратную бездну! С этими непростыми, угнетающими мыслями Анатолий Петрович и въехал в утренний, сравнительно молодой город.

Он уже давно проснулся. На новостройках высокие башенные краны поднимали строительные материалы, — и даже в машине были слышны звучные команды “вира” и “майна”. Маршрутные автобусы по улицам, предусмотрительно увлажнённым еще на самом раннем рассвете поливочными машинами, останавливаясь на остановках, оборудованных лавочками и защитными козырьками из плексигласа, возили разношерстный люд, — кого на работу, кого в больницу, а кого просто к кому-нибудь в гости. Были и такие, увы, увы, семья не без уродца, чьи мозги после вчерашней попойки только и смогли настроиться на скорейшее, не важно за чей счет и по какому поводу, похмелье... По тротуарам в оба конца улиц шли пешеходы, но если мужчины в основном — налегке, то женщины вели под руку малышей в детский сад или в школу, да ещё несли сумки — эту их вечную ношу, с утра полупустую, а к вечеру нагруженную сполна — чаще всего разными продуктами. В речном порту, чьи многочисленные грузоподъемные краны, издали похожие на огромные цапли, только на длинных, мощных стальных ногах, жужжа лебёдками, свистя гибкими тросами, пронесли по воздуху, слегка качающиеся на весу, двадцатитонные контейнеры, чтобы погрузить их в трюмы последних в это навигацию с большим водоизмещением грузовых судов.

Поставив свой “уазик” на стоянку с бетонным покрытием перед входом в здание райисполкома, в котором также располагалось на втором этаже и управление сельского

хозяйства, Анатолий Петрович посмотрел на часы — они показывали ровно девять часов утра! “Вот и отлично! — подумал он. — Захватчу Хохлова тёпленьким, прямо на рабочем месте!” И, словно перед смертельной схваткой, внутренние собрался, чувствуя, как нервы теперь уже словно вспыхнули, будто электрические провода, от сильного перенапряжения, стальные мышцы тела туго напряглись, словно готовые равно нанести удар и молниеносно отразить его. Кожа, натянувшись на широких скулах, аж побелела, глаза металлически заблестели, взгляд стал острым, как бритва, и глубоко пронизывающим, будто вонзающийся с невероятной силой и точностью нож...

Дверь с табличкой “Главный агроном” Анатолий Петрович решительно распахнул настежь и, не закрывая её за собой, будто штормовой ветер, сметающий всё на своем пути, ворвался в кабинет. Не здороваясь с Хохловым, только что причесавшимся, освежившимся одеколоном и приступившим за рабочим столом к написанию какого-то документа, грохнулся на стул, на котором совсем недавно сидела улыбающаяся, можно сказать, счастливая Мария. Мгновенно, словно молниевая вспышка, воспоминание о ней ещё больше распалило мозг, заставило стучать по ребрам, как молот по стальной поковке, измученное сердце, кровяными толчками отзываться в висках — и он так зловеще, с такой угрозой посмотрел в ненавистные глаза, что их хозяин испуганно опешил — и ничего другого не смог сказать, кроме как тихо, оторопело, словно оглушенный, поздороваться. Оставив без ответа приветствие Хохлова, Анатолий Петрович откинул резким движением рук полы межсезонной куртки, ослабил узел галстука и грубо, с вызовом, будто сильно ударил по столу каменным сжатым кулаком, спросил его:

— Ну что, мерзавец, будем делать?

— Я вас не понимаю! Вы это о чем?!

— О том самом, что ты совершил уголовно наказуемое преступление, вступив в сговор с очень хорошо известным тебе, между прочим, таким же, как ты, негодяем, водителем с целью покушения на мою, — и не только! — жизнь! Да подвёл он тебя, ох, как подвёл, можно сказать, сдал со всеми потрохами, — разболтав на весь гараж вашу сокровенную, преступную тайну. Уверен, если следователь прижмет его к стенке, то он, по природе такой же трус, как ты, ещё и покаянное признание напишет. Сельповский шофёр, вытаскивающий на своей машине из чёртова кювета мой “уазик” без левого переднего колеса, — того самого, на котором гайки по твоему наущению были ослаблены! — в деталях поведаёт, почему, с чего наущения произошла дорожная авария, в которой я чудом, нет, — для того, чтобы тебя, гадину, призвать к справедливому ответу по закону, назло всем смертям, всё-таки остался жив! В общем — или ты сейчас же, причём прямо на моих глазах, напишешь заявление на увольнение по собственному желанию, чтобы не позже, чем через три дня, с концами уехать из района, или я немедленно, прямо из пока ещё твоего кабинета, иду в районную прокуратуру подавать на тебя заявление!

И угрожающе замолчал, не спуская жёсткого взгляда со своего обидчика. Это позволило Анатолию Петровичу заметить, как при его словах менялось выражение лица главного управленческого агронома — от испуганного замешательства до глубокой паники. Действительно, Хохлов растерянно думал: “Вот подлец этот шоферюга — проболтался все-таки!.. А божился, что он — могила!.. Что сам на директора еще тот зуб имеет! Вот и доверяй людям... Теперь хоть караул кричи, — ведь Иванов, имея крепкие, давние связи в правоохранительных органах, точно добьётся если не возбуждения уголовного дела, то уж точно — тщательного расследования аварии. В любом случае — на весь город поднимется скандал, и чего доброго меня ещё и с волчьим билетом уволят!..” Тяжелый ход его мыслей яростным окриком прервал Анатолий Петрович:

— Ну что надумала твоя дурья башка?! Не тяни понапрасну время! Говори! Мне тут с тобой разговоры разводить некогда да и невагогу противно, — так и хочется, — аж кулаки чешутся! — по твоей самодовольной морде ещё раз, да посильней, чем тогда, — летом в кабинете главного ветврача, съездить! А было бы ещё лучше и совсем тебя, как бешеную собаку, задушить на месте, чтобы ты впредь никому, по крайней мере, на этом свете, ради своего жалкого сластолюбия, голову, как хороший артист, высокопарно, а на деле — лживо, ни морочил!

— Хорошо! — при этих словах Анатолия Петровича испуганно сказал Хохлов. — Я сделаю так, как вы угрожаете, извините, — просите! — малодушно сдался он, словно последний трус, боясь за своё будущее и, конечно, за семью, которая вдруг при крушении всех его надежд на соединение с Марией снова в одночасье стала для него дорогой, необходимой, словно какой-то небольшой кусок земли или спасательный круг, неизвестно как, но оказавшийся рядом попавшему в гибельный, двенадцатибалльный шторм и из последних сил державшемуся на плаву моряку. — Но ведь вы не можете не понимать, что последнее слово в вопросе моего срочного увольнения за начальником управления Паком!

— Согласен, за ним! — твердо ответил Анатолий Петрович, — Но он, уверен, сделает, как требует сложившееся ситуация! Пиши!..

— Сейчас! Сейчас! Только вы даёте честное слово, что после моего увольнения всё-таки не заявите на меня в прокуратуру?!

— Даю! И будь спокоен — сдержу его!

Понимая, что больше испытывать судьбу опасно, Хохлов взял чистый лист бумаги и, написав на нём нужное заявление, расписался. И так тяжело вздохнул, как будто только что закончил многочасовую, без сна и отдыха физическую работу! Руки у него мелко дрожали, на лбу бисером выступил холодный пот. Анатолий Петрович взял написанный лист, вслух, чуть не по слогам, прочитал его — и сурово возмутился:

— А почему число, с какого именно просишь уволить, не поставил?! — вернув заявление, строго потребовал. — Давай, не тни время, как kota за одно место, ставь — сегодняшнее! Тоже мне писарь хренов!

Выйдя из кабинета с дописанным заявлением, Анатолий Петрович с такой силой хлопнул дверью, что покалосило: вздрогнули стены — и по коридору пошел волновой гул... И все же ему успокаивающе подумалось: “Пусть мерзавец побудет в одиночестве... Если не раскается сполна в своей природной подлости, то хотя бы до конца поймет, что иной раз жизнь может запросто так ударить по башке, что и вовек не возрадуешься, ещё и смерть молить будешь о скором приходе... А, впрочем, в народе верно говорят: “Горбатого лишь могила исправит!..” И быстро направился к начальнику районного сельхозуправления.

## 42

Многим людям обычно, если везет, то аж по несколько раз подряд. Но к этой человеческой категории Анатолий Петрович, к сожалению, не относился, — так уж распорядилась матушка-природа, что каждый, даже самый малый, жизненный успех ему давался если не через кровь, то точно — через пот, поэтому он и не удивился, что Пака на месте не оказалась. По словам секретарши, его вызвал к себе первый секретарь — и он, скорей всего, раньше чем через час, не вернется. В душевном порыве, всё ещё никак не отошедший от переживания за Марию, Анатолий Петрович решил: пусть незванко-негаданно, но всё же пойти следом за своим начальником. Но вовремя подумал: “А что, если они со Скоробогатовым не одни... Я со своим вспылчивым характером только дров наломаю, которых и так уже столько вокруг меня наворочено, что, образно говоря, за всю долгую зиму не перетопить...” Решил: пойду-ка я лучше на реку, там у воды, на ветерке, глядишь, — и поостыну..

И направился к Лене по тому переулку, в самом начале которого размещалась контора “Нефтеразведки”. По припаркованной чуть ли не к самому крыльцу служебной машине руководителя можно было смело предположить, что Рафик Абилович находится у себя в рабочем кабинете. Тотчас подумалось: “А не зайти ли к нему, — как-никак с самого конца весны не виделись... Новостей накопилось столько, что и за день не переговорить, не переслушать... А вот надо ли именно теперь, когда ещё с текущими жизненными проблемами, вдруг, как горная, снежная лавина, вновь обрушившимися на мою горячую голову, леденя до огневого жара душу, не разобрался до конца? Скорей всего, — нет!”

Пройдя ещё каких-то двести метров, Анатолий Петрович оказался у гостиницы с тем самым памятным рестораном, в который они с Марией отправились из загса, честно говоря, не утолить голод, а хоть немного по-хорошему опомниться от того судьбоносного шага, который только что так решительно, словно с головой нырнули в светлый, но очень уж глубокий омут, они сделали. Вспоминать то, что так светло начиналось, но, увы, так горько заканчивается, совсем не хотелось, ибо кроме боли это ничего принести не могло. Пришлось прибавить шагу, чтобы скорей миновать здание ресторана — и оказаться на берегу. В том самом месте, куда вышел Анатолий Петрович, он круто нисходил вниз и был матушкой-природой сплошь усыпан огромными гранитными, тёмно-серыми валунами, за века, а может, и тысячелетия, ветрами и дождями, словно войлоком, отполированными до лучистого, солнечного блеска.

Лицом к Лене — величественной, многоводной, как глубокое ущелье, с самой горной вершины притягивающей взгляд всё глубже и глубже — до самого дна, — он сел на один из огромных камней и стал пристально, будто в детской игре “Кто кого переглядит”, смотреть на ровную, поблескивающую в солнечных лучах, стремительно текущую воду. Ветер к этому времени почти стих, крутые волны понемногу улеглись — и только небольшая морщинистая рябь напоминала о них. Размётанные потоками воздуха свинцовые облака поодиночке быстро просветлели и наплывали с юга — из-за

противоположных сопок, отражаясь так глубоко в прозрачной воде, что казались огромными клубками мокрой ваты, а когда проплывал какой-нибудь теплоход, то они вместе со стоящими на якорях прогулочными катерами качались на разбегавшихся от острого судового форштевня по сторонам, довольно высоких, немного гривастых, пусть и пологих волнах.

Чайки почему-то в этот утренний час, как на протяжении всего солнечного, с редкими дождями, лета, не летали стремительно над рекой, то поднимаясь ввысь, почти к облакам, то чуть ли не врезаясь, как нож, в воду, чтобы жадно высматривать плавающих неосторожно у самой её поверхности рыб. А, сбившись в небольшие стаи, прижав к телу свои белые-белые, как стерильная марля, с чёрной каймой на концах, гибкие крылья, словно озябнув на влажной, прохладной свежести, красноречиво говорящей о приближении грустного времени отлета, недвижно сидели на галечной пологой части берега. Они, то ли с утра пораньше утомившись, отдыхали, то ли думали о чем-то своем, птичьим, с глубокой тоской смотря куда-то вниз по течению, хотя держать многотысячный путь им скоро предстояло совсем в другую сторону...

Чем дольше Анатолий Петрович смотрел на реку, тем всё явственней душой чувствовал, как неумолимо спокойней и светлей становились его мысли, пока совсем не потекли, словно речные струи, ровно, даже как бы степенно. И все горькие треволения последних суток вместе с водой будто унесло куда-то далеко-далеко на север. Невольно подумалось: “Ладно, в конце концов, в своем мужском разборе с этой сволочью — Хохловым, я сегодня точку поставлю! Да и с Марией, увы, тоже всё ясно — пусть катится вслед за ним! А то, что он семейный, совсем не проблема, — как часто любит поговаривать мой друг Геннадий, — жена — не стена! — подвинется... Только я сам-то, оставшись один, что теперь буду делать?! Не вопрос! Как с раннего детства, неумолимо заниматься работой, работой и ещё раз — работой, не жалея живота своего, не считая времени, поскольку только в ней я чаще всего и нахожу то единственное упоение, от которого сердце поёт, глаза, как костер на ветру, полыхают вдохновенным светом! Да, пожалуй, только она ни в чём никогда и не предавала меня!..

И потом, раз уж я вернулся к писанию стихов, то надо и в этом судьбоносном деле неумолимо двигаться всё выше и выше, чтобы непременно в поэзии сказать своё веское слово! В том, что это будет именно так, а не иначе, конечно, сомневаться стоит, но ведь талант, если он есть, то его, как говорят в народе, не пропёшь, не растеряешь по жизненной, для одних — длинной, для других — короткой, но в любом случае — очень тряской, труднопроходимой дороге. Главное — надо и своей поэзией, словно любимым делом, жить, как дышать!.. Смотришь, с её помощью и моя любовь к Марии, как бы она ни была сегодня сильна, понемногу, словно паводковая вода, пойдет на убыль! Да и потом — не зря же знающие люди говорят, что время лечит!..”

Вдруг в мозгу, словно огневая молния, вспыхнули, пророческие что ли, стихи:

*Домой не приезжал давно,  
судьба-работа не пускала.  
Но ты, я верил, всё равно  
меня, как прежде, ожидала.*

*Но, наконец, перед тобой  
стою у растворённой двери,  
стою, смотрю и, Боже мой,  
глазам растерянным не верю...*

*В былое время, каждый раз,  
встречала ты улыбкой верной,  
теперь с печалью синих глаз  
молчишь, дрожа губами нервно.*

*Как будто, напрочь разлюбя,  
ты обо мне навек забыла,  
да так, что не простить тебя,  
как бы прощенья ни просила.*

*Рассветно, сквозь глухую тьму  
тревог, сомнений, словно к морю, —  
спешил я к счастью своему,  
а получается, что — к горю...*

“Вот даже и стихи подтверждают правильность моего вчерашнего решения! — вновь подумал Анатолий Петрович. — А может, всё-таки в этот раз я ошибаюсь?! Нет, сто тысяч раз — нет! Никто, повторяю, никто — не имеет права,неважно, — по недомыслию или нарочно, — топтаться грязными ногами на моих солнечных чувствах, тем более тот человек, кому так свято поверил! Кого, пусть в образном воображении, но вознёс до золотых небес! Всё, хватит! — больше никаких сомнительных размышлений! Только — вперёд и вперёд к новой литературной цели!.. И не может быть такого, чтобы небеса, в конце концов, услышав мои страстные мольбы об ответной любви, не послали мне её! Иначе зачем тогда вообще жить? Незачем!.. Прав отец, однажды сказавший: для любого человека, как бы он вдохновенно ни жил, чем бы солнечно ни занимался, главным будет такая любовь, с которой и умереть не страшно!..” И, посмотрев на часы, понял: надо возвращаться — Пак уже должен быть на месте. Так и оказалось.

Он сразу же, несмотря на срочные, не терпящие отлагательства дела, едва ситуация позволила — почти не держа в приёмной, принял Анатолия Петровича и, по-отечески улыбаясь, крепко за руку поздоровался с ним.

— А что такой хмурый, осунувшийся, — спросил он. — Неужели на тебя так угнетающе подействовала вся эта волокита с расследованием якобы имевшей место переплаты за возведение стен сельхозхимовского гаража, что впал, как старик, в непроходящую бессонницу?

— Действительно, я этой ночью, скажу так, немного бодрствовал, только, увы, по совсем другой причине, но сегодня, честно признаюсь, вдруг ставшей более важной для меня, чем любая другая!

И решительно, как своё, положил на рабочий стол, перед своим начальником, заявление... Пак тотчас близоруко поднёс его к глазам, тем не менее, не спеша, несколько раз, словно не веря себе самому, прочитал и, ничего не понимая, удивлённо произнес:

— Так эта просьба об увольнении да ещё и с сегодняшнего дня не твоя, а Хохлова, ещё и двух месяцев не отработавшего в новой ответственной должности! Ничего не понимаю!.. Все-таки можешь нормальным человеческим языком объяснить, что происходит?..

— Хорошо! Только не спрашивайте меня, какое мне дело до судьбы вашего главного агронома! Просто постарайтесь верно понять, что, может, к сожалению, а может, и к счастью, жизненные обстоятельства сложились таким образом, что это заявление можете считать моей глубочайшей просьбой, извините, требующей немедленного выполнения!

— Не хочешь ли ты, Анатолий Петрович, этим самым сказать, что я должен решительно сделать выбор между тобой и Хохловым?

— Не хочу!.. Но коли вам будет в таком случае легче принять решение об увольнении своего сотрудника, то будем считать, что вы правы!.. Но слово даю — в своё время, конечно, если мы ещё хоть раз увидимся, исповедоваться перед вами до конца, как перед отцом родным!..

— Даже так?!

— Так!

На несколько минут в кабинете повисла глубокая тишина, в которой Пак, смотря на молодого директора, сидящего с таким видом, словно его огромной железобетонной плитой придавили — и он из последних сил удерживает ее, чтобы она вконец не сплющила его, проникся к нему тем, пусть непонятно по какой причине, но всколыхнувшим глубоко душу сочувствием, которое заставило наконец взять стоящую в письменном коричневом приборе чернильную ручку и заявление Хохлова завизировать. Потом он вызвал начальника отдела кадров, женщину в возрасте, полноватую, с гладко зачесанными назад и собранными в узел, тронутыми легкой сединой волосами, с умными карими глазами, одетую в вязаную кофту и длинную черную шерстяную юбку, и велеть ей срочно подготовить приказ об увольнении главного агронома по собственному желанию. И только после этого спросил Анатолия Петровича:

— Теперь, надеюсь, ты доволен?

Но его молодой товарищ продолжал молча сидеть, словно ко всему происшедшему на его глазах он потерял всякий интерес. А ведь почти так оно и было, ибо ему вдруг до боли в сердце вспомнилось всё то, что можно сказать, потрясло его судьбу до самого основания — и он теперь даже не знает как дальше жить, в чём находить силы, из чего черпать и черпать вдохновение для творчества не только поэтического, но и производственного, ибо от природы никакое дело без душевного, головокружительного полета не совершал. Наконец, увидев вопросительно устремлённые на него глаза своего прямого начальника, он, словно долгожданно вынырнув из морской пучины, виновато произнес:



— Извините, что вы, Владимир Андреевич, сказали!  
— Спросил: “Доволен ли ты?”  
— Чем?.. Ах, понял — увольнением Хохлова! Честно говоря, даже и не знаю!  
Нет, — да-да! — именно так! Но в любом случае лучше не иметь рядом такого подлого человека! И, поверьте, я знаю, что говорю!

И снова ему с невыносимой тревогой подумалось о Марии. И он, словно окончательно приходя в себя, твердо спросил Пака:

— А можно я по вашему телефону позвоню?  
— Куда, если не секрет?  
— По делам!..  
— Понимаю: хозяйство, особенно такое, как у тебя, — больно уж хлопотное, оставленное без присмотра даже на день, тревожит! Звони, конечно! Я же пока к председателю райисполкома зайду!.. — И ушел.

Анатолий Петрович, движимый сильным порывом скорей узнать, как обстоят дела со здоровьем Марии, даже не заметил, что, словно на автомате, сел в начальственное кресло и с замиранием сердца набрал номер родильного отделения поселковой больницы. В трубке долго шли продолжительные, томительные гудки, наконец в ней сквозь какую-то трескотню плохой телефонной связи, словно из морозной зимней пурги, раздался слегка дрожащий голос Ирины Дмитриевны:

— Алло! Алло! Больница на проводе!.. Не молчите, — я слушаю вас!  
— Это Анатолий Петрович!  
— Наконец-то! А то я уже и за вас волноваться стала! Откуда звоните?  
— Из города! — быстро ответил он.  
— С какого номера? — и, узнав, сказала: — Я вам сейчас перезвоню!  
— Жду!

Где-то через минут пять, показавшихся вечностью, междугородний телефон зазвонил... Анатолий Петрович поспешно, затаив дыхание, схватил трубку... Свой разговор Ирина Дмитриевна начала с радостного сообщения о всё улучшающемся самочувствии Марии. И она уже, скорей всего, этим вечером вернётся домой. А при ней не стала разговаривать потому, что не хотела ставить её в неудобное положение, — ведь он обязательно задал бы и другие вопросы... И чтобы ответить на них, как на духу, она вот и перешла в ординаторскую, где обычно в это время никого нет, поскольку все медсёстры делают в процедурной палате больным уколы, перевязки, оказывают другую медицинскую помощь.

— Всё это понятно! — перебил нетерпеливым голосом врача Анатолий Петрович. — Вы мне ответьте: Мария в состоянии, как прежде, говорить, здраво, рассудительно мыслить, а главное — отдавать отчет своим действиям?

— Ну, конечно!  
— Тогда у меня к вам, извините, прямой вопрос: а вы её не спрашивали о том, что именно её заставило или вынудило, — какая разница! — решиться на уж слишком крайний шаг?..

В трубке на некоторое время возникло тягостное молчание, лишь было слышно ворчливое потрескивание. Видно, ответить с ходу, без обдумывания, с подбором конкретных, верных слов, выражающих суть случившейся прошедшей ночью, оказалось для Ирины Дмитриевны делом непростым. Наконец она, словно через не могу, проговорила:

— Как ни странно, но несомненное знание вашего непримиримого, железного и вместе с этим, на мой психологический взгляд, очень обидчивого характера, непоколебимая способность всегда и во всем: малом и большом — держать свое слово. Наверно, так...

— Вы что там сговорились что ли? — вспыхнул Анатолий Петрович. — Решили на меня такой страшный грех, как попытку самоубийства, повесить! Или я что, по-вашему, должен был и дальше, как таёжный лось ветви деревьев, наставленными мне какими-никакими, но рогами сшибать язвительные взгляды посельчан? Знаете, по одному из таким поводов Михаил Лермонтов в одном своём великом стихотворении, словно кровью, написал:

*Всё это было бы смешно,  
когда бы не было так грустно...*

— Да успокойтесь вы, Анатолий Петрович! Хотя бы до конца, чисто из уважения ко мне выслушайте человека, желающего вашей семье добра!

— Ну-у! Слушаю!  
— Так вот, — когда вы в жёсткой манере, похожей на самый настоящий ультиматум, указали ей на порог, да еще и как бы к Богу отправили, она, словно перед бездной,

в которую вот-вот сорвется, вдруг пронзительно до боли поняла, что никого не любит, кроме вас, что некоторое увлечение Хохловым является ни чем иным, как её очередным взглядом на жизнь сквозь розовые очки. Но поскольку вы никогда ей даже этого не простите, то для неё жить дальше не имеет никакого смысла!

— Что, что вы такое сказали?! Или я от волнения ослышался?! Она, она, которая... любит меня?! И из-за этого решила? Быть не может, ну хоть на куски режьте! — и, впад в глубокое смятение, словно от солнечного удара, медленно положил трубку на телефон.

Через минуту, вспомнив, что он оторвал от важной работы уважаемого человека, встал, подошел к окну, устремил горький взгляд в осенние, просветленные небеса и, словно надеясь оттуда получить на свой вопрос точный ответ, растерянно спросил себя: “После того, как я простился со своей женщиной, которую страстно полюбил, но узнал, что и сам ею любим, что же мне делать-то, что?!” Но, сколько он с надеждой ни ждал, ответа — ни в душе, ни в мыслях — не было. Тогда он вышел в приёмную, посмотрел невидящими глазами на секретаршу, женщину пенсионного возраста, всегда жизнерадостную, с искрящимися светом внимания синими глазами, с крашенными в каштановый цвет волосами, спадающими на вязаную серую кофточку. Она при его появлении тотчас, то ли из уважения к нему, то ли потому, что её начальник на планерках хорошо отзывался о нём, даже иной раз ставил в пример другим, более старшим по возрасту, обладающим большим опытом руководства хозяйствами директорам, встала из-за стола и, не говоря ни слова, смотрела, как он, словно вконец уставший, не спеша, с трудом надел куртку и вышел в коридор, даже не закрыв за собой дверь.

Ветер, дувший с севера несколько дней подряд, принося угрюмые тучи, готовые пролиться ливневым дождем, наконец, словно уж больно притомился, почти стих. По крайней мере, на улице, защищённой с двух сторон жилыми и административными, построенными из кирпича и стекла пятиэтажными домами и густыми кронами парковых деревьев с вечнозелёной, длинной хвоей, источающей терпко-горьковатый запах, настоящий на смоле, солнечном тепле и дождевой влаге. О своем присутствии ветер напоминал лишь бессмысленной игрой с какими-то цветными бумажными обёртками, жёлтой, уже успевшей пожухнуть, занесённой из городского парка, березовой и тополиной листвой, то лениво взметая их и пронося несколько метров вдоль тротуаров, то медленно, как на парашютиках, опуская, только уже на другое место. Ещё утром по небу сплошным фронтом плыли плотные облака, теперь же они значительно поредели, розовато просветлились и служили лишь своеобразным стаффажем на огромном природном полотне пронзительно чистой синевы.

Анатолий Петрович сел за руль своего выдавшего вида “уазика”, не спеша, развернулся и, верно заняв крайнюю правую дорожную полосу, чтобы не мешать медленной езде другим машинам, поехал назад в поселок, по воле судьбы как бы ставший ему родным... Теперь, когда он был один на один с собой, вопрос, вспыхнувший в воспаленных от бессонно проведенной ночи, от треволений, свалившихся ему на голову, как ледяной снег с крыши, возник снова. И неспроста, ибо без полного ответа на него не имело никого смысла возвращаться домой... А как же совхоз, вверенный ему, ставший для него очередной проверкой жизненного опыта, закалённой воли на самый что ни на есть болевой излом?.. Тоже подождёт, поскольку предстоящие проблемы уборки капусты за максимально сжатые сроки и другие, связанные с переходом на зимне-стойловое содержание скота, подачи тепла в жилые и производственные помещения — всех не перечислить! — успешно в полной мере решить можно только с устремлённой в будущее душой, лишённой каких-либо сомнений, ощущений, что в недавнем прошлом упущено очень важное!..

И, охваченный, как мятежным пламенем, неутомимым поиском ответа на свой вопрос, он вдруг стал размышлять: “Да, Мария, и говорить нечего, — легкомысленно поставила меня в дурацкое положение, прежде всего — в глазах моих подчиненных, привыкших видеть во мне пример негибавшей воли, неутолимой жажды жить и творчески подходить к решению тех или других производственных вопросов, да и не только... Но поскольку, честно говоря, им по большому счету никакого дела нет и быть не может до моей личной жизни, я из-за случившегося этой ночью происшествия с Марией не должен пасовать перед ними, ходить на работу, словно глубоко в воду опущенный. Конечно, не совсем хорошо, не совсем оправданно, что в отношениях с любимой женщиной вышло по известной народной пословице: “Нет худа без добра...” Но поскольку худо, пусть больно взорвав душу, как сухой порох ядрёный пенёк, миновало, а добро по-настоящему заговорило в полный, звонкий, повелительный голос, разумно ли продолжать потакать ущемленному, проклятому мужскому самолюбию? Позволять ему травить и травить и без того уставшую, словно продолжающую из последних сил противостоять

какой-то свинцовой тяжести душу? Скорей всего, нет! А коли так, то что же я, чёрт окаянный, голова соломенная, к своему счастью, да-да, именно — к счастью! — еду, как на самых настоящих похоронах?!

Однако не торопись, иначе, как говорится, людей насмешишь! Ведь Мария, считай, чудом вернувшаяся с того света, захочет ли сама, пусть и любя, не то что жить со мной дальше, но и вообще видеть меня? Не зря же она призналась, что ей со мной ох, как тяжело... А теперь, после всего пережитого на пределе человеческих возможностей, может быть, и вовсе невыносимо! Нет, это вложиться в рамки разумного ну никак не может, потому, что она, её величество женщина, наконец по-настоящему полюбив, по своей воле, вполне сознательно, поставила на одни весы судьбы окончательный разрыв с дорогим человеком и саму смерть, чем бы она вызвана ни была! Которая, пусть временно, но, увы, перевесила, но, благодаря небесам, к счастью, не сняла свой скорбный урожай, и подтвердила, что Марии жизни без меня нет! Поэтому не забывай-ка, и без того, кипящую от треволнений последних суток дурацкими сомнениями, башку, а жми, да пошибче! — на педаль газа!”

Анатолий Петрович высоко вскинул голову, резко мотнул ею несколько раз, словно хотел в самом деле разогнать последние сомнения, грозовой тучей нависшие над душой. И стал, как несколько часов назад, только с вновь ставшим светлым-светлым сознанием из-за того, что и в этот раз ему удалось ценой невероятных духовных сил устоять перед ударом судьбы, разгонять служебный “уазик” до предельной скорости, как будто вдохновенно хотел вместе с ним, как стремительный сокол, крылато взмыть в бескрайние небеса, где с новой силой разгоралась его путеводная, единственная звезда. И остро, до боли в сердце понял, что нестерпимо жгуче желает как можно скорей увидеть здоровой свою ненаглядную женщину, чтобы, страстно обняв её за такие трогательно хрупкие плечи, задохнуться от чувства рассветной нежности к ней.

Но хорошо зная свою очень ранимую душу, глубоко переживающую даже небольшие горестные изменения в этой быстротекущей, быстролётной жизни, тем более глубоко личной, Анатолий Петрович не мог не понимать, что вонзившаяся, как острая заноза, в сердце, пусть случайная, но тем не менее горькая обида, — больше на себя, чем на Марию, — будет до конца его дней, в зависимости от разных обстоятельств, то усиливаться, заставляя снова и снова страдать, то как бы забываться, но и в этом случае — саднить и саднить... Но разве тогда, да и много позже, у него, готового ради любви на невиданно благородные поступки, был хоть какой-нибудь выбор? Нет!.. Да и кто знает — есть ли он вообще, ибо не человек выбирает любовь, а любовь выбирает человека. И Анатолий Петрович, лишь на мгновение омрачившись, выдохнул: “Вот и ладно... В конце концов, никто в полной мере не принесёт человеку ни огневой любви, ни светлой радости, увы, и горя, кроме него самого! На этом мир наш стоял и, надо упрямо, нет, стоически надеяться, что стоять будет до конца последних времён!”

А день всё больше обещал быть погожим: почти до конца вкатившись на свою небесную вершину, по-осеннему в меру яркое горящее золото-малиновое солнце, словно из огромного ковша, всё выплёскивало и выплёскивало на землю тёплый свет. Он, как жарким летом, не слепил глаза, заставляя сощуривать их, но не утомимо сушил дорожное полотно, согревал каким-то чудом сумевшую устоять под сильными порывами ветра пожелтевшую листву на деревьях, мелькавших сразу за кюветами, поросшими давно потерявшим светло-красный цвет иван-чаем. Последние разрозненные перистые облака, словно подождённые золотистыми лучами, полыхали кумачовыми стягами, трепетавшими на вешнем ветру, плыли лишь по самым краям небосвода — и он, во всю свою неоглядную, глубинную ширь приветливо заголубев, распахнулся настужь!

Восторженно любуясь его неповторимой красотой и божественным величием, исполненным притягательной силы тайны, невозможно было вновь и вновь окрылённо не думать, что и жизнь, какой бы порой печально-суровой ни казалась, наконец сполна открывает перед тобой солнечные двери, чтобы вдохновенно жить, верить и любить!..

ЕЛЕНА ПИЕТИЛЯЙНЕН



## ПЕРЕГЛЯНУВШИСЬ С ДЕТСТВОМ

РУСЬ

Утром сонные осины  
Ветви моют в облаках.  
В детстве Русь меня носила  
На берёзовых руках.  
Убаюкивала ветром,  
Песней самую простой,  
Обливала лунным светом,  
Как колодезной водой.  
И, оргán грозы настроив,  
Тишину-покой поправ,  
Укрепляла дух настоем  
Из огня и росных трав.  
А когда душа приникла  
В тихой горечи к полям,  
Угощала земляникой  
Солнечных своих полян.  
И утраивались силы,  
Восставал бунтарский нрав!

---

*ПИЕТИЛЯЙНЕН Елена — главный редактор журнала “Север”. Автор нескольких книг стихов и прозы. Лауреат премии Президента РФ. Награждена медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени, медалями им. Ф. И. Тютчева и им. М. Ю. Лермонтова, а также медалью Союза писателей Беларуси “За большой вклад в литературу”. Секретарь правления Союза писателей России. Председатель Карельского регионального отделения Союза писателей России. Кандидат педагогических наук. Заслуженный учитель Республики Карелия.*

Но лицом в подол России  
Из душистых тёплых трав  
Я в отчаянье безмерном  
Упаду ещё не раз,  
Сохранив святую веру  
В Бога. В Родину. И в нас.

\* \* \*

Я бежала за тобой, задыхаясь,  
Я по имени тебя окликала.  
А луна, в густой волне трепыхаясь,  
И светила-то уже вполнакала.

Я бежала за тобой, торопилась.  
Я боялась — пропадёшь вдруг из виду.  
Но сомнением своим зацепилась,  
Как за встречный сучок, за обиду.

С лёгким хрустом я её обломила,  
И сомненья порвала в лоскуточки.  
Подожди меня, желанный мой, милый!  
Мне осталось до тебя два шажочка...

Слава Богу, догнала-добежала,  
Хоть скрутила моё сердце усталость.  
Больно ранило меня страсти жало.  
А взглянула на тебя — обозналась...

\* \* \*

С годами мы лишь моложе.  
И ценится больше вкус  
Жизни. Но дом мой сложен —  
Тёмен от времени брус.  
В сеточке трещин печка,  
Словно в морщинках лицо.  
Так хочется выйти беспечно  
Босой на сырое крыльцо  
И, не успев одеться,  
Отважно грозить грозе.  
Переглянувшись с детством,  
Вприпрыжку бежать по росе...

\* \* \*

Мой резвый ветер лес распотрошил?  
И на кого, скажи, твоя охота?  
А дождь косыми струями зашил  
Прореху между небом и болотом  
И там печалью больше не сквозит.  
Уймись! Не рви и мой подол натужно,  
Смотри: звезда застенчиво скользит...  
Желаний нет. А может, и не нужно?  
Ах, ветер, ветер! Мой соперник-друг!  
Как будет жаль с тобою мне прощаться!  
Тревожным солнцем вызревает счастье  
И завершает свой последний круг...

СВЕТЛАНА МАКАРОВА-ГРИЦЕНКО



## ПРЫЖОК БАРСА

РАССКАЗ

В комнате пахло пирогами, сдобными, пропечёнными, с яблочной начинкой. Бабушка запасала яблоки при первых морозах, резала на четыре части, клала в наволочку и выставляла в холодные сени. К утру яблочки становились льдисто-твёрдыми и слегка прозрачными. Так и хранились чуть не до весны, рачительно расходуемые хозяйкой на воскресные угощения.

Варюшка улыбалась во сне. Эх, давненько она бабушкиной вкуснятины не едала! И вот, наконец, дождалась, поспел-зарумянился бочок сладкого, духмяного... Когда только ухитрилась бабушка печку натопить да состряпать так, чтоб Варюшка не учуяла даже! Чтоб и сахарной присыпки не лизнуть, пока тесто поспевало. Но зато сейчас, вот только глаза откроет и...

Веки не слушались, разомкнуть ресницы никак не получалось, и вместо аромата яблочного — ядовитая горечь резко и сухо перехватила горло, грудь сдавило от нехватки воздуха. Даже голову повернуть Варюшке удалось с трудом. Преодолевая навалившуюся на неё тяжесть, злую неведомую силу, лишившую способности видеть, свободно двигаться, она заставила себя скатиться с кровати вниз, на пол. Зажала рот рукой, спасаясь от жёсткого сухого кашля. Наконец, слёзы промаслили глаза, и она вроде разглядела мутные очертания комнаты. Даже не пытаясь встать, из последних сил поползла к двери. Воздуха в груди уже не было, сердце выскакивало и билось в виски, глаза — горячие угли, кажется, вот-вот разорвутся, рассыплются! “Умираю! — ужасом полыхнуло в мозгу. — Люди! помогите! Умираю...”

---

*МАКАРОВА-ГРИЦЕНКО Светлана Николаевна — поэт, прозаик, публицист, возглавляет Краснодарскую краевую писательскую организацию, главный редактор газеты “Кубанский писатель”. Заслуженный деятель искусств Кубани, лауреат литературных премий, публиковались в журналах “Наш современник”, “Роман-журнал 21 век”, “Московский вестник”, “Медный всадник”, “Невский проспект”, “Север”, “Земляки”, “Дон”, “Бийск литературный” и многих других. Живёт в Краснодаре.*

Она доползла до двери и, теряя сознание, всё же успела, смогла толкнуть, распахнуть её. Сколько пролежала под порогом — не помнила, как и то, когда смогла преодолеть сенцы и торкнуть дверь входную. Морозный воздух с улицы прочистил лёгкие, в глазах прояснилось. Перевалившись на крыльцо, Варя попыталась было приветствовать, но не смогла, приступ тошноты выворотил внутренности. Тело колотило от мороза, пробравшегося даже под мышки, ведь одна ночнушка на девчонке, а ступени крыльца колючим инеем закуржавели. Возвращаться в хату за тёплой кофтой она не решилась, нащупала какую-то тряпку в сенях. Прикрыла плечи и сползла по ступеням во двор. Рассвет окрасил край неба бледной розовиной, значит, соседка тётка Настя уже на ногах. А вот у Варюшки встать на ноги никак не получалось. Сильно кружилась голова... Медленно, на четвереньках, она смогла доползти до забора и только там приподнялась, потом, перехватывая жерди ограды, добралась до калитки соседки и закричала:

— Тётя Настя!.. Тётя!.. Тётя... Настя...

Та выскочила, не успев даже покрыть платком голову:

— Это ты, Варюшка?! Вот испугала! Голос, как из преисподней.

— Угорела я, тёть Насть... заслонку в печке закрыла рано...

В школу в тот день Варюшка не пошла. Лежала в просторной горнице у соседки, пока та, управившись с хозяйством, выстужала-проветривала хату Варюшкину. Больше помочь некому, девчонка — круглая сирота. В три года потеряла родителей. В пятнадцать осиротела окончательно — умерла бабушка. Самый близкий, дорогой человек. Бабушка воспитывала Варюшку после гибели родителей, жизнь которых оборвалась студёным зимним вечером на ледяной автотрассе. Мать свою Варюшка не помнила, всё самое дорогое и нежное связано было с бабушкой. И вспоминая или представляя маму, неосознанно она ставила на её место бабулю Тасю... А та расстраивалась, вздыхала о дочери, старалась побольше о ней рассказывать внучке. Бледно-васильковые глазки баб Таси болезненно слезились, сухая кожа на лбу собиралась мелкими складочками. В какой-то момент бабушка вдруг замолкала на полуслове, и Варюшке казалось, что это она нечаянно помешала рассказу. Наверное, так и бывало. Но однажды, набравшись духу, бабушка всё же договорила и призналась в невозможном! Оказывается, Лена, мама Варюшкина, не родная в семье. Своих детей Господь супругам Таисии Петровне и Матвею Захаровичу не дал. На втором десятке лет совместной жизни взяли они свою Ленушку из “Дома малютки” совсем крохой, и росла девчужка в любви и заботе, радовала родителей приёмных. И кто бы знал, что сиротская судьба от матери передастся в наследство Варе!

Рыдала тогда бабушка, убивалась, но принять ответственность за судьбу Варюшки, не посоветовавшись с внучкиной кровной роднёй, не решилась. И дед Матвей не стал спорить, кивнул, поддакнул супруге. В ту пору был он ещё вполне моложав и розовощёк, крупная лысая голова крепко сидела на покатых плечах, на которых так любила кататься внучка. Умер дедушка годков через шесть, когда Варюшке исполнилось восемь.

Не дождавшись ни от сватов, ни от иных родственников отца Вари никакого ответа, бабуля набралась смелости и со словами: “Пойдёшь к бабе Лиде?” — взяла Варюшку за руку. Двинулись они на дальний край деревни, где жили сваты. Оттепель за день разрыхлила дорогу, снег чавкал под ногами. Бабушка охала, причитала, мол, валенки Варюшкины промокнут, и разболеется девчужка после похода этого. А та шагала притихшая, будто и вправду чувствовала, что судьба её решается.

Когда подошли к дому, уже смеркалось. Бабушка робко заглянула в окно, видно было, как за большим столом собрались вечерять дед Демьян Иванович, его невестка, трое внучат от старшего сына. Стукнула бабушка кулачком по стеклу, через короткое время занавеска задвигалась и выглянула телесистая старуха в пёстром халате. Видно, узнав пришельцев, быстро мотнулась в сторону.

— О! Хоть бы знак какой дала, — постаралась заглянуть подальше в комнату баба Тася.

— Ба, и мне покажи, и мне!

Бабушка не без труда подняла девочку повыше, приблизила к окну. Оглядывая открывшуюся ей большую комнату, Варюшка ухватила взглядом фигурки ребятшек за столом, их мордашки весёлые, широкоскулое смуглое лицо деда, он смотрел в сторону окна.

Варюшку снова поставили на землю. Прошла минута и, наконец, открылась входная дверь.

— Кто там? Чего хотели? — фигура в тёмном проёме так и не проявилась, только голос.

— Лидия, я вот внучку вам привела... Примете?

— ..Какую внучку? — раздалось из темноты. — А наши все дома! — сухо отрезала хозяйка и поспешно захлопнула дверь.

Больше Варюшку в гости к родственникам не водили. А у неё в памяти остался голос старухи и озорной галдёж ребят в хате. “Весело у них”, — думала она, послушно шагая за сердитой бабушкой. Когда вернулись домой, бабуля плакала и долго молилась на икону Богородицы, что висела в углу горницы. Дед Матвей, хмуро поглядывая на неё из-под толстых очков, сидел с газетой. Позволил Варьке дольше обычного возиться с котёнком. И, загоняя её в постель, твёрдым голосом поставил точку: “Наша ты, Варюшка, наша!.. Слышь, мать? Наша Варька!”

— Тётъ Насть, вы только директору школы не говорите про то, что случилось. А то он точно в детдом отправит... — Варюшка облизывала пересохшие губы, в голове немного стихло, но оторваться от подушки, даже повернуть голову она не решалась.

— А как жить будешь? Вдруг опять с заслонкой не совладаешь?

— Совладаю, сумею. Баба Тася научила. И Владимир Александрович обещал, что в детдом меня не отдаст. Под свою ответственность комиссии обещал. А теперь, если узнает, вдруг передумает?..

— Ладно... поглядим.

— Не хочу я в детдом, сама справлюсь!

— Я к тебе и по вечерам теперь приходите буду, проверять, чтоб не угорела больше... На, попей молочка парного, пока тёплое. Открой глаза, Варька!

Варвара Семёновна Усачёва вздрогнула и проснулась. Некоторое время не могла понять, где она, что происходит. Сон из давнего прошлого, в котором снова пришлось ей пережить страшное сиротство, холод выстуженной хаты, беспросветное одиночество представились так ярко и зримо, что впору забыть пролетевшие пять десятков годков. И поверить, будто она девчонка тонконогая. И нужно заканчивать восьмилетку, ехать в областной центр, сдавать экзамены в торговый техникум. И будто впереди ещё встреча с суженым, рождение сына, впереди годы обретения счастья: выстроен дом, и живёт в нём теперь большая семья. Под одной крышей живут Варвара Семёновна с супругом Виктором Сергеевичем, сын Роман с невесткой Ириной да четверо внуков. Старшей, Анфисе, — четырнадцать, Олесе — десять, Захар младше на девять месяцев, а Игорьку седьмой год пошёл.

И даже трудно теперь определить, что в этом счастье главное. Встреча с застенчивым добросердечным Виктором в застойном семидесятом? Когда ещё верили в реальность построения коммунизма, искренне пели “Комсомол — не просто возраст, комсомол — моя судьба”. На продуктовых полках в сельпо стояли ржавые огурцы в трёхлитровых баллонах, да лежали вафли “Лимонные” в промасленных обёртках.

Подруги Варвары по комсомольским путёвкам уезжали на “стройки века” — Саяно-Шушенскую ГЭС и Байкало-Амурскую магистраль, и она тоже мечтала стать ударницей какой-нибудь великой комсомольской. Но Виктор, а в то время они уже поняли, что должны быть вместе, страдал куриной слепотой. С наступлением сумерек он терял зрение и практически не мог передвигаться. Предупреждали Варвару подружки, мол, намаешься с инвалидом.



Но Варвару разве сломить? Влюблённые решили после свадьбы переехать на Кубань, где много солнца и не бывает длинных тёмных холодных зим, как в матушке-Сибири. И вот сорок лет замужества пролетели одним ясным днём.

Но разве случилось бы счастье, если б не рождение сына? Для Варвары, как услышала она, наконец, “басок” Ромашкин, мир поменялся. Наполнилась жизнь до краёв: главный человек — сыночек, родная кровиночка, появился на кубанской земле, в городском посёлке, что расположен в предгорье Черноморском!..

Он подрастал, взрослел, и всё больше крепла связь матери и сына. Варвара любила и гордилась сыном. В самом деле, он лучший — умный, хорошему упрямый, внимательный, трудолюбивый. Вот хотя бы случай с химией и геометрией, которые поначалу никак не давались мальчишке. От предметов этих в первый год изучения — слёзы одни. Двойки сплошные! Но по прошествии времени и в химии, и в геометрии сын блеснул не раз. Последняя заинтересовала Романа после фильма “Укрощение огня”, снятого по биографии легендарного Королёва. Так потряс мальчишка рассказ про конструктора ракет, легко справлявшегося со сложнейшими формулами и расчётами, что чуть ли не на следующий день мальчишку от учебника геометрии оторвать стало невозможно. Он заново проштудировал программу шестого класса, самостоятельно освоил новый материал седьмого и принял за восьмой. Причём иногда находил даже собственные варианты доказательств теорем. И каждый раз математичка Тамара Николаевна, поставив отличную оценку в журнал, оглядывала класс с видом победительницы!

Из-за “страшной” химии, не понятой им с первых уроков, Роман чуть не стал второгодником. Хотя в следующем классе именно Ромашка защищал честь школы на районных химических олимпиадах, даже сам удивлялся! “Химическую” историю Варвара относил к проблеме учительской, а может, к не осознанной сыном влюблённости. Иначе как объяснить, что с уходом “химички” в голове Романа наступило просветление. С новым педагогом он быстро разобрался в химических реакциях. А до этого почти год один взгляд на Ольгу Александровну, точёную брюнетку со строгим голосом, лишал парня сообразительной способности. Не помогали ни учебники, ни подказки и списывание у соседа.

Когда однажды, на одном из открытых уроков, где по уговору предстояло ему блеснуть знаниями, Роман узнал в присутствовавших ту самую брюнетку, в голове ученика снова помутилось. Едва-едва победитель олимпиад пролепетал ответ на вопрос, заданный педагогом.

Со школьных лет о своих тревогах-заботах Роман привык откровенничать с матерью, делился с ней юношескими переживаниями. Варвара Семёновна дорожила доверием сына. Сомнения его старалась разрешать, вселяя уверенность в себе, поддерживая во всём.

Когда Роман женился, потребность в откровенных разговорах не исчезла. Реже только случались они, ведь жила теперь в семье Усачёвых любимая Ромашкина жена — Ирина. Вошла она в дом — и будто всё вокруг осветила! До чего хороша Иринка! Русоволосая, голубоглазая. Высокая, тонкорукая, а главное — спокойная и терпеливая, с улыбкой кроткой. Кажется, и не бывает таких, остались только в сказках да былицах — ан нет! С Ирины местный художник портрет писать хотел, до того хороша! Но некогда Ирине позировать, детишки один за одним, надо и за малышами приглядывать, и в доме попеть, и на работу бежать — она в школе учительницей английского работала.

Конечно, и Варвара Семёновна сложа руки не сидела, забот столько, что только успевай управляться! Огород в пятнадцать соток, подворье с курами, утками, кролами. С появлением внуков Усачёвы завели корову. Роман с отцом сено заготавливали, Варвара Семёновна скотину обихаживала. И представить не могла, что, когда станет пенсионеркой, забот и трудов у неё только прибавится! В трудовой книжке Варвары всего-то несколько записей, главная из которых — продавец продуктового магазина. Семёновну, как называли её в округе, покупатели уважали, в трудную минуту она могла выручить: отпустить товар в долг. Обладала Варвара Семёновна редким даром —

чувствовать людей. Получалось у неё распознать, кому помочь надо и кто не обманет, вернёт деньги в условленный срок. Да и доброжелательность продавщицы, глаза её внимательные и улыбочивые привлекали. Но, достигнув возраста, ушла на “пенсионные хлеба”, потому что на семейном совете решили, что бабушка Варя внукам нужнее.

Заботы о ребятишках стали для Семёновны самыми важными. Анфиса родилась здоровенькой и крепенькой. Рано научилась ходить. Всегда выглядела старше своих лет — рослая, ширококостная, румяная, с толстой пшеничной косой через плечо. Любила рисовать, и ещё в начальных классах родители отдали её в художественную школу. Бабушка Варя каждый раз с удивлением и гордостью наблюдала, как умело штрихует внушка гладкие альбомные листы. И появляются на них вазы и кубы, профили гипсовые. Акварельными красками выписывала Анфиса узоры — цветы красоты небывалой. И часто рисовала свой дом, а на крыльце — вся семья Усачёвых.

На руках у отца — сестрёнка Олеся. Хотя родилась она второй, но всегда считалась младшей, уж слишком маленькой появилась на свет — всего девятьсот граммов. Олеся смотрела на мир наивными зелёными глазами в длиннющих ресницах, природная хрупкость делала её существом почти неземным. Она часто болела, отставала в развитии и при этом была любимицей семьи, особенно отца, который не спускал её с рук, как только ступал на порог дома.

Третий ребёнок — Захар — появился на свет через десять месяцев после рождения Олеси и, кажется, получил все таланты. Рано обнаружили в нём математические способности. Он в пять лет научился умножать в уме двухзначные числа, запоминал стихи с первого-второго раза, в шесть уже бегло читал и, научившись писать, почти не делал ошибок. В общеобразовательную школу он пошёл на год раньше, чтобы учиться в одном классе с болезненной Олесей. Родители рассудили, что умный мальчик будет помогать сестрёнке. А со старшей Анфисой Захар захотел учиться в художке и тоже радовал “пятёрками”.

Четвёртым в семье Усачёвых стал Игорёк, здоровяк, как папа, и стеснительный молчун — копия дедушки. В пять лет его вместе с Олесей и Захаром отдали в спорт — на вольную борьбу, как раз открылся кружок при школе. На семейном совете договорились, что худышкам Захару с Олесей закалиться надо, окрепнуть, а Игорёк пусть за старшими тянется, к школе привыкает! И, на удивление, парни Усачёвы стали добиваться успехов! На соревнованиях в своих возрастных группах они побеждали соперников. Захар, несмотря на хрупкость, брал умением правильно выбрать и употребить приём. А Игорёк — напором! Не давая сопернику опомниться, с ходу клал его на ковёр.

Как гордилась баба Варя внуками! И Анфисочкой, серьёзной, работающей. И красавицей Олесей, лёгкой, словно пушинка, ласковой, улыбочивой, и талантливым Захаром, и широкоплечим молчуном Игорем. А уж когда им на грудь медали пластмассовые вешали, грамоты вручали, глаза бабушки наполнялись тёплой влагой, и сердце билось у самого горла. Как же благодарила она Бога за счастье! Украдкой смахивала сладкую слёзку, глядя на внучаток.

...Беда подкралась незаметно. Стала чахнуть Ирина. Всё сильнее Варвара Семёновну пугала её болезненная бледность. Невестка сначала не признавалась в хворях своих, потом отнекивалась, мол, и сама понять ничего не может — то в одном, то в другом месте ноет. Так к какому специалисту обращаться? Стала прихрамывать, уже плохо справлялись с болью таблетки, что пила она украдкой. Испуганные дети бежали к бабушке: “Мама плачет!”

Но заставить Ирину идти к врачам Варвара Семёновна не могла. У той всегда отговорки: то дети приболели, то в школе комиссия работает, то обязательно надо каникул дожидаться! И тогда свекровь взяла её за руку и чуть не насильно повела к хирургу. Сделать это, конечно же, должен был Роман, месяца на два раньше. И Варвара Семёновна его к этому понуждала. Сын лишь хмурился да отмалчивался.

В этом его молчании Варвара Семёновна подозревала не только растерянность, но и страх, желание спрятаться от неприятностей. А может, легкомыслие? Мол, всё капризы бабы... Поменьше прислушиваться к болячкам надо. Последнее время сын замкнулся, меньше бывал дома, отговариваясь работой в магазине, где он продавал автомобильные запчасти в техсервисе. А ведь именно теперь нужны были действия!..

Из поселковой поликлиники свекровь с больной невесткой направили в район. Гоняли по кабинетам от хирурга к травматологу, к ревматологу, ангиохирургу, терапевту. Ирина сдавала бесконечные анализы, проходила обследования. Каждый специалист обнаруживал свои заболевания и назначал лечение. Ирина подчинялась указаниям, но страдания только увеличивались. Невестка таяла на глазах.

Особенно мучительное колотье в ноге случалось ночью, и уже никакие лекарства не помогали! Свекровь, слыша стоны Ирины, и сама замирала от боли, пронизывавшей сердце, от внезапных судорог в лодыжках. На самом деле заболела Варвара Семёновна или это только самовнушение, попытка представить страдания невестки, она так и не разобралась.

Роман жаловался матери, что не высыпается. И с наступлением тепла из супружеской спальни перебрался даже не на второй этаж, где располагались дети, а на чердак, оборудовал там лежанку. Он будто сторонился Ирины. Или уже с трудом узнавал в измождённой её фигуре свою любимую жену. Забота о ребятах легла большей частью теперь на плечи деда. И, конечно, старшая Анфиса управлялась в доме на правах хозяйки, пока мама с бабушкой по больницам мотались.

На второй месяц мытарств Варвара Семёновна повезла невестку в краевую онкологическую больницу. Но и там не могли поставить окончательный диагноз. Семёновна добилась приёма у заведующего отделением Михаила Ивановича Грекова, грузного, с одышкой, с прожигающим взглядом голубых глаз и не по-мужски изящными ухоженными руками.

Сердито взглянув на вошедшую из-за заваленного папками и бумагами стола, он недовольно молчал, просматривал какие-то выписки. Усачёва решилась на расспросы, врач перебил её:

— Так что вы от меня хотите? Неужели вы думаете, что кто-то из нас не желает выздоровления вашей невестке? Тем паче — мы не хотим её лечить! В том-то и дело, что я даже консилиум собирал по вашей проблеме. ...Должен признаться, наша больница переживает нехорошее время... Много врачей опытных мы потеряли. Может, пояись вы полгода назад, вышло бы по-другому. А пока нет единого мнения по вашему заболеванию! Нету! Очень редкий случай! ...Но вот мой совет: так как в Москву посылать бесполезно — откуда у вас деньги на столичную операцию? — езжайте домой. Как раз в районной поликлинике работает лучший, на мой взгляд, онколог именно по вашей проблеме. Берите выписки — езжайте к нему, пусть решает. Моё мнение — нужна срочная операция...

В тот же день, приехав домой, Варвара Семёновна успела записать Ирину на приём в поликлинику. Поздним вечером, уложив внуков, долго прислушивалась к стонам Ирины, и в голове мутилось от бессилия и жалости к ней.

Поговорить с сыном не удалось, он поужинал и сразу поднялся вверх. В спальню к Ирине не зашёл даже. “Что ж, пусть отдохнёт...” — укоротила своё сердце Варвара Семёновна, а в душе-то скрежет зубовый.

Понимая состояние жены, Виктор Сергеевич пытался как-то успокоить, отвлечь свою Варюху. Рассказал о проказах Игорька, о том, что кролиха окотилась, а куры плохо несутся и скорлупа на яйцах слабенькая. Потом всё-таки сбился на Ирину... Ночь прошла в разговорах, и лишь к утру супруги задремали.

Районный онколог Иван Витальевич Лукин, высокий, сухой, с восковым гладким лицом, недовольно поджал губы, рассматривая бумаги пациентки.

— Вы, как мне известно, многодетная мать? — медленно произнёс и взглянул на женщину. — Оформляйтесь в стационар. Операция послезавтра.

Стоя в коридоре у дверей операционной, Варвара Семёновна то шептала молитвы, то вовсе забывала все слова на свете. Проходили минуты, складывались в часы, второй, третий... “Да что ж за доля такая! Неужто и внуки мои сиротами расти будут? Ириночка, цветочек мой ненаглядный, сколько ж пытке длиться?..”

И вот Варвару тронул за плечо хирург. Как не услышала шагов его за спиной, словно сознание отключилось!

— Иван Витальевич, что с Иррой?!

— Да уж, задали вы мне работёнку! Редкая форма рака у вашей невестки! Часть кости растворилась буквально. Пришлось ложкой вычёрпывать — вот как! И выжигать всю заразу! Но не переживайте. У меня ни одна клеточка раковая не проскочит! Всё уничтожил. Будет жить! Вылечим.

И потянулись месяцы восстановления. Варвара Семёновна полностью принадлежала невестке. Дежурила неотлучно у постели после операции. Стало Ирине легче — навещала больную по два раза в день. Откармливала, отпаивала. Готовила на пару брокколи, цветную капусту, доставала бурые водоросли, льняное и кунжутное семя, пичкала куркумой и китайскими грибами шиитаке. За первой операцией последовали вторая, третья. Их сделали уже в краевом центре. Врачи обещали, что невестка сможет ходить без костылей. И Варвара Семёновна ринулась по кабинетам краевых начальников, добываясь для больной льготных лекарств, потом бесплатного протезирования! Пришлось и в районе хлопотать, писать челобитные. И получилось! Прошёл год — Ирина передвигалась самостоятельно, опираясь на палочку. Прихрамывала. Длинная юбка, как раз мода на такие началась, полностью скрывала дефект ноги. И вместе со здоровьем понемногу возвращалась красота Ирочкина. Распрямлялась молодая женщина, поднимала голову, обречённо опущенную, уже чуть румянились щёки, блестели глаза. “Молодец, Ирочка! Ой, как хорошо вышагиваешь!” — сияла свекровь.

Но очень скоро снова пришлось каменеть от горя...

Ещё в детстве Роман увлёкся автомобилями. Машинки всегда были главными его игрушками. И ещё — карандаши. В третьем классе Варвара Семёновна отдала сына в художку, где он стал примерным учеником. И через пару лет стены дома украшали картины, настоящие, маслом писанные, изображавшие если не машины, то дорогу. Продолжить образование Роман решил в автодорожном техникуме, успешно окончил его. Но творчеством заниматься не перестал. В шкафу на полках стали появляться уменьшенные копии авто: спорткары, грузовики, внедорожники, болиды, минивэны, кабриолеты. Многие из них делал сам: выпиливал, вытачивал детали, раскрашивал. Дорогущие краски втайне от Варвары покупал ему отец.

Конечно, с обретением собственной семьи времени на машинки не хватало. И Роман нашёл выход — мастерил их теперь ускоренным способом — делал из бумаги. Деревянные старенькие модельки отдавал подрастающим сыновьям за “пятёрки” или в день рождения мальчишек, а бумажные — никак не соглашался. Все в доме знали: полки с автомобилями, особенно ретро-серии, — неприкосновенны.

Во время болезни Ирины Роман тянулся к заветным моделькам чаще, чем о жене вспоминал. Душу свою заспал будто. Не чаяла теперь Варвара Семёновна, как всё у них с Ирриной сложится...

И произошло невозможное — Роман сбежал от жены и детей. Собрал чемодан, сложил в картонный ящик машинки, над которыми последний год мараковал, крепко перетянул его шпагатом и, ни на кого не глядя, объявил, что уходит из семьи, потому что полюбил другую женщину.

Снова взглянуть в глаза своему сыну Варвара Семёновна смогла только через год и четыре месяца...

Самым страшным стал первый месяц разлуки. Что бы ни делала, с кем бы ни говорила, о чём бы ни думала Варвара Семёновна, все мысли

были о Романе... А нужно улыбаться невестке, внукам, соседям. Мужу Виктору, который совсем поседел и опустил плечи. Больше всего Варвара Семёновна боялась за Ирину, ослабнет — болезнь снова вернётся!

И сама Варвара Семёновна ощущала порой тошнотворную слабость, казалось, шага не сделать, уходит-исходит жизнь. Да только не в чёрную землю сила уходила, а в ребятишек. Во внуков! Они про папку своего каждый вечер вспоминали, особенно Олеся, любимица отца. И что ответишь им? Какою прибауткой-сказкою развеешь тоску детскую?

Да и не до сказок теперь. Кушать дети просили с раннего утра — вынь да на стол положи, бабушка! Где ж взять на четверых деток да троих взрослых? Вот и крутись с утра до вечера, про слабость свою не вспоминая даже. Чуюк приткнулась на кровати, глаза смежила минут на пять — и за дело!

Роман не только чемодан с вещами вынес из дома, он и гараж оставил пустым — укатил в новую жизнь на “рабочей лошадке” “Ниве”. Даже адреса не оставил! Скрывался от жены больной и нелюбимой, от детей своих малых, от родителей... Когда сын стал таким бездушным? Ведь ласкался он к матери пацанёнком белоголовым. Млел от счастья, целуя пяточки младенчиков своих, Ирину на руках таскал! А только куда ж всё делось?.. И какая женщина приняла его, зная, что обрекает Роман семью на нищенство и выживание?

“Почему так произошло?.. — неотступная мысль сверлила голову Варвары Семёновны. — Любил он Ирочку и детей!” — хотелось ей крикнуть на весь посёлок, на весь свет. Чтоб не только соседи услышали, а сам Роман вздрогнул и откликнулся, наконец!

Варвара Семёновна ругала-кляла себя, долю свою сиротскую, которая внукам передалась. “Боялась — без матери останутся, а вышло — сироты при живом отце”.

Вставало солнце, и надо было будить внуков, отправлять их в школу. Да управляться с делами пошибче. Придут школьники — сразу за стол. Бабушка, не мешкай, обед подавай. А то им в художку бежать, в кружок спортивный. Склонялось светило к горизонту, ребятню усаживали за уроки. Надо проследить за каждым: проверить тетрадки, дневники, разобраться с заданиями домашними. А ещё нарисовать, склеить, раскрасить. Невестка не могла совладать со всеми. На помощь приходила бабушка.

Радости, обиды, жалобы, заветные желания внуков доверялись ей. Дети порой боялись ненароком огорчить мать, свои секреты и мечты несли бабуле...

— Ба, а ты мне чупа-чупс купишь? С апельсином и жвачкой? — с этим обычно приставал младший.

— Куплю, обязательно, вот пенсии дождусь... А пока я тебе селёдку принесла из магазина нашего.

— У-у, селёдку лизать разве можно?! Чупа-чупс принесёшь?

Варвара Семёновна молча кивала в ответ.

Математик Захар любил задавать задачки.

— Бабуль, вопрос на логику: как поделить 188 поровну, чтобы получилось 100?

— Это невозможно...

— Подумай логически! Простая задачка!

И она думала или делала вид, что усиленно соображает. Пока внук, победно глядя на спасовавшую бабушку, брал карандаш и проводил линию поперёк восьмёрок — они тут же превращались в нули.

— Ай! Да это обман! — вспархивала Варвара.

Захар бросал невозмутимо:

— Я ж говорил: подумай логически!

Олеся шептала про мальчиков-турок, которых много училось в их классе, и они ей проходу не дают! И даже домой из школы провожают. И ещё, как она соскучилась по папе! Теперь никто не берёт её на руки...

Старшая Анфиса, поджав губы, цедила, что только у неё в классе нет мобиляника.

Варвара Семёновна успокаивала, утешала, уговаривала. “Надо подождать... всё будет хорошо. Всё наладится”, — шептала, пряча усталые глаза. Особенно, если неподалёку находилась невестка.

Иришка теперь часто стояла у зеркала. Что высматривала? В чём пыталась разобраться, внешность свою изучая? Варвара считала её самым слабым членом их большой семьи. Глава которой, конечно, — Варвара Семёновна.

И сила ей нужна, и мудрость, и терпение. А брать откуда? Просила Варвара Семёновна у Господа прощения за грехи свои. Как не рассмотрела червоточину у Романа? Как воспитала таким? Когда попустила? Где проглядела, в какое время?.. “Грешна! Господи, прости окаянную! И вразуми сына моего. И молитвами его помилуй мя грешную... Сказано: “Не оставляй умной и доброй жены, ибо достоинство её драгоценнее золота”. А Роман на что позарился? Грех какой страшный... Да думает ли он про то? Говорила ли с сыном про грехи смертные? А теперь поздно...”

К концу года после ухода Романа, израсходовав все запасы терпения и надежд, Варвара сама отнесла заявление в суд. Тонкими пальчиками секретарша с птичьими разноцветными волосами приняла исписанный мелким почерком листок и прилагаемые к нему справки. Потом Варваре указали день судебного разбирательства. И через месяц Романа объявили в розыск. Суд вынес решение забрать имущество сбежавшего, его машину, в счёт алиментов.

А ещё через месяц Варвара Семёновна услышала голос сына. Роман звонил матери со скрытого номера, боялся себя обнаружить. Кто-то из доверенных людей сообщил, видимо, ему новость про розыск и арест имущества. Потому после слов приветствия и короткого рассказа о житье-бытье (мать узнала, наконец, что проживает он в Ставрополе, жену его новую зовут Евгения, она хорошо разбирается в машинах, работает в автосалоне, у неё трое детей: старшие уже обзавелись своими дворами, младшая в школе учится) Роман стал жаловаться:

— Мама, Женя заболела. У неё онкология. Обследование мы прошли. Диагноз окончательный. Теперь нужна операция, лекарства дорогие очень! А вы ещё машину забрать хотите!..

Варвара Семёновна, затаив дыхание, слушала сына, владевших ею чувств накопилось так много, что она никак не могла справиться с собой, не умела, боялась заговорить. Но волнение матери пересилило её же негодование, голоду в трубке нельзя не сопротивляться! И тогда, не произнеся ни слова в ответ, она нажала на красную кнопку телефона, сбросила вызов, потом совсем отключила аппарат и осторожно положила его перед собой. Сколько сидела над телефоном — не помнит. Наконец, дыхание её выровнялось. И вспомнилась картина из далёкого детства: чёрная прореха в проёме двери, голос старухи из пустоты: “А наши все дома...” Подошла к окну — тьма кромешная. Не видно ни зги. “Конечно, днём он позвонить не мог...”

Роман пришёл месяца через два после звонка, в конце мая, точно высчитав время, когда ни Ирины, ни детей дома не было — начался второй урок в школе. Уехал и дед — на велосипеде за травой для кролов. Варвара Семёновна сидела на кухне, чистила картошку для борща. И обмерла, увидев в окне Ромашку, в незнакомой клетчатой куртке, старой кепке, что когда-то купила ему на рынке. Фигура сына изменилась — похудел, сутулился. Роман приблизился, и разглядела мать или показалось только ей обветренное лицо, безнадежную усталость в глазах.

Вошёл он в комнату уверенно. Она встала ему навстречу. Их взгляды встретились — будто птицы испуганные порхнули! Но через мгновение мать отвела глаза, снова присела на табурет, положила ножик перед собой на клеёнку. Опустила голову.

Он было двинулся к ней, чтобы обнять, но Варвара Семёновна не шевелилась, и сын запнулся, не решился подойти ближе.

Первые его слова она хорошо слышала, поняла смысл каждого слова, только сложить эти смыслы вместе у неё не получалось. Она не могла соединить слышимое и происходящее в ту минуту вокруг неё. И только через время, усилием воли Варвара Семёновна заставила себя верить словам Романа.

— Мама, она так хочет жить... Мне так жалко её! Операция не помогла, нужно делать вторую, — наконец, прояснилось в сознании Варвары, и она не удержалась, вздохнула горестно. — Ты понимаешь, как мне тяжело? Я совсем один, мама! Жёня в больнице, а мне даже поговорить не с кем! Ты помнишь, как мы с тобой обсуждали всё?! Ещё с детства... Помнишь?.. Я же привык к нашим с тобой разговорам!

Варвара Семёновна почувствовала, как горячая волна ударила в лицо и сердце. “Хоть бы не упасть, выдержать...” Конечно, она помнила откровения Романа, помнила родинку за ухом, помнила запах его волос, когда прижимала к груди голову сына и шептала на ухо слова ласковые, которые никто в целом мире, кроме её Ромашки, не расслышал бы. Значит, не те слова говорила! Не смогла главное объяснить сыну, сердце его не распознала, не почувствовала! Мать ниже наклонила голову, чтобы не видеть даже края одежды Романа. Но как хотелось ей кинуться к нему, обнять, прижаться к своему мальчику! И нельзя даже глаз поднять... Она боялась, что, взглянув на сына, не выдержит — забудет все обиды. Простит, как нашкодившего ребёнка.

“Я не должна смотреть на него. Ирина мне верит. Если прощу Романа — как ей жить? Нельзя за её спиной. Нельзя!”

Варвара Семёновна всё ждала, что сын скажет о совершённой им ошибке. Раскается. Повинится, ведь он любит детей, не может жить без них... Но Роман говорил только о себе и болезни своей новой супруги. Так и не дождавшись даже взгляда от матери, он ушёл.

И будто солнце закрылось, а не дверь входная. Дожди, дожди, дожди зачастили, засеяли. Серая муть, закрывшая голубизну небес, сначала даже радовала: в пояс поднялись травы, смачно хрустели первые июньские огурчики, доставшиеся на обед внукам, а кусты картошки на огороде рванули и ввысь, и вширь, так что урожай обещался невиданный.

Варвара Семёновна старалась каждый вечер выходить в огород. Грядки упирались в гору, полого уходившую вверх, покрытую пятнами кустарников, стайками деревьев, чьи кроны на высоте сливались в курчавый “мох” и упирались на вершине в скальные породы. Слева по склону, метрах в пятидесяти, среди густой листвы просвечивала жёлтая крыша почти игрушечного домика, там жил пасечник. Рядом с его подворьем открывалась большая чистая поляна, вся усыпанная горичцветом! На малахите трав играли алые огонёчки. Смотрела на них Варвара, и на душе полегче становилось, и вроде виднелись голубые просветы среди тяжёлых туч.

Но дужки не успевали высохнуть. Полез сорняк, прополка откладывалась — на грядки не пройти! В конце июня ударили жестокие грозы, “покосили” травы, распластались по земле стебли картофельные. На первой неделе июля ливень не прекращался два дня. Водяная стена будто соединила небо и землю, и в этой стене не было окошек... День, ночь, ещё один день беспрерывно лилась вода под всполохи молний. Горы, окружавшие городок и прилежавший к нему посёлок, копили влагу, грозя обрушить её.

“А мы в низине! — с тревогой думала Варвара Семёновна. — Господи, помилуй люди Твоя!” Крыша дома гудела от толстых струй, гвоздивших шифер, дождь неистово долбил стёкла окон. Громы бухали так, словно раскалывали скальные глыбы, и ветер всё жёстче швырял потоки воды на склоны, на дома и постройки, на деревья и поникшие растения.

К концу вторых суток к десяти вечера вода устремилась в дом. Почти мгновенно промочив ковровые дорожки, холодная муть прибывала с невероятной скоростью! Откуда пришла? Почему хлынула так, будто открыли шлюзы?

— Мам, там поток несётся бешеный! — метнулась к окну Анфиса.

— Кругом вода! До неба — вода! — вслед за сестрой закричал Захар, прилипший к стеклу.

— А ну, быстро наверх! Анфиса, собери детей! Где Олеся? В ванной? В туалете никого? — вскочила с дивана Ирина. — Анфиса, забирай малых! Скорее! Скорее! На второй этаж!

Дождь уже не шумел, а ревел за стенами! Нечто страшное ударялось в них, стремясь проникнуть в дом, который, казалось, дрожал и вибрировал. И даже раскаты грома теперь не различались.

— Боженька, что это? — Варвара Семёновна вышла из спальни и с ужасом смотрела на быстро улывающие тапки. — Витя, наводнение! Витенька, Ира!

— Гоните детей из кухни наверх! — завопил дед. — Варя, вещи спасайте! Документы где? Ух ты... Как быстро поднимается! Еду надо брать! Воду! Чем мы поить их будем? И свечи, спички! Фонарик где?

Варвара Семёновна с Ириной, выполняя его распоряжения, бестолково шарахались по комнате уже по колено в воде. Что брать? Плед? Куртки детские? Ловить плавающие ботинки? Хватать еду!

— Мать, шевелись!

Дрожащими руками Варвара искала свечи, спички, сгребала с полки сухари и консервы. Ирина переправляла детям схваченное наспех со стола: печатую буханку ржаного хлеба, пакеты с конфетами и печеньем.

— К холодильнику не подходите! Варя! Всё! Поднимайтесь наверх! Идите с Ирой к детям! Я сам здесь!

“Как же сам, если незрячий! И ходишь еле-еле!” Она обернулась на мужа, но как поспоришь? Страшная вода выше колен! Варвара Семёновна подтолкнула невестку, увлекая за собой на лестницу.

— Варя, свечи нашла?!

— Нашла! Нашла!

— Быстро наверх! — кричал Виктор. — Я свет отключаю!

Дед смог-таки “доплыть” к счётчику, вырубил электричество. В темноте, уже по пояс в воде, медленно добрался до лестницы.

— За пять минут затопило нас! — дед подтягивал себя со ступеньки на ступеньку, выбираясь из воды.

— Светопреставление прямо... А почему никто не предупредил о наводнении? Почему не спасают?! Где власти? — возмущалась Ирина.

Дед грубо выругался. Он стоял на верхних ступеньках лестницы.

— А может, власти и устроили! Спустили воду из водохранилища, чтоб Новороссийск не затопило! Откуда ж волна такая на нас обрушилась?

— Молчи, дед, не может этого быть! — взмолилась Варвара Семёновна. Она лучом фонарика прошлась по второму этажу. Анфиса — стояла в холле, опершись о подоконник. Мальчишки в спальне прильнули к окнам. Ирина с Олесей — в девчачьей комнате.

— Ира, ты переделась? Все сухие?

— Варвара Семёновна, вы сами халат поменяйте. Я вот юбку вам нашла и кофту Анфисину.

Варвара подчинилась. Потом дрожащей рукой зажгла свечку, экономя батарейки: кто знает, сколько придётся сидеть в темноте. И вышла к старшей внучке. Из окна второго этажа при вспышках белых молний увидела полностью затопленный двор. Уже не видно заборов! Деревья скрылись по самые кроны. Один за одним возникали смерчи, словно некие живые существа вздымались из-под воды. Несло и крутило невесть откуда взявшиеся белые длинные холодильники. Ветки, сломанные деревья, покорёженные листья железа, балки, разбитая мебель пылили во множестве.

— Это похоже... на цунами!.. И океан не нужен! — из комнаты вышла Ирина, вслед за ней повыскакивали дети. — Может, и правда, прорвало водохранилище?!

— Неужели у нашей речки такая сила? — тихо спросила старшая внучка. — Я читала, что древние шансуги сравнивали удар воды с гор с прыжком барса. Впереди Зверя движутся его длинные лапы. Острыми когтями вскипают буруны. И смерть тем, кто не понял, что видит “лапы”! Следом налетает огромное тело наводнения! И от удара о препятствие вздымается гигантская голова. Безжалостные глаза водяного барса глядят в лицо не успевшим бежать. Гул миллионов тонн сходящей воды — его рёв. Уцелеть нельзя! Можно только понять, что на тебя летит Смерть!

— Откуда ты это знаешь? Ты придумала?! — закричала Олеся.



— Анфиса, прекрати пугать детей! — возмутилась Ирина, но в голосе её было больше страха, чем угрозы.

— Ох, страшно представить, что во дворе у нас... — не выдержал и простонал дед.

— Мама, а как же кролики? Деда, кроликов надо спасать! — вскинулся Захар.

— Виктор, ну, зачем ты им напомнил?!.. — вставила Варвара и осеклась, закрыла лицо ладонкой.

— А Зорька?! — тут же всполошилась о корове Олеся. — Зорька наша утонет?! — заплакала девочка.

— Ма-а-а, Зорька утонет! Она плыть не сможет, она же привязана! — младший с рёвом уткнулся в подол матери. — Надо Зорьку забрать! Мама-а!

“Не спасти тебя, кормилица наша! — Семёновна ушла в комнату девочек, глотая слёзы. — Хоть бы дети про соседей не спросили! Что ответить? Как они? Успели на крышу залезть? А может, спали уже? Бедная баба Нюра!” Мальши любили соседскую бабушку. Жила она одиноко, часто баловала ребят то горохом с огорода, то первыми фруктами из сада, гостинчиками от “лисиčky” на праздники. “Хоть бы не сказали про неё! Младшие, может, и не додумают, а вот Анфиса...”

Варвара выглянула в холл. Внучка молча и неподвижно смотрела в окно. Варвара Семёновна несколько раз окликнула, чтобы та помогла собирать вещи из спален, Анфиса не реагировала. Сама бабушка с фонариком в руках заметалась по второму этажу, складывая на раскинутое покрывало тёплые детские одёжки, одеяла. Захар крутился рядом.

Ирина, как могла, ободряла детей, подошла к старшей, пошептала что-то на ухо, потом обняла Игорька с Олеськой, прижала к себе.

— Дом у нас каменный, двухэтажный, он всё выдержит, никакие смерчи ему не страшны, — уговаривал домашних дед. Он стоял на лестнице между первым и вторым этажом, то ли не имея сил подняться, то ли измеряя уровень воды. Когда она подступала к его ногам, поднимался на следующую ступеньку. Видеть, как скрылся под водой диван, поплыли стол, стулья, он не мог, по набухающим от воды тапкам следил за наступлением воды...

Очень скоро первый этаж заполнился под потолок. Злая бездна то достигалась до верхней ступеньки лестницы, где стоял дед, то снова чуть отступала. Виктор прислушивался, как за стенами продолжала бушевать неистовая сила. Вода наверняка уже достигала карнизов одноэтажных домов. Живы ли соседи по улице? Может, сидит кто на крышах соседских? Как расслышать в гуле стихии, в раскатах грома голоса человеческие?

— Варя! Вода на второй этаж пошла! — сигнализировал дед. — Надо детей на чердак, а то и на крышу придётся... давай люк открывать, — с трудом выбирался он с лестницы.

“И как собирается с люком справляться, если сам еле передвигается...” Лестница приставная, деревянная, хлипкая находилась в углу холла, сама Варвара Семёновны никогда не поднималась по ней. Притащил её когда-то Роман. И какое счастье, что дед так и не собрался убрать её в гараж!

Теперь Варвара вместе с мужем подтащили лестницу к люку. Виктор Сергеевич страховал: держал, чтобы меньше качалась, не сдвинулась. Конечно, сам подняться и открыть чердак он не мог. “И почему Роман не укрепил хорошенько лестницу! Сколько раз добирался до своей лежанки... — беззвучно стонала Варвара, покоряя ступеньку за ступенькой. — Как Илочка теперь? Сможет ли? А если треснет балка — мы погибнем...” Варвара Семёновна, наконец, упёрлась в чердачный люк, руками и головой изо всех сил надавила на него и откинула с грохотом! Но, кажется, шум был слышен только ей.

— Ну? Как ты? Открыла?! Молодец, мать! Лезь, Варя! Не тяни! Будешь детей принимать!

Варвара ещё стояла на лестнице, дрожащими руками оцупала чердачный пол рядом с люком, “ткнула” лучом фонарика в огромные мешки с пенопластом, которым когда-то утепляли крышу, в картонные коробки, рейки, мелкие деревяшки, стоящие по углам.

— Варя, не тяни! Залезай!

И она смогла подтянуться на руках, перевалиться, вползти на чердак.

— Всё? Сидишь наверху? Мальчишки, бегом наверх! — приказывал согнувшийся возле лестницы дед.

Игорь с Захаром, словно обезьянки, друг за другом полезли к бабушке, ей почти не пришлось помогать им. Только светить фонариком, чтобы они сориентировались наверху. Олеся тоже смогла подняться почти самостоятельно. Её уже возле люка поддержали братья. Очередь дошла до старшей, Анфисы. Та стояла у окна, не шевелилась.

Мать подошла к дочери, взяла за руку, попыталась повести за собой. Но Анфиса отшатнулась от матери. Ирина заговорила с ней как можно спокойнее, объясняла, что необходимо сделать.

Вода, между тем, прибывала, пол стал очень скользким.

— Анфиса, умоляю тебя, доченька, лезь на чердак. Здесь нельзя больше оставаться, вода поднимается!

— Нет! Я не буду, зверь запрыгнет и на чердак! У него длинные лапы! — Анфиса отступала от матери и рисковала оступиться в чёрную яму с водой, поглотившей первый этаж. — Я не уйду отсюда! Не трогайте меня!

— Анфиса, не бойся! Анфиса, иди к нам! — кричали ей сверху.

— Внуча, ты же старшая! Посмотри, малыши не побоялись. Бабушка даже смогла подняться! — басил дед.

— Мать пожалей! — совестила бабушка.

— Доченька, послушай меня! — Ирина потянулась к ней.

— Нет! — вывернулась Анфиса.

Крики взрослых только ещё больше пугали её. А тут и ребята подключились, Олеся возмущённо пищала, Игорь, как самый младший и храбрый, надаживался, увещевая трусиху.

— Нет! Я не полезу на чердак! Не трогайте меня! Отойти! Я не полезу туда! — иступлённо твердила Анфиса.

Ничего не оставалось, как силой спасать внучку. Упирающуюся девочку почти волоком дед с Ириной потащила к лестнице.

— Доченька, надо подняться! Не бойся! Там бабушка и Олеся там! Посмотри, Захар тебе руку тянет! Анфиса, родненькая! — причитала мама девочки.

И вот удалось направить её на лестницу. Дед тянул за руки, потом страховал сбоку, невестка упёрлась ей в спину, заставляла двигаться ступенька за ступенькой.

— Бабушка!.. Принимай! — с трудом басил дед.

— Да откуда ж силы взять? Анфиса, поднимайся, голубка моя!

“Неужели не выдюжу? Господи, помоги!”

— Захар, Олеся, меня держите!! — Варвара Семёновна не узнала своего голоса. Старшая перехватит Анфису, она как можно сильнее высунулась из чердачного проёма. Младшие внуки надели на бабушку сзади, пытаясь страховать. Захар вместе с Варварой Семёновной тянулся к сестре и вцепился в её свитер. Бабушка — за правую руку. Снизу девочку толкали дед с Ириной. Кое-как всем вместе удалось справиться и затащить Анфису наверх. Варвара Семёновна отвела её подальше от проёма, обняла, прижала к себе. Анфиса стеснялась плакать перед младшими, страха своего стеснялась. Спряталась на бабушкиной груди и никак не могла успокоиться.

— Ты не держи в себе, поплачь, поплачь, миленькая! Легче будет... — всхлипывала Варвара.

На чердак без всякой посторонней помощи влезла невестка. Внуки обступили её. Ирина глядела на Анфису, но не подходила, боясь ещё больше разволновать дочь.

А времени на нежности не было. Нужно устраивать ночлег, забирать на чердак припасённое Варварой Семёновной, чтоб спасти от прибывающей воды. Чуть успокоив внучку, бабушка и сама приобдрилась, желание действовать добавило сил, она кликнула мальчишек, и те устремились вниз за вещами. Захар с Игорем затащили на чердак уже подмоченные уклунки с одеялами и подушками, свечи и продукты, что в панике похватили бабушка

с мамой на кухне. Жаль, питьевой воды среди собранного не было! И пришлось уговаривать детей не налегать на конфеты.

Пока осваивали чердак, расчищали место для ночлега, постели устраивали, прошло минут сорок. Виктор снизу не подавал голоса, и Варвара забеспокоилась:

— Дед, вода всё прибывает?

— Нет, уходит, вроде! Я уже на три ступеньки вниз спустился!

— Поднимайся к нам! Хватит тебе ступеньки щупать! Давай на чердаке все переночуем! Завтра увидишь, как там будет. — Варвара Семёновна опустила луч фонарика, стараясь рассмотреть фигуру мужа, торчавшую из лестничного проёма.

— Я здесь останусь. Уходит помаленьку вода! И дождь стихает... Слышишь, колотить по крыше меньше стало?

Варвара Семёновна наострила уши, пытаясь убедиться в правоте слов Виктора. Но вместо так ожидаемого затишья страшный взрыв раздался во дворе, и свет от языков пламени плеснул в окна второго этажа, в чердачное окошко.

— Мамочка! — истошным голосом завопила Олеся.

— Ух, ты, вот это бабахнуло! — прыгнули к окну мальчишки. — Ма, можно спуститься, посмотреть — что там?

— Не смейте спускаться! Все сидите здесь!

— Мы горим! Дом горит? — кричала Варвара мужу

— Дедушка! — звала Анфиса. — Деда, что могло вспыхнуть? Отчего взрыв!

— Скорее всего — газ рвануло, — осипшим от волнения голосом откликнулся дед. — Видно, баллон смерч зацепил. Плохо дело, уходить надо. Сгорим мы тут.

— Куда уходить? Мы же утонем все!

— Говорю вам: отступает вроде вода. Вот и загорелось поэтому. Иначе б пожару не вспыхнуть... Один баллон у меня под навесом хранился, другой — тот, что к плите подключён. Какой из них шарахнул — неизвестно. Мать, слышь меня? Надо уходить, взрыв может повториться! Второй этаж польхнёт и на чердак перекинется... от дыма задохнёмся.

— Как уходить, Витя? Выплавь?! Двор весь залит, окон внизу не видно! Ты потопить нас хочешь?

— Мам! Ба! Новая волна! Цунами новое! — подняли ор мальчишки.

Варвара Семёновна беспомощно чиркнула лучом фонарика по крыше чердака, пытаясь “рассмотреть”, что творится за его пределами. И снова ткнула вниз, туда, где муж.

— Поднимайся, Витя! Хотя б на второй этаж зайди!

Но он будто не слышал её слов. Копошился внизу. И что он там мог делать незрячий?!

— Господи!! Да услышь Ты нас! Дети, молитесь! Ира, молись с детьми вместе!!! Господи, помилуй нас!!! Спаси нас, Господи!

— Если новая волна идёт — может, пожар загасит!

И опять ревущий удар такой силы, что стены задрожали.

— Не бойтесь, Олесечка, Анфиса! Вода нас не достанет! Внушеньки, дед не зря всю жизнь лопатил в колхозе, дом крепкий для вас выстроил! Не плачьте!

Раскаты грома заглушили его слова, белым светом плеснуло в чердачном окне, а после — густая тьма.

— Деда, а пожар не видно! Не светится уже!

И действительно, в прибывшей волне захлебнулось лютое пламя. Исчез отсвет его, и стало ещё темнее среди бушующего моря.

— Витя, Христом Богом прошу, поднимись к нам!

— Уймись! Внуками занимайся! Молитвы читайте!

Варвара Семёновна ушам своим не поверила: уж если Виктор призывает молитвы читать... Тяжко поднялась с колен.

— Ира, у тебя “Молитвослов” где?

— У девчонок в спальне есть. На полочке...

— Я знаю! — подскочил Захар. — Можно, принесу?

— Только осторожно, сына! Фонарик возьми! Дай я тебя подстрахую! Не спеши! Там пол скользкий!

— Чур, и читать я буду! — голос Захара звучал уже с лестницы.

Варвара Семёновна в свете свечи листала принесённую внуком маленькую книжицу в твёрдом переплёте, искала молитву Николаю Чудотворцу.

— Вот, Захар, держи. С Олесей вместе читайте.

— А я им показывать буду. У меня огонёк в телефоне, — подскочил к бабушке Игорь. Его игрушечный телефон светился бледно-голубым светом.

— Посвети, умница моя, — кивнула Варвара Семёновна. — А вы попробуйте прочитать. Видно?

— О, всеблагий отче Николае, пастырю и учителю всех верою притекающих к твоему заступлению и теплою молитвою тебе призывающих! — начал осторожно читать Захар. Олеся повторяла за ним. — Скоро потщися и избави Христово стадо от волков, губящих е; и всякую страну христианскую огради и сохрани святыми твоими молитвами, от мирскаго мятежа, труса, нашествия иноплемеников и междоусобных брани, от глада, потопа, огня и напрасныя смерти...

— ...от глада, потопа, огня, — шептала вслед за внуком Варвара Семёновна, осеняя детей крестом.

— Избави мя гнева Божия и вечныя казни, яко да твоим ходатайством и помощию. Своим же милосердием и благодатию Христос Бог тихое и безгрешное житие даст ми пожити в веце сем и избавит мя шу... шу...

— Ба, не пойму чего написано!

— Дальше читай!

— ...стояния, — закончил внук. — Ба! Всё! Ещё читать?

— Ещё читай. Пока вода не уйдёт, читать будем... Господи, помилуй нас, грешных...

Варвара Семёновна подошла к окошку, смотрела, как крутит поток вниз. И то ли вправду, то ли мерещились ей трупы людей в страшной волне.

— За полночь уже... — подошла к свекрови Ирина. — Может, спать их уложить?

— Даже не думай! Спать никому нельзя. Будем молиться, пока не стихнет.

Молитвы читали вместе: бабушка, внуки, невестка. Дед шёпотом повторял за ними некоторые слова, с надеждой прислушивался к гулу воды за стенами. Страшная ночь продолжала бушевать. Скольких сгубила? Унесла в темноту?

— Господь послал людям всемирный потоп за то, что они не слушались его. Вот и нам пришло время вразумления, — тихо вздохнула Варвара Семёновна. Дети смолкли, прижались друг к другу.

— Бабушка, а Господь всех утопил?

— Он не людей утопил, а зло людское... И ведь в то время никто не верил в потоп. И дождей-то тогда не шло, земля паром орошалась... Вот и мы разве могли поверить, что река наша до самой крыши дома затопит? Вразумляет Господь люди Своя... — последние слова Варвара Семёновна произнесла лишь губами, стараясь скрыть смысл произносимого. Да и не смогла бы она сказать их громче: слёзы горло сдавили.

— Молитесь, дети, просите Бога пощадить нас, — Ирина обняла свекровь. Подошла Анфиса и тоже прижалась к матери с бабушкой.

В третьем часу ночи вода начала спадать. Дед закричал об этом снизу, и домочадцы, прильнув к стёклам чердачным, с надеждой вглядывались в темноту.

— А если опять повторится? Гром вон как бухает...

— Ты права, — согласилась с невесткой свекровь, — вода спадёт, и уходить надо. Спасёмся, когда на гору поднимемся. Подальше от реки...

Примерно через час проступили из воды сначала кусты калины, потом колодец стало видно. Двор оголился. Дед спустился вниз и протрубил радостно:

— Мне выше колена!

Загребая и шлёпая жижей так, что слышно было на чердаке, он пробрался к входной двери. Открыть не удалось. Её забаррикадировали приплывшие с волной холодильники и даже чей-то джип прибило к крыльцу, он просматривался сверху.

— Мать, что делать будем? На окнах-то решётки!

Варвара Семёновна медленно, осторожно отыскивая ногой каждую ступеньку ненадёжной лестницы, спустилась на второй этаж. Потом по скользким ступеням вниз, в мокрую темноту первого этажа, и вот у самых ног кольшется вода. В бледном свете фонарика словно шкура хищного барса переливается... Варвара чуть помедлила, задержала дыхание и — ухнула в темноту! Ноги обжёг холод, продрал до самой макушки. Осторожно обходя плавающую в воде мебель, дошла, наконец, до двери. Вцепилась в мужа, будто проверяла — точно живой и невредимый? Потом вместе они толкали железную дверь, пытались открыть, сдвинуть преграды на крыльце, но образовалась лишь небольшая щель, вода из кухни устремилась на улицу.

— Значит, там уровень ещё ниже! Так... решётки я не сорву. А детей срочно снимать надо — и на гору! Будете спускаться из окна второго этажа, пока воды снова не прибыло! Хорошо, лестница есть!

— Божья милость, ушла волна, а дождь-то не прекращается...

— Вы спускайтесь быстрее. Пойдём, помогу с лестницей.

Вдвоём они скомандовали, чтобы дети слезали с чердака. Варвару Семёновну била мелкая дрожь. И не только от холода. А вдруг сейчас снова начнёт прибывать? Не успеют дети на гору взойти? Или те, кто спустятся первыми, не смогут вернуться в дом в случае “цунами”?

Вместе с мужем и невесткой тащили лестницу, которую нужно было донести до окна, спустить вниз, во двор.

— Подоконник осторожнее, — хрипел дед, — не попортить бы! Держите повыше! Захар, страхуй!

Мальчишка бросился на подмогу, распахнул окно. И сразу комнату наполнил резкий сырой воздух. Холодной влагой протянуло по мокрому телу Варвары Семёновны. Ног она уже не чувствовала.

Наконец, получилось: опустили деревянную лестницу так, чтоб меньше качалась, — с упором в стену.

Захару, как самому лёгкому из старших, дозволили опробовать маршрут. Босыми ногами парнишка шустро зачмокал по перекладинам, не без опаски ступил в воду.

— Ба, мне вода по колено достаёт! Пройти можно! Спускайтесь быстрее!

Начали отправлять вниз девчонок, сначала Анфису, она в этот раз без лишних понуканий справилась. Потом Олесю.

— Ой, вода холодная! — заскулила она из темноты. — И дождь!

По хлипкой лестнице ушла Ирина. Варвара Семёновна помогла ей сначала залезть на подоконник, потом страховала, держала за руки, сколько хватало возможности.

— Всё! Мама внизу! — зазвенели радостные голоса.

И Варвара Семёновна выдохнула, широко крестясь: “Слава Богу!” И уже во всю мощь:

— А теперь возьмите маму за руки и ведите на гору! Быстро! Бегите на поляну!!!

— Ба, а вы с дедушкой?!

— Варвара Семёновна! Виктор Сергеевич, мы поможем!

— Варя, спускайся, — Виктор стоял, упершись в подоконник. — А я не смогу. Даже не проси.

— Не ждите нас! Маму, спасайте! Уводите маму скорее! Вода может вернуться! Христом Богом прошу! Ирина, спасай детей! — Варвара Семёновна сама удивилась, настолько грозно прозвучали её слова, но, кажется, последние силы вложила она в этот крик, уже не могла стоять, склонилась на подоконник и пыталась следить за детьми.

Послушались её внучата! По удаляющимся в сторону огорода детским голосам дедушка с бабушкой поняли это. Но вдруг:

— Ба, я здесь, я вам помогу! — голос Захара внизу, совсем рядом.

— Витя, — Варвара осела вниз, на пол. — Витенька, ты слышишь?.. Я без тебя не сумею. А внук погибнет из-за нас...

— Захар! Не смей там стоять! Беги наверх за мамой и ребятами! Беги, Захар!!! Ради нас с бабушкой — беги!!!

Столько силы было в дедовских криках, столько боли, что внук заплакал, завыл внизу от страха.

Семёновна сидела на полу, казалось, и шага уже не сделать ей, не двинуться даже...

— Варя, вставай! Тебе вниз надо.

— А ты?

— А я не смогу по лестнице, ты же знаешь! Я здесь, в доме, и то еле-еле. А теперь всё... Прости меня...

— Прости?.. Какое тебе прощение? — вяло отозвалась Варвара. Кряхтя, оторвала себя от пола. Отряхнула, оправила юбку. — Прощу, когда спустишься. Ты спустишься только, а там я тебя дотяну.

Высунулась из окна, выглядывая фигурку внука. Ушёл мальчишка! И как Ирина не уследила за ним?

— Витя, я полезая первая, ты сразу за мной, я буду поддерживать тебя. ...Ты сможешь, — она пыталась говорить, как можно легче и уверенней, но внутри всё сжалось.

Муж не откликнулся. И Варвара рухнула в ноги к нему, обхватила колени, завывала:

— Не бросай! Витя, не бросай меня! Как я одна с детьми останусь? Витя, нам вместе их спасать, растить, в люди поднимать! Витенька, не оставь меня! Не оставь меня, миленький, сироту горькую! Ну, давай, пойдём, родной?! Нам вместе надо! Вместе! Ромашка-то наш... Кто ж за него молиться будет?!

Она уже не кричала, не говорила, а вытрясала из себя слова. Держала мужа за руки, словно через минуту исчезнет её Виктор.

И он сдался...

Скрипела, прогибалась, грозила треснуть треклятая лестница, не хотели слушаться руки-ноги от парализующего страха и неуклюжей старости. На последних ступенях Варвара Семёновна не удержалась, соскользнула с перекладки, плюхнулась в воду, ободрав руки до крови и ударившись правой коленкой о невидимый камень. Но боль и страх ничего не значили, потому что Виктор — спускается! Она приняла его внизу, помогла встать, где потвёрже, выпрямиться, но он снова обмяк, согнулся беспомощно.

— Витечка... Держись за меня, держись, сейчас пойдём наверх...

— Не могу!.. Говорил же тебе — не могу идти!.. — то ли шептал, то ли плакал муж. — Не могу... Не мучай меня! И сама не мучайся... Спасайся...

Для вконец обессиленной жены слова Виктора прозвучали, как знак приближающейся смерти.

Она застыла у лестницы, медленным взглядом осматривая окрестности. Мгла слегка рассеялась, посерела, и открылось, что в гибельной ночи ничего не осталось от привычного мира. Земли нет — только вода. Двор не узнать: крыльцо закрыла чья-то разбитая машина, рядом с ней — холодильники, словно гробы белые расставлены. У забора месиво: торчат ветки деревьев, балки, искорёженные листы железа и ломаный сайдинг, — похоже, часть крыши. Плавают игрушки детские, дохлые куры. Чьи — свои или соседские?

— В сарай заглянуть бы... к Зорьке... — выдохнул Виктор. — А! Пропало всё! Полный двор падали у нас. Как ещё тушу вытаскивать...

Она не ответила, смотрела в сторону соседей. Что происходит там? Какие-то неясные звуки слышались ей: и крики, и хлопки, похожие на взрывы.

Через два дома в небольшой хатёнке жили сёстры с младенчиком. Мальчик родился месяц назад у старшей, Лидии; младшая, Елена, помогала выхаживать кроху.

— Витя, как думаешь, спаслись Лида с ребёнком?

— Ты разве не поняла?! Дома, как корабли: пять-десять минут — и на дно... Наш первый этаж почти мигом ушёл... А саманные под такой волной?

— Пришёл наш час. Пришёл конец света! Не выжить!..

Муж даже не пытался утешить её, успокоить; обречённо согнутая спина его была жалкой и незащитной, и мучительно для Варвары было смотреть на него. Почудилось ей, как кровожадный зверь-волна набрасывается на покорное тело и уносит вместе с белыми гробами. “Сейчас снова накроет!”

Варвара выпрямилась, будто и впрямь имела силы остановить чудовище. “Коль бьётся сердце — нельзя ждать смерти”.

— Витя, пойдём к ребятам! Спуститься смог — и дальше получится! Я тебя выведу!

Она подошла к нему, сцепила безвольные руки мужа на своей груди.

— Держись за меня!

И почти взвалила Виктора на спину.

— Ты хоть немного ногами перебирай... Я тебя тащить буду!

Виктор беспомощно охнул, подчинился.

Они двинулись по направлению к темнеющей на фоне вялого рассвета горе.

\* \* \*

В плацкартном вагоне, который вторые сутки катил из Новороссийска в Москву под июльским белёсым небом, пассажиры, примученные духотой, резкими запахами китайских супов и биотуалетов, под конец пути развлекали себя новыми знакомствами. Варвара Семёновна, склонённая над тонкой книжицей, приподняла голову, прислушалась к голосам в соседнем купе, куда недавно подсел пассажир, кудлатый парень лет тридцати. Разговор, заинтересовавший её, разгорался всё сильнее, спорили о случившемся год назад наводнении.

— Да о чём вы? Речка Адагум, на которой Крымск стоит, погнала волну такую, что трактор “Беларусь” как пёрышко пронесло практически по всему городу! — рассказывал парень.

— С этим никто не спорит, волна неслась семиметровая. Я о причинах! Был слив Неберджаевского водохранилища! — категорически вставил слово наскучавшийся пенсионер в хэбэшных трениках.

— А я вам факты приведу. Да, из Неберджаевки берётся питьевая вода для Новороссийска, но качают её насосами! И чтобы она пошла самотёком, уровень должен достичь как минимум 200 метров над морем. И находится-то водохранилище по другую сторону гор! Так что, хоть и вопили про слив, вода упорно отказывается течь в гору. Потом, помню, кто-то в инете крикнул: “Спасали уютные дачки!” — но дачки местных и федеральных бонз, что неудивительно, оказались тоже у моря, то есть опять же по другую сторону гор!

— Вы не всё знаете, молодой человек. Есть ещё нефтебаза “Роснефти” в Грушевой балке, Атакаевские водохранилища.

— Я хорошо изучил вопрос в отличие от вас! — задирался молодой. — Про “Роснефть” искатели правды даже видеоролик сделали. Но снова попали в жир ногами: нижняя точка нефтебазы на 50 метров выше дамбы Неберджаевского! Проектировали-то её не идиоты!

— Так вы оправдываете власти?

— Я, в отличие от многих, стараюсь, прежде всего, разобраться с проблемой. Но согласен, что вариант со сливом по указанию “преступных властей” был настолько жирным и фантастическим, что губернатору Ткачёву не оставалось ничего другого, как посадить троллящих в вертолёт и показать картину с высоты птичьего полёта. И мужики оказались мужиками, не стали включать любимое “высурковская пропаганда”, а написали в инете, что увидели на следующий день после потопа. Вывод прост: ни Неберджаевское, ни Атакайские водохранилища не могли быть причиной потопа.

— И что ж тогда погубило город?

— Всё элементарно. Запущенное хозяйство: десять лет не чистили русла рек, не укрепляли дамбы, не вели гидрометеорологических наблюдений. Но и это не главное! Вы только представьте количество осадков, выпавшее в те дни: в пике паводка — это около полутора тысяч кубометров в секунду! Чего ж удивляться тому, как вода, тактично разбудив спящих скромным стуком в дверь, стремительным домкратом достигала потолка!..

Варвара Семёновна решительно отодвинула книжку — не могла она спокойно слушать о пережитом потопе. Слишком живые картины встали перед её глазами. Заметив, что к разговору о наводнении прислушивается и пассажирка, чьё место было напротив, нижнее боковое, Варвара Семёновна слово за слово разговорила с ней. Коротко стриженная, лет пятидесяти, та настолько внимательно и участливо слушала попутчицу, что неожиданно для себя Варвара разоткровенничалась. И не только про ужасы потопа поведала, про волну, которая пришла, как только успела Варвара дотащить своего Виктора до полянки горной. А там встречал их знакомый пасечник, чей дом стоял на горе. И уже втроем добрались они до его калитки, до Иринки с ребятами.

Когда вода ушла, беды меньше не стало: заголосили по утопленным и пропавшим без вести, по вывороченным, разваленным домам. По домашнему зверью, по имуществу раздавленному, разрушенному, разбитому, погрязшему в жирной муляке. Вспомнила Варвара, как помогали справляться с бедой волонтеры, снабжали водой, разбирали завалы, от грязи расчищали дворы и помещения. Дом Варвары стал штабом, куда везли вещи для пострадавших. Вместе с невесткой и мужем распределяли необходимое для самых нуждающихся...

И не сдержалась — про Ирину свою горемычную, про сына поведала. Облегчила душу, так что затуманился взгляд старушки. И осеклась Семёновна, притихла. Невестка для неё теперь роднее сына стала. Мечталось, чтоб пришло к ней счастье не только материнское. Но Ирина и слышать не хочет про знакомства новые. Запрещает даже заговаривать свекрови об этом. Может, о Романе до сих пор думает?..

— Варвара Семёновна, вы не сказали — сейчас как там у вас? Дом выдох? Обустроили помещения?

Она кивнула, коротко ответила: “Всё слава Богу”. Но по изношенному чёрному платью её, по растоптанным туфлям на толстой подошве было видно, что переживает семья не лучшие времена.

А коли так, чего ж дома не сидится? На какие средства путешествовать?

— А по какой нужде едете, Варвара Семёновна? В столицу зачем вам?

Варвара молчала, наверное, не успевала за грустными своими мыслями. А может, отвечать не хотела.

Поезд уже катил по московским улицам. Вещей у Варвары оказалось совсем немного. Она достала из-под полки небольшой саквояжик да надела на плечи рюкзак вроде школьного.

— Вы по какой нужде в столицу? — не унималась попутчица. — Подсказать вам что? Довезти? Меня муж на машине встречать будет!

— Я здесь так... недолго, — наконец, откликнулась Варвара, поправила съехавший на лоб платочек в мелкий горошек. — Я в Дивеево еду.

— В Дивеево? На богомолье, значит?

Варвара Семёновна опять не успевала вопроса, попрощалась и одной из первых в вагоне двинулась к выходу.



МИХАИЛ ПОПОВ



## ВОТ И ВЫШЕЛ ИЗ МЕНЯ ПОЭТ

\* \* \*

А за ночь снова подморозило,  
Прозрачны сделались сады,  
И вѣтлы смотрятся не в озеро,  
А в тонкий-тонкий слой слюды.  
И в воздухе легко ломается  
Луч, зацепившись за карниз,  
И пар над клумбой поднимается  
Закрученнее, чем каприз.  
И в каждом звуке есть по трещине,  
И с перебоем кровотоков,  
В глазах у каждой встречной женщины  
Лишь иронический ледок.

### ПРИБЫТИЕ

Поверхность гавани никогда не бывает гладкой,  
Вёсла стряхивают искры заката в воду,  
Корма триремы оснащена палаткой,  
На пристани полтора Рима народу.  
Толпа встречающих занята параллельно  
Сотнями дел, там и воровство и злословье,  
Вергилий прибыл к ним, но лежит отдельно,

---

*ПОПОВ Михаил Михайлович родился в 1957 году в Харькове. Окончил Литературный институт. Автор нескольких сборников стихотворений и многих книг прозы. Лауреат ряда литературных премий. Живёт в г. Москве.*

Врачи у него в ногах, а смерть в изголовье.  
Жизнь завершается, можно сказать, галопом,  
С какой стати ты стольким и стольким нужен!  
Он единственный, кто догадывается, что там, за гробом.  
И вот уже вечер, и уже съеден ужин.  
В его присутствии уже не брякнешь: “Мemento...”  
Душа над телом в потоке закатной пыли.  
Человек стремительно становится монументом,  
Он слишком велик, чтобы его любили.  
Вот так, прибывая, мы всё-таки убываем.  
Вергилий вошёл в гавань, что из этого выйдет...  
Его практически нет, но мы изнываем,  
Потому, что он знает, а может быть, даже видит.

\* \* \*

В рябине свет дрожит, бледнеет в яблоне,  
Позванивает в листьях бузины,  
Когда б не это, то, конечно, я бы не  
Поверил — все мы спасены!  
Перенеслись путями непонятными,  
Туда, где нас в обычной жизни нет,  
Сливаемся с бессмысленными пятнами,  
И не понять, где тот, где этот свет.  
Сидим, дыша беспечно и загадочно,  
И ни о чём никто не хочет знать.  
Осина лишь листвою беспорядочно  
Пытается о чём-то вспоминать.

\* \* \*

Уже почувствовали мы  
Неповторимый этот почерк:  
Весна из ледяной тюрьмы  
Взрывается напором почек.  
И кажется, ещё чуть-чуть —  
И всё в зелёной канет пене,  
Но холодом сдавило грудь  
Апреля и без изменений  
Застыл наш бездыханный сад,  
Мир замер, как курок на взводе,  
И кажется, шепни: “Назад!” —  
И всё назад пойдёт в природе.  
Мир умирает, а не спит,  
Лишь у соседа на балконе  
“Машина времени” скрипит  
В раздолбанном магнитофоне.

\* \* \*

Вот и вышел из меня поэт,  
А куда укывлял — загадка,  
Вместе провели мы столько лет,  
Номер шесть была у нас палатка.  
Кучечку метафор и пучок  
Негодящих рифм забыл калека.  
И куда попёрся, дурачок,

И зачем обидел человека!  
Я ль винца ему не подливал,  
Я ли не водил его к девицам,  
Что он гений — тоже подпевал,  
Отпускал и в бездну подкормиться.  
Жить один я буду поживать,  
Он, как пар, рассеется во мраке,  
Больно будет это сознавать  
Старому бумажному мараке.  
Вот живу, общаюсь я с людьми,  
Но порою вдруг тоска пронзает,  
Что я буду делать, чёрт возьми,  
Если выйдет из меня прозаик.

\* \* \*

Так сдавило грудь, что стало ясно —  
Только Он умеет так обнять.  
И душа мучительно согласна  
Тело на бессмертье обменять.  
Ничего нет в мире достоверней  
Боли, обращённой в небеса.  
Вверх стремлюсь я из телесных терний.  
Вниз стекает мутная слеза.  
Ангелы летят в крылатых платьях.  
Только боль моя Благая Весть.  
Я готов пропасть в твоих объятьях.  
Я готов, но, кажется, не весь!

.....

*Редакция журнала “Наш современник” от всей души  
поздравляет Михаила Михайловича с 60-летним юбилеем!*

ЕЛЕНА РОДЧЕНКОВА



## ХАТА КОЛДУНА

РАССКАЗ

Самая верная любовь — любовь матери. Она со дна достанет.

Самая щедрая любовь — любовь мужчины. Она создаст рай и в золе, и в пепле, и на горящих углях.

Самая опасная любовь — любовь женщины. Она, как волна, может лепить из песка камни и растирать камни в песок.

Но самая великая любовь — это смешная любовь ребенка. Он никогда не сломает и не бросит любимую игрушку.

\* \* \*

У Евы в детстве не было любимых игрушек. Ева перестала любить их зря. Как только игрушка приобретала значимость, она тут же переходила в руки старших сестер. Еве надоело плакать и обижаться, и она перестала любить игрушки.

Ева не была золушкой, просто сестры-двойняшки всегда были заодно. Ева не стала холодной. Она научилась любить тайно, чтобы никто не догадался. Она целовала и обнимала пушистого кота только тогда, когда сестры были на улице, и катала в пластмассовой коляске по двору ходячую куклу Аленку, когда сестры куда-нибудь убежали. При них она играла с каким-ни-

---

*РОДЧЕНКОВА Елена Алексеевна родилась в г. Новоржеве Псковской области. Окончила Ленинградский институт культуры и Ленинградский гуманитарный университет. Член Союза писателей России. Автор нескольких книг поэзии и прозы. Живёт в Санкт-Петербурге.*

будь пупсиком, легко расставалась с ним, и сестры счастливо не выпускали пупсика из рук.

Ева привыкла хитрить. Она научилась любить тайно. С годами детская хитрость переросла в глубокую ложь. Ева закрылась, захопнулась от всех и от самой себя, прикрываясь болтовней.

— Ева, почему тебя называли Евой? — спрашивал будущий муж.

— Мама неправильно прочитала. Отец на морозном стекле в роддоме нацарапал “Зоя”, а мама с другой стороны окна прочитала задом наперед как “Ева”.

Будущий муж писал ее имя, подносил лист к лампочке и спорил, спорил, что невозможно было так прочитать, но ничего нельзя было изменить.

— Чужое имя, — сказал будущий муж и предложил построить общую семью.

Муж тоже был чужим, но Ева согласилась, потому что тайно любила другого, которого уже не было в живых. Замуж выходить было нужно, так было принято в городке, все выходили замуж и рожали детей, кроме ее сестер. Мать и сестры убеждали Еву, что замуж ее никто не возьмет, да ей и не нужно, потому что ее любимый уже погиб. И Ева торопливо и тайно вышла замуж, чтобы быть такой, как все.

— Польска паненка? — спрашивали соседки ее белорусскую свекровь.

Свекровь сдержанно отвечала:

— Русская.

— Большевичка?

— Не, не большевичка.

— Ай-ай, пупы-пупы. Але мало паненок было твоему Петро? Хай бы ж на Гале, бухгалтерке совхозной, женился...

Признакомившись поближе, бабы зазывали по вечерам Еву на лавочку на посиделки, требовали:

— Говорь, Ева.

— Что говорить?

— Абы што, коли ласка. Вельми велика мова. Говорь, Ева, нам по-русски.

— Вы же ничего не поймете.

— Говорь!

И Ева на великой мове говорила им все подряд — и стихи, и сказки, и про политику, не зная, понимают они ее или нет. Бабы кивали, и как только Ева замолкала, требовали:

— Аще! Але и мова! Як цацечка...

Пупы — это прошлые коммунисты и большевики в пупейках — высоких шлемообразных шапках. Память о них в бабах осталась навечно. Они обворовали и затравили этот краешек Западной Белоруссии настолько, что и мертвые будоражили все посиделки, и ненависть к русским нейтрализовать можно было только русской речью.

Песни Ева не пела. Запела один раз на соседской свадьбе — так такая началась вдруг сvara у свекра с гостями, что песня так и осталась недопетой. Все перессорились, разбежались по гулкой, черной белорусской ночи, а им с мужем постелили на душистом сеновале.

Муж клял и материл всех гостей и их родных до седьмого колена на вдруг проснувшемся в нем родном языке и наконец мрачно заснул, пообещав наутро достать конкретно из серого ящика в подвале ружье и всех перестрелять. Муж храпел на душистом сене, и его незнакомое лицо было маленьким и бесцветным, как у куклы. Корова внизу чвякала копытами по жиже, тепло и трудно вздыхала, и от ее присутствия Еве было спокойнее принять жизнь как есть. Она сидела на сене и ждала утра, боясь представить подвал и серый ящик с оружием. Ева знала, что люди обычно впустую обещают хорошее, а обещанное плохое исполняют. Закукарекали петухи.

— Хай бы ж ты на Гале-бухгалтерке женился, — равнодушно прошептала она слова свекрови и сладко заснула в пышном душистом сене.

То, что Ева попала в хату колдуна — ей сказали бабы на лавке. Не прямым текстом, но она поняла. В деревне было скучно. Одно развлечение — ездить на велосипеде в соседние деревни по магазинам. Свекр за ужином объявлял план работы на следующий день: сколько кому следует собрать смородины, груш, яблок для поездки в выходные на базар, и они с мужем шли в сад к огромным, выше человека кустам красной, белой и черной смородины. Дочка ползала рядом по расстеленному одеялу, и было тихо вокруг них и вокруг всей жизни: тишина в прошлом, тишина в настоящем, тишина в будущем. Еве как было, так и было хорошо.

Но тишину нарушал свекр. Он постоянно хотел снять с них порчу. Требовал пройти какой-либо — и всегда разный — обряд по вечерам, чтобы снять сглаз “пекла” — болтливых соседок. Свекр был поляк, соседки все — белоруски. Ева несколько раз исполнила его приказания, но ей это не понравилось — без причины вдруг поднялась температура, — и Ева стала отказываться. Тогда свекр перекинулся на дочку, брызгал на нее водой из бутылки, шептал что-то, помазывая ножом вокруг тела. Ева отняла ребенка. Ночью пришлось вызвать “скорую” и отправиться в больницу. Утром в больницу явились муж и свекр.

— Мама у церкву пошла за семь километров пешком. Мы вас сейчас заберем без спросу и отвезем к знахарю. Потом вернем.

Ева по глупости согласилась.

Дед-знахарь Еве не понравился. Он был неопрятный, востроглазый, бульбоносый и лысый. Обвивал нитками, измерял руки-ноги льняной суровой пряжей, вязал узлы... Свекр вошел в раж и по пути завез их на мотоцикле с люлькой еще к одному деду. Тот был черный, как ворон, и суетливый, как воробей. Потом заодно по прямой трассе заглянули в бабку. Бабка была смешная, она, воровато заглядывая в люльку, ждала гостинцев. Отнесла вприпрыжку в дом гостинцы и тут же на улице стала хлопать Еву по спине, выправляя сглаженные и нарушенные позвонки, а дочку в руки Ева ей не дала.

Приехали домой. Свекровь вернулась из церкви, принесла просфорки, дали дочке, положили спать, в больницу больше не поехали.

Свекр был очень своенравным. Однажды он решил, что Ева смертельно больна, так как слишком бледная.

— У меня кожа такая, — пыталась спорить Ева, но уже был выкачен из гаража мотоцикл. Муж тоже пытался возразить отцу, мол, она всегда была такая белокожая...

— Сморгач проклятый! — сказал сыну свекр. — Седайте!

Сели и поехали.

Дом, как в сказке, с покосившейся крышей — стоял на краю деревни, на отшибе, среди кустов в некошеной траве, и непонятно было, почему он не падает набок. Нахохлившийся, как больная, задремавшая ворона, он, казалось, через мгновение проснется, встрепенется, закаркает, захлопает сломанным крылом — черной гнилой щепой кривого конька и приподнимется с земли на скрипучих сухих лапах и крикнет, и вдруг квакнет, и чихнет, и закашляет, и рассыплется в прах.

В доме были земляные полы, по полам бродили в скуке вороны и четыре облезлых кота. Они все дружно что-то искали и не могли найти на земле. Свекр в высоких кожаных сапогах и лично пошитых галифе прошел важно, сел за стол без спросу, как у себя дома, грохнул на табуретку сумку с гостинцами — одинаковый его набор для визитов — самогоном, салом и домашней колбасой.

— Трэмай, Дарья. Трэба подсобить. Большая невестка, бачишь ты?

Ева изумленно разглядывала огромные серебряные и золотые броши, бусы из драгоценных камней, сложенные в кучу на старой, облезлой табуретке возле окна, будто на столике. У Евы захватило дух — она любила камни. Такая у нее была с детства необъяснимая любовь к камням — сначала к речным камушкам, потом к драгоценным.

Ева заворуженно разглядывала издалека украшения, но взгляд ее внезапно наткнулся на грязную руку, перемешивающую драгоценности, как тесто. На полу у табуретки, возле ног матери пристроился босой лохматый парень в холщовых домотканых коротких штанах — до невозможности грязный, сопливый, с красными от слез глазами. Он счастливо заулыбался Еве и протянул ей горсть бус и брошек.

Ева тоже улыбнулась и подошла к нему.

— На, Ева! — сказал парень.

Ева не удивилась тому, что он знает ее имя.

— Не надо, спасибо, — прошептала она, наклонясь к нему. — Играй сам, это твои игрушки.

— Сядь! — велела Дарья, отгоняя ее жестом от сына.

Она стала медленно раскладывать на столе карты. Вышли четыре туза. Дарья зыркнула на свекра:

— Кого ты мне сюда привез? — грубо бросила она и быстро раскидала новые карты. Рука ее дрогнула — вышли четыре туза.

Она тщательно перемешала карты, и снова вышли четыре туза.

— Так вот какие люди сегодня в моем доме, — зло прищурилась Дарья, — Выгнать не могу, не поймете, — сказала она по-русски и далее стала говорить по-польски, перемешивая речь с белорусским языком.

— Ладно, — жестко согласилась она с кем-то невидимым и стала выкладывать вокруг тузов из колоды другие карты. Вышли четыре короля, четыре дамы и четыре вальта.

— Не буду гадать, — громко рыкнула она и бросила карты. — Кого ты мне привез?! В дом завел!

Свекр растерялся, заелозил на стуле:

— Дарья, мой сын большой человек в России.

— Вельми большой. Не хочу. Не треба. Не буду, — рубанула рукой Дарья.

— Да! — оживился и заартачился свекр, — большой человек! Мой сын начальник, Дарья! Он заплатит. Погадай, Дарья, не упрямясь. Интересно же.

Дарья уставилась в окно, набивая цену или просто раздумывая.

Свекр стал захлеб рассказывать Дарье об успехах сына. Та кивала аккуратно причесанной черной головой, тонкие, красивые черты лица заострились, профиль превратился в вороний, она не перебивала, только все жестче и суше поджимала изящно прочерченные на точеном и не тронутом старостью лице губы и неотрывно смотрела в окно черными миндальными глазами. Вдруг резко повернулась к Еве, к ногам которой приполз с бусами и брошками ее ненормальный сын.

— Для чего тебе ехать в Польшу?! Что ты там забыла? — спросила она зло.

— Я не еду в Польшу. Я была там раньше, да. Долго... месяц...

— Где?

— В Варшаве, в Кракове, в Гданьске, Гдыне, Познани... много где...

— Не едь в Польшу! Не смей!

— Я больше не собираюсь. Мы были там по студенческому обмену, когда я училась в институте, а польские студенты потом к нам приезжали в Петербург... — принялась лепетать испуганная Ева.

— Сказала, ни ногой больше! Все тебе будет здесь. Все, что захочешь — получишь, если не поедешь в Польшу.

— Не едет она, Дарья! Чего ты, не едет она. Они в России, Дарья, — стал успокаивать ее растерявшийся свекр.

— Вот что будет! Слушай, что будет! — резко повернувшись к нему выпалила Дарья.

Свекр с озверевшим и застекленевшим от повышенного внимания лицом, открыв рот, внимал старухе, пытаясь запомнить пророчества и пути их исправления. Он то шептал что-то, как червями шевелил тонкими губами, загибал пальцы, подпрыгивал на табуретке и периодически озирался, боясь перебить гадалку, пытался отыскать взглядом бумагу и ручку.

У Евы был блокнот, но она не дала. Она поднялась тихонько с табуретки и незаметно вышла в сени за Дарьиным сыном. Тот, нагнувшись, тащил за лапу кошку — ругал ее, мычал и собирался за что-то наказать. Но тащил не зло, не больно, хоть и сильно. Кошка молча упиралась, отказывалась идти. Следом заполошно бежали озабоченные вороны. Видимо, кошка все же что-то нашла на полу или стащила гостинцы из сумки свекра. Все это было Еве гораздо интереснее. Этой странной толпой они все почти бесшумно выкатились на крыльцо избы.

Лохматый парень сурово запищал кошку в холщовый мешок и подвесил мешок на гвоздь на солнцепеке. Кошка молчала, не мяукала, и видно было, что она понимает, за что ее наказали и подвесили. И вороны понимали, и остальные три kota тоже понимающе смотрели снизу вверх на мешок.

— Зачем ты это сделал? — спросила Ева.

— Будя думать, — хмуро сказал парень и исчез в черной тени высоких кустов белой смородины. Смородина с листьями клена и ягодами винограда, светом янтаря, высотой с дом, переливалась на ветках как виноградный дождь.

— Я сниму ее! — крикнула Ева.

— погоди трошки иними, — донеслось из дождя. — Будя думать.

Ева навсегда запомнила, каким способом жизнь может заставить думать о вине. Это потом всегда помогало: посадить себя в плотный мешок и зависнуть высоко под палящим солнцем правды.

\* \* \*

Болезнь подступала долго, нерешительно, то подползала, то удалялась. Ева ее отгоняла, но второго ребенка кормить грудью перестала. Умирать и оставлять двоих детей было нельзя. Грудь то горела огнем, то леденела и становилась чужой, будто ее уже не было. Свекр отвез Еву к какому-то очередному знакомому деду — собрал в дерматиновую сумку, как обычно, сало, колбасу, самогонку, завел мотоцикл и поехали.

Дорога прямая, без поворотов, садись за руль да спи, все равно доедешь, уныло гудела. Ева дремала в люльке, укрывшись заколевающим на ветру куском кожзаменителя.

Дед — незнакомый — обычный старый мужик, только глаза острые, злые, шептал над водой, укрывая бутылку с двух сторон седыми прядями волос. Ева любовалась: седые волосы серебрились на солнце, вода в бутылке рябила, переливалась, будто разговаривала с ним. Красиво! Солнце лилось в окно, и Ева благостно и снисходительно улыбалась, будто была в последней в жизни сказке.

Грудь дед смотреть не стал, велел сначала пить нашептанную воду, а потом снова приехать. Но больше к нему они не поехали, потому что Еве стало совсем плохо.

Старая бабка, соседка Зоня, обнаружив польхающую Еву на лавке возле дома, всплеснула руками, кивая на замотанную шерстяным платком грудь Евы, сердито закричала:

— Чаго ты здесь сядишь? Ты что ж это делаешь, девка?! У тебя ж дети! Почему в больницу не едешь?

— Была я в больнице, давно лечусь...

— Тогда езжай с моей Томкой завтра утром до бабки Пани. А ну иди отсель! Собирайся, поедешь завтра с Томкой. Бесу этому не говори только, не пустит. Томку опять сглазили на работе — дурная стала, цифрам счет не понимает, уволить потому хотят. А ведь у нее институт закончен, а считать разучилась, сглазили! Поедешь?

— Поеду.

Малосенький полесский домик под вековыми липами, как спичечный коробок в лесу — издали не увидишь — затерялся, обвитый вереницей легковых машин. Встали с Томкой в очередь, ждали долго, с утра до самого вечера.



— Что это за бабка такая Паня, что к ней столько людей? — удивлялась Ева, унывая от жары и отмахиваясь березовой веткой от мух.

— Сильная бабка. Со всех краев едут, не только из Белоруссии, — сказала Томка. — Тяжело ей, день и ночь сидит дома. Такая жизнь — врагу не пожелаешь.

Уже почти ночью дошла очередь до Евы. Мухи ползали по домотканому пологу входной двери, редко и кратко звенькали при взлете — уже начинали засыпать и летать ленились. Светлый старичок, усталый, вялый, отодвинул полог, и Ева вошла в домок. Слева — железная кровать с пружинистой сеткой, справа — печка, прямо — стол. И больше ничего. На кровати, в провисшей до полу сетке, как в люльке, сидела маленькая голубоглазая старушечка — круглая, беленькая, свежая, яркая, как только что вылепленная игрушка, улыбалась.

— Иди сюда, — сказала она Еве.

Ева села рядом с ней, тоже провалилась до полу, скрипя пружинами, завалилась на бабульку, попыталась выпрямиться, отстраниться, стало неловко, неудобно, но от бабки было не оторваться — так и сидели, слившись воедино в провисшей сетке, как в яме, тесно прижавшись друг к другу. Бабка Паня обняла голову Евы и прижала к своей груди. И Еве вдруг захотелось остаться с ней навсегда. Она ее любила. Вот так ее никто никогда не любил. И мир исчез, и все исчезло, и не было ничего в мире, кроме этой теплой человеческой руки на затылке. Ева подумала, что хорошо бы умереть именно сейчас.

— Поешь песни? — спросила вдруг бабка Паня.

— Пою, — кивнула Ева и судорожно, с тяжелым всхлипом вздохнула.

— Хорошо поешь, — похвалила старушка. — Ты пой, пой.

— Я пою...

— А что будет, на то не смотри. Пой себе и пой. Всегда пой.

— Я пою...

— Надо петь. И всегда пой. И дальше пой.

— Хорошо, я буду всегда петь, — прошептала Ева.

— Вот и слава Богу, пообещала. Так не забудь, что пообещала. Иди и пой, доченька моя.

— А грудь-то у меня...

— А что — грудь? Грудь, грудь. Лучше всех грудей грудь. Ни о чем не думай, пой до конца, а как конец — так всего сильнее пой.

\* \* \*

Больше грудь никогда не болела. Но стала болеть душа. Песни были сильными, смелыми, из этой боли выплеснутыми, застывали намертво, каменели на ветру времени, впечатываясь в него. За песнями хлынули стихи, за стихами проза. Но тут заболел сын. Ночами не спал — ныли ноги. Свекр собрался везти его к черной Дарье. Ева бесстрашно согласилась ехать. Но Дарья отказалась снимать порчу.

— Больше не занимаюсь я такими делами, не ездю ко мне, Пан. Я Богу слово дала.

— А что же случилось? — взволновался свекр, доверительно подсаживаясь поближе к Дарье.

— Сын помер. Из-за меня. Так мне Бог сказал.

Ева вздрогнула. Свекр про сына будто не услышал.

— А знания свои кому передашь? Некому теперь? — спросил он деловито, приблизив лицо к уху Дарьи.

— Никому. Со мной сгорят. Я гореть буду, Пан, здесь, на земле. Чтобы потом в аду не гореть.

— Что ты, Дарья, говоришь такое... никому... Ты ведь одна такая, Дарья... Гореть... Зачем гореть? Жить надо. Я вот двести лет собираюсь жить, отдай мне свои знания.

— Хочу гореть. Долго хочу гореть. Сына-то спалили...

— А что с ним случилось? — не выдержала Ева.

Дарья вскинула на нее глаза, и Ева поразились — перед ней сидела совсем другая женщина — седая, сморщенная, с бесцветными глазами и расплывшимся в плоский белый таз дряблым лицом. Никакой бывлой точеной, тонкой, литой красоты...

— Ты и спалила, — равнодушно сказала она и опустила голову.

— Отдай мне знания! — вдруг рубанул с плеча свекр. — Отдай!

— Так и остальное тогда возьми.

Свекр задумался.

— Дарья, ты мне продиктуй, я в тетрадке заговоры запишу, и гадать научи, — предложил он.

— А все остальное возьмешь?

— А что остальное?

— Все. Ты зачем приехал?

— Сглаз с внучка снять.

— А что взамен привез? Песни? Ты отдай их мне.

Свекр вспотел, вытупил глаза, растирая лоб:

— Зачем тебе ее песни? В них толку нет.

— Отдай. Мне полегче будет гореть...

Свекр снова задумался, кусая железными зубами пересохшие губы.

— Не могу. Это я не могу. Не получится. Никак не получится.

— Ну так и ты ничего не получишь. Иди своей дорогой, Пан. А как стогрю, никто хоронить не придет. А ты придешь и похоронишь.

— Почему — я?! — взвился свекр.

— А чтоб метка у тебя от сажи осталась.

— Для чего мне твоя метка, Дарья? Гори ты как хочешь, а людей не втягивай. Зачем я с твоей меткой ходить буду? Никто не придет, а я нешто дурак, один в золе копать? Я не обещаю, Дарья, тебе этого. Не дури, Дарья.

— Знаешь, что придешь...

— Не приду! Не обещаю я тебе этого. Знай! — завопил свекр, беленея и выпучивая глаза.

Ева схватила сына и выбежала на улицу, она не могла слышать крик свекра, ее тут же покидали силы и начинала бить дрожь. Из дома доносился непрерывный бычий вой, слов было не разобрать. Ева пошла к высокому кусту белой смородины и вдруг увидела в центре куста невысокий холмик с деревянным православным крестом. Подле в теньке лежали два кота, а в траве тут и там спали вороны.

— Господи, помилуй! Господи, помилуй! — Ева в ужасе впервые в жизни перекрестилась на этот крест.

Свекр выскочил из дома:

— Ева! Чертова ведьма, не дала мне ничего! Богу слово дала, — крикнул он, пытаясь завести мотоцикл, но мотоцикл не заводился. Так и пошли они пешком до трассы, а там на попутной машине доехали до своей деревни.

Утром свекр с соседом поехали за мотоциклом с тягачом, но не нашли ни дома, ни мотоцикла — только груды углей да обгоревший труп Дарьи. Подоаль посреди дороги стоял крепкий гроб, — видно, она вытащила его из дома и подготовила для себя. В гробу — белая ткань, деньги, небольшой пакет с золотыми украшениями, брошками и драгоценными камнями и записка: “Богу слово дай тоже”.

Обомлевший свекр поделил с соседом под клятву золото, Они уложили труп Дарьи в гроб и торопливо зарыли под кустом белой смородины рядом с деревянным крестом.

Никто Дарью не искал, милицию не вызывал, будто и не было никогда этого одинокого черного дома на дальнем краю белорусской деревни, ни пожара, ни тягача, ни обгоревшего мотоцикла...

Ноги у сына стали болеть еще сильнее. Повезли с Томкой его к бабке Пане. Та погладила ножки мальчику, шепча молитвы, и строго глянула на Еву.

— А ты на черте, доченька.

— На какой черте? — растерялась Ева.

— Поставили тебя на черту. В жертву. Завтра к ночи приедь одна. Мальчика не привози. Мальчик будет здоров.

— Но пою песни, как и обещала.

— На черте и поешь. Худые это песни потому. Другие будут. Или не будет никаких. Новое белье купи, в баню сходи. Обязательно! После заката, без очереди приди, я буду ждать тебя. Ну-ка, малец, дай ножку. Молитовки знаешь? Не знаешь? Плохо, будем учить. Давай, повторяй за мной, выучим. Мама не научила — я научу. И ты давай учи, мама, — строго глянула она на Еву. — Ну, повторяйте за мной...

К вечеру свекр стал внезапно придираться ко всем — то не так, это не этак. Ева взяла сына и дочку, вышла во двор, чтобы не слушать перерастающую в сплошной ор перебранку отца и сына, а когда вернулась, оба — белые, потные, с вытаращенными, налитыми кровью глазами, из последних сил гавкали друг на друга. Оба тяжело дышали, выдохлись и внезапно одновременно заткнулись. Ева прошла в комнату укладывать детей.

— Нечего было жениться на нищей. Надо было брать Галю — бухгалтерку совхозную, — уныло сказала свекровь.

— Але справна дивчинка гэта Галя! — воодушевленно подхватил свекр, и Ева поняла, что разговор был опять о деньгах.

— Добрый всем вечер! — развернулась и с восхищением всплеснула руками Ева. — Галю! Да она за капитана подводной лодки вышла замуж!

— Надо сидеть рядом с мужем, а не уходить на улицу, — поджав губы, сказала свекровь.

— Но Галя с капитаном не сидит в подводной лодке.

— А что Галя? — взвился свекр. — Чаго тебе до Гали?

— А то, что у капитана есть подводная лодка, — сказала Ева и пошла к детям, оставив всех в недоумении.

Долго стояла тишина.

— Ты как скажешь, так три дня думать надо! — заорал свекр. — Ты просто сказать не можешь, большевичка, коммунистка проклятая, навязалась на наши головы. Ты все какими-то непонятными словами!

— Дети спят, — сказала Ева приоткрыв дверь.

— Дети пусть слушают, что батянка говорит! — загремел свекр. — Детей батянка воспитывать должен! Больно воли много получила!

— Привыкнет, — вдруг сказала примирительно свекровь.

— К чему привыкну? К мужским истерикам? Нет, не привыкну.

— А! Ну тогда разводитесь, — кивнула свекровь.

Ева холодно ухмыльнулась и вздрогнула от этой ухмылки. Сухая, безжалостная, решительная, она ее напугала, она была ей незнакома.

И свекровь кивнула, будто дело было решено:

— Ты нам такая не нужна. Разводитесь.

После заката начинается ночь. Чем ярче закат, тем ночь черней. Чем ночь черней, тем ярче в небе сияют звезды, и если какая падает, то рассекает все небо на две половины. Как ни смотри, а половины эти — справа и слева — равные. Но иные, слабые звезды, падая, не разрезают пополам небо, а лишь делают легкие, быстро заживающие порезы и оставляют невидимые шрамы.

Ева вошла в домик бабы Пани без очереди — никто не упрекнул, не возмущился, хотя обычно в очереди бывали перебранки.

Ева торопилась, дома опять был скандал, дети, наверное, опять боялись и плакали.

— Вот, принесла все чистое, в бане помылась, приготовилась, — доложила она бабе Пане.

— Ладно, хорошо. Но это не надо. Иди теперь, — сказала бабка Паня.

— Куда? — растерялась Ева.

— А куда пойдешь, туда и иди. Делай теперь, что делаешь.

— С детьми уходить?

— А как же, с детьми, конечно.

— Я не справлюсь... Мне некуда уйти... Я давно бы ушла...

— Не знаю. Ничего не знаю. Мне не велено вмешиваться. Или вытацишь всех, или никого не вытацишь. Как захочешь. Воля твоя.

— Я не смогу. Помоги мне.

Бабка Паня помотала головой:

— Три раза я спрашивала о тебе. Больно по сердцу ты мне пришлась, уж думала, выпрошу. Но нет. Не велено и все. Не могу тебе ничем помочь. Ты должна сама. Выберешься — да. Не выберешься — нет. Есть только два ответа: да и нет. Это помни.

— Но у меня же дети.

— Иди, девонька. Ничего не могу.

— Ты можешь...

— Я могу, но нельзя. Только сама. И на том конец. Иди.

— Ну, хоть сглазними, бабушка Паня, — совсем растерялась Ева, боясь выходить из дома в ночь.

— Что уж теперь тут — сглаз, — ухмыльнулась бабка. Сурово, холодно, жестоко так ухмыльнулась, как давеча ухмыльнулась Ева.

— Тут дела другие. Бывают иногда такие дела. Но редко. Я прямо тебе говорю. А ты как поймешь, так и хорошо. Иди с Богом. Пой песни. Пой до самого конца, а увидишь конец — еще сильнее пой.

Ева, леденя всем телом, подошла к двери.

— Стой. Иди сюда, — мягко позвала ее бабка Паня.

Ева оглянулась.

— Видишь, какие мои ноги?

Бабка приподняла подол жесткой суконной юбки.

— Какие?..

— Никакие. Нет их. В войну ребенком отморозила в землянке.

— Как?! — ужаснулась Ева. — Я не знала...

— Никто не знает. А зачем — знать? Это моя большая беда. Большое горе...

— Да, это беда...

— Я ведь не могу добраться до таких как я, до неходячих. А многим могла бы помочь, если б ноги-то были. Ты иди, ты тоже будешь лечить. Ноги береги, не отморозь, гляди. Остальное просто. Иди, благословляю тебя. Хороший доктор будешь. И люди тебе этого никогда не простят.

НИКОЛАЙ АНТОНОВ



ТАМ РУССКИЙ ДУХ,  
КАК ПРЕЖДЕ, СВЕТЕЛ...

ЗАБРОШЕННЫЙ ХУТОР

То ль вечер, то ль утро.  
Ни птиц, ни людей.  
Заброшенный хутор  
среди белых полей.

От края до края  
гречиха в цвету,  
Как пасака рая,  
Как грёзы в аду.

Тропинка с просёлка.  
Дырявый плетень.  
Повыбила стёкла  
война ли, метель?

---

*АНТОНОВ Николай Николаевич родился в 1962 году в селе Нахимово Целиноградской области. Окончил Башкирский государственный университет (факультет математики) и Литературный институт имени Горького (семинар В. Цыбина). Печатался в журналах "Москва", "Бельские просторы" (г. Уфа), "День и ночь" (г. Красноярск), в газетах "Литературная Россия", "Московский литератор" и ряде других центральных и региональных изданий, а также в коллективных сборниках. Автор книги стихов и рассказов "О другом". Член Союза писателей России. Живёт в Москве.*

Остались от дома  
четыре стены  
да кучка соломы,  
как символ вины.

Дождь, время и ветер  
не тронули лишь  
траву да деревья,  
да мёртвую тишь.

### СКАЗКА ДОЧЕРИ

На праздник ледохода  
мы с доченькой пришли.  
И вот стоим у входа  
на островке земли.

Вокруг — болото снега,  
а впереди — река.  
И лёд похож на небо,  
а снег — на облака.

“Мы, дочка, опоздали —  
все льдины унесло...  
Сегодня нас не ждали:  
мы спутали число”.

А дочь: “Смотри-ка, папа!  
Ты видишь или нет?  
Не волчья разве лапа  
оставила здесь след?”

Иван-царевич, видно,  
на Волке проскакал.  
Алёнушку на льдине,  
наверное, искал.

А вон — пеньки с корнями,  
у самой у реки.  
Они следят за нами,  
они — лесовики.

Алёнушку пугали,  
кричали на весь лес.  
И топали ногами,  
несясь наперерез.

А вон со льдины сонно  
глядит на берега,  
не думай, не ворона,  
а бабушка Яга”.

\* \* \*

Жаль красоты непуганой, невинной...  
Недолг век невинной красоты,  
беспомощной, доверчивой, наивной,  
стыдящейся своей же чистоты.

Недолго ей такую оставаться —  
порочный мир испачкает ея,  
и станет ею скучно забавляться,  
как куклой забавляется дитя.

Жаль девушку, томимую любовью,  
боящуюся, ждущую любви:  
она юна и не знакома с болью,  
что вечно движет миром и людьми.

Жаль этих губ, не знавших поцелуя,  
жаль этих глаз, не ведавших тоски.  
А девушка... завидуя, ревнуя,  
торопит время, сердцу вопреки.

\* \* \*

Речка вернулась в старое русло,  
но не вернулись года.  
Возле плотины сыро и пусто,  
Схлынула в реку вода.

Голуби сбились в робкую стаю:  
вскинутся, но не летят,  
будто минувшую жизнь окликают,  
чтоб возвратилась назад.

“Голуби, голуби! Что ж вы кричите?  
Время не двинется вспять.  
Видите, солнце застыло в зените  
и покатилося опять.

Время не солнце, время не речка —  
невозвратимо оно.  
Время одно среди сущего вечно,  
только ему всё равно,

речка ль вернулась в старое русло  
иль не вернулись года...  
Катится речка, катится к устью.  
Катится “Время — вода”.

## АРХАНГЕЛЬСКИЙ СОБОР

Когда ты вдруг с пути собьёшься,  
с пути, где сердцем правит Бог,  
и поневоле отзовёшься  
на зов обманчивых дорог,

где меркнет свет, где звук грубеет,  
где блекнут краски бытия,  
где алчней плоть, где дух слабеет,  
где жизнь твоя — как бы ничья,

где родина — всего лишь слово,  
где всё всему наперекор,  
приди тогда под сень былого —  
приди в Архангельский собор.

Там прах царей и свят, и вечен.  
Там слава выше, чем молва.  
Там русский дух, как прежде, светел.  
Там связь времён и дел жива.

Там в тишине под вечным сводом  
среди взыскующих гробов  
услышишь праведное слово,  
увидишь чистый свет Христов.

\* \* \*

*Памяти Юрия Кузнецова*

Горячий камень на Колдун-горе  
сто лет вздыхает о богатыре.  
Кто камень тот сумеет вниз столкнуть,  
заветный к счастью разужнает путь.

Не раз к нему сходились силачи,  
как к озеру стекаются ручьи.  
Всяк брёвна поднимал, подковы гнул,  
но камня даже не пошевельнул

И воротился ко двору ни с чем.  
А камень остывает между тем...  
О, родина! О, русская земля!  
Яви, яви, яви богатыря!

\* \* \*

*Памяти Ивана Ильина*

Покоя в мире нет, но есть на свете счастье!  
Изведал счастье я, и вы поверьте мне:  
над ним ни человек, ни целый мир не властен,  
ведь счастье — сердца песнь в безмолвной тишине.

Кто слышал эту песнь, будь свят он или грешен,  
кто слышал эту песнь хотя б один лишь раз,  
тому открылся мир, тот навсегда утешен,  
без видимых причин тот вечно жизни рад.



**ЕЛЕНА ЛАРИНА,  
ВЛАДИМИР ОВЧИНСКИЙ**

## **ПРЕСТУПНОСТЬ ЭПОХИ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ XXI ВЕКА**

### **ВВЕДЕНИЕ**

Перед вами, уважаемые читатели, первая из серии статей о будущей преступности. Несколько лет назад в Америке была издана книга “Будущие преступления” (Future crime). Её написал Марк Гудман. Он прошёл путь от полицейского “на земле” до заместителя руководителя Национального центрального бюро Интерпола в Вашингтоне, ведущего аналитика ФБР. Книга Гудмана, изданная более чем в 20 странах мира, рассказывает об орудиях и инструментарии преступника будущего. О том, как криминал будет использовать информационные технологии, достижения генной инженерии, робототехники и 3D-печати для корыстных преступлений, убийств и других противоправных действий. В книге Гудмана речь идёт о том, как преступники используют достижения высоких технологий в корыстных и иных антиобщественных целях. Но по прочтении книги Гудмана встаёт масса вопросов: в каких обществах всё это будет происходить; как новая преступность увязана с промышленной революцией, происходящей в начале XXI века; как вообще будущее влияет на преступность и, главное, что это будет за будущее?

Задача наших публикаций – шире. Орудие – это всегда средство. Поэтому главным в анализе и прогнозировании преступности являются не средства, а цели. Чтобы понять цели, нужно проанализировать тенденции развития преступности. Нужно взглянуть в реалии сегодняшнего дня и обнаружить в них черты дня завтрашнего. Только внимательно изучив черты и характерные особенности новых видов преступности, можно спрогнозировать риски и угрозы криминала нового типа, с которым предстоит бороться обществам и государствам буквально завтра.

Эта работа о преступности, преступниках и криминальных технологиях завтрашнего дня.

Риски и угрозы, порождённые будущей преступностью, столь велики и многообразны, что справиться с ними силами исключительно правоохранительных органов не представляется возможным. Борьба с будущим криминалом будет успешной лишь в том случае, если станет делом всего общества и наиболее активных, продвинутых, в том числе в технологическом плане, его членов. Это не публицистическое преувеличение, а констатация факта. Как образно отметил современный российский философ-футуролог Александр Неклесса, “ускорение социального времени обращает будущее в кипучий Клондайк, перспективную нишу, здесь реализуется преимущества креативных,

венчурных личностей над многими сложившимися организмами. Ситуация отчасти напоминает былое состязание небольших подвижных особей и медлительных, жующих траву гигантов” (“НГ”, “Будущее как усилие”, 05.10.2016).

### Обогнавшее нас время

Анализ будущей преступности логично начать с темы времени. На первый взгляд, время так же, как и пространство, является чем-то обыденным, привычным, понятным, заслуживающим тщательного и вдумчивого рассмотрения. Однако впечатление это обманчиво. **Люди гораздо лучше ориентируются в пространстве, чем во времени.** Наш язык и изобразительные средства, в первую очередь, предназначены для описания пространства, а не времени. Этот парадокс порождён человеческой историей. В течение тысячелетий для человека гораздо важнее было пространство, чем время. Условия жизни менялись мало. Событий не только в жизни отдельных людей и групп, но и в жизни народов происходило немного. Да и те, что происходили, как правило, повторялись. В результате с начала истории буквально до наших дней человеческая цивилизация была, прежде всего, цивилизацией пространства, а не времени. Основные усилия люди тратили на покорение пространства, постепенно пядь за пядью осваивая поверхность планеты.

Пространственный характер нашей деятельности наложил отпечаток на образ мыслей, картину мира и науки. В первую очередь, на математику. Вся математика, подарившая нам информационные технологии, это, прежде всего, пространственная наука. Таковой она является не столько потому, что её важнейшей частью является геометрия, сколько потому, что математика оперирует неизменным. В математике один всегда равен одному, а А всегда равно А. Школьная алгебра и университетская теория множеств и групп в одинаковой степени имеют дело с неизменным, одинаковым. Время математика может изображать только при помощи пространства. Достаточно посмотреть на любой график. В нём время изображено одной из осей координат. Оно, по сути, неизменно.

Однако в Европе всё изменилось с конца XVIII века. Начало первой производственной революции ознаменовало переход от постепенного роста к экспоненциальному развитию. Мир впервые стал быстрым. Вот уже более двух столетий темпы перемен непрерывно возрастают. Изменения охватывают буквально все стороны человеческой жизни: экономику и быт, военное дело и коммуникации.

Без малого 50 лет назад, подводя первые итоги экспоненциального развития, известный американский социолог и стратег Элвин Тоффлер выпустил книгу, сделавшую его знаменитым во всём мире. Её название – “Футурошок” или “Шок перед будущим”. В книге Э. Тоффлера можно найти такие строки: “Сегодня весь мир – это быстро исчезающая ситуация. Скорость перемен имеет значение совершенно отличное и иногда более важное, чем направление перемен. Никакая попытка понять адаптивность не может быть успешной, если не осознать этот факт. Тревожно, что значительное большинство людей, в том числе образованных и умудрённых опытом, считают мысль о переменных такой угрожающей, что пытаются отрицать их существование.

Человечество может погибнуть не от того, что окажутся исчерпанными кладовые земли, выйдет из-под контроля атомная энергия или погибнет истерзанная природа. Люди вымрут из-за того, что не выдержат психологических нагрузок”. Пять десятилетий подтвердили провидческий дар Э. Тоффлера и дали множество аргументов в пользу гипотезы, что чем дальше, тем больше человечество будет испытывать страх и неуверенность перед будущим.

Буквально через несколько лет после опубликования “Футурошока” знаменитый польский фантаст и мыслитель, автор “Суммы технологий” и “Соляриса” С. Лем попытался разобраться в причинах ускоряющихся темпов перемен. В статье “Дорога без отступления” он написал: “Утверждение, что технология является независимой переменной цивилизации, требует более подробного объяснения... Невиданное, безмерно многообещающее начало способно иметь печальные и даже смертельные последствия. Как транспорт, так и современная медицина с её оснащением и функциональной базой, равно как и атомная энергия, и распознавание, и декодирование основ нашей наследственности показали нам уже своё грозное обличье. Однако... мы не сможем

уже сойти, а тем более отступить с этой дороги, оцетинившейся пользой и опасностью, на которую мы вступили уже очень давно... Для человечества непредвиденными оказались, например, темпы перемен и самодостаточный, и самостоятельный способ, которым развиваются технологии, становясь всё более независимой переменной цивилизации, определяющей её будущее". С. Лем оказался первым исследователем, увидевшим близость эволюции живой природы и технологий. Он прозорливо сделал вывод, что не только человечество использует технологические достижения, но и, напротив, логика развития технологий определяет судьбы общества и направленность человеческих действий.

50 лет, прошедших с момента выхода в свет работ Тоффлера и Лема, убедительно подтвердили правильность их подхода к будущему. Кстати, в "Сумме технологий" Лем опубликовал научно-технические прогнозы примерно на 200 лет вперёд. За полвека из 130 спрогнозированных Лемом изобретений, открытий, программных и технических решений более 110 стали реальностью. Не будет преувеличением назвать "Сумму технологий" путеводителем по будущему, книгой, к прогнозам которой надо отнестись с максимальной серьёзностью. Столь высокий процент сбывшихся прогнозов связан с методом работы Лема с будущим. Он подчёркивал невозможность предсказания отдельных событий. Знаменитый фантаст сосредотачивался на тенденциях. Он полагал, что будущее всегда присутствует в настоящем, как правило, на задворках или периферии магистральных путей развития. Поэтому предсказания – это не манипуляции с хрустальным шаром, а умение вглядываться в настоящее, распознавать в нём процессы, набирающие силу и динамику.

Через несколько лет после пророческих книг Тоффлера и Лема работу "Пути истории" опубликовал российский востоковед И. Дьяконов. Примерно в то же время в Соединённых Штатах знаменитый фантаст и космолог В. Виндж опубликовал статью "Технологическая сингулярность". В отличие от книги Дьяконова, до сих пор не переведённой ни на один язык мира, статья знаменитого фантаста привлекла всеобщее внимание и породила целое движение последователей. Наиболее известным из них является нынешний вице-президент корпорации Google Рей Курцвейл, создавший университет сингулярности и страстно пропагандирующий этот подход в академических и социальных СМИ. Приведём фрагмент из выступления Р. Курцвейла: "Многие, слушающие меня сегодня, видят, что прогресс с каждым днём ускоряется. Ещё в начале XX века многие не верили в самолёты и думали, что "завтра будет сегодня".

Эта тенденция в обществе была всегда и наблюдается сейчас. "Завтра будет сегодня". В принципе, это простое эмпирическое наблюдение, однако если сравнить то, что было год назад и что есть сегодня, становится виден этот прогресс. Если бы наблюдатель провёл такое наблюдение в начале XIX века, очевидный прогресс он вряд ли увидел бы, разве что попал бы в переломный момент. Сейчас же различные научные достижения, мелкие и большие, появляются каждый день. Интернет стал катализатором этого процесса. Свободный обмен информацией объединил учёных всего мира и снял одну из главных проблем – проблему повторного изобретения, чем часто страдал прошлый век. Конечно, сейчас данная проблема наверняка сохраняется из-за секретности некоторых государственных программ, однако такие проекты – это капля в море тысяч учёных-энтузиастов. Разумеется, сейчас наблюдаются не лучшие тенденции государственного контроля, но я, пожалуй, буду рассуждать в макромасштабе и не буду разбирать такие детали.

Уже более 50 лет как выполняется закон Мура, а Intel готовит нам новые техпроцессы и новые подходы. Разрабатываются параллельно квантовые компьютеры, ДНК-компьютеры, нейронные сети... Всё это произошло буквально за 30 лет. Всё неизбежно указывает на дальнейшее ускорение прогресса и движение к некой точке – технологической сингулярности. После этого начнётся вертикальный процесс, а люди превратятся в киборгов.

Сингулярность как будущее человечества сегодня широко пропагандируется в мире и в России. Собираются конгрессы, открываются университеты, проводятся конференции. Многие ведущие корпорации спешат стать под знамёна технологической сингулярности. Однако чем дальше, тем больше накапливаются аргументы, заставляющие серьёзно сомневаться в концепции технологической сингулярности и вертикального прогресса.

Мало кому известный не только в мире, но и в нынешней России Игорь Михайлович Дьяконов в книге «Пути истории» и публичных выступлениях высказывал иной взгляд на будущее. С дотошностью, свойственной профессиональным историкам классической школы, и с тщательностью, присущей российской математической традиции, он проанализировал данные о развитии различных цивилизаций и обществ. На основе анализа данных он разработал теорию исторических последовательностей.

Согласно теории исторических последовательностей, динамику развития определяют три процесса: темпы роста численности населения, изменения энерговооруженности и интенсивность контактов одной цивилизации либо общества с другими. В зависимости от конфигурации этих процессов и складывается историческая динамика. Свою работу И. М. Дьяконов писал в тесном взаимодействии с С. П. Капицей. Именно открытие С. П. Капицей демографического перехода привело к тому, что в последние годы жизни Игорь Михайлович Дьяконов создал теорию исторических последовательностей.

Чтобы понять значение происходящего на наших глазах демографического перехода, процитируем одну из последних публикаций С. Капицы: «С рубежа 2000 г. население нашей планеты росло со все увеличивающейся скоростью. Тогда многим казалось, что демографический взрыв, перенаселение и неминуемое исчерпание ресурсов и резервов природы приведут человечество к катастрофе. Однако в 2000 г., когда население мира достигло 6 млрд, а темпы прироста населения достигли своего максимума в 87 млн в год, или 240 тыс. человек в сутки, скорость роста начала уменьшаться. Более того, и расчёты демографов, и общая теория роста населения Земли указывают, что в самом ближайшем будущем рост практически прекратится. Таким образом, население нашей планеты в первом приближении стабилизируется на уровне 10–12 млрд и даже не удвоится по сравнению с тем, что уже есть. Переход от взрывного роста к стабилизации происходит в исторически ничтожно короткий срок – меньше ста лет, и этим завершится глобальный демографический переход. Само явление демографического перехода, когда расширенное воспроизводство населения сменяется ограниченным воспроизводством и стабилизацией населения, было открыто для Франции французским демографом Ландрю. Изучая эту критическую эпоху для развития народонаселения, он справедливо полагал, что, принимая во внимание глубину и значение последствий, её следует рассматривать как революцию. Тем не менее, демографы ограничивали свои исследования динамикой населения отдельных стран и видели свою задачу в том, чтобы объяснить происходящее через конкретные социальные и экономические условия. Такой подход давал возможность сформулировать рекомендации по демографической политике, однако таким образом исключалось понимание более широких, глобальных аспектов этой проблемы. Рассмотрение населения мира как единого целого, как системы отрицалось в демографии, поскольку не позволяло определить общие для человечества причины перехода. Следует подчеркнуть, что большинство крупных историков, таких как Фернан Бродель, Карл Ясперс, Иммануил Валлерстайн, Николай Конрад, Игорь Дьяконов, утверждали, что существенное понимание развития человечества возможно только на глобальном уровне. Именно в нашу эпоху, когда глобализация стала знаком времени, такой подход открывает новые возможности в анализе как нынешнего состояния мирового сообщества, так и факторов роста в прошлом и путей развития в обозримом будущем».

В конце 80-х годов примерно такую же закономерность, как С. Капица установил для демографии, Л. Макгрегор обнаружил для энерговооруженности. И там, и там период линейного роста сначала сменился экспоненциальным, а затем экспоненциальный перешёл в режим стабилизации.

И. Дьяконов в «Теории исторических последовательностей» сформулировал три принципа, обязательных для прогнозистов.

Во-первых, нельзя прогнозировать на основе экстраполяции. Будущее чем дальше, тем больше отличается от прошлого, это не продолженное прошлое, а нечто иное. Будущее всегда содержится в прошлом. Однако, как правило, на периферии. И потому до определённого времени не определяет динамику процессов. Экстраполяция является главным врагом не только прогнозистов, но и политиков, предпринимателей и обычных людей.

Во-вторых, настоящим история не заканчивается. Если с экстраполяцией всё более-менее понятно, то второй принцип теории исторических последо-

вательностей вызывает у людей, как правило, резкое психологическое отторжение. Каждому свойственно преувеличивать свою роль. Любому из нас вольно или невольно кажется, что мир вращается вокруг нашей особы. Соответственно подавляющая часть исторических и прогнозных работ подгоняет прошлое и будущее под настоящее. Поскольку будущего человек не знает, то он вольно или невольно рассматривает события прошлого через призму настоящего. События и процессы прошлого выстраиваются в такой логической последовательности, чтобы нынешний день выглядел их закономерным итогом. При этом забывается, что день нынешний — это миг исторического процесса, и соответственно буквально завтра станет прошлым. Втискивание же прошлого в прокрустово ложе настоящего не даёт возможности понять его многовариантность и разглядеть в нём тенденции и процессы, порождающие ветвящееся нелинейное будущее.

Наконец, в-третьих, прогнозируя будущее, всегда надо помнить, что речь идёт о людях и группах, сообществах и обществах. Главное же свойство человека, отличающее его от животных, это, как установили антропологи и психологи, способность к прогнозированию. Ни один вид живых существ, за исключением человека, не способен к построению моделей будущего и действиям в соответствии с этой моделью. Впервые это открыли П. Анохин и В. Брушлинский. Сегодня мировая психология накопила тысячи экспериментальных подтверждений этому факту. А Д. Канеман получил даже Нобелевскую премию. Правда, по экономике — за то, что смог разделить алгоритмическое и прогнозное мышление. Коль скоро люди действуют на основе целей, то любое настоящее складывается не только под воздействием прошлого, но и будущего, а точнее, его моделей, созданных индивидуальной или коллективной психикой. Поэтому будущее всегда открыто и вариантно. Оно не предопределено.

Наряду с принципами прогнозирования будущего И. Дьяконов в теории исторических последовательностей выделил три типа будущего: неизбежное, вероятное и случайное. Разделение, казалось бы, очевидное. Однако на практике его используют достаточно редко не только в обыденной жизни, но и в аналитической или исследовательской работе. Например, к неизбежному будущему относится смена времён года, времени суток и т. п. Подобные жёсткие последовательности прослеживаются не только в естественных, но и в социальных процессах. На основании огромных массивов данных установлено, что для организаций различного типа, бизнесов и даже обществ свойственна естественная смена фаз жизненного цикла. Каждая структура с участием людей переживает примерно одинаковые фазы, связанные с появлением на свет, ростом, развитием, консервацией или стабилизацией, а затем упадком и распадом или появлением в рамках старой новой структуры со своим циклом. В отличие от естественных, у социальных процессов нет чёткой периодичности и обязательных сроков. Они проявляются как тенденции. Но фазы этих тенденций повторяются и следуют одна за другой. В этом плане многие популярные ныне теории и прогнозы надо воспринимать с известной долей осторожности. Они указывают на тенденцию, но относятся к ним, как к часам, строго показывающим момент смены одной фазы другой, по меньшей мере, смешно, а иногда и просто опасно.

Большая часть общественных процессов носит вероятностный характер. Вероятность — хитрая штука. Человеческое восприятие и мышление, как доказали Д. Канеман и А. Тверски, устроены таким образом, что игнорируют маловероятные события и вообще плохо справляются с вероятностью. Меньшую вероятность люди, как правило, принимают за невероятность. Наиболее яркие примеры этого парадокса дала реакция общественности США и Великобритании на итоги президентских выборов 2016 года и голосование относительно выхода Великобритании из ЕС. Наиболее ответственные прогнозисты полагали, что более вероятными должны были стать победа Х. Клинтон и сохранение Великобритании в ЕС. Подобную вероятность оценивали в среднем в 60–70%. Когда президентом был избран Д. Трамп, а британские избиратели приняли решение о выходе страны из ЕС, на прогнозистов посыпались упрёки, что они ни к чему не способны. Их попытка объяснить публике, что 30% они отдавали в пользу итогов, которые им казались маловероятными, но возможными, приняты во внимание не были. Выборные истории 2016 года являются едва ли не лучшей иллюстрацией того, что люди путают неизбежное и вероятное будущее и большую часть решений принимают, исходя из того, что всё будущее неизбежно.

Наконец, существует случайное будущее. Как правило, на любой процесс в реальной жизни оказывают влияние события, обстоятельства и тенденции, связанные с ним слабо. Поэтому в большинстве случаев от них можно абстрагироваться. Однако если возникает экстремальная ситуация, когда влияние сторонних процессов резко возрастает, то возникает то, что называется случайным будущим. Проще всего это проиллюстрировать на житейском примере. Самая известная подобная ситуация, приводимая почти во всех книгах по прогнозированию, — это падающая с крыши сосулька. Строго говоря, и движение пешехода, и падение сосульки — процессы не случайные, а, как минимум, вероятностные, подчиняющиеся определённым законам. Однако пересечение этих процессов случайно и потому совершенно непредсказуемо.

После выхода в свет знаменитых книг Н. Талеба “Одураченные случайностью”, “Чёрный лебедь” и “Антихрупкость” многие стали полагать, что речь в них идёт о случайном будущем, которое перечёркивает любые прогнозы. Однако внимательное изучение книг показывает, что основная часть примеров, приводимых Н. Талебом, относится к вероятному будущему. А конкретно — к событиям с малой степенью вероятности. Едва ли не самым ярким примером событий подобного рода стало террористическое нападение 11.09.2001 года. В последнее время опубликованы архивы американских разведывательных служб. В ходе анализа материалов выяснилось, что в течение лета 2001 года американская разведка получала предупреждения о возможности крупномасштабного террористического акта, финансируемого правящими семьями Саудовской Аравии, от израильской, российской и немецкой разведок. Однако предупреждения были проигнорированы ввиду малой вероятности событий (либо определённым политическим, финансовым и спецслужбистским закрытым группам в США было выгодно такое развитие событий. На этот счёт тоже появились довольно убедительные материалы частных расследований).

Поскольку подавляющая часть процессов и ситуаций приходится на неизбежное и вероятное будущее, то в целом мировую и страновую динамику, а также динамику и направленность различных позитивных и негативных процессов, включая действия террористов, преступников и т. п., можно и нужно прогнозировать. При этом необходимо помнить, что в любом случае такое прогнозирование носит вероятностный характер, и, соответственно, прогноз не обязательно сбудется, тем более в те сроки, на которые он рассчитан.

Третьей составляющей теории исторических последовательностей И. Дьяконова было воспринятое у математиков разделение динамических процессов социума на стабильные и критические. Начиная с 80-х годов прошлого века, в Соединённых Штатах, СССР, а затем в России и Германии плодотворно развивалась наука, получившая различные названия, например, синергетика, теория сложности, нелинейная динамика.

Не углубляясь в математические модели и системы уравнений, достаточно выделить главное достижение этой науки, включённое И. Дьяконовым в теорию исторических последовательностей. Все процессы, начиная от функционирования небольшой организации до динамики глобальной экономики, можно разделить на два класса: стабильные и критические. В стабильной фазе динамика следует определённой траектории и описывается, как называют математики, флуктуациями или отклонениями от неё. Причём размах этих отклонений для каждой системы более-менее стабилен. Проще всего это показать на примере движения автомобиля по трассе. Машина, подчиняясь воле водителя, а в ближайшем будущем — и робота, двигается строго по трассе. Однако выбор полосы зависит от конкретных обстоятельств. Само по себе количество полос или ширина и задают максимальное отклонение от средней траектории.

Время от времени любая организация, вне зависимости от размеров, попадает в так называемый критический период. В рамках этого периода происходит выбор той или иной траектории последующего движения. Этот период называют по-разному. Однако суть не в названии, а в функции. В течение данного периода та или иная организация или социум сталкивается с новыми вызовами и даёт на них новые ответы. В результате организация может перейти на траекторию развития, а может попасть и в полосу деструкции, а то и гибели. Выбор конкретного варианта зависит не только от тенденций в прошлом и целей в будущем, но и различного рода второстепенных, а иногда и случайных факторов. Именно в такие моменты и периоды резко возрастает роль личности, а также возможности влиять не только на организации,

но и общество в целом небольших сплочённых групп. Продолжая аналогию движения по шоссе, критический период можно уподобить достижению машиной большой транспортной развязки.

В последние годы исследователи установили, что на людей негативно влияют не только слишком быстрые перемены, но и приближение к критическим периодам, а также слишком большие отклонения от средней траектории движения, или, как это называют по-научному, турбулентность. Человеческие реакции являются своего рода индикатором непосредственно не наблюдаемых процессов. Эти индикаторы чётко показывают на приближение особо рискованного и опасного периода в жизни человечества как единого целого.

Приведём несколько цифр. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в странах Северной Америки и Европы в 2014 году каждый десятый житель сталкивался с диагностируемыми психическими отклонениями и заболеваниями. В городах-миллионниках эта цифра достигает 30% против 10% в 80-е годы прошлого века. В 2015 году ВОЗ опубликовала доклад, где сравнила депрессию и фобии перед будущим с эпидемией. Начиная с десятых годов нынешнего века, депрессия в Европе и Северной Америке вышла на первое место среди причин неявки на работу и на второе среди болезней, приводящих к потере трудоспособности. В Соединённых Штатах по данным Американской психиатрической ассоциации депрессией страдают 9% населения, а по данным ведущих центров изучения общественного мнения – от 20 до 25%. В России, согласно опросам, проведённым в 2015 году среди выпускников высших учебных заведений в Москве и Санкт-Петербурге, более 40% испытывает страх перед будущим. Каждый пятый готов был бы обратиться к психотерапевту, если бы это не вызывало отрицательную реакцию у друзей и родных.

Другой отличительной чертой шока будущего являются нарастающие информационные перегрузки. Научное определение информационной перегрузки впервые было дано профессором информационных наук Лондонского городского университета Дэвидом Боуденом в исследовании 2008 года, названном “Тёмная сторона информации: перегрузка, тревожность и другие парадоксы и патологии”. Соавтором его выступила коллега Боудена по университету, доктор информатики Лин Робинсон, изучающая влияние получаемой информации на поведение человека.

Боуден и Робинсон определили информационную перегрузку как “состояние цивилизации, при котором объём потенциально полезной и актуальной информации превышает возможность её обработки средним человеком (т. е. когнитивные способности) и становится помехой, а не подспорьем”. Едва ли не наиболее наглядным примером информационной перегрузки являются данные Эрика Шмидта – главы Alphabet: “От начала цивилизации и до 2003 года было создано около 5 Экзабайт (5 000 000 000 Гб) информации. Теперь человечество создаёт столько данных всего за 2 дня”.

Однако лавинообразное нарастание количества информации не столько характеризует прогресс информационных технологий, сколько отражает их проблемы. Если в 1996 году 30% информации в сети Интернет составлял оригинальный контент, то в настоящее время – уже менее 2%. При этом постоянно растёт объём информации, не предназначенной для человека, а связанный с передачей сигналов от вещей и других устройств, подсоединённых к интернету серверами. В 2016 году такие сигналы составляли примерно 30% всего объёма информации, а к 2020 году они достигнут почти 60%. В 2016 году в англоязычном интернете в течение года не было ни одного посетителя на более чем 80% сайтов. Если в 1996 году *среднее* время пребывания интернет-пользователя на сайте составляло чуть более 6 минут, то в настоящее время сократилось до 23 секунд. Сходные процессы идут и в научном вебе. В настоящее время более 94% статей, опубликованных в научных журналах, ни разу не цитировались в других источниках. Почти 90% научных публикаций имели не более 5 прочтений. Таким образом, даже **важнейшие открытия технологий могут оказаться просто не замеченными научно-технологическим сообществом**. Что касается соотношения между знаниями и информационным мусором в интернете, стоит отметить следующее. Избыточное количество информации затрудняет борьбу с преступностью, поскольку делает трудно отслеживаемыми следы киберпреступников и других представителей криминального мира, использующих интернет. Одновременно с этим информационные

перегрузки на порядок повышают возможности манипулирования в криминальных и иных деструктивных целях массовым сознанием, а также групповым и индивидуальным поведением.

Страх перед будущим ведёт не только к заболеваниям психосоматического характера, но и оказывает влияние на политические решения. Согласно опросам общественного мнения наиболее статусных центров различной направленности, обслуживающих избирательные кампании как победителей, так и проигравших на президентских выборах в Соединённых Штатах в 2016 году и в Великобритании по поводу ЕС, он был одним из главных мотивов голосования. Например, в США в штатах так называемого “ржавого пояса”, решившего судьбу избирательной кампании-2016, более 70% проголосовавших за Д. Трампа испытывали страх, что роботы отнимут у них рабочие места, а новый компьютеризированный мир разрушит семью, веру и отдалит от них детей. В Великобритании почти две трети голосовавших за выход страны из ЕС указали, что страшатся последствий компьютеризации, роботизации общества и увлечения виртуальной реальностью.

Не будет преувеличением утверждать, что быстрое время разделяет не только страны и континенты, но и общества, группы и даже семьи. Оно делает наш мир всё более непредсказуемым, турбулентным и стремительным. Социальные психологи установили, что в этом мире есть только три стратегии: постараться убежать от мира в виртуальные реальности различного типа; оборонять до последнего привычный образ жизни, стараясь игнорировать новое, частично дружелюбное, а во многом опасное; и, наконец, принять динамику мира такой, какая она есть и постараться использовать открывающиеся возможности, минимизировать риски и подготовиться к угрозам.

Может возникнуть вопрос: какое отношение динамика исторических последовательностей Дьяконова имеет к преступности? Будущая преступность – это плоть от плоти будущего мира. На протяжении всей человеческой истории существовала преступность, и нет никаких оснований полагать, что ситуация изменится в будущем. Напротив, **турбулентность, отчасти недружественность и стремительность будущего не уменьшают, а увеличивают риски преступной деятельности не только для стран и групп, но и для каждого законопослушного человека, каждой отдельной семьи.**

Теория исторических последовательностей даёт эффективный инструментарий для прогнозирования будущего, для понимания тех тенденций, которые относятся к неизбежному и вероятному будущему. К этим тенденциям лучше быть подготовленным заранее. Тот, кто предупреждён, тот вооружён. Эти же тенденции, заранее распознанные, могут быть если не ликвидированы, то частично ограничены общими усилиями.

В заключение вводной главы хотелось бы особо обратить внимание на обстоятельство, обычно ускользающее от внимания не только широкой публики, но и многих специалистов. При всём разнообразии взглядов на преступность, существующих не только у теоретиков-криминологов, но и у практиков-правоохранителей, все так или иначе согласны в одном. Преступность – это сознательное нарушение общественных, прежде всего, установленных законом норм. Однако хорошо известно, что любая законодательная норма – это юридическое закрепление определённого общественного опыта. Любой закон фиксирует обязательные для членов общества нормы поведения и чётко устанавливает те виды поведения, поступков или действий, которые выходят за пределы общественной нормы. Опыт всегда имеет дело с прошлым. Закон – это не просто итог длительного изучения, обсуждения и согласования на политическом и государственном уровне тех или иных обязательных правил, но и фиксация сложившихся стереотипов, традиций, форм поведения, соответствующих интересам общества. В медленном мире закон не входил в противоречие с общественной динамикой и всегда поспевал за ней. Однако в быстром мире всё чаще возникают сложные коллизии. Они сами по себе создают питательную почву для преступности, множа различного рода “серые” зоны. К “серым” зонам относят виды деятельности, законодательно не регулируемые обществом и государством из-за их новизны и отсутствия общепринятого консенсуса относительно того, что такое хорошо и что такое плохо в той или иной сфере.

Соответственно, дополнительную сложность при прогнозировании будущей преступности, а соответственно, и противодействия ей создаёт то, что



чем дальше, тем больше она будет питаться появлением всё новых и новых “серых” зон в привычном чёрно-белом мире.

### **Производственная революция: загадки и тренды**

В последние несколько лет в ведущих странах мира – от США до Китая, от Южной Кореи до Германии – разворачивается и набирает темпы новая производственная или промышленная революция. Впервые она стала предметом обсуждения ведущих мировых политиков, предпринимателей и экспертов после опубликования международного бестселлера Джереми Рифкина “Третья промышленная революция” (издана на русском языке). Она стала настольной книгой многих политиков как Востока, так и Запада. Её автор признан одним из наиболее влиятельных экономистов современности. Он является советником Еврокомиссии. Среди его поклонников Б. Обама, Политбюро Коммунистической партии Китая, правительство Бразилии, а на постсоветском пространстве – руководство Казахстана. На основе идей Рифкина разработан план дальнейшего экономического развития Евросоюза.

Наряду с книгой Дж. Рифкина новой производственной революции посвящены ещё два бестселлера – книга Питера Марша “Новая индустриальная революция: потребители, глобализация и конец массового производства” и бестселлер Криса Андерсона “Производители: Новая промышленная революция”.

В 2016 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе его Председатель К. Шваб провозгласил начало Четвёртой промышленной или производственной революции. К Третьей он отнёс интернет и информационные технологии. Вскоре после Давосского форума в свет вышла книга К. Шваба, которая была переведена на практически все основные языки мира, включая русский “Четвёртая промышленная революция”. После публикации работы К. Шваба политики, экономисты, наиболее влиятельные СМИ, а также СМИ и интернет, как по команде, стали повсеместно употреблять термин “Четвёртая промышленная революция”, забыв о третьей. Произошло это не случайно. Статистика убедительно свидетельствует: интернет не породил взаимосвязанных революционных технологий в области энергетики – обработки – информатики – транспорта – телекоммуникаций, что является обязательным для любой производственной революции. Более того, появление интернета не привело к повышению темпов динамики производительности труда по любой методике расчётов. Между тем, данное обстоятельство является обязательным для промышленной революции. К. Шваб на глазах ничего не понимая публики произвёл подмену, носящую далеко не беспричинный характер.

Замена тройки на четвёрку была сделана для того, чтобы сформировать в умах элитных групп и других ещё не разучившихся думать людей представление о непрерывном прогрессе в течение последних 250 лет, включая последнее двадцатипятилетие

Огромные массивы эмпирических данных приводят любого непредвзятого аналитика к выводу: как минимум, в последние 30 лет налицо глобальная деструктивная динамика, проявившаяся в том числе и в отрицательной конвергенции. За истекшие 30 лет глобальный капитализм, в котором шло острое противоборство между ориентированными на производительный и эффективный капитал группировками, сменился угасающим финансиализмом с господством паразитарного капитала.

Не лишённый многочисленных недостатков Советский Союз распался, и наиболее крупная республика – РСФСР, а ныне Россия – лишь спустя четверть века по большинству важнейших показателей научно-технологического и экономического развития смогла выйти на уровень 1989 года.

Огромные территории бывшего третьего мира, особенно регионы Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока превратились за последние 25 лет в зону перманентного хаоса и военных конфликтов. Миллионы беженцев из Азии и Африки наводнили Европу. При этом, по оценке осведомлённых аналитиков, это лишь начало *великого переселения народов*, вызванного деструктивными процессами мировой динамики.

Несмотря на огромные достижения и удивляющие весь мир темпы экономического роста, множатся проблемы и сложности в Китае. Притом что в стране сформировался самый большой в мире средний класс, более 700 млн китайцев продолжают жить в глубокой бедности, а по международным

меркам – в нищете. Ещё гораздо более серьёзные противоречия раздирают страну с самыми высокими в мире темпами роста населения – Индию. Непредубеждённо вглядываясь в процессы мировой динамики за последнюю четверть века, нельзя не прийти к выводу, что в мире возобладали деструктивные процессы, ведущие к нарастанию противоречий, нестабильности и неопределённости.

На последних конгрессах ООН по предупреждению преступности не раз отмечалось, что глобальная деструкция создаёт не только новые риски и проблемы, но и благоприятную среду для ускоренного роста преступных группировок и новых видов криминала как в национальном, так и, особенно, в континентальном и транснациональном измерениях. Тенденции мирового развития, и об этом прямо говорится в документах ООН, создают новые возможности для преступности.

Выход из спирали деструкции здравомыслящие политики, конструктивные силы видят не только в формировании нового, отвечающего реалиям сегодняшнего и завтрашнего дня мирового порядка, но и, прежде всего, в развёртывании новой производственной революции, способной преодолеть ограниченность ресурсов и сделать мир более справедливым, процветающим и гармоничным.

Производственная революция означает глубокие, быстрые в исторической перспективе, скачкообразные (фазовые) изменения в самих основах техники и технологий, используемых во всех основных отраслях хозяйства. Эти изменения ведут к необратимым и качественным сдвигам в организации труда и производства, системах снабжения, маркетинга и потребления. Производственная революция изменяет базовые структуры экономической жизни. Полностью перестраивает социум и привычные способы его регулирования. Преобразует политические институты. Любая производственная революция имеет неоспоримые положительные эффекты и неизбежно связана с целым рядом негативных, как правило, острых и тяжёлых социальных последствий и проблем для широких масс населения.

Новая производственная революция по своим масштабам, последствиям и сдвигам стоит не только наравне, но, возможно, и превосходит первую и вторую производственные революции. Первая производственная революция конца XVIII – начала XIX века была связана с текстильной отраслью, энергией пара, углем, железными дорогами и т. п. Вторая производственная революция конца XIX – первой половины XX века стала детищем электричества, двигателей внутреннего сгорания, триумфом машиностроения и конвейера как метода организации производства.

Уже на начальных стадиях новой производственной революции можно выделить несколько определяющих её черт:

– во-первых, одновременное широкое производственное применение различных независимых кластеров технологий. Прежде всего, робототехники, 3D-печати, новых материалов со спроектированными свойствами, биотехнологий, новых информационных технологий и, конечно же, диверсификация энергетического потенциала производства и общества;

– во-вторых, постоянно возрастающее взаимодействие между отдельными технологическими кластерами, их своеобразное “слипание”, взаимное кумулятивное и резонансное воздействие друга на друга;

– в-третьих, появление на границах технологических кластеров принципиально новых, не существовавших ранее технологий и семейств технологий, в которых кластеры взаимодействуют между собой.

**Основа основ превращения отдельных технологических кластеров или паттернов в единую технологическую платформу – это информационные технологии.** Они буквально пронизывают все стороны технологической и производственной жизни, связывая между собой отдельные технологические блоки. Наиболее яркими примерами этого являются такие технологические паттерны, как биотехнологии, робототехника, управляемая на основе больших данных, и т. п. По сути, уже на начальном этапе индустриальной революции можно говорить о формировании единой технологической платформы новой производственной революции.

В сфере организации производства и труда отличительной чертой новой производственной революции является миниатюризация производства в сочетании с сетевой логистикой и персонализацией потребления продукции.

Как отмечал в упоминавшейся нами работе К. Андерсон, “если раньше эффективные производства и действенные сети маркетинга и продаж были под силу только большим заводам, крупным ритейловым сетям и транснациональным корпорациям, то в самое ближайшее время это будет доступно всем”. Правда, при всей миниатюризации и демократизации производства одновременно будет возрастать зависимость мелкого производителя от поставщиков Больших Данных, программных продуктов и интеллектуальных услуг, которыми останутся, по мнению Дж. Рифкина, крупнейшие информационные компании, типа IBM, Google, Amazon и проч.

Иными словами, децентрализация производства, переход к прямым связям в сфере распределения и персонификации потребления будет происходить в условиях сохранения господства цифровых гигантов, контролирующих ключевую технологию новой производственной революции – системы сбора, хранения, интеллектуальной обработки и распределенной доставки цифровых данных и компьютерных программ всех типов и размеров.

Первым ключевым направлением новой производственной революции является **стремительная автоматизация и роботизация производства**, войны и всех сторон общественной жизни. Как отмечают эксперты, многие элементы автоматизации и роботизации могли быть внедрены в промышленное производство еще в 90-е годы прошлого и первое десятилетие нынешнего веков. Однако в те времена экономически выгоднее оказалось использовать вместо роботов практически дармовой труд рабочих из Китая и других азиатских стран. Однако по прошествии времени ситуация изменилась. С одной стороны, труд в Азии заметно подорожал. С другой стороны, деиндустриализация Америки, многих стран Европы и частично Японии нанесла сильнейший удар по экономике этих стран. Наконец, в последние годы появились принципиально новые программные и микроэлектронные решения, позволяющие в разы повысить эффективность и функционал роботов при снижении себестоимости их производства. Сегодня, например, типовой американский робот на конвейере окупается в течение полутора – максимум двух лет.

Одним из важнейших показателей, характеризующих реальный научно-технологический потенциал страны, является **вклад интеллектуальной собственности в ВВП**. В России, по официальным данным, он составляет менее 1%. Для сравнения: в Китае – более 5%, в Германии – 8%, а в США, по различным методикам, – от 12 до 15%. При этом, американцы отнюдь не рекордсмены. Наибольший вклад интеллектуальной собственности в ВВП принадлежит Финляндии, ещё 100 лет назад бывшей провинцией Российской Империи. У финнов интеллектуальная собственность обеспечивает примерно 20% объёма ВВП страны.

В мире разворачивается новая производственная революция. Принципиально новые производства, линии и т. п. массово и согласованно приходят на смену традиционным технологиям, организационным структурам и финансово-экономическому механизму, характерному для индустрии второй производственной революции. Среди направлений производственной революции три, без сомнения, являются ключевыми. Это робототехника, IT-технологии и биотехнологии.

О роботах и робототехнике писалось ранее. Однако в контексте сегодняшней темы имеет смысл ещё раз вернуться к официальной статистике IFR (Международной Робототехнической Федерации). Ежегодные темпы прироста выпуска производственных роботов составляют от 15 до 20% в год. Роботизация охватила не только ведущие, но практически все индустриальные страны мира. Наибольшее количество роботов работает в настоящее время на предприятиях Китая. Второе место по числу индустриальных роботов на предприятиях занимает Япония, третье – Соединённые Штаты. На пять стран – Китай, Японию, США, Южную Корею и Германию – приходится более 70% занятых в производстве роботов.

Если среди общего числа роботов выделить роботов и робототехнические линии, оснащённые вычислительным или, как его называет, “искусственным” интеллектом, то более 90% их производства и около 60% применения приходится на Америку. Сегодня в странах-лидерах новой производственной революции на 10 тыс. рабочих, занятых в промышленности, приходится от 150 до 500 роботов. Что касается России, то, по данным Центра робототехники IT-кластера Сколково, за 2015 год в стране установлено менее 1 тысячи производ-

ственных роботов, из которых более 600 – зарубежного производства. Таким образом, на сегодняшний день картина удручающая.

Вторым направлением новой производственной революции, а по мнению К. Андерсона, даже главной её движущей силой является **3D-печать**. В основе 3D-печати лежит технология под названием Additive Manufacturing, то есть аддитивное (впору сказать “поэтапное”) изготовление. Метод подразумевает, что принтер послойно формирует изделие, пока оно не примет окончательный вид. 3D-принтеры не наносят на бумагу краску, а “выращивают” объект из пластмассы, металла или других материалов.

Методы трёхмерной печати также заметно разнятся. 3D-принтер может слой за слоем наносить жидкий материал (например, керамику или пластик), который сразу же застывает. Широко используется более технологичный метод, где сырьём служит порошковый металл (например, сталь, титан, алюминий). В этом случае лазерный луч скользит по отдельным слоям и, согласно заданной программе, плавит и склеивает те или иные крупички друг с другом. Существует ещё множество различных типов 3D-печати. К настоящему времени выпущено уже более тысячи моделей различных 3D-принтеров, рассчитанных как на принципиально различные методы печати и используемого материала, так и на совершенно различный бюджет. В настоящее время ряд крупных производителей 3D-принтеров выступили вместе с интернет-гигантами, вроде Google и Amazon, с предложением к правительству США бесплатно поставить 3D-принтеры сначала в подавляющее большинство, а затем и во все школы. А в последующем наладить обязательное обучение на уроках труда работе с 3D-принтерами.

Если на первом этапе принтеры в основном использовали гики и продвинутые дизайнеры, то затем наступила очередь инженеров и конструкторов. Ведущие компании стали активно использовать 3D-печать для моделирования. Затем 3D-печать пошла в массы. Например, выпускник Принстона Марчин Якубовски создал целую социальную сеть, объединяющую инженеров, конструкторов, энтузиастов 3D-печати, которые совместными усилиями разрабатывают Global Village Construction Set – все, что вам нужно в “глобальной деревне”. В сети публикуются в открытом доступе 3D-чертежи, схемы, видеoinструкции, бюджеты и пользовательские инструкции. В результате появляется то, что К. Андерсон называет “индустрией облака” или “облачным производством”. По его словам, “Вы загружаете в глобальное сетевое облако заказ на продукт, который вас интересует. Дальше это задание находит своего оптимального исполнителя, который может выполнить его максимально быстро, качественно и дешевле”.

В 2014–2016 годах произошёл прорыв в области промышленного использования 3D-печати крупнейшими корпорациями. Линии 3D-печати в настоящее время строят Boeing, Samsung, Siemens, Canon, General Electric и т. п. Бесспорным лидером как в производстве 3D-принтеров, так и в их использовании являются Соединённые Штаты. На них приходится почти 40% мирового производства 3D-принтеров. Около 10% – доля Японии. Практически столько же приходится на Германию и Китай. Пятёрку лидеров с 6% замыкает Великобритания. Россия в сфере промышленного применения 3D-принтеров занимает десятое место. Что же касается сектора применения 3D-принтеров как основы мини-фабрик, то в России вместе с Африкой таких производств, по данным ведущего мирового эксперта в сфере 3D-печати, нет вообще, за исключением нескольких учебных лабораторий.

Третьим направлением новой производственной революции является производство новых материалов, включая материалы с заранее спроектированными свойствами, композитные материалы и т. п. Необходимость появления широчайшей гаммы новых материалов диктуется, с одной стороны, требованиями широкого внедрения экономичной, эффективной 3D-печати, а с другой – развитием микроэлектроники, биотехнологий и т. п.

В своё время новое материаловедение связывали исключительно с наноматериалами, то есть с новыми материалами, производимыми на основе миниатюризации. Однако действительность оказалась несколько иной. При всей важности нанотехнологий на сегодняшний день ключевое место заняло производство материалов с заданными, спроектированными характеристиками, требующимися, с одной стороны, для выполнения изделием, изготовленным из этого материала, своей функции, а с другой – возможности использования

для обработки таких материалов новых технологических методов, например, 3D-печати. Лидерами в новом материаловедении и производстве принципиально новых материалов являются опять же Соединённые Штаты, Япония и Германия.

Ключевым направлением новой производственной революции является, без сомнения, биотехнологии в широком смысле этого слова. По сути, сюда входит индустрия индивидуализированных лекарств, на которые делают ставку и фармацевтические гиганты, и новые, молодые, быстроразвивающиеся в этой сфере компании. Сюда же относятся различные виды регенеративной медицины. Широко используются возможности 3D-печати для производства донорских органов. Сегодня это уже не фантастика, а прошедшая клинические испытания обыденность, которую взяли на вооружение, например, медицинские учреждения Франции, Германии, Соединённых Штатов, Израиля и т. п.

Особым направлением является **биоинформатика**. Четыре года назад группе исследователей во главе с Джоном Крейгом Вентером удалось впервые в истории создать искусственную жизнь, используя ДНК одного из вирусов. Теперь эта команда может, что называется, производить новые виды бактерий и живых организмов прямо из компьютера. Дж. Вентер так и заявил, что им удалось сделать “первый самовоспроизводящийся биологический вид на планете, родителем которого является компьютер”. В 2009 году после приёма учёных Б. Обамой исследования хотели засекретить. Но в итоге приняли решение открыть разработки миру. Сегодня, по мнению Дж. Вентера, синтетическая биология – это “мощнейший набор инструментов, который в ближайшие годы приведёт к созданию эффективных вакцин против самых различных заболеваний, начиная от гриппа и заканчивая СПИДом”. Правда, он же предупредил **о страшной опасности, попади эти инструменты в руки террористов и экстремистов**.

Первая и вторая производственные революции в корне меняли основной энергетический источник. Если первая промышленная революция была реализована на угле, то вторая производственная революция стала детищем нефти и электричества. В отличие от других направлений, относительно энергетического базиса новой производственной революции единодушия среди специалистов нет. В частности, автор первой и самой популярной в своё время книги о новой производственной революции Дж. Рифкин являлся убеждённым сторонником “зелёной”, возобновляемой энергетики. Более того, он стал одним из инициаторов разработки принятого в ЕС плана, связанного с закрытием АЭС, сокращением использования, по его мнению, экологически вредных электростанций на угле, нефти и т. п. Сегодня европейские промышленники, отдавая должное Дж. Рифкину в других областях, часто недобрым словом упоминают его в части “озеленения” энергетики, а также продвижения сомнительных идей замены газа ветряками и подобными “шалостями зелёных”.

Без лишнего шума большинство теоретиков, а главное – практиков на высших правительственных постах, отвечающих на новую производственную революцию, считают, что **будущее принадлежит не возобновляемым источникам энергии, а принципиально новым видам ядерной энергетики, прогрессивным технологиям добычи газа и нефтесодержащих элементов, а также совершенно новым типам энергетики**. В этой сфере у России имеются некоторые уникальные исследовательские наработки. Главное – их внедрение в хозяйственную и оборонную практику.

Стержневой составляющей, пронизывающей все технологические кластеры новой производственной революции и превращающей их в единый технологический пакет, являются, без сомнения, информационные технологии. Применительно к теме новой производственной революции в структуре информационных технологий выделяются три ключевые составляющие.

Первая. Это **Большие Данные**. Большие Данные – это сбор, хранение, оцифровка, обработка и предоставление в удобном для пользователя виде в любое время и в любой точке планеты всей совокупности сведений о тех или иных событиях, процессах, явлениях и т. п. Ключевым в Больших Данных является то, что они позволяют работать именно со всей информацией в режиме онлайн. Главным является слово “всей”. У пользователя Больших Данных имеется вся картина, не зависящая, как раньше, от каких-либо выборов, ограничений по источникам, времени предоставления данных и т. п. Большие Данные могут включать в себя любые форматы – от таблиц до потокового видео,

от оцифровки старых отчётов до текстовой записи, исходящей из тех или иных источников. Никогда раньше в истории человечества у лиц, занимающихся анализом, прогнозированием, конструкторско-инженерной деятельностью, геологией и т. д., при принятии решений не было возможности оперировать всей информацией. Причём не просто оперировать, а получать эту информацию в удобном и доступном для восприятия виде. Сегодня безусловными лидерами в сфере Больших Данных являются США, Великобритания, Япония и Китай. В этих странах имеется большое количество платформ, обеспечивающих работу с Большими Данными, специальные курсы подготовки, множество центров, где компании могут получить консультации или услуги, связанные с Большими Данными.

Сами по себе Большие Данные являются важнейшим государственным и корпоративным активом, который при должном использовании обеспечивает их владельцам устрашающее интеллектуальное превосходство и деловое доминирование.

Вторая. Это **когнитивные вычисления и экспертные системы**. За последние годы Соединённым Штатам и частично Великобритании удалось осуществить подлинный прорыв в области создания экспертных систем, базирующихся на так называемых когнитивных вычислениях. В основу когнитивных вычислений заложены программы, в определённой степени моделирующие и имитирующие некоторые известные психофизиологические процессы. За счёт этого созданы программы, которые обладают возможностями совершенствования, учитывающего при решении тех или иных задач ошибки своей деятельности.

Наиболее известной экспертной системой, базирующейся на когнитивных вычислениях, стал знаменитый компьютер Watson корпорации IBM, победивший во вполне человеческой игре “Своя игра”. После победы на игровом поле Watson показал высокие результаты как экспертная система в медицинской онкологии, фармацевтике, полицейских расследованиях, биржевом деле. По оценкам различных экспертов, в ближайшие 7-12 лет он может вытеснить до 70% работников, занимающихся рутинным умственным трудом в самых различных сферах деятельности. Главное даже не в этом. Экспертные системы дают их обладателям и пользователям огромную интеллектуальную мощь, ставя на службу богатство человеческого знания, помноженное на мощь вычислительных алгоритмов. При этом надо отметить, что IBM уже не является монополистом. Об активной работе в этом направлении объявили Google, Facebook, Amazon.com и проч.

Третья. Это **облачные и распределённые вычисления**. Как нетрудно заметить, огромные мощности и программные ресурсы, необходимые для работы с Большими Данными, когнитивными вычислениями, созданием мощных экспертных систем класса Watson, по карману только крупнейшим корпорациям. В этих условиях развитие облачных распределённых вычислений, то есть создание платформ, которыми одновременно могут пользоваться десятки, сотни, а то и миллионы пользователей, делает Большие Данные, когнитивные вычисления и мощнейшие экспертные системы доступными для самого маленького бизнеса и отдельных граждан. Уже сегодня компания IBM открыла для сторонних разработчиков облачный Watson, и они делают программы под заказ для небольшого бизнеса.

Иными словами, три составляющих информационных технологий позволяют наделить децентрализованное маленькое и сверхмаленькое производство и локальные боевые системы на основе робототехники, 3D-печати, биотехнологий и проч. мощнейшими интеллектуальными ресурсами, предоставляемыми крупнейшими корпорациями.

В настоящее время **информационные технологии являются своего рода платформой технологического развития** точно так же, как во время второй производственной революции такой платформой выступало машиностроение. Наступает эра цифрового производства.

Цифровое производство приобретает самые неожиданные формы. В настоящее время несколько американских компаний, занятых производством роботов и 3D-принтеров, включая Google, заняты реализацией проекта Factory-in-a-Day. Первые такого рода мини-заводы запущены в 2015 году. Их число уже превышает 200. Проект должен позволить разворачивать автоматизированное производство не только на крупных предприятиях, но и на средних,

мелких и сверхмелких не более чем за 24 часа. Эти заводы комплектуются гибкими многофункциональными роботами, 3D-принтерами, лазерными резаками и т. п. Роботы, принтеры и другое оборудование поставляются с уже загруженными в них наиболее популярными программами, обеспечивающими их эффективную работу. То есть завод поставляется примерно так, как сегодня продаётся смартфон или планшетник с предустановленным ПО. Всё необходимое в течение дня можно получить из облака. Заблаговременно, до поставки предприятия, его владельцы и персонал получают учебный курс работы на предприятии с компьютерной игрой, эмулирующей и обучающей реальной деятельности. В ходе эксплуатации завода так же, как и в случае с бытовой техникой, 24 часа в сутки с пользователями находится на связи служба поддержки и консультации. Плюс из облака имеется возможность подгружать необходимые дополнительные программы, получать экспертные советы, обрабатывать Большие Данные.

Ещё дальше пошли производители **фаблабов**. Эти производственные лаборатории оснащаются многофункциональными станками, 3D-принтерами, другими необходимыми приспособлениями. Особенность этих лабораторий состоит в том, что они не только позволяют произвести в натуре ту или иную разработку или изобретение, но и обладают потенциалом для собственного расширенного производства. То есть фаблаб спроектирован таким образом, что, используя имеющееся оборудование, способен дотраивать и расширять имеющийся функционал. Никогда раньше такого не предусматривалось. Хорошо известно, что всегда существовали предприятия по производству средств производства для производства средств производства и т. п. Теперь же в рамках одного предприятия можно и расширять само предприятие, и производить средства производства, и предметы для конечного персонализированного пользователя.

Идеолог фаблабов – преподаватель Массачусетского технологического института Нил Гершенфельд – доказывал, что производственная революция уже произошла, только она находится в латентной стадии: “Охват сети интернет каждый год удваивался в течение примерно десяти лет. Казалось, что интернет возник из ниоткуда, но на самом деле он просто долгое время развивался и мало кто его замечал. То же сейчас происходит с фаблабами, хакерспейсами и мейкерспейсами. Или другая параллель: когда только стали появляться персональные компьютеры, почти все производители больших компьютеров решили, что это игрушки, что-то несерьёзное. И все они потерпели крах, кроме IBM. То же и с новыми машинами для цифрового производства: они замещают привычную промышленность и создают новую, подрывая сложившийся порядок”. В мире насчитываются уже сотни, а в следующем году будут созданы и тысячи фаблабов.

В период 2014–2016 годов все ведущие страны мира приняли государственные документы, касающиеся, в основном, вопросов национальной безопасности. В них впервые зафиксирован важнейший вывод. **Любая высокая технология имеет тройное применение: гражданское, военное и криминальное.** Соответственно, новая производственная революция в целом, отдельные её направления и конкретные технопакеты открывают не только новые возможности, не только позволяют создать эффективные средства противодействия силам деструкции, но и наделяют преступников новыми, не существовавшими ранее методами и инструментами. Одним из важнейших следствий этого процесса является подтверждение так называемой теоремы Станислава Лема. В книге “Сумма технологий” он предсказал, что по мере технологического прогресса неуклонно возрастает разрушительная мощь малых групп и даже отдельных индивидуумов. В работе, изданной ещё в начале 60-х годов, он спрогнозировал, что в начале XXI века маленькие группы террористов и бандитов и даже отдельные преступники смогут шантажировать и ставить под угрозу нормальное функционирование и жизни населения мегаполисов и даже небольших государств. Новая производственная революция превратила прогнозы С. Лема в реальность.

*(Продолжение следует)*

**ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ**  
*председатель ЦК КПРФ*

## УРОКИ XX ВЕКА

**Октябрьская революция – не просто одна из ключевых исторических вех российской и всемирной истории. Она активный участник современности. Несмотря на все привходящие обстоятельства, я и сегодня убеждён в актуальности вывода Ленина, сделанного в статье “К четырёхлетней годовщине Октябрьской революции”: “Чем дальше отходит от нас этот великий день, тем яснее становится значение пролетарской революции в России, тем глубже мы вдумываемся также в практический опыт нашей работы, взятый в целом”.**

Этот “взятый в целом” опыт с неопровержимостью свидетельствует, что именно благодаря Октябрьской революции удалось спасти целостность России, обеспечив ей суверенитет, объединить в единое союзное государство на добровольной равноправной основе практически все народы бывшей самодержавной империи и занять достойное место на международной арене. И не вина октябрьских первопроходцев в том, что одна из великих мировых держав – СССР – была разрушена. Фактически нынешнее поколение россиян оказалось лицом к лицу с важнейшей проблемой, которую решили в декабре 1922 года предшественники.

Главной задачей России в обозримом будущем станет “собрание земель”, возрождение на территории СССР нового союзного государства. Иного пути у нас просто нет. Или мы поэтапно, мирно, на добровольной основе сумеем интегрировать “постсоветское пространство” и восстановить контроль над геополитическим “сердцем мира”, или нас ждут деградация и колониальное будущее.

Выйти на дорогу Октября и преодолеть нынешний системный кризис мы сможем лишь в том случае, если сумеем усвоить важнейшие уроки бурной, полной драматических поворотов отечественной истории. Её горький опыт, доставшийся нашему народу ценой многих лишений и страданий, должен быть непременно востребован именно сейчас, когда наше общество утратило своё соборное единство, высокие цели и идеалы, а само существование могучего и независимого Российского государства оказалось под угрозой.

Я полагаю, что по меньшей мере двенадцать наиболее существенных уроков отечественной истории имеют самое непосредственное отношение к происходящему на нынешнем этапе нашей истории. Эти выводы сформулированы мною более десяти лет назад. Но они звучат актуально и сегодня.

### **Урок революционных потрясений**

Революционное брожение нарастало в Европе на протяжении всего XIX столетия. Однако его апогей пришёлся на начало XX века. Уже 1905 год ознаменовался началом первой русской революции. За ней прокатились



революции в Османской империи, в Китае, Персии (Иране), затем дважды снова – в России, Венгрии, Германии. Соединённые Штаты Америки – цитадель буржуазной демократии – в 1927 году “пели и танцевали”, гордясь своим благополучием, а двумя годами позже грянула Великая депрессия, и это хваленое благополучие рухнуло: частнокапиталистическая форма присвоения пришла в чудовищное противоречие с потребностями общественного развития. Расплатой стали многомиллионная безработица и всевластие гангстеров.

Причина у всех этих революций и кризисов была одна: вопиющая социальная несправедливость, порождавшая пагубное расслоение общества, на одном полюсе которого оказывалась кучка благополучных и богатых “хозяев жизни”, а на другом – обманутые и обнищавшие народные массы.

К сожалению, нынешние правители не сделали никаких выводов из этого урока. И сегодня в нашем многострадальном Отечестве снова складывается ситуация, когда верхи не могут (или не желают) обеспечить должный уровень социальной защиты населения, а низы уже не хотят жить по-старому, требуют справедливости и восстановления всех своих социальных завоеваний.

К чему может привести такая ситуация – объяснять не надо. Если мы не сумеем обуздать алчность новой российской буржуазии, если не сможем заставить нынешних вождей изменить гибельный курс государственной политики, Россию ждут великие потрясения.

### **Урок социальной справедливости**

На Руси народная совесть испокон веков нетерпима к незаслуженно полученному богатству, к необоснованным привилегиям и материальному неравенству. И никакими пропагандистскими трюками её не обмануть. Лишь такое устройство общества будет прочным, которое в полной мере реализует уникальный опыт, накопленный в этой области за время Советской власти. Реализует осознанно и целенаправленно, не опасаясь обвинений в уравниловке, но и не впадая в популистские крайности.

Иван Болотников и Степан Разин, Емельян Пугачёв и народовольцы – все они выступали за то, чтобы в обществе была установлена справедливость. Ленин накануне Октябрьской революции сказал, что справедливость – это та идея, “которая двигает во всём мире необъятными трудящимися массами”. И когда в СССР государство вплотную приступило к решению этого вопроса, развитые капиталистические страны постарались внедрить у себя всё лучшее, что в области социальной справедливости явила миру наша держава. До последнего времени Запад пытался придать капитализму “цивилизованный”, “гуманный” характер, но сегодня суть капитализма вновь вылезает наружу даже в относительно благополучных странах.

Наши доморожденные капиталисты, развалив Советский Союз, заодно разрушили и социальные завоевания россиян. “Демократическая” Россия превратилась в страну вопиющей социальной несправедливости. Сегодня многие миллионы людей владят жалкое существование, а немногочисленные финансовые спекулянты скупают роскошные особняки на курортах Майами и Ниццы. Несправедливо, когда миллионы россиян не могут прокормить свои семьи, в то время как доходы кучки нуворишей удивляют даже арабских шейхов. Несправедливо, когда полунищий человек, чтобы заплатить за обучение детей, продаёт свою квартиру, а пенсионер вынужден отдавать две трети пенсии за жильё, не оставляя даже на пропитание и лекарства. Несправедливо, когда в стране, чтобы приехать к другу, на свадьбу, на похороны, надо платить за билет больше, чем составляет месячный доход семьи. Несправедливо, когда миллионы детей не учатся, а количество беспризорных таково, будто в стране полыхает полномасштабная война.

Наивно полагать, что такая несправедливость останется без последствий. Великое терпение нашего народа создало у некоторых политиков иллюзию того, что “русские всё стерпят”. Это далеко не так, и отечественная история грозно предостерегает: господа, не играйте с огнём! Необходим срочный и кардинальный пересмотр социальной политики государства, который позволил бы снизить напряжённость в обществе и создать механизм справедливого перераспределения общественных благ.

## **Урок отчуждения власти**

В середине декабря 1916 года к Николаю II пришла группа депутатов Государственной думы. Это были лидеры шести думских фракций, объединённых в “Прогрессивный блок”. Они заявили: “Государь! Страна разваливается, агонизирует. Назревает тяжелейший кризис, — прежде всего, кризис власти. Если немедленно не сформировать правительство, ответственное перед Думой, нас ждут величайшие потрясения”. Царь обещал принять решение. Через сутки взял свои слова обратно. Ещё через два с половиной месяца изжившая себя и недееспособная власть рухнула.

Нынешние так называемые “демократические” правители не сделали никаких выводов и из этого урока. В результате государственного переворота и расстрела Верховного Совета в октябре 1993 года страна сделала шаг в далёкое предреволюционное прошлое — восстановлена структура власти почти такая же, какая была в России накануне 1917 года. Царь-президент, никому не подконтрольный. Парламент, ничего не решающий. Правительство, никому, кроме президента, не подотчётное. А страна корчится в агонии.

Урок предельно прост: бесконтрольная власть — чума общества. Я долго искал мало-мальски научное определение того, что собой представляет нынешняя власть, но так и не смог ничего подобрать. С моей точки зрения, её можно обозначить лишь словом “клептократия”. Но логика истории неумолима: в стране не будет порядка, пока власть не окажется под эффективным общественным контролем. Поэтому наш главный лозунг прост и ясен: власть надо вернуть народу.

## **Урок грозящей катастрофы**

За несколько недель до Октября Ленин написал брошюру “Грозящая катастрофа и как с ней бороться”. Анализируя обстановку, он показал, в каком положении находилась Россия, и предложил вариант спасения страны. Тогда буржуазное Временное правительство не пожелало прислушаться к голосу разума. Результат известен: на долгие пять лет страна оказалась вовлечённой в ужасы братоубийственной смуты.

Лучшие наши умы, виднейшие учёные Российской академии наук, подготовили в своё время всесторонний анализ ситуации — доклад “Пределы падения”. В нём — двадцать один показатель состояния общества, его экономики, степени социальной защищённости граждан, уровня преступности, безработицы и т. д., по которым Россия уже “проехала на красный свет”.

Приведённые данные говорят о том, что положение настолько катастрофично, что может закончиться глобальной трагедией. Энергетика — на пределе. Свирепствует безработица. Остановлены целые отрасли. Страна не может сама себя прокормить. Пьянство охватило все слои населения. Организованные преступные группировки контролируют целые области.

Ситуация крайне сложна, она требует объединения усилий левых, центристских и народно-патриотических сил, формирования блока, который предложил бы состав “правительства национальных интересов”, свою программу и пути мирного выхода из кризиса.

## **Урок здравого смысла**

Он заключается в том, что жизнь всегда шире и сложнее всяких схем. Бесперспективны, а иногда и опасны попытки уложить реальное многообразие народного бытия в прокрустово ложе придуманных конструкций, от кого бы они ни исходили, какие бы благородные цели ни преследовали.

Только опираясь на богатейший, тысячелетний народный опыт в области общественного устройства и государственного строительства, можно обезопасить будущее России от шараханья в губительные крайности, от идеологического фанатизма и политического экстремизма.

Вспомним: чрезвычайная обстановка гражданской войны вынудила спасти экономику, минуя товарно-денежные отношения. Но товарно-денежные отношения нельзя отменить декретом. По окончании войны руководители страны вовремя сделали надлежащие выводы и в считанные месяцы приняли очень энергичные меры по переходу к новой экономической политике. И страна стала подниматься и оживать буквально на глазах. Это яркое свидетельство того, что в условиях, когда обостряющееся противоборство грозит самому

существованию России, надо уметь находить компромиссы, чтобы обеспечить развитие государства и выживание нации.

Советский Союз не удалось сохранить, прежде всего, потому, что партию развратили монополия на власть, застой и догматизм в идеологии. Мы из этого сделали серьёзные выводы. Теперь в программе КПРФ прямо записано, что нельзя какую-либо форму собственности отвергать, пока она не работала полностью свой ресурс, нельзя навязывать обществу однопартийную систему правления, нельзя превращать свою идеологию в единственную.

Но при этом мы выступали и выступаем за ведущую роль общественной формы собственности во всём её разнообразии – от государственной до кооперативной, за ведущую роль партий социалистической и патриотической ориентации, за сплочение передовой части общества вокруг идеи социализма. Главное – дать народу возможность эффективнее трудиться, ощущать себя хозяином страны и предприятий, подлинно свободным в своём историческом выборе и успешно решать на этой основе насущные задачи: обеспечение высокого жизненного уровня, доступность передовой культуры, подготовку образованного молодого поколения, социальную защиту и поддержку стариков и ветеранов, формирование справедливого правопорядка, мощной современной армии, способной защитить наши национально-государственные интересы, укрепление мира и добрососедских отношений со всеми народами.

### **Урок национальной самобытности**

История человечества с древнейших времён и до наших дней развивается как история классов и классовой борьбы. Но игнорировать национальные особенности столь же нелепо, как не замечать, например, особенности возрастные. В рамках обособленных отечеств в течение тысячелетий развивалось и цвело всё богатейшее многообразие народов и культур. Однако есть силы, которые пытаются разрушить это многообразие, загнать всех в свой ширпотребовский интеллектуально-бытовой концлагерь.

Для России с её “дванадцатью языками” этот урок особенно важен. Он включает в себя два принципиальных положения, проверенных столетиями, выдержавших суровые испытания в огне войн.

Положение первое: русский народ в своей соборной полноте есть державный хранитель единой для всех народов России государственности, её главный носитель и защитник.

Положение второе: всемерное и свободное развитие национального своеобразия народов и племён, связавших свою историческую судьбу с Россией, должно стать краеугольным камнем российской государственной политики.

Эти два постулата связаны между собой теснейшим образом. Народ, не уважающий самого себя, никогда не будет уважать других. Поэтому возрождение русского национального самосознания является непременным условием оздоровления межнациональных отношений в России. С другой стороны, ни один здравомыслящий национальный лидер, будь то на Кавказе или в Якутии, не может не понимать, что ослабление и вырождение русского этноса почти автоматически обрекают на вырождение и гибель его соплеменников. Ибо исчезает связующее звено огромного географического, политического, экономического и духовного пространства, и неизбежный в таком случае катаклизм просто-напросто сметает малые народы с лица земли в хаос хозяйственной разрухи и межэтнических распрей, притязаний соседей и внутренних междоусобиц.

На политическом уровне требуется чёткая централизация ограниченного числа важнейших государственных функций в российском политическом центре наряду со строгим его невмешательством во внутренние дела местного самоуправления.

### **Урок исторической преемственности**

Он учит: недопустимы любые действия, направленные на разрыв единой исторической ткани. Прошлое должно осознаваться в неразрывном единстве как национальная святыня, как фундамент творческого потенциала народа, основа консолидации державной крепости страны.

Мы совершали большую ошибку, когда делали вид, что до 1917 года в истории преваляло негативное. Так надо же учиться на ошибках! Ибо сейчас нас пытаются загнать в тот же самый тупик, только уже с обратным знаком: якобы после 1917 года “истории не было”. Но и это невиданная ложь!

И опровергая эту ложь, нужно обязательно иметь в виду, что эффективно противодействовать ей можно, лишь осознав историческое единство нашей жизни во всём её трагическом и героическом многообразии.

Если внимательно изучить историю России, то обнаружится, что многие её беды можно охарактеризовать одним словом: “раскол”. Раскол веры при патриархе Никоне в XVII веке привёл к тяжелейшим нравственно-религиозным, психологическим и идейным потрясениям. Сословно-имущественный раскол обострил гражданское противостояние, закончившееся кровопролитной гражданской войной. Раскол национально-территориальный стал причиной распада и расчленения страны уже на наших глазах. Нынешняя бездарная власть вольно или невольно возродила и усугубила все эти расколы. Теперь, пока мы вновь не уврачем кровоточащие разрывы, не видать покоя и мира нашей многострадальной земле.

### **Урок большой лжи**

Сегодня уже ни для кого не тайна, что в развале СССР первостепенную роль сыграли средства массовой информации, использовавшие технологии “большой лжи”. После Великой Отечественной войны и появления ядерного оружия враги России окончательно поняли: разрушить её силой невозможно. Соответственно, было принято решение сконцентрировать все усилия на том, чтобы подорвать внутренние, мировоззренческие, идейно-психологические основы нашего государственного единства.

Для этого, во-первых, доверчивым россиянам надо было внушить, что они живут в “империи зла”, и если она будет уничтожена, а народы, веками населявшие её территорию, “разведутся” и разойдутся по своим национальным квартирам, то всем станет легче жить.

Во-вторых, следовало доказать, особенно молодёжи, что СССР вовсе не был главным архитектором Великой Победы во Второй мировой войне, а является таким же злодеем, как и фашисты, а значит, его не за что уважать.

В-третьих, нужно было разжечь пламя национализма, русофобии и религиозного экстремизма, с тем чтобы рассорить народы, противопоставить их друг другу, оклеветать русских – главный государствообразующий народ державы.

Ну и, конечно, необходимо было ошельмовать КПСС, всячески раздувая ошибки и просчёты коммунистов, одновременно начисто умалчивая об огромной созидательной и организационной роли партии в самые трудные периоды советской истории.

Теперь, если мы хотим вновь обрести великую цель нашего общественного, национального и государственного бытия, нам следует кропотливо и последовательно развенчивать все те лживые стереотипы, которые продажные СМИ сумели внедрить в сознание народа за последние годы.

### **Урок двойных стандартов**

Исследуя материалы по правам человека, я насчитал около 300 граждан СССР, которых выдворили из страны во времена “эпохи застоя” (некоторых, например, Зиновьева и Максимова, совершенно незаслуженно). И в каждом случае западные доброхоты поднимали крик: “Как, вы нарушаете права человека!”

Но вот сегодня, когда 80 процентов населения России обобраны до нитки, “демократы” не тревожатся более о правах человека в нашей стране. Сегодня, когда миллионы русских оказались за пределами Российской Федерации, западные правозащитники предпочитают помалкивать о массовом попрании их основных, элементарных прав.

“Двойной стандарт” налицо. До тех пор, пока лозунг о правах человека можно было использовать в качестве орудия разрушения нашей государственности, о них вопили на весь мир. Теперь, когда защита этих прав может послужить восстановлению единства расчленённого русского народа и реинтеграции нашей государственности, о них крепко-накрепко “забыли”.

И что особенно показательно – вся терминология, все слова, которыми пользовались и пользуются эти “правозащитники”, превратились нынче в свою противоположность, в слова-оборотни. “Перестройка” превратилась в перестрелку, “демократия” – во всевластие мафии и чиновников, “цивилизация” – в откат на десятки, а то и сотни лет назад, “возрождение” – в полное вырождение. К чему бы ни притрунулись нынешние правители, всё обращается в прах!

## Урок организации масс

Гражданам России обещали золотые горы, если они согласятся приватизировать все национальные богатства. Обещали, что в этом случае все тут же станут зажиточными собственниками.

Послушались – и стали “собственниками” безработицы, криминального беспредела и социальной незащищённости! Обещали нам свободу и процветание, если развалится СССР. Развалили – и тут же запылали межнациональные войны, уже унёсшие в общей сложности сотни тысяч жизней, породившие миллионы раненых, покалеченных, беженцев.

Что же делать, как остановить это безумие? Ответ один – прежде всего необходимо создать прочную политическую организацию, способную стать выразителем интересов всех тех, кто стремится остановить сползание страны к катастрофе. Без дееспособной политической структуры народно-патриотические силы России будут и дальше обречены на неудачи. Решение этой задачи – один из главных вопросов ближайшего будущего.

## Урок войны

В XX столетии Россия, не считая мелких вооружённых конфликтов, пережила пять больших войн: Японскую, Первую мировую, гражданскую, Великую Отечественную, холодную. Последняя с помощью Горбачёва, Ельцина и их наследников переросла затем в горячую – в Таджикистане, Чечне, Приднестровье, Абхазии, Осетии, Донбассе и других горячих точках бывшего СССР.

Такова страшная кровавая цена непрекращающихся попыток мировой олигархии уничтожить российскую государственность, поставить наш народ на колени, раз и навсегда решить “русский вопрос”...

Имея за плечами такой опыт, нелепо и преступно повторять бессмысленные байки либералов-западников о том, что “России больше никто не угрожает”. Благодаря перестройке и “реформам” мы потеряли всех своих бывших военно-политических союзников. Расширяется, вползая в постсоветское пространство, направленный против России блок НАТО. У определённых кругов на Западе растёт соблазн отгородить Россию от Европы “санитарным кордоном”.

В этих условиях нам следует помнить, что без сильной современной армии, эффективных спецслужб, надёжной правоохранительной системы невозможно создать устойчивое и развитое государство, невозможно противостоять глобальному натиску Запада по всем направлениям – от военного до религиозного. А это, в первую очередь, означает, что следует немедленно прекратить шельмование наших вооружённых сил, любыми путями обеспечить их всем необходимым для поддержания должной степени боевой готовности и восставить систему патриотического воспитания молодежи.

Если этого не будет сделано, то в будущем за лукавство и бездеятельность современных политиков России вновь придётся платить большой кровью...

## Урок геополитики

Просторы России, несметные богатства её недр из века в век манили разномастных завоевателей, мечтавших поживиться за чужой счёт. Мы отбивались от хазар и половцев, монголов и тевтонов, поляков и шведов, от германцев и французов. Все эти походы были предприняты для захвата наших богатств. Сегодня говорят, будто борьба с Советским Союзом была “войной с идеологией коммунизма”. Но мы знаем, что боролись не только с коммунизмом. За этой удобной идеологической ширмой скрывалось стремление уничтожить многовекового геополитического противника – историческую Россию. Ту Россию, которая в виде Московского царства, Российской империи и Советского Союза неизменно была главным стержнем огромного евразийского пространства. Сегодня Российская Федерация рискует надолго лишиться каких-либо геополитических перспектив.

**Если геополитическое единство этих бескрайних просторов будет взорвано, разразится планетарная катастрофа. Дальнейшее разрушение нашей страны невыгодно ни соседям, ни в целом мировому сообществу. А ведь именно к этому ведут дело политики вроде Бжезинского, заявляющего, что Запад должен навязать России “геополитический плюрализм” на территории бывшего СССР. России жизненно необходима стратегия развития, ясная и чёткая доктрина реализации наших геополитических интересов.**

АНДРЕЙ ФУРСОВ

## “ПО-НАД ПРОПАСТЬЮ, ПО САМОМУ ПО КРАЮ”

*Февральский переворот в русской и мировой истории\**

Часть вторая

Война, революция и переключка эпох

*Война мне всю душу изъела.  
За чей-то чужой интерес  
Стрелял я в мне близкое тело  
И грудью на брата лез.  
Я понял, что я — игрушка,  
В тылу же купцы да знают...*

С. Есенин

**1914–1916**

Война вызвала в России взрыв патриотизма. Забастовочное движение пошло на убыль, правда, не только по причине патриотизма – рабочие боялись отправки на фронт в наказание. Для русской армии война началась с победы Северо-Западного фронта над немецкой армией в Гумбиннен-Гольдапском сражении. Кстати, само вступление России в войну стало опровержением немецкого плана Шлиффена. Согласно этому плану, немцы в течение 40 дней громили французскую армию, а затем разворачивались на восток и наносили удар по России. Почему 40 дней? Столько, по немецким подсчётам, нужно было русской армии для завершения мобилизации. Русская армия, однако, вступила в войну, не завершив мобилизации, к чему немцы не были готовы – такой ход им был непонятен. Не могу здесь не вспомнить слова лесковского генерала (из рассказа “Железная воля”) о немцах: “...какая беда, что они умно рассчитывают, а мы им такую глупость подведём, что они и рта разинуть не успеют, чтобы понять её”.

Впрочем, победы русской армии довольно быстро сменились поражением: немцы перебросили в Пруссию войска с Западного фронта (это спасло Париж – 27 августа 1914 г. французы на Марне нанесли мощный удар по ослабленному правому крылу немецкой армии), и 26–31 августа в сражении при Танненберге свежие немецкие войска разбили измотанную 2-ю армию А. В. Самсонова (он застрелился), а 1-ю армию П. К. Ренненкампа вытеснили из Восточной Пруссии.

\* Окончание. Начало в №2 за 2017 год.

19 августа – 21 сентября в ходе Галицийской битвы русские войска нанесли поражение австро-венгерской армии и по сути вывели Австро-Венгрию из войны (после этого австро-венгры могли воевать только при немецкой поддержке), однако исчерпание мобресурсов, прежде всего боеприпасов, не позволило продолжить наступление. Впрочем, и немцам в ходе Варшавско-Ивангородской операции (октябрь–ноябрь 1914 г.) не удалось добиться победы, они лишь сняли угрозу вторжения русских войск в Германию.

Почти весь 1915 г. оказался неудачным для русской армии, она терпела поражения и отступала. Фронт стабилизировался лишь к осени. На этот момент наши потери в войне составили 150 тысяч убитыми, 700 тыс. ранеными, 900 тыс. пленными, 4 млн людей бежали из захваченных врагом западных провинций. За полтора года была выбита бóльшая часть кадровых офицеров; в 1916 г. только 20% офицеров были дворянами; среди солдат появилось много городских люмпенов.

Если в 1915 г. цены на основные товары только начинали расти, то в 1916 г. население уже вполне ощутило тяготы войны. К этому времени на фронт было мобилизовано 15 млн человек (около 40% трудоспособного населения), реквизировано 2,5 млн лошадей. Посевная площадь из-за нехватки рабочих рук уменьшилась на 12%, сбор хлеба – на 20%. Цены выросли в 4–5 раз. Промышленные предприятия сокращали объём выпускаемой продукции; транспорт (особенно железнодорожный) и топливная промышленность оказались в кризисе. Правительство увеличивало налоги и прибегало к внешним займам, последнее усиливало финансовую зависимость от так называемых союзников.

С 1915 г. возобновляется рост забастовочного движения (в 1915 г. в 1034 стачках приняли участие 0,5 млн человек, в 1916 г. в 1410 стачках – 1 млн), волнений в деревне (в 1915 г. – 180, в 1916 г. – 360); вспыхивают восстания на окраинах (1916 г. – Степь и Туркестан); антивоенные настроения проникают в армию, дисциплина в которой начинает падать отчасти из-за усталости от войны и непонимания солдат, за что воюют, отчасти из-за пропаганды либералов и левых. Иными словами, тяготы военной жизни всё сильнее давили на население, точнее, на абсолютно подавляющую его часть, но не на всех, ибо “кому война, а кому мать родна”. Буржуазия, особенно связанная с поставками на фронт, наживалась, неимоверно и бессовестно завышая цены на товары, продаваемые государству для ведения войны. Поразительно, но в кризисном 1916 г. К. Фаберже получил максимальное количество заказов на свои изделия. Это один к одному напоминает ситуацию в 2016 г. в России, когда, несмотря на кризис, был побит рекорд покупок богатыми дорожных яхт и автомобилей – история повторяется.

Уже в 1915 г. стало ясно, что война обострила все прежние противоречия, несколько сглаженные осенью 1914 г., причём, во-первых, скорость обострения резко увеличилась; во-вторых, они развивались на всех уровнях – не только между верхами и низами, но и внутри самих верхов. Конфликт развивался даже внутри правящей фамилии Романовых, в которой росло недовольство Николаем II и его супругой. Острейшие противоречия обнаружились между крупным капиталом и государством, с одной стороны, и внутри самого крупного капитала – между его фракциями, прежде всего между связанной со столичной бюрократией питерской буржуазией, с одной стороны, и таких контактов не имеющей московской, среди которой было много старообрядцев, с другой.

За развитием ситуации в России внимательно наблюдали британцы, французы и американцы, преследовавшие свои конкретные цели, но общая цель у всех была одной и той же – ослабление, а по возможности расчленение России и установление контроля над её ресурсами; забегая вперёд, отмечу, что Февральский переворот – и сам по себе, и свергнув Россию в смертельный водоворот, из которого её, отчасти против своей воли, по коварству Истории, вытащили большевики, в течение нескольких лет после 1917 г. преследовавшие вовсе не государственные, а лево-глобалистские, “земшарные” цели, – почти подарил англосаксам и французам такую возможность. Однако “киллеры Российской империи” – февралисты – оказались “дурными и косо-рукими” и, как сказано в одном криминальном романе, из-за бездарности киллеров появились незапланированные трупы. В том числе самих киллеров, добавлю я. Вернёмся, однако, к событиям и тенденциям развития в 1915–1916 гг., определившим Февральский переворот.

Крупная буржуазия, особенно та её часть, что считала себя обделённой доступом к власти, полагала: власть в стране должна принадлежать ей, в стране должна быть установлена «диктатура капитала и ренты на основе полусвободного «либерального политического режима» (Н. Н. Суханов). В этом были согласны кадеты и октябристы и их лидеры. Кадеты к тому же выступали в качестве лоббистов английского и французского капитала. Кроме того, они считали своим полным правом наживаться на войне, причём за счёт государства и народа.

В июле 1915 г. буржуазия создала «Главный по снабжению армии комитет Всероссийского, земского и городского союзов» (Земгор), а также военно-промышленные комитеты. Официально — для лучшей организации снабжения фронта. На самом деле — для установления контроля над этим снабжением и получения максимальной прибыли путём трёх-пятикратного завышения цен на продукцию, продаваемую армии, т. е. государству. Главной целью Земгора было усиление давления на правительство. При военно-промышленных комитетах создавались рабочие комитеты, в которые включали рабочих. Через них буржуазия манипулировала забастовочным движением, используя его для давления на правительство. По сути Земгор решал не военные задачи, а классово-экономические, выступал средством борьбы с государственным (казённым) сектором экономики. Власть оценила угрозу и уже в августе 1915 г. создала свой аппарат перестройки экономики — «Особые совещания»; на долю Земгора и военно-промышленных комиссий оставлялись лишь посреднические функции по выполнению казённых заказов.

Власть осознала, что крупный капитал не просто противостоит ей, но ведёт самое настоящее наступление как по политической, так и по экономической линии, и ответила укреплением государственного сектора. В октябре 1916 г. Министерство торговли получило право контроля над торговлей металлами; в декабре царь утвердил решение Совета министров о переводе под государственное управление электрических заводов «Сименс и Гельске», «Сименс Шукерт», «Всеобщей компании электричества», Путиловского завода. Это была реализация программы генерала А. А. Маниковского по созданию мощного госсектора, и к концу 1916 г. крупный капитал ощутил сильное давление. Впрочем, давление это запоздало, поскольку в августе 1916 г., по сути, произошёл если не перелом, то серьёзный сдвиг в экономической борьбе правительства и крупного капитала в пользу последнего, после чего экономика России, к радости будущих февралистов, ускорила, по мнению А. В. Пыжикова, свой путь к обвалу. Как отмечает этот историк, 4 августа 1916 г. тесно связанные с правительством петербургские банки капитулировали перед «Товариществом братьев Нобелей» в развернувшемся конфликте. И хотя финансовая война лета — осени на этом не закончилась, как и в информационной войне, правительство оборонялось и отступало, иногда бывали и ничейные результаты.

Так, одной из линий противостояния была схватка за то, кто будет обеспечивать решение обострившегося продовольственного вопроса — связанные с правительственными кругами столичные банки с их огромной филиальной сетью или, например, московские банки. Чтобы помочь московской буржуазии, тесно связанный с ней и с Государственной Думой по политической и масонской линиям начальник генштаба генерал М. В. Алексеев инициировал (причём по линии контрразведывательной проверки!) серию мощных ударов по питерским банкам и связанным с ними предприятиям сахарной промышленности на Украине. Как отмечает описавший эту детективно-политическую историю А. Пыжиков, была создана комиссия генерала Н. С. Батюшина, которая и начала проверку и аресты. Империя нанесла ответный удар: правительство в лице супертяжеловесов Министерства финансов и Министерства внутренних дел, а также Министерства торговли инициировало проверку текстильных предприятий — станového хребта московского купечества. В конечном счёте результатом стал компромисс; государство и капитал показали друг другу зубы, и к концу 1916 г. стало ясно, что страна находится накануне окончательного выяснения отношений между этими силами. К этому же времени максимально обострилась политическая ситуация: подготовка заговора по свержению царя (а для кого-то и самодержавия), начавшаяся ещё в 1915 г., входила в свою финальную стадию.

В 1915–1916 гг., как впоследствии признал Н. С. Чхеидзе, оформилась идея военного заговора, целью которого были низложение Николая II посред-



ством дворцового переворота и замена царя его братом Михаилом. К этому склонялись кружки А. И. Гучкова и А. Ф. Керенского, тогда как кружок князя Г. Е. Львова и А. И. Хатисова делал ставку на Николая Николаевича-младшего. Как писал генерал К. И. Глобачёв, в 1916 г. в Думе “образовался определённо революционный центр с молчаливого благословения её председателя М. В. Родзянко. Ежевечерние закрытые заседания небольшой группы с А. Ф. Керенским и П. Н. Милюковым во главе уже дирижировали настроениями в столице и вместе с сим по всей России”. Последнее неудивительно: буржуазная оппозиция, а точнее кадеты, контролировали прессу; правительство начисто проигрывало своим оппонентам информационную войну.

### На пути к перевороту

Катастрофа пришла к нам *справа*,  
а не *слева*.

И. Солоневич.

Итак, в 1916 г оформились два заговора. Один – в Москве, чисто буржуазный по составу, объединялся вокруг Земгора Центрального военно-политического комитета. Его лидерами были князь Г. Е. Львов, А. И. Коновалов, М. В. Челноков, П. П. Рябушинский и другие. Другой заговор составили социалисты – А. Ф. Керенский, Н. С. Чхеидзе, М. И. Скобелев и другие.

Связь между двумя заговорщическими организациями осуществлялась через масонские ложи (в которых царя люто ненавидели), поскольку, как отмечает С. Рыбас, накануне революции общественные структуры русской буржуазии организационно и коммуникационно находились практически полностью в масонских руках.

Нужно сказать, что для будущего усиления своих позиций в обществе российские масоны в 1910 г. провели свой внутренний “февральский мини-переворот”. Его суть, как отмечает В. С. Брачев, заключалась в том, что из игры были выведены (“усыплены”, по масонской терминологии) те “братья”, которые либо имели слишком тесные контакты с фракцией, либо не соблюдали правила конспирации. По сути “внутренний” масонский февральский переворот 1910 г., оказавшийся предтечей “внешнего” масонского переворота 1917 г., имел целью консолидацию сил для дальнейших активных действий, а это требовало прежде всего конспирации, сокрытия политических целей масонства путём выдвижения на первый план просветительских, эзотерических и т. п. “Строгая конспирация была нужна масонам, – пишет В. С. Брачев, – не только в целях сокрытия своих работ от агентов Департамента полиции, но и от некоторых деятелей левого крыла оппозиционных к масонству деятелей. Дело в том, что согласование в рамках масонских лож единой позиции различных политических фракций в Думе могло быть эффективно лишь только в том случае, если думцы-“профаны” ничего бы не знали и даже не догадывались, что выступают объектами масонской политической игры. Первоочередной задачей в этих условиях было провести немалую подготовительную работу по организационному становлению новой масонской структуры в России. И началась она, естественно, с учреждения новых, уже очистившихся от неугодных членов, масонских мастерских... “Усыпление” старых масонских лож и организация на их основе лож новых позволила реформаторам не только избавиться от мешавшего им балласта – сторонников так называемого “нравственного масонства”, но и существенно обновить свои ряды, влить в ещё не вполне окрепшую организацию “свежую кровь”\*. Вот эта “свежая кровь” и забурилась в 1916–1917 гг.

Одним кадетам, подчёркивает в работе “Масоны и власть в России” В. С. Брачев, организовать антиправительственный блок в Думе, а затем приступить к взятию власти без поддержки октябристов и масонов – с их связями, их организацией – и думать было нечего. Отсюда и лидирующая роль Гучкова, а, например, не Милюкова. Неудивительно, что, оказавшись в центре политических связей и коммуникаций и резко увеличив благодаря этому свои манипулятивные возможности, в январе – феврале 1917 года масоны (на короткий исторический миг) достигли своего максимума власти в России.

\* Брачев В. Масоны и власть в России. М.: Алгоритм, 2003. С. 326–327.

Впрочем, кроме них был ещё один мощный манипулятор – британцы, британские дипломаты и разведчики, но об этом позже.

Неформальным, но реальным лидером заговора был Гучков, техническим организатором – генерал Алексеев, поскольку без военных заговор и низложение царя осуществиться не могли. Великий князь Александр Михайлович (командующий ВВС Российской империи) писал: “Ген. Алексеев связал себя с заговорами (вместе с ген. Рузским и Брусиловым), с врагами существующего строя, которые скрывались под видом представителей Земгора (кн. Львов), Красного Креста (Гучков), Военно-промышленного комитета (Коновалов) и др. Все генералы хотели, чтобы Николай II немедленно отрёкся от престола. Это были генералы-изменники”.

В октябре 1916 г. в Петрограде А. И. Гучков, П. Н. Милюков, М. М. Фёдоров, С. И. Шидловский, М. И. Терещенко и ряд других лиц обсудили сложившуюся ситуацию. Они решили, что Николай II царствовать более не может и нужно добиться отречения, желательно добровольного. Гучков представил свой план, согласно которому царский поезд захватывался по дороге между Ставкой и Царским Селом, царя вынуждали отречься, затем арестовывается правительство, а после этого объявляется о перевороте.

Вскоре после встречи начался либеральный штурм “бастионов власти”. Первым выстрелом стала знаменитая клеветническая речь П. Н. Милюкова “Глупость или измена?”, произнесённая им в Думе 1 ноября 1916 г. В этой речи он назвал правительство главным злом и фактически обвинил царицу и её окружение в измене или, как минимум, в готовности к ней. Несмотря на запрет на распространение речи Милюкова, она полулегально распространялась, в том числе в действующей армии. В тот же день, 1 ноября, Прогрессивный блок, представлявший крупный капитал, объявил своей целью установление в России парламентской модели. Если учесть, что такую модель можно было установить только в случае свержения самодержавия, то по сути это было объявлением войны. Власть практически не прореагировала ни на выходку Милюкова, ни на демарш Прогрессивного блока, продемонстрировав не просто слабость, а политическую импотенцию.

Отсутствие реакции со стороны власти на политическую агитацию оппозиции загоняло власть в наихудшее положение. Выходило по А. Л. Парвусу, который в своё время писал: “Усиление политической агитации поставит царское правительство в сложное положение. Если оно прибегнет к репрессиям, это приведёт к росту сопротивления, если же проявит снисходительность, это будет воспринято как признак слабости, и пламя революционного движения разгорится ярче”. Ситуация развивалась по второму варианту; чувствуя слабость власти, будущие февраллисты усиливали натиск, к чему их активно подталкивала внешняя сила; оппозицию словно подгоняла чья-то злая воля.

## И опять британцы

*Которым я, как двум гадюкам, верю.*

У. Шекспир. “Гамлет”.

Кроме внутривоссийского аспекта заговора, который привёл к Февральскому перевороту, был ещё и внешний – британский. По-видимому, сначала британцы использовали и поддерживали оппозицию для ослабления России, однако в определённый момент комбинация обстоятельств заставила их перейти к реализации более далеко идущих планов в тесном контакте с заговорщиками.

На допросе 13 июля 1939 г. в НКВД известный масон А. Оболенский показал, что после разговора с Гучковым ясно понял: “Англия была вместе с заговорщиками. Английский посол сэра Бьюкенен принимал участие в этом движении, многие совещания проходили у него” (подч. мной. – А. Ф.).

Французская разведка считала, что британцы явно провоцируют революцию в России, чтобы кроме разгрома Германии добиться максимального ослабления России в будущие мирные времена. Согласно сообщениям французской разведки, после отставки британского агента влияния министра иностранных дел России С. Д. Сазонова Британия “перестала играть роль хозяйки положения”. Чтобы компенсировать это, “она перешла на сторону революции и её спровоцировала. Лорд Милнер во время пребывания в Петрограде, это

вполне установленный факт, решительно подталкивал Гучкова к революции, а после его отъезда английский посол превратился, если можно так выразиться, в суфлёра драмы и ни на минуту не покидал кулис. По ходу исторических событий, вместо доведения до сведения императора, который тогда находился в Царском Селе, требований Думы с попыткой в последний раз добиться уступок, Бьюкенен просил лидеров гучковско-милюковской и т. д. группировки лишь потерпеть до приезда государя в Ставку, чтобы из-за удалённости у него фактически не оставалось времени вмешаться в нужный момент, пойдя на уступки, которые у него вырвали бы в случае настойчивого отказа. Если бы он не уехал, весьма вероятно, не произошло бы самого события”\*

А ргорос: обращает на себя внимание визит в январе – феврале 1917 г. в Петроград члена британского военного кабинета лорда Милнера. Главное, однако, не в том, что он был министром; напомним, что Милнер – организатор и руководитель влиятельнейшей британской закрытой группы мирового соглашения и управления “Мы” (“We”), или “Группы” (“The Group”), – это куда круче, чем должность члена военного кабинета или даже премьер-министра. По сути, член “Группы” премьер-министр Ллойд Джордж был в подчинении у Милнера.

Британцев не устраивали ни выход России из войны, ни победа русской армии. В этом интересы Великобритании и крупного российского капитала совпадали: “Капитал стремился к власти, – писал генерал А. И. Спиридович. – Победа русской армии ему была страшна, так как она лишь бы укрепила самодержавие, против которого они боролись, правда, тайно, лицемерно”. Победа русской армии была страшна также многим думцам, масонам и даже (по личным причинам) некоторым членам большой Романовской фамилии. Что касается британцев, то в случае победы и сохранения самодержавия Николая II с Россией-победительницей пришлось бы делить “победный пирог”, да и мировой статус этого извечного врага Альбиона резко возрастал бы. Поэтому британцам нужно было во главе России слабое, полностью зависимое от них (но уже не царское) и, самое главное, продолжающее войну правительство.

Кроме того, британцы всё более опасались развития российско-американских связей и активного проникновения американского капитала в Россию, которую Великобритания и Франция на экономической конференции 1916 г. в Париже уже поделили на зоны влияния. Ясно, что британцев не могли не насторожить переговоры члена делегации Госдумы Д. А. Протопопова ещё в Стокгольме в 1915 г. с гамбургским банкиром Варбургом, у них возникло подозрение, что речь идёт о сепаратном мире. Однако эта тема не была главной. Шведский банкир Олаф Ашберг в мемуарах пишет о том, что главной темой были российско-американские финансовые отношения: Варбург был тесно связан не только с “российскими” Гинцбургами, но и с “американскими” Варбургами же, Кунами, Леебами и всей этой мешпухой. Заключение мира с немцами, за которое ратовал, кстати, Распутин, отсекало Россию от британских кредитов, и в этом плане американские кредиты могли стать адекватной заменой.

Британцы, естественно, узнали и о переговорах, и о том, что по возвращении из Стокгольма Протопопов был весьма благосклонно, даже тепло принят царём. Царь, правда, не собирался заключать сепаратный договор с Германией, однако это не развеивало британские страхи.

Осенью 1916 г. страхи британцев усилились: с одной стороны, распространялись слухи о возможности заключения сепаратного мира между Россией и Германией; с другой – если этого не происходило, война двигалась к победному для Антанты финалу. Это ускорило действия британско-русского союза заговорщиков.

Прологом переворота или даже началом его ползучей фазы можно считать убийство в ночь с 16 на 17 декабря очень важной для царской семьи персоны – Распутина. Символичен состав убийц: князь (Юсупов), думец, представитель правых кругов (Пуришкевич), британский агент – профессиональный киллер (капитан Райнер, который и убил Распутина). “Теперь британский посол Джордж Бьюкенен мог спать спокойно, опасный сепаратист был устранён”, – замечает по поводу убийства Распутина С. Рыбас. Иными словами, убийство было совместной российско-британской акцией, которая должна была решить двойную задачу: морально сломить, раздавить царя и расчистить путь к перевороту.

\* Рыбас С. Заговор верхов. М.: Молодая гвардия, 2016. С. 266.

Активное участие британцев в подготовке “феврализма” несомненно. Однако нельзя не согласиться с историком русской армии А. Керновским, который писал: “Можно и должно говорить о происках врагов России. Важно то, что происки эти нашли слишком благоприятную почву. Интриги были английские, золото было немецкое, еврейское, но ничтожества и предатели были свои, русские. Не будь их – России не были бы страшны все козни преисподней”.

### О грядущем перевороте – “по секрету всему свету”

*В политике ничто не происходит случайно. Если это случится, вы можете поспорить, что это было запланировано.*

Франклин Рузвельт,  
32-й президент США.

О перевороте в конце 1916 г. в столице говорили, почти не таясь, как о практически решённом деле. Это напоминает одновременно две ситуации: комическую – из мультфильма “Ограбление по...” и трагическую – из русской истории, я имею в виду русско-британский заговор против Павла I и убийство этого оклеветанного дворянской и либеральной историографией царя. В той части мультфильма, которая посвящена Италии, некий Марио собирается грабить банк, и как только он выходит с этой целью из дома, вся улица уже кричит: “Марио идёт грабить банк”. Все в курсе.

Аналогичным образом многие в Санкт-Петербурге в начале марта 1801 г. были в курсе готовящегося против Павла заговора: даже извозчики уже указывали перстами на Михайловский замок, говоря “конец” и красноречиво проводя ребром ладони по горлу. Убийство Павла было частью двойной акции британской разведки – устранения Наполеона французскими руками и Павла – русскими. С Наполеоном не вышло: ему удалось избежать смерти при покушении 24 декабря 1800 г. на улице Сен-Никез в Париже, а с Павлом всё получилось. “Они (британцы. – А. Ф.) достали меня в Петербурге”, – скажет Наполеон, узнав о гибели Павла.

А. Ф. Керенский в мемуарах вспоминает: “Чтобы лучше понять атмосферу, царившую на последней сессии Думы, которая длилась с первого ноября 1916 года по 26 февраля 1917 года, надо иметь в виду, что мысли всех депутатов были заняты ожиданием дворцовой революции”. И это на самом деле ещё не крайний показатель развала власти на самом верху, есть и посильнее.

В конце декабря 1916 года 16 великих князей Дома Романовых встретились и признали необходимость устранить Николая II с престола. Об этом великому князю Николаю Николаевичу сообщил другой великий князь, Николай Михайлович. Николай Николаевич проинформировал об этом одного из заговорщиков А. И. Хатисова, в то же время отказавшись участвовать в заговоре, – Хатисов предлагал великому князю престол. Тот факт, что командующий Кавказским фронтом спокойно обсуждает с заговорщиком вопрос свержения своего царственного родственника, свидетельствует не только о его презрении к Ники (во многом заслуженному), но и о том, что строй сгнил, причём – с головы, которую – пройдёт совсем немного времени – большинство великих князей, забывших поговорку “Не буди лихо, пока оно тихо”, потеряет.

К концу 1916 г., отмечает в своей отличной книге “Заговор верхов” С. Рыбас, “вопрос стоял так: либо имперская власть начнёт действовать в духе Петра Великого (или Ивана Грозного, добавлю я. – А. Ф.), либо его оппоненты “повернут штыки” в её сторону”. Николай II – далеко не Пётр I. Он не реагировал на предупреждения о заговоре, хотя знал о нём. Он не принял предложения об упреждающем контрперевороте типа третьейимоньского 1907 г., что, безусловно, устршило бы оппозиционную свору. Кто-то скажет: царь не хотел рисковать во время войны. Но именно во время войны власть, если она чего-то стоит, должна подавлять не в меру активную оппозицию, тем более такую, которая готовит переворот. (“А сильной власти – всё нет как нет”, – скажет 8 января 1917 г. генерал от артиллерии А. А. Маниковский.) Власть оказалась не на высоте, а потому штыки и оказались повёрнуты в её сторону. И начался обратный отсчёт времени, поскольку торопились все силы заговора – и буржуазия, и генералы, и масоны, и британцы.

У российской части заговорщиков была ещё одна, помимо названных выше, причина торопиться: они опасались социального взрыва, движения снизу, настоящей революции, Гучков, да и не только он, говорил об организации дворцового переворота как средстве упреждения-предотвращения революционного взрыва. Цели заговорщиков, писал в “Записках о революции” Н. Н. Суханов, были в таком кричащем противоречии объективным задачам революции в России, что “революция должна быть остановлена, обуздана, приведена к покорности, покорена под ноги великодержавности. Это дань частному, специфическому проявлению диктатуры капитала”.

Таким образом, дворцовым переворотом заговорщики хотели упредить-заблокировать настоящую революцию, т. е. хотели, как лучше для них. Вышло – иначе, поскольку, во-первых, “гладко было на бумаге, да забыли про овраги” – плохо знали свою страну, свой народ, который держали за быдло. И народ ответил, в частности, в конце 1917 г., объявив кадетов “врагами народа” – и справедливо, и поделом, ещё раз: не буди лихо, пока оно тихо.

Относительно небольшая группа самоуверенных и незадачливых краснобаев, страшно далёких от народа, социально-эгоистичных адвокатов, профессоров, политиков (точнее, полагавших себя таковыми) и т. п. рода профессий решили обмануть и подмять русскую историю! И ведь был среди них профессиональный историк, который должен был хотя бы кое-что знать об особенностях национальной истории. Что тут скажешь? Нечего.

Во-вторых, у заговорщиков, подобно Буратино в “Золотом ключике”, оказались коротенькие мысли. Никогда ничем не руководившие кадетские и прочие вожди мнили себя европейцами, а народ – азиатами, забыв, что в самодержавной России единственный европеец – правительство, каким бы оно ни было. На самом деле англоманы и англофилы, все эти набоковы-милюковы-гучковы показали себя самыми настоящими – по их терминологии – азиатами, причём худшего, колониального сорта, заглядывающими в рот “белым сахибам” из Альбиона. А вот большевики, при всей их для многих несимпатичности, оказались, кто бы что ни говорил, европейцами, людьми длинных мыслей и длинной воли, потому-то они и победили – и февралистов, и белогвардейцев, и Запад.

“Дворцовый переворот” под названием “Февральская революция”, вопреки замыслу заговорщиков, не предотвратит социальную революцию в России, а ускорит её, “развязав дикие страсти” (А. Блок). Но в конце 1916 – начале 1917 г. кадетско-октябристско-масонские “мудрецы в медном тазу” ещё не знали об этом и пустились в плавание, благо противник у них на тот момент был хилый. Через год они столкнутся с другим противником – с народом, с большевиками, разговор пойдёт совсем другой, и многим февралистам придётся спастись бегством – как в ситуации из шлягера нэповских времён:

*Всё сметено могучим ураганом,  
И нам с тобой осталось кочевать.*

#### **Был месяц лютый\***

*Расплясались, разгулялись бесы  
По России вдоль и поперёк.  
Рвёт и крутит снежные завесы  
Выстуженный северо-восток.*

М. Волошин.

С самого начала 1917 г., несмотря на внешнее спокойствие, напряжение нарастало. Январь сменился февралём. Кстати, самого царя с 22 февраля не было в столице: один из главных заговорщиков генерал Алексеев убедил его уехать в Ставку, отсекая таким образом от возможных событий в Петрограде. Всё-таки поразительно отсутствие властного, политического чутья у Николая II. Дважды в канун судьбоносных моментов он покидал столицу, позволяя кому-то убедить его сделать это. Первый раз это было в канун 9 января 1905 г., “Кровавого воскресенья”, ставшего реальным, боевым началом революции – тогда прокатило. Второй раз – в канун Февральской революции. Этот второй раз стоил царю короны, а в конечном счёте и жизни.

\* Лютый, лютедь – так славяне называли февраль.

В складывающейся ситуации заговорщикам нужен был только повод, и он нашёлся, а точнее, был создан. В середине февраля 1917 г. власти Петрограда решили ввести карточную систему. Ответом стали волнения. Дума обрушилась на правительство с критикой и потребовала его отставки. В это же время как по заказу в столице начались перебои с хлебом. Первый ход: кто-то вдруг (причём без всякой нужды) отдал приказ о мобилизации на фронт части питерских хлебопёков – хлеба в городе стало меньше. Но он был за пределами Петрограда. И тут – второй ход: возникли проблемы с железнодорожным транспортом и из-за его дезорганизации хлеб не могли подвезти. Впрочем, помимо злого умысла свою роль сыграли и гешефтные соображения тех, кому городская управа (естественно, не безвозмездно) передала снабжение жителей Петрограда, – купцам Левенсону и Лесману, а те вместо продажи муки петроградцам начали нелегально втридорога продавать её в Финляндию.

Следующий момент: 20 февраля администрация Путиловского завода объявляет локаут в ответ на требования рабочих об увеличении зарплаты – администрация недоплачивала. У этих недоплат есть своя предыстория. В декабре 1916 года по команде из-за рубежа – из стран-союзников! – многие частные банки в России прекратили финансирование акционерных обществ, причём не всех, а тех, что владели предприятиями. По сути, это был двойной удар: подрыв военно-экономической сферы и курс на обострение классовых конфликтов между предпринимателями и рабочими в условиях войны. В феврале 1917 года заложенная в декабре 1916 года бомба замедленного действия взорвалась, и это лишний раз свидетельствует о скоординированности деятельности заговорщиков по обе стороны границы.

Сразу же после объявления локаута словно ждавшие этого Чхеидзе и Керенский установили контакт с руководителями нелегальных организаций, в частности с А. Г. Шляпниковым и К. К. Юрневым, и договорились о проведении 23 февраля (8 марта) демонстрации, которая носила мирный характер, в ней участвовало много женщин. В продолжившихся на следующий день демонстрациях было уже много мужчин, а 25 февраля движение стало перерастать во всеобщую стачку – бастовало 300 тыс. человек. Все три дня власти практически не реагировали на ситуацию; царю, находившемуся в Могилёве, сообщили, что в городе обычные беспорядки; да и царица писала, что имеет место простое хулиганство. Однако 26 февраля власти будто проснулись, и командующий Петроградским военным округом генерал-лейтенант С. С. Хабалов отдал приказ стрелять по демонстрантам, и было убито около 50 человек. Стрельба по людям привела к неожиданному для властей результату: солдаты запасных полков, расквартированных в Петрограде, стали переходить на сторону демонстрантов. Началось всё с Павловского полка, затем перекинулось на Литовский, Волинский и другие.

Об этих полках стоит сказать особо. Станным образом в столице, в опасной близости от центра власть держала полки, которые должны были когда-то отправиться на фронт. Ясно, что на фронт солдатам не хотелось. Ясно также: то, что они оставались в казармах в небоевом состоянии, разлагало солдат, как и ничегонеделание; расхристанная солдатня болталась по городу, лузгая семечки, и, больше всего опасаясь отправки на фронт, была готова на всё, лишь бы этого не произошло. А власти словно не понимали, что рядом – социальный динамит.

Правда, в какой-то момент император приказал генералу В. Гурко убрать из столицы ненадёжные части и заменить их гвардейскими частями с фронта. Однако ни Гурко, ни градоначальник генерал-майор А. П. Балк, ни командующий войсками округа Хабалов приказ не выполнили, отговорившись тем, что в казармах нет места, а ненадёжные запасные батальоны куда вывести. По сути это был саботаж, в лучшем случае – типично российско-чиновное нежелание шевелиться, если не стегнули плетью. Показательно, что и Николай II в своей обычной манере не отреагировал на невыполнение приказа, не чувствуя и не понимая значения “петровского кнута” в русской жизни вообще и по отношению к российскому чиновничеству в частности. В результате пороховой погреб из белобилетников сохранился, и оставалось только бросить спичку.

Одним из первых героев февральских событий стал фельдфебель именно Волинского полка Тимофей Кирпичников: когда под воздействием речей офицера солдаты в казарме готовы были успокоиться, Кирпичников выстрелом в спину убил офицера, и ситуация развернулась на 180°. Портреты Кирпични-

кова как героя выставлялись в витринах магазинов, аптек и т. п. Потом о нём забыли, и после Октябрьского переворота он подался на Дон, где явился к атаману А. М. Каледину, заявив, что хочет бить большевиков. “Тот самый Кирпичников?” — поинтересовался атаман. “Так точно”. Каледин вызвал казаков и приказал вывести Кирпичникова во двор и расстрелять, что и было исполнено.

27 февраля почти 70 тыс. солдат из 180 тыс. перешли на сторону восставших (остальные через день сдались). Большую роль в перевербовке солдат сыграли русские агенты британцев. С. Рыбас приводит донесение в Париж французского разведчика капитана де Малейси: “В дни революции русские агенты на английской службе пачками раздавали рубли солдатам, побуждая их нацепить красные кокарды. Я могу назвать номера домов в тех кварталах Петрограда, где размещались агенты, а поблизости должны были проходить запасные солдаты”. И после этого кто-то ещё будет сомневаться, что “англичанка гадит”? Гадит. И будет гадить всегда.

27 февраля толпа рабочих и солдат направилась в Таврический дворец, где в Полуциркульном зале собрались депутаты, отказавшиеся подчиняться царскому указу о временной приостановке работы Думы. Они сформировали Временный комитет Государственной Думы, куда вошла часть депутатов IV Думы, а также депутаты предшествующих дум — это был странный орган, фактически означавший роспуск IV Думы, но почему-то это никого не взволновало.

Одновременно в том же Таврическом дворце, но в другом помещении группа меньшевиков-думцев и несколько большевиков и левых эсеров провозгласили создание временного исполкома Петроградского совета рабочих и крестьянских депутатов — Петросовета. Председателем был избран масон Н. С. Чхеидзе, масонами же были и его заместители: Н. Д. Соколов, М. И. Скобелев, Н. Н. Суханов, А. Ф. Керенский. Если учесть, что среди членов Временного комитета Государственной Думы (официальное название: Временный комитет для восстановления порядка и для сношения с лицами и учреждениями, глава — октябрист М. В. Родзянко) тоже было много масонов, то можно сказать, что масоны оседлали политическую революцию, которую они готовили и подталкивали в течение многих месяцев и даже лет; кстати, Керенский и Чхеидзе входили и во Временный комитет Государственной Думы. Когда говорят о двоевластии (впоследствии) Временного правительства и Петросовета — это во многом верно. А во многом неверно: и там, и там заседали “братья”, хорошо понимавшие друг друга. Выходило, что Временное правительство и Петросовет — это две ножки одного циркуля — масонского.

Показательно, что в момент начала революции, как показал масон Н. В. Некрасов, “всем масонам был дан приказ немедленно встать в ряды защитников нового правительства — сперва Временного комитета Государственной думы, а затем Временного правительства. Во всех переговорах об организации власти масоны играли закулисную, но видную роль. Сама инициатива образования 27 февраля 1917 г. Временного комитета Государственной думы и решение не подчиняться царскому указу о временной приостановке её работы исходила от масонов”. Более того, ещё до февральских событий, писал в 1930 г. масон Л. Д. Кандауров, масонский Верховный Совет поручил ложам составить список лиц, годных для новой администрации; в результате во всех организациях, участвовавших в создании Временного правительства, оказались масоны, а в самом правительстве они составили его радикальное ядро.

В первые два дня деятели, заполнившие Таврический дворец, вовсе не чувствовали себя уверенно — и были правы. Как заметил Максим Горький, если бы нашлась хотя бы рота во главе с верными власти офицерами, Таврический дворец был бы очищен очень быстро. Но в том-то и дело, что даже роты не нашлось — повторю: строй сгнил. Поэтому попытки морской пехоты под руководством великого князя контр-адмирала Кирилла Владимировича и прибывшего с фронта полковника А. П. Кутепова (того самого) были заранее обречены — власть не готова была лить кровь, в результате полилась кровь представителей самой этой власти. Как заметил вице-директор Департамента полиции К. Д. Кафафов, “в [Февральской] революции 1917 г. в сущности и победы-то никакой не было, ибо не было борьбы: власть не сопротивлялась, не боролась, а сдалась без сопротивления”.

Сдалась, потому что сгнила. Потому-то и слиняла Россия (читай: самодержавие), как заметил В. В. Розанов, в два дня, самое большее три — как СССР в три августовских дня 1991 года.

## “Мы, Николай Второй”: отречение как начало революции

*Царь закачался и нарочно  
Кричал, что всё это — пустяк,  
Что всё пройдёт и всё остынет,  
И что отныне и навек  
На перекошенной Неве  
И потревоженной пустыне  
Его прольётся благостыня.*

*.....  
Но уж корона вокруг чела  
Другие надписи прочла.*

Н. Заболоцкий.

А что же царь? 27 февраля Николай II, осознав, наконец, серьёзность ситуации, распорядился об отправке в Петроград отряда георгиевских кавалеров в 700 штыков под командованием генерала Н. И. Иванова, и если бы они добрались до города, то никакой “Февральской революции” не было. Но они не добрались, и связано это было уже не только с ними, но и с играми вокруг Николая II, которого не допустили в Петроград и в два хода загнули в ловушку.

Когда царский поезд в 2 часа ночи 1 марта прибыл в Малую Вишеру, комиссар А. А. Бубликов (масон, заранее посаженный “братьями” в Министерство путей сообщения), по сути, заблокировал его продвижение. Бубликов активно распространял запущенную ложь о том, что железнодорожные станции по пути следования поезда захвачены революционно настроенными солдатами и матросами. Окружение царя подыграло Бубликову, в результате 1 марта царский поезд оказался не в столице, а в Пскове, где главным Северным фронтом Н. В. Рузский объяснил царской свите: “Теперь надо сдаться на милость победителя”. Главком фронтом также отказался передать под командование генерала Иванова какие-либо дополнительные войска и таким образом сорвал его поход на Питер. В 3 часа ночи 2 марта тот же Рузский начал телефонные переговоры с Родзянко и Алексеевым. Последний разослал телеграммы командующим фронтами, предлагая им высказаться по вопросу об отречении императора. Телеграмма содержала подсказку: “Обстановка, по видимому, не допускает иного решения”. Ответы были утвердительными, тем не менее, царь колебался. Между тем, вечером 2 марта в Псков прибыли Гучков и Шульгин, которые начали фактически запугивать императора опасностью для жизни его и членов его семьи, если он не отречётся. В этот же день в 22.40 Николай II отрёкся от престола за себя (на что имел право) и за сына (на что права не имел, нарушив 37-ю статью Законов Российской империи). Однако Гучков и Шульгин приняли отставку, сочтя такие “детали” неважными – им нужно было вырвать отречение в любой форме. Тем более что они прекрасно ощущали за собой силу – генералитет, думцы, масоны, манипулирующие толпой.

“Кругом измена, трусость и обман”, – напишет Николай в дневнике 2 марта 1917 года, в день отречения от престола. И действительно: предали все: генералы, политики, кузены, почти всё ближайшее окружение. Но разве сам царь не предал свою страну в 1905 году, когда из-за его самоустранения погибли люди? Разве он не предал свой народ, погнав русского мужа и за сына немецкие пушки и пулемёты ради интересов западных банкиров? А разве не предательством было отречение от престола? То, что позволительно частному лицу, непозволительно государю – разумеется, если он настоящий государь, а не случайный частный человек на троне.

Большая часть церковных иерархов благосклонно приняли переворот и поклонились февралистам. По сути, тоже предав царя – помазанника Божия, православная церковь полностью скомпрометировала себя. Встав на сторону февралистов, церковь в известном смысле погналась за политической дешёвизной – за положением, когда она оказывалась вне контроля стоявшего над ней царя. Но ведь именно царский строй гарантировал церкви её положение. Захотелось большего? И в 1920–1930-е годы история в лице большевиков и народа как коллективного работника Балды наказала церковь:



*Со второго щелка  
Лишился поп языка;  
А с третьего щелка  
Вышибло ум у старика.  
А Балда приговаривал с укоризной:  
“Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной”.*

Жаль только, что под удар попали многие честные священники, на которых обрушились жесточайшие гонения и тысячи из которых приняли смерть за Христа, но не отреклись от веры. Впрочем, вера и церковь – далеко не всегда одно и то же, так же как далеко не всегда одно и то же – Родина и власть, наука и Академия наук.

Вообще нужно отметить, что в феврале 1917 года исторически в России посыпались и рухнули одновременно монархия, православная церковь и – как это ни парадоксально на первый взгляд – либерализм. Трагифарсовое возвращение либерализма в 1990–2000-е годы как “идеологии” узаконенного, подзаконного и надзаконного грабежа имеет такое же отношение к реальному либерализму, как Граучо Маркс к Карлу Марксу. Все потуги возродить в России либерализм, монархию и реальное (а не ритуально-привластное) значение православной церкви тщетны – *vixerunt* (“они прожили”) – слова Цицерона об убитых Катилине и его союзниках). Но это к слову.

Некоторые исследователи ставят под сомнение подлинность подписи Николая II, однако едва ли есть причины для сомнений. Ещё ряд исследователей пытаются оправдать решение царя страхом за семью. Вопрос с ходу: и что, отрекшись, спас Николай II свою семью и себя? Прояви он волю, останься он на троне, и ситуация развивалась бы совсем по-другому. Но Николай II был в большей степени частным лицом, чем настоящим монархом, отсюда его финал – и досадный, и трагичный. Главное, однако, в том, что царь, как хозяин земли русской, должен был думать в первую очередь не о семье, а о государстве и народе, который своим решением он ввергал в катастрофу.

Подчёркиваю: революция началась в момент отречения царя, в момент, когда государь оставил свой народ, в момент, когда главнокомандующий оставил армию; до этого революции не было, был бунт – вполне обратимый. С отречением Николая процесс стал необратимым.

Михаил, в пользу которого отрёкся Николай, 3 марта отказался от принятия престола до созыва Учредительного собрания. Сделал он это под давлением масонов-республиканцев, которые запугали его так же, как и его брата, похоронив схему конституционной монархии в России. Таким образом, великие князь и генералы (без последних заговор никогда не удался бы) были обмануты: заговор думцев-масонов и британцев взял верх над военно-великокняжеским заговором. Единственное, что оставалось генералу Алексееву в такой ситуации – это сокрушаться: “Никогда не прощу себе, что я поверил некоторым людям”.

О шотландских гвардейцах, предавших английского короля Карла I, впоследствии, как и Николай II, казнённого, говорили: “Шотландец клятву преступил, за грош он короля сгубил”. “Грошом” для генералов, преступивших клятву, стало обещание сохранения монархии в виде конституционной. Обещание было ложью с самого начала, а главного генерала-предателя жизнь жестоко наказала: Русские красные заставят вырыть себе могилу, а затем зарубят шашками. Даже не девять граммов свинца, а клинки “отпустили на суд его грешную душу” (И. Тальков).

### **Вакханалия и похмелье**

А армию тем временем громили. 1 марта Петросовет издал “Приказ №1”, согласно которому в армии создавались солдатские комитеты, Петроградский гарнизон выводился из подчинения старшему командованию, титулование офицеров и отдача им чести вне службы отменились. Приказ привёл к быстрому развалу армии: солдатские комитеты стали важнее командования, честь офицерам перестали отдавать и в условиях несения службы, а самих офицеров начали убивать.

Некоторые историки пытались доказать, что приказ был ошибкой, чем-то случайным и вообще преследовал благородную цель демократизации армии, но – перестарались. Это глупая или намеренная ложь. Член Петросовета И. П. Гольденберг откровенно объяснил французскому дипломату: “Приказ № 1” – не ошибка; то была необходимость. В день, когда мы сделали революцию, мы поняли, что, если мы не уничтожим старую армию, она раздавит революцию. Мы должны были выбирать между армией и революцией, и мы не колеблясь выбрали последнюю... [и нанесли] я смею сказать, гениальный удар” (подч. мной. – А. Ф.).

Отчасти похожим образом шельмовали и разрушали армию и органы госбезопасности сначала горбачёвцы в позднюю перестройку, а затем ельциноиды в 1990-е. Только выбирали они не между революцией и армией, а между деньгами и армией. Впрочем, как мы увидим, для многих февралистов революция и деньги, революция и капитал сливались в единое целое. Разрушая армию, февралисты в то же время клялись воевать с Германией до победного конца – и этот факт, как и ослабление России путём свержения царя, самодержавия британцев не просто не мог не радовать – привёл в восторг.

Ф. Берти, посол Великобритании во Франции, записывал в дневнике: “Нет больше России. Она распалась, и исчез идол в лице императора и религия, который связывал разные нации православной веры. Если только нам удастся добиться независимости буферных государств, граничащих с Германией на Востоке, то есть Финляндии, Польши, Украины и т. д., сколько бы их удалось сфабриковать, то по мне остальное может убираться к чёрту и вариться в собственном соку”\*.

Ещё дальше пошёл британский премьер. Выступая в парламенте и реагируя на свержение царя/монархии/самодержавия в России, Ллойд Джордж заявил, что одна из целей войны достигнута. И это говорил союзник России, говорил, не стесняясь, поскольку стесняться некого: новые правители России смотрят на Великобританию снизу вверх, ведь она не только образец для их подражания, но именно она поддержала переворот и помогла им его организовать. Достаточно было реальному лидеру Антанты, топнув ногой, заявить: никаких переворотов во время войны, и все эти гучковы-милюковы-набоковы прижали бы хвосты, щёлкнули бы каблуками и встали бы по стройке смирно. Пройдёт немного времени, и британцы вторично предадут Николая, отказавшись принять его и тем самым обрекая на смерть.

9 марта 1917 года был арестован гражданин Николай Романов, бывший царь. Курировал этот вопрос и вообще все вопросы, связанные с царской семьёй (равно как и с арестованными министрами царского правительства), А. Ф. Керенский. По поводу арестованной семьи Николая он пафосно заявил: “Да, я держу их под стражей не как министр юстиции, а на правах Марата”. И на правах представителя победившей масонерии, добавлю я, поскольку, как позднее признал Керенский, решение об аресте царской семьи вынесла могущественная ложа “Петербург”, а сам арест решено было обставить нарочито грубо как демонстративное низложение.

Хотя Керенский исходно был всего лишь одним из министров (труда), он с самого начала занял доминирующее положение во Временном правительстве и вообще во всей февралистской схеме. Один из современников даже писал, что, если бы Керенский не согласился на должность министра, всё (!) провалилось бы.

Что же такого было в этом человеке? Происхождения – неясного, мутного. То ли из немцев, то ли, как полагало большинство, из евреев. Неврастеник, если не истероид. Позёр. Опытные юристы говорили о его профессиональной непригодности (“трёхрублёвый адвокат”), а, как известно, именно “троечники” нередко и бегут в политику. Склонный к пафосу, постоянно заявлял, что власть получил “волей народа”. Какого? Надо думать, “братского” – ведь, по собственному признанию Керенского, ещё в 1912 году он стал членом русской ложи “Великого Востока Франции”. Особенность, точнее, особость положения Керенского заключалась в том, что помимо министерского поста во Временном правительстве он занимал должность заместителя председателя Петросовета. Будучи и в правительстве, и в Совете, Керенский по сути занимал позицию над обоими структурами двоевластия.

\* Брачев В. Масоны и власть в России. М.: Алгоритм, 2003. С. 378.

Рассказывают, что в конце жизни, умирая в больнице для бедных, Керенский в интервью сказал, что для предотвращения революции в России надо было расстрелять одного человека. “Ленина?” — поинтересовался журналист. “Нет, Керенского”, — был ответ.

Ах, Александр Фёдорович, Александр Фёдорович! Как был эгоманьяком, так и остался. И даже под конец жизни не понял, что был всего лишь марионеткой могущественных сил, выбравших и назначивших его “калифствовать” над страной “на белом коне” (С. Есенин).

“Кто же стоял тут за Керенским и придавал ему смелость? — писал позднее типичный представитель профессорско-профанной науки П. Н. Милюков, как всегда сильный задней (“опосля”) мыслью. — Тогда я не мог знать об этом; но воспоминания Бьюкенена (английский посол, разведчик. — **А. Ф.**) заставили меня прийти к заключению, что источником этим были переговоры за моей спиной в английском посольстве”. Если учесть тесные связи Керенского не только с британцами, но и с ложей “Великий Восток Франции”, становится ясно, что “калифом на час” сотворили Керенского британский и французский (то есть международный) капитал, использовав масонскую линию; именно представители его структур управляли Керенским из тени, из-за кулис. Он, зная о такой поддержке, и наглел, в своей хуцпе упиваясь властью и собой во власти. Поэтому и мог в январе 1917 года вещать, что переворот в России должен состояться не позже весны 1917 года, даже если бы это стоило поражения России.

Кому-то (впрочем, ясно кому) было выгодно представить февральские события “бескровной революцией”. Это ложь. В первые же дни марта в Петрограде развернулась вакханалия убийств полицейских, жандармов и офицеров, начавшаяся в ночь с 27 на 28 февраля: расчёт был чётким — уничтожалась и запугивалась единственная сила, способная противостоять беспорядкам (плюс уничтожались полицейские архивы). Приведу лишь одно свидетельство — К. И. Глобачева — из очень и очень многих: “Те зверства, которые совершались взбунтовавшейся чернью в февральские дни по отношению к чинам полиции, корпуса жандармов и даже строевым офицерам, не поддаются описанию. <...> Городовых, прятавшихся по подвалам и чердакам, буквально раздирали на части, некоторых распинали у стен, некоторых разрывали на две части, привязав за ноги к двум автомобилям, некоторых изрубали шашками. Были случаи, что арестованных чинов полиции и жандармов не доводили до мест заключения, а расстреливали на набережной Невы, а затем сваливали трупы в проруби. Кто из чинов полиции не успел переодеться в штатское платье и скрыться, тех беспощадно убивали. Одного, например, пристава привязали верёвками к кушетке и вместе с нею живым сожгли”<sup>\*</sup>.

Пока народ, а точнее та его часть, которая в ситуациях ослабления власти превращается в чернь, в зверя, грабила лавки, убивала полицейских, февралисты обделывали свои дела, ради которых всё затевалось. Дел было два — власть и капитал. То, что происходило с властью, мы уже видели. Не менее важные вещи происходили с капиталом. В первые же дни февралисты приступили к реализации “диктатуры капитала”, которая, как заметил С. Рыбас, “обернулась переизданием “государства Витте” без сдерживающих начал. Временное правительство мгновенно отменило ограничительные для частного бизнеса принципы генерала Маниковского”, реализация которых в своё время укрепляла государственный (казённый) сектор, а если и капитализм, то тоже государственный, а не частный. Удивительно ли, что Маниковский и целый ряд генералов и старших офицеров впоследствии оказались в контакте с большевиками?

Однако уже во второй половине месяца эйфория начала проходить, наступало похмелье. Краснобаи, дорвавшиеся до власти, если ещё не поняли, то почувствовали: власть — это не безответственный околополитический трép в салоне или с профессорской кафедры, а “кровь, пот и слёзы”; это ответственность, за которую могут спросить — и народ, и зарубежные сильные мира сего. Прошла эйфория и у простого люда, выпустившего в февральско-мартовские дни энергию. Довольно быстро многие, кто понял, а кто почувствовал: что-то не так. Вот как описывает мартовский Петроград Ф. Степун, будущий известный философ, а в 1917 году — офицер, близкий к эсерам: “Я думал, что

<sup>\*</sup> Цит. по: Рыбас С. Заговор верхов. М.: Молодая гвардия, 2016. С. 275.

увиду его гневным, величественным, наполненным революционной романтики. Ожидания мои не сбылись. Впечатление было сильное, но обратное ожидаемому. Петроград по внешнему виду и по внутреннему настроению являл собой законченную картину разнузданности, скуки и пошлости, не приливом исторического бытия дышал его непривычный облик, а явным отливом. Бесконечные красные флаги не веяли в воздухе стягами и знамёнами революции, а пыльными красными тряпками уныло повисали вдоль скучных серых стен. Толпы серых солдат, явно чуждых величию свершившегося дела, в распоясанных гимнастёрках и шинелях внакидку, празднично шатались по грандиозным площадям и широким улицам города. Изредка куда-то с грохотом пронеслись тупорылые броневики и набитые солдатами и рабочими грузовики: ружья наперевес, трёпаные вихры, шальные, злые глаза... Нет, это не услышанная мною на фронте великая тема революции, не всенародный порыв к оправданию добра свободного, а её гнусная контртема... Эта хмельная радость о том, что “наша взяла”, что гуляем и никому ни в чём отчёта не даём”.

У среднезажиточных жителей столицы росло чувство тревоги, переходящее в страх: “Запирайте этажи, нынче будут грабежи” (А. Блок). Ещё недавно было бодро и весело — цирк. И вот теперь — “куда уехал цирк, он был ещё вчера”. Цирк уехал, а клоуны остались. Правда, кривляться им суждено было только девять месяцев, до октября 1917 года, когда народ вышвырнет их как своих врагов — врагов народа, а ещё через несколько лет те из них, кто останется в живых, окажутся в эмиграции и в бесполезных спорах типа “схватки скелетов над пропастью” будут решать, кто и почему ошибся, почему они потерпели поражение.

### **Старый порядок и февралисты: заговор обречённых против русской истории**

*Но их бедой была победа.  
За ней открылась — пустота.*

Н. Коржавин

Вопрос, конечно, интересный. У него два аспекта: качество системы, народа, которые незадачливые февралисты пытались оседлать, и качество самих февралистов — социальное, личностное, человеческое.

Как заметил блестящий писатель О. Маркеев, секрет России “был в том, что... масса не способна порождать пирамиды (власти. — **А. Ф.**). Их жестокая иерархия и законченность были чужды её аморфной природе. Правители (России. — **А. Ф.**) всегда привносили идею пирамиды извне, очарованные порядком и благолепием заморских стран. Но не они, а сама масса решала, обволочь ли её животворной слизью, напитать до вершины живительными соками или отторгнуть, позволив жить самой по себе, чтобы нежданно-негаданно развалить одним мощным толчком kloкочущей энергией утробы... Вопрос лишь времени и долготерпения массы”. И далее: “...масса только с высоты пирамиды кажется киселём... внутри она таит жёсткую кристаллическую решётку, из которой куёт стержни, прошивающие очередную привнесённую из-за рубежа пирамиду власти, и... только эти стержни даруют пирамиде устойчивость и целостность; стоит изъять их, и уже ничто не спасёт государственную пирамиду от краха”\*.

С реформ 1860-х годов власть и капитал в России начали расшатывать ту кристаллическую решётку русской жизни, которая хоть и насильственно, но худо-бедно сложилась в XVIII в., начали счищать ту “животворную слизь”, которую, болезненно адаптируясь к петровскому, а затем к петербургскому самодержавию, выработала русская популяция. Результат — революция 1905 года, когда самодержавие спасли часть народа, организованная в “чёрные сотни”, и благоприятное стечение обстоятельств.

Однако после революции власть в виде столыпинских реформ продолжила своё разрушительное дело, ситуация обострялась и к 1914 г. накалилась. Системный кризис позднесамодержавного общества выразился, помимо прочего, в уродстве и гнили так называемого Серебряного века, отрыжкой которого станет многое и в 1960-е, и в 1990-е годы. “Ущербный Серебряный век”

\* Маркеев О. Неучтённый фактор. М.: Оникс, 2008. С. 479, 481.

(Г. Свиридов) с его наполненностью тем, что С. Куняев назвал “любовью, исполненной зла”, сыграл роль культурно-эстетического фундамента для “третьеразрядных” персонажей, которым Февральский переворот и то, что за ним последовало, позволили влезть на котурны и явить миру – себя и своё ничтожество. Февральский переворот словно вынырнул из разлива сексуальной литературы, кокаиновой наркомании, уродливых стихов футуристов и бездарного, неживого в своей механичности авангарда. Политическим коррелятом всего этого, всей этой мертвечины, нежити, и стал феврализм.

Первый год войны лишь приглушил остроту социальной ситуации, а затем процессы пошли. Февральский дворцовый переворот преследовал две главные цели.

Во-первых, утвердить такую буржуазно-либеральную власть, которая увенчает тот вектор развития России, что прочерчивался с 1861 года и был, по сути, аномалией для русской истории, фактором упадка и регресса России и русского народа. Для февралистов эта аномалия была нормой, как половые извращения для извращенцев, и они стремились утвердить её, представив свой мейм в качестве общегосударственного, общесоциального *verum'a*. А для этого нужно было свергнуть царя и самодержавие. Даже слабый царь мешал буржуазии так же, как когда-то Павел I мешал дворянству, а Александр I – высшей и наиболее богатой страте этого сословия, желавшей согнать крестьян с земли (“освободить” их таким образом – эта цель объясняет изрядную долю действий декабристов, большая часть которых была выходцами из богатых и знатных семей). Госсектор, пусть умеренно и непоследовательно поддерживаемый царём, мешал буржуазии. “Для дворцов, яхт, вилл и прочего, – писал И. Солоневич, – отстранение Государя императора было единственным выходом из положения – точно так же, как в своё время – убийство Павла I”, стремившегося ограничить крепостнические аппетиты дворянства и хотя бы минимально защитить крестьян от произвола их господ.

Второй целью, не менее важной, было заблокировать, повернуть вспять развивавшийся одновременно с капитализмом в качестве реакции на него процесс вызревания социальной антикапиталистической революции – народной революции. На самом деле Февральский переворот, совершившийся в рамках логики “демонтажа русских кристаллических решёток”, властного и социокультурного “русского кристалла” и взявший курс на дальнейшее развитие этого процесса, спровоцировал тот самый мощный толчок клочущей энергии утробы, о котором писал О. Маркеев и началом которого стал Октябрьский переворот. А ведь умные люди предупреждали о большой вероятности такого развития событий. Не кто иной как князь П. Д. Долгоруков, председатель Центрального комитета кадетской партии, то есть партии Милюкова, пробуржуазной, пробританской, толкавшей страну к дворцовому перевороту, писал в январе 1917 г.: “Дворцовый переворот не только нежелателен, но скорее гибелен для России (подч. мной. – А. Ф.). Дворцовый переворот не может дать ничего, кто явился бы общепризнанным преемником”. Отсюда – полшага до Смуты.

Как заметил И. Солоневич, Февральский “дворцовый переворот был результатом целого комплекса нездоровых социальных отношений, накопленного всем петербургским периодом русской истории” (подч. мной. – А. Ф.); это была бесперспективная попытка выйти из социального тупика, да так, чтобы не допустить народной революции. Народ в февральских событиях практически никакого участия не принимал, имели место действия толпы.

Курс февралистов ещё более ускорил процессы развала власти и общества, двигая страну к катастрофе – или к революции, в любом случае – к анархии и углублению кризиса. Почему так? Разве этого хотели февралисты? Нет. Однако их благие (прежде всего в отношении себя) намерения привели страну в социальный ад, а это уже связано с социальными и личностными качествами самих февралистов как социального типа, персонифицирующего процессы разложения позднесамодержавного общества, его нездоровья, его антинародности. Единственной крупной, значимой, выделявшейся среди февралистов фигурой был Гучков. Однако, как и Столыпин, это был умный и волевой, но **классово ограниченный** человек, его восприятие реальности носило **классово ограниченный** характер. Что же до основной массы февралистов, то это были далеко не первосортные адвокаты, профессора, журналисты, политики-думцы и т. п. Здесь определяющая характеристика – “непервосортные”.

Кто делал, то есть готовил в широком смысле революцию? Этим вопросом задаётся И. Солоневич и отвечает: “**Делала** революцию вся второсортная русская интеллигенция последних ста лет. Именно второсортная. Ни Ф. Достоевский, ни Д. Менделеев, ни И. Павлов, никто из русских **первого** сорта – при всём их критическом отношении к отдельным частям русской жизни – революции не хотели и революции не делали. Революцию делали писатели второго сорта – вроде Горького, историки третьего сорта – вроде Миллюкова, адвокаты четвёртого сорта – вроде А. Керенского. Делала революцию почти безымянная масса русской гуманитарной профессуры, которая с сотен университетских и прочих кафедр вдалбливала русскому сознанию мысль о том, что с **научной** точки зрения революция спасительна. Подпольная деятельность революционных партий опиралась на этот массив почти безымянных процессоров. Жаль, что на Красной площади рядом с мавзолеем Ильича не стоит памятник “неизвестному профессору”. Без массовой поддержки этой профессуры революция не имела бы никакой общественной опоры. Без поддержки придворных кругов она не имела бы никаких шансов. На поддержку придворных и военных кругов наша революция не рассчитывала никак – и вот почему Февраль свалился ей как манна небесная в пустыне”\*.

Переворот, совершённый придворными, стал неожиданным подарком и “низкосортным”, всем этим бобчинским-добчинским начала XX в., и толпе. Действительно, “цитатная интеллигенция”, живущая заёмными с Запада идеями, вкусами, а значит и чужими интересами – важный фактор. Как писал Н. Михайловский, наша интеллигенция в интеллектуальном отношении к Западу похожа на служанку, донашивающую за госпожой её старые, вышедшие из моды шляпки. Всё так. Но дело, разумеется, было не только в тех социальных и профессиональных группах, которые упомянул И. Солоневич. Их состояние отражало ситуацию системы в целом и, прежде всего, её системообразующего элемента – верхушки: ближайшее царское окружение, высшая знать, крупное чиновничество (“столоничальники”). Можно смело говорить о вырождении всего этого слоя на рубеже XIX–XX вв. “У нас нет правящих классов. Придворные – даже не аристократия, а что-то мелкое, какой-то сброд”, – писал А. Суворин. И он же: “Государь окружён или глупцами, или прохвостами”.

“Помойными ямами были столичные (высокосветские. – **А. Ф.**) салоны... Русский правящий класс... оплевал самого себя, как слабоумный больной, умирающий на собственном гноище”. Слабоумный больной – это фиксация неадекватности. Однако помимо неадекватности было и безволие: “Окружение Царя в ставке, – писал генерал А. Мосолов, – производило впечатление тусклости, безволия, апатии и предрешённой примиренности с возможными катастрофами” (подч. мной. – **А. Ф.**). Отсутствие воли тех, чья прямая функция – защищать режим, – крайнее проявление системного кризиса.

“Давайте, наконец, отбросим детские сказочки о масонах и жидках, о тёмных силах или просто о нечистой силе, – писал И. Солоневич. – *Слой сгнил*. Это он, этот слой, подарил России и Мукден и Цусуму, создал предпосылки для революции 1905–1906 гг. Это он, этот слой, бездарно руководил великим народом в годы Первой мировой войны, и он же организовал дворцовый переворот февраля 1917 года, открыв двери для всего дальнейшего”. По сути, перед нами классово-системный анализ ситуации. Единственное замечание заключается в том, что на самом деле между тезисом “строй сгнил” и тем, что И. Солоневич назвал “сказочками”, по крайней мере, в российской реальности конца XIX – начала XX века, нет противоречия. Дело в том, что сам факт активного присутствия масонов в России и их влияния в политике есть проявление упадка и гнилости самодержавной системы. Это в Западной Европе масонство с начала XVIII века было интегральным и даже органичным элементом общества и власти, вторым, закрытым контуром последнего. В самодержавной России оно таким элементом никогда не было; то был неорганичный, чуждый, а во многом и враждебный властной системе элемент. Его развитие и влияние были обратно пропорциональны нормальному функционированию властно-социальной системы и выступали явным индикатором того, что “строй сгнил” – одним из частных проявлений этого процесса.

Аналогичным образом обстоит дело с ролью, значением и влиянием иных, чем русские, этнокультурных групп, причём не только евреев, но также

\* Солоневич И. Наша страна. XX век. М.: Изд-во журнала “Москва”, 2001. С. 221–222.

поляков, немцев, хотя Солоневич в первую очередь критически оценивал тезис о роли евреев в Февральском перевороте. Тот же еврейский капитал был более или менее органичной частью западноевропейской экономики с XVI–XVII вв., он не был в ней инородным телом, выстраивая отношения сотрудничества, симбиоза с властью (классический пример — Ротшильды). В России же ситуация была иной: здесь еврейский капитал и спонсируемые им соплеменники в различных средах (адвокатура, журналистика и т. д.) по логике функционирования системы и отношения к ней зачастую оказывались не только инородным, но и оппозиционным к власти и всему строю жизни телом со всеми вытекающими последствиями. Слабость русского капитала, с одной стороны, и поддержка еврейского капитала из-за границы, с другой, вели к тому, что роль и значение еврейского капитала и связанных с ним кругов общества становились показателем слабости системы, её властного и экономического упадка. Таким образом, “сказочки”, упоминаемые автором “Народной монархии”, суть не что иное как проявления кризиса системы, о которой он совершенно верно пишет, а противопоставлять частности и следствия, причём такие, которые обладают мощной обратной связью и силой, целому — логическая ошибка. Вернёмся, однако, к интеллигенции как одному из действующих лиц Февраля.

Классическим, квинтэссенциальным безответственным третьесортным профессором-политиком-интеллигентом И. Солоневич считал П. Н. Милюкова. Вот что он писал о лидере кадетов (цитата длинная, но она того стоит): “В конце 1916 и начале 1917 года профессор Павел Николаевич Милюков вёл неистовую атаку на проклятый старый режим — не стесняясь никакой “изменной” и базируясь на любую “глупость”, — во имя победы западных демократий в союзе с русской революцией над реакционными режимами Вильгельма и Николая. Когда проклятый кровавый старый режим был свергнут и когда великая и бескровная простёрла ризы свои над Россией — профессора П. Н. Милюкова она выперла вон.

Тогда профессор Милюков вынырнул в немецком Киеве и предложил немецкому генералу Эйхгорну борьбу: против западных демократий, против великой и бескровной русской революции и в союзе с вильгельмовской реакцией, — генерал Эйхгорн вышиб профессора Милюкова вон.

Тогда профессор Милюков вынырнул в деникинском Ростове и предложил генералу Деникину новую комбинацию: борьбу русской реакции против русской революции и против германского милитаризма — в союзе с западными демократиями. Генерал Деникин вышиб профессора Милюкова вон.

Тогда профессор Милюков очутился в Париже, где предложил западным демократиям: борьбу против русской реакции генерала Деникина, борьбу против немецкой реакции Вильгельма, борьбу против великой и бескровной — за демократию, за заветы и гонорары профессора Милюкова. Западные демократии вышибли профессора Милюкова вон.

Отвергнутый по очереди русской революцией, немецким милитаризмом, русской реакцией и западными демократиями, оставшись без гонораров и пробавляясь бенешевскими и прочими субсидиями, профессор Павел Николаевич Милюков стал промышлять теориями эволюции советской власти: если для ниспровержения этой власти профессору Милюкову никто не дал ни копейки, нужно было сосать эти копейки из эволюции, национализации и нормализации ленинско-сталинской власти. Деньгами профессора Милюкова снабжало, в частности, то чешское правительство, которое продало адмирала Колчака и предало генерала Тухачевского: Бенеш, как известно, был самым истинным другом России. И помимо всего прочего, профессор Милюков, зовя русскую эмиграцию к возвращению в СССР, сам туда, конечно, не поехал”.

Разве могли такие люди организовать что-либо путное? Царя за них свергли генералы, они генералов обманули, то есть **ТАК** победили, по-мелкому. В конечном счёте февралю даже на бесов не очень-то потянули — бесы остались чем-то метафизическим, разгулявшимся над Россией, а эти — так, бесенята с насморком. А всю их затею задолго до февраля (1917 и того, что последовало с марта по октябрь, то есть в Мартобре, как выразился бы известный герой Н. Гоголя) описал А. С. Пушкин:

*Беденький бес  
Под кобылу подлез,*

*Понатужился,  
Понапружился,  
Приподнял кобылу, два шага шагнул.  
На третьем упал, ножки протянул.*

К сожалению, могло получиться так, что вместе с февралистским “беденьким бесом” могла протянуть ноги Россия, ведь феврализм своим результатом имел бы не что иное, как институционализацию позднесамодержавной России, но только без самодержавия: орлы – без корон, капитал – без государства, иными словами, труба пониже, да дым пожиже. Февраль обеспечил России – с марта по октябрь – девять сумасшедших месяцев Мартобря, это безумие прекратили большевики – опять же не без помощи военных и военной разведки, но это был принципиально иной по направленности военный заговор, чем в феврале 1917 года. России пришлось нырнуть в котёл с кипящей водой (гражданская война), чтобы вынырнуть оттуда “добрым молодцем СССР”. А старый строй (в том числе в его разлагающейся февралистской версии) – “бух в котёл – и там сварился!”. Вместе с остатками февралистов и белой гвардией.

### **Параллели между реальностями и уроки Февраля**

*Эта ночь проходит не напрасно.  
В снеговом, буранящем бреду:  
Ветры раскалённые бредут,  
Город снова ждёт прихода красных.*

В. Луговской.

Каковы уроки февраля 1917 года “добрым молодцам”? Вообще, как известно, история ничему не учит, только наказывает – по принципу “ГПУ справку не давало. ГПУ срок давало”. И всё же кое-какие выводы можно сделать и кое-какие параллели – между февралём 1917-го и августом 1991 года – можно провести.

Сначала о параллелях. Одна внешняя черта бросается в глаза сразу: февралисты поменяли герб России – сняли с орлов корону, получив вместо гордых царственных орлов нечто куриноподобное. Ельциноиды, когда меняли советский герб, воспроизвели российский герб именно в февралистском варианте; это потом, через некоторое время орлам вернули короны.

Есть определённое сходство между февралистами и ельциноидами и по качеству человеческого материала: третий, четвёртый, пятый разряд. Впрочем, нельзя не отметить, что как бы скептически мы ни относились к милликовым-набоковым и прочим, люди эти были намного более образованными, чем гайдари-чубайсо-бурбулисы, которые в массе своей суть не кто иные как социокультурные маргиналы позднесоветского общества, продукты его разложения с комплексом “из грязи в князи”. И уж точно февралистская буржуазия была более дальновидной и менее жлобско-жадной, чем нынешняя: после Февральского переворота была введена прогрессивная шкала налога на физических лиц. В нынешней РФ все попытки ввести такую шкалу блокируются “слугами народа” – слугами квазибуржуазного народа. Что же касается готовности служить Западу, то здесь февралисты и ельциноиды сходятся: и те и другие по своему психотипу – приказчики.

Ельциноидам пришлось легче, чем февралистам: последние жили в аграрной, плохо контролируемой ими России, с которой они ничего не могли поделаться. Россия 1990-х – городская, легче контролируемая; горожанин значительно больше зависит от власти, чем живущий на земле и с землёй крестьянин. Да и помощь коллективного Запада ельциноидам была несравнимо больше, чем февралистам и “временным”, которым русская история сказала: “Слазь!”. Впрочем, постсоветскую модель российская людская масса сумела худо-бедно обволочь криминальной “слизью” и таким образом адаптироваться к ней. Однако в последнее десятилетие по мере развития кризиса этой модели, злокачественного роста социального неравенства, нарастания экономического кризиса – проедено советское наследие, значительная часть населения отторгает себя от “пирамиды власти”, живёт сама по себе.



По оценке специалистов, в 2016 году в России стало всё больше ощущаться отпадение общества (читай: народа) от государства, от власти. “Страна неумолимо переходит в совершенно новую реальность, где народ и государство обоюдно стараются как можно меньше соприкасаться”. Это проявилось и в выборах в Госдуму (самая низкая явка с 1993 года); и в развитии “гаражной” и “промышленной” экономик, которые действуют вне законодательного и налогового пространства и в которые, по разным оценкам, вовлечено 17 млн до 30 млн человек; и в растущей апатии граждан.

По сути — это адаптация к стагнации и кризису экспортно-сырьевой модели, при которой, как и в России начала XX в., богатые богатеют, а бедные беднеют. Так же, как и Россия первых 15 лет XX в., РФ растрчивает историческое время, люди чувствуют это, и апатия/разочарование есть первоначально относительно безобидная психологическая реакция с весьма небезобидным потенциалом — достаточно вспомнить, чем закончилось в начале XX в. отчуждение народа от власти для самодержавия и февралистов.

Кроме отмечаемого социологическими опросами роста разочарования, на которое уже не влияют ни “крымнаш”, ни сирийские дела, зафиксирован ещё один знак беды — широкое распространение суицидных сообществ. Рост преступности и особенно самоубийств — показатель упреждающего отражения обществом надвигающейся катастрофы. Напомню, что в начале XX века среди молодёжи возникло “увлечение”, если можно его так назвать, самоубийствами, вплоть до возникновения клубов самоубийц. Разница с сегодняшним днём в меньшей массовости и отсутствии интернета.

Всё это происходит на фоне невесёлых прогнозов, которые дают официальные структуры РФ. Так, 19 октября 2016 года информагентство “Блумберг” на основе данных, представленных Центральным банком РФ, сообщило, что в стране падают обороты розничной торговли (21 месяц подряд), исчезает средний класс, растёт материальное неравенство.

20 октября был опубликован официальный прогноз Министерства экономического развития, согласно которому у экономики РФ впереди долгие годы стагнации с темпом роста 1,7% — 2,6%, то есть в 1,5 раза меньше, чем в среднем по миру; то есть речь идёт о снижающейся динамике роста.

21 октября 2016 года Фонд независимого мониторинга “Здоровье” зафиксировал в своём докладе рост смертности как прямой результат так называемой реформы здравоохранения; число коек в больницах уменьшается (в 2013–2015 гг. на 100 тыс., причём за 2015 г. — 41 тыс.), число госпитализируемых снижается (31,2 млн в 2014 г.; 30,4 млн — в 2015 г.), а внутрибольничная летальность растёт (в 2014 г. — 495 тыс., в 2015 г. — 519 тыс.).

Всё это, естественно, бьёт по наиболее бедным слоям населения, которых у нас, по самым оптимистическим подсчётам, — 70%. А это значит, что сокращение срока жизни и рост смертности бьют уже по населению страны в целом. Иными словами, экспортно-сырьевая модель в экономике и кланово-олигархическая социальная модель квазикапитализма не просто исчерпали себя, а становятся угрозой физического существования российской популяции в целом, являются чем-то несовместимым с существованием России и её народов, прежде всего русского! И всё это на фоне растущих внешних угроз, с одной стороны, и запредельного роста социального неравенства, с другой.

Согласно данным Credit Suisse Research Institute, 10% самых богатых россиян владеет 89% благосостояния российских домохозяйств; в США “десятка” владеет 77,6%; в Китае — 73,2%; в Германии — 64,9%. Иными словами, РФ — лидер по концентрации богатства у меньшинства населения, то есть лидер по социальному неравенству. И это при том, что уровень качественного развития и количественные объёмы экономики РФ не идут ни в какое сравнение с США, Китаем и даже ФРГ.

Согласно другим подсчётам, в РФ 1% населения владеет 71% активов; в Африке средний показатель — 44%, в Японии — 17%; средний показатель по миру — 46%.

В РФ — 96 долларовых миллиардеров, в США — 582, в “коммунистическом” Китае — 244, в ФРГ — 84. Кроме того, в РФ 105 тыс. долларовых миллионеров (по другим данным — 79 тыс.); 105 тыс. человек из РФ входят в 1% богатейших людей мира; 1 тыс. человек — в 10% богатейших людей мира.

По данным New World Wealth на август — сентябрь 2016 г., в РФ почти 2/3 благосостояния находились в руках долларовых миллиардеров, более

1/4 приходится на всё остальное население, то есть сотня тысяч владеет теми самыми 89% национального благосостояния, а 140 (или 130 по другим данным) миллионов – 11%.

На одной стороне – богатство, виллы, яхты, счета в банках, на другой – бедность, безнадёга, износ основных фондов промышленности – 53%, жилищно-коммунальной сферы – на 70–80%; падение доходов граждан – на 20% (при исключении из статистики богатых слоёв эта цифра составит 50%), недофинансирование здравоохранения, образования, науки (один пример: в 2015 г. сгорело здание крупнейшей научно-гуманитарной библиотеки страны ИНИОН, прошло два года – к восстановлению даже близко не приступили, зато дворцы богачей в стране и за рубежом возводятся стремительно; про “Ельцин-центр” уже и не говорю: конечно, памятник разрушителю СССР и губителю России важнее, чем библиотека для многих тысяч учёных, аспирантов, студентов).

В нынешней России, где социальная справедливость до сих пор, даже в социально и морально весьма и весьма нездоровом обществе, остаётся ценностью, население никогда не примет результатов грабежа 1990-х годов, сколько бы времени ни прошло. В то же время при этом, согласно опросам, 85% населения не верят в восстановление социальной справедливости и полагают, что социальное неравенство будет возрастать. Это очень плохой знак: люди не ждут ничего хорошего от власти, от системы.

На последнем Давосском форуме мировая верхушка озаботилась – почти до панического состояния – ростом социального неравенства в мире. Буржуины понимают, чем это чревато, а ведь в Заморском Буржуинстве ситуация в этом плане лучше, чем в РФ, вступающей, кстати, в год столетия Октябрьской революции. Сегодня, как и в 1917 году, русская история подошла к развилке. Выбор всё тот же – между Февралём и Октябрём. Октябрь был необходимым исправлением Февраля, если угодно – контрольной работой над ошибками. Но лучше без таких ошибок и без таких контрольных работ, лучше усваивать уроки адекватно. Разумеется, если есть чем усваивать.

Напоследок – коротко об уроках Февраля. Первый урок. Олигархические режимы, будь то позднесамодержавный, позднесоветский или постсоветский (в его неолиберальном виде), нежизнеспособны. Будучи результатом разложения, они не имеют перспективы, их монолитность – видимость. “Стена, да гнилая, тхни – и развалится” – слова, вроде бы сказанные молодым Ульяновым жандарму, точно отражают ситуацию кланово-олигархических капиталистических режимов. Последние, если они охвачены только двумя “пламенными страстями” – сохранением власти и увеличением личного богатства “персонала”, по сути являются режимами-могильщиками самих себя; их единственный страх – социальный взрыв, которого они стремятся избежать с помощью “дворцовых манипуляций”, но нередко именно это и приближает взрыв. Или просто распад, в результате чего социальная опухоль гибнет вместе с разрушенным ею социальным организмом (это как в анекдоте про лягушку и скорпиона – “да, вот такое я дерьмо”).

Второй урок. Верхушка олигархических режимов всегда готова откупиться от внутренних протестов и от внешнего противника головой главного начальника. История Николая II и в меньшей степени Горбачёва (всё-таки жив остался, пиццу рекламирует, явно не бедствует) свидетельствует об этом со всей ясностью; поражение Х. Клинтон, уверен, избавило нас от лицемерия специфической картинке “заговор бояр против царя” в духе свержения Василия Шуйского в 1610 году, а ведь Василий был боярским потаковником – не помогло; в острой ситуации – как в “Мухе-Цокотухе”: “Пропадай-погибай, именинница!”, особенно когда речь идёт о спасении своих шкур.

Третий урок. Кланово-олигархическая власть есть власть по определению самоизолирующаяся от общества и нарастающе безответственная по отношению к нему. Отсюда – её растущая нелегитимность в глазах населения (достаточно проследить, как менялось отношение народа к власти вообще и к личности царя, в частности, с 1905 по 1917 год). Когда истончение легитимности достигает граничного уровня, то есть когда власть (её идея и легитимность) скукоживаются до физически одного лица, достаточно толчка (чаще внешнего), и власть вместе с лицом (лицо вместе с властью, власть, сдвываясь до одного, отдельно взятого лица) летит в пропасть. Для Николая II этот толчок обеспечила война, внешнее давление вкупе с внутренним.

Четвёртый урок. По логике устройства мировой кланово-олигархической сети, будь то начало XX в. или XXI в., первыми в случае кризиса вылетают её слабые звенья. Во-первых, у них меньше социального жирка, которым можно умиротворить низы; во-вторых, в силу особо паразитического и эксплуататорского характера они порождают значительно большее неравенство, чем богатые страны (“сильные звенья”), а потому вырабатывают больше социального динамита; в-третьих, именно их приносят в жертву сильные мира сего, сбрасывая на “слабаков” кризис и таким образом отодвигая его от себя.

Пятый урок. Олигархические режимы, будь то режим Николая II или свергнувшие его февралисты (“февральский” режим, как и позднесамодержавный, был кланово-олигархическим, только без царя – в том числе и “без царя в голове”), не способны эффективно противостоять внешнему давлению. Капиталы дороже родины, Великобритания (в 1917 г.) или Америка (в 2017 г.) ближе, чем собственная (“эта”) страна и её народ. Потому-то народ и вышиб февралистов; подобные действия народа – вопрос времени и долготерпения. И терпение это не бесконечно, особенно в контексте мировых сдвигов, закрывающих неолиберальный проект. Ещё раз напомню, что на последнем Давосском форуме буржуины и их обслуга сильно заволновались по поводу социального неравенства. Не само неравенство их волнует, а угроза от тех сил, которые оно лишает перспектив, сталкивает в социальную, а то и в физическую смерть. А ведь Баррингтон Мур когда-то точно заметил: великие революции рождаются не из победного крика восходящих классов, а из предсмертного рёва тех классов, над которыми вот-вот сомкнутся волны прогресса – буржуазного. Больше всего буржуины боятся тех сил, которые артикулируют социальный гнев, в результате чего “тезис” “Ешь ананасы, рябчиков жуй, / День твой последний приходит, буржуй” может стать глобальной реальностью, захватив Россию, и в мировом масштабе разыграть русскую схему “февраль – октябрь 1917 года”, ведь за “февралём” приходит “октябрь”, даже если разрыв между ними – “Мартобрь” – растягивается на десятилетия. Социальные законы нельзя обмануть, а исторический финал нам известен. Как пелось в одной советской песне: “И юный Октябрь впереди!”.

В этом плане очень интересно, каково будет официальное “отмечание” столетия Октябрьской революции. Опять потоки грязи, чернухи и порнухи (из жизни царских особ и вождей революции)? Нельзя не согласиться с заместителем председателя комитета Госдумы по образованию О. Н. Смолиным, который в интервью еженедельнику “Аргументы недели” (2017, № 4) на вопрос “Почему коммунистов не пустили в оргкомитет по празднованию столетия Октябрьской революции?” ответил: “Видимо, потому что мероприятия планируются по принципу “Не дай бог!”. Олигархический правящий класс революции боится просто на генетическом уровне”. Впрочем, классовый страх, даже оправданный, ещё никогда никого не спасал от действия законов Истории. Судьба позднего самодержавия и “февралистов” – весьма полезная информация для размышления.

Разумеется, если есть кому и чем размышлять.

ИГОРЬ КАСАТОНОВ

адмирал

## “ОТСТАИВАЙТЕ ЖЕ СЕВАСТОПОЛЬ...”

8 декабря 1991 года в Беловежской пуще руководители России, Украины и Белоруссии подписали Соглашение о создании Содружества независимых государств. Через четыре дня лидеры республик Средней Азии и Казахстана выразили готовность стать его равноправными членами. 21 декабря главы 11 независимых государств в Алма-Ате подписали декларацию, в которой было заявлено: “С образованием СНГ СССР прекращает своё существование”. Этому предшествовало совещание в союзном Министерстве обороны, на котором министры обороны суверенных государств, ещё составлявших СССР, договорились о доле участия в формировании военного бюджета страны, хотя уже тогда Украина твёрдо заявила о намерении создавать свою армию. Участники совещания не пришли к единому взгляду по вопросам обороны и безопасности. Ясность в вопрос не внесла и встреча глав государств Содружества, прошедшая 30 декабря в Минске. Принципиальным решением, принятым на ней, явилось лишь то, что ВМФ был отнесён к стратегическим силам, решающим задачи в интересах всего СНГ. Однако практически сразу Украина интерпретировала достигнутое решение в свою пользу, объявив, что всё находящееся на её территории принадлежит только ей, в том числе и Черноморский флот (ЧФ).

И дело не только в “плохих украинцах”, а в том, что практически весь ЧФ со своей главной базой в Севастополе за очень малым исключением оказался на её территории и в её правовом поле, как, впрочем, и три военных округа. Списал флот со своих счетов и Генштаб в Москве, сняв его со всех видов довольствия и передав Украине флотских строителей, а также части центрального подчинения. По взаимной договорённости президентов, Украине были переданы территориальные органы КГБ, что обрезаало для России информацию с мест, так как эти органы сразу же стали служить новым хозяевам.

Российская сторона ничего не оспаривала: судьба флота, как и трёх округов, решалась таким образом, что они становились украинскими. Это определили решения в Беловежской пуще — границы суверенных государств

---

*КАСАТОНОВ Игорь Владимирович родился в 1939 году во Владивостоке. Дед — А. С. Касатонов — полный Георгиевский кавалер. Отец — В. А. Касатонов — адмирал флота СССР. Окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. П. С. Нахимова и Военную академию Генерального штаба ВС им. К. Е. Ворошилова. Адмирал. С сентября 1991 года по сентябрь 1992 года — командующий Черноморским флотом. С сентября 1992 года — Первый заместитель Главнокомандующего ВМФ России.*

располагались по административным границам республик, то есть Черноморский флот “уплывает” за границу. Чтобы официально это зафиксировать, требовалось одно – принять присягу на верность Украине.

Выходило, что Россия, имевшая протяжённую черноморскую акваторию, почти полностью теряла свой Черноморский флот. Кто-то должен был сказать командующему флотом, что делать в этой ситуации. По Конституции СССР, а другой тогда не существовало, Верховный главнокомандующий или министр обороны. Однако никто ничего не говорил, хотя время стремительно сжималось, и не с кем было посоветоваться. Указания же вроде “соблюдать спокойствие” или “не поддаваться на провокации” в этих условиях не действовали ввиду своей неактуальности.

События развивались так быстро, что обычно улыбающийся министр обороны СНГ маршал авиации Е. Шапошников улыбаться перестал. 11 декабря в Киеве было объявлено, что ЧФ – украинский. 30 декабря 1991 года после Минской встречи руководителей стран СНГ, где по Черноморскому флоту не было принято никакого решения, единственное, что сказал мне министр, так это: “Держись, Игорь!” – а фактически оставил меня один на один с внезапно возникшим и утверждающим себя государством, законы которого уже входили в полную силу.

Как командующий флотом я доложил в Москву обо всех действиях Украины, но опять не получил никаких указаний. В этих условиях, опираясь на поддержку большинства сослуживцев, которым ранее изложил свою позицию, принял самостоятельное решение: руководствуясь интересами России, воинским долгом, ответственностью перед севастопольцами и подчинёнными, не выполнять новые законы Украины, директивы её президента, приказы её Министерства обороны в части перевода Черноморского флота под её юрисдикцию.

Безусловно, в украинском Минобороны служили не новички-экспериментаторы, а опытные люди, рассчитавшие свои действия далеко вперёд, опиравшиеся на деятельность спецслужб, националистически ориентированный госаппарат и СМИ. Был приведён в действие огромный механизм, который на тот момент не сработал именно потому, что с нашей стороны он столкнулся с сопротивлением.

Это сопротивление, когда уже не только в Киеве, но и в Вашингтоне списали со счёта ЧФ как флот России, меняло военно-стратегическую ситуацию вспять. Россия опять обретала силу не только на юго-западном (балканском) направлении, но и на кавказском. Эта информация через СМИ сразу же дошла до правительств заинтересованных государств и общественного мнения.

У нас же возникало много вопросов. Например: почему Российское государство не подкрепит наши действия документом, например, президентским указом, нотой МИДа, директивой министра обороны или хотя бы начальника Генштаба? Ведь аналогичные документы со стороны Украины были изданы и озвучены. Анализ принятых к тому времени соглашений по СНГ свидетельствовал, что алма-атинские и минские документы с точки зрения интересов России были слабо проработаны юридически, в них отсутствовали обязывающие межгосударственные гарантии, что позволяло Украине трактовать их положения на свой лад.

Оказавшись в правовом поле Украины, я так и не получил от России поддержки – ни политической, ни законодательной, ни дипломатической, ни ведомственной. Москва же поддалась на иллюзорную идею: государства суверенные, а армия единая, и пять месяцев, до 5 мая 1992 года, ею руководствовалась. На то время у нас не было концепции национальной безопасности, и даже не предполагалось, что место конфликта идеологий займёт конфликт интересов. Более того, в России не была налажена система взаимодействия госструктур и госинститутов, поэтому чиновники даже не удосуживались отвечать ни на одну мою тревожную телеграмму. Обстановку усугубляло и то, что в Киеве, Крыму, Севастополе и... в Москве определённые круги предвкушали беспрецедентный переход собственности, в том числе разветвлённой инфраструктуры ЧФ.

Срок принятия присяги был назначен на 30 декабря, затем перенесён на 3 января 1992 года. До этой даты Россия просто обязана была принять решение по флоту – самостоятельное или совместно с Украиной, но необходим был документ. В Украине законодательные акты по ЧФ принимались практически без промедления, часто поспешно. Все госструктуры работали в этом направлении – правительство, Верховный Совет, Минобороны, структуры безопасности, Генеральная прокуратура, судебные органы. Все.

Будучи брошенным вместе с флотом на произвол судьбы, я выделил для себя следующие неотложные вопросы:

1. Всеми средствами убедить президента России принять в отношении флота новое политическое решение, выдержанное в духе заявления: “Черноморский флот – российский!”

2. Продумать меры по выводу ЧФ из правового поля Украины и в этот переходный период удерживать флот от принятия украинской присяги и способных возникнуть в связи с этим центробежных процессов.

3. Наладить переговоры России и Украины на высоком уровне для выработки договорно-правовой базы по решению судьбы флота.

4. Обеспечивать боеготовность флота, его целостность как военного организма, представляющего ценность для России.

И, не скрою, думал о том, как уцелеть самому, поскольку “игры” с государством в одиночку всегда чреватые.

Наступило 3 января 1992 года. В этот день все в Москве словно попрятались, никто не снимал трубку телефона, а если кто-то из подчинённых и делал это, то не мог вразумительно объяснить, где начальство. Между тем счёт времени уже шёл на часы, и могла наступить точка невозврата. Реализуя решения Верховного Совета Украины, в этот день вся огромная 700-тысячная группировка советских войск на Украине начала принимать присягу. Это касалось и ЧФ.

Военные округа сразу же “легли” под присягу. Командующий войсками Прикарпатского ВО В. В. Скоков был вызван в Киев. Одновременно из Киева во Львов вылетел генерал ему на замену с текстом украинской присяги и Указом президента Украины о назначении нового командующего. Скоков в воздухе развернул самолёт обратно во Львов, но там его уже как иностранца не пустили в штаб округа. Командующий войсками Киевского ВО В. С. Чечеватов – умный, талантливый руководитель – был скомпрометирован, и его, по сути, предал Военный совет округа, единодушно приняв присягу. Что же касается командующего войсками Одесского военного округа И. Ф. Морозова, то он принял условия украинской стороны. Без возражений украинскую присягу согласились принять все воздушные армии (5-я, 14-я и 37-я), а также подчинённые Москве напрямую дивизии ВГК стратегического назначения и дивизии ВТА. Украине отошло по совокупности более 2 тысяч самолётов, в том числе и 20 Ту-160, 10 из которых через 13 лет за 2 миллиарда рублей каждый будут проданы России. Про силы и части ПВО, железнодорожных, внутренних войск, МЧС и ГО, СПРН, пограничников и говорить нечего.

Очень интенсивно этот процесс проходил и в Крыму. Все СМИ Украины, военная печать начали мощную пропагандистскую кампанию в пользу присяги. В полной мере включились в неё военный трибунал, прокуратура, Служба безопасности Украины (СБУ), Минобороны Украины и т. д. По моему городскому телефону, который должен знать лишь строго ограниченный круг лиц, постоянно шли анонимные звонки: “Когда ЧФ начнёт принимать присягу? Или...” – далее шли угрозы. С беспокойством звонили командиры военных баз в Евпатории и Феодосии, командир 126-й мотострелковой дивизии из Симферополя, командир 14-й дивизии подводных лодок из Балаклавы, комбриги из Измаила, Николаева, комдивы из Очакова, Керчи, Черноморского. В Поти происходил схожий “грузинский беспредел”. У всех обращавшихся были вопросы: “Что предпринимать? Какие приказания из Москвы?” А приказаний не было никаких – полный коллапс власти.

Переприсягание обеспечивали депутаты ВС Украины, руководители местных органов власти, представители Минобороны, Союза офицеров Украины и СБУ, быстро сформировавшийся националистический идеологический аппарат при участии милиции, ОМОНа и, естественно, СМИ. Всё это оказывало на офицеров и их семьи громадное психологическое давление, устоять перед которым было сложно, тем более что официальная российская сторона молчала.

Никто никогда (ни тогда, ни позже) задач по сохранению флота мне не ставил, ни на что не подбивал, наград не сулил, взаимодействия не предлагал. Меня вообще никто ни к чему не призывал. Я просто и представить себе не мог, что у России не будет Черноморского флота, оваянного славой, с его вековой историей, традициями. Россия оказалась на пороге очередной национальной трагедии и унижения. Напомню, что во время гражданской войны ни бывшие офицеры Императорского флота, ни революционные матросы не допустили подъёма на кораблях украинских флагов.

Необходимо было решение, и я его принял, объявив 4 января, что ЧФ – российский, что он подчиняется Е. Шапошникову, командующему ВМФ В. Чернавину, а по его судьбе необходимо политическое решение, для достижения которого мы готовы взаимодействовать с Минобороны Украины. моряки выполнили мой приказ: “Не принимать украинскую присягу”. Первой об этом поведала миру американская “Нью-Йорк таймс”. Начиная с этого момента, я стал получать из России сотни и даже тысячи телеграмм поддержки от простых людей, живущих в разных её уголках, но ни одной – от российских руководителей.

В одиночку вынужден был продолжать защищать части и корабли флота от их захвата силами Минобороны Украины, а также от действий украинских спецслужб и местных властей, постоянно получавших указания давить на нас. К концу января, согласно несложным подсчётам, уже 18 украинских государственных структур работали против нас. По всем этим эпизодам я делал протестные заявления. Сколько их было! Тем не менее, я с пониманием относился и к тем, кто изъявлял желание принять украинскую присягу и служить в ВС Украины. А где им ещё оставалось служить? Всех их я не мог обеспечить работой, деньгами и довольствием.

Руководству России продолжали идти телеграммы, так как за летние месяцы в отношении нас было совершено несколько серьёзных провокаций, связанных с угоном корабля, захватом комендатуры Севастополя и т. д. В таком противостоянии было важно если не продемонстрировать, то, по крайней мере, обозначить офицерам и всем моим сослуживцам российское участие в наших делах. Я высылал представления к очередным офицерским и адмиральским званиям, подчас на ступень выше занимаемой должности, награждал офицеров российскими орденами, производил перемещения офицеров-черноморцев внутри всего ВМФ, участвовал в учениях в России, летал на Военные коллегии МО СНГ, Военные советы ВМФ, приглашал на флот депутатов Верховного Совета России. Мы несколько не изменили систему подготовки флота и его деятельности: обеспечивались циклы БП, подведения итогов, соблюдался график отчётности, как и ранее, что придавало людям уверенность. И надо сказать, что главком ВМФ адмирал флота В. Н. Чернавин очень помогал в этих вопросах. И встречи, встречи, встречи, чтобы заставить Б. Н. Ельцина принять нужное решение. Было непросто.

В общении с товарищами по службе, населением я строго следовал принципам прозрачности, гласности, аргументированности моей позиции. На этих же принципах вёл диалог с украинской стороной и средствами массовой информации, делал многое иное, что сейчас в военных кругах нередко называют информационной войной. Тогда это была война нервов. Одновременно старался по возможности решать все социальные вопросы моряков, подавая личный пример в служебных делах.

В последовавшие за моим приказом дни, то есть после 4 января 1992 года, офицерский состав флота проявил высочайшую мудрость, выдержку, интеллект, государственное понимание важности сохранения ЧФ для России. Офицеры полностью контролировали обстановку на кораблях и в частях, пресекали любые экстремистские действия националистических элементов, во многих моментах противостояли Службе безопасности Украины, которая изо всех сил пыталась переломить ситуацию в свою пользу. В эти трудные дни я много ездил по частям флота, выступал перед моряками, напоминал героическую историю Краснознамённого Черноморского флота. Никто во время таких моих выступлений не решался вступить со мной в публичную схватку. Я понимал: слабó!

9 января 1992 года я выступил в Верховном Совете Украины в явно недружественной мне аудитории. Во время выступления завязался спор с президентом Украины о флоте. Этот спор заставил меня ещё настойчивее ставить перед маршалом авиации Е. Шапошниковым вопрос о необходимости моей встречи с Б. Ельциным.

17 января 1992 года мне удалось изложить видение ситуации в Кремлёвском дворце съездов в присутствии 6 тысяч российских генералов, адмиралов и офицеров. Помню, когда я шёл к трибуне, все встали и приветствовали стоя.

В конечном итоге, старания мои увенчались успехом. 29 января 1992 года в Новороссийске наша встреча с Б. Ельциным состоялась. На ней присутствовали Е. Шапошников и В. Чернавин. Выслушав меня, президент согласился с моими доводами, но в последующие дни в плане нашей юридической поддержки ничего сделано не было. Когда информация о нашей встрече в Новороссийске дошла до Л. Кравчука, он тут же связался со своим российским

коллегой и предложил ему убрать меня с Черноморского флота. Б. Ельцин это требование не удовлетворил.

Несмотря на все принимавшиеся меры, угроза потери флота сохранялась. Прошёл февраль – ситуация если и менялась, то только в худшую сторону; шла борьба в одиночку, но при полной поддержке моей позиции личным составом флота. Март, апрель – то же самое. Правда, в апреле обозначились первые робкие попытки переговоров, позже сорванные украинской стороной.

Понимая, что тема флота для государственных структур Украины может быть всё же снята, я решил эту тему для Украины “утяжелить”, а именно поднять вопрос законности передачи Крымской области в состав Украинской ССР. Для этого 6 января я позвонил доктору военно-морских наук, профессору, лауреату Государственной премии России вице-адмиралу К. Сталбо, который с большой активностью включился в работу.

20 мая 1992 года я был приглашён в Верховный Совет РФ на беседу к председателю ВС Р. Хасбулатову. В ходе обстоятельного разговора удалось убедить его оказать поддержку личному составу флота, который стоит и будет стоять за Россию. Забегая вперёд, скажу, что в дальнейшем спикер парламента не раз поддерживал меня и словом, и делом. На следующий день я принял участие в заседании ВС РФ на тему “О незаконности акта 1954 года о передаче Крымской области в состав Украины”. В качестве основного докладчика выступил депутат, капитан 1 ранга Е. Пудовкин. Хотя эта тема была не совсем по ЧФ, тем не менее, ещё раз депутаты бурно приветствовали меня, а акт почти единогласным решением признали незаконным.

Постепенно Минобороны Украины, очевидно, разуверившись в старой тактике, нарабатывало новые формы по захвату флота, предполагавшие мой арест с последующим выдворением, принятие санкций в отношении членов моей семьи и даже штурм штаба флота. Пришлось предпринять немало контрмер, чтобы эти планы не реализовались, а ситуация не вышла из-под контроля. До самого своего отъезда из Севастополя я держал флот в руках, сохранив всю его инфраструктуру, командные пункты, штабы и... перспективу. По-прежнему у нас шли ежедневные встречи, в ходе которых анализировалась ситуация, потоком ехали гонцы из Киева... и никого из Москвы.

В конце марта В. Чернавин попробовал помочь – попытался сформулировать официальную российскую позицию по ЧФ, но тут же получил жёсткую отповедь от Л. Кравчука, обвинившего адмирала в попытках вмешательства во внутренние дела Украины. Украинский президент также понимал, что затычка времени не в его пользу, что в России руководители могут пробудиться от летаргии и начать действовать так же напористо, как его сторона. Осознав неэффективность действий всех своих структур по приватизации флота в условиях бездеятельности на этом поприще соответствующих российских госструктур, он сменил тактику и 5 апреля 1992 года издал Указ о взятии ЧФ под свою юрисдикцию. Указ готовился заранее, поскольку уже в тот же день в Севастополь прибыла огромная делегация украинских госчиновников и военных в сопровождении двух отрядов спецназа. Для встречи с этой огромной делегацией меня пригласили в администрацию города. Представители Киева начали настойчиво и дружно уговаривать передать флот Украине. Я занял твёрдую позицию и заявил личному представителю украинского президента В. Дурдинцу, что не в моей компетенции вести переговоры о передаче флота. Он спросил, кто правомочен. Я назвал Чернавина.

Тут же украинская команда дала телеграмму Чернавину: прибыть в Севастополь. По прибытии первое, что потребовал от него Дурдинец, – это убрать Касатонова. Российское руководство не то чтобы хотело во что бы то ни стало видеть меня на посту командующего ЧФ, но оно не могло принять такой ультиматум от В. Дурдинца. В Москве сделали определённую паузу, а Чернавин занялся подготовкой соответствующего указа Б. Ельцина. 7 апреля вышел Указ президента России о переходе Черноморского флота под юрисдикцию России. Словом, указ на указ.

Не могу не сказать с иронией, что выбор указа, который надо было выполнять, был за мной. Но через сутки, одумавшись, оба президента отменили свои указы, договорившись о моратории, чем крайне разочаровали украинскую делегацию в Севастополе. С принятием моратория все её члены разъехались, а я опять остался один на один со всем украинским национализмом.

Тем не менее, принятие моратория привело и к определённым положительным сдвигам: после стычек и столкновений начал налаживаться переговорный



процесс. Для участия в переговорах была сформирована делегация России – сначала во главе с выдающимся дипломатом Ю. В. Дубининым, затем с Ю. Ф. Яровым, заместителем председателя Верховного Совета РФ. Но из-за известных условностей переговорный процесс шёл крайне трудно и неповоротливо. И только 23 июня, после включения в него представителей общественности и госструктур России, в Дагомысе руководители России и Украины подписали Соглашение между Российской Федерацией и Украиной о дальнейшем развитии межгосударственных отношений. В статье 14 президенты двух стран согласились на договорной основе использовать существующую систему базирования Черноморского флота и материально-техническое обеспечение.

3 августа 1992 года в Ялте Б. Ельцин и Л. Кравчук, министры обороны, иностранных дел, госимущества и других профильных министерств и ведомств подписали Соглашение о принципах формирования ВМФ России и ВМС Украины на базе ЧФ бывшего СССР. Тем самым президент России гарантировал обеспечение гражданских, политических, экономических и социальных прав военнослужащим российского ЧФ. Эти два соглашения и стали основой для решения его судьбы.

Теперь все действия, касающиеся флота, оказались в рамках переговоров договаривающихся сторон. Проблема ЧФ, наконец, вышла на президентский уровень, все эти процессы стали легитимными и государственными. Для меня было особенно важно, что российские моряки-черноморцы с этого момента стали юридически защищёнными.

Далее в ходе переговорного процесса решалась судьба отдельных кораблей и частей ЧФ, но это уже составляло предмет искусства переговорщиков, их умения использовать свои преимущества, достигать компромисса и проявлять добрую волю. Таким образом, Черноморский флот – единственный из 34 высших объединений и соединений ВС СССР, дислоцированных на Украине, – остался за Россией со своей славной историей, знамёнами, военноморскими флагами, незапятнанный переприсяганием на верность новым хозяевам. И в этом были мои немалые усилия, чем очень горжусь. Однако с началом переговорного процесса Украина не отказалась – вне его рамок – от попыток самостоятельного захвата отдельных частей флота. До убытия из Севастополя на новое место службы в Москве я отстаивал два высших военноморских училища, в которых обучалось около 3 тысяч курсантов. Это была мощная российская военная группировка. В ответ на провокации украинских военных я подготовил и провёл широкий праздник – День Военно-морского флота РФ с демонстрацией максимального количества российских и военноморских флагов, чему предшествовали три генеральные репетиции. Это было сделано так, чтобы все севастопольцы, все россияне видели, что Черноморский флот, несмотря ни на что, остался верным России.

Одновременно приходилось решать проблемы ЧФ вне Крыма – обеспечивать эвакуацию беженцев с Кавказа (40 305 человек) в рамках операции под названием “Кавказ”, принимать участие в организации встречи Ельцин–Шеварднадзе–Арджинба и т. д.

Согласно Ялтинскому соглашению, приказом министра обороны Российской Федерации от 30 сентября я был всё-таки переведён для дальнейшего прохождения службы в Москву на должность первого заместителя главнокомандующего ВМФ России. В Москву прибыл 8 декабря 1992 года с чувством выполненного долга в качестве командующего Черноморским флотом. Дальше все командующие ЧФ стали назначаться президентом России с согласия президента Украины, при этом они находились под защитой президента РФ, а все их последующие действия по защите флота регламентировались рамками заключённых соглашений и договорённостей. Так Дагомыское и Ялтинское соглашения стали действующей основой договорно-правовой базы ЧФ.

Последние 23 года я занимался проблемами флота и Севастополя в закрытом и открытом режимах. При этом многократно убеждался в том, что если бы черноморцы дрогнули и не поддержали меня в 1992 году, то уже давно в Севастополе сидели бы натовцы и продолжали своё “расширение на восток”. Все эти годы в Севастополе и Крыму поддерживался русский дух, уверенность у жителей полуострова, что Россия обязательно вернётся! В Одессе, где Черноморский флот не стоял, этого добиться не удалось.

В завершение хотелось бы вспомнить слова вице-адмирала В. А. Корнилова, погибшего при первой обороне Севастополя (1853–1856 годы): “Отстаивайте же Севастополь...”!

МИХАИЛ ФЁДОРОВ

## “ЧЕМ Я МЕНЕЕ РУССКИЙ, ЧЕМ ВСЕ РУССКИЕ?”

*К 80-летию Евгения Дмитриевича Доги*

1 марта исполнилось 80 лет со дня рождения композитора Евгения Дмитриевича Доги. Я уже давно знаком с Евгением Дмитриевичем. А познакомил меня с ним кинорежиссёр Василий Степанович Панин, музыку к фильмам которого написал Евгений Дога. Это фильмы: “Захочу – полюблю” (1987), где запомнилась игра Веры Сотниковой и Анатолия Васильева; “Господа артисты” (1992) с созвездием любимых актёров – Львом Дуровым, Ниной Руслановой, Михаилом Пуговкиным, Евгением Моргуновым, Романом Филипповым по водевилю Соллогуба; “Несравненная” (1995) с Вячеславом Тихоновым и Любовью Соколовой – фильм об исполнительнице русских романсов Анастасии Вяльцевой; “На заре туманной юности” (1996) – о поэте Алексее Кольцове, где мы увидели Игоря Кашинцева, Льва Дурова, Аристарха Ливанова, Раису Рязанову, и ряд других картин.

Все фильмы насыщены мелодичной, подчас какой-то родниковой музыкой Евгения Дмитриевича Доги, которая придала зрительному ряду фильмов особую прелесть. Я уже не говорю о фильмах Эмиля Лотяну “Табор уходит в небо”, “Мой ласковый и нежный зверь”, танцы и вальсы к которым вошли в нашу кровь и плоть, их часто можно услышать на улицах наших городов, и они считаются почти народными.

Вклад композитора в киноискусство огромен. Им написана музыка более чем к двумстам фильмам. Работая с кинорежиссёрами Эмилем Лотяну, Василием Паниным, Станиславом Говорухиным и многими другими мастерами кино, он обогатил российский кинематограф и обогатился сам. У Доги во всём просматривается эта взаимность обогащения, когда при написании музыки он погружается в ту эпоху, в тот быт, в те отношения людей, в те чувства, которые отражены в киноленте, а вжившись, благодаря своему таланту, он одаривает нас своими музыкальными произведениями, которые настолько точно передают содержание фильма, что порой и голосов героев, и закадрового комментария не надо.

Вот как Евгений Дога отозвался о значении для него Василия Панина на творческом вечере кинорежиссёра в Центральном доме работников искусств 3 апреля 2016 года: “Я хочу сказать, что благодаря Василию Степановичу я окунулся в новый мир. У него именно та лирическая сторона российской культуры – народного творчества, особенно. Благодаря его таланту, его любви к своей родной воронежской земле он сумел народное творчество вознести на уровень высокого художественного мастерства”.

Это сказал человек, который родился в таком же степном, как Воронежское черноземье, Приднестровском краю. Его родное село Мокра лежит на левом, российском берегу Днестра среди дубрав и полей. Дога два раза окончил Кишинёвскую консерваторию, осваивал разные специальности. Первые свои песни, квартеты, балеты, симфонии написал на родине, а потом с головой уходил в жизнь тогда огромного Советского Союза, расширяя своё духовное пространство.

Поэтому Евгений Дмитриевич в одном своём интервью сказал: “Говорят обо мне на радио, на телевидении: “У нас в гостях **молдавский композитор Евгений Дога**”. Но, извините меня, что ж вы обижаете моих коллег. Что ж вы не говорите: у нас в гостях еврейский композитор Оскар Фельцман. Что ж вы его по национальности не обозначаете, а меня обижаете. Нет, я не отставляю своё происхождение куда-то в сторону, я не брезгую им, наоборот, я горжусь. Но я не могу позволить сделать мне обрезание рук, ног, память особенно. Потому я всегда ставлю на место людей, которые этого не понимают. **Я – не молдавский композитор. Я – композитор из Молдавии.** Хотя я могу сказать: я – молдавский композитор (видимо, интервью было в Молдавии), **в России же я – российский композитор.** Это подтверждено изданиями. Извините меня, **а чём я – менее русский, чем все русские?** У меня есть масса произведений, которых у моих коллег из Российской Федерации в помине не существует. Одних только романсов на стихи поэтов Серебряного века – три тетради. Извините, такого не существовало вообще в истории музыки”.

Я восхищался произведениями Евгения Дмитриевича и искал ключи к его творчеству. И со временем их находил. Одним из них оказалась его нелёгкая жизнь. Он появился на свет в крестьянской семье. Его мама стала седьмым ребёнком, когда её отца забрали на Первую мировую войну, и он не вернулся с фронта.

Отец будущего композитора работал в колхозе бригадиром и сутками пропадал в поле. А мать, также трудясь и выполняя высокие нормы в колхозе, находила время на сына и стремилась привить мальчику любовь к жизни, открывала глаза ребёнку на мир прекрасного.

Вот как Дога написал в эссе о маме: “Мама чаще всего говорила молча, ибо в её взгляде было столько энергии, столько боли, столько любви, столько нежности, а иногда и упрёка, сколько не может вместить даже огромная Галактика, потому, что она сама космична и бесконечна”.

Когда мальчику исполнилось семь лет, отца отправили на фронт. Это произошло сразу после того, как приднестровский край освободили от немцев. Он был миномётчиком, из-за маленького роста его посылали в разведку, он дошёл до Венгрии. Евгений Дмитриевич впоследствии нашёл людей, которые видели, как отец погиб. Они рассказывали, что разведчиков засекли в тылу врага и пустили на них мины. От бойцов ничего не осталось...

На руках у двадцатидевятилетней вдовы остался сын Женя и её мать, бабушка мальчика.

А смышлёного паренька тянуло к неизвестному, непонятному. Он стремился во всём разобраться, всё понять. Когда к ним в сельский клуб села Мокра приехал оркестр, Женя следил за тем, как контрабасист двигал палочкой-смычком, потом он подкрадывался к нему и прикасался к инструменту. Не отрывал взгляда от скрипача, орудовавшего смычком. Ему всё казалось в диковинку, магнитом притягивало к себе. Вопрос на вопрос: как рождается звук? Как звуки собираются в мелодию? Вот что захватывало сознание паренька.

После окончания в Мокре семилетней школы он направляется в Кишинёв поступать в музыкальное училище. Удивляется множеству проводов на улицах города. Он спрашивает себя: зачем эта паутина? Мир сельского паренька расширился широкими мощёными улицами, тенистыми парками, высокими домами.

Учась в училище, он два года проходил на занятия босиком. Мама купила ему резиновые сапоги, но их у него своровали. Мальчик не спасовал перед трудностями жизни. Он взахлёб постигал мир музыки. Он и поныне добрым словом вспоминает библиотекаршу училища, которая открыла ему мир книги; учителя игре на виолончели. Видимо, эти люди разглядели дарование в нём незаурядное и всюду помогали.

Наметилась ясность в будущей жизни: Дога играл в местном ансамбле на контрабасе, его даже записывали на радио, приглашали в театр исполнить

партию на виолончели. Он уже мог позволить себе пойти на “толкучку” и купить что-нибудь из модной одежды, как неожиданно проявился паралич левой руки и помешал осуществиться мечте – стать музыкантом-исполнителем.

Женя не сдался. Он упорно пробовал себя в другом. Второй раз поступил в консерваторию, где теперь изучал теорию музыки, осваивал искусство дирижёра. Он находился в постоянном поиске и в непрестанном труде.

И вот песня Жени Доги прозвучала со сцены на концерте. Её исполнила знаменитая впоследствии певица Мария Биешу. Его заметили в мире искусства. Наступает пора, когда сам Эмиль Лотяну заинтересовался молодым композитором и пригласил его писать музыку к своим кинолентам.

Непременный ключ к разгадке композитора – его талант.

Я два раза слушал, как Евгений Дмитриевич исполняет свой вальс из кинофильма “Мой ласковый и нежный зверь”. Вспоминаю, как только он сел за рояль, зал замолк. По залу что-то робко прошелестело, потом музыка стала набирать звучание, снова стихла и как будто проникла в тайники человеческих душ. Вышла оттуда с новой силой и уже, накручивая, набирая обороты, неслась в пространство зала, которое, казалось, обретало небесные размеры, вбирая в себя всех находящихся в нём с их мыслями и чувствами, а на глаза у меня наворачивались слезы. Незабываемые минуты...

После одного такого исполнения вальса 3 апреля 2016 года в ЦДРИ Дога сказал: “Те вещи, которые мною написаны залпом, они лучше, чем те, над которыми я сидел и разрисовывал каждую ноту. Записываешь под запалом, а потом начинаешь корректировать, и всё портится... Вальс к “Моему ласковому и нежному зверю” я написал буквально за полночи. Что касается фильма “Табор уходит в небо”, то я вообще потерял ноты. И надо было делать вид, что я могу сделать. Послезавтра должна быть запись, а я за два дня до этого потерял ноты. Забыл в такси. И запись состоялась. Лучшие номера, когда экспромтом”.

Догу поглотили годы самоотверженного, вдохновенного труда. Евгений Дога постоянно заряжен новым делом, новой идеей, настойчиво воплощает её в жизнь. Его невозможно увидеть празднично проводящим время или предающимся развлечениям. Музыка к фильмам на киностудиях “Мосфильм”, “Молдова-фильм”, “Ленфильм”, Свердловской, Одесской. Концерты в самых больших залах Советского Союза. Звучала музыка Доги на открытии “Олимпиады-80”, а не так давно, на “Олимпиаде-2014”, её слышали миллиарды жителей земли.

Евгений Дмитриевич Дога общенационален. Находясь в Европе, он смотрит, как там живёт европеец, какая у них в стране музыка. И в Африке не сидит в гостинице, а спешит к людям, смотрит, впитывает, насыщается.

Но его отношение к России особое. Вот что он говорил мне в Крылатском: “Я с восхищением вспоминаю... о воронежской земле, о Воронеже. Красивый город! Сколько там вузов, сколько там студентов. Да и не только в Воронеже. Вообще в центральной России. Такое и Иваново, с восторгом могу говорить о Смоленске, о Новгороде Великом, который, казалось, где-то там на севере. Ничего подобного. Там такая интересная жизнь культурная. Потрясающая. Молодцы! А как в Чувашии! Я был там недавно. Как там построено! Значит, можно! У них в Чувашии нет нефти, но могут. У них есть нефть мозговая!”

Я знал о желании Доги побывать с концертом в Воронеже. Но воронежские власти не очень шевелились, объясняя свой отказ отсутствием финансовых средств, что вызывало у меня только возмущение.

А Дога сетовал: “Что, разве все милованы села Воронежской области? Я не думаю. Взять ту же родину Василия Степановича Панина, село Хохол. Это большое поселение. Мы готовы идти туда, потому что хотим напомнить о себе. Аукайте, и мы откликнемся. Но не аукают. К сожалению, волки только аукают. Эти безнравственные волки”, – сказал и горько засмеялся Дога.

И продолжил: “У меня ещё не было такого случая в России, и не только в России, чтобы не было людей на концертах. Если я увижу пустое кресло в зале, я перестану выходить к людям. Я помню, у меня были какие-то встречи случайные, да полно людей. В том же селе Хохол. Дом культуры. Битком было народу. Там десятки сёл. Это не деревни, это сёла огромные. Что такое деревня и что такое село? Деревня – это там, где нет церкви. А село – это там, где есть церковь. Это очень важная деталь. А то говорят: “Я был в деревне. – Да не был ты в деревне, здесь сёла огромные!” Тем более, в европейской

части. Обширные поселения, где есть церкви, и не одна! И чем меня привлекает вот эта земля? Тем, что она очень похожа на молдавские сёла, потому что молдавские такие же хлебосольные, такие же хлебные. И там люди ещё не разучились работать на земле, причём люди, которые привязаны к земле. Эти люди очень богаты духовно”.

Об отношении к России Евгения Дмитриевича говорила и другая деталь. На встрече в ЦДРИ 3 апреля 2016 года он сказал: “У меня на столе лежит “История государства Российского” Карамзина. И что ни страница, там мудрость. И одна из них: “Чтобы любить, надо знать”. Мы мало знаем друг друга и мало знаем предмет. Встречи с людьми хороши. Повод можно придумать. Но надо знать предмет общения. Познания. Мы будем лучше знать друг друга. Лучше относиться друг к другу. Больше будем улыбаться и таким образом продолжать свою жизнь. А то мы так хорошо специализировались на сокращении собственной жизни, что дальше некуда”.

У Евгения Доги сердечное отношение к русской музыке, особенно народной. В Крылатском он со мной поделился: “Вообще, русский фольклор – это для меня ещё одно окно в музыкальный мир. Потому что это корни. Я пытаюсь свои корни пустить и в эту почву. Потому что есть одна и та же эмоциональная подпитка. Движение, чистота, человеческое присутствие везде в русских песнях и особенно вот в этих, протяжных, – в них чья-то судьба и стремление к выходу на просторы, к свободе, то, что присуще любому нормальному человеку, который привязан к земле особенно. Это не те, которые бегают сейчас с этими суперсовременными машинами, это другие люди. Поэтому меня роднит стремление к этой свободе, к этой широте, к насыщенному колориту этих мелодий. Они удивительно гибкие. Они не просто всякими ритмами насыщены. Они почему протяжные? Потому что там есть возможность сопереживать, есть возможность настроиться. А это и характер людей. Почему там ходят более размеренно люди? А потому, что есть время для размышления.

Я, например, восхищаюсь всегда парочками, которые сидят на скамейке. Молча сидят и друг на друга смотрят. Это потрясающе. Вот где высочайшая форма общения, а не те, которые ла-ла-ла-ла... Это форма. То, что есть в хоровом пении. Обязательно там кто-то запекает, начало даёт. Что это даёт? Это даёт возможность прислушаться. Один запекает, а остальные прислушиваются, настраивают свои внутренние органы на это действие, на эту повесть, на этот рассказ, на эту историю, которую начинает запевала, на этот тон, и они ему подпевают. Это потрясающе!”

Евгений Дмитриевич по своей остро чувствующей натуре не может пройти мимо того, на что другой не обратит внимание. Боль другого воспринимается им, как личная. Я знаю много людей, которые изнашивали себя, и это сокращало их жизнь. В числе их и Евгений Дога, и меня очень волнует, как чувствует себя этот отзывчивый человек, много ли ему ещё отведено жизни.

А при беседе в Крылатском Евгений Дога по-бойцовски сказал:

– Я критикую, но я не критикан! Я критикую, опять повторяюсь, не для того, чтобы уничтожить. Это всё равно, что ходить с веником по квартире не для того, чтобы сорить, а для того, чтобы выметать грязь из квартиры. Поэтому те, которые понимают это, те правильно расценивают. А те, кто не понимает, говорят: “Вот, он всё время критикует!” А как не критиковать?! Когда главное деньги, деньги! Ну, что это такое?! Представляете, Иисус Христос чем занимался бы? Ходил бы и за свои чудеса брал бы бабки. Ну, нельзя себе представлять! Потому что и Христа плохо знают. И не почитают. Если говорят: “Жить по-божески”, – так почему же не живёте по-божески? Почему не ведёте себя по-божески? Я уже не отношу эти постулаты к руководителям. У них там с Богом... проблемы, понял я.

– Вот что объясняет безынтересье к тому, что называется культурными встречами. Жалко, потому что я не думаю, что в тот же Воронеж навалом едут композиторы.

– Тишина.

– Попса, наверняка. Таких полно. На тех хватает денег. Я просто знаю это по себе. Мне заплатят какие-то гроши, в то время как попса с мешками уходит оттуда. Откуда эти мешки с деньгами? Что, нельзя найти каналы, откуда поступают эти бабки, и направить их в другое русло? Вот эти, которые финансируют. Спросите у них: “Ты откуда, из какого кармана взял? Не из кармана же этих граждан?”

– Налогоплательщиков.

– И не только налогоплательщиков. Масса других способов грабить людей. Поэтому я думаю, что власти есть, что делать в этом направлении.

Евгений Дмитриевич говорил о набившем оскомину, о наболевшем, а я боялся прервать наш разговор, соглашаясь с ним.

Дога:

– Как в этой ситуации использовать слово, которое мне непонятно, – вдохновение? От чего подпитка? Если мы говорим о дереве, то у него подпитка корнями из земли. Сама культура питается от жизни. А жизнь, смотрите, она совершенно отдалена, не только отдалена, она просто не присутствует. Мне не приходилось видеть в последние годы, чтобы на концерты ходили руководители. Ни разу не видел! Вот на попсу, наверно, ходят. Я не знаю, потому что не хожу на попсу. И не имею возможности. Извините, у меня были концерты во всех самых престижных залах России и за рубежом. Я их не видел нигде! Я не говорю про Президента России. Огромная страна, и у него хватает проблем. Но со среднего звена начать. Ну, возьми, позвони. Я президент своей музыки, и притом навечно.

Дога не был бы Догой, если бы не обратился к Светлому:

– Вы знаете, радость наша, тех, кто что делает, от радости других. Ну что, мы будем сидеть в кабинетах и радоваться бумагой? Это не радость. Радость, когда выходишь на сцену, и тысячи людей заряжаются энергетикой, которой им недостаёт. Видимо, в самой среде, в обществе что-то не то. Пошла метастаза политическая или безнравственная метастаза. Трудно что-то сделать. Значит, нужен хирург. Но не хватит хирургов на всех, поэтому нужны методы терапевтические. Я думаю, что такими терапевтами могли бы быть деятели культуры. Вот я сколько лет слышу: Василий Степанович (кинорежиссёр Василий Панин. – **М. Ф.**) вынашивает то один план, то другой план, и всё связано с воронежской землёй. А осуществить никак не может. Отдача – ноль. Потому что кому-то это не нравится. Но я не понимаю, почему?

Вот возьмём классиков. У них положение не было таким блестящим, но находились меценаты. Не спонсоры. Ведь сейчас слово меценат почти не используется. Кто-то один раз пришёл, дал какую-то сумму, но чаще всего это называется взяткой, чтобы с этого иметь свои дивиденды, которые в сотни тысяч раз превосходят его взнос. А меценаты те, которые постоянно, всю жизнь подпитывали. Как водопровод нас питает. Вот это подпитка, а не привозить баками, канистрами эту воду. Выпил, и нет её, и опять ты без воды. А нужно этот водопровод духовный и материальный подключить к развитию культуры. И наверняка мы не можем винить государство, и действительно временами нет денег. Хорошо, временами нет. Ладно. Но включите другие пути. Как же миллиарды, которые у абрамовичей!

Дога вдохновенно продолжал:

– Поэтому многое проясняется, если ты человек думающий. Я думаю, у таких людей просто очерствели мозги. Единственно, что не могу понять, когда происходит эта трансформация людей. Все мы учимся в одних школах, по одним и тем же учебникам, потом что-то вдруг происходит, мы остались теми же, в рамках тех нравственных норм, которые мы получили в школе и в семье, а вдруг из нас часть одноклассников или однокурсников становятся другими? Что произошло? Притом моментально. К ним уже не достучаться, они ездят уже на машинах с затемнёнными стёклами. Что он видит за этими стёклами? Ни хрена не видит! На бешеных скоростях. Я не знаю, как так можно? Я помню даже своё время, мы это клеймим, и не дай Бог, чтобы вернулось, как мама трудилась в колхозе. И то, председатель колхоза или бригадир на этой бричке двухколёсной с лошадьёю объезжал поля. Я не видел, чтобы нынешний деятель на двухколёске объехал и вышел, и поле обошёл. Нет, обязательно со свитой и журналистами, которые будут писать, какой он добрый, какой он...

Мы ещё о многом говорили, но я почти дословно запомнил, чем закончился разговор в Крылатском.

– Время – оно же не прощает! К сожалению, стирает и грани, и потом оно рождает новые поколения, и очень хотелось бы, чтобы между этими поколениями, которые появляются, и нами, которые, я не говорю уходящие – мы не собираемся уходить... Есть две формы нашего присутствия в этом мире. Одна физическая, а другая – духовная. И я хотел бы, чтобы не было,

вот знаете, когда швея шьёт, и видны страшные швы, это плохой очень костюм. А вот если иначе... Для этого придумали утюг, чтобы заглаживать швы. И мне кажется, чтобы какой-то утюг прошёлся и заглаживал эти образующиеся, абсолютно по их невежеству, швы между нами и нашим прошлым, и нашей культурой и будущими поколениями. Чтобы последующие поколения не пришли на голое место, а пришли вот на ту почву, которая их родила. **Мы должны все жить под одной ДУХОВНОЙ КРЫШЕЙ. Вот эту духовную крышу не нужно ждать, что нам кто-то её принесёт на золотом блюдечке. Её нужно даже не строить, её нужно хотя бы сохранить.**

Вспоминаю, как 3 апреля 2016 года на вечере в ЦДРИ спросили:

– Над чем работаете сейчас, Евгений Дмитриевич?

Дога ответил:

– Я четвёртый год работаю над циклом “Диалоги любви”. Настала пора петь про любовь. Потому что главным стержнем нашего бытия является любовь. К великому сожалению, больше видим и слышим по телевизору...

Из зала крикнули:

– Секс.

– К этому есть слово другое. Но они почему-то назвали так. Поэтому – про любовь. Я уже показывал часть этой музыки в Большом зале консерватории. С оркестром и с хором. Надеюсь и в следующем году (нынешнем, 2017) это осуществить в Царицыно на открытом воздухе. Это так здорово! Потому что я уже это проделал в Яссах, в Кишинёве, в Бухаресте. Это так здорово, когда тысячи людей будут слышать и смотреть. Не покупать билеты. Придут те, которые **захотят**, а не те, которые **могут**. Это разная публика. А я как раз пишу для той публики, которая придёт без билета. Потому что не все сегодня в состоянии купить билет. На воздухе. У меня музыка, которой тесновато в четырёх стенах!

Многая лета Вам, Евгений Дмитриевич!

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН

## РЕФОРМАЦИЯ ДУШ

### Расколотый народ

... Становится всё труднее говорить о России. Кажется, любые слова, какими бы справедливыми они ни были, звучат замученно и пусто. Вся ложь уже вывалена на Россию и вываливается в сотый или тысячный раз. Вся правда сказана, и повторение её по новым фактам как бы физически передвигает нас на иное место, не менее горькое, и облегчения не даёт. Заболтанная и проболтанная Россия вышла за те пределы, где верят словам, и уж тем более неспособны они никого воодушевить. Ничего не меняется: одни, не тратя слов, выгребают последние наши закрома, над другими продолжают издеваться рекламой красивой жизни, бесстыдной и наглой.

Нет и не может быть сейчас никакой консолидации: страна, общество, население расколота пополам, а если взглядеться — на несколько частей, между которыми глубины несовместимости. И трудно ожидать, чтобы в ближайшее время они заросли и наступило что-то похожее на согласие. Его, этого согласия, не может быть по следующим причинам.

Во-первых, богатые становятся богаче, а бедные — беднее.

Во-вторых, разращение и издевательства со всех телеканалов, в том числе государственных, не только не прекращаются, а усиливаются. Примириения быть не может уже только потому, что всё более озлобленно выжигается теле- и радионапалмом историческая, духовная и культурная Россия.

В-третьих, перекройка образования по куцым западным стандартам уже сейчас преграждает путь в вузы для сельской молодёжи, а скоро этот путь для детей из малообеспеченных семей перекроется и в среднюю школу.

В-четвёртых, непрерывное подорожание жизни, вытеснение из центров городов на окраины, в резервации, “прежних”, не соответствующих элитному облику новой застройки; вытеснение “прежних” с рабочих мест, которые отдаются иммигрантам; вытеснение из культуры истинных талантов, а из государства — культуры, превращение её в грубую развлекательность; вытеснение деревни и всего сельского мира с лица русской земли... Вытеснение, вытеснение, вытеснение, издевательства, издевательства, издевательства...

Я мог бы ещё долго продолжать перечень наших несчастий, но это ничего не даст. Кольцо безысходности вокруг многих и многих сжимается всё больше...

### ...У богатых... даже своё солнце

У богатых свой язык, свои законы, своя честь и своя совесть, своя вода и свой хлеб, свои школы и университеты для своих детей, даже своё солнце на экзотических островах, отнятых у Бога и вывезенных из рая. В футбол играть они отправляются на Северный полюс, для прогулок в космос могут нанимать извозчиками российских космонавтов. Нашему брату даже и взглянуть на их



жизнь нельзя: ослепнем. Должно же куда-то было деваться то, что сделало нищей богатейшую страну, – вот оно и показывает себя в самых уродливых и вызывающих формах! Богатые и умирают “героически”, в разборках друг с другом, бедные – скрючившись, застывают от голода и холода. Эти два мира почти не имеют точек соприкосновения и едва ли будут иметь их в будущем.

Помните, несколько лет назад американский еврей, бывший советский подданный, писатель Эдуард Тополь обратился с письмом к российским евреям Березовскому и Гусинскому? Несколько смущённый стремительностью и необъятностью обогащения своих соплеменников, он предложил им, во избежание будущих бед, поделиться частью присвоенного с Россией. О реакции Гусинского я не знаю, а Березовский однажды с живостью отозвался, что делиться он, конечно, не собирается, а если бы и поделился, всё равно бы пропили и разворовали. Ответ достойный праведника, чьё фантастическое богатство по капле добывалось тяжкими и только личными трудами. Робкая попытка Путина уговорить “поделиться” олигархов, и теперь выжимающих из недр России её кровь и соки, также ни к чему не привела.

Этого и следовало ожидать, но удивляться надо не тому, что нувориши отказываются делиться, а – почему их нужно уговаривать? Если приватизация была незаконной и походила на грабёж (а в этом никто не сомневается), таковой и надо её объявить во всеуслышание и вернуть народу по закону причитающееся ему или заставить расплатиться по полной цене. Заключения по этому поводу были, но и они умолкли. Сила, значит, ломит солому.

### **Жестокость, к которой мы привыкаем**

Пенсии, которые постоянно громогласно повышаются, – это только на хлеб. На хлеб, впроголодь, вероятно, хватило бы... Если бы не болеть. До каких высот взлетели цены на лекарства, говорить не надо. Болеть нельзя. Если бы не повышалась постоянно плата за электричество, газ, воду. Если безвылазно сидеть дома и не связываться с транспортом, даже городским, не говоря уж о поездах, самолётах. Если не покупать ни одежду, ни обувь. Не хоронить близких. Все обычные и привычные связи и потребности стоят сейчас денег и денег. Неспособность заплатить обходится дорого. В Ангарске... доведённые до отчаяния люди, неплательщики за воду, пытаются забаррикадироваться в квартирах и не открывать двери работникам ЖКХ, но те дают указания пробивать снаружи кирпичную кладку и обрезать трубы. В Хабаровске огромные, едва шевелящиеся от отчаяния очереди инвалидов за полагающимися им бесплатными лекарствами. Лекарства вроде и полагаются, а аптеки, должны их выдавать, убавлены втрое. В Кирове... на Камчатке... сил нет перечислять! А я ведь телевизор почти не смотрю и даже в новостные программы заглядываю редко – значит, это малая-премалая часть из того, что показывают. А показывают – малая-премалая часть из того, что происходит.

Верно, это жестокость. Жестокость, к которой мы привыкаем. Жестокость, происходящая от нежелания или неспособности местной и федеральной власти простереть свою милосердную длань в сторону незащитных. Учителя, врачи, слава Богу, способны постоять за себя, а пенсионеры, инвалиды забастовку не объявят. И голодовку тоже – им и без того достаточно красноречиво заявляют, что они зажились. “Вы чьё, старичье?..” А ничьё. Бесхозное. Прежде слово “нелюди” было обозначением нравственного уродства, теперь его всё настойчивей отсылают к старикам, оставившим свои годы и силы на труды в отринутой стране.

В этом и корень жестокости: вы – не наши, вы – побеждённые, зажившиеся...

Капитализм сам по себе – безжалостное общественное устройство. Реваншистский капитализм, утверждающийся в России, уродлив ещё и потому, что он находится в состоянии войны не только с коммунистическими, но и с историческими традициями...

### **Трудовая мораль разрушена**

Здоровая трудовая мораль у нас давно уже разрушена, 90-е годы погребли под собой много чего из общество- и государствовосдерживающих понятий нравственности и здоровых взаимоотношений. Возвращать их непросто,

да и никто, похоже, этим не занимается. “Хватит работать – пора зарабатывать”, – подобные лозунги уже годы и годы кружат головы молодых людей. На этой стезе они и норовят устроить своё благополучие. И почему власть на публичное разведение таких “грызунов” взирает равнодушно, понять нельзя. Почему не контролирует рекламу, особенно в метро, где каждый день она лезет в глаза миллионам и миллионам, половину из которых заставляют согласиться, что так теперь и должно быть, как предлагает реклама.

Не говоря уж об улице. Прошлым летом по всей Москве красовалась “аккуратная”, однако же откровенная “художественная” реклама однополый любви.

И ничего – деньги сокрушают всё, всякую мораль и всякую преграду.

А во что превращается общество, руководствуясь подобными призывами, мы уже и теперь наблюдаем воочию...

### **Вглядимся в слово “успешность”**

Давайте... взглянем в это слово – “успешность”. Ведь не случайно же оно взлетело сейчас. Поспешать, успех, успешность, даже приспешник – всё это однокоренные слова, слова одного лексического гнезда.

...Мне в слове “успешность” слышится, скорее, бесстыдство людей среднего порядка. Оно больше приложимо к хватким чиновникам, ворам в законе, ловкачам разного рода, остающимся в тени, и целой армии бизнесменов, только ещё поднимающихся на орбиту. Для поднебесного положения олигархов понятие “успешность” – дело копеечное, их фигуры достигли такого размаха, что и Россия мала, им требуется весь мир.

Общество наше большое, и нет никаких признаков, что оно озабочено своим здоровьем. Россия изменила себе и продолжает изменять всё больше. Всегда она была самодостаточной, даже в трагическом XX веке, когда формы государственности и жизни претерпели огромные изменения. Отказались от веры – и всё-таки выиграли жестокую войну; перевернули деревню, изменили в ней уклад жизни – и всё-таки сохранили и преобразовали её; испытывали и гонения, и бедность, но не Родину свою винили в том и не отказывались от неё.

То, что произошло в конце 80-х и в 90-х годах при Ельцине, Чубайсе и Гайдаре, – гораздо большая беда, чем Мамаево побоище. Богатырскую страну разграбили в считанные годы. Хлебные поля забросили и деревню, можно сказать, уничтожили. Промышленность заглохла, за обладание выгодными предприятиями шла кровавая война. Народные и природные богатства в спешном порядке поделили между собой те, кто вознёсся затем на высоту олигархов. Нравственность и совесть отменили, одно упоминание этих понятий вызывало издевательства. Отменили, в сущности, и Россию, хотя именем её и продолжали пользоваться. Но много ли радости в родном имени, если наполнение его чужое? Чужие нравы и песни, чужое образование и чужие культуры, русский язык переполнен мусором и грубостями, великая русская литература существует на положении пенсионерки и тихо уходит в тень. Перечислять все эти перемены (а они везде и всюду), право же, сердца не хватит.

Вот такие изменения и произошли, вот такая переоценка ценностей.

### **Реформация душ**

Что происходит? Под мощной атакой откровенного бесстыдства и беззакония... в условиях беспощадной и жуткой реальности происходит, по-видимому, реформация душ. Если на одной стороне властвует правило “Обогащайся кто как может”, на другой – “Спасайся кто как может”. Законы общности ослабли. Рабочий класс разогнали, крестьянство тоже – вот почему и сделалось возможным протаскивание грабительских законов, в том числе закона о продаже земли, окончательно закрепляющих статус-кво богатых и статус-кво бедных, дающих одним полную власть и полную свободу действий, а другим – безвыходное бесправие и ещё большее закабаление.

Но вот, как прежде не без пафоса говорилось, на передовые рубежи в борьбе за свои права выходят учителя, врачи... Я уж и не знаю, говорю ли о них как о серьёзной силе сопротивления или во имя требующейся в конце беседы бодрой ноты. Но ведь случались же в истории и “бабьи бунты” – и довольно успешные. О них невольно вспоминаешь при виде массовых, самых

массовых, организованных, по всему судя, не профсоюзами, а крайним отчаянием выступлений женщин-домохозяек против реформы ЖКХ в Воронеже, на Камчатке, в Усолье-Сибирском... Они – последние ряды сопротивления, но последние-то и самые стойкие, им отступать некуда.

### **Россия отнимается**

...Отнимаются и права, и заслуги, и недра, и будущее. И от этого становится жутковато. Отнимаются национальность, традиции, культурные и нравственные ценности. Россия отнимается.

И это нисколько не преувеличение. Образ страны, образ Родины создаётся из видимого и невидимого, материального и духовного, из глубин истории и высот святости. Не зря же мы пели: “Жила бы страна родная, и нету других забот”. Жила бы она, а уж мы в ней и подле неё как-нибудь. Но жила бы во всём своём многообразии, песнях и легендах, во всей своей красоте, простоте и вымученности. Да и вымученность её вся была в том, чтобы сохранить себя, не отдать ни душу, ни тело, на которые постоянно находились охотники, ни древнего своего обычая, ни благочестивой скромности, ни многочисленных детей своих, взявших от неё всё, чем она была... Посмотрите, похожи ли мы теперь на себя? Нет, преобразование удручающее. Обезличивание, обезображивание человека в нравственных и культурных чертах идёт на всех парах. Как итальянцы отличаются от древних римлян, как греки отличаются от византийцев (но там для этого потребовались века и века), так мы в сверхскоростном порядке, за одну человеческую жизнь, отличаемся от себя же, какими были двадцать-тридцать лет назад. Такая поспешность, подобное высказывание из собственной шкуры к добру привести не могут. Перед нами уже не Россия, а её расхристанное подобие, нечто иное и малоузнаваемое.

Могущество России исходило всегда от её нравственных, духовных и культурных начал. С ними и благодаря им осваивали новые земли, делали танки и ракеты, взращивали таланты, уходили в космос... Теперь эти начала отброшены, нравственность и культура попораны и загажены новыми хозяевами, живём в основном нефтью, обирая воровски будущие поколения, и в нефтяной стране кто-то (правительство никак не может отыскать, чья это работа) поднимает цены на нефть до поднебесных высот, не давая в который уже раз убрать урожай...

Разве это Россия? Сама себе ставящая подножки, сама себя обирающая – разве это она?

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН

## ИЗ РОССОВ НЕПОБЕДИМЫХ

“Чем знаменита, чем прекрасна нация? Не одними железными дорогами и фабриками, не всемирно-удобными учреждениями. Лучшее украшение нации – лица, богатые дарованием и самобытностью. Лица даровитые и самобытные не могут быть без деятельности творчества; когда есть лица, есть и произведения, есть деятельность всякого рода”.

Эти слова Константина Леонтьева, одного из наиболее самобытных и пророчливых представителей русской мысли, как нельзя более применимы и к героям этой книги, и к личности автора – Валерия Николаевича Ганичева, писателя, учёного-историка, общественного деятеля и в широком, общем смысле – хранителя и смотрителя духовного отечественного благополучия. Просты слова, сказанные К. Леонтьевым, но вызреть они могли только у человека одного уровня с обществом “лиц”, к которым эти слова относятся. Не ниже. Снизу не заглянешь и не поймёшь. Снизу весь этот механизм общественного служения покажется настроенным на работу вечно, требующим лишь замены стёршихся деталей. В действительности же это не “фабрика”, а некое кустарное, индивидуально-добровольное посвящение себя общему делу, приводимое в действие, с одной стороны, родовыми и небесными дарами, а с другой – общественными потребностями. Поле деятельности таких “лиц” – вся великая российская земля вместе с её высотами и глубинами, поделённая на плодородные участки. В одни времена они более урожайны, в другие – менее: курганы их возвышения – свидетельства былых подвигов – зарастают одичавшей травой. Но нет и не может быть подвигов, за давность столетий совсем уж замогильных, если творились они во славу Отечества, как не может быть и славных имён, навсегда погребённых в беспамятстве. Вся Россия в её историческом продолжении есть животворное подхватывание и развитие великого прошлого, и, если настоящее недостаточно впитывает его в себя, если оно смотрит на него лишь как на ряд блистательных захоронений, тем слабее это настоящее.

А ведь и писатель, берущийся за историческое повествование и тревожащий дух исторической личности, каким бы воображением и художественностью ни украшал он свою работу, всё равно уже одним прикосновением к этой личности берёт на себя ответственность за её судьбу в настоящем, за то, бесплотной ли тенью заглянет она, жительница иных времён, к нам из своего далека, или придёт такой герой по-отцовски, чтобы предложить свой опыт и посильную помощь.

### Ещё одно отступление

Наша история, похоже, развивается толчками, импульсами; за сверхчеловеческим напряжением сил и мускульной деятельностью наступают затишье, самоуглублённость, деятельность духовного рода. Вслед за былинной жизнью князей Киевской Руси, беспрестанно воевавших со Степью, но и во-

дружавших победный щит на вратах Царьграда, высмотревших за его стенами новую веру, которую ждала русская душа, — вслед за этой радужной, прямо-таки солнечной страницей — долгая глухая ночь татарского ига. Но в ней-то, в этой ночи, когда отстаивание своих земель вершилось не столько военными походами, сколько монастырским строительством, и улеглась без спешки в нашем предке православная молитва и произошло полное “строение” русского человека. После этого уже можно было идти на Орду и брать Казань. Но история и тут не дала спокойного хода: после абсолютизма при Иване Грозном — Великая Смута и брожение, потребовавшие во имя государственного инстинкта ещё и инстинкт общественный, который и явило ополчение Минина и Пожарского. И опять неизбежное уравнивание, отмах маятника в противоположную сторону: за Смутой — правление тишайшего Алексея Михайловича, затем во весь XVIII век — кипучая деятельность Петра и Екатерины, имперские знаки на государственном титуле, имперское сознание в обществе. После войны с Наполеоном и победного похода в Европу — опять “отдых” и физическая вялость, николаевская “замундированность” второй трети XIX века и одновременно внутри неё — “золотой век” русской культуры. Остаётся добавить немного: после революции и невиданного энтузиазма первых пятилеток, после “крепкой руки” Сталина и воссоединения по результатам Второй мировой войны в одно целое всего, что территориально могла вместить в себя Россия, — малоподвижность и даже как бы старение государственного организма, внутри которого опять же происходит собственная жизнь, и всё неудержимей поддаётся на поверхность возбуждённое национальное сознание, затоптанное в глубины ещё со времён революции... И самое последнее и трагическое, как расплата за могущество, с которым не справилась страна, — “перестройка”, националистическое бурление по окраинам и распад Советского Союза, а за ним — разрушение экономики России, поход, всё ещё продолжающийся, “пятой колонны” вместе с Западом против русской самобытности, против всего “несказуемого и невидимого” (В. Розанов), что составляет духовный и нравственный смысл нашего земного существования.

Конечно, это всего лишь внешняя картина истории, графическое изображение её “кардиограммы”. Вверх-вниз, вверх-вниз, возбуждение и затухание, рывки и остановки, сцепление и расхождение... Значит ли это, что мы нация, не умеющая тянуть равномерно? Но история не отдыхает, “отдыхать” могут, как всё живое, измождённые члены национального тела, в котором одна деятельность сменяется другой и происходит таинственное подтягивание тылов. Мы живём размашисто, нелинейно, но разве эта нелинейность не говорит о широте наших побуждений и незаземлённости наших идеалов, о том, что духовное значит для нас несколько не меньше, чем материальное, что прочно привязываться к материальному мы не умеем? Такая в нас природа, такой характер. По русскому обычаю всё высшее представлять в похожем на нас многострадальном образе (вспомним тютчевское: “Всю тебя, земля родная, // в рабском виде Царь Небесный // исходил, благославляя...”), нам и историю свою хочется видеть в облик простого мужика в трёх ипостасях — работника, воина и молитвенника, — поспешающего за нами с лёгкой котомочкой за плечами в поисках справедливого земного царства.

Поэтому и история наша сказывается совсем по-иному, нежели в чувственно холодных, рационально устроенных странах. Бесстрастной летописи событий не было ни у Татищева, ни у Карамзина, ни у Соловьёва, ни у древних авторов “слов”, “сказаний” и “плачей”. Никто из них не мог обойтись без личной скорби или радости, без гордости или веры в утешение, над которыми всегда возвышался православный крест. Без этого Русь неизъяснима. Даже когда отчаяние доходило до последнего, до картины распятой Руси, как это случалось у историков русского зарубежья после революции, то и тогда распятие невольно и непременно предполагало веру в иную, обновлённую жизнь.

### **На том стоим**

Первые и главные слова у Валерия Ганичева во всех его работах — держава, Отечество, Государство и государственный, Святая Русь. Пошатнулась держава, и они сделались ещё необходимей, они, подобно гвоздям, удерживают в сознании вековые спасительные крепости и дают направление сего-

дняшней деятельности. Не станем, не станем отвлекаться на то, как много сейчас под защитой и под флагом Государства Российского творится противу него самого, нашего государства. Это бывало и прежде, разумеется, не в таких масштабах и не с такой наглостью. Но никакое сердце не ошибётся, когда слышит оно обращение к себе, зовущее его в стан наследников того самого неукротимого и яркого подвига, которым когда-то собиралась и утверждалась великая держава.

“Люблю XVIII век российской истории, — признаётся В. Н. Ганичев и добавляет: — Всё в нём было”. Было всё — “и размашистые победы, и обидные неудачи”. И всё же от сегодняшнего удаления, от удаления, занявшего два полных столетия, XVIII век видится великолепной позолоченной вершиной, с которой не сходит сияние славы его деятелей. Рядом с этой вершиной в такой же высоте и романтической красоте ничто более не вставало. Именно тогда Россия превратилась в империю и окончательно распахнулась на все четыре стороны. Тогда же русский человек очнулся от своей вековой дремоты и распрямился в ощущении своих могучих сил для творчества всякого рода. Россия помолодела и встала в ряд самых могучих мировых держав. Общественное воодушевление не могло тогда ещё сполна охватить низы, но оно не могло и не коснуться их, потому что без народа ни одно государственное предприятие не сумело бы сделаться. А из любимого XVIII века самое славанное в нём для В. Н. Ганичева — время “державницы” Екатерины. Оно подхватило деяния Петра уже не в грубой ломке старого, не через колено, а в естественной потребности их продолжения. Лучшее из Петрова дела прижилось, пустило корни, и ещё заметней стало, что оно не окончено. Россия как бы накренилась в северную сторону, в сторону Петербурга, туда и скатывалась вся энергия и жизнь, а юг всё ещё оставался в чужих руках, и ежегодно тысячи русских людей, как во времена полونا, угонялись на азиатские невольничьи рынки.

“Росс непобедимый” — вот название того величественного периода нашей истории. Так называется повествование В. Н. Ганичева о выходе России к Чёрному морю и заселении южных земель. Туда и пошла новая Россия, там, на сдвинутых к морю рубежах, встала Новороссия, строившаяся с тем же размашистым имперским почерком, что и Петербург.

Следом за балтийским окном в Европу было прорублено черноморское, Россия взяла силу и правду не только по левую руку, если смотреть встречь солнцу, но и по правую, одесную, а там, на востоке, росс обживал тихоокеанское побережье и выходил к берегам Америки. Это было время неудержимых походов полководца Суворова и флотоводца Ушакова, время возвышения крестьянского сына Михайлы Ломоносова в “велика мужа” в науках и искусствах, время Потёмкина и Державина, Татищева и Андрея Болотова. Как величаво и твёрдо звучало тогда наше имя — росс! Какую оно несло в себе мощь! Не забудем ещё, что в 1799 году было найдено “Слово о полку Игореве”, и современность живым руслом соединилась в одно целое с древностью. Никогда ещё русская корона так высоко не поднималась в мире и никогда до того русская жизнь так не тянулась к просвещению, к той наибольшей пользе, которую способны дать Отечеству все его сословия.

И самые-самые избранные из “птенцов гнезда Екатерининного”, самые почитаемые герои у Валерия Ганичева, с которыми он не расстаётся почти двадцать лет, продолжая “разрабатывать” их, как ценнейшие месторождения, всё глубже и глубже, чтобы ничто из их золотых запасов не прошло мимо сердца и душ ныне живущих, — это адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков и тульский дворянин-самоучка, преуспевший во многих занятиях, а пуще всего в литературной склонности, Андрей Тимофеевич Болотов. И тот, и другой были личностями настолько необыкновенными (а разве были обыкновенными Александр Суворов и Михайло Ломоносов, историк князь Щербатов и автор оды “Бог” Гавриил Державин?), что при размышлении о счастливых обстоятельствах их происхождения невольно приходит в голову: упали самородками прямо с неба, ибо никакое, самое удачное сложение земных частиц не могло бы дать столь удивительных результатов. Однако же, чтобы и с неба упасть, надобно было внимательно высмотреть землю, куда падать. И это уже после них, оплодотворив ими эту землю, легче было складываться счастливым обстоятельствам. Имя адмирала Ушакова выписано в нашей истории крупными буквами. Не проиграл ни одного из сорока морских сражений, неожиданными и хитроумными манёврами побеждал меньшинством, брал самые неприступные крепости, был

“слуга царю, отец солдатам”. Но и аршинные буквы в неблагоприятных условиях, когда занавес героического прошлого попытается закрыть, а настоящее почитает героев мало, способны отдаляться, словно призрачные назидания, и затмеваться. Великая заслуга Валерия Николаевича Ганичева (и это несколько не преувеличение) в том, что он прояснил, “протёр” от ржавчины, оживил и эти события, и эти буквы, вновь провёл русскую эскадру “времен Очакова и покоренья Крыма” победоносными маршрутами сначала на Чёрном, а затем и Средиземном морях. Мало кто помнил уже, что адмиралу Ушакову довелось быть в тех событиях не только воином, но и дипломатом, правителем Республики Семи греческих островов, освобождённых им теперь уже в союзнничестве с турками, своими недавними врагами, от французов.

И уж совсем мало кто знал последующую жизнь Фёдора Фёдоровича Ушакова, жизнь, перешедшую в житие, а затем и в святость. В чуде последнего перехода, случившегося совсем недавно, Валерий Николаевич Ганичев принял непосредственное участие. На склоне лет Фёдор Фёдорович Ушаков, выйдя в отставку, поселился в глухой деревне неподалёку от Санаксарского монастыря на Тамбовщине. Великий воин за Россию превратился в великого молитвенника за Россию, и эта вторая служба, так естественно вытекающая из ратной, оказалась для нашего Отечества не менее полезной и получила недавно продолжение в вечности.

В 1995 году Валерий Николаевич Ганичев берёт на себя смелость обратиться с письмом к Патриарху Алексию II, в коем просит Святейшего рассмотреть вопрос о возможной канонизации и причислении к лику святых Русской Православной Церкви Ф. Ф. Ушакова. Основания приводятся следующие: пожизненная судьба адмирала, отданная православному Отечеству и молитвенному служению, а также чудеса вокруг места его упокоения в Санаксарском монастыре, которое всё больше превращается в место паломничества.

Только у одного человека в России был в это время такой авторитет, чтобы обратиться с подобным ходатайством к главе Русской Православной Церкви с надеждой на успех. И чудо продолжилось. В первый год нового тысячелетия, как необходимое прибавление к знаку непоручимости России в веках и народах, состоялось прославление и причисление к лику святых адмирала Флота Российского, праведного сына Отечества Ф. Ф. Ушакова. Наше воинство обрело ещё одного своего небесного заступника, во флоте особенно сейчас нужного.

Вот как надо хлопотать о продвижении своего героя – учитесь, братья-писатели!

И вторая из замечательных фигур прошлого, которую В. Ганичев взял в спутники своего творчества, – “тульский энциклопедист”, “дела делатель” Андрей Тимофеевич Болотов. С одной стороны, о Болотове писать было легко: он оставил огромное повествование “Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков”. А с другой стороны – чрезвычайно трудно: чтобы выворотить эту глыбу из заносов времени и завалов земли, закреплённую снизу мощными корнями из десятков своих занятий, для этого надо было иметь и недюжинную силу, и упорство, и почтительную любовь к своему герою. Всё о себе рассказал наш неутомимый предок, но его литературное наследие составило 350 рукописных книжек, а круг его деятельности был настолько обширен, что в наше время едва ли оказался бы по плечу даже сводному научно-исследовательскому институту с сотней сотрудников. Удивительней всего то, что при этих немеренных и исключительных трудах Андрея Тимофеевича “добывать” его пришлось Ганичеву почти из полного небытия, и это после кончины Болотова в 1833 году (а прожил он 95 лет) оказалось второе или даже третье небытие: вспомнят, подивуются, поахают над неоглядностью его “тягла” и опять забывают. Перед уроком столь урожайной, столь плодovitой жизни потомки почему-то раз за разом одинаково пасовали.

А ведь вот он – русский человек в его развитии, каким он мог стать уже через сто лет. До Пушкина потребовалось бы, по предположению Гоголя, двести лет, но Пушкин – явление слишком неземное, слишком возвышенное и гениальное, и чтобы дорасти до него, необходимы не одни лишь календарные сроки. А Болотов обширней, но и проще, доступней. Его призванием стало жить с тем максимальным напряжением и с той полновесной пользой, которые могут быть уделом не только одиночек.

После военной службы и службы в столице Андрей Тимофеевич “сел” на свою родовую тульскую землю, словно бы не ведая, что до него тут кормились, наслаждались жизнью и выработали определённые навыки обращения с землёй многие и многие поколения. Он взялся хозяйничать на ней с любопытством и страстью первобытного человека, во всякое дело вникая, преобразая, примешивая и пополняя так, будто прежний опыт своё отжил. Земля стареет, и он принялся украшать её и омолаживать, залечивать овраги, строить пруды, высаживать сады и рощи. Пашня истощается, и он ввёл севооборот, безотвальную вспашку, нашёл способ минерального питания посевов и тем самым положил начало агрономической науке в России. Культивировал новые сорта фруктов, внедрил картофель и помидоры, в то время ещё только завозившиеся; на каждое поле, на каждый участок завёл характеристики: где, когда и как засевалось, как удобрялось и что снималось; более полувека делал метеорологические наблюдения и аккуратно вносил в свои тетрадки. Вызнавал целебные свойства трав и корней и превратился в аптекаря; открыл школу для ребятишек и писал для них поучения и наставления; выпускал журнал, переводил с европейских языков, любил театр, музыку. Всё, к чему прикасался Болотов, с чем встречался, что представлялось ему устаревшим или громоздким, малопродуктивным или случайным, не обходило его ума и сердца. Это был человек феноменальных познаний и работоспособности. “На меня приди около сего времени охота писать критику на все книги, которые мне прочитаны случалось, и критику особого рода, а не такую, какая и ныне пишется, но полезную”, – словно бы изнывая от безделья, заносит он в свои “записки” вновь отысканное занятие. И, разумеется, пишет, находит досуг размышлять и о чистоте писательских помышлений, и о чистоте русского языка, подготавливая приход Пушкина.

Всё это, естественно, есть в тексте В. Н. Ганичева, и можно бы не отвлекаться на эти мимоходные подробности, касающиеся его героя, да вот беда: нельзя удержаться от восторга при встрече с ним!

Не стал русский человек Болотовым, не случилось этого, но ведь нельзя же отрицать и того, что и сам вездесущий Болотов был порождением смекалки и практической хватки русского человека; нельзя же не согласиться, что разностороннее и кипучее дело Болотова не могло умереть вместе с ним, не оставив и следа на оплодотворённой им земле. Такого не водится, что было и окончательно сплыло. Конечно, практические заведения и творческое наследие Андрея Тимофеевича достойны были лучшей участи в последующих поколениях, нежели та, что им досталась, но ведь для того, надо полагать, и является сейчас среди нас этот великий подвижник, чтобы напомнить о себе в нас, о втуне остающихся в нас талантах, требующих чуть ли не агрономической науки для их обработки и всходов.

“Да, были люди в наше время...” По лермонтовской строке, отсылающей их в прошлое, были они широкого и крепкого покроя. Но куда же, спрашивается, могли исчезнуть и этот крупный масштаб, и эти счастливые задатки, которыми славны были наши предки, в какие более благословенные края и более приветливые пристанища их унесло? Признаемся: помимо нас, деваться им некуда. В недрах наших кладовых, куда свалено старьё, они, с неотросшими крыльями, тоскуют, должно быть, по воле, ибо давно не звучал и до сих пор не звучит зовущий в высоту молодецкий посвист. Они, недоразвитые и безмятежные, есть в нас, но мы и сами почти забыли о них, живя мелкими заботами и затухающими порывами.

Нетрудно понять, почему писатель и просветитель Валерий Ганичев прельстился многогранной и многотрудливой личностью писателя и просветителя Андрея Болотова. По полной и безоговорочной отданности Отечеству, частью по роду деятельности, по талантам они – в близком родстве. Сыны России. Разные времена, разные условия, другая “повестка дня”, но та же самая необходимость жертвенного служения, та же нужда в доводах, примерах, то же радетельство о родном. Те же самые “Русские вёрсты” (название одной из книг В. Ганичева), отмеривающие вершины, бездорожье и вечную потугу нашего исторического пути.

Стало быть, есть люди и в наше время. Мало, мало, надо неизмеримо больше, однако же хвала и тем, кто есть.

Что же касается этой книги, можно с уверенностью сказать: по автору и герои, по героям и автор. Из россов непобедимых.



СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ

## СТРАСТЬ К ЧИСТОМУ СНЕГУ

“Приезжайте в Иркутск, поговорим”, – улыбнулся он при последней встрече. У него была детская улыбка. В тишине мы выпили по бокалу вина. Неспешный и негромкий. При общении с Распутиным я подпадал под какие-то чары безмолвия, всякий раз терялся, робел. В нем было то же, что и в его прозе, и что в известном смысле делает бессмысленным любое интервью. Ведь и в его прозе, при всем ее сюжетном драматизме, много безмолвия, недосказанности, воздуха между словами.

В нем чувствовался надлом. Этот надлом зафиксировали телекамеры летом 2006-го: сгорбленная спина уходящего из иркутского аэропорта. Там сгорела в самолете его дочь Мария. “Пожар”, как пророческая метафора, которой суждено жить и губить и после Валентина Григорьевича. Как и суждено повторяться его вопросам. Он спрашивал о способности людей на отзывчивость в “Деньгах для Марии” и обрывал повествование, так и не показав развязку. Он спрашивал о женской любви, пусть бы и к дезертиру, и топил концы в водах Ангары.

Травмированность Распутина я почувствовал еще в начале 90-х, когда его впервые увидел. Мало кто вспоминает: в 70-е его сильно избили неизвестные, проломили голову. Мне кажется, он напоминал вернувшегося с войны. Хочется назвать правду Распутина народнической, но он не ходил в народ, а никуда из народа не уходил. Вот уж точно неподкупный голос, скромно, даже сдавленно неподкупный, и именно эхо русского народа. Эхо ведь бывает не раскатисто-митинговым, а негромким, ломким, тающим...

Распутин был тем самым праведником, без которого не стоит село, и который, конечно, от села обособлен. Лев Толстой до болезненности часто мыл руки. Валентин Распутин – это страсть к чистому снегу. “Не хватает чистого снега”, – пожаловался он как-то. Ему-то и в Сибири? А вот... Сложно представить в его самом откровенном и личном разговоре матерщину. Распутинские радения за экологию – за спасение рек, за Байкал – это еще и какое-то внутреннее делание, отстаивание личной чистоты. Но праведник неотделим от села. Однажды я услышал от него рассказ о сибирских родственницах, которые прилипли к телевизору и смотрят “всякую гадость”, и, когда он их попрекает, машут на него руками. Даже в этом рассказе было сочувствие им, понимание их, пусть и огорченное.

Он стоял за родных ему упрямо – так ведь и называлась когда-то компания молодых писателей-иркутян: стенка. “Бедность плачет, а богатство скачет”, – написал он за несколько лет до смерти, рецензируя один гламурный журнал. Сейчас рассуждают, каким он был разным в публицистике и литературе. Но он был одним и тем же. В том, что называют публицистикой, имел мужество передать самое простое – насущное для народа. А в той литературе, которая останется навсегда, умел передать главное – человека со всей его таинственной сложностью.

ЭДУАРД АНАШКИН

## ЖИТЬ И ПОМНИТЬ

*К 80-летию со дня рождения Валентина Распутина*

15 марта Валентину Григорьевичу Распутину исполнилось бы 80 лет. Судьба распорядилась так, что день рождения и день памяти нашего классика стали одной датой. И в этом ещё одно подтверждение мистики судьбы Распутина, невольно наводящее на глубокие раздумья.

Казалось, ещё вчера имел я счастье встречаться и беседовать с Валентином Григорьевичем... И по прошествии нескольких лет никак не могу поверить, что его нет среди нас. То, что мне его очень не хватает, — встреч с ним, разговоров, писем, просто дружеского общения — полбеды. Распутина очень не хватает России на её непростых исторических путях.

\* \* \*

В пору, когда Валентин Григорьевич работал над повестью “Мать Ивана, дочь Ивана”, нам как-то довелось с ним неспешно прогуляться по парку в Доме творчества Переделкино. Остановились около пруда. Погода была прекрасная — легкий морозец, ни ветерка.

— Эдуард, — обратился ко мне Распутин. — Я заметил, что ты, когда приезжаешь в Переделкино, обустриваешься в старом двухэтажном корпусе. Но ведь там, в номерах, нет условий проживания таких, как в новом корпусе. Может, тебе не хватает денег снять номер? Так я помогу!

От такого вопроса-предложения я немного растерялся, но решил ответить, как есть:

— Видите ли, Валентин Григорьевич, в старом корпусе даже стены пропитаны, намолены присутствием в них в разное время великих писателей... Они здесь жили, общались, работали над своими знаменитыми произведениями, подходили к телефону около дежурного и вели разговоры с родными, издательствами, редакторами. А в новом корпусе, признаюсь, хоть и условия хороши, да вот того писательского духа нет, который бы подзаряжал творческой энергией.

Валентин Григорьевич задумчиво улыбнулся:

— А ты, наверное, прав... Вот ты сказал про великих писателей прошлого, а я вспомнил Читку и давний-предавний семинар молодых писателей Сибири и Дальнего Востока, где мы с тобой познакомились. Там тоже было немало выдающихся писателей...

Наши с Распутиным добрые отношения имеют своим истоком ту нашу первую встречу в Чите уже более полувека назад. Порой некоторые писатели,

зная нашу с Валентином Григорьевичем дружбу, косились, мол, Анашкин, видимо, Распутину надоедает, пытаюсь просочиться на страницы журналов. Но честно скажу, мне и в голову никогда не приходило просить его помочь мне напечататься. Пересеклись мы как-то в Правлении Союза писателей России на Комсомольском проспекте, на втором этаже, около приёмной. Поздоровались, пожали друг другу руки. “Как дела? – спросил Распутин и вдруг поинтересовался: – А где новая рукопись? С собой?”

Рукопись у меня была с собой. Кто из нас, писателей-провинциалов, приходя в главное писательское Правление, не берёт с собой свои произведения в надежде: а вдруг да случится познакомиться с редактором издания, которому как раз в это самое время ты позарез нужен со своими “нетленками”! Я протянул Распутину папку с рукописью.

– Посмотрю, скажу своё мнение, – сказал Распутин и начал спускаться по лестнице на первый этаж, на ходу добавив:

– Время и желание будет, приходи ко мне домой. Всегда рад встрече. Надеюсь, найдёшь, не заблудишься.

Заблудиться я не побоялся, а вот опасение показаться навязчивым оказалось. На квартиру Валентина Распутина в Староконюшенный переулок я пойти не осмелился.

Возвращаюсь домой в Самарскую область. Через несколько дней после возвращения домой от Распутина звонок: “Ты почему не пришёл ко мне? Я разыскивал тебя в Переделкино, не нашёл, сказали, что уехал. К твоей новой книге я написал короткое предисловие. Когда получишь письмо, позвони, если с чем-то не согласен. Буду ждать звонка. Смотри, не зазнайся у себя в деревне (в трубке раздался смех). Светлане Ивановне очень понравились твои рассказы, она даже плакала”. Может, и нехорошо в том признаваться, но услышав слова о том, что фактически я довёл до слёз Светлану Ивановну, я обрадовался!

Подумалось, что, наверное, не со мной одним как автором он поступал, как врач, главная заповедь которого “Не навреди”. Памятно мне одно письмо от Валентина Григорьевича от 28 ноября 2001 года: “Вполне может быть, что моё суждение о рукописи Вам не понравится. В таком случае, откажитесь от него, а с моей стороны никаких обид быть не может. Повредить Вашей книге было бы для меня неприятно...”

Вообще каждое его письмо становилось для меня событием. Вот цитата из письма от 5 июня 2002 года из Иркутска: “Очень виноват перед Вами за молчание. Свой юбилей (тогда Валентину Григорьевичу исполнилось 65 лет. – Прим. авт.) праздновали с вашим гостинцем – степным мёдом во главе стола. 15–16 марта уже у меня были тяжёлые, я уже 17-го отправился на поезде в Иркутск. Дома пришёл в полную негодность и два месяца не подходил к письменному столу ни для “художеств”, ни для писем. Забросил всё, даже деловую переписку, так мне достаётся Москва. Полная психическая немощь. Только теперь начинаю с трудом отзываться на своё существование, виноват перед многими за своё “небытие”, но что делать!.. И ещё одно: когда дойдёт дело до книги, для которой я писал свои два или три листочка, дайте мне, пожалуйста, знать предварительно. Чтобы я мог свои листочки посмотреть...”

До чего обаятельны были распутинские письма – добрые и самоироничные, талантливые, краткие, но такие ёмкие по смыслу: “Я в своём духе, то есть умею надолго пропадать. Наконец, недостающие строчки для начала предисловия отправляю. Что выбрасывается, пометил. Удач Вам! В. Распутин”.

И вот на излёте 2002 года Самарское отделение Литературного фонда России выпустило мою книгу “Запрягу судьбу я в санки” с предисловием Валентина Григорьевича, которое называлось “На добро – добром!” Привожу его полностью вовсе не из авторской гордыни, а затем, что в этих строчках живёт взгляд нашего классика на непростую жизнь народа, из гуци которого он никуда не выходил, а жил в народе и потому стал народом любим. А я что? Я лишь один из представителей русского народа, которому повезло познакомиться и общаться с Распутиным. Вот что он написал:

“В этой книге всё, казалось бы, просто и нарочно обыденно. Простые люди, простые характеры и жизнь как жизнь, без стремительных и оглушительных подъёмов и падений. И пишет автор простодушно и незатейливо, обыденно, но и бережно, как-то по-отцовски вникая в каждую предложенную судьбу. И герои его не врываются в читательский мир, а входят с осторожностью, как

и полагается гостям, и уж после неторопливого общения появляется к ним дружеское расположение. В литературе, кроме техники письма и степени доверия к героям, есть ещё одна составляющая, от которой ничуть не меньше зависит конечный результат. Техника может быть безупречной, события могут происходить, как наяву, в самой естественной, не вызывающей подозрений форме, но у читателя, тем не менее, доверия к происходящему не будет. Он станет наблюдать за ними как бы со стороны, не решаясь войти внутрь и отдаться сопереживанию, потому что книга, в которую его приглашают, по профессиональным качествам котирующаяся высоко, написана холодным сердцем. В ней нет ни тепла, ни уюта, ни дружеского расположения, там по душам не поговоришь и душу свою не полечишь.

Эта книга написана бывшим детдомовцем, и вся она — от начала до конца — посвящена им же. Надо ли говорить, что это особого психического склада люди, униженные своим сиротством и оскорблённые той жестокой действительностью, которая с каждым годом всё беспощадней продолжает плодить сиротство. Спасти их может только совокупное добро, получаемое от государства, от воспитателей и учителей, от окружающих и от таких же, как они, покинувших детдомовские стены прежде. Ни воз гуманитарной помощи со сниккерсами и кока-колой, доставленной из Америки или Европы, ни компьютер, привезённый богатым дядей, который купил и огородил забором пустошь за холмом, где детдомовцы собирали грибы для общего стола, ни пакеты со сладостями, выпадающие раз в год, и ни бесплатный Дед Мороз к Новому году не помогут им смягчить боль своей раненой души. А повсеместное и сознательное наше родительство, не скупающееся на ласковое слово и поощрительный взгляд, деликатная поддержка, целительное внимание, охранение от зла. По отношению к ним не должно быть чужих и посторонних. Все мы вольно или невольно виноваты в их сиротстве.

В этой книге из всех литературных достоинств есть самое главное — она удивительно добра. Добра, в некоторых случаях может показаться, даже чересчур: добро неестественно, неоправданно, несовместимо с тем, во что сегодня превратилась Россия и во что превратился в ней человек. Но вот вопрос: разве может быть где-то, в том числе и в литературе, излишнее добро? И как это — много? Разве мы уже, как у Достоевского в рассказе “Сон смешного человека”, всё зло преодолели и погрузились в сияющую, как солнце, нравственную гармонию? Напротив, мы погрязли в зле, у нас огромная, бесперебойно работающая идеологическая система, вырабатывающая зло. И за всякий лучик добра мы хватаемся, как за спасение.

А вот герои книги Эдуарда Анашкина живут добром так же естественно, как все мы дышим воздухом, — и никаких! “А всё-таки она вертится!” — сказано было одним упрямым о нашей планете, считавшейся в его пору центром Вселенной. “А всё-таки добра больше!” — с тем же упрямством уверяет автор этой книги. И что бы вокруг него ни говорили, какие бы ни вели подсчёты, а он прав. Без любви к человеку и без веры в него жизнь теряет всякий смысл. Проверим же ему. В любой области человеческой деятельности, если она терпит крушение, начинать следует с азов. И всюду эти азы — одно: любовь и вера. Валентин РАСПУТИН”.

\* \* \*

Конечно, сразу же после выхода книги я отправил одну с дарственной подписью Распутину. А 19 января 2003 года, в день Крещения Господня Валентин Григорьевич пишет мне письмо: “Поздравляю Вас с выходом книги; это всегда событие для писателя из глубинки, а для Вас, должно быть, событие вдвойне, потому что уж очень с большими трудностями она выходила. Это-то ладно, и вышла, казалось бы, и хорошо, но что-то уж очень поскупились с тиражом. Что это за тираж — 500 экз.! Ох, и комментировать не хочется! Я искренне рад рождению Вашей книги. Это хороший Ваш новогодний подарок. Будьте здоровы и новых Вам книг!”

Видимо, с лёгкой руки Распутина моя книга пошла по России. Иначе как же она попала к главному редактору журнала “Литература в школе” Надежде Леонидовне Крупиной? Хотя уточнять этот вопрос я не стал ни у Валентина Григорьевича, ни у Надежды Леонидовны, а только однажды получаю банде-

роль, в которой несколько номеров журнала. Начал перелистывать страницы и обомлел: мой рассказ “Вовкин поцелуй” журнал не только опубликовал, но по этому рассказу, оказывается, во многих школах России прошли уроки. И учителя средних школ на страницах журнала делились своими впечатлениями о них.

Позже многие рассказы из сборника “Запрягу судьбу я в санки”, крёстным отцом которого стал Валентин Григорьевич, были напечатаны и в других столичных журналах: “К единству!”, “Россия молодая”, “Наша улица”. Уверен, что именно предисловие Валентина Григорьевича Распутина к этой моей книге проложило ей такую широкую дорогу к читателю!

\* \* \*

Валентин Григорьевич был настоящим русским интеллигентом. За все годы нашей дружбы я не слышал от него ни одного скверного слова. Помнится, однажды после ужина в Переделкино я провожал Распутина до нового корпуса. О чём-то разговорились и я, возмущённый несправедливостью по отношению ко мне персонала, загнул по-русски. Валентин Григорьевич вдруг резко остановился, поднял голову, и я увидел его глаза, испытующе глядящие на меня:

— Эдуард, никогда не пачкай душу об эти слова. У нас такой богатый язык. Следи за своей речью. Не забывай, что ты писатель!

Его удивительный талант, конечно, не мог оставить равнодушным никого. Одни его пламенно любили, другие писали на него доносы за его гениальные, но якобы “антисоветские” повести. Когда начальник политического управления Советской армии и Военно-морского флота А. А. Епишев узнал о повести Распутина “Живи и помни”, то запретил подписку на опубликовавший эту повесть журнал “Наш современник” для библиотек воинских частей.

Известный русский поэт-иркутянин Владимир Скиф вспоминает о Валентине Распутине: “За чаем (этот разговор произошёл на даче Распутиных в порту Байкал. — *Прим. авт.*) я спросил у Вали: “Я знаю, что тебе пишут очень много доброжелательных и восхищённых писем. А есть ли письма, в которых тебя ругают?” — “Случается”, — коротко ответил он... Однажды пришло просто разгромное письмо. Это было как раз после публикации повести “Живи и помни”. В нём автор разносил Распутина в пух и прах, грозился обратиться с письмом в соответствующие органы за подрыв советской идеологии и с просьбой, чтобы его наказали за разрушительную работу против СССР. “И что? Ты ответил?” — коротко спросил я. “А зачем?” — Валя замолчал. “А подпись? Подпись была? И кто автор письма, он указал — кто он?” — “Некто Иванов Николай Петрович, фронтовик, орденоседец”. — “Тебе, наверное, стало худо от этого письма...” — “Было, конечно, очень неприятно. Но потом я привык. Такие письма теперь для меня не редкость”. — “Да, странно. — “Ничего странного. Мне-то понятно, кто водил рукой того же Иванова”. — “А где это письмо?” — “Я выбросил. Я всё выбрасываю...””

\* \* \*

Когда в ноябрьском номере журнала “Наш современник” за 2003 год была опубликована повесть Валентина Григорьевича “Дочь Ивана, мать Ивана”, то очень точно высказался заслуженный деятель искусств России, академик РАЕН, искусствовед, историк, писатель, лауреат многих наград Савва Васильевич Ямщиков: “Читая о дочери и матери Иванов, я отчётливо понял, откуда глубокие борозды и тени на лице их создателя. Пропустить через себя такие коллизии не каждому под силу. Уверен, что критики немало слов напишут о новой распутинской повести. Наиболее шустрые враз прорезались. С лёгкостью необыкновенной вездесущий Дм. Быков, не поняв и малой доли многоосмыслённости классического сочинения, успел уличить писателя в “русифильстве” и свысока поучить “товарища по цеху” уму-разуму!” Прав оказался Савва Васильевич Ямщиков!

Сначала, после публикации новой распутинской повести, воцарилась тишина, как всегда она воцаряется после редкого в море разлитанном лжи правдивого слова. А затем начинается. И по нарастающей. Не только в столице!

Судили-рядили об этом новом детище Распутина все, кому не лень. Местные писаки, ничтоже сумняшеся, сравнивали Валентина Григорьевича с местными гениями, а в каждом регионе эти местные-поместные, как известно, свои. Попутно вспоминали предыдущие повести Распутина, особенно “Живи и помни”. Даже сибиряки не остались в стороне – тоже захотелось лягнуть выдающегося коллегу-земляка, видимо, за то, что “посмел” стать классиком при жизни.

Так, некий никому не известный далее города проживания (Черемхово) Александр Серёдкин в статье “Предательство возвели в ранг доблести” (“Литературная Россия”, № 13 от 31.03.2006 года) пишет о фильме “В круге первом” Глеба Панфилова, экранизовавшего в десяти сериях роман Солженицына: “Книги Солженицына читают немногие. И он решил наверстать не мытьём, так катаньем, чтобы донести до граждан поверженной России ...невыстребованные тома сериалами”. Я не большой поклонник идей и творчества Александра Солженицына. Но пресловутый Серёдкин зачем-то попутно не преминул лягнуть Распутина, проводя, мягко говоря, сильно натянутую параллель между творчеством Солженицына и Распутина, писателей, несопоставимых по уровню художественного таланта. И литературная Самара, увы, не осталась в стороне в попытке низвержения Распутина. Одна из самарских газетёнок (потому что уважаемые газеты вряд ли позволяют себе такое неуважение к признанному во всём мире классику), рассказывая об экранизации режиссёром Прошкиным повести Валентина Распутина “Живи и помни”, назвала распутинскую повесть “непопулярной”... Как говорится, хотели обидеть, а получилось наоборот, если учесть, что сегодня популярны лишь вышедшие в тираж безголовые певцы и певички.

Но это я сейчас, по прошествии лет, понимаю умом всю глупость самарских “популистов”. А тогда так меня задело это интервью самарской журналистки со столичным режиссёром Прошкиным, что не смог я промолчать, написал статью “Популярно о непопулярном”, отправил на сайт “Русское воскресенье” Союза писателей России.

#### “ПОПУЛЯРНО О НЕПОПУЛЯРНОМ

Стыдно за самарское околотературное хамство

С печалью приходится констатировать: околотературный моськизм, когда местечковые “журналюшки” считают хорошим тоном гавкать на прижизненных всероссийских писателей-классиков, стал одним из принципов самарской журналистики. Намедни одна из самарских “жёлто-бульварных” газет\*, рассказывая об экранизации режиссёром Прошкиным повести Валентина Распутина “Живи и помни”, назвала повесть “непопулярной”. По всему видно, что определением “непопулярная” горе-журналистка Татьяна Си...кова, яко моська слона, хотела укусить современного русского классика Распутина. Но не подрассчитала силёнок и попала впросак. Впрочем, о чём я? Где Распутин и где эта “жёлтая” газетка, коих в одной Самаре многое множество?! Видимо, обаяние популярности, помноженное на одичание поп-культурой (культурой поп, как её ещё называют), среди журналистов дошло до такой степени, что они уже не в силах отличить хулы от хвалы. По себе, бедолаги, судят! Но разве уважающего себя и своих читателей художника может порадовать принадлежность его творчества к “культуре поп”? Не буду называть имя “популярной” газеты (на которую почему-то на селе заставляют подписываться в добровольно-принудительном порядке!). Не буду порицать иных особой местной журналистики. Сам я одно время работал в газете и знаю, как легко отупеть на журналистской работе, которая приучает человека к цинизму и поверхностности суждений. О каких приоритетах можно говорить, когда пресловутая газетка пафосно пишет о проводимом их редакцией среди сотрудников и авторов газеты чемпионате по пьяным шашкам и даже называет имя победителя чемпионата по пьяным шашкам, не понимая, что тем самым дискредитирует человека подобной “похвалой”.

Странно мне только, что сия газета, которая кормится с руки государства в лице областного правительства Самарской области, считает при этом хорошим тоном лягать это же государство в лице президента России, который

---

\* Татьяна Симакова “Очень немодное кино” / Газета “Волжская коммуна”, № 130 от 14.04.09.

в 2004 году наградил “непопулярного писателя” Валентина Распутина премией президента. Но странностью у нас сегодня в России предостаточно, никакого Салтыкова-Щедрина не хватит, чтобы их описать! Позабавило в этом материале, посвящённом самарской премьере фильма по повести Распутина “Живи и помни”, интервью режиссёра фильма Александра Прошкина. Сразу скажу – точность этого интервью, якобы данного Прошкиным газете, оставляю на совести пресловутой “популярной” журналистки Татьяны Си...ковой. Цитата из Прошкина: “У Распутина вообще много литературщины, которую в фильм нельзя ставить. Повесть ведь очень принадлежит своему времени, невозможно сегодня читать её...” Подивил режиссёр, так подивил! Снял кино, а о чём оно, так и не понял! Разве предательство, являющееся основным предметом художественного исследования распутинской повести, не вечно на нашей земле? Господин Прошкин, да оглянитесь же вокруг! Тотальное предательство стало едва ли не нормой жизни современной России. Президент Медведев едва ли не за голову берётся, когда говорит о неискоренимой коррупции в России. А коррупция – это то же предательство государственных и национальных интересов! Да если бы только коррупция была ныне единственной формой предательства на Руси!.. Далее популярный режиссёр, экранизовавший “непопулярную” распутинскую повесть, якобы говорит “популярной” журналистке: “Вообще я стараюсь с авторами не общаться и предпочитаю экранизировать произведения уже мёртвых писателей...” Конечно, куда как легче режиссёрам иметь дело с покойными гениями! Покойные классики смолчат и не смогут отстоять своё детище – это нам показала недавняя премьера “Тихого Дона”... Насколько полнокровен “Тихий Дон” Сергей Герасимова, подбирать актёров для которого помогал сам Михаил Александрович Шолохов, настолько же выхолощен “Тихий Дон” Бондарчука... Я вообще уверен: чтобы экранизировать классику на должном уровне, надо быть режиссёром, который по таланту как художник сопоставим с экранизируемым писателем. Гениального писателя должен экранизировать гениальный режиссёр, иначе будет ситуация, когда сапожник пытается судить произведение искусства “выше сапога”, налагая свои “сапожные” критерии на понятия художественности.

По иронии судьбы кинокартина Прошкина по “непопулярной” повести Валентина Распутина “Живи и помни” получила Гран-при как лучший фильм 15-го Российского кинофестиваля “Литература и кино” в Гатчине. Операторы Геннадий Карюк и Александр Карюк награждены специальным призом фестиваля за лучшую операторскую работу. Роман Дормидошин отмечен призом жюри имени композитора Андрея Петрова за лучшую музыку. Но вряд ли бы хороший фильм состоялся, не будь изначально хорошего литературного произведения, положенного в его основу. Даже либеральная кинематографическая “тусовка” не смогла при всём желании замолчать фильм по гениальной “непопулярной” повести Распутина “Живи и помни”. Фильм получил сразу несколько призов на фестивале “Тэффи” у Михаила Швыдкого... Короче, фильм высоко оценили и красные, и белые, и почвенники, и либералы – все, но только не самарская бульварная газетка! Я считаю себя писателем-почвенником, поскольку всю жизнь живу на этой самой русской почве и тем горд. Чтобы посмотреть фильм, вынужден был купить видеодиск. После просмотра, положив руку на сердце, не могу сказать, что прошкинская экранизация достойно выдержала конкуренцию с гениально самодостаточным распутинским текстом. Это тема отдельного разговора о том, насколько вообще нынешние режиссёры способны подняться до уровня экранизации “непопулярной” классики. Возможно, если бы я смотрел фильм на широком экране, он бы мне понравился больше. Но если впечатление от фильма кардинально зависит лишь от размера экрана, то... Знаю одно: если встанет вопрос, что лучше – посмотреть фильм или перечитать повесть, однозначно предпочту второе!

Валентин Распутин категорически непопулярный писатель. Само сопоставление Распутина и популярности кажется смешным. Не придёт же нам в голову поверять критерием популярности наследие прижизненных классиков Габриэля Гарсиа Маркеса или Мориса Дрюона! К ним можно отнести немало эпитетов, но эпитет “популярный” будет едва ли не последним в этом ряду. Оставим популярность голосистым певичкам, сочинительницам дамских романов да журналюшкам “жёлтых” провинциальных газеток. Популярность преходяща. Приходят и уходят идеологии, мировоззрения, президенты. А “непопулярная” классика переживает всех. И повесть Распутина о таком

непреодоляем, увы, явлению, как предательство, останется в веках, потому что помогает нам постичь суть этого явления. Что касается Распутина, то категорически не может быть “популярным”, как червонец, писатель – Герой Социалистического Труда, имеющий два ордена Ленина, орден Трудового Красного Знамени, орден “Знак Почёта”. Писатель, впервые лауреатом Государственной премии ставший ещё тогда, когда наша страна называлась СССР. И ставший лауреатом именно за “непопулярную повесть” “Живи и помни”! Спустя десять лет вновь Распутин – лауреат Государственной премии. Менялись властители, режимы, идеологии – на смену партократам пришли демократы. В 2004 году, как я уже упоминал выше, Валентин Распутин был награждён премией президента России. В марте 2007 года президент Путин наградил Валентина Григорьевича орденом “За заслуги перед Отечеством”... Можно долго перечислять награды “непопулярного” Валентина Григорьевича Распутина. Но сам он не любил этих перечислений. А я по опыту своего с ним общения знаю, что наиболее высоко наш классик ценил Международную премию имени Фёдора Михайловича Достоевского – куда более скромную в материально-финансовом выражении, нежели другие его премии, но зато освящённую именем “непопулярного” Достоевского. Того самого Достоевского, который несколько лет назад был так гениально экранизирован режиссёром Бортко. И не помешали режиссёру Бортко, который поставил “Идиота”, сделать гениальный фильм пространные монологи, что произносятся героями Достоевского. Может, режиссёру Прошкину лучше не гоняться за призрачной популярностью, а у режиссёра Бортко поучиться умению понимать и ставить классику?

Зачем я пишу эту статью? А затем, что стыдно за родное самарское околотературное хамство и проистекающее из этого хамства стремление своим региональным обывательско-бульварным аршином измерять явления всероссийского и всемирного масштаба. Так ведь и аршин сломать недолго”.

\* \* \*

Когда статья была напечатана на сайте “Русское Воскресенье”, я получил много писем и отзывов со всей России, авторы которых горячо меня благодарили. Неожиданно откликнулся и Валентин Григорьевич:

“Дорогой Эдуард! Спасибо за поддержку в Самаре моей работы и моего имени. От Симаковых никуда не деться. Эти безграмотные и подловатые люди для того и существуют, чтобы защищать дурное и набрасываться на иное. За последние десятилетия в России расплодилось столько Татьян Симаковых, что как-то и стыдно иной раз становится за Россию. С них, как говорится, взятки гладки. Но меня удивил так называемый режиссёр Прошкин. Кто его, интересно, заставлял брать мою повесть “Живи и помни”? Кстати, текст её от начала и до конца должен быть мой, если Прошкин не напортил что-нибудь. Не годился он для Прошкина – зачем брал, кто его заставлял? Меня это удивляет больше всего. Коли взял, да ещё по своей воле... Ты и только ты несёшь ответственность за неё. Эта Татьяна Симакова и подобные ей могут говорить о ней всё, что угодно, а ты уже не можешь. Ну их подальше! Всё, что требовалось сказать, ты сказал в своей работе. Я недели через две собираюсь лечь опять в больницу. А затем уже буду собираться в Иркутск. Но это уже ближе к маю. Работа твоя – я имею в виду “Популярно о непопулярном” – серьёзная и о многом говорит помимо моих с Прошкиным отношений. Серьёзная работа. Кланяюсь В. Распутин”.

\* \* \*

Долго думал, а стоит ли, говоря о Распутине, затрагивать тему его личной жизни? Сам Валентин Григорьевич был человеком закрытым, когда речь шла о его семье, публичности не любил. Хотя семья его была едва ли не идеальной. Всю свою жизнь Валентин Григорьевич прожил со Светланой Ивановной, воспитали двух прекрасных детей... Но, говоря о жене Распутина, придётся мне вести речь об Ольге Владимировне Лосевой. Как её только не представляют наши СМИ: “...вторая жена великого писателя Распутина”, “вдова Валентина Григорьевича Распутина” и др...



В книге Андрея Румянцева “Валентин Распутин”, изданной в серии “Жизнь замечательных людей”, в главе двадцать пятой под заголовком “Та, что скрасила трудные годы” говорится так: “После ухода Светланы Ивановны жизнь Валентина Григорьевича оказалась тесно связана с Ольгой Владимировной Лосевой, ставшей впоследствии его второй женой...”

О Светлане Ивановне, хотя она всегда держалась в тени своего великого мужа, говорить не стану. Её знают все писатели как верную музу Распутина. А вот об Ольге Владимировне Лосевой многие, даже из числа коллег, знавших Распутина, слышат подчас впервые. Женщина 1957 года рождения, была замужем за профессором Евгением Владимировичем Назайкинским, волжанином из села Новая Малыкла Ульяновской области.

Е. В. Назайкинский родился в 1926 году. Был участником Великой Отечественной войны. Он известный музыковед, доктор искусствоведения. Ольга Владимировна приехала учиться в Москву из Подмосковья – города Ногинска. В 1975 году окончила музыкальное училище при Московской консерватории. В 1980 году закончила своё образование непосредственно в самой государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Руководителем класса Ольги Владимировны был профессор Е. В. Назайкинский. У молодой девушки вспыхнула любовь к профессору, а затем она переступила порог квартиры Евгения Владимировича в качестве супруги. Так и прожили они до 3 апреля 2006 года, когда умер её муж. Их долгий брак был бездетным.

Многие музыканты не могли не заметить, что, когда Ольга Владимировна вышла замуж за профессора Назайкинского, её карьера стремительно пошла по восходящей. Защита кандидатской диссертации, стажировка в Вене. Потом она стала лауреатом Шумановской премии ФРГ, доцентом теории музыки, заведующей редакционно-издательским отделом консерватории и одновременно старшим научным сотрудником отдела современного западного искусства государственного института искусствознания.

С семьёй Распутиных Лосева познакомилась благодаря их дочери Марусе. В 1990 году дочь Валентина Григорьевича и Светланы Ивановны Распутиных Мария закончила Иркутское училище искусств и поступила в Московскую консерваторию, где среди её преподавателей был Евгений Владимирович Назайкинский. Не хотелось бы лишний раз вспоминать страшную трагедию крушения самолёта в Иркутске, где погибла Мария Распутина, но вспомнить придётся, потому что Ольга Владимировна Лосева всюду позиционируется как любимый педагог Марии Распутиной. Однако на похоронах Маруси, Марии Распутиной, Ольги Владимировны Лосевой почему-то не было.

12 октября 2010 года Распутины венчались в храме в честь иконы Божьей Матери, именуемой “Касперовская”, расположенном рядом с Князе-Владимирским храмом, в лесочке, по улице Лесная, 145. Таинство венчания совершил протоиерей Алексей Серединов.

В конце сентября 2013 года я принял участие в работе замечательного праздника “Дни русской духовности и культуры” в Иркутске. Однажды, когда гости завтракали в гостиничном комплексе “Русь”, пришёл Валентин Григорьевич Распутин. Накануне по телефону мы с ним договорились встретиться. Распутин сел на кожаный диван, я присел рядом. Валентин Григорьевич, это уже было заметно, очень изменился, измученный борьбой с недугом, он, и без того никогда не отличавшийся лишним весом, ещё более похудел. Глаза были усталы и печальны.

Я спросил:

– Валентин Григорьевич, а почему вы венчались со Светланой Ивановной в храме Касперовской иконы Божьей Матери на окраине города, а не в своём любимом храме Михайло-Архангельском, рядом с домом, где вы живёте?

– Это наше со Светланой Ивановной общее решение. Венчаться в Москве мы не захотели, решили совершить таинство на родине, на иркутской земле. Да, старинная Михайло-Архангельская, её ещё называют Харлампиевская, церковь рядом, мы её любили. Немногие знают, что в этой церкви венчался и Александр Колчак. Я видел в церкви запись о бракосочетании в марте месяце 1904 года лейтенанта флота Александра Васильевича Колчака с дочерью действительного статского советника, потомственной дворянкой Подольской губернии Софьей Фёдоровной Омировой.

– Мы с женой, – продолжал Валентин Григорьевич, – не хотели, чтобы на нашем семейном празднике присутствовали журналисты, фотографы.

Они бы сделали из этого, Эдуард, шоу. Потому всё произошло скромно, похорошему и, главное, тихо...

15 марта 2012 года, в день 75-летия Распутина, Валентин Григорьевич и тяжело больная Светлана Ивановна покинули Москву, вернулись в Иркутск. Светлана Ивановна покидала Москву навсегда. Валентин Григорьевич старался всё время проводить с женой. Когда наступили самые трудные дни, вообще не отходил от постели жены. И, конечно, постоянно рядом со Светланой Ивановной кто-то был: то младшая сестра Евгения Ивановна, то сын Сергей, то сноха Елена. Сыну со снохой досталось больше всех.

— Нам не удалось добиться, чтобы Светлане Ивановне, — вспоминает Евгения, — выписали сильнодействующие препараты, говорили, что это возможно только в хосписе...

Спрóсите, к чему я так подробно описываю последние недели жизни Светланы Распутиной? А потому, чтобы читатель понял: о помощи и уходе за Светланой Ивановной со стороны Ольги Лосевой, как пишут сейчас многие СМИ, не может быть и речи.

Скончалась Светлана Ивановна 1 мая 2012 года, в день рождения своего отца — известного сибирского поэта, первого Председателя иркутского отделения Союза писателей СССР Ивана Молчанова-Сибирского. Отпели её в Богоявленском соборе областного центра 4 мая. Похоронили рядом с дочерью Марией на Смоленском кладбище.

Именно с момента смерти жены стала заметно прогрессировать болезнь и у самого Распутина. Он проходил курсы лечения в больницах Иркутска и Москвы.

“Валентин, — считает крёстная Распутина Р. А. Григорьева, — знал, что у него рак, проходил курс химиотерапии, но считал делом чести оформить союз. И она (Ольга Лосева. — Прим. авт.) продлила ему жизнь”.

И ещё крёстная добавляет: “Света дала напутствие (О. Лосевой), чтобы та ради Бога не оставляла Валентина. “Как было бы хорошо, если бы ты взяла на себя и писательский архив”.

Именно это последнее обстоятельство было главной причиной оформления отношений: кто будет владеть правами литературного наследия.

\* \* \*

Позволю себе немного хронологии из моего дневника. Вот что вспоминает друг Распутина — охотовед-биолог, предприниматель, меценат Николай Васильевич Терещенко из города Тулуна Иркутской области. Николай Васильевич прислал мне свои воспоминания о встречах с великим писателем земли русской: “У меня есть фотография с Валентином Григорьевичем за полгода до его смерти. В сентябре 2014 года мы с ним созвонились. “Я в больнице лежу”, — сказал мне Распутин. Набрал гостинцев — сок, фрукты — и к нему. Взял он пакет с гостинцами. Я ему предложил: “Давайте на память сфотографируемся”. Тогда я не знал, что эта фотография с ним окажется последней. На фотографии хорошо видно, что рубашечка на нём застёгнута неровно. Мы посидели с ним в вестибюле, поговорили. Он мне признался: “Я, Николай Васильевич, ничего не помню. Сосуды головного мозга совсем отказали. Ничего не помню. Лечат меня, системы ставят, только улучшения нет”.

Сравниваю эту запись со своими дневниковыми.

“9 октября. Разговаривал по телефону с Валентином Григорьевичем. Сразу же после выписки из иркутской больницы и по приезде в Москву он попадает в столичную клинику.

15 октября. Распутин: “Эдуард, ничего не помню. Голова не работает”.

25 октября. Опять позвонил Распутину, но он ещё в больнице.

23 декабря. На мой звонок ответила внучка Антонина, пригласила Валентина Григорьевича. “Эдуард, прости, у меня гости. Позвоню сам”.

27 декабря. Распутин выполнил своё обещание (внучка напомнила). Поздравил с наступающим Новым годом. Жалуется на страшную головную боль и потерю памяти. Спросил меня про статью о читинском семинаре молодых писателей: “Пришли мне, посмотри, добавлю фотографии к материалу...”

Последний раз я дозвонился до Распутина 21 февраля, в субботу. Ответил женский голос (но это была не внучка): “Что передать Валентину Григорьевичу? Он говорить не может, болеет сильно...”

Невольно возникает сразу несколько вопросов. В какой загс Москвы тяжело больной Валентин Григорьевич Распутин за три месяца до смерти привёл Ольгу Лосеву? Кто был свидетелями со стороны жениха и невесты? Зачем Ольга Владимировна Лосева привезла Распутина жить к себе за три месяца до его смерти, фактически вырвав тяжело больного человека из привычных ему годами условий? Почему все три месяца после заключения брака Валентина Распутина и Ольги Лосевой известие об этом браке находилось в тайне? Почему о женитьбе Распутина не знали даже родственники Распутина?.. Ох, как хотелось бы получить ответ на многие вопросы, касающиеся судьбы и творческого наследия русского классика!

\* \* \*

Немного отвлекусь от грустного, чтобы вспомнить о праздновании Дней духовности и культуры “Сияние России-2016” – праздника, обязанного когда-то своим появлением на свет несколько десятков лет тому назад Валентину Распутину. Получив приглашение на этот литературный праздник, я, не раздумывая, дал согласие на участие в нём.

Вот уж праздник так праздник! Мы, писатели России, вместе с иркутскими товарищами по перу проводили встречи с общественностью, школьниками, студентами. Побывали вместе с творческим коллективом иркутской филармонии на родине В. Г. Распутина – в посёлке Усть-Уда. Восхитились концертом “Встань за веру, русская земля” заслуженной артистки России, замечательной певицы Татьяны Петровой, посетили литературные места в посёлке Листвянка, были на месте гибели Александра Вампилова. Большая работа по подготовке и проведению праздника проделана иркутским отделением Союза писателей России и лично Владимиром Петровичем Скифом.

Особенный душевный подъём вызывали встречи с иркутянами и сибиряками. Однажды после обеда мне в номер позвонил дежурный и попросил выйти в холл гостиничного комплекса, сказав, что меня ждут посетители. Подумал, что это кто-то из читателей или коллег. Я был изумлён, увидев красивую женщину и молодого мужчину с роскошным тортом в руках. Это оказалась известная иркутская модельер, ученица знаменитого Вячеслава Зайцева Людмила Васильевна Карелова и её сын Руслан, известный скульптор и ваятель ледяных фигур. Огромный именной торт гласил: “Эдуарду, дружески, с надеждой на встречу в Иркутске”.

“Вы не удивляйтесь, – сказала женщина. – Я прочитала вашу статью о нашем любимом земляке Распутине. Вы в ней приводите автограф на подаренной вам книге “Прощание с Матёрой”, выпущенной к его 75-летию издательством Геннадия Сапронова у нас в Иркутске. И я испекла этот торт и перенесла на торт этот автограф. Торт из измельчённой иркутской черёмухи. Примите его, пожалуйста, вы же сибиряк, и этот торт передаст вам запах и вкус Сибири”.

Проговорив это, хозяйка кулинарного чуда вручила мне этот дар, взяла сына под руку, села в машину, да и была такова. Вконец изумлённый, я даже не помню, успел ли её поблагодарить?.. Так и остался стоять, как вкопанный, с тортом в руках, где кремом был нарисован один из распутинских автографов...

\* \* \*

В понедельник, 26 сентября 2016 года, мы, писатели, должны были посетить некрополь Знаменского монастыря, побывать на могиле В. Г. Распутина, где должно было состояться открытие памятника. Накануне вечером я заказал букет бордовых роз, чтобы возложить их на могилу Валентина Григорьевича. Перед отъездом мне в гостиничный комплекс “Русь”, где проживали писатели, букет цветов был доставлен.

Народу в некрополе собралось много. Удалось лишь мимоходом пообщаться с сыном Валентина Григорьевича – Сергеем, младшей сестрой по-

койной Светланы Ивановны Евгенией Молчановой... Когда владыка Ангарский и Иркутский Вадим закончил службу, и с памятника упало покрывало, я немного оторопел: на могиле стоял огромный, из серого камня, крест, более похожий на европейский, нежели на православный – тот православный деревянный крест, который прежде стоял на могиле Валентина Григорьевича Распутина. Многие переглянулись и опустили головы. Знаю, что работу по изготовлению креста оплатил сын Распутина Сергей. Сумма немалая. А вот кто автор проекта памятного креста русскому классику Распутину, так и не удалось узнать. Впрочем, если мы говорим о памятнике, то лучшим памятником великому печальнику земли русской Валентину Распутину стали его прекрасные книги о России, написанные с такой правдивостью, что порой вызывали яростные споры, как всегда вызывает яростные споры русская правда, сказанная с гениальной простотой.

Я рад, что мне удалось довести в целостности и сохранности бюст Распутина, вылепленный заслуженным художником России, московским скульптором Николаем Селивановым. Теперь этот бюст красуется в Распутинской комнате Иркутской областной библиотеки им. Ивана Молчанова-Сибирского. И у праздника “Сияние России” появилась новая традиция – все писатели-гости расписываются на колонне, что находится в этой комнате. Бюст мне был подарен самим скульптором Николаем Селивановым, знакомым со мной заочно, по моим материалам о Распутине. Хотелось бы немного сказать об этом скульпторе – подвижнике русской культуры. Он автор бюстов всех выдающихся русских писателей – Василия Белова, Василия Шукшина, Владимира Солоухина, Михаила Алексеева... Одних только бюстов Есенина в творческом активе Николая Селиванова 50 работ! Бюст Распутина Селиванов передал мне через нашу общую хорошую знакомую – доцента кафедры филологии Тольяттинского государственного университета Елену Койнову. И эта женщина, тоже немалая подвижница русской литературы, не сочла для себя обузой везти из Москвы, чтобы передать мне, это произведение искусства, впоследствии переданное мной землякам Валентина Григорьевича. Так вот бюст Распутина совершил путешествие по всей России – из Москвы через Тольятти и Самару в Иркутск.

И всё-таки лучшим памятником Валентину Григорьевичу будет наша память о нём. Когда мы открываем его прекрасные книги, наполненные любовью к России и болью за неё, когда перечитываем пронзительные его повести, чтобы жить и помнить то, что завещал нам Распутин своими строками.

ВЛАДИМИР СКИФ

## “С РАДОСТЬЮ ЖИТЬ-БЫТЬ РЯДОМ...”

В моей библиотеке более тысячи книг с автографами авторов. Книги с автографами представляют особый интерес, оттого что появлялись они в разных жизненных обстоятельствах и в разное время, начиная с первых лет моей творческой биографии. Среди многочисленных писателей и немногочисленных артистов, оставивших свои автографы-пожелания, автографы-размышления и даже автографы-стихи, большое число самых досточтимых, самых талантливых и самых известных имён: Виктор Астафьев, Василий Белов, Игорь Шафаревич, Александр Вампилов, Валентин Распутин, Савва Ямщиков, Виктор Лихоносов, Леонид Бородин, Владимир Соколов, Юрий Кузнецов, Николай Дмитриев...

Библиотека моя выросла особенно в те годы, когда книга оказалась в непостижимом дефиците, тиражи печатались огромные, но книг не хватало, весь народ, вся страна читала запоем. В те давние годы почти у каждого россиянина имелась своя, пусть и небольшая библиотека. С 1983 по 1988 год я работал старшим инспектором Иркутского облкниготорга, и как раз в эти годы я смог собрать самую многочисленную и лучшую часть своего книжного собрания.

В 1970 году у меня вышел в свет первый поэтический сборник “Зимняя мозаика”, и тогда же у начинающего поэта Володи Смирнова появились старшие друзья-писатели, поэты и прозаики: Пётр Реутский, Анатолий Горбунов, Альберт Гурулёв, Станислав Китайский, Валентин Распутин... Боже, как мы были молоды! Бесконечно ездили в творческие командировки по всей Иркутской области. Сибирские читатели, зрители встречали нас с восторгом и большим почитанием. Это было великое время, великая страна, великие писатели, эпохальные события, совершенно неповторимые наши поездки, например, по реке Лене до Якутска и обратно, грандиозные выступления на всевозможных площадках, начиная с Братскгэсстроя до Тулунского педагогического училища, от Красноярского тракторного завода до средней школы в селе Едогон Иркутской области, от московского магазина “Поэзия” до детского садика в городе Ангарске.

С тех давних пор у меня стали появляться книги с автографами самых дорогих моему сердцу и уважаемых писателей. Одними из первых книг стали книги Валентина Распутина. Тогда мы с ним ещё не породнились, я был Смирновым, а не Скифом, хотя однофамильцы потихоньку начинали меня терзать, занятные истории, связанные с моей фамилией, уже происходили и порою шокировали не только меня самого, но и моих друзей, о чём я написал в юмористической книге “Писатели улыбаются” и думаю, что напишу ещё.

Полагаю, что автографы Распутина, не только для меня, но и для любого другого человека всегда были интересны, искромётны и по большей части неожиданны.

Знаю некоторых писателей, которые подписывают свои книги одной и той же фразой: “На память и с пожеланием удач”. Автограф-амёба. Автографы Распутина, даже короткие, всегда содержательны, с какой-то едва приметной, светящейся распутинской улыбкой. В 1968 году я демобилизовался из армии, и у меня ещё не было авторских книг, впереди они шибко и не просматривались, но Валентин Григорьевич уже тогда озадачил меня в своём автографе. Вот он — на книге “Человек с этого света. Рассказы” (Красноярск, Красноярское книжное издательство, 1967, 120 стр.):

**“Володе Смирнову займы за свою. В. Распутин. 17.IV–68”.** Кроме этого автографа, у меня хранятся ещё две такие же книги, подаренные другим людям: нашей общей с Валентином тёще Виктории Станиславовне Молчановой и тогда ещё молодому фотожурналисту Виталию Белоколодову:

**“Виктории Станиславне (именно так, видимо, для краткости. — В. С.) на сон грядущий. 25.IV–67. В. Распутин”.**

**“Виталию в странный день книжного базара. Искренне В. Распутин. 5/V–68”.**

Эту книгу Виталий принёс в мою копилку распутинских книг, скорей всего, для его будущего музея.

В 1970 году я наконец-то отдался Вале своей малюсенькой книжницей, вышедшей в серии “Бригада”, и тут же получил в подарок от него выдающуюся повесть “Последний срок” (Иркутск, Восточно-Сибирское книжное издательство, 1970, 248 стр.) со следующим автографом: **“Володе Смирнову с надеждой, что очень скоро он оплатит мне ещё одной книжкой. 21.III–72. В. Распутин”.**

В 1974 году я взял псевдоним и стал печататься под другим именем. Мимо Распутина этот факт не проскочил, и уже следующая книга — повесть “Живи и помни” (М., издательство “Современник”, 1975, 272 стр.), за которую он получил первую Государственную премию, — была подписана мне в апреле 1976 года: **“Володе Смирнову, а также Скифу, с самыми дружескими чувствами. В. Распутин. Апрель 1976”.**

А в июне того же года в Москве, благодаря Валентину Григорьевичу, я попал на шестой съезд Союза писателей СССР, и на второй день съезда пришёл к нему в гостиницу “Россия”. Валя был не в лучшем физическом состоянии. Ещё в Иркутске ему позвонили из Москвы и дали разрешение выступить на съезде. Распутин написал сильную, отчаянно-смелую по тем временам речь, но партийные кураторы речь запретили, и Валя пытался заглушить обиду спиртным. Наутро ему было так плохо, что мне пришлось вызвать “скорую”. Когда я пришёл к нему в номер, друзей-писателей рядом не оказалось, и Валя сам ничего не мог сделать. “Скорая” появилась почти мгновенно. Я находился рядом, и врач сделал всё возможное, чтобы улучшить Валино состояние. Три часа врач не уезжал, и когда Распутину полегчало, он решил отблагодарить доктора и сказал мне:

— Володя, вон из той коробки достань книгу...

Я подал книгу “Живи и помни”, и Распутин подписал её врачу.

Врач, уходя из номера, подошёл поближе к своему знаменитому пациенту и сказал:

— Валентин Григорьевич, хочу вас убедить в одном: кроме вас, вам никто не поможет. **Живите и помните!**

И, наклонив голову, распрощался.

Следующий автограф на книге, которую Распутин назвал “Вниз и вверх по течению” достался не мне, а моей будущей тёще Виктории Станиславовне. В книгу вошли две повести: “Последний срок” и “Деньги для Марии” и очерк одной поездки, давший название книге. Первые две повести были восторженно приняты критикой и читателями, но Валентин Григорьевич уже обдумывал следующую повесть, горькую, выстраданную и в полной мере выдающуюся — “Прощание с Матёрой”. А очерк “Вниз и вверх по течению” был таким предвестием будущей знаменитой повести. Кстати, я до создания Усть-Илимского водохранилища жил целый месяц в Нижнеилимске, разгуливал по будущему дну Усть-Илимского моря, наблюдал снос погостов и по приезде

в Иркутск рассказал о своих впечатлениях Валентину Григорьевичу. Он очень заинтересованно выспрашивал меня обо всём, что я видел и какие картины наблюдал. Итак, “Вниз и вверх по течению” (М., издательство “Советская Россия”, 1972, 304 стр., цена 0.73): **“Виктории Станиславне от души свою последнюю книжку. 8.III–73 г. В. Распутин”**. Понятно, что это была не последняя книжка как таковая, а последняя из вновь изданных на то время.

На книге, изданной в Болгарии, Распутин посвятил своей теще ещё один автограф: **“Виктории Станиславне для изучения языков. Апрель 1976. В. Распутин”**.

Валя с великой любовью относился к своим родным детям – Серёже и Марусе, но также нежно относился к племянникам, коими были наши с Евгенией Ивановной дети, ну и, конечно же, сын брата Гены – Юрий и дети сестры Аги (Альбины).

Наша средняя дочь Даша родилась в ноябре 1977 года, а через год, именно в ноябре, Валя подарил ей в день рождения книгу “Повести: Прощание с Матёрой. Живи и помни. Последний срок. Деньги для Марии” со следующим автографом: **“Дарье в день рождения (самый первый) от дяди Вали в полное самостоятельное пользование. В. Распутин. 2 ноября. 1978”**. Это был первый, неожиданно объёмистый том, вышедший у сравнительно молодого автора (М., издательство “Молодая гвардия”, 1978, 656 стр., цена 2.70).

В 1981 году в издательстве “Советская Россия” у Валентина Григорьевича вышло красивое переиздание книги “Уроки французского” с великолепными иллюстрациями художника Петра Семёновича Сацкого, кстати, моего одногодка, родившегося, как и я, в 1945 году. Иллюстрации были такие живые, что напоминали кинокадры из одноимённого фильма режиссёра Евгения Ташкова. И в то же время отличались некой угловатостью, что свойственно характеру угловатого, стеснительного, но невиданно смыслёного героя раннего распутинского рассказа. Книга – то 1981 года, а автограф на ней появился через семнадцать лет, написанный с какой-то внутренней ритмикой, почти стихами: **“Пора, пора, поэт, учить французский, лишь он, быть может, и поддержит нас. В. Распутин. Сент. 2008”**. Напомню, что рассказ “Уроки французского” посвящён маме выдающегося русского драматурга Вампилова – Анастасии Прокопьевне Копыловой.

1986 год. Начало перестройки. Трепотня Горбачёва о демократии и гласности, о великих переменах в экономике, в жизни страны и общества. Появляются знаменитые провидческие произведения Василия Белова “Всё впереди”, Виктора Астафьева “Печальный детектив”, но самой пророческой и первой в этом ряду была повесть Валентина Распутина “Пожар”, где великий писатель во всю мощь своего неудержимого слова бил в набат, предупреждая всех без исключения россиян о грядущих страшных переменах. Повесть больно ударила многих – и друзей Распутина, которые услышали этот набат, сопереживали вместе с автором “Пожара”, и его оппонентов, визжавших: “Публицистика! Где художник Распутин!” Но он был прав своей космической мудростью и своей земной всеполюющей правдой. Всё сбылось, что он предвидел, даже в тысячу раз явственнее и страшнее, чем предполагал “вперёдсмотрящий” Распутин.

Книга вышла в 1986 году, а автограф на моём экземпляре появился в 1988-м, где уже не за горами маячили “лихие” девяностые: **“В. Распутин. 28.02.1988. Старая книга – как старая жена – не опостылела, значит своя. В. Р.”** (М., издательство “Правда”, 1986, 64 стр., цена 0.45).

В этом же году выходит первый “Библиографический указатель” по творчеству Распутина, в котором, конечно же, собрана малая толика того, что появится во втором указателе, опубликованном издательством Сапронова в 2007 году, где художником-оформителем стала моя внучка Маша Николаева. Достойное пополнение в справочный отдел моей библиотеки. Вот и автограф Распутина это подтверждает: **“Володе Скифу в его справочную библиотеку для разбавления серьёзных указателей. В. Распутин. Сент. 1986”** (Иркутск, Иркутская областная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского. Библиографический отдел, 1986, 192 стр., цена 0.77).

В это первое издание я вклеил рецензию на данный указатель под названием “Энциклопедия жизни” кандидата филологических наук Елены Слабковской и анонс самого Распутина на выход книги “Сибирь, Сибирь...”, напечатанный во втором выпуске бюллетеня ВААП “Книга и искусство в СССР”: “Русская

литература всегда, во все времена, прежде всего, отзывалась на потребности Отечества. Сегодня как никогда остро стоит вопрос о бережливом, рачительном отношении к природе. У каждого свой участок на общем литературном поле, на котором писатель может принести наибольшую пользу. Сейчас я работаю над публицистической книгой о заповедной Сибири. Её составят очерки о природе Байкала, Горного Алтая, Якутии, о старых сибирских городах, таких, как Томск, Тобольск, Иркутск, размышления о памятниках истории и культуры. Условное название книги “Сибирь, Сибирь...” Планирует её к выпуску издательство “Молодая гвардия” в серии “Отечество”.

Книга “Сибирь, Сибирь...” будет переиздаваться много раз, но это первое издание – самое дорогое для меня, поскольку явилось беспримерным открытием многозначного, полнозвучного сибирского мира, его старины и удивительной культуры, как русского, так и других народов, издревле населяющих Сибирь. Ди и автограф Распутина бесценен и дорог для меня и моей семьи: **“Всем Скифам – большим и маленьким, – только с большой и самой большой родственностью. В. Распутин. Март 1992”** (М., “Молодая гвардия”, 1991, 304 стр., цена 12.00).

Удивительное дело, но Распутин даже в автографах относится к себе критически. Даже в книге “Что в слове, что за словом?”, которую я читал с великим наслаждением, копаясь во многих распутинских фразах, изучая их построение, поэтику и философию, пытаюсь раскусить загадку их происхождения и неистребимого сияния мысли. Даже в этой книге он видит, казалось бы, невидимое, то, что его уже не удовлетворяет на новом этапе его мыслительного взлёта и одному ему присущего словотворчества: **“Володе Скифу. Что написано пером – не вырубишь топором, а кое-что в этой книжке хотелось бы вырубить. Ну, да пуская живёт. В. Распутин. 8.11.2004”** (Иркутск, Восточно-Сибирское книжное издательство, 1987, 336 стр., цена 0.75).

А вот подоспели и “свидетельские показания”, где на книге “Костровые новых городов” Распутин полусерьёзно-полусмешливо пытается внушить, наверно, и себе, и мне, что он далеко ушёл от своих первых книг, первых литературных проб, которые не приносят сегодня ему должной радости, а только вызывают критический взгляд на свои прошлые опыты: **“Скифу! За такие книги авторов пороть надо, а ты всё собираешь, как свидетельские показания. Сент. 2008. В. Распутин”** (Красноярск, Красноярское книжное издательство, 1966, 100 стр., цена 0.11).

Ну, что же?! Возможно, это истинная правда, но книги живы, более того, они являются историческими фактами становления и развития великого писателя, это неоспоримая метаморфоза Валентина Распутина, распростёршего над нами свой духовный космос, своё никем недостижимое СЛОВО.

Валя, Валентин или Валюша, как все мы – от детей до взрослых – называли его в семье, очень много дарил книг именно детям и особенно в дни рождения. Когда Даше исполнилось десять лет, он подарил ей книгу “Уроки французского” с предисловием Валентина Курбатова в серии “Библиотека юношества”, куда включил повести “Живи и помни”, “Прощание с Матёрой” и самые удивительные рассказы “Рудольфио”, “Уроки французского”, “Век живи – век люби”, “Что передать вороне”: **“Даше Смирновой в день достижения ею первого юношеского возраста – чтобы почитала маму, папу и Валюшу. В. Распутин. 2 ноября 1987”** (М., “Художественная литература”, 1987, 480 стр., цена 1.20).

Явно детских книг у Распутина не было, но издательство “Малыш” и “Детская литература” выпускали ярко иллюстрированные его книги для самых маленьких, выбирая из его “взрослых” произведений лирические, трогательные куски о природе, об Ангаре, о сибирской тайге. Одна из таких книг “В тайге над Байкалом” была подарена моей младшей дочери Саше, которой на тот момент исполнилось шесть лет, тем более что она с шести лет пошла в школу: **“Александре Смирновой в день вступления в октябрюта – наконец-то мировая революция победит! В. Распутин. 2 ноября 1987”** (М., издательство “Малыш”, 1987, 32 стр., цена 0.30).

Не забывал Валюша и любимую тещу Викторию Станиславовну, от которой, по всей вероятности, и пошло это уменьшительно-ласкательное “Валюша”. Иронически-нежное отношение со стороны зятя и восторженно-умилительное, с пиететом и поклонением – со стороны тещи воспринималось всеми нами как само собой разумеющееся, потому что Валя очень ценил Викторию



Станиславовну за её живой ум, за неподдельный восторг, детскую непосредственность и душевную, безграничную влюблённость в русскую литературу. Он подшучивал над тещей, бывало, даже разыгрывал её, но старался не обидеть, а с радостным, благородным чувством быть с ней на равных. Вот как он подписал ей книгу “Что передать вороне?” на её 85-летие: **“Жил-был зять... И была у него одна теща (а посмотрите-ка, сколько теперь у зятьёв бывает тещ!!). И этот зять дарит своей единственной теще в день её юбилея десятую её – юбилейную книгу не в последний раз. Итак – Виктории Станиславовне, любимой теще, от зятя Валюши. В. Распутин. 14 апреля 1996”** (Курган, издательство “Зуралье”, 1995, 512 стр.).

Великое потрясение я испытал, прочитав книгу “В ту же землю”. Во-первых, сам рассказ, давший название книге, заставил давиться от горечи за русскую женщину, за эту смертельную, навалившуюся на русского человека безысходность. Я зримо видел героиню рассказа Пашу, Пашуту и, как будто черту собственной жизни, воспринял её жизненную черту, за которой смысл жизни потерян и нет никого и ничего на свете, чтобы изменило бы эту гадкую, растерзавшую и страну, и человека нежить. Позже я испытал подобное после прочтения рассказа “Нежданно-негаданно”, который выстудил меня до озноба, вышиб из сердца самые горячайшие слёзы. Непроходящая душевная боль не покидала меня на протяжении суток. Хотелось, как Сене Познякову, выть и причитать, представляя отобранную у него и его жены девочку:

– Катя! Катя! Катя!

Автограф на книге “В ту же землю”: **“Володе Скифу дружески и родственно. В. Распутин. 8.11.2004”** (М., “Голос”. “Письмена”, 1997, 432 стр.).

В июле 2001 года отмечалось 100-летие великой Транссибирской магистрали. В дни празднования Распутина пригласили в поездку с писательской делегацией, которую возглавлял Валерий Ганичев. К юбилею приурочили выпуск великолепного двухтомника Валентина Распутина, изданного в Калининграде.

“Об одном издании, приуроченном к этой уникальной поездке, надо сказать особо, – писал в газете “День литературы” первый секретарь Правления Союза писателей России Геннадий Иванов, – двухтомник сочинений Валентина Распутина – красивое подарочное издание с золотым обрезом, в коже. Двухтомник вышел не без доброго участия МПС. Закопёрщик издания – Игорь Трофимович Янин, его фонд культурных инициатив “Взаимодействие”. Этот двухтомник вручался на митингах руководителям МПС и дорог, известным или, как раньше говорили, знатным железнодорожникам, писателям на встречах в областных и краевых писательских организациях. И скажу, что везде, в Сибири и на Дальнем Востоке, этот подарок воспринимался всеми без исключения как желанный и уместный. Распутин и Сибирь – это навсегда”.

Автограф на двухтомнике адресован нам с женой и подписан в её день рождения: **“Евгении и Володе, обладателям скифских щедрот и богатств, по случаю тезоименитства Евгении Ивановны от автора, также слегка согретого родственным теплом этого дня... В. Распутин. 2 октября 2003”** (Калининград, “Янтарный сказ”, 2001, 672 стр.).

В 2004 году в издательстве Сапронова выходит нашумевшая книга Распутина “Дочь Ивана, мать Ивана”, в которую, как волкодавы, вцепились быковы, симененки и прочие либерало-демократы. Дмитрий Быков в журнале “Огонёк” додумался до издевательски-просторечного названия своей статьи “Снасилъничали”, иронизируя и принижая трагический сюжет произведения, на что ему довольно резко ответила критик Капитолина Кокшенёва:

*“Проворно лавируя на журналистском поле, Дм. Быков додумался до того, что “сквозная тема изнасилования” “кроваво-красной нитью проходит через почвенную литературу последнего десятилетия. Город растлил, кавказцы снасилъничали, плохие мальчишки до плохого довели... Да как же это? Да что же это вас, сердешных, всё время насилюют? Так ли вы красивые, умные, во всех отношениях совершенны, чтобы это с вами постоянно происходило? Может, не только китайцы да кавказцы, но и вы сами себя маленько... а? Был у меня спор со многими русофилами на эту тему, и всегда они говорят про насилие. Но если вас все насилюют – в диапазоне от Маркса до кавказцев, – может, вы как-нибудь не так лежите? К тому же у кавказцев, насколько я знаю, ровно противоположное мнение насчёт того, кто кого насилюет, и мнение это подтверждается как хроникой кавказских войн, так и историей последних московских погромов. Так может, образ страдающей изнасилованной*

кроткотерпицы страдает некоей как бы односторонностью... ась?" Оставим без внимания все эти "ась" и "маленько", как и скучный, бездарный ёрнический тон г-на Быкова. Любопытно другое – чуть выше в этой же статье он признавался, что всю жизнь читает Распутина "с чувством уважения и родства". Но коль скоро речь зашла о "почве", тут же аккуратный критик предпочёл безопасную дистанцию от "них", русских, которые должны усомниться в своём уме, в своей истории, в своём положении ("не так лежим"). Впору задать вопрос: быть может, это вы так косоглазо смотрите? Быть может, это вам "Русь не даёт ответа", поскольку вам нечем этот ответ слышать и воспринимать?"

Автограф Распутина на книге "Дочь Ивана, мать Ивана: **Володе Скифу на добрую память о тех временах, когда мы жили-дружили (и даже были в родственных связях) – и ещё поживём.**

**В. Распутин. 16. 11. 2005** (М., "Эксмо", 2005, 640 стр.).

С 1993 года известной всей России журналист Виктор Кожемяко стал брать интервью у Валентина Распутина. Постепенно эти интервью превратились в диалоги о России, где два гражданина России говорили о жизни народа и страны, подводя итоги минувших лет и происходивших в них событий. Первая книга диалогов вышла в 2006 году, вторая – "Боль души" – в 2007-м, а третья – "Эти 20 убийственных лет" – в 2011-м. Первую книгу мне подписал вначале Виктор Стефанович Кожемяко, а затем сделал свою приписку Распутин: **"Эту очень дорогую для меня книжечку – Евгении Ивановне и Владимиру Петровичу сердечно. Виктор Кожемяко. 18.1–2007 г. Надеюсь, Валентин Григорьевич присоединится. И для меня тоже – В. Распутин"**. Валентин Распутин, Виктор Кожемяко "Последний срок: диалоги о России". 1993–2003. Трудные времена глазами писателя и журналиста" (М., "Воскресенье", 2006, 160 стр.).

На второй книге – "Виктор Кожемяко, Валентин Распутин "Боль души". (М., "Алгоритм", 2007, 288 стр.) – автограф оставил только Распутин: **"Володе Скифу в дополнение его поредевшей библиотеки, так что пусть всегда она будет во весь дом. В. Распутин. 9 июня 2007"**. Почему поредевшей, как написал Валентин Григорьевич? Всё очень просто: часть моих книг с помощью директора "Саянского хмпласта" Виктора Кузьмича Круглова переехала в посёлок Залари, где сгорела местная библиотека.

Следующий автограф на книге "Валентин Распутин. Эти 20 убийственных лет. Беседы с Виктором Кожемяко" (М., "Алгоритм – Эксмо", 2011, 736 стр.) снова выражал заботу Распутина о моей библиотеке: **"Володе Скифу – да будет вместе с этой 20 тысяч книг. В. Распутин. 24 окт. 2012"**.

В 2007 году издатель Сапронов выпускает собрание сочинений Распутина в 4-х томах, где на первом томе этого подарочного издания поставлен очень характерный для Распутина автограф: **"Скифу и Евгении от непокорного, но искреннего родственника. Да будет мир и благополучие в вашей – нашей семье всегда и везде. В. Распутин. 20.10.07"** (Иркутск, "Издатель Сапронов", 2007, 672 стр.).

Мне осталось привести ещё три автографа на самых крупных по объёму книгах "Сибирь, Сибирь..." и "Земля у Байкала", изданных Геннадием Сапроновым. В 2008 году на презентации книги "Земля у Байкала" ещё в старом здании Иркутской областной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского (бывший дом политпросвещения на ул. Российской) Распутин, держа в руках увесистый том, сокрушался: – Как же держать такую тяжесть? Как читать этот кирпич?

Две другие подобные книги вышли ещё раньше, в 2006-м и 2007-м годах. Это были два переиздания книги распутинских путешествий по городам и весям Сибири, где сияли Иркутск и Байкал, Русское устье и Томск, Кяхта и Алтай. Он радовался выходу в свет этих многостраничных фолиантов, и тем не менее на издании "Сибирь, Сибирь..." 2006 года написал: **"Скифам – и для чтения в свободные минуты, и для защиты от серьёзных нападений. В. Распутин. Ноябрь 2007"** (Иркутск, "Издатель Сапронов", 2006, 576 стр.).

И ещё был один том "Сибири...", подаренный в 2008 году лично Евгении Ивановне на её 50-летний юбилей, где любимый Валюша расщедрился даже на стихи:

**"Евгении Ивановне, рождённой 50 лет назад на благо родных и близких. Сему и радуемся, этой надеждой и живём. В. Распутин.**

**Вот дал Господь ей положение,  
Со всех сторон видна, красна,  
А всё от чтенья, от волнения,  
А всё от книжного вина.**

**В. Распутин.  
2 октября 2008 г.”**

А в 2009 году снова в день рождения Женечки фолиант “Земля у Байкала” он дарит мне с непременным подчёркиванием нашего родства: **“Володе Скифу в день рождения его жены, на долгое неизменное (по части жён) родство. В. Распутин. 2 октября 2009 г.”** (Иркутск, “Издатель Сапронов”, 2008, 416 стр.).

И вот последний автограф, слова из которого я взял в название этих воспоминаний. В 2012 году Сапронов издал книгу Распутина “Прощание с Матёрой”, и Распутин в сентябре, в дни праздника русской духовности и культуры “Сияние России”, перед своим отъездом в Москву в автографе вновь обращается к Молчановой Евгении Ивановне: **“Евгении Ивановне с радостью жить – быть с нею вместе и рядом. 24 сент. 2012. В. Распутин”** (Иркутск, “Издатель Сапронов”, 2012, 208 стр.).

### **НЕТЛЕННАЯ МАТЁРА**

*Мы все, наверно, понимали:  
Придут разор и чёрный дым.  
Но ты грядущие печали  
Постиг пророчеством своим.*

*Горели судьбы и скрижали,  
Был воздух Родины тяжёл.  
Мы оказались на пожаре,  
Куда ты раньше нас пришёл.*

*Какая творческая сила  
Тебя над миром вознесла!  
Сама земля, сама Россия  
Тебе свой голос отдала.*

*Ты посреди родных околиц  
К живому Слову прирастал.  
Теперь там светит колокольня,  
И Храм, который ты создал.*

*Под ним — нетленная Матёра,  
И — Китежа большая тень,  
И — вся Россия, о которой  
Душою страждешь каждый день.*

*О, как спасти родных и близких,  
Деревья, травы от беды?  
Непокорённый царский листвень  
К тебе рванётся из воды.*

*Вдруг оживут луга и доли,  
Сойдут святители с небес.  
Взметнётся радуга у школы,  
Заговорит убитый лес.*

*Быть может, это вправду будет,  
И обновлённый мир вздохнёт...  
Нам, грешным, Валентин Распутин  
Матёру каждому вернёт...*



ВАСИЛИЙ КОЗЛОВ

## ЗА ЧЕРНИКОЙ

*На Каменной станции оканчивается Якутская область, начинающаяся у Охотского моря, — это две тысячи вёрст: до Иркутска столько же остаётся — что за расстояния! Какой детской игрушкой покажутся нам после этого поездки по Европейской России!*

И. Гончаров

Кому-то может показаться, что поход в тайгу за ягодой то же самое, что и на рынок с той лишь разницей, что в тайге бесплатно, а на рынке за свои кровные. Конечно, в таёжной глубинке, где ягодники начинаются за огородами, можно управиться и обыдёнком, то есть одним днём, но всё равно неторопливый и созерцательный сборщик и котелочек с собой прихватит, и закуски какой-никакой, а по настроению и пузырьрёк с живительной влагой сунет в горбовик. Если и один идёшь, как можно обойтись без костра, не обогревая ради, а сооружённого только для того, чтобы вдыхать тонкий шершавый запах горящих сучьев, смотреть на невесомый дым, ползущий между деревьями по склону, пошвыривать из металлической кружки чай с брошенными в закипевший котелок лепестками свиного багульника, ягодами шиповника, листочками брусники и какой-нибудь ещё, неизвестной, но всем своим видом и запахом полезной травки-муравки, попавшей под руку здесь же, около кострища.

Если взять горожанина, то ему-то уж точно дешевле покупать ягоду на рынке. И собираться в тайгу надо не на один день и преодолевать сотни километров, и возвращаться иногда, как говорят, не солоно хлебавши. Никто в тайге ягоду не караулит, кто успел, тот и нашёл, а кто не успел, тот и не съел. Но это не останавливает горожанина.

Скажу, что не за ягодой русский сибиряк ходит в тайгу, собираясь в небольшие ватажки, группы семейные и холостые, постоянные и случайные, предмысливая и предвкушая, обсуждая подолгу предстоящие хлопоты в неотступной зимней темноте по телефону. Походы в тайгу неотъемлемая и незаменимая часть жизни.

Иркутские писатели Валентин Распутин, Альберт Гурулёв, Ростислав Филиппов, Владимир Жемчужников, Станислав Китайский, Михаил Трофимов, Анатолий Горбунов, Анатолий Байбородин, Василий Забелло, Андрей Антипин и другие в различной мере в разные годы бывали кто — рыбаком, кто — охотником, кто-то не ловил рыбы и не стрелял зверя, а вот ягодниками были все. И, скажем, тема ягодного сбора есть почти у всех названных мною прозаиков и поэтов, но всё же не будет преувеличением сказать, что у Валентина Григорьевича эта тема занимает особое место, и нет другого писателя, который с поэтической ясностью изобразил бы в подробностях и деталях и таёжный пейзаж, и нетягостное сидение у костра, и неповторимость ягодной местности, и психологию сборщиков, и потайной смысл походов в тайгу. Не откажу в удовольствии себе и приведу отрывок из рассказа Валентина Распутина “Под небом ночным” с посвящением: “Друзьям-ягодникам Альберту Гурулёву и Николаю Есипёнку”.

“Приехали в самое скрытное, мало кому известное в Тункинской долине место неподалёку от монгольской границы, самое уютное и удобное, спокойное и для небольшой компании богатое. Съезд влево с тракта за линию электропередачи едва приметен, в заросли среди валунов чужой человек не осмелится направить машину, а тому, кто знает, куда едет, покачаться на колесах по камням придётся всего-то с километр, а там открывается на взлобке ровная поляна с огромной ядрёной елью в конце её, где тропка ныряет в тальниковые кусты, — сухая, чистая, не обросшая травой, с неумолчной музыкой от речки справа. Один бок у поляны подле горушки — в золотистой сосне, другой, противоположный, со стороны речки, — в черёмухе поперёд невысокого строя кедрушек и елей. Лучшего места для табора не найти: давно нажжено тут кострище, наготовлен таганок, дров вокруг сколько угодно, а для вечернего сидения у костра лежит чуть приподнятая над землёй, обкорнанная гладкая сосна, которая одновременно может служить и столешницей. Если же выпадет непогода — по извилистой тропке за елью через пять минут будет зимовейка, некорыстная на вид, но высоконокая, аккуратная, обставленная внутри тем немногим, что и требуется поночёмщику: слева, за дверями, — маленькая железная печурка, а справа, в переднем углу, — неширокие, на двоих-троих, нары.

А уж от зимовейки вверх по речке тропу и вовсе не разглядеть, она перекидывается с берега на берег, скользит по камням, ныряет в заросли, карабкается по завалам, чуть держится на скользком прижиме. И ведёт эта тропа в кедрачи. До них, смешно сказать, километра три, не больше, но запоминаются они надолго. Другой тут идёт счёт, когда то прыгаешь, то ползёшь, то подтягиваешься на руках, чтобы взобраться на каменный откос, то с суковатым шестом в руке перебираешься по скользкой лесине на противоположный берег. Нечего и говорить, что ни на какой машине сюда и не сунешься. Шишка в этих местах крупная, тугая, в смолянистом наплыве; когда орудуешь колотом, хоть зимнюю толстую шапку надевай, чтобы уберечь голову. День в кедраче — и позаглаза, если не для рынка. А на другой день и ходить никуда не надо: здесь же, рядом с зимовьём, по скату к речке, по камням и редколесью — брусника, какая-то особая, удлинённой формы, крупная, чистая, глянцеваая, так и катится, так и катится в посудину. По речке везде чёрная смородина: лист по студёной воде облетает быстро, уже в августе, и она голо висит на кустах гроздьями, как виноград, и манит к себе ещё издали. Совсем рядом, на вырубках вдоль линии электропередачи, заросли жимолости, она из ранних, скороспелых, и брать её можно уже с середины июля, а висит она на кусте, не морщась, до самого конца лета. Жимолость, конечно, и поближе к городу есть, она ягода не капризная, а если уж гнал машину за две сотни километров сюда, то ноги сами собой после шишки и брусники подворачивают к облепихе. Вот это уж верно золотая ягода, по всем статьям золотая. Не имеет она замены ни для больного, ни для здорового организма про запас, чтобы не худилось здоровье; и по виду ятарная, так и брызжущая солнцем на реках и островах по Иркуту. Стоит лишь перейти дорогу и натянуть резиновые сапоги. Брать её по теплу, пока она не превратилась в ледышки, мука: облепиха цепко лепится к колючим веткам сплошным обростом, она мнётся, если её обрывать, мнётся, когда принимаешься тянуть, и только чувствительные пальцы знают, как с нею обращаться, чтобы не повредить. Брать её, конечно, мука, но уж набрал — душа ликует, и старательское твоё дело начинает греть тебя слаще любой выгоды.

Словом, такое это славное и фартовое место, что, в какую сторону ни пойдешь, что-нибудь да возьмёшь, а в хорошие годы глаза разбегаются, ноги заплетаются, куда воротить и что брать, — так всего много.

И вдруг не оказалось ничего. Приехали рано, в обеденную пору, и полдня потратили на торопливые и безрезультатные беги. Брусничник не родил совсем, только на замшелых кочках вокруг догнивающих пней висит по две-три ягодки, смородинник и ягодки не показал, жимолость была реденькой, мелконожкой и скукоженной, успела её высосать букашка-козявка, на островах и случайного взблеска не выглядели. Всё ясно: пали заморозки на цвет, потом прошла долгая и жестокая засуха, не миновавшая и этого благодатного места. Поднялись к кедрачам — там кедровка, как саранча, добывает остатную шишку и встретила их злым и пронзительным криком. Даже шиповника на просеке не оказалось, даже курильский чай рвать не хотелось — до того он стоял квёлый и примятый калёным летом.

Нет, не только за ягодами и орехами ехали они сюда и не о них томились долгими зимами, вымаливая в тоске и нетерпении вот эту пору. И везли они

сюда не только посуду под ягоды, но кое-что ещё и в себе, требовавшее утolenия. Не стало зимовья, но остался этот бугор между сосняком и речкой, обжитый многими наездами и почти родной, устроившийся так, что нельзя его ни сжечь, ни снести, и, должно быть, тоже помнящий их, потому что никогда и ни в чём не принесли они ему урона. Здесь даже грубое слово не выговаривалось. Остался этот неумолчный и нежный, хрустальный звон речки, это обрешанное горами и изгибающееся небо, эта высокая породная ель с зеленью до синевы и широким, загнутым по краям изладом борчатого подола, и дикая, в сумерках совсем мрачная картина уходящей вверх по речке тайги с высоко и мёртво торчащим сухостоем, и грубый крик козла где-то неподалёку, похожий на рёв медведя, и ночное звёздно-трепещущее небо, и предутренний, короткий, как выдох, шум верхового ветра, тронувший верхушки сосен и ели и тут же загасший... Остался этот вязкий и хмельной запах всего-всего, что есть вокруг: от муравейника, расположившегося рядом с тропкой на спуске с бугра, от вызревшей травы, клонящейся и отдающей сухостью, от порыжевших грузных сосен и согбенной от старости черёмухи, от камней, поросших мхом и наполовину ушедших в землю, от вывороченного соснового корневища, от нагретой за жаркое лето горы... Остались это умиротворение, этот покой, в которых сейчас лежит тайга, это желанное и щедрое отпущение грехов”.

Я никогда не вёл дневников, подразумевающих ежедневные записи. Когда вернулся из армии и стал работать в газете, на областном радио, а в дальнейшем и редактором журнала, то появлялись адресные и записные книжки, необходимые в работе, ежедневник на столе дисциплинировал, там были расписания встреч, всевозможных совещаний и т.д., которые держать в голове невозможно. Там же на свободных страницах оставлял заметы, не относящиеся к работе, цитаты из прочитанных книг, случайно приходившие поэтические строки, кем-то сказанные удачные фразы и т.д., и т.п. Как легко появлялись эти записи, так же легко выбрасывались в конце года Ежегодники, вместе с записями. Иногда я вырывал страницы и складывал в папки вместе с письмами, адресованными мне, с поздравительными открытками, тоже выборочно оставляемыми на память.

Невозвратные годы складывались в десятилетия, и только сегодня, когда годов впереди уже изрядно меньше, чем за спиной, разбирая действительно, а не образно пожелтевшие страницы, вдруг испытал острое чувство сожаления, что так расточительно обращался с богатством, которое, как дар, свалилось мне с неба прямо в руки, но невнимателен я был и равнодушен, не фиксировал даже самых важных имён, случаев и встреч, так мимолётно и скоро, стремительно промчавшихся куда-то, запечатлев в памяти только эхо, только очертания, только слабые видения, а не картину жизни.

Но в оправдание звучит и другой голос, успокаивающий, что всё произошло так, как произошло, и по-другому не могло произойти. Божья воля выше человеческой, и то, что отсеялось, отвеялось, — это словесные отруби, из которых, как ни старайся, не слепишь лепёшку, как ни разминай, рассыплется влажным песком.

Валентин Распутин был знаменитым писателем и в смысле знаменания, и в смысле знамени. Его известность, а потом и знаменитость утверждались медленно и незаметно от книги к книге, от выступления к выступлению, от действия к действию. Не было резкого всплеска читательского интереса, но не было и забвения. Было возрастание его значения в жизни литературы, в жизни страны. Даже в последние годы, когда Валентин Распутин ничего не писал, он оставался неким неофициальным центром в литературной жизни России. И значимость ему придавала не только и не столько литературная деятельность. А что же тогда?

При жизни Распутина можно было услышать:

— Если бы не Распутин, то я бы был первым писателем в Иркутске.

Какой-то нелепый упрёк проскальзывает и в писаниях этих авторов. Может быть, это дымовая завеса зависти?

Распутина нет, место свободно, но никто не займёт его. Распутин и ныне, думаю, на многие годы здесь, на родине останется первым. Те, кто имеет какие-то претензии, бесспорно талантливые люди, но и они своим нынешним положением в литературе обязаны Валентину Григорьевичу, потому что он помогал им, возил их рукописи, пристраивал в московские издательства и редакции, писал предисловия, отстаивал публикации, и если бы не эта его помощь, то кто знает, как сложилась бы судьба того или иного провинциального

литератора, если бы в своё время Распутин не обратил на него внимание и не вселил в него надежду и уверенность.

По просьбе редактора отправил в журнал воспоминания о поездке с Валентином Григорьевичем в Присяянье за черникой: рядовое событие, бытовые сценки, словом, путевой очерк, но на этом фоне – проявление его характера, пусть малых, незначительных черт его, которые в других ситуациях не проявятся, потому и важны, как важен теперь, когда его нет с нами, каждый шаг этого человека. Редактор позвонил мне, сказал, что очерк добротный, но в этот номер, посвященный Распутину, не войдёт, готов поставить в следующий, но надо насытить его глубокими мыслями из распутинской публицистики.

Какие могут быть великие мысли, когда прорубаешься, пропиливаешься бензопилой сквозь тайгу, неторопливо беседуешь у костра о самых незначительных вещах, но наполняющих смыслом общение, любишь перекатами и слушаешь грохот воды в горном ручье или спускаешься по крутому каменистому склону на вездеходе, готовом, кажется, в каждое мгновение сорваться вниз, и думаешь только об одном: не дай Бог...

Всё великое и мудрое – в книгах Распутина. Надо быть только любопытным и не ленивым, открыться душой и сердцем навстречу.

Отшумит юбилей, отшелестят газеты, отговорят телевизоры, уйдут люди, знавшие Валентина Распутина, дружившие с ним, слышавшие его, а распутинская Сибирь останется заповедной страной, как Сибирь историческая до пришествия русских, и всякий может стать первопроходцем по нашей духовной Сибири, и откроются щедро каждому несметные сокровища распутинской мудрости, созидательной силы и любви.

\* \* \*

С писателем Станиславом Китайским прилетели в Восточный Берлин.

В Карл-Маркс-Штадте один немецкий писатель пригласил нас к себе на дачу. Пили чай. Разговор зашёл о дачных делах. Это только у нас в России дача – место, где работают в свободное от основной работы время, работают от зари до зари, а в тёмное время ещё прихватывают ночь, включая фары автомобиля или переноску. У немцев, как и у других европейцев, дача – это место отдыха: стриженные лужайки, несколько фруктовых деревьев и никаких грядок или теплиц. Зачем, если всё есть в магазине... И дачи, как правило, расположены сразу за чертой города.

Гюнтер спрашивает меня:

- У вас дача есть?
- Конечно, – говорю, – а как же?
- Далеко от города?
- Да нет, не очень, сто километров.

Он стал думать, затем переспросил переводчицу, та – меня. Я подтвердил.

- На машине ездите?
- Нет, на электричке, машины у меня нет.

Он недоумённо вскинул на меня глаза:

- Это что, шутка?

Мне пришлось долго его убеждать, что это правда. Я говорил, что русский дачник ждёт, не дожждётся конца недели и каждую пятницу садится на электричку и едет к чёрту на кулички, чтобы проторчать там до воскресного вечера кверху задницей, вернуться к полуночи в город, а утром выйти на работу и с восторгом делиться с сослуживцами своим счастьем. Для немца это было непостижимо, мне показалось, что он так и не поверил. Но подхватил тему расстояний и стал с восторгом рассказывать, что к его сыну приехала подруга из какого-то немецкого городка:

– Вы представляете, она приехала восемьдесят километров на поезде, чтобы встретиться с моим сыном.

Восемьдесят километров у него звучало, как *восемьдесят тысяч лье под водой*.

За две недели моей поездки он несколько раз вспоминал эту историю с другой сына, чувствовалось, что случай этот поразил его до глубины сознания.

Европейцы живут другими представлениями о расстояниях. В средние века мы жили на одном европейском пятке, и у каждого народа была возможность



расширять свои владения на восток, но только мы ушли за Уральский Камень, дошли до океана легко, как нож сквозь масло, а у них хватало смекалки и наглости только на то, чтобы ходить в наши владения и пытаться прибрать к рукам наши земли, освоенные и обихоженные. Западные историки, когда пишут о причинах поражения и Наполеона, и Гитлера, непременно приводят фактор необъятности наших территорий, чтобы принизить силу и храбрость русского человека, его самопожертвование во имя общей победы. Ну что ж, кому-то стены крепостные помогают, а нам и Богом данные бескрайние просторы и леса.

Наши студенты на выходные едут из Иркутска к родителям “подхарчиться” за сотню-другую километров и даже не думают, что это далеко.

Надо заметить, что в России во все времена расстояния или отношение к ним были иными, чем в других странах. Приведу выдержку из воспоминаний Сергея Тимофеевича Аксакова о Державине, с которым он близко сошёлся в 1815 году, часто бывал у него, подолгу беседовал с ним. И когда Гаврила Романович узнал, что Аксаков из Оренбуржья и учился в Казанском университете, воскликнул: “Но позвольте: ведь мы с вами с одной стороны... Да мы с вами и соседи по оренбургским деревням; я обо всём расспросил братца вашего. Моё село, Державино, ведь не с большим сто вёрст от имени вашего батюшки”. “Сто вёрст считалось тогда соседством в Оренбургской губернии”, — добавляет Аксаков.

Многие путешественники отмечали спокойное отношение русских людей к расстояниям. И. А. Гончаров размышляет об этом, возвращаясь из кругосветного путешествия: “На Каменской станции оканчивается Якутская область, начинающаяся у Охотского моря, это две тысячи вёрст! До Иркутска столько же остаётся — что за расстояния! Какой детской игрушкой покажутся нам после этого поездки по Европейской России!” Или в другом месте: “Сибиряки говорят: сто рублей — не деньги, сто километров — не крюк”.

Если бы я рассказал немцу, как мы с Валентином Распутиным ездили за черникой за тысячу километров, он бы мне не поверил. Всё, что не поддаётся пересчёту на евро, подчас не подвластно европейскому уму.

Среди писателей мало найдётся таких, кто мог бы сравниться с Валентином Распутиным: так быстро и чисто никто брать не может ни бруснику, ни жимолость, ни чернику, ни голубику. Я думаю, это не столько опыт, сколько данный от рождения навык. Это подметил и поэт Ростислав Филиппов:

*Сам я по тайге ходок неважный.  
Вот Распутин бегаёт, как лось.  
Мне не часто, но и не однажды  
по бруснику с ним ходить пришлось.  
Всякого бы склоны устрашили.  
Еле-еле рюкзачок несу...  
Он же — свист травы! — и на вершине.  
Снова повист — он уже внизу!  
Ты идёшь, усталый, до ночлега.  
Поработал, как передовик.  
Он весь день прошагал и пробежал.  
Ан, проверьте — полон горбовик!  
В том, конечно, оправданья мало:  
мы, мол, не в деревнях рождены.  
Дилетанты и профессионалы —  
все подряд перед тайгой равны.  
Вот искусство — на одном и том же  
месте больше ягод усмотреть.  
Если ты того ещё не можешь —  
не завидуй. Постарайся впрядь.*

Сбор ягоды — дело фартовое. Бывает, придёшь в ягодник, кажется, всё кругом выбрано на версту, а возвращаться пустым не хочется. Пойдёшь в одну сторону, в другую, ноги изобьёшь, еле волочишь и вдруг наткнёшься на нетронутую полянку рясной, прямо какой-то праздничной ягоды: два-три часа — и полон горбовик. Но бывает, что излазишь округу, сколько сил достаёт, и пусто: не уродилась.

Николай Васильевич Терещенко, человек известный не только в Тулуне, где живёт: охотовед, предприниматель, путешественник, бывал по молодости и штатным охотником, и ягоды заготавливал, и орехи бил, и прочие дикоросы собирал.

Однажды, будучи в Иркутске, позвал нас за черникой. Мы легко согласились, собрались, уложили вещи, залезли в его джип и — полный вперёд. О том, куда едем, и речи не вели: проводник надёжный, места знает, ему видней. Доехали до Тулуна — это четыреста километров, переночевали на Казачке, в небольшой гостинице недалеко от Тулуна на реке Ие, куда нас устроил Николай Васильевич. Утром на вездеходе ГАЗ-66, военной машине, которая уже давно не выпускается нашей промышленностью, но надёжно работает по всей таёжной Сибири, двинулись в сторону Саянских хребтов. Николай Васильевич родился в Ишидее, Присаянском таёжном селе, его дед, его отец были профессиональными охотниками, и Николай с детских лет освоил таёжный промысел. В Ишидее он взял проводника, местного парня, Сергея, хотя сам Терещенко знает местность и мог бы обойтись, но где в этом году уродилась черника, не знал.

Заехали к знаменитому охотнику, участнику войны. Пили чай. И как-то сам собой, без напряжения шёл разговор о том, что волнует: о варварской рубке леса, об упавших ценах на пушнину и т. д.

Наверно, на земле уже не осталось таких мужиков, таких характеров, которые ещё встречаются у нас в Сибири, особенно в глубинке. Их тоже немного, но они есть. По мощи природной, по силе и воле они плоть от плоти тех русских первопроходцев, которые за короткий срок освоили Сибирь плугом и конной тягой, топором и пищалью. Невероятным напряжением собственных жил они сделали то, чего не делал ни один народ в мире. Они преодолевали невообразимые расстояния, и, наверное, в нас и через несколько поколений не ослабевают та сила преодоления, которая вела их. У нас нет боязни расстояний, нет страха глубины и высоты и, наверное, поэтому мы первыми устремились в космос.

Однажды я спросил Николая Васильевича, сколько раз он обогнул земной шар на своём автомобиле.

— Я об этом не думал, — ответил он.

Стало интересно прикинуть, хотя бы приблизительно, сколько тысяч километров он проехал. Оказалось, что он мог бы обогнуть нашу землю, совершить кругосветное путешествие три десятка раз, не менее, а то и более.

Кто не трясся в грузовиках по таёжным дорогам, не спускался по размытым колеям в глубокие пади и не “полз” по каменистому или болотистому бездорожью, налетая железным брюхом автомобиля на камни, вряд ли представит даже в развита воображении, что это за путь.

Остановились в середине дня, когда ниже дороги возникла речка, поблёскивавшая на перекате расплавленными искрами света. Стали собирать сухой хворост, подтащили парочку увесистых коряжин. Место выбирать не пришлось: на чистой полянке над берегом в траве чернело старое костровище. Было видно, что рыбаки давно облюбовали этот пригорок.

Чайник закипел скоро. Николай Васильевич достал из ящика с продуктами кусок чаги и хорошую щепоть какой-то сушёной травы:

— Будем пить полезный чай из чаги и каменного зверобоя.

Тёмный настой источал смолистый аромат и был приятен на вкус. Пили, нахваливали. Николай Васильевич потянулся к чайнику за добавкой.

— Слушай, Вася, а давай нашего бесполезного индийского заварим, — это Валентин Григорьевич мне, едва уловимо улыбаясь одними глазами.

Накануне вечером в гостинице я заваривал чай, который прихватил из дома. Жена обнаружила в одном магазине чай, назывался он “Золотые лепестки” и, как нам казалось, не уступал по вкусу индийскому чаю, который пили в советское время. Валентин Григорьевич оценил его вкус. Он не отрицал полезность травяных настоев, но чай предпочитал в чистом виде. Вспомнилось, как пили чай у Альберта Семёновича Гурулёва, писателя, университетского товарища Валентина, он гурман и чай пьёт только с молоком. Но Валентин

от молока отказался, сказал, что так два продукта портится: и чай, который перестаёт быть чаем, и молоко, которое перестаёт быть молоком.

Когда закончили трапезничать, Валентин Григорьевич стал собирать кружки тарелки, Сергей хотел взять у него посуду:

– Валентин Григорьевич, дайте, я схожу, помою.

Но он отстранил его руку и стал спускаться к реке.

Мы “шли” всё дальше и дальше. Надо заметить, что лесные дороги, ранее бывшие лесовозными, здесь, в Присаянье, находятся в хорошем состоянии. Хотя лес уже почти не заготавливают – весь вывезли, – но грунтовки служат и поныне. К вечеру мы по крутому, казалось, отвесному склону, спускались в широкую падь, колея была размыта на метровую глубину, и валуны торчали из промоин. Лавируя между ними, Николай медленно и умело вёл машину, уклон был настолько крутым, что дух захватывало. Машину болтало из стороны в сторону, борта будки шоркались о кусты и стволы деревьев.

Я повернулся к Валентину Григорьевичу: напряжённо глядит вперёд, сжимаемая поручни на передней панели.

Уже поздней ночью мы укладывались спать в будке машины, приспособленной для ночёвок и в самые жестокие холода: здесь была небольшая железная печка, нары с матрацами и одеялами. Валентин Григорьевич спросил:

– Ты когда-нибудь ездил по таким дорогам?

Я сказал, что бывает и хуже. С Николаем Васильевичем я ходил и в Саяны на снегоходах, и на охоту и зимой, и весной, случалось, что вездеход уходил под лёд, поэтому было с чем сравнивать: в тайге не бывает асфальта...

Валентин только качнул головой, но жест был понятен.

Накануне прошла мощная буря, и долина была сплошь завалена выворотнями, сломанными деревьями, и проехать было невозможно. Мы остановились. Пропиливать дорогу было бессмысленно: около километра до зимовья мы пробивались бы не одни сутки. Николай остановил машину, вышли все. Он прошёл вперёд, свернул влево, к речке, вернулся.

– Пойдём по руслу реки, там деревьев меньше, пропилим дорогу. Сергей, доставай пилу. А вы разводите костёр, чай варите.

Зашумела бензопила. Из лежащих поперёк речки деревьев выпиливалась середина, чтоб могла пройти машина, сутунок пускался вниз по течению.

Мы с Валентином занялись костром, собирали валежник, смастерили таган. Закипел чайник, шумно вырывался пар, подпрыгивала крышка, и кипяток выплёскивался прямо в костёр. Валентин снял с шеста чайник, отодвинул от пламени, и мы пошли на шум бензопилы помогать Николаю и Сергею.

Таёжные зимовья, в общем, мало отличаются друг от друга. Это было просторней, видимо, здесь раньше, когда заготавливали орех и ягоду, жили бригадой.

Истопили баню, пристроенную к зимовью, попарились, сидели у костра за разговорами чуть ли не до первого света. Рядом с Валентином, примостившимся на чурбаке, спала собака, дёргая лапами во сне и тихо поскуливая, может быть, гналась за зверем или облаивала загнанного в скальчик соболя.

В зимовье было жарко, и Валентин предложил ночевать в машине. Будка была оборудована деревянными нарами, которые могли при необходимости вместить человек пять-шесть, на них лежали ватные матрацы, подушки, шерстяные одеяла.

Утром разжигали костёр, вытаскивали из зимовья съестные припасы, варили чай. Сергей ушёл в черничник на разведку. За шумом речки не услышали, как он подошёл, повернулись на голос:

– Нет ягоды, Василич.

– Как, совсем, что ли? – переспросил Терещенко.

– Морозом цвет побило, я всё оббежал и вправо ходил по склону до конца ягоdnика и вернулся по гривке, – пусто.

Интересно, как бы воспринял немец или иной европеец рассказ о том, как мы со знаменитым писателем Валентином Распутиным ездили собирать чернику за тысячу вёрст, если считать весь путь туда и обратно, то и подальше будет, а ягоды не оказалось. У них, как выражается один мой знакомый, наверняка бы произошло “смещение мозгового центра”.

Но ягоду мы всё-таки нашли, не зря Николай Васильевич взял с собой Сергея. На обратном пути на каком-то перевале Сергей повёл нас одному ему известным ходом и вывел на склон, на котором мы, поползав несколько часов, наполнили свои горбовики черникой.

Ну, а обратная дорога, как заметили наблюдательные таёжники, всегда короче.

АНАТОЛИЙ ЗАБОЛОЦКИЙ

## КОМУ В УГОДУ ПЕРЕЛОПАЧИВАЮТ ШУКШИНА?

В серии ЖЗЛ издательства “Молодая гвардия” опубликована биография В. М. Шукшина, написанная Алексеем Варламовым. Прочитал, и голова пошла кругом. Навалилась бессонница. Мне нарисовали Макарыча совсем не таким, каким я его знал. В книге бессчётное количество эффектных случаев, фактов, сообщённых конкретными людьми, но в финале каждого случая автор опровергает его правдивость. Зачем же он их публиковал? Чтобы запутался читатель? Однако каждый эпизод, подвергнутый “зачёркиванию”, в контексте книги сочится ядом неприятия личности Шукшина и не скрывает симпатий самого автора к либеральному крылу “нашей литературы”.

Сожалею, что позволил издательству использовать мой фотоархив. Начнём с иллюстративного материала книги. Последний кадр фильма “Печки-лавочки” сопровождает фраза: “Это ещё не конец, нет. Какой, к чёрту, конец! Что ты! Нет!” Для меня эта подпись – начало переименования смыслов. Если бы в книге финал фильма комментировался! Так ведь нет этого. А за настоящий финал столько нервов было изорвано. Оглядывая родные места, Шукшин сам для себя произносил: “Всё, ребята, конец”. На сдаче “Печек-лавочек” Макарыч просил художника и меня: “Громче кашляйте, может, проскочим?!” Однако в заключении Госкомиссии был отдельный пункт: “Вырезать финальную фразу “Всё, ребята, конец”. Только после смерти Шукшина её восстановили. А Варламов вырвал эту фразу из письма Василия Макаровича к своему сокурснику Виноградову, написанную совсем по другому поводу.

Подпись под портретом В. А. Кочетова “Товарищ Кочетов мне уже и прописку в Москве устроил” не соответствует действительности. Макарыч прописался у О. М. Румянцевой, а позже вступил в жилищный кооператив. О ссоре Твардовского с Кочетовым ни одного факта в книге не приводится, и создаётся впечатление, что главным публикатором в “Новом мире” рассказов Шукшина была Ася Самуиловна Берзер, а Твардовский вроде бы и ни при чём. А ведь Шукшин перед каждой публикацией встречался с ним, и даже был разговор о сходстве их судеб, хотя Твардовский осторожничал.

Под фотографией К. С. Мельникова с Шукшиным подпись: “Беспутство – дар русской стихии творить бесценное”. Это ёмкое суждение из рукописи Мельникова “Архитектура моей жизни”. Без пояснения оскорбляет память присутствующих на снимке собеседников.

О фотографии на съёмках к/ф “Они сражались за Родину”. Подпись гласит: “Последняя прижизненная фотография Шукшина”. Я сделал её в сентябре 1974 года, за 20 дней до смерти Шукшина. Для меня это последняя моя фотография Макарыча. Но после меня его снимали Марк Дейч, Ковтун, Толчёнова (из софроновского “Огонька”) и другие. Если кто из них предьявит права на действительно последнюю прижизненную фотографию Шукшина – я буду лжец.

Обратимся к тексту книги. В главе “Врать буду!” Варламов говорит о том, что на 2-м курсе ВГИКа Шукшин вступил в КПСС, и приводит рекомендацию

Михаила Ромма. На самом деле Шукшин поступил во ВГИК уже будучи членом партии. А вот когда он стал партийным, есть несколько версий. И сам Варламов в книге их приводит. На с. 113 цитируется интервью В. Виноградова о том, что ещё на первом курсе ВГИКа к Шукшину приезжал из Сrostок отец его первой жены с угрозами обратиться в партбюро института, если Василий не вернётся к его дочери. А в интервью Лидии Александровой-Чащиной на с. 105 говорится о том, что Шукшин вступил в ряды КПСС ещё в армии. Приведённый фрагмент рекомендации Михаила Ромма — на самом деле характеристика В. М. Шукшина, уже снявшегося в фильме “Два Фёдора”, и написана она была совсем по другому поводу. Скорее всего, для отделения милиции городка Моссовета, где слушалось дело о драке Шукшина с польским студентом Ежи Гостиком. Конфликт, по версии Макарыча, произошёл из-за того, что Гостик назвал Александра Суворова палачом, а русских — быдлом.

Старейшая сотрудница музея в Сrostках, автор книги о Шукшине Галина Ульянова сообщила мне, что осенью 1994 года состоялась встреча членов местной партийной организации. Тогда в музее все вспоминали секретаря райкома Доровских как разумного руководителя, взявшего на себя ответственность и принявшего в партию учителя вечерней школы Василия Шукшина.

В главе: “Я у них учусь”, воздав хвалу Коробову, автору изданной в ЖЗЛ в 1984 году книги “Шукшин. Творчество и личность”, Варламов целиком приводит эпизод, в котором Коробов утверждает, что Шукшин по дороге в Москву был завербован в воровскую шайку, подтверждая вывод письмом, присланным ему в 1978 году профессором Борисом Никитчановым из Казани. Варламов подчёркивает в финале своё отрицание этого факта, ссылаясь на неточность дат пребывания Шукшина в Казани и в Москве. У читающего же остаётся впечатление, что Шукшин уголовник. В своё время я спросил Коробова: “Встречался ли он с профессором из Казани?” Он бросил мне, негодуя: “Я сочинитель и учусь у Василия. Скажи, почему тебя Федосеева ненавидит?”... На том и разошлись... Сегодня, прочтя повторение коробовского вымысла, я попросил С. А. Уханова, живущего в Казани, найти след профессора Бориса Никитчанова. Он через две недели сообщил, что в университете и двух казанских вузах такого преподавателя он не обнаружил. И сам Шукшин до мая 1970 года в Казани не был (поезда из Сибири на Москву ходили по северной ветке через Кунгур на Ярославль, минуя Казань). Пожалуй, пора закрыть “коробовскую версию” для будущего тиражирования. Однако Варламов цепляется за мысль о принадлежности Шукшина к уголовному миру и пишет следующее: “Таким образом, хронологически он не имел возможности долго находиться в уголовной среде, но то, что он мог с ней так или иначе соприкоснуться, как мы увидим дальше, исключать нельзя”.

В главе “И я решил побороться с ним” расцветает другая, запущенная после смерти Макарыча сплетня о том, что Еvtушенко посоветовал Шукшину поступать во ВГИК. Дословно привожу текст Варламова: “В книге Владимира Коробова даже называется, хотя и предположительно, имя опытного студента — Евгений Еvtушенко. Для романа версия отменная, тем более что самый молодой член Союза писателей СССР Е. А. Еvtушенко действительно в те годы в Литинституте учился, и правильно делает наш большой поэт, что этот слух не опровергает. Тут даже скульптурная группа напрашивается: Евгений Еvtушенко, указующий Василию Шукшину путь во ВГИК (и будет замечательная переключка с установленным возле ВГИКа памятником Шукшину, Тарковскому и Шпаликову!)”. У Коробова байка приведена для живинки, чтобы увлечь читателя, у Варламова усилена почтительностью перед “большим поэтом”. Очевидно, Варламова восхитила композиция у ВГИКа, где Шукшин в обличи “бомжа” сидит на ступенях “альма-матер”, соображая, куда метнуть папиросу. Над ним Тарковский рукой сжимает себе горло, другой указывает на сидящего. Представьте переключку: у Литинститута Еvtушенко жестом указывает (охотнорядцу) Шукшину путь во ВГИК, а может, в Америку, где сам ночует и лечится. Рядом юный Варламов — весь внимание.

От опеки маститых творцов Шукшина, бывало, спасали чиновники. Утверждаю, если бы не Николай Трофимович Сизов, генеральный директор Мосфильма, “Калина красная” никогда бы не увидела свет. В книге Варламова у Сизова отчество — Фёдорович, и часто упоминание его в тексте без фамилии. Однако именно благодаря Сизову Тарковский переснял “Сталкера” дважды, Сизов же поручился за его выезд в Италию. Когда отделом культуры

ЦК КПСС Сизов был отправлен возвращать его на Родину, Андрей даже не захотел с ним встретиться. По возвращении Сизов был уволен и через полтора года умер. Урна с его прахом в стене Новодевичьего кладбища, напротив могилы Бондарчука. Он был государственным человеком, с ним считались Косыгин и Байбаков, сохраняя его от кляуз “именитых творцов”. Он руководил Мосфильмом два десятилетия, а выброшен был в одночасье, с появлением капитализма в России. Шукшин говорил о нём: “Иду к нему, как к родной душе. Его замечания всегда вменяемы”. Мои слова может подтвердить редактор “Калины красной” Сергиевская И. Н., она продолжает трудиться в Союзе кинематографистов.

Вернёмся к первой главе, озаглавленной “Не на того напали”. Кто на кого напал? Перечитал, чтобы понять, кому адресовано обвинение. Автор заявляет: “Историю жизни Василия Макаровича Шукшина можно рассказать по-разному. Можно написать героическое сочинение о том, как парень из далёкого алтайского села сумел по-гагарински (или, учитывая фактор землячества, по-титовски) чудесным образом взлететь на высоту своего времени, стать великим писателем, режиссёром, актёром и стяжать прижизненную народную славу, не так часто выпадающую на русскую долю, когда “любить умеют только мёртвых”. А можно изложить этот сюжет совсем иначе, обнаружить за всеми шукшинскими удачами и достижениями жёсткий и точный расчёт, нацеленность на успех, ломание чужих судеб – особенно женских. Можно увидеть в Шукшине удачливого конъюнктурщика, прошедшего по самой грани дозволенного, можно – русского советского патриота, а можно – скрытого антисоветчика, лишь прикидывавшегося коммунистом и ловко использовавшего преимущества социализма. Можно опознать в нём слово и дело, которые предьявила русская деревня в ответ на то, что с ней творили горожане, чужаки. Можно найти изысканную месть, умное хулиганство в духе его героя из рассказа “Срезал” Глеба Капустина или безобразную антиинтеллигентскую выходку и сослаться на высокомерные слова писателя и киносценариста Фридриха Горенштейна в адрес Шукшина: “В нём худшие черты алтайского провинциала, привезённые с собой и сохранённые, сочетались с худшими чертами московского интеллигента, которым он был обучен своими приёмными отцами. <...> В нём было природное бескультурье и ненависть к культуре вообще, мужичья, сибирская хитрость <Григория> Распутина, патологическая ненависть провинциала ко всему на себя не похожему, что закономерно вело его к предельному, даже перед ликом массовости явления, необычному юдофобству. <...> И он писал, и ставил, и играл так много, что к концу своему даже надел очки, превратившись в ненавистного ему “очкарика”. Сразу после цитаты – заявление Варламова: “Это высказывание принято называть “некрологом”. Опубликовано много лет спустя после смерти Василия Макаровича и Фридриха Наумовича, оно было обнаружено в архиве последнего и теперь трудно сказать, желал или нет соавтор Андрея Тарковского, чтобы эти строки увидели свет...”. Здесь Варламов намеренно неточен: рукопись “Вместо некролога” появилась сразу после смерти Шукшина, и весь год густо распространялась в самиздате и радиоголосах. На сороковицах Шукшина В. И. Белов назвал “Некролог” провокацией и больше нигде не писал об этом. Я в своей рукописи “Шукшин в кадре и за кадром” процитировал Горенштейна ещё в 1976 году без комментариев, как мерзость, говорящую саму за себя. Варламов же сообщает, что на публикацию “Некролога” гневно отреагировали друзья Шукшина, не приводя ни одного слова “гнева”, потому как его нет текстуально, а приводит цитату из статьи нью-йоркской газеты “Новое русское слово” от 27 февраля 1972 года писателя-эмигранта Виктора Некрасова под заголовком “Вася Шукшин”: “Многие считали его “почвенником”, русофилом, антиинтеллигентом. Подозревали и в самом страшном грехе – антисемитизме, – писал о Шукшине Виктор Некрасов. – Нет, ничего этого в нём не было. Была любовь к деревне, к её укладу... Человек он был кристальной... честности. И правдивости... И талант заставлял эту правду глотать. Даже тех, кому она претила. Глотали ж, глотали...” Белов знал это мнение Некрасова и был согласен с ним. И оно же подтверждает, что уже в 1972 году Шукшина сопровождали нападки, которые так ярко сконцентрировал Фридрих, а если учесть, что Некрасов вспоминает о шестидесятых годах, значит, обвинения преследовали Василия всю его творческую жизнь. Размышляет Варламов и о том, как повёл бы себя Шукшин, проживи он дольше, “на чьей стороне

был бы в августе 1991-го, а на чьей — в октябре 1993-го, подписался бы под “Словом к народу” вместе с Василием Беловым или же оказался бы с Беллой Ахмадулиной... которая подписала в октябре 1993 года так называемое “Письмо 42-х”, поддерживающее расстрел Белого дома...”. И финал: “Шукшина... невозможно выбросить из русской истории, объявить устаревшим, ненужным, лишним. Не получится, не на того напали”. Но никто, кроме Горенштейна, и не нападает на Шукшина. Варламов внушает читателю, что вместе с Горенштейном на Шукшина нападаю и я, обнаруживая цитату из рукописи “Вместо некролога”. По тексту всей книги видно, что автор перелопатил изрядно материала, но использует только тот, который соответствует его взглядам. Для чего-то Варламов возвеличивает роль Беллы Ахмадулиной в биографии Шукшина. На самом же деле после фильма “Живёт такой парень” они практически не общались. Я был свидетелем того, как в ЦДЛ он намеренно избегал с ней встреч. А об отношении к Белле — я вспоминаю его афоризм: “Белла — цветок, проливший асфальт. На большее её не хватает...” (И эти мои слова приводит Варламов на стр. 171, дорисовывая картину своим воображением). Разве он побрёл бы за ней одобрять расстрел Белого дома?

По-своему самоубийственно упоминание имени Василия Белова среди подписавших “Слово к народу”. Не было там его подписи — была подпись Валентина Распутина. Такого рода судьбоносные документы отечественной истории надо знать — или вовсе не касаться этой темы.

Чрезвычайно лукаво написана глава “Наш сотрапезник” — о сотрудничестве Шукшина с “Нашим современником”. Сделать вид, что подобного журнала не было в литературной судьбе Шукшина, попросту невозможно — и пришлось упомянуть и о публикациях в журнале рассказов, “которые побоялся либо не пожелал печатать “Новый мир”, и о “Калине красной” (первая публикация киноповести в этом журнале), и о его членстве в редколлегии... Но все эти факты обставляются массой оговорок. Сам по себе выбор заголовка для главы (это издевательское наименование дал “Нашему современнику” Ю. Нагибин) говорит о многом. А дальше идёт постоянное педалирование “самости” Шукшина (в чём ему, кстати, никогда никто не отказывал). “...Пытаться привязать Шукшина к какому-либо одному журналу — значит, не учитывать его собственной, автономной линии поведения”. К “Нашему современнику” привязал себя сам Шукшин — самые значимые его публикации последних лет связаны именно с этим журналом, и значимость этих его публикаций не идёт ни в какое сравнение со значимостью публикаций в “Сибирских огнях”, “Звезде”, “Севере”, “Авроре” и “Сельской молодёжи”, о которых упоминает Варламов. В то время многие авторы печатались в самых разных журналах, но при этом для каждого существовал определённый ориентир, определённый приоритет. И “Наш современник” стал таким приоритетом для Макарыча. Ведь никакой другой журнал, куда он обращался, не принял судьбоносную для него “Калину красную”.

Поэтому лишь с недоумением можно воспринять такие фразы Варламова, как “теперь его позвали на этот пир, но едва ли Василий Макарович приглашением сполна воспользовался и сделался завсегдатаем русского клуба”. Приглашением Василий Макарович воспользовался как раз сполна. Если бы дело обстояло так, как пишет Варламов, Шукшин стал бы одним из авторов журнала, но не вошёл бы в редколлегию. Этот “вход” стал его выбором, его судьбоносным поступком. И сомнения его перед тем, как дать окончательное согласие (как пишет в своих воспоминаниях С. Викулов), продиктованы были именно мыслью — сможет ли он, вечно занятый в кино, принести полноценную пользу журналу.

“Русофильство” Шукшина — игра”, — цитирует Варламов Евгения Попова. Конечно, либералам крайне необходима такая интерпретация личности Макарыча — по-другому его к себе не привяжешь. Даже ссылкой на предисловие к подборке своих рассказов в “Новом мире”.

В главе “Земляки” о Пырьеве ничего не придумано. Шукшин действительно встречался с Пырьевым на набережной Яузы по Божьему провидению в 1947–1951 годах, когда работал в Подмоскowie, скорее всего — в Щербинке. Осенью 1967 года мы встретились с Макарычем в коридоре Госкино в Гнездиновском переулке, когда Пырьева шельмовали везде, но особо — мосфильмовские “творцы”. Вася с горечью наблюдал глумление над бывшим генеральным

вершителем мосфильмовских дел. Искал случая обнаружиться и поддержать ошельмованного Ивана Александровича. Тогда говорил: “Вот сделаю последний фильм и приду к нему”.

7 февраля 1968 года Пырьев, придя со студии, лёг и умер во сне. Врачи констатировали шесть инфарктов, перенесённых на ногах во время работы. А я ведь волею providения в 1954 году бывал на Котельнической набережной в квартире Пырьева. Он в то время был депутатом Верховного Совета, избранным от Хакасии. Я не поступил на операторский факультет, не набрал проходной балл. Студент-общественник, обучающийся по направлению из Хакасии, Василий Кирбижеков, будучи на производственной практике, трудился в съёмочной группе у Пырьева. Он насильно потащил меня на квартиру. Конец июля. Когда мы шли по набережной, случился ливень, вымокли до нитки, добежав до подъезда. Вася сразу уговорил консьержку впустить нас. Мы позвонили в квартиру, с нас текло... Иван Александрович поздоровался с Васей за руку и пригласил в кабинет. Он выслушал его бодрые и мои с дрожью сказанные слова... И сразу стал отговаривать идти в киношную артель... “Вот я, – говорил он, – два года сидел над фильмом об Иване Грозном, который поручил мне Иосиф Виссарионович Сталин, а вот он умер. И никому теперь не нужен Иван IV и я – Иван Пятый. А тебя, землячок, если в следующий год не поступишь, а интерес не потеряешь, я устрою ассистентом к оператору, с которым я работаю, кино увлечённых пользует с удовольствием...” Мы ушли, оставив у его стола лужицы стекавшего с нас дождя. Во всяком случае, в меня вселилась надежда... И на улице сияло солнышко, отражаясь в лужах и мокром асфальте.

Любопытно “внедрение” Варламовым в шукшиноведение Льва Аннинского: “А по-настоящему открыл Шукшина-писателя молодой, острый, внепартийный критик Лев Аннинский. Он его не расхваливал, не приглаживал, не лил елей, но был первым, кто Шукшина запеленговал как Шукшина, не просто как одного из подающих надежды молодых писателей, не просто ещё одного “деревенщика”, сибиряка, бытописателя – он увидел в нём явление неслучайное, ожидаемое, “специалиста по межукладному слою”, представителя и выразителя той массы крестьян, которая покинула деревню ради города и на себе испытала весь драматизм этого перехода. И хотя позднее мама Шукшина сокрушалась, что есть-де в Москве такой зловредный ядовитый Лёв, который про её Васю и пишет и пишет, а что пишет, не понять, хотя были очень недовольны Василий Белов и Анатолий Заболоцкий, относившиеся к Аннинскому как неприятелю или диверсанту, проникшему на их суверенную территорию, на самом деле не пиши Лёв про Васю, не будоража общественное мнение, не провоцируя критиков и критикесс, на Шукшина и вовсе могли бы не обратить внимания в 1960-е годы, пропустить как этнографический казус и лишь потом опомниться: это где ж мы все были?” Мамы в живых уже не было, когда явился Лев Аннинский, она упоминает о другом “Лёве” – Кулиджанове. Зловредный и “ядовитый Лёв”, который пишет и пишет про Васю, – Лев Александрович Кулиджанов, у которого Шукшин снимался, и все телеграммы о переделках “Печек-лавочек” подписывались худруком Студии им. Горького Львом Кулиджановым.

Суверенной территории ни у Белова, ни тем более у меня не было, потому как территория целиком была у Федосеевой и её фаворитов – от Миши Аграновича до Бари Алибасова...

Шло время. После смерти Шукшина у Лидии Федосеевой не хватило усидчивости и филологической грамотности, и она пригласила Льва Аннинского собирать рабочие записи, архивы, варианты романа “Любавины”, писать предисловие для издания публицистики и записных книжек вышедшей в 1979 году книги. Положительно оценивая публицистику и фильмы Шукшина, в разделе архивных записей Аннинский оставляет только те, которые согласуются с его взглядами. Жаль, не включены письма Леонова Л. М., Свиридова Г. В., многие из писем Белова В. И., а также письма читателей, особенно после статьи в “Правде” о фильме “Калина красная” от бывших и свежих сидельцев тюрем. В своём письме Леонид Максимович Леонов просил его сосредоточиться только на литературе: “Бог дал тебе талант владеть словом, – писал он (а Шукшин мне это не раз читал). – Перестань заниматься мотыльковым искусством кино”.



Я помню первую встречу с Аннинским в 1975 году в кинотеатре “Уран” на Сретенке, которого уже в помине нет, на встрече со зрителями. Встреча шла скучно, пока Аннинский, резко приблизившись к краю сцены, наклонившись над залом, критикуя киноязык шукшинских фильмов, не заявил: “Шукшин – враг интеллигенции”. Из зала раздался возглас как гром: “Сам ты враг!” Лев Аннинский закусил удила: “Кто кричал, что я враг?” Молчание. Лев повторил вопрос... Молчание. “Трус всегда действует втёмную!” Мужик среднего возраста и роста поднялся с места. Аннинский с ленинским жестом вытянутой руки произнёс: “Вон из зала!” Мужик недвижим. Лев повторяет: “Вон из зала”. Дежурные тётки вывели мужика из зала, открыв дверь на улицу. В зале воцарилось неловкое молчание. Вопросов больше не последовало. За кулисами я спросил Аннинского: “Ну что, победил?” Мы с ненавистью посмотрели друг на друга. С того времени, изредка пересекаясь на мероприятиях, мы проходим мимо друг друга молча по сей день.

При жизни Шукшин как писатель был не слишком известен, четыре тоненькие книжечки вышли малым тиражом, а публикации в периодике до широкого читателя не доходили. А за пять лет после смерти опубликовано больше сотни массовых изданий, и спрос на них рос, часто измерялся килограммами сданной макулатуры или покупкой лотерейных билетов. Сегодня Аннинский в предисловиях ко многим книгам нигде не называет Шукшина врагом интеллигенции, а расплывчато ценит его писательское дарование и обаяние актрисы Федосеевой. За прошедшие годы и до сего дня суверенной территории Шукшина ни Белов, ни тем более я не топтали. И это не потому, что Лев Аннинский хозяйничает в архивах Макарыча, а потому что не хотели вторгаться в личную и семейную драму Шукшина.

А ещё страшнее слух идёт, что Варламов в прессе объявил, что собирает материал для биографии В. И. Белова. Помнится, какой была оголтелой критика на роман Белова “Всё впереди”, и только единственный отзыв самого Варламова в “Литературной газете” звучал в его защиту. А теперь в книге о Шукшине Варламов утверждает, что именно Белов влёк Шукшина к ксенофобии в главе “Пил и антисемитствовал”. Господи, не попусти осуществить фарисейский труд!

А о том, как сегодня “будоражится общественное мнение и провоцируются критики и критикессы” по поводу творчества Шукшина, можно судить из выступлений на научно-практической конференции на тему “Герой Василия Шукшина как воплощение национального характера”, которая состоялась во ВГИКе 15 октября 2004 года. Все должностные профессора-киноведы, говоря о Шукшине, до сих пор непременно адресуются к Тарковскому, впрямую или подтекстами подводя: “Он-де кинокультура, а кино Шукшина – лапотный натурализм, и говорить-то не о чем”. Завкафедрой драматургии Ю. Н. Арабов, кроме “розового” фильма “Живёт такой парень” (спасибо, что не голубого!) во всём творчестве выделил “алкогольную” вину Василия Шукшина перед репрессированным отцом и Родиной со ссылкой на “комплекс Павлика Морозова”. Правда, по мнению мэтра кинодраматургии, светлое отношение всё-таки проявлено к женщине-матери. Остальные персонажи так, мол, или иначе ущербны. Своим творчеством Шукшин и, не в меньшей степени, Николай Рубцов, по его мнению, констатируют угасание русской нации. Спасут только многомиллиардные дотации какого-нибудь международного сообщества для двух-трёх поколений русского люда, а также сильная кровь и организованность еврейского племени. Вопиюще звучал приговор доктора искусствоведческих наук Кирилла Разлогова, что феномен Шукшина равновелик группе “Тату”: “Стоит подумать о создании международного семинара, пригласив на него авторитетных критиков, где-нибудь в центре Помпиду или в другом Еврограде, а может быть, в Японии, и проанализировать природу долговременного интереса зрителя к криминальной романтике кинофильма “Калина красная” и группе “Тату”...”

Но вернусь к теме статьи. За годы, прошедшие после смерти Василия Шукшина, вышли две его биографии в серии ЖЗЛ и несколько биографических сборников. Авторы в основном пользуются работками друг друга. Фантазии, домыслы и мифы переходят от одного автора к другому. Изменить эту ситуацию, на мой взгляд, может полный личный архив Шукшина, который доступен сегодня не всем. Улучшило ситуацию барнаульское издание 9-томного собрания сочинений В. М. Шукшина 2014 года. Только государству по силам к 100-летию Шукшина озаботиться полным изданием личного архива писателя и режиссёра без купюр!

И, наконец, о своей скромной персоне. Приведа большой отрывок из моих воспоминаний “Шукшин в кадре и за кадром” в главе “Кому дают читать протоколы — не жалец” и указав на то, что я якобы перепутал художника Петра Нилуса и писателя Сергея Нилуса (подлинного художника слова), Варламов снабдил цитату “успокаивающим” примечанием: “...ошибка... не в укор мемуаристу, а как свидетельство того, что Анатолий Дмитриевич не принадлежал на момент своего высказывания к профессиональным конспирологам и борцам с масонским заговором”. Спешу успокоить биографа: к профессиональным конспирологам я не принадлежал и не принадлежу по сей день. А что касается “заговора”, то пусть лучше он попробовал бы опровергнуть самого Шукшина — его впечатление от чтения “Протоколов сионских мудрецов” (“Жизненная сказочка — правдивая. Наполовину осуществлённая”).

В заключение приведу интимно-личное письмо матери Шукшина ко мне. Даже по этому небольшому документу читатель сможет ощутить, в какой мере она существовала в своей “однушке” в Бийске. В живом прочтении от Шукшина я слышал много дневниковых записей и писем, которых сегодня в обороте нет. Письмо Марии Сергеевны послужило толчком к созданию фильма “Слова матери”. Поддержки в Москве я не нашёл, а помог мне “Беларусьфильм” получить камеру и плёнку на четыре дня и снять Марию Сергеевну, записать её живое слово, дающее представление, откуда вынырнул Шукшин. Увидеть фильм она не успела.

### Письмо мне Марии Сергеевны Шукшиной (Куксиной) (через год после смерти сына)

Добрый день, дорогие мои Толя и жёнка Ваша! Толя, получила я твоё письмо, спасибо, милый, спасибо за заботу, за добрые слова. Толя, насчёт зубов я тоже думаю весной. Да погодить бы. Толя, говоришь, с Лидой говорил. Толя, милый, да я всё понимаю, ну, как-нибудь устроимся, разве я не вижу. Ну, Толя, большое спасибо за заботу. Толя, милый, будь ты мне родным сыном. Помоги, ради Бога. Да как ещё у меня здоровья хватит загадывать, ну, там Бог подскажет. Увидим, может, сами к весне приедете. Василия Белова тоже надо, но адреса не знаю, а он сам не напишет. Толя, может, когда отпуск будет, приехал бы. Слава сулился письмо написать, ан нету, всё на работе некогда. Как у него там дела идут? Толя, я, когда была в Москве, Лида мне говорила, Вас к премиям и Васю посмертно. Но получила или нет, охота узнать. Она нам не пишет. Я ей писала, писала и сейчас написала, я, наверное, думаю, надоела. Ну, ладно, Толя, спасибо. До свидания. Будьте здоровы. С уважением и любовью Мария Сергеевна. Толя, только весной будем с зубами. Пока всё. Будет время, напиши.

добрый день дорогие мои толя  
и жёнка ваша! толя получила я  
твое письмо спасибо милый  
спасибо за заботу за добрые  
слова толя думаю весной  
да погодить бы толя говоришь  
с лидой говорил толя милый  
да я всё понимаю ну как-нибудь  
устроимся разве я не вижу ну  
толя большое спасибо за заботу  
толя милый будь ты мне родным  
сыном помоги ради бога да как  
ещё у меня здоровья хватит  
загадывать ну там бог  
подкажет увидим может сами  
к весне приедете василия  
белова тоже надо но адреса не  
знаю а он сам не напишет толя  
может когда отпуск будет  
приехал бы слава сулился  
письмо написать ан нету всё  
на работе некогда как у него  
там дела идут толя я когда  
была в москве лида мне  
говорила вас к премиям и васю  
посмертно но получила или нет  
охота узнать она нам не пишет  
я ей писала писала и сейчас  
написала я наверное думаю  
надоела ну ладно толя  
спасибо до свидания будьте  
здоровы с уважением и любовью  
мария сергеевна толя только  
весной будем с зубами пока  
всё будет время напиши

толя когда ты спросишь как  
и ок сам как-нибудь толя  
может когда отпуск будет  
приехал бы слава сулился  
письмо написать ан нету  
всё на работе некогда как у  
него там дела идут толя я  
когда была в москве лида  
мне говорила вас к премиям  
и васю посмертно но получила  
или нет охота узнать она нам  
не пишет я ей писала писала  
и сейчас написала я наверное  
думаю надоела ну ладно толя  
спасибо до свидания будьте  
здоровы с уважением и любовью  
мария сергеевна толя только  
весной будем с зубами пока  
всё будет время напиши

Слава Богу! Несмотря на негатив пророчеств для русских “авторитетной” профессуры ВГИКа, смыкающейся с выкладками Фридриха Энгельса, о русском мире, опубликованными ещё в XIX веке... Жив курилка! Редко случаются знаковые события. Совсем недавно на Страстном бульваре появился полноценный памятник А. Т. Твардовскому, на постаменте которого почерком поэта нацарапаны четверостишья. Одно из них в далёкой Тимонихе и в Москве всегда было на слуху у Василия Белова:

*С тропы своей ни в чём не сосупая,  
Не отступая — быть самим собой.  
Так со своей управиться судьбой,  
Чтоб в ней себя нашла судьба любая,  
И чью-то душу отпустила боль.*

Разве это не чудо, держащее Русь на плаву! Как и чудо Осябли и Пересвета в одном лице Фёдора Конохова, облетевшего Землю на воздушном шаре скорее всех в мире с первой попытки и с мировым рекордом!.. Воодушевимся и судьбой Валентина Григорьевича Распутина, весь земной срок не сосупившего с Русского национального поля. Выживем!..

**P.S.** За последние годы А. Варламов стал одним из основных авторов, обильно чуть ли не ежегодно снабжающих серию ЖЗЛ издательства “Молодая гвардия” жизнеописаниями исключительно известных русских людей Г. Распутина, М. Пришвина, А. Грина, М. Булгакова, А. Платонова, А. Толстого, В. Шукшина. А сейчас он не покладая рук работает над книгой о Василии Ивановиче Белове. Его необыкновенную плодотворность и важные мировоззренческие устои высоко оценил бывший ректор Литературного института им. А. М. Горького Сергей Николаевич Есин. Мнение которого для наших читателей и для отечественной истории особенно важно, потому что и сам Есин, до того, как Варламов стал ректором Литинститута, руководил этим прославленным заведением более 15 лет.

Позвонил мне народный “шукшиновед” Сергей Рехтин и обратил моё внимание на “Дневник” Есина за 2014 год (М., изд. “Академика”, 2017).

“Весь день получал удовольствие и читал прозу Варламова. Начал, как подхалим, закончил, пожалуй, как поклонник. Очень мы с ним похожи в одном — у обоих важной компонентой является такой актуальный в России еврейский вопрос. Разве я мало об этом писал? Прекрасные собеседники, люди, как правило, интересующиеся литературой и общественной жизнью. Меня уже довольно давно заинтересовало, почему так отчаянно несколько лет назад М. Е. Швыдкой похвалил А. Н. Варламова. Собственно, ответ нашёлся — дело даже не в упоминаниях, а в акцентах. В варламовский “Еврейке” — русский-то мальчик рядом с ней оказывается говнюком, в “Вальдес”, где действует девушка-полукубинка, русские мальчики, а их трое, тоже оказываются слабаками. К этим моим поверхностным соображениям можно присовокупить и содержание очень большой документальной повести “Ойоха”. Это о семимесячном, кажется, пребывании Алексея в Америке, в некоем интернациональном доме творчества. Америка страна богатая, ухоженная, её службы финансируют многое. Много там и наших соотечественников, многие, естественно, с еврейскими корнями. Ну, а здесь уже прёт наша минувшая действительность с её лагерями, сроками, войной, но и с чудесной еврейской сплоткой. Здесь Варламов, как Горький. Наверное, объективно, я ведь тоже очень многим обязан и Борису Иоффе, и Семёну Беркину, который брал меня на радио, и я их, как моих спутников, люблю, и высоко чту, и память о них храню. Продолжать не стану, буду читать дальше и получать удовольствие — проза умная, добрая, расчётливая, интеллектуальная и по письму традиционно-русская” (стр. 409).

Мне остаётся только добавить, что бывший министр культуры, а ныне специальный представитель Президента по международному культурному сотрудничеству М. Е. Швыдкой, “хваливший Варламова”, в своё время прославился тем, что организовал и выпустил на телевизионном канале “Культура” передачу на тему “Русский фашизм страшнее немецкого?”.

ВАЛЕРИЙ ЧЕРКЕСОВ

## ВЕРНОСТЬ ПРИСЯГЕ И ПОЭЗИИ

1

В 1970 году я участвовал в семинаре молодых литераторов Дальнего Востока, который проходил в Хабаровске. Так получилось, что мою рукопись стихов почему-то заранее не прорецензировали, и руководитель семинара поэт Михаил Асламов отдал её приехавшему накануне из столицы поэту-фронтовику Виктору Кочеткову. Он в то время заведовал отделом поэзии журнала “Москва”. В один из дней состоялась беседа с Виктором Ивановичем. Из стопки моих стихов он отобрал с десяток, в основном, о природе, говорил о них обстоятельно. Особенно ему понравилось стихотворение, начинающееся строками: “Какую власть имеют надо мной // природы неприметные явления...” Позже оно будет напечатано в журнале “Москва” — моя первая публикация в столице.

В 1982 году в Благовещенске в Амурском отделении Хабаровского книжного издательства готовилась к выходу моя вторая книжка стихов “Небо и поле”. На неё было две положительные рецензии хабаровских поэтов, но местные литераторы почему-то завозмущались, обвинив автора в упадничестве, чуть ли не в декадентстве. Одним словом, сборник мог не увидеть свет. И тогда по совету издательства я отправил рукопись в Москву Виктору Ивановичу Кочеткову с просьбой написать рецензию, а по возможности и предисловие. Вскоре пришёл ответ — и рецензия, и предисловие. К тому же оказалось, что Виктор Иванович в то время был секретарём парткома Московской писательской организации, так что вопрос о “благонадёжности” моих текстов отпал сам собой.

Сборник “Небо и поле” вышел в апреле 1982 года. Позволю себе процитировать строки из предисловия, и не потому, что они относятся ко мне, а потому, что написаны Виктором Ивановичем: “Современный человек, иногда хорошо сознавая это, а иногда бессознательно, чувствует постоянную боль разлуки с природой, своё отчуждение от неё. “Врачующий простор” русских полей, о котором так хорошо писал когда-то Некрасов, стал особенно необходим всем нам, загнанным в лабиринты больших и малых городов, стандартные квартиры типовых построек, в регламент служебных дел. Человеку хочется заново обрести связь с природой, заново открыть тайну единства со всем живым на земле. И очень важную роль играет тут поэзия. Валерий Черкесов — один из тех поэтов, для которых эта тема — главная. Он стремится уловить и передать на бумаге тончайшие нюансы настроений, возникающие у человека в интимном общении с природой — с полем, рощей, лугом, рекой, дорогой, озером, — сопоставляя “душу” природы с душой человека. Поэт с разных сторон подходит к мысли, что человек связан с природой гораздо более сложными связями, чем это может показаться поначалу, что человек — это чуткое,

отзывчивое эхо мира. Тепло земли и тепло души ставятся у него подчас в прямую зависимость. Может быть, это оттого, что он славит природу севера — суровую и не всегда гостеприимную, однако обладающую огромной обновляющей силой. Лирический герой Валерия Черкесова исповедуется в своей любви к отчей земле, размышляет о жизни, её радостях и невзгодах, удачах и неудачах, и в этих размышлениях раскрываются другие темы его стихов.

*Вдруг замрём мы, словно от прозренья,  
Поймав себя с волнением на том,  
Что диво — не бетон, сковавший землю,  
А луч травы, пробивший тот бетон.*

Этот “луч травы” пробивает “бетон” многих привычных поэтических площадей, мы присутствуем при рождении живой, свежей поэтической мысли”.

В том же году я прочитал в “Литературной газете” статью Виктора Ивановича о поэзии молодых. В ней он цитировал строки предисловия к моему сборнику, правда, без упоминания моей фамилии.

## 2

В мае 1982 года я переехал в Белгород, а осенью встретился с Виктором Ивановичем в столице. Тогда-то поэт рассказал, что он, оказывается, воевал на Белгородчине и что у него об этом есть несколько стихотворений.

В 1942 году девятнадцатилетний боец Кочетков, тяжелораненный, попал под Харьковом в плен. Немного оклемавшись, начал подумывать о побеге, и он ему удался. Шёл на гул орудий к фронту.

К своим он вышел через несколько дней. Потом воевал под Великомихайловкой, Ольховаткой — позже названия этих белгородских сёл вошли в его стихотворения. Был комсоргом батальона. Дважды в составе разведгруппы переплывал Дон. В конце войны стал командиром маршевой роты. Попадал в нелёгкие боевые, да и жизненные переплёты. Так, “особисты” вспомнили его недолгий плен. Были тщательные и унижительные проверки, но солдат Кочетков отстоял свою честь.

Поэт принадлежал к поколению фронтовиков рождения 1923 года, из которого, по официальной статистике, после войны в живых осталось только три процента. Поэтическая звезда Виктора Кочеткова вспыхнула не сразу, но постепенно его стихи завоевывали всё большую известность, и к 80-м годам он прочно вошёл в обиход лучших поэтов-фронтовиков. Был членом редколлегии “Нашего современника”, лауреатом Всероссийской Шолоховской премии. Его книги “Тепло земли”, “Весть”, “Материнское окно”, “Моё время” и другие и сейчас спрашивают в библиотеках.

В начале 90-х годов Кочетков приехал на Белгородчину для участия в Днях литературы. Проходили они в Губкине, но Виктор Иванович попросил свозить его в Великомихайловку и Ольховатку. Он молча постоял у братской могилы, где были похоронены его фронтовые друзья:

*Была мимолётной, но яростной схватка,  
И дело едва не дошло до штыка.  
Под утро пошли мы в село Ольховатку,  
Под вечер хороним здесь политрука.*

В стихотворениях Кочеткова вообще много белгородских названий и примет. А стихотворение “В сожжённой деревне” есть во всех его книгах, видимо, Виктору Ивановичу оно было дорого. Вот его начало:

*Под громкие крики ворон и грачей  
мы утром в деревню входили.  
Маячили остовы чёрных печей.  
Руины устало чадили.  
И в редком разбросе лежали тела  
в тени колоколенки древней,  
как будто бы смерть неохотно брала  
ясак с белгородской деревни.*

Помню, как ошеломило меня его стихотворение “Русская слава”, написанное нерифмованным стихом, редким для Кочеткова. Горькие строки: “Чтобы легче прославиться в России, надо её ненавидеть. Не дай Бог полюбить вам Россию! Сейчас же вас обвинят в великодержавном шовинизме...” А он служил России до конца дней своих. Об этом как нельзя проникновенней сказал поэт и критик Станислав Куняев: “Дважды в течение жизни Виктор Кочетков отстоял свою личную честь и честь своей Родины. Первый раз в стихах послевоенных лет, когда испытания не унизили, не озлобили его, а наполнили строки героическим горчайшим трагизмом... Второй раз, когда Родина позвала своего солдата – уже ветерана, старика! – в годы перестройки и прошептала слабеющими пересохшими губами: “Спаси мою честь, старый солдат!” И он, когда у многих помутились умы, принял этот призыв и во второй раз, на исходе жизни, подтвердил свою верность России, Победе, присяге, которую дают раз в жизни”. Я бы добавил – и верность русской поэзии.

### 3

Виктор Иванович принимал непосредственное участие в моей литературной судьбе. Как я уже рассказал, он написал предисловие к моему сборнику “Небо и поле”, передал стихи поэту Николаю Старшинову, который напечатал их в альманахе “Поэзия”, был членом приёмной коллегии, когда меня приняли в Союз писателей, а ещё в Доме творчества в Малеевке познакомил с Юрием Кузнецовым, с которым он дружил и который был моим рецензентом во время приёма в Союз. И похоронены Кочетков и Кузнецов на одном кладбище – Троекуровском.

Я не знаю человека, который бы о Викторе Ивановиче отозвался неуважительно. Однажды мы сидели с ним за столиком в ЦДЛе, и постепенно к нам подсаживались поэты. Запомнились Олег Кочетков, Эдуард Балашов, Александр Волобуев, Геннадий Касмынин, Владимир Андреев, Ростислав Филиппов из Иркутска. А сколько с ним в тот вечер перездоровалось литераторов, и не счесть. Поэт Алексей Шитиков, который долго жил в Москве, а в середине 90-х годов вернулся в родной Курск, считает Виктора Кочеткова одним из своих учителей и старшим другом. Я тоже. На своей книге “Стихотворения” (изд-во “Современник”, 1984 год) он оставил такую надпись: “Валерию Черкесову – с верой в его звезду”. Эти слова я всегда помню и стараюсь оправдать эту веру.

В июле 2001 года я получил от Виктора Ивановича письмо. Он уже плохо видел и очень болел. Писала жена Галина Ивановна под его диктовку. В письме были, в частности, такие слова: “...Ты сравниваешь мой побег из плена с побегом князя Игоря (об этом я написал в книге “Камни заговорили...” – В. Ч.), но он был менее драматичен”. Да, Виктор Иванович был всегда и во всём скромнен, как настоящий солдат.

В сентябре того же года я в последний раз разговаривал с поэтом по телефону, он обещал прислать свой новый сборник, но не успел: в октябре Виктора Ивановича не стало. Его большую книгу “Возвращение”, по сути – избранное, мне прислала Галина Ивановна. Вышло это издание в 2002 году в Молдавии, в Кишинёве, где после войны Кочетков учился в университете и где начался его творческий путь. В России, насколько я знаю, увы, после смерти Кочеткова его книги не издавались. Пожалуй, самая значительная публикация последних лет – подборка в поэтической антологии “Муза надежды” (М., “Наш современник”, 2007) – двадцать пять стихотворений. И каких! Строки литые, как пули, горькие и в то же время несущие надежду и веру:

*Не всё ещё предано,  
Не всё ещё продано,  
Не всё нажитое пошло с молотка.  
Ещё остаётся история Родины,  
Её золотой и железный века.*

### 4

Однажды утром я ехал на службу. В переполненной маршрутке гремело радио. Волей-неволей слушал. Юный голос пел под гитару. Да это же слова Виктора Ивановича Кочеткова! Во время одной из встреч в Москве он подарил мне сборник, вышедший в издательстве “Современник”, сказав

при этом, что одно стихотворение из книги, написанное им ещё в год 20-летия начала Великой Отечественной войны, стало песней, её поют наши солдаты в Афганистане. Называется “Кукушка”. Вот ведь как бывает: знал о песне давно, а услышал её впервые. Стал выяснять её историю.

Все четверостишия в афганском варианте текста довольно близки кочетковскому оригиналу, исключение составляет один куплет:

*Я тоскую по родной стране,  
По её рассветам и закатам.  
На афганской выжженной земле  
Мирно спят советские солдаты.*

Я нашёл интервью Юрия Кирсанова – основателя группы “Каскад”. Его версия создания “Кукушки” такова: “Когда попал в Афган, то, не знаю – почему, взял с собой в командировку сборник стихов Виктора Кочеткова. Нравилось мне стихотворение “Весь просвечен заревой покой...”, оно хорошо ложилось на уже имеющуюся мелодию, что-то убрал, “причесал”, написал два куплета применительно к Афгану. В результате получилась песня, о которой сам Виктор Иванович Кочетков, когда я был в Москве, написал на том, побывавшем в Афганистане, сборнике: “Юрию Кирсанову, великому афганцу, который сделал меня причастным к этой войне. 7 августа 1991 г.”.

Кажется, всё понятно. Но если это так, то почему “Кукушка” на первой пластинке “Каскада” значилась как народная? Вот что рассказывает Олег Гонцов – основатель группы “Голубые береты”: “Я однажды встретился с одним бойцом, который в конце 1960-х годов служил срочную службу в погранвойсках. У него сохранился дембельский альбом, в котором он записывал всякие армейские приколы, анекдоты, афоризмы, стихи и песни. Среди них была и “Кукушка”. Заметьте: эта песня была в альбоме у человека, который демобилизовался осенью 1970 года. Он утверждал, что “Кукушка” пелась у них в части. Правда, текст был не совсем такой, как потом у “Каскада”. Главное отличие в четвёртом куплете: “На даманской выжженной земле // спят тревожно русские солдаты”. Итак, по версии Олега Гонцова, сначала стихи Виктора Кочеткова легли в основу песни, посвящённой советско-китайскому конфликту на острове Даманском весной 1969 года. “Много лет спустя, – продолжает он, – я слышал другой вариант этой песни: “На таджикской выжженной земле”. Потом в Ботлихе ребята пели: “На чеченской выжженной земле”. Наш ансамбль “Ростов” исполняет близкий нам афганский вариант, на концертах мы говорим, что в основе песни – стихи участника Великой Отечественной войны Виктора Кочеткова. Сама же песня – народная”.

И в продолжение. Я познакомился с полковником в отставке Николаем Александровичем Лутюком, который побывал во многих “горячих точках” планеты, в том числе и Афганистане, сейчас живёт в Белгороде. Я спросил: “Вы слышали “Кукушка”?” – “Конечно! – ответил он. – Когда я находился на лечении в госпитале, к нам приходил генерал Виктор Павлович Куценко, тоже воин-афганец. Кстати, он автор текстов многих песен о войне в Афганистане, а вернее – о мужестве наших ребят, выпустил книгу стихов и прозы “Военный романс”. А тогда, в госпитале, генерал подарил нам кассету, на которой были записаны песни, наиболее популярные среди наших солдат в Афгане. Была на ней и “Кукушка”. Мы её нескончаемое число раз слушали”.

Да, “Кукушка”, как и знаменитые песни времён Великой Отечественной войны – “Синий платочек”, “Катюша”, “Смуглянка”, – тоже стала народной, её пели воины-россияне, которым довелось участвовать в военных конфликтах. И сейчас поют. А вот стихотворение, ставшее основой “Кукушки”:

*Весь просвечен заревой покой,  
Степь о чём-то о своём мечтает,  
Серая кукушка за рекой,  
Сколько жить осталось мне, считает.*

*Льнёт, как паутинка к пиджаку,  
Стебелёк багульника примятый;  
Я ловлю ленивое “ку-ку” —  
Долголетья зыбкие приметы.*

*Вторит им качанием кустов  
Вся в рябинах тихая опушка.  
Восемьдесят... Девяносто... Сто...  
Что-то ты расщедрилась, кукушка.*

*Тратили мы силы, не скупясь,  
Жили безоглядливо и пылко,  
Дни свои не пряча про запас,  
Как монеты мелкие в копилку.*

*Шествует Победа по стране, —  
Думаешь, легко она досталась?!  
Нам пришлось растратить на войне  
Годы, что отпущены на старость.*

*Так что ты, вещунья, погоди  
Мне дарить чужую долю чью-то.  
У солдата вечность впереди,  
Ты её со старостью не путай.*

\* \* \*

Виктор Иванович Кочетков ушёл из жизни в год 60-летия начала Великой Отечественной войны. В этом трагическом совпадении есть что-то символическое. На могильной плите начертаны слова поэта:

*Русь жива!  
Всё прочее приложится.  
Главное, солдаты,  
Русь жива!*

Таково завещание современникам и потомкам честного русского поэта и солдата.

.....

*Поздравляем нашего давнего автора и друга  
Валерия Черкесова  
с 70-летием!*



ИРИНА УШАКОВА

## “СМЫСЛ ЖИЗНИ” И СМЫСЛ ВОЙНЫ

Отказ от христианства в начале XX века у немцев, в значительной степени — у англичан и, отчасти, — у русской интеллигенции — вот глубинная причина Первой мировой войны и революции 1917 года в России. Человек, который видит в реальном времени и понимает сегодняшний день, рождается раз в сто лет. Этот человек нас интересует. Евгений Трубецкой (1863–1920) — выдающийся представитель евразийства — один из тех, кто смог понять суть происходящего в России и в мире на заре XX столетия. Это время во многом схоже с настоящим. Поэтому мы вправе спросить совета у русского философа, у его судьбы.

“Внешним поводом настоящего труда являются мучительные переживания мировой бессмыслицы, достигшие в наши дни необычайного напряжения...” Этими словами начинается книга выдающегося русского философа-богослова князя Евгения Николаевича Трубецкого “Смысл жизни”, опубликованная в 1919 году. Она написана в разгар Первой мировой войны и в начале гражданской войны в России. Она есть выражение его мирозерцания, плод всей его жизни. Возможно, это наиболее мощная, пронзительная и всеобъемлющая работа в русской философии первой половины XX века.

Сегодня широко известны блестящие работы Евгения Трубецкого “Умозрение в красках” и “Три очерка о русской иконе”, к сожалению, менее знаком соотечественникам труд “Смысл жизни”. Тем не менее, вряд ли кто-нибудь станет сомневаться в том, что князь Трубецкой является одним из самых глубоких продолжателей традиций великой русской философии XIX–XX веков. Пожалуй, только он по универсальности и философской “мускулистости” может быть достойным продолжателем традиции, начатой Владимиром Соловьёвым.

Возможно, первым, кто в начале 90-х годов XX века занялся изучением наследия Е. Н. Трубецкого после полного его забвения был кинодокументалист, президент Краснодарской киностудии имени Н. Минервина Валерий Тимошенко, известный своими фильмами “Русский заповедник”, “Крестьянская история”, “Чистая победа”, в которых он, вслед за Евгением Трубецким, ищет объяснения сегодняшней действительности, “скорбному бесчувствию” нынешнего дня.

В. Тимошенко часто цитирует своего учителя по ВГИКу философа Мераба Мамардашвили: “Дьявол играет нами, когда мы не мыслим точно”. И далее продолжает свою мысль: “Если мы не ищем и не даём ответа на главные вопросы столетия, мы обречены двигаться по кругу, раз за разом в чертотемной возвращаясь. Главные же вызовы начала нынешнего, XXI века, их таин-

ственная, пугающая абсурдность, весьма напоминают те, что побуждали философов Евгения Трубецкого ровно сто лет назад.

Мировой кризис, само целеполагание общества потребления – ещё большее потребление – входит в противоречие с ограниченностью и конечностью природных ресурсов, порождая экологически абсурдную экономику. Можно привести ещё много примеров, от наркомании как некой формы суицида до так называемых безмотивных преступлений. Всё это, так или иначе, всего лишь синдромы утраты Смысла жизни”.

За этим, по всей видимости, стоит глубокий кризис традиционного научного сознания с его идеей бесконечного положительного прогресса, а возможно, и собственно самого материалистического взгляда на мир.

“Я не понимаю, как человек интеллигентный может быть не способен хоть частично отождествить себя с неким высшим судьёй, который видит в нём всё до дна”, – говорил Мераб Мамардашвили. Парадоксально, но этот современный нерелигиозный философ очень близок в своих выводах к Е. Н. Трубецкому. А ещё он говорил, что “мы живём в христианском мире, и это не зависит от того, сколько людей ходит в церковь”. Помимо веры, по его мнению, это вопрос глубинных основ языка и природы мышления.

Евгений Николаевич Трубецкой... Его судьба, произведения, сам строй и способ мышления князя Евгения, как мало что на свете, подтверждают, что нет в мире другой истории, кроме истории движения человеческой мысли. Все исторические события, какими бы потрясающими и самодостаточными они ни выглядели, – лишь следствие, внешнее проявление этой битвы идей.

Самая большая ценность сегодня – это подлинно целостное мировоззрение. Редчайшее сегодня, по-настоящему целостное христианское мировоззрение Трубецкого (“Смысл войны”, “Два зверя”, “О русской сказке”, “Смысл жизни”) вдруг прозревает в потоке времени, состоящем, казалось бы, из бессмысленного набора фактов, Священную историю. “Оно, православное мировоззрение, возвращает нам доверие к жизни, даруя историю, у которой есть Начало, конечное Преображение и наше место в ней. Историю с отчётливой иерархией ценностей, в которой можно и хочется жить, несмотря на её очевидную трагичность”, – говорит Валерий Тимошенко.

Становится отчётливо ясно: если в нашей жизни нет напряжённого поиска Смысла (наипаче – “Ищите Царствие Божие”), который собственно и составлял содержание жизни Евгения Трубецкого, если “психоанализ” нации отсутствует, то “невроз” континентальных размеров неизбежен, а война, первая, вторая или третья – это только один из его симптомов.

... Семья Трубецких – это какое-то поразительное созвездие мыслителей, деятелей искусства и культуры, священнослужителей. В ней, несомненно, есть некая тайна, секрет рождения и воспитания подлинно свободной творческой личности. Многие исследователи и современники в мемуарной литературе говорят об этом. “Секрет” этот хранила мать Евгения – Софья Алексеевна Трубецкая, урождённая Лопухина, наследница не менее знаменитого, чем Трубецкие, аристократического рода. Пожалуй, именно она смогла создать в семье особый, может быть, даже и недостижимый в современном обществе настрой, который при полном соблюдении православного канона жизни, строгой ориентации на служение Отечеству поощрял творчество, живую мысль. Она была очень музыкальна, и все её дети, включая Евгения, обязательно занимались музыкой. Быть может, в этом секрет особой тональности, образности и ясности мысли членов этой великой семьи. Но самое главное: она была искренне и глубоко религиозна. В семье Трубецких была создана особая патриотическая атмосфера, особое внимание к тому, что происходит с Россией и миром. Волею судьбы нам удалось встретиться и побеседовать с внучкой Евгения Николаевича, супругой настоятеля русского православного храма в Вашингтоне матушкой Марией, урождённой княгиней Трубецкой.

Не случайно и Евгений Николаевич, и его брат Сергей стали выдающимися русскими философами. А сын Сергея, племянник Евгения Николаевича, Николай Сергеевич Трубецкой, выдающийся русский философ и филолог, один из основателей и, наверное, самый яркий представитель евразийства – философского течения XX века. Пожалуй, только они смогли построить философскую систему, которая убедительно, блестяще и, увы, беспощадно интерпретировала катастрофу 1917 года, то, что произошло в России в предреволюционные и революционные годы.

Лев Николаевич Гумилёв – философ и географ, создатель теории этногенеза, пусть во многом спорной, хотя альтернативу ей в данный момент сложно представить, как известно, называл себя последним евразийцем. Но Евгений Николаевич Трубецкой, на мой взгляд, ещё не понят, не воспринят современниками, как это случилось с Гумилёвым. Он пока “неоткрытый материк”.

По словам Мераба Мамардашвили, первое, что должен сделать философ, это “убить в себе человека своего времени”. Трубецкой в своих трудах, несомненно, поднимается над исторической конкретностью. И всё же исторический фон, на котором он создавал свои философские труды – Первая мировая война, – важен, выражаясь христианским языком, “промыслителен”. Корни очень многих сегодняшних геополитических реалий именно там, в Первой мировой. Там причины крушения величайших христианских империй: Германской, Австро-Венгерской и нашей Российской. Гитлер и Сталин, Черчилль и Ататюрк, Джон Толкин и Евгений Трубецкой – все они родом из Первой мировой. . .

Сегодня, сто лет спустя стало очевидно, что главная битва тогда шла не за окопы под Верденом, а за всё поствизантийское пространство, которое тогда занимала Османская империя – она ведь включала в себя весь арабский мир, часть Европы, часть Персии, Палестину. Тот, кто владеет Константинополем, владеет Босфором, кто владеет Иерусалимом, владеет Суэцом. Но поразительно, что немцы оказались на Босфоре и Суэце ещё до войны и без всякой войны. Цикл фильмов Валерия Тимошенко “Крестьянская история” предельно чётко, с документальной достоверностью раскрывает, в чём тайна этой дипломатической операции и неправдоподобно крепкого германского союза с Турцией.

Увы, он стал возможным за счёт отречения от христианства. Кайзер Вильгельм приезжал в Стамбул в мундире турецкого фельдмаршала, его прозвали “ходжа Вильгельм”, были распущены слухи, что он принял ислам. Власти предержавшие германской империи всячески давали понять туркам, что христианство не является для них чем-то неизбежным и определяющим, а значит, препятствий их союзу и разделу мира нет. Фантастично, но именно германская разведка разработала план священной войны мусульман Османской империи против всех христиан, то есть против русских, англичан и французов. Сегодня очевидно, что за это отречение немецкий народ заплатил очень дорого в Первой, а затем и во Второй мировой войне.

За этими геополитическими потрясениями стоят два важнейших события в философии, возникшие в конце XIX века и ставшие реальностью европейского общественного сознания в начале XX-го – феномен Фридриха Ницше и дарвинизм. Причём теория естественного отбора и борьбы видов, принцип “выживает сильнейший” властями предержавшими некоторых европейских, формально христианских стран были перенесены на взаимоотношения между народами. Что же касается Ф. Ницше, сами названия его программных произведений говорят за себя: “Антихристианин”, “По ту сторону добра и зла”. В них содержится беспрецедентная по остроте и философской напряжённости критика христианства.

Внешним проявлением этой антисистемы (термин Л. Гумилёва), этого этапа в истории движения человеческой мысли, суть которого – отказ от христианства, только на поствизантийском средиземноморском и причерноморском пространстве, и именно в те пять лет, когда писались и публиковались главные труды Е. Н. Трубецкого, стали беспрецедентные в мировой истории этнические чистки, обмен населением и трагедия геноцида армян, колоссальные жертвы гражданской войны и политических репрессий в России. Позже, уже после смерти Трубецкого, война эта проявила себя через Апокалипсис Второй мировой, через спланированное уничтожение евреев, славян и цыган.

“И, быть может, главное оружие Врага – подмена философии идеологией. Философствование есть свободный акт, восприятие философии требует сотворчества, мучительного труда. Нужно совершать постоянное духовное усилие, чтобы оставаться живым, научиться снимать маску, которая у нас временами прирастает к лицу.

Идеология же – это то, что воспринимается без усилия, рабски, как данность. Само её возникновение возможно лишь благодаря массовому бегству от свободы и отречению от любви и мудрости. Человек философствующий и человек, живущий идеологией, – разные явления. Святое Евангелие написано в виде притч; чтобы воспринять их, необходимо символическое мышление,

сотворчество. В этом смысле не может быть христианской идеологии. Отказ от свободы, от философствования, от сотворчества с Богом в пользу идеологии, в пользу слепого подчинения, по мнению Трубецкого, есть, по сути, отказ от христианства и главная причина неисчислимых бедствий столетия”, – говорит Валерий Тимощенко.

Немцы, давшие миру самые великие философские школы, потерпевшие, несмотря на всю стойкость и умение воевать, сокрушительное поражение и в первой, и во второй войне, попытались вернуться к осознанному христианству. Вся социальная помощь сегодня в Германии идёт через Церковь. Но, увы, этого, по-видимому, недостаточно. Потеря глубокой искренней веры всё же произошла в народе. В Германии уже нельзя сказать “Рождество Христово”, а только “Рождество”. Уже нельзя показать видеоклип с молитвой “Отче наш” на федеральном телевидении. Об этом с глубокой печалью говорит архиепископ Марк – нынешний глава православной Церкви в Германии, немец по национальности.

Есть два знаковых места для Евгения Трубецкого, значимых в его судьбе. В начале века в Москве жила красавица, богатейшая женщина Маргарита Кирилловна Морозова. У неё было несколько домов на Арбате, один из них – в Мёртвом переулке. Она глубоко полюбила князя Евгения. Эта любовь осталась платонической, между ними ничего не осуществилось, кроме искренней духовной привязанности.

Мы не стали бы упоминать об этом личном переживании, если бы оно не сыграло для русской философии такую огромную роль. Маргарита Кирилловна предложила князю Евгению финансировать религиозно-философское издательство и проводить в её доме религиозно-философские вечера. Так на Арбате стали собираться лучшие, молодые тогда, представители русской религиозной мысли. Красивый, старинный дом, залы с угощением для гостей, слушателей, со специальным помещением для лекций, дискуссий; стены увешаны иконами, тогда ещё только-только открываемыми. В эти годы, то есть всего лишь сто лет назад, реставраторы и через них – Россия, впервые открыли для себя и для мира подлинную древнерусскую икону – “Троицу” Рублёва, например.

На собраниях общества обсуждали самые разные вопросы, а издательство решили назвать “Путь”. В нём был издан двухтомник Евгения Трубецкого о Владимире Соловьёве, там же впервые вышла книга Павла Флоренского “Столп и утверждение Истины”, том сочинений Киреевского, впервые, спустя более семидесяти лет после их создания, были изданы сочинения Чаадаева.

В этом пространстве сформировалось уникальное русское религиозно-философское движение, спасительное и для России, и для мира. Неудивительно, что оно так последовательно, в том числе и физически, уничтожалось богоборческой властью. И всё же часть его успела выплеснуться за пределы советской России и повлиять на возникновение философской школы, литературное и духовное наследие которой сегодня к нам возвращается.

И когда Евгений Трубецкий подводил философские итоги, суммировал своё мировоззрение в книге “Смысл жизни”, на титульном листе он поставил тот самый знак издательства “Путь”, хотя само издательство было уже ликвидировано в катастрофе революционных лет.

В Новороссийске, на восемнадцатой версте в сторону Кабардинки, было имение тётушки князя, княгини Трубецкой. До сих пор сохранилась её чайная – небольшой домик на высоком берегу над Цемесской бухтой. Эта бухта стала последним русским берегом для тысяч эмигрантов и последним земным пристанищем для Евгения Николаевича Трубецкого. В Новороссийске Трубецким было закончено самое значительное, всеобъемлющее, универсальное произведение, коим по его собственному признанию, является фундаментальный труд “Смысл жизни”.

Почти два года длилось это пребывание на юге России, на острове между войной и миром, между христианской Империей и коммунистическим Союзом. Это было странное состояние, странное государство на юге России, денкинское правление на Кубани, врангелевский “остров Крым”. Таинственный, в философском смысле весьма продуктивный, временами даже безмятежный и уж точно не до конца осмысленный соотечественниками период русской истории.

У этого времени и у этого места, есть, несомненно, и своя священная история, что очень важно, зафиксированная не только событийно, но и изобра-

зительно в фото- и кинодокументах, просто о ней мало кто задумывался. В тридцати километрах от дома, где живёт Трубецкой, в сторону Краснодара в посёлке Горном в этот момент служит святой Феодосий Кавказский. В тридцати километрах в сторону Анапы живёт будущая Мать Мария (Пиленко), больше известная как поэтесса Мария Кузьмина-Караваева, героиня Сопротивления, мученица Освенцима, также причисленная к лику святых в Зарубежной православной церкви, более того, оказывается, они были знакомы. Недавние исследования говорят, что юная мать Мария исповедовалась у святого Феодосия. Он жил уединённо, почти отшельнически. Но когда его арестовали в 1938 году, то сфотографировали для следственного дела, и у нас теперь есть изображение святого.

Евгений Трубецкой написал множество памфлетов, статей о мировой войне, революции, гражданской войне. Увы, он отчётливо видел, что страна неизбежно должна пройти через тяжёлые очистительные страдания. «Религия есть то, что связывает людей воедино. Когда она перестаёт их связывать, они друг другу – либо враги и соперники, либо случайные союзники в целях ограбления и эксплуатации других людей», – писал он в своей работе «Смысл жизни». Этот труд, пронзительный по своей ясности, необходимо сегодня изучать в школьном курсе истории или литературы, иначе молодое поколение обречено на тот же макиавеллизм, о котором Е. Н. Трубецкой писал столетие назад. Последнюю свою лекцию «О возрождении религиозного сознания в России» Евгений Николаевич прочёл в Народном доме Новороссийска. Зал был полон.

С этого времени его произведения больше не переиздавались, имя его было вычеркнуто из истории русской культуры, и только с начала 90-х годов XX века он и его брат Сергей возвращаются к нам.

Евгений Николаевич Трубецкой не уехал в эмиграцию вместе с отступающими белогвардейскими частями, которые в двадцатом году садились в Новороссийске на корабли и уходили в Константинополь, затем в Париж, Сербию, Америку. «Родину, как мать, в болезни не бросают», – сказал он, и остался в Новороссийске. В этом же году он заболел сыпным тифом и умер. Евгений Трубецкой похоронен в Новороссийске, на церковном кладбище, в самом центре города. На могиле выдающегося философа-богослова XX века даже не было креста в течение более семидесяти лет.

Теперь на его могиле стоит строгий гранитный крест, который весной 1995 года поставили несколько новороссийцев без лишнего ажиотажа и шумихи. Среди них был кинодокументалист Валерий Тимощенко. Всё это снято и осталось в архиве Краснодарской киностудии имени Н. Минервина. На плите написано: «Князь Евгений Николаевич Трубецкой. Русский философ-богослов. 1863–1920»...

Схему расположения могилы прислали из Америки, из местечка Новодивеево, штат Нью-Йорк, где жили потомки Трубецких. Они же прислали некоторую сумму денег, примерно пятую часть от необходимой. Остальные средства собрали горожане, просто частные лица. Произошло это в начале 90-х, в период для провинциальной России нелёгкий, точнее сказать, нищий период истории. Тогдашние городские и краевые власти к этому не имели никакого отношения, более того, как могли, ставили палки в колёса. Значительную часть суммы дал один из тогдашних скороспелых банкиров. Ну что же, это вполне соотносилось с тезисом Трубецкого, о том, что Совесть, Со-весть есть явление сверхъестественное, метафизическое, ни из чего не выводимое.

За этим событием последовал приезд из Москвы в Новороссийск группы самых значительных исследователей творчества Е. Н. Трубецкого, мыслителей и культурных деятелей России. Среди них были философ Альберт Соболев, биограф Трубецкого и философ-богослов Сергей Михайлович Половинкин.

Москва и Новороссийск, столица и казачий пограничный край России, нынешняя Россия и православный мыслящий мир русской эмиграции вновь соединились через личность князя Евгения Трубецкого.

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

“ЖИЗНЬ  
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ  
ЛЮДЕЙ”

*(Вместо рецензии на книгу С. Есина “Дневник—2014”)*

Перелистал твой “Дневник”, Серёжа. Кое-где бегло, когда он был скучен. Но иные яркие страницы прочитал внимательно. В первую очередь те, где ты упоминаешь моё имя. Ты сам сказал, передавая “Дневник” мне в руки: **“В конце книги ищи себя в алфавитном списке персонажей”**. Я нашёл, прочитал и задумался.

Как странно и несправедливо ты отреагировал на попытку Литфонда вернуть писателям крымские дома творчества – Коктебель и Ялту! Коктебельскую усадьбу Максимилиан Волошин подарил в 1924 году не государству, а писателям, а Ялтинский дом творчества был построен на писательские деньги Литфонда. А то, что в Литфонде **“властвуют”** Куняев и Переверзин – что из этого? Что мы, для себя, что ли, попытались вернуть эти дома – один для Куняева, другой для Переверзина? Эта твоя реплика так же неумна, как и фраза из какой-то жёлтой газетёнки, где было сказано, что Сталин построил в 30-е годы такое роскошное метро для того, чтобы самому кататься в нём и наслаждаться его красотами. Меня в 2014 г. уже переизбрали, я уже не председатель Литфонда. И Переверзина переизберут. А глядишь – хуже того, помрём, но ведь Коктебель и Ялта – останутся писателям!

Так зачем же ты язвительно злобствуешь в дневнике: **“Не успел благословенный Крым снова стать российским, а умный и предприимчивый Ваня потребовал возвращения в лоно российского Литфонда и бывшего Дома творчества в Ялте, и бывшего Дома творчества в Коктебеле. Чем больше собственности, тем слаще жизнь! Зачем во всё это уже давно ввязался Ст. Куняев, не понимаю, но ведь крепко союзничают”** (стр. 203). А затем **“ввязался Куняев”**, что в 60-х годах я каждый год бывал в Коктебеле, затем, что написал там свои первые книги, затем, что Мария Степановна – вдова Волошина, пускала меня в прохладные полутёмные комнаты волошинского дома, затем, что я сидел за стареньким волошинским письменным столом и царица Таиах, бюст которой был выточен из редкого коричневого дерева, наблюдала, как я переписываю запрещённые и неизданные стихи Волошина о Киммерии, о его доме, о белом и красном терроре, о белом офицере и красном вожде. Затем, что именно в Коктебеле с его полукруглым заливом с могилкой Волошина на одном конце дуги и каменный

профилем Волошина на другом вырос мой сын, затем, что именно там я задумался о великой трагедии самоубийственной гражданской войны, затем, что в этот дом приезжали к Волошину и Цветаева, и Мандельштам, и Гумилёв, затем, что нужно вернуть этому Дому прежнее очарование и выгнать из него, как торговцев из храма, всех, кто успел там приватизировать в “украинскую эпоху” всё что можно – сам дом, писательские уютные комнатки, весь берег, усыпанным агатами, все пряно пахнущие кусты и деревья, все волейбольные площадки и теннисные корты, на которых я играл с покойным Олегом Михайловым. Поэтому письмо президенту русского Крыма Аксёнову написали мы с Переверзиным, и сначала ответ был обнадеживающим, мол, “рассмотрим”. Но чем чаще стали тявкать такие враги Литфонда, как Феликс Кузнецов, как Андрей Битов, как Юрий Поляков и другие – тем меньше надежд на возвращение писателям их собственности оставалось у нас. А ты в это время поддерживал “Литературку”, которая злостовала: **“Придёт срок, и власти Крыма разберутся, что единственным законным право-наследником имущества Союза писателей является государство <...> У Куняево-Переверзинской коалиции одно на уме, как бы отхватить кусок пожирнее, быстренько довести его до состояния полной неаппетитности и продать за сколько купят”** (“ЛГ” № 20, 2014). Конечно, власти Крыма, получив несколько таких сигналов от центральной прессы (“Лит. Россия”, “Литгазета”, “Новая газета”, интернет-порталы и др.), стужевались и потеряли интерес к законным просьбам и требованиям Литфонда. И что, Серёжа, тебе с Поляковым от этого стало легче? Можешь порадоваться тому, что при тщательном расследовании, кому и какая собственность принадлежит в Крыму, выяснилось, что оба бывших Дома творчества писателей до сих пор принадлежат олигарху Бене Коломойскому, а значит, вы вместе с Поляковым (по незнанию или по глупости – решайте сами) в литгазетовских лживых коллективных письмах отстаивали коммерческие интересы этого международного мошенника.

Более того, почувствовав поддержку таких писателей, как Поляков, ты, и прочих борцов за передачу писательской собственности из **“Куняево-Переверзинских рук”** в руки государства, чиновники из Росимущества подали иск в суд об изъятии у писателей всех остатков общественной собственности: посёлков и домов творчества Переделкино, Внуково, Голицыно, Комарово, нескольких помещений в Москве и даже “Дома Ростовых”, отданного писателям в безвозмездное пользование в сталинскую эпоху. Словом, после этой “второй волны приватизации” писательское сообщество останется ни с чем. Вспомним, что во время первого тотального грабежа 90-х годов писатели Советского Союза и России потеряли 14 домов творчества, несколько десятков издательств, прекрасную поликлинику всесоюзного значения, множество помещений в московских кооперативных домах, построенных на писательские деньги, а также множество помещений в областных центрах и т. д. Не буду перечислять дальше, об этом “ограблении века” знают все писатели России. И ты, наверное, знаешь, и всё-таки веришь (по дружбе) поляковской “Литературке”, которая пишет, не боясь ни гражданского, ни “Божьего Суда”.

**“Вмешательство государства в ситуацию с писательским городком направлено как раз на то, чтобы остановить распродажу, которую втихоря инициировал и поощрял С. Куняев”** (“ЛГ” № 21, 2013 г.). Ну, посоветуй, Серёжа, что делать мне после этого? Подать на “Литгазету” в суд или просто дать пощёчину её главному редактору?

Хотя не поднимается рука на человека, о котором вышла книга не где-нибудь, а в знаменитой серии “Жизнь замечательных людей”! На человека отменного мужества, который, как помнят многие переделкинцы, несколько лет тому назад, проснувшись на своей двухэтажной даче ночью от крика жены, спавшей на первом этаже, бросился по лестнице вниз и увидел, как гнусный грабитель, пробравшийся к ним, через окно избивает рукояткой пистолета жену. Тут же, не мешкая, он рванулся вверх в свой кабинет, отыскал десантный нож и, как лев, слетел по лестнице, чтобы расправиться с негодяем. Но несколькими секундами раньше тот уже выскочил в кромешную тьму...

Как бы то ни было, жена осталась жива. Верный муж спас её от верной гибели. Ну разве это не “Жизнь замечательных людей”? Нет, никакого суда и никакой пощёчины не будет! **“Легенду российской журналистики”**, как сказано о Полякове в “Литгазете” (№ 6, 2017), надо беречь...

Ты, Серёжа, видимо, плохо меня знаешь, подозревая в корыстных намерениях. Поэтому посылаю тебе на всякий случай копию моего заявления в Литфонд, написанного мной сразу же в 2007 году после избрания на пост председателя МЛФ. В это время в Литфонде совсем не было денег, и я решил вдвое уменьшить свою литфондовскую зарплату, для чего и написал заявление, суть которого отражена в следующем документе:

#### СПРАВКА № 18

**“Дана Куняеву Станиславу Юрьевичу – Председателю Президиума МООП “МЛФ” в том, что по его личному заявлению об уменьшении оклада на 50%, ему с 17 апреля 2008 года по 30 мая 2009 года начислялась ежемесячная заработная плата с тарифной ставкой 50% от оклада по штатному расписанию. В результате экономия денежных средств МООП “МЛФ” за период с 17 апреля 2008 года по 30 мая 2009 года составила (с учётом единого социального налога) 879 995-00 (восемьсот семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто пять) рублей, направленных на оказание материальной помощи писателям и оплаты юридических услуг.**

**Основание: 1. Трудовой договор, заключённый между МООП “МЛФ” и Куняевым С. Ю. от 17 апреля 2008 года.**

**2. Приказ о внесении изменений в штатное расписание от 17.04.2008 года.**

**Первый заместитель Председателя по финансово-экономическим и организационным вопросам Директор Международного Литфонда – И. И. Переверзин**

**Главный бухгалтер – Л. В. Осипова”.**

Больше года по своей собственной воле я получал 50% зарплаты, и лишь когда у Литфонда появились деньги, я отменил это своё собственное распоряжение.

А как, Серёжа, понимать твой пассаж на стр. 425-426 “Дневника”:

**“Днём читал “Литературку” с открытым письмом к министру юстиции, я его подписал скорее из дружбы с Поляковым, хотя общий тон письма совершенно справедлив: когда-то огромной собственностью писателей завладело несколько человек. В списке подписавших А. Битов, В. Личутин, Ф. Искандер, Юра Козлов, Вл. Ерёменко, В. Поволяев”** (стр. 425-426). А почему, Серёжа, ты не выяснил пофамильно, кто эти **“несколько человек”** и какая **“собственность”** перепала каждому из них? Неужели испугался, что привлекут за клевету? А может быть, ты не знаешь, что у всех подписантов этого письма есть дачи в Переделкино (а это, в сущности, основная писательская **“собственность”**), в которых они живут, как арендаторы, посмертно, сдавая за хорошие деньги хорошие московские квартиры. Личутин дважды менял дачи в поисках лучшей, у Ерёменко вообще две дачи, одна давно стала его собственностью – а другую он каким-то образом получил от умершего отца, которого я знал, и который был, по-моему, честным человеком. А Ерёменко-младший, как честный человек, борющийся с расхитителями писательской собственности, поселил в ней своего сына. И самое печальное: неужели ты, Серёжа, не знаешь, что твой друг Юрий Поляков, напечатавший это цитируемое тобой коллективное письмо в Министерство юстиции, письмо, ратующее за правду, за обездоленных писателей, письмо о проделках **“литфондовских хапуг”**, имеет в Переделкино тоже две дачи – одну приватизированную, которую он отсудил у Литфонда в районном Видновском суде с помощью лжесвидетельницы Кондаковой (заявившей от имени себя, что Литфонду этот участок и эта дача не нужны), и вторую – построенную им без разрешения Литфонда на соседнем участке земли, где арендатором был писатель Анастасьев. Отрезал Юрий Михайлович кусок земли у соседа и выстроил дачу для несчастной ничего не имущей дочки. Да вот незадача: на этот раз суд не признал эту махинацию законной. И Литфонд, опираясь на решение суда, имеет право снести этот самострой.

А разве ты не знаешь, Серёжа, что одновременно с Поляковым в один и тот же день 18 января 2003 г. в одном и том же Видновском суде, пользуясь заявлением той же лжесвидетельницы Кондаковой, наш **“тихий американист”** Е. Евтушенко присвоил себе казённую литфондовскую дачу, которую он



расширил и подписал с Литфондом договор, где был пункт: **“Пристройка кухонного и мансардного помещения в дачном строении по улице Гоголя, дом 1 в городке Переделкино передаются в собственность Международного Литфонда в качестве благотворительного взноса (соглашение от 29.12.2000 г.)”**

А через два года **“благотворительный взнос”** обернулся иском в суд, после которого **“общественная собственность”** стала собственностью **“благотворителя”**.

Зная всё это, ты утверждаешь в **“Дневнике”**, что оба Литфонда и МСПС **“выступают кормушкой для узкого круга избранных людей, которым предоставляется всё, и дачи в Переделкино, и сумасшедшие деньги в виде материальной помощи, и карт-бланш на бесплатное издание толстых книг и т. д.”**

Здесь, Серёжа, ты прав. **“Сумасшедшие деньги в виде материальной помощи”** в Переделкино существуют. Поскольку в Литфонде не было денег, мне самому пришлось вложить в ремонт моей арендованной у Литфонда дачи 875 тыс. руб. Это знают и директор Переделкинского дачного городка Пётр Иванович Коваленко, и главный бухгалтер Наталья Николаевна. Позвони им по телефону 8(495)733-89-18, они тебе подтвердят, что я оказал городку писателем **“материальную помощь сумасшедшими деньгами”**.

Ты почему-то в упор не видишь настоящих **“замечательных”** мошенников. Да, оба наших **“переделкинца”** – Поляков и Евтушенко по-своему незаурядные **“замечательные”** люди. В один год и в один день по решению одного и того же судьи стали владельцами переделкинских дач, об обоих одновременно вышли книги в нашей великой серии. Думаю, что и в один и тот же прекрасный день обоих объявят нобелевскими лауреатами. И это будет зафиксировано в очередном из твоих **“Дневников”**, Серёжа.

Но шутки в сторону. Вроде и неглупый ты человек, Серёжа, но как можно пользоваться слухами из жёлтой прессы? Волей-неволей веря ей, ты присоединяешь свою авторитетную подпись к подписям корыстных клеветников.

Впрочем, ты и сам поступаешь как мелкий сплетник, когда пишешь в **“Дневнике”**: **“Поговорили также о семейных кланах: Проханов оставяет “дело” своему сыну, Станислав Куняев – Сергею Куняеву”** (стр. 283).

Мой сын Сергей – известный и талантливый литератор. Вместе с ним (разделив труды поровну) мы в 1995 году написали для ЖЗЛ книгу о Сергее Есенине, которая, если верить почётной грамоте, выданной нам руководством издательства **“Молодая гвардия”**, стала самым популярным изданием в этой серии за 100 лет её существования. Книга за 10 лет с 1995 по 2016 г. издавалась и переиздавалась 15 (пятнадцать!) раз.

После этого Сергей издал в ЖЗЛ книгу о Николае Клюеве, сейчас для этой же серии заканчивает книгу о Вадиме Кожинове, издал книгу о Павле Васильеве, книгу **“Жертвенная чаша”** – своих критических и литературоведческих работ, а кроме этого издал, написав предисловия и послесловия, сделал нужные комментарии, несколько книг Есенина, книгу Пимена Карпова, а также книги Юрия Селезнёва, Анатолия Ланщикова, Алексея Ганина, Татьяны Глушковой, книгу крестьянских поэтов **“О, Русь, взмахни крылами!”**, книгу о знаменитой дискуссии **“Классика и мы”**. Да, руководить столь сложным и на сегодня самым популярным толстым литературным журналом, **“Наш современник”**, не просто. Даже у меня не всё получается, как хотелось бы. Тем не менее, спасибо тебе, Серёжа, что ты доносишь до меня и до моего сына различные слухи и сплетни (в том числе и свои). Я и не предполагал передавать ему **“дело”**, но теперь после твоих подсказок подумаю всерьёз.

Когда же ты, Серёжа, пишешь о **“сумасшедших деньгах”**, получаемых **“избранными людьми”** Литфонда, то, наверное, по старости забываешь, какие деньги получал круг **“избранных”**, работавших в Литинституте и при ректоре Есине, и при ректоре Тарасове. Цитирую из твоего же дневника, стр. 487.

**“Своя рука владыка, поэтому начальники, за счёт денег, которые добывает весь Институт, подняли себе своё содержание. У всех дети, машины, часто внуки. Я, мелочный и завистливый человек, вслед за немолодыми и ушлыми женщинами из министерской комиссии (которые проводили финансовую проверку дел в Литинституте. – Ст. К.), так сказать по их следам и намёткам, подсчитал, что было отломано от бюджетного пирога, а что получено от институтского приварка. На официальном языке**

**это называется “за счёт собственных средств”** (видимо, автор имеет в виду деньги за платное обучение, за подготовку аспирантов, за всякого рода консультации, за сдачу площадей в аренду и т. д. — Ст. К.)

**“За 2013-й год и три месяца 2014-го. Держись, геолог! За счёт собственных средств: Тарасов — 756,4 тыс. рублей; Стояновский — 1 450,4 тыс. рублей; Уженков — 1 341,1 тыс. рублей; Курышев — 1 073,8 тыс. рублей; Царёва — 2 946 тыс. рублей; Зиновьева — 2 229,2 тыс. рублей”.** В небогатом Литинституте получать по несколько миллионов?!

В эти суммы не входят “зарплатные”, “бюджетные деньги”... А ты ещё пишешь о каких-то “сумасшедших” деньгах, которые получили литфондовские работники! Всех ты, Серёжа, перечислил — и проректоров, и бухгалтеров, и ректора Тарасова, лишь о себе, работавшем ректором более 15 лет, умолчал, о своих заработках, о своих “сумасшедших деньгах”. А ведь все эти “проректоры и бухгалтера” были твоими подчинёнными, и я не думаю, что ты получал, как ректор, меньше их. Странно также, что, обнародовав в своём дневнике об их финансовых махинациях с точностью до тысячи рублей, ты о **“сумасшедших деньгах”**, якобы получаемых писателями в Литфонде, пишешь, не называя ни одной цифирки, ни одного имени, а говоря об **“огромной собственности”** писательской, которой якобы завладело **“несколько человек”**, стыдливо умалчиваешь, кто эти **“несколько человек”**, какие фамилии они носят, и какой по объёму **“огромной собственности”** они завладели. Может быть, ты не захотел подставлять Полякова и Евтушенко с Ерёменко? А может, что-то напутал по старости, что-то позабыл. Всяко бывает.

И в завершение скажу следующее.

Я всегда сам редактировал и безжалостно сокращал твои прежние дневники, делая из них “избранное”, убирая твоё многословие, всякого рода малоинтересную бытовщину, различные пустяки и сплетни. Сейчас из-за болезни глаз я доверил эту неблагодарную работу Сегеню. Мы предложили тебе публикацию из ста (100) самых ярких страниц твоего “Дневника—2015”. Но ты отказался от этого, и я понял почему, когда прочитал в твоём дневнике 2014 года: **“Валентина Твардовская, доктор исторических наук, сказала, что если дотяну свой “Дневник” до конца, то именно по нему будут учёные изучать эпоху <...> с интересом читаю “Дневник” за 2013 год, иногда удивляюсь: неужели это я?”** Я тоже, читая твой “Дневник—2014”, удивляюсь: неужели это ты?

Цену словам дочери знаменитого поэта я узнал, когда несколько лет тому назад, закончив работу над составлением антологии “Русские поэты о Сталине”, я позвонил Валентине Твардовской и спросил у неё разрешение напечатать в антологии лучшие стихи о Сталине, которые написал её отец. Знаешь, что она мне ответила? — **Категорически запрещаю! — Почему? — удивился я. — Потому что все стихи о Сталине отец писал против своей воли...**

Ты тоже со всеми своими комплексами и со всей умело скрываемой гордыней ответил нам: **“Или печатаете вести с лучшим страниц (а это почти половина нашего журнала), или я отдам “Дневник 2015 года” в “Новый мир”.** — Да ради Бога, Серёжа! Лишь бы эта публикация помогла Василевскому поднять нынешний двухтысячный тираж его некогда знаменитого журнала, где царил и правил сам Александр Твардовский, писавший стихи о Сталине **“против своей воли”**. Думаю, что и в “Дневнике 2015 года” ты всё так же будешь утверждать, что мы с Переверзиным **“всё разворовали”**, ибо ты человек честный и последовательный.

Проследи только, чтобы все кусочки текста, где ты пишешь о моей причастности к **“посягательству на писательскую собственность”**, остались на страницах “Нового мира” в неприкосновенности. Из твоих уст для меня и хула — похвала. Если ты оставишь все свои выпады и намёки в мой адрес, как в чело- века **“завладевшего огромной писательской собственностью”**, читателю будет понятно, почему ты печатаешься не в “Нашем современнике”, как это делал прежде в лучшие времена, а в “Новом мире”. А поскольку по твоему дневнику, как сказала Валентина Твардовская, **“будут изучать эпоху”**, то благодаря тебе, может быть, и моё скромное имя войдёт в историю литературы.

До свидания, Серёжа Есин, автор выдающейся повести “Стоящая в дверях”, опубликованной в “Нашем современнике” в 1992 году.

*Твой пристрастный читатель Станислав Куняев*

# ГЕНИЙ РУССКОГО ПОИСКА

19 февраля умер один из самых умных людей России — академик Игорь Ростиславович Шафаревич. Я намеренно не употребляю выражение “ушёл из жизни”. Люди такого масштаба, несмотря на смерть, не уходят. В самой их кончине, как правило, содержится урок, важный для всей нации.

Судьба Игоря Шафаревича как выдающегося математика ошеломляюще удачна. Не случайно его называли “Моцартом математики”. В 17 лет он оканчивает МГУ, в 19 защищает кандидатскую, в 23 — докторскую. В 35 лет избирается членом-корреспондентом Академии наук СССР. В 36 становится лауреатом Ленинской премии.

Казалось бы, вот она, наглядная реализация самых смелых мечтаний. Однако Игорь Ростиславович с лёгкостью отказывается от почестей, устоявшегося положения в обществе. В 60-е годы Шафаревич выступает с открытыми письмами в защиту Русской православной церкви, а также против использования психиатрии в борьбе с инакомыслием. Защищает тех, кого считал несправедливо гонимыми. В 1974 году протестует против ареста А. Солженицына. На следующий год Игоря Ростиславовича изгоняют из МГУ.

Почитатели Шафаревича, сделавшие “Русофобию” (1982; публикация в России — журнал “Наш современник”, 1989) своим знаменем, не любят вспоминать о его правозащитной деятельности. Хотя, если вдуматься, столь смелую работу, как “Русофобия”, мог написать именно такой человек, готовый ради служения правде бросить вызов могущественным силам.

Он был наделён мужеством. Интеллектуальным и бытовым. Об этом писал А. Проханов, вместе с Шафаревичем побывавший в сражающемся Приднестровье. Это готов подтвердить я, дважды летавший с Игорем Ростиславовичем в Чечню в разгар боёв.

После конфликта с советской правящей элитой Шафаревич решается на противоборство с либералами, отечественными и западными, — силой, жёстко организованной и беспощадной. В “Русофобии” с математической ясностью продемонстрировано, как “малый народ” — сцепленная внутренней солидарностью группа элиты — подавляет “большой народ”, в данном случае русских.

Возмездие последовало немедленно. Академика объявили “фашистом”, “антисемитом”. В отклике на смерть Шафаревича А. Проханов отметил, что из трёх знаменитых диссидентов — Сахаров, Солженицын, Шафаревич — лишь на долю Игоря Ростиславовича выпала пожизненная опала: “Он был окружён плотным облаком тьмы”.

В этом — первая часть урока, связанная с судьбой Шафаревича. Мы, “большой народ” — в отличие от “малого”, — не умеем защищать своих духовных лидеров.

Но есть и вторая часть — ещё более трагическая. В патриотическом движении, наряду с признанием выдающейся роли Шафаревича, присутствовало и недоверие к нему, его поиску, его патриотизму. Подозрение, основанное, в сущности, на неприятии интеллектуальной свободы как таковой. Это недоверие вписывается в общую атмосферу идеологического охранительства, насаждаемого едва ли не официально (с самых верхов прозвучало обвинение в адрес оппозиции: “Умничают по любому поводу”).

Между тем России сегодня, как никогда, необходимы поиски новых подходов, новых решений, новых путей преодоления кризиса. В стремительно меняющемся мире решающей силой оказывается не сила оружия или экономики, а сила мысли. Человек, столь полно воплотивший в своей деятельности мыслительный потенциал нации, нужен стране как пример учёного и гражданина. Как гений русского поиска.

*Александр Казинцев*